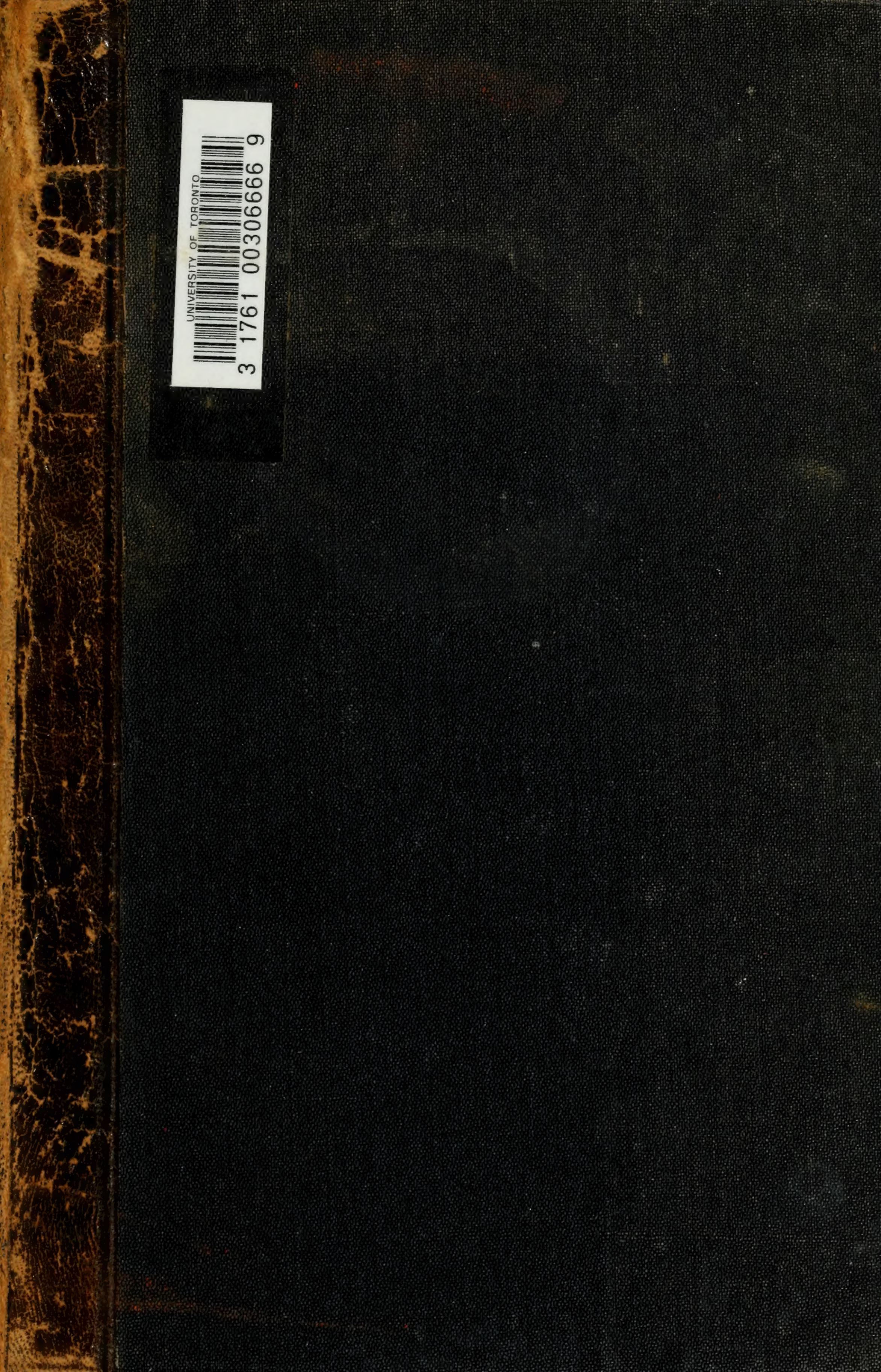

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00306666 9



СОЧИНЕНІЯ

И. С. НИКИТИНА

съ

ЕГО ПОРТРЕТОМЪ, FAC-SIMILE

и

БІОГРАФІЕЙ,

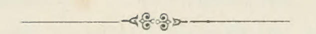
составленной редакторомъ изданія

М. Ѳ. де-Пуле.

ТОМЪ I.

ИЗДАНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ

К. К. ШАМОВА.





МОСКВА.
Типографія Э. Лисснера и Ю. Романа, на Арбатѣ, д. Платонова.
Русская типографія, Тверская, домъ Малкіеля.
1886.



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Въ дѣлѣ изданія «Сочиненіямъ И. С. Никитина» не посчастливилось съ самаго начала. Первое посмертное изданіе поэта было предпринято и напечатано въ Воронежѣ въ 1869 году. Уже само мѣсто изданія — провинціальный городъ — указывало на возможность пропусковъ, которые потомъ и явились въ немъ, къ неудовольствію весьма многихъ читателей, хорошо знавшихъ Никитина полнаго, не урѣзаннаго цензурой. Эти урѣзки были приписаны ими первому издателю, а отъ него, какъ бы по наслѣдству, были перенесены и на втораго.

Слѣдующія два изданія «Сочиненій И. С. Никитина» были сдѣланы нами въ Москвѣ, въ 1878 и въ 1883 гг.; но, къ сожалѣнію, Никитинъ опять явился въ неполномъ видѣ. Принимая на себя часть вины въ такой неполнотѣ и не желая утомлять читателя, ради своего оправданія, пространными объясненіями, указываемъ только на одно обстоятельство, противъ котораго мы ничего не могли сдѣлать. Первый издатель Никитина (А. Р. Михайловъ) умеръ еще вначалѣ 70-хъ годовъ; мы не имѣли никакой возможности узнать: цѣлы ли и гдѣ находятся тѣ рукописи, которыя онъ посылалъ въ цензуру и по которымъ печаталъ Никитина въ одной изъ воронежскихъ типографій? Эти, необходимыя для полноты изданія, рукописи отыскались только въ самое послѣднее время,

когда мы уже задумали четвертое (а наше — третье) изданіе Никитина: такимъ образомъ неполнота прежнихъ изданій, во всякомъ случаѣ, зависѣла не отъ однихъ насъ. Какъ бы то ни было, но мы очень рады, что намъ удалось возстановить полноту въ изданіи произведеній такого поэта, какимъ былъ покойный И. С. Никитинъ. Жалѣемъ, что это случилось поздно; но лучше поздно, чѣмъ никогда...

Право на изданіе сочиненій Никитина пріобрѣтено нами на весь срокъ, опредѣленный закономъ для авторской собственности. Возстановивъ полноту текста въ настоящемъ изданіи, мы не упустили изъ вида и того, чтобъ оно и въ другихъ отношеніяхъ вполнѣ было достойно имени поэта, симпатіи къ которому не перестаютъ возрастать въ нашемъ обществѣ. Въ этомъ отношеніи мы нашли дѣятельную помощь со стороны біографа и душеприкащика Никитина, которому принадлежитъ редакція настоящаго изданія.

Книгопродавецъ-Издатель

Клавдій Шамовъ.

ОТЪ РЕДАКТОРА.

Стихотворенія И. С. Никитина при жизни его были изданы два раза. Первое изданіе, сдѣланное графомъ Д. Н. Толстымъ (Знаменскимъ, какъ онъ потомъ подписывался подъ своими статьями), вышло въ Петербургѣ, въ 1856 году (въ типографіи Г. Бенике). Второе изданіе было напечатано черезъ три года, тамъ же (въ типографіи Карла Вульфа), на средства, предложенныя В. А. Кокоревымъ, почему мы и называемъ его Кокоревскимъ; оно печаталось подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Н. И. Второва, жившаго тогда въ Петербургѣ. Предпринимая это изданіе, Никитинъ, какъ это видно изъ его біографіи, очень много трудился надъ составомъ вышедшей въ 1859 году книжки: ему хотѣлось, чтобы она была достойна имени издателя и чтобы скорѣе окупила издержки, употребленныя для выхода ея въ свѣтъ. Вотъ почему Кокоревское изданіе должно считаться главнѣйшимъ, основнымъ, для дальнѣйшихъ, посмертныхъ изданій Никитина. Такъ и взглянулъ на это редакторъ 1-го посмертнаго изданія (Михайловскаго), Н. П. Курбатовъ, отдавъ предпочтеніе тексту Кокоревскаго изданія передъ Толстовскимъ, хотя взглядъ этотъ и не вполнѣ выдержанъ имъ на дѣлѣ. Отъ этого основ-

наго взгляда не уклонилась и редакція двухъ послѣдующихъ изданій (К. К. Шамова), но оставивъ безъ измѣненія размѣщеніе піесъ, находившееся въ Михайловскомъ изданіи.

Въ текстъ настоящаго, четвертаго, изданія сочиненій Никитина вошло: a) всѣ стихотворенія, помѣщенныя въ Кокоревскомъ изданіи; b) все, что осталось не передѣланнымъ въ Толстовскомъ; c) что было помѣщено Никитинымъ въ періодическихъ изданіяхъ послѣ 1858 года и d) бо́льшая часть изъ того, что было потомъ найдено Курбатовымъ (давно умершимъ). Все же остальное,— наприм., стихотворенія Толстовскаго изданія, подвергшіяся авторской передѣлкѣ — отнесено къ примѣчаніямъ. Полнотою этихъ послѣднихъ Михайловское изданіе отличается отъ двухъ позднѣйшихъ и отъ настоящаго. Конечно, полнота не порокъ, и для людей, близко знавшихъ Никитина, варіанты его стихотвореній могутъ быть очень любопытны; но этого нельзя сказать о большинствѣ читателей, которыхъ мало занимаютъ библіографическія замѣтки къ стихотвореніямъ даже такихъ поэтовъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Вотъ почему въ настоящемъ изданіи Примѣчанія къ стихотвореніямъ Никитина сокращены еще больше, чѣмъ въ двухъ предыдущихъ.

Не одною полнотою Примѣчаній, но и полнотою состава отличается Михайловское изданіе: въ него вошло двадцать пять стихотвореній, еще не бывшихъ въ печати. Но, къ сожалѣнію, полнота эта сдѣлана въ ущербъ литературному достоинству стихотвореній Никитина: нѣкоторыя изъ этихъ, вновь найденныхъ, стихотвореній такъ слабы, что самъ поэтъ никогда не рѣшился бы ихъ напечатать. Рѣшившись не выбрасывать уже напечатанныя піесы, мы помѣщаемъ слабѣйшія изъ нихъ въ особомъ Приложеніи къ 1-му тому.

«Кулакъ» въ первоначальной редакціи, до сихъ поръ печатавшійся въ текстѣ 1-го тома, мы также отнесли въ Приложеніе ко 2-му тому, въ текстѣ котораго напечатана эта поэма, въ ея, давно извѣстной, редакціи, вышедшей особою книжкою въ Москвѣ, въ 1858 г. (въ типографіи Каткова и К^o). Мы сдѣлали это просто для удобства читателей, чтобы дать желающимъ изъ нихъ почти наглядную возможность (en régard) сличить обѣ редакціи и судить о каждой. Эта начальная редакція поэмы вполнѣ заслуживала изданія въ свѣтъ. Никитинъ очень долго защищалъ ее отъ критическихъ нападокъ нѣкоторыхъ изъ своихъ друзей и если сдѣлалъ въ ней потомъ значительныя перемѣны, то приступалъ къ нимъ не всегда охотно,—и порою бывалъ правъ!

Прежній порядокъ размѣщенія стихотвореній оставленъ нами безъ перемѣны, т. е., хронологическая послѣдовательность удержана нами только для лирическихъ піесъ, крупныя же произведенія автора собраны вмѣстѣ и помѣщены во 2-мъ томѣ.

Портрету Никитина также не посчастливилось, какъ и изданіямъ его сочиненій. Не только въ прежнихъ трехъ изданіяхъ, но раньше и послѣ ихъ (какъ, напр., недавно въ «Нивѣ»), портретъ этотъ являлся положительно въ карикатурномъ видѣ. Всѣ эти портреты безспорно напоминали Никитина, но то чѣмъ-то, какъ-бы, перепуганнаго, то какъ будто находившагося въ положеніи человѣка, котораго начинаетъ пробирать лихорадочная дрожь. Впрочемъ, надобно правду сказать, всѣ эти портреты воспроизводились съ весьма неудачныхъ (въ смыслѣ сходства) оригиналовъ. Изъ всѣхъ фотографическихъ портретовъ Никитина, снятыхъ въ Воронежѣ, Москвѣ и Петербургѣ, только одна фотографическая карточка, сдѣланная въ 1860 году въ нашей сѣверной столицѣ, отличалась замѣчательнымъ сходствомъ съ по-

койнымъ поэтомъ. Къ настоящему изданію приложенъ снимокъ съ этой карточки, превосходно исполненный (въ смыслѣ сходства) фотогравюрой гг. Шереръ, Набгольцъ и К°. въ Москвѣ. Таковъ былъ и въ натурѣ Никитинъ, какимъ онъ изображенъ въ прилагаемомъ теперь портретѣ, хотя въ натурѣ онъ былъ не всегда такимъ суровымъ.

М. Де-Пуле.

Тамбовъ,
Іюль, 1885 года.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

От издателя III
От редакціи V
Біографія И. С. Никитина.
Глава I-я 1
Глава II-я 21
Глава III-я 43
Глава IV-я 72
Глава V-я 101
Глава VI-я 123
Глава VII-я 156

СТИХОТВОРЕНІЯ.

1849 года.

I. «Тихо ночь ложится» 3
II. Весна па степи 4
III. Поле 6
IV. Монастырь . . . . —
V. Лѣсъ 7
VI. Н*. Д*. («Не отравляй минутъ успокоенья») 8
VII. «Присутствіе непостижимой силы» 9
VIII. Грусть старика . . . . —
IX. Мраморъ 11
X. «Еще одинъ потухшій день» . . . . —
XI. Тишина ночи 12
XII. «Молвы язвительной и дерзкой» 14
XIII. Похороны 15
XIV. Перемѣна 16

1850.

Стран.

XV. Ночь на берегу моря 17
XVI. Дубъ 18
XVII. Тайное горе 19
XVIII. Вечеръ . . . . —
XIX. Ключъ 20
XX. Ночь 21
XXI. «Оставь печальный твой разсказъ» 22
XXII. «Когда закатъ прощальными лучами» 24

1851.

XXIII. «Когда, одинъ, въ минуты размышленья» 25
XXIV. «На западѣ солнце пылаетъ» 26
XXV. Дитяти 27
XXVI. Югъ и сѣверъ 28
XXVII. Русь 29
XXVIII. «Бываютъ свѣтлыя мгновенья» 33

1852.

XXIX. «Суровой холодъ жизни строгой» 35
XXX. Пѣвцу 36
XXXI. Развалины 37
XXXII. Кладбище. 39

1853.

XXXIII. Степная дорога 41
XXXIV. Художнику 44
XXXV. «Не повторяй холодной укоризны» 45
XXXVI. Засохшая береза . . . . —
XXXVII. «Привѣтъ мой вамъ, угрюмый мракъ ночей» . . . 46
XXXVIII. Жизнь и смерть 48
XXXIX. Успокоенье . . . . —
XL. «Съ тѣхъ поръ, какъ міръ нашъ необъятный». . . . 51
XLI. Новый Завѣтъ 52
XLII. Молитва дитяти . . . . —
XLIII. «Я помню счастливые годы» 54
XLIV. «Съ суровой долею я рано подружился». 56
XLV. Поэту 57

Стран.

XLVI. Пѣсня («Зашумѣла, разгулялась») 58
XLVII. Война за вѣру 59
XLVIII. Старикъ другоженецъ 61
XLIX. Зимняя ночь въ деревнѣ 62
L. Наслѣдство 64

1854.

LI. Моленіе о чашѣ 66
LII. Сладость молитвы 72
LIII. Ночлегъ извощиковъ 73
LIV. Ссора 80
LV. Измѣна 83
LVI. «Полно, степь моя, спать безпробудно» 86
LVII. Утро на берегу озера 87
LVIII. Упрямый отецъ 91
LIX. С. В. Чис...ой («Тяжелъ вашъ крестъ!... что было съ вами...») 95
LX. Вечеръ послѣ дождя 97
LXI. Жена ямщика 99
LXII. Купецъ на пчельникѣ 105
LXIII. Неудачная присуха 119
LXIV. Бурлакъ 127
LXV. «Подлѣ рѣки одиноко стою я подъ тѣнью ракиты» . . 130
LXVI. Лѣсникъ и его внукъ 132
LXVII. Буря 135
LXVIII. Болѣсть 138
LXIX. Бобыль (Посвящ. Н. В. Кукольнику) 143
LXX. Разсказъ ямщика 145
LXXI. Встрѣча зимы 148

1855.

LXXII. Утро 152
LXXIII. Въ лѣсу (Послѣ выздоровленія.) 153
LXXIV. Внезапное горе 155
LXXV. Дѣлежъ 156
LXXVI. Выѣздъ ямщика 159
LXXVII. Отвяжися, тоска 162
LXXVIII. 19 октября 163

1856.

Стран.

LXXIX. Староста 165
LXXX. Новая утрата 168
LXXXI. «У кого нѣтъ думы» 169
LXXXII. «Помню я: бывало, няня» 170
LXXXIII. Въ альбомъ Н. В. П—вой 172
LXXXIV. Въ альбомъ М. Н. Ж. . . . . —
LXXXV. «Чуть сошлись мы, другъ-друга узнали» 173
LXXXVI. «День и ночь съ тобой жду встрѣчи» 174
LXXXVII. Сплетня 175
LXXXVIII. Въ саду . . . . —
LXXXIX. «Разсыпались звѣзды, дрожатъ и горятъ» 176
XC. Гнѣздо ласточки 177

Примѣчанія къ стихотвореніямъ 3
Приложенія 3



Фото Гравюра Шереръ, Набгольцъ и К°. въ Москвѣ

Иван Никитин

ИВАНЪ САВВИЧЪ НИКИТИНЪ. *)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Введеніе. — Родители Никитина. — Дѣтство и юность. — Семинарское образованіе. — Вліяніе литературы. — Смерть матери. — Отецъ. — Безвыходное положеніе. — Постоялый дворъ. — Литературныя занятія. — Сношенія съ редакціей «Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей». — Письмо Никитина къ редактору.

Жизнь Никитина представляетъ во всякомъ случаѣ замѣчательное явленіе. Обязанный своею извѣстностію стихотворенію «Русь», появившемуся въ самый разгаръ Крымской войны и поставившему его имя рядомъ съ именемъ Кольцова, его земляка, Никитинъ потомъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, до 1857 или даже 1858 г., утратилъ часть этой извѣстности и возбужденныхъ къ нему симпатій: въ мѣщанинѣ-Никитинѣ не нашли втораго Кольцова, воронежскаго мѣщанина и поэта; послѣдовало разочарованіе, слѣдствіемъ котораго было то, что въ Никитинѣ нѣкоторые даже не хотѣли признать поэта. Но такой взглядъ на Никитина совершенно ложный: кромѣ происхожденія, между нимъ и Кольцовымъ нѣтъ ничего общаго. Никитинъ былъ вполнѣ литераторомъ, тогда какъ Кольцовъ, не смотря на большую даровитость и на его крупное литературное значеніе, литераторомъ никогда не былъ. Въ послѣдніе четыре года своей жизни, рядомъ произведеній, даровитость которыхъ не подверглась уже ничьему сомнѣнію, Никитинъ снова возбуждаетъ къ себѣ горячія симпатіи и сходитъ въ могилу, сопровождаемый искреннимъ сожалѣніемъ современной литературы. Но, кромѣ

*) Составленная въ 1867-мъ году, Біографія Никитина, для настоящаго изданія, вновь просмотрѣна авторомъ.

интереса литературнаго, жизнь Никитина представляетъ другое любопытное явленіе: Никитинъ былъ вполнѣ сыномъ своего времени, своей родины и среды, отъ которыхъ онъ никогда не отрывался. Въ личности Никитина вполнѣ выразился типъ русскаго образованнаго человѣка, вышедшаго изъ низменной среды, развившагося въ Николаевское время, но созрѣвшаго въ первые годы царствованія императора Александра II-го.

Отношеніе нашей литературы (т. е. журналистики) къ Никитину, послѣ его смерти, тоже какое-то странное, не установившееся... Одни стали относиться къ нему восторженно, какъ къ *реалисту*, сожалѣя лишь о томъ, что, подъ вліяніемъ друзей, этотъ мнимый Никитинскій реализмъ не могъ развиться съ достаточною полнотою; другіе говорили, что Никитинъ недостаточно оригиналенъ, что онъ *только* блѣдная копія Некрасова... Третьи всю замѣчательность Никитина видѣли и видятъ въ его мѣщанскомъ происхожденіи и по этой причинѣ, безъ всякаго затрудненія, ставятъ его (какъ и Кольцова) въ одну линію такихъ замѣчательныхъ русскихъ людей, какъ патріархъ Никонъ, Посошковъ, Кулибинъ, Сперанскій и т. п. Странная литературная оцѣнка! Мало ли у насъ людей, вышедшихъ изъ низменныхъ сферъ и прославившихся во всѣхъ родахъ научной, художественной и государственной дѣятельности! Конечно, слѣдуетъ подчеркивать эту низменность происхожденія; но не слѣдуетъ кричать о ней, а слѣдуетъ помнить, что даровитость отнюдь не зависитъ отъ происхожденія, что образованіе сглаживаетъ шероховатости послѣдняго и что для всякихъ сравненій и параллелей нуженъ прежде всего одинъ и тотъ же родъ дѣятельности. Замѣчательно, что у насъ только литературный родъ дѣятельности продолжаетъ находить себѣ такую патріархальную оцѣнку; по отношенію къ другимъ родамъ — мы давно уже вышли изъ дѣтства.

Какъ же русская читающая публика отнеслась къ писателю съ такимъ не установившимся о немъ мнѣніемъ критики, какъ Никитинъ?.. Впродолженіи пятнадцати лѣтъ (съ 1869 по 1885 г.) разошлось *три* изданія стихотвореній Никитина; теперь публика потребовала *четвертаго*... Такимъ успѣхомъ далеко не всѣ изъ

писателей съ выдающимися, *признанными* дарованіями могутъ похвалиться. Очевидно, *взглядъ публики на Никитина установился* и совсѣмъ не похожъ на взгляды литературные...

Но обращаемся къ разсказу о жизни Никитина.

Иванъ Саввичъ Никитинъ родился въ Воронежѣ 21-го Сентября 1824 года, въ субботу утромъ. Отецъ его Савва Евтѣевичъ (Евтихіевичъ) происходилъ изъ духовнаго званія и прозывался Кириловымъ: эту родовую фамилію онъ перемѣнилъ на Никитина уже по исключеніи его изъ духовнаго званія, изъ котораго онъ вышелъ по причинамъ, намъ неизвѣстнымъ. Мать Ивана Саввича, Прасковья Ивановна, происходила изъ воронежскихъ мѣщанъ, въ сословіе которыхъ записался и Савва Евтѣичъ, по выходѣ своемъ изъ духовнаго званія. Они имѣли свой домъ близъ церкви Нерукотореннаго Спаса, въ той части Воронежа, которая расположена на высокихъ горахъ, тянущихся по правому берегу соименной городу рѣки; видъ не только съ этихъ горъ, но съ каждой улицы, изъ каждаго дома, если только онъ смотритъ на рѣку, очаровательный. Въ этомъ домѣ родился у Никитиныхъ единственный сынъ — нашъ поэтъ, который никогда не могъ проходить равнодушно по маленькимъ и узкимъ улицамъ, идущимъ отъ Митрофановскаго монастыря къ Ильинской и Спасской церквамъ. Эта часть Воронежа очень хороша и много напоминаетъ Москву, съ тою, однако же, разницею, что она какъ-бы ныряетъ въ живописныхъ горахъ и съ трехъ сторонъ обставлена великолѣпнѣйшей зарѣчной панорамой, имѣя съ четвертой, западной, городской, также въ московскомъ вкусѣ картину — Митрофановскій монастырь съ его высокими башнями, громадной колокольней и ярко сіяющими золотыми главами *). Въ такой мѣстности, средней между

*) Послѣдней картины въ настоящее время, къ сожалѣнію, не существуетъ. Вмѣсто величественнаго, нѣсколько сумрачнаго храма, въ которомъ покоились мощи св. Митрофана и который былъ сооруженъ въ Елисаветинское время, теперь, съ 70-хъ годовъ, возвышается хотя просторное и свѣтлое зданіе, но внутри и снаружи скорѣе напоминающее, по своей архитектурѣ, экзерциргаузъ, чѣмъ православную церковь.

городской и деревенской, возрасталъ будущій нашъ поэтъ. Родители Никитина, не смотря на свое мѣщанское званіе, жили очень хорошо; домъ ихъ былъ полной чашей: всего вдоволь, было чѣмъ принять и угостить знакомыхъ, которыхъ у нихъ было очень много, такъ какъ Савва Евтѣичъ былъ лицомъ замѣтнымъ въ городѣ. Онъ имѣлъ свой свѣчной заводъ (восковыхъ свѣчъ) и свою лавку подъ Смоленскимъ соборомъ, на самомъ бойкомъ торговомъ мѣстѣ. Громадный притокъ богомольцевъ значительно въ то время (это было въ 30-хъ годахъ) оживлялъ въ Воронежѣ торговлю восковыми свѣчами; но Никитинъ не довольствовался одной городской продажей,— значительныя партіи свѣчъ онъ разсылалъ со своими прикащиками по донскимъ и украинскимъ ярмаркамъ; торговые обороты его простирались не менѣе, какъ на сто тысячъ руб. асс. Но, кромѣ состоянія, вездѣ дающаго право на почетъ, Савва Евтѣичъ и по личнымъ своимъ качествамъ былъ выше окружающей его среды. Это былъ человѣкъ замѣчательно умный и относительно образованный. Мы познакомились съ нимъ довольно поздно, въ печальную пору его болѣзненнаго состоянія. Но когда онъ бывалъ здоровъ, пріятно было послушать его оригинальную рѣчь. Онъ любилъ читать книги религіознаго содержанія, имѣлъ свою маленькую библіотеку и зналъ хорошо нашихъ старинныхъ писателей до Пушкина. Онъ былъ небольшаго роста, коренастый, съ страшною силой, которою онъ наводилъ ужасъ на кулачныхъ бояхъ, являясь всегда первымъ предводителемъ городской молодежи въ борьбѣ съ Чижовцами и Придаченцами*). Не имѣющему понятія о кулачныхъ бояхъ, еще процвѣтавшихъ въ 30-хъ годахъ, трудно представить себѣ теперь, что въ этой грубой, повидимому, потѣхѣ было что-нибудь увлекательное и молодецки-удалое, а на самомъ дѣлѣ это было, и мы еще хорошо помнимъ, съ какимъ наслажденіемъ, бывало, летѣла на кулачный бой, «побиться, подраться, пораттаться» даже молодежь, принадлежащая къ среднему сословію! Ловкій торговецъ, атлетъ-боецъ, умный, начитанный человѣкъ, Савва Евтѣичъ пользовался значительнымъ вліяніемъ въ окружающемъ его обществѣ.

*) Чижовка и Придача — пригородныя слободы Воронежа.

Надобно думать, что этими качествами онъ заслужилъ и любовь Прасковьи Ивановны, которую онъ очень любилъ и смерть которой горько оплакивалъ. Но эти хорошія качества соединялись въ немъ съ характеромъ крутымъ и самовластнымъ. Прасковья Ивановна Никитина составляла совершенный контрастъ съ своимъ мужемъ: это было существо кроткое, любящее и безотвѣтное. Одинокимъ росъ въ домѣ своихъ родителей Иванъ Саввичъ. Единственною подругою его дѣтскихъ игръ была двоюродная сестра Аннушка, дочь его тетки (по матери) Тюриной, бѣдной женщины, жившей съ Никитиными по сосѣдству. Лицомъ Никитинъ былъ живой портретъ своей матери, бойкостію и даровитостію походилъ на отца. Ребенкомъ онъ былъ очень живъ и рѣзвъ, и потому часто ссорился съ своею подругой; но съ годами эта рѣзвость стала замѣняться въ немъ преждевременною серьезностію и какъ бы сосредоточенностію. «Ребенкомъ нелюдимымъ» называетъ себя Никитинъ и въ одномъ изъ своихъ стихотвореній (см. I-й томъ, стран. 153). Вообще въ стихотвореніяхъ нашего поэта разбросаны черты, дающія понятіе о его дѣтствѣ, о первыхъ годахъ его самосознанія. Видно, что онъ былъ не уличный мальчикъ, не дитя, предоставленное на произволъ судьбы: за нимъ былъ уходъ; онъ былъ подъ надзоромъ любящей матери, за нимъ присматривала добродушная нянька, которая познакомила его съ народными русскими сказками, возбудившими въ немъ первыя поэтическія грезы. Первымъ учителемъ Никитина былъ сапожникъ, научившій его грамотѣ; первыми прочтенными книгами были: «Мальчикъ у ручья» Коцебу, и «Луиза или подземелье Ліонскаго замка», Радклифъ. Въ 1832 году *), когда мальчику было восемь лѣтъ, отецъ отдалъ его въ Духовное училище. Выборъ училища объясняется, какъ происхожденіемъ Саввы Евтѣича, такъ, несомнѣнно, и вліяніемъ на него духовенства, среди

*) Первыя біографическія свѣдѣнія о Никитинѣ были напечатаны въ „Отеч. Зап." 1854 г. въ 6 №, въ отдѣлѣ Новости Литературы и проч. Статья эта принадлежитъ А. П. Нордштейну. Приводимые въ ней факты нѣсколько разнятся отъ нашихъ (какъ, напр., годъ рожденія); но наши вѣрнѣе, потому что были не разъ провѣрены, послѣ смерти поэта, со словъ его отца и двоюродной сестры.

котораго онъ имѣлъ очень многихъ знакомыхъ, благодаря, конечно, его происхожденію, уму, нѣкоторому образованію и роду его занятій. Школьная жизнь не подѣйствовала на мальчика благотворно; онъ учился отлично, но задумчивость и сосредоточенность росли въ немъ не по лѣтамъ. Оставлены были преждевременно дѣтскія игры съ Аннушкой; мѣсто ихъ замѣнили: рисованіе, чтеніе и голуби. Отецъ любилъ сына, радовался его успѣхамъ и иначе не звалъ его, какъ Иваномъ Саввичемъ, но содержалъ очень строго; мать любила его съ особенною нѣжностью. По окончаніи курса Духовнаго училища, Иванъ Саввичъ поступилъ въ Воронежскую Семинарію; это было въ 1841-мъ году. Давая сыну систематическое образованіе, отецъ готовилъ его къ университету, надѣясь видѣть въ немъ со временемъ лѣкаря. Учился Никитинъ въ Семинаріи такъ же хорошо, какъ и въ Духовномъ училищѣ; но особенно блестящіе успѣхи оказалъ онъ въ словесности, въ составленіи не только разныхъ задачекъ, но и болѣе серьезныхъ піесъ. Въ Семинаріи же онъ написалъ первое свое стихотвореніе и показалъ его профессору словесности Чехову; профессоръ похвалилъ и совѣтовалъ продолжать. Въ началѣ 40-хъ годовъ въ Воронежской Семинаріи были еще свѣжи воспоминанія о Серебрянскомъ и о его другѣ Кольцовѣ; поэтому литературная производительность пользовалась у семинаристовъ большимъ почетомъ. Между ними Никитинъ скоро пріобрѣлъ названіе семинарскаго литератора, семинарскаго поэта, — и такое прозваніе нравилось самолюбію отца; поэтому о какомъ-нибудь противодѣйствіи наклонностямъ сына онъ не могъ и думать. Между отцомъ и сыномъ продолжали существовать самыя добрыя отношенія; но все говорило, что они не надолго останутся такими. Торговыя дѣла Саввы Евтѳича стали хромать. До сихъ поръ свободная торговля восковыми свѣчами мало-по-малу начала принимать характеръ монополіи; прикащики, ѣздившіе по ярмаркамъ, начали его обкрадывать, кредиторы не платить долговъ. Неудачи эти раздражали его характеръ, и безъ того крутой; семейный миръ, поддерживаемый любящей и безотвѣтной женой, былъ нарушенъ; преодолѣть горе и неудачи не доставало нравственнаго мужества, и вотъ

Никитинъ-отецъ сталъ прибѣгать къ обычному несчастному утѣшенію русскаго человѣка, — къ чаркѣ. Такая перемѣна жизни прежде всего и самымъ ужаснымъ образомъ отразилась на Прасковьѣ Ивановнѣ: бѣдная женщина не вынесла капризовъ и безобразій мужа и начала пить. Она страдала этимъ недугомъ три года, до самой своей смерти. Эти семейныя обстоятельства не могли остаться безъ вліянія на юнаго семинариста; они дѣйствовали на него глубоко и, такъ сказать, загоняли его внутрь себя. Никитинъ-семинаристъ былъ очень красивый юноша, съ изящными, до извѣстной степени, манерами и большой франтъ. Онъ былъ средняго роста и, подобно отцу, атлетическаго сложенія. Онъ имѣлъ смуглое, сухощавое, совершенно интеллигентное лицо, лучшимъ украшеніемъ котораго были большіе черные глаза, съ тѣмъ привлекательнымъ глубокимъ взоромъ, который только и встрѣчается у людей даровитыхъ. Молодой семинаристъ былъ молчаливымъ гостемъ въ своемъ домѣ. Приготовленіе уроковъ, чтеніе книгъ, игра на гусляхъ *) и гитарѣ были его обычными домашними занятіями. Рѣдко онъ выходилъ изъ дома, развѣ для прогулокъ и на охоту съ ружьемъ по окрестностямъ Воронежа. Товарищей, друзей юности у него не было, какъ не было друзей дѣтства, кромѣ Аннушки. Ни самъ онъ никуда не ходилъ, ни къ себѣ никого не приглашалъ изъ товарищей-семинаристовъ. Отецъ по-прежнему былъ имъ доволенъ, и до нѣкоторой степени даже имъ гордился. Молчаливый и сосредоточенный, молодой Никитинъ сталъ менѣе откровененъ даже съ тѣми, съ которыми онъ прежде былъ близокъ, такъ что осталось тайной — освѣтилась ли ранняя его юность любовію къ женщинѣ, или же прошла она, совсѣмъ не испытавъ этого чувства. Какъ бы то ни было, но юность его прошла безъ разсвѣта, безъ яркой утренней зори, предвѣстницы роскошнаго лѣтняго дня; на эту безразсвѣтную жизнь часто и горько жалуется Никитинъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Сложившаяся такимъ образомъ жизнь уже имѣла сама въ себѣ источникъ будущихъ страданій: молодой человѣкъ

*) Инструментъ, очень любимый нашимъ духовенствомъ прежняго времени

развивался на счетъ одного ума; сердце черствѣло и замыкалось. А между тѣмъ, на сколько мы знали Никитина потомъ, натура его была очень многостороння; это была не вялая, бездушная натура, незнакомая ни съ какою страстью; страсть свѣтилась въ его большихъ глазахъ, которые очень часто возгорались ея пламенемъ. Но, не смотря на это, все-таки чувствовалось, что по натурѣ, по душѣ Никитина прошла когда-то сильная струя холода, оставившая въ ней на всю жизнь неизгладимый слѣдъ; она была постоянной помѣхой, по которой вспыхивающая въ душѣ его страсть никогда не разгоралась пламенемъ общаго пожара. Причины этого явленія, этой преждевременно развившейся рефлексіи, могли лежать и въ самой его натурѣ; но, главнѣйшимъ образомъ, онѣ развились подъ вліяніемъ домашняго и школьнаго воспитанія. Въ то время, т. е., въ 1841 году, когда Никитинъ поступилъ въ Воронежскую Духовную Семинарію, это учебное заведеніе, которое онъ всегда не любилъ, не могло похвалиться хорошимъ составомъ преподавателей: не было ни одного, который бы имѣлъ такое вліяніе на молодежь, какое имѣлъ нѣкогда Ставровъ на Серебрянскаго и его товарищей въ 30-хъ годахъ. Но семинарія еще была полна воспоминаніями о Серебрянскомъ: Кольцовъ, умершій въ 1842 году, былъ еще живымъ напоминаніемъ о преждевременно погибшемъ юношѣ, возбуждавшемъ восторгъ въ семинарской молодежи; огненныя статьи Бѣлинскаго, такъ близкаго къ Кольцову, читались съ жаромъ и чуть не заучивались наизусть; само семинарское образованіе, какъ ни плохо оно было въ то время, по своему отвлеченному направленію, способствовало къ развитію въ молодой даровитой натурѣ духа пытливости и рефлексіи; — однимъ словомъ, пребываніе въ Семинаріи, совпадающее съ умственнымъ движеніемъ тогдашняго времени, имѣло на Никитина громадное вліяніе. Это умственное движеніе, какъ извѣстно, произведено было Бѣлинскимъ.

Въ біографическомъ очеркѣ Никитина было бы неумѣстно распространяться о Бѣлинскомъ; но мы не можемъ пройти его молчаніемъ, потому что герой нашего разсказа былъ одинъ изъ многочисленнѣйшихъ его питомцевъ. Бѣлинскаго считаютъ родоначаль-

никомъ западниковъ, основателемъ отрицательнаго направленія въ нашей литературѣ и жизни; это не совсѣмъ вѣрно. Западники были у насъ и до Петра Великаго; западникомъ былъ самъ Петръ, Ломоносовъ, Карамзинъ и даже Пушкинъ. Самое глубокое отрицаніе темныхъ сторонъ нашей жизни внесли въ литературу не только эти лица, но такія, которыхъ никакъ нельзя упрекнуть въ нелюбви ко всему русскому, каковы: Екатерина II, Фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, этотъ истинный основатель, такъ называемаго, «славянофильскаго направленія», и Гоголь; отрицаніе темныхъ, вредящихъ естественному развитію народа, сторонъ нашей современной жизни легло и въ основаніе ученія славянофиловъ; ибо позитивизмъ, равносильный глубочайшему застою и неподвижности, восторгающійся ими по разнымъ побужденіямъ, только и могъ найти себѣ убѣжище въ такихъ литературныхъ органахъ, какъ «Сѣверная Пчела» Булгарина и «Маякъ» Бурачка. Бѣлинскій не былъ основателемъ западнаго направленія, а лишь журнальнымъ его выразителемъ, публицистомъ. Въ половинѣ 30-хъ годовъ, въ Москвѣ, изъ питомцевъ университета образовался кружекъ молодыхъ, образованныхъ и очень даровитыхъ людей, которыхъ соединили одинаковые стремленія и вкусы, — любовь къ искусствамъ, къ знанію, къ философіи, критическій анализъ самого себя и общественной жизни. Люди этого кружка, раздѣлившіеся позже на *западниковъ* и *славянофиловъ*, дали новый толчекъ нашему общественному развитію, поставили его на новый путь, по которому оно идетъ и до сихъ поръ. Но дѣятельность западниковъ (слѣдовательно и Бѣлинскаго) началась гораздо раньше. Передъ эпохой появленія Бѣлинскаго въ нашей общественной атмосферѣ было такъ тяжело и душно, что истинно удивляешься, чѣмъ дышалъ тогда мыслящій Русскій человѣкъ, и не удивляешься, что отъ ума было ему горе. Чтобы освѣжить воздухъ, понадобились новые идеалы, потребовалось, выражаясь словами Тургенева, сожженіе того, чему поклонялись; понадобилось отрицаніе пошлой жизни, могучимъ выразителемъ котораго былъ собственно не Бѣлинскій, а Гоголь. Отрицая свое (не всегда съ достаточнымъ основаніемъ и знаніемъ дѣла), Бѣлинскій указы-

валъ на европейскіе или, какъ онъ любилъ выражаться, на общечеловѣческіе, не всегда пригодные для насъ, идеалы, — это правда; но посмотрите, какимъ превосходнымъ орудіемъ онъ дѣйствовалъ! Стремленіе къ идеалу онъ проводилъ путемъ эстетическаго, глубокожизненнаго воспитанія, путемъ благоговѣйнаго уваженія къ наукѣ, знанію, путемъ, наконецъ, самаго внутренняго, культурнаго, такъ сказать, гуманизма, недостаткомъ котораго такъ страдало тогдашнее, а избыткомъ едва ли можетъ похвалиться теперешнее наше общество. Въ отрицаніи Бѣлинскаго нѣтъ и тѣни того, что мы замѣчаемъ у его незаконныхъ дѣтей, хотя законныхъ питомцевъ эпохи 48-го и слѣдующихъ годовъ, такъ называемыхъ *реалистовъ*, или — въ ихъ красномъ видѣ — *нигилистовъ*, доведшихъ отрицаніе до абсурда, до игры имъ, до презрѣнія всякой идеи, выходящей за уровень матеріальныхъ, насущныхъ потребностей. Отрицаніе Бѣлинскаго, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, непремѣнно должно было умѣряться направленіемъ, выразившимся потомъ въ «Русской Бесѣдѣ» и «Днѣ»; отрицаніе нигилистовъ доходило до невѣжества и до потрясенія основъ семейной жизни и благоустроеннаго общества. Но всякая школа, всякое направленіе имѣютъ свои неизбѣжныя крайности. Европеизмъ Бѣлинскаго съ презрѣніемъ отворачивался отъ окружающей его жизни, не хотѣлъ войти съ ней ни въ какую сдѣлку, не изучалъ ея и называлъ ее не иначе, какъ *грязной дѣйствительностію;* страстно, но отвлеченно любя простой народъ, онъ въ прикосновеніи къ нему чувствовалъ то же самое, т. е., если не отвращеніе, то какую-то брезгливую неловкость: ибо и въ жизни простаго народа прежде всего и больше всего бросалась ему въ глаза грязная дѣйствительность, о которой, если онъ и не кричалъ, такъ только потому, что нужно же было опереться на какой-нибудь свой идеалъ, нужно же было кого-нибудь любить. Но, полное любви и вѣры въ человѣка, направленіе Бѣлинскаго, не смотря на всѣ его крайности, должно было выработать изъ себя нѣчто глубокожизненное, что̀ и доказало позднѣйшее къ намъ время.

Молодой Никитинъ вполнѣ воспитался подъ вліяніемъ этого направленія; но оно, произведя въ немъ внутреннюю переработку,

внутренній душевный перестрой, направленный къ добру и красотѣ, вредно подѣйствовало на него всѣми своими крайностями. Въ семействѣ, гдѣ уже начиналась невзгода, молодой семинаристъ увидѣлъ одни бури и ураганы; онъ отвернулся отъ окружающаго міра безъ борьбы и еще болѣе спрятался въ самого себя; дѣйствительная жизнь стала ему противна своею *грязью,* т. е., своею прозаическою стороною. А между тѣмъ семейныя дѣла Никитиныхъ становились съ каждымъ днемъ все хуже. Ярмарочная торговля окончательно разрушилась, вмѣстѣ съ заводомъ; кое-какъ еще держалась свѣчная лавка подлѣ Смоленскаго собора. Отъ Спаса Никитины перешли на Кирочную улицу, гдѣ купили постоялый дворъ, довольно плохо обстроенный и расположенный совсѣмъ на неудобномъ мѣстѣ, — ближе къ центру города, чѣмъ къ его окраинамъ и далеко отъ базара. Дворъ отдавали въ аренду, а сами помѣщались въ ветхомъ флигелькѣ. Въ 1843 году Иванъ Саввичъ окончилъ философскій курсъ. Надобно было думать объ университетѣ, о которомъ давно мечтали отецъ и сынъ; но судьба опредѣлила иначе. Савва Евтѣичъ, не смотря на разстройство своихъ дѣлъ, хотѣлъ послать сына въ университетъ; но этому рѣшительно воспротивилась Прасковья Ивановна, на колѣняхъ умолявшая мужа не отправлять сына въ чужой городъ и убѣждавшая поскорѣе женить его и посадить въ лавку, но невѣсты не отыскалось, — и вотъ нашъ семинаристъ очутился за прилавкомъ. Какую роль игралъ самъ Никитинъ во всей этой исторіи и до какой степени она была полна трагизма, — мы не знаемъ. Наши отношенія къ Никитину были такого рода, что пишущему эти строки и на мысль не могло придти быть его біографомъ, стало быть не было надобности и распрашивать его о томъ періодѣ его жизни, о которомъ самъ поэтъ не любилъ распространяться, отдѣлываясь всегда общими мѣстами, если объ этомъ заходила рѣчь. Полгода сидѣлъ Иванъ Саввичъ въ лавкѣ, до смерти своей матери. Само собою разумѣется, что въ такое короткое время плохая торговля восковыми свѣчами могла только опротивѣть молодому человѣку, мечтавшему объ университетѣ и идеалахъ; полюбить и узнать торговое дѣло онъ не могъ. Смерть матери имѣла

роковое значеніе въ судьбѣ Ивана Саввича: отсюда начинается десятилѣтній, мрачный періодъ его жизни, поразительно бѣдный фактами, но исполненный борьбою и страданіями. Это десятилѣтіе представляетъ любопытнѣйшій предметъ для психологическихъ изслѣдованій; жаль только, что для этого нѣтъ достаточныхъ матеріаловъ. Объ этомъ періодѣ своей жизни Никитинъ не разъ говоритъ въ своихъ стихотвореніяхъ и въ письмахъ къ разнымъ лицамъ; но все это говорилось и писалось послѣ, въ болѣе счастливую пору, и, какъ къ прошедшему, относилось только лирически. Смерть жены глубоко поразила и Савву Евтѣича. Оставшись одинъ съ девятнадцати-лѣтнимъ сыномъ, котораго умъ и образованіе радовали его, но который, по взглядамъ, по образу своей жизни, былъ совершенно чуждъ ему, почти лишившись состоянія и почета и уже всякой нравственной поддержки, Никитинъ-отецъ не выдержалъ и запилъ — запилъ, какъ говорится, мертвую чашу. Никѣмъ и ничѣмъ нравственнымъ не воздерживаемый, видя, въ образѣ сына, безмолвный, но раздражающій его укоръ, Савва Евтѣичъ предался пьянству со всѣми ужасами страсти, извѣстной у насъ подъ именемъ запоя; эта страсть владѣла имъ двадцать лѣтъ и проводила его въ могилу. Ближайшимъ слѣдствіемъ пьянства было полнѣйшее разореніе Никитиныхъ. У нихъ только оставался скудный доходъ съ постоялаго двора, да свой уголъ. Правда, Иванъ Саввичъ выходилъ передъ большими праздниками торговать восковыми свѣчами на столахъ, разставленныхъ обыкновенно по Смоленской площади для продажи разныхъ вещей, какъ-то: свѣчъ, ладону, стеклянной посуды и проч.; но эта торговля доставляла ему самые ничтожные барыши и почти всегда сопровождалась нравственной пыткой. — «А! посмотрите, — вонъ ученый идетъ! Вонъ студентъ сидитъ за столикомъ, его благородіе, словно нашъ братъ-мужикъ!» кричала толпа зѣвакъ, большею частію мелкіе торговцы изъ мѣщанъ, частію кулаки, обычные дѣятели и ораторы на базарныхъ площадяхъ, указывая пальцами на молодаго Никитина, который естественно былъ имъ очень несимпатиченъ. Что было ему дѣлать, ему — двадцати-лѣтнему юношѣ! Изъ порядочной жизненной обстановки, изъ матеріальнаго довольства,

онъ вдругъ и разомъ окунулся въ бѣдность, въ нищенство. Отецъ пилъ и ничѣмъ не занимался. Отъ лѣности и отъ пьянства въ немъ развилось самое дикое самодурство, которое всею тяжестью обрушивалось на сынѣ. Какъ только хмѣль сбивалъ съ ногъ эту могучую натуру, Савва Евтѣичъ начиналъ кричать на весь домъ слѣдующія, или въ родѣ слѣдующихъ, слова:

— Иванъ Саввичъ! Подлецъ, такой-сякой! А кто далъ тебѣ образованіе и вывелъ въ люди? А? не чувствуешь! Не почитаешь отца? Не кормишь его хлѣбомъ! Вонъ изъ моего дома!....

И все, что̀ стояло на столѣ для потребы пьянаго человѣка, — огурцы, хлѣбъ, солонка, рюмка, стаканы, все это летѣло въ бѣднаго Ивана Саввича. И такъ каждый почти день! И неумолкаемо почти каждый день раздавались эти дикіе вопли! Бѣдность и нищета дошли до крайнихъ предѣловъ. Все, что̀ можно было прожить, прожито, — платье, вещи; все, что добывалось, шло на водку и дикія оргіи. Молодой Никитинъ потерялся и палъ духомъ. Предоставляемъ читателю судить о тогдашнихъ его страданіяхъ и просимъ тѣхъ, кто зналъ его впослѣдствіи, представить его себѣ за 10—15 лѣтъ, его, еще цвѣтущаго юношу, но блѣднаго, изможденнаго, съ усталостью и страданіемъ во взорѣ, одѣтаго почти въ рубище, — въ длинную потертую чуйку, и обутаго въ стоптанные дырявые сапоги! Страдающій, мечтающій, загнанный, часто голодный, сидѣлъ упыремъ этотъ юноша дома, или лежалъ на сѣновалѣ съ книгою въ рукахъ, или бродилъ по городу и его окрестностямъ безъ всякаго дѣла. Не разъ пробовалъ онъ предложить свои услуги въ качествѣ конторщика или прикащика тому и другому изъ воронежскихъ купцовъ, но всѣ эти попытки оставались безуспѣшными. Бѣдная одежда, образованная рѣчь, взоръ, исполненный мысли и огня, — все это, мы полагаемъ, для людей неразвитыхъ, хотя, можетъ быть, и добрыхъ, скорѣе служило признакомъ наслѣдственной отъ отца болѣзни просителя, скорѣе оправдывало поговорку «яблочко отъ яблонки не далеко падаетъ», хотя Иванъ Саввичъ никому не подалъ ни малѣйшаго повода къ подобному подозрѣнію, — чѣмъ могло возбудить къ нему сочувствіе. Еще прежде, при матери, Никитинъ просился

у родителей отпустить его изъ Воронежа въ другой какой-нибудь городъ, — зачѣмъ? онъ самъ не могъ отдать себѣ отчета. Его тогда не пустили; уѣхать теперь не было никакой возможности, да и жаль и не на кого было оставить отца, который начиналъ требовать за собою ухода. Прибавьте ко всему этому полнѣйшее одиночество, отсутствіе всякаго знакомства и безвыѣздную жизнь въ Воронежѣ, такъ какъ всѣ путешествія Никитина ограничивались единственною поѣздкою въ Задонскъ, за 84 версты отъ роднаго города. Мы не находимъ достаточно темныхъ красокъ, чтобы изобразить картину жизни молодаго человѣка въ эту эпоху. Богъ знаетъ, чѣмъ бы все это кончилось! Но могло кончиться очень печальнымъ, пожалуй, живымъ примѣромъ отца, если бы слѣдующій случай не потрясъ до глубины души Никитина. Шелъ онъ разъ по Садовой улицѣ, по направленію къ Чугунному кладбищу. Въ этомъ мѣстѣ улица довольно пустынна. Шелъ онъ въ своемъ бѣдномъ, нищенскомъ одѣяніи, опустивъ голову и устремивъ свой глубокій взоръ куда-то въ безпредѣльную даль. Что̀ говорилъ этотъ взоръ? Что̀ выражало его мускулистое, смуглое лицо? Надобно думать, что-нибудь глубоко-безотрадное и роковое. Но, спасеніе явилось!...

— Стой, молодецъ! раздался надъ его ухомъ незнакомый голосъ: — ты задумалъ что-то недоброе! Ты, знать, порѣшить себя хочешь, — либо утопиться, аль удавиться?... Иди же домой и помолись Богу.

Оказалось, что незнакомецъ, встрѣтившись съ Никитинымъ, былъ такъ пораженъ зловѣщимъ выраженіемъ лица его, что, отойдя нѣсколько шаговъ, оглянулся назадъ и рѣшился спасти его отъ задуманнаго, какъ онъ предполагалъ, самоубійства. Было ли нѣчто подобное на душѣ у Никитина, — это осталось его тайной. Считаемъ нужнымъ замѣтить, что разсказъ этотъ записанъ нами со словъ двоюродной сестры Ивана Саввича.

Проза жизни, *грязь дѣйствительности* спасли отъ неизбѣжной погибели Никитина. Онъ сталъ дворничать, т. е., разсчелъ арендатора, снимавшаго постоялый дворъ, и самъ началъ заниматься его содержаніемъ. Дворъ этотъ былъ одинъ изъ плохихъ и наиболѣе

отдаленныхъ отъ базара; на большой пріѣздъ народа не было никакой возможности разсчитывать; оставалось одно средство — привлечь ко двору извѣстныя партіи извощиковъ, обыкновенно односельчанъ, заслужить ихъ расположеніе. Никитинъ успѣлъ привлечь и заслужить расположеніе извощиковъ, которые обыкновенно называли его *Савельичемъ.* Но какихъ неусыпныхъ трудовъ, какой ужасной борьбы съ самимъ собою стоило это ученику Бѣлинскаго, все еще восторгавшемуся Пушкинымъ, Лермонтовымъ и Кольцовымъ, съ которыми онъ и теперь не переставалъ бесѣдовать въ своемъ кабинетѣ — сѣновалѣ! Содержатель постоялаго двора, Никитинъ и по наружности преобразился въ дворника: волосы подрѣзалъ въ кружокъ, сапоги надѣлъ съ голенищами до колѣнъ, лѣтомъ носилъ простую чуйку, а зимою нагольный тулупъ. Да иначе и быть не могло, такъ какъ самому приходилось во всякое время дня и ночи встрѣчать и провожать извощиковъ, выдавать имъ овесъ и сѣно, очень часто прислуживать имъ при ихъ трапезѣ и бѣгать въ кабакъ за водкой; очень часто самому приходилось для нихъ стряпать! На сколько мы знали Никитина, мы увѣрены, что эта трудовая жизнь до извѣстной степени его удовлетворяла и успокоивала; мало этого: она должна была доставлять ему нѣсколько отрадныхъ минутъ; онъ сталъ имѣть дѣло съ живыми людьми, онъ почувствовалъ благо независимости и нѣкотораго довольства. Явилась возможность выстроить небольшой деревянный флигель въ пять комнатъ, изъ которыхъ три оказалось возможнымъ отдать подъ постой одному изъ профессоровъ семинаріи, сожительство съ которымъ сдѣлало, по крайней мѣрѣ, то хорошаго, что внесло въ домъ, гдѣ царилъ прежде только хаосъ, нѣкоторую порядочность. Но съ другой стороны, внутреннее чувство требовало инаго, душа тосковала и томилась по чемъ-то; съ другой стороны, домашнія бури не утихали, а увеличивались съ каждымъ днемъ. По мѣрѣ улучшенія матеріальнаго благосостоянія возрастало безобразіе отца и его увѣренность, что онъ имѣетъ полное право безобразничать и жить чужимъ человѣкомъ въ домѣ, который онъ, однако же, называлъ своимъ; въ такой же мѣрѣ, т. е., сообразно этимъ притязаніямъ, возрастала и раздражительность Ивана Саввича.

Между отцомъ и сыномъ образовались странныя, прискорбныя отношенія, продолжавшіяся до смерти послѣдняго. Оба другъ друга любили, — мы имѣемъ на это тысячу доказательствъ, и оба другъ друга, каждый по своему, мучали. Когда Савва Евтѣичъ былъ въ трезвомъ состояніи, трудно было найти отца, который бы такъ кротко и любовно относился къ сыну; но зато надобно было поискать сына, который бы за подобное обращеніе отвѣчалъ такою суровостію и даже дерзостію. Когда старикъ бывалъ пьянъ и буйствовалъ, можно было удивляться кротости сына, ухаживающаго за нимъ, какъ за ребенкомъ, безъ всякой горечи и досады. На замѣчанія друзей своихъ о неровности обращенія съ отцомъ Никитинъ обыкновенно отвѣчалъ: «Что же дѣлать! Иначе я не могу». На совѣты — оставить отца, обезпечивъ его всѣмъ нужнымъ, переѣхать на особую квартиру, или же совсѣмъ выѣхать изъ города, онъ отвѣчалъ тѣмъ же *не могу,* прибавляя: «безъ меня онъ совсѣмъ пропадетъ». Не разъ покойный поэтъ говорилъ: «Я въ состояніи убить того, кто рѣшился бы обидѣть старика въ моихъ глазахъ; но когда онъ отрезвляется и смотритъ здравомыслящимъ человѣкомъ, вся желчь приливаетъ къ моему сердцу, и я не въ силахъ простить ему моихъ страданій». Добившись скуднаго матеріальнаго довольства, ограничивающагося однимъ насущнымъ хлѣбомъ, могъ ли Никитинъ остановиться на этомъ и не желать знанія, не стремиться къ удовлетворенію присущей ему поэтической способности? Конечно, не могъ, какъ человѣкъ даровитый, прошедшій школу, слѣдовательно знакомый съ умственнымъ трудомъ. Вотъ что̀ говоритъ самъ Никитинъ въ одномъ изъ писемъ объ этомъ періодѣ своей жизни:

«Любовь къ родной литературѣ, къ родному русскому слову не угасала во мнѣ среди новой, совершенно незнакомой мнѣ дѣятельности. Окруженный людьми, лишенными малѣйшаго образованія, не имѣя руководителей, не слыша разумнаго совѣта, за что и какъ мнѣ нужно взяться, я бросался на всякое сколько-нибудь замѣчательное произведеніе, бросался и на посредственное, за неимѣніемъ лучшаго. Продавая извощикамъ овесъ и сѣно, я обдумывалъ прочитанныя мною и поразившія меня строки, обдумывалъ ихъ въ грязной избѣ,

нерѣдко подъ крикъ и пѣсни разгулявшихся мужичковъ. Сердце мое обливалось кровью отъ грязныхъ сценъ; но съ помощію доброй воли я не развратилъ своей души. Найдя свободную минуту, я уходилъ въ какой-нибудь отдаленный уголокъ моего дома. Тамъ я знакомился съ тѣмъ, что составляетъ гордость человѣчества, тамъ я слагалъ скромный стихъ, просившійся у меня изъ сердца. Все написанное я скрывалъ, какъ преступленіе, отъ всякаго посторонняго лица, и съ разсвѣтомъ сожигалъ строки, надъ которыми я плакалъ во время безсонной ночи. Съ лѣтами любовь къ поэзіи росла въ моей груди, но вмѣстѣ съ нею росло и сомнѣніе: «есть-ли во мнѣ хотя искра дарованія?» — «Если бы вы знали, пишетъ Никитинъ въ другомъ письмѣ, какія сцены окружали меня съ дѣтства, какая мелочная, но тѣмъ не менѣе страшная драма разыгрывалась передъ моими глазами, драма, гдѣ мнѣ доводилось играть роль, возмущавшую меня до глубины души!» — Но, повторяемъ, человѣкъ былъ спасенъ, хотя страшно поплатился за свое спасеніе. Къ концу этого періода судьба послала Никитину утѣшеніе: онъ подружился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, Иваномъ Ивановичемъ Дураковымъ, нижнедѣвицкимъ мѣщаниномъ; сходство семейнаго положенія ихъ сблизило; любовь къ чтенію скрѣпила ихъ отношенія. Дураковъ былъ первымъ слушателемъ литературныхъ произведеній Никитина, первымъ человѣкомъ, которому онъ вполнѣ довѣрился. Смерть Дуракова, послѣдовавшая въ 1856 г. отъ чахотки, т. е., въ то время, когда у Никитина были уже другія связи и иныя дружественныя отношенія, глубоко его поразила. Вотъ что онъ писалъ къ Второву въ день извѣстія о смерти Дуракова: «Простите, что не зашелъ къ вамъ отъ князя*). Только успѣлъ выйти изъ его воротъ, какъ знакомый купецъ сообщилъ мнѣ новость, что мой другъ, извѣстный вамъ Дураковъ, умеръ. Это меня такъ поразило, что я и теперь не соберу мыслей. Ради Бога, простите!»

Не безъ вліянія и одобренія Дуракова Никитинъ осмѣлился послать нѣкоторыя изъ своихъ стихотвореній въ редакціи тогдашнихъ журналовъ, ожидая съ нетерпѣніемъ рѣшенія своей участи въ ро-

*) Ю. А. Долгорукова, тогдашняго Воронежскаго губернатора.

ковомъ для него вопросѣ о поэтическомъ дарованіи; но журналы хранили упорное молчаніе, увеличивавшее муки бѣднаго поэта-дворника. Мы убѣждены, что посланныя Никитинымъ стихотворенія были недурны и во всякомъ случаѣ годны для печати; но они не появились въ свѣтъ, во-первыхъ, потому, что еще сильна была паника, нагнанная Бѣлинскимъ на всѣхъ стихотворцевъ вообще, и на журналистовъ тѣмъ паче, а во-вторыхъ, журналисты и редакторы, по всей вѣроятности, и не прочитывали стихотвореній какого-то Никитина, сваливъ ихъ въ редакторскую Лету, — какъ это водилось и водится зачастую и теперь. Не удалось въ столичныхъ изданіяхъ, надобно попробовать въ своемъ мѣстномъ, — разсуждали наши друзья, — и вотъ въ октябрѣ 1849 года они послали въ редакцію «Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» два стихотворенія: «Лѣсъ» и «Дума». Вышелъ 45 № этой газеты 5-го ноября, въ которомъ отъ имени редактора было сказано слѣдующее: — «На дняхъ присланы намъ отъ неизвѣстнаго лица, при письмѣ, подписанномъ буквами И. Н., два стихотворенія, которыя мы, по прочтеніи, нашли такъ замѣчательными, что готовы были на этотъ разъ, изъ уваженія къ дарованію, отступить отъ принятой нами программы и помѣстить ихъ въ нашей газетѣ. Единственное препятствіе, которое удерживаетъ насъ, — это незнаніе нами имени автора!» Отзывъ былъ очень лестный и одобряющій, тѣмъ болѣе, что тогдашняя редакція Воронежскихъ Вѣдомостей, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежала къ числу лучшихъ въ Россіи: редакторомъ былъ В. А. Срединъ, кандидатъ Петербургскаго Университета, а сотрудниками, давшими тонъ и направленіе газетѣ, Н. И. Второвъ и К. О. Александровъ-Дольникъ. Отзывъ былъ благопріятный; на мнѣніе редакціи положиться было можно; но бѣда въ томъ, что программа Губернскихъ Вѣдомостей не допускала въ эту газету стихотвореній. Что же было дѣлать! Вѣрнѣе всего слѣдовало бы открыть свое имя и воспользоваться совѣтами умной редакціи: такъ Никитинъ-семинаристъ, еще мечтавшій объ университетѣ, по всей вѣроятности, и сдѣлалъ бы; но Никитинъ-дворникъ, значительно одичавшій и потерявшій вѣру въ себя, такъ сдѣлать уже не могъ,

не смотря на то, или, можетъ потому именно, что все сильнѣе и сильнѣе развивалось въ немъ поэтическое призваніе и серьезнѣе понималась его задача. Прошло еще четыре года неизвѣстности, сомнѣній, борьбы съ самимъ собою и съ обстоятельствами житейскими. Но вотъ наступилъ 1853 годъ; грянули громы Крымской войны, болѣзненно отозвавшіеся въ русскомъ сердцѣ; народный духъ, послѣ долгаго усыпленія, воспрянулъ; — все оживилось! Суждено было ожить и даже сдѣлаться извѣстнымъ и воронежскому дворнику. — Его, человѣка совершенно русскаго, человѣка образованнаго, охватило всего своимъ жгучимъ пламенемъ патріотическое чувство. — Онъ беретъ перо и пишетъ стихотвореніе «Русь», — лучшее поэтическое произведеніе того времени въ патріотическомъ родѣ. — Дураковъ былъ первымъ его читателемъ. По совѣту Дуракова, пишется письмо къ редактору и, кромѣ «Руси», посылаются къ нему два другихъ стихотворенія: — «Поле» и «Съ тѣхъ поръ, какъ міръ нашъ необъятный». — Дураковъ вызывается нести въ редакцію эту роковую посылку, отъ которой зависѣло — быть или не быть. Вотъ письмо Никитина къ редактору «Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей:»

«Милостивый Государь

Валентинъ Андреевичъ!

«Назадъ тому четыре года, при письмѣ, подписанномъ буквами И. Н., я посылалъ вамъ два стихотворенія для напечатанія въ издаваемой вами газетѣ. Вы были такъ снисходительны, что нашли въ нихъ нѣкоторыя достоинства, и единственное препятствіе къ ихъ печатанію заключалось, по вашимъ словамъ, въ неизвѣстности имени автора.

«Въ настоящее время, не считая нужнымъ скрывать свое имя, я осмѣливаюсь обратиться къ вамъ съ подобною же просьбой. Вотъ причина моей новой просьбы. — Я увѣренъ, что она не покажется вамъ смѣшною, потому что я знаю васъ, хотя по отзывамъ другихъ, съ одной стороны, какъ человѣка отлично образованнаго, а съ другой, какъ человѣка въ высшей степени благороднаго.

«Я здѣшній мѣщанинъ. Не знаю, какая непостижимая сила влечетъ меня къ искуству, въ которомъ, можетъ быть, я ничтожный ремесленникъ! Какая непонятная власть заставляетъ меня слагать задумчивую пѣснь, въ то время, когда горькая дѣйствительность окружаетъ жалкою прозою мое одинокое, незавидное существованіе! Скажите, у кого мнѣ просить совѣта и въ комъ искать теплаго участія? Кругъ моихъ знакомыхъ слишкомъ ограниченъ и составляетъ со мною рѣшительный контрастъ во взглядахъ на предметы, въ понятіяхъ и желаніяхъ. Быть можетъ, мою любовь къ поэзіи и мои грустныя пѣсни вы назовете плодомъ раздраженнаго воображенія и смѣшною претензіею выйти изъ той сферы, въ которую я поставленъ судьбою. Рѣшеніе этого вопроса я предоставляю вамъ, и скажу откровенно, буду ожидать этого рѣшенія не совсѣмъ равнодушно: оно покажетъ мнѣ или мое значеніе, или мою ничтожность, мое нравственное — быть или не быть?

«Какое бы ни было мое званіе, я увѣренъ, оно не будетъ служить цѣлью для вашихъ сарказмовъ, причина этому — свойственное вамъ благородство и безусловная къ вамъ довѣренность человѣка, не имѣющаго ни сильныхъ покровителей, ни случайныхъ связей.

«Съ просьбою о напечатаніи своихъ стихотвореній въ одномъ изъ современныхъ журналовъ я не обращаюсь къ кому-либо по своей неизвѣстности и неувѣренности въ силѣ своего дарованія. Пусть прежде вашъ высоко цѣнимый мною приговоръ рѣшитъ однажды навсегда: смѣшонъ или нѣтъ мой трудъ, который я называю своимъ призваніемъ.

«Могутъ ли быть приложенныя здѣсь стихотворенія по своему достоинству помѣщены въ вашей газетѣ (*напр.:* въ Смѣси, или гдѣ вамъ угодно), — я полагаюсь на вашъ просвѣщенный взглядъ и съ глубочайшимъ уваженіемъ ожидаю вашего суда. И. Никитинъ».

12-го Ноября, 1853 г.
Воронежъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

И. И. Второвъ. — Преимущества Воронежа противъ другихъ губернскихъ городовъ. — Записка Второва о Никитинѣ. — Первое время литературной извѣстности поэта въ Воронежѣ и за его предѣлами. — Заочныя знакомства. — Новость положенія. — Первое изданіе стихотвореній. — Литературныя работы. — Матеріальное довольство. — Нравственное перерожденіе Никитина. — Картина литературныхъ вечеровъ въ Никитинскомъ домикѣ.

Мы напечатали письмо Никитина къ редактору Воронежскихъ Вѣдомостей безъ малѣйшихъ перемѣнъ и поправокъ въ орѳографіи и слогѣ. Какъ въ 1861 году, при составленіи «Дневника Семинариста», такъ и задолго до своей извѣстности, Никитинъ владѣлъ изящною прозаическою рѣчью и писалъ безукоризненно правильно, — условія, встрѣчаемыя у насъ только въ человѣкѣ высокаго образованія, въ литераторѣ. И между тѣмъ такъ пишетъ мѣщанинъ, содержатель постоялаго двора, когда другой воронежскій мѣщанинъ, Кольцовъ, писалъ какими-то каракульками самымъ безграмотнѣйшимъ образомъ! Отсюда, между прочимъ, начинаются сближенія Никитина съ Кольцовымъ, сближенія совершенно внѣшнія и, какъ уже замѣчено, вначалѣ повредившія Ивану Саввичу; Никитинъ не только не былъ Кольцовымъ, но долгое время не могъ быть и самимъ собою. Можно было быть увѣреннымъ, что стихотвореніе «Русь» появилось бы не только въ Воронежскихъ Вѣдомостяхъ, но и въ любомъ столичномъ періодическомъ изданіи того времени; несомнѣнно, что его встрѣтили бы съ тѣмъ же восторгомъ, съ какимъ оно и было встрѣчено; теплый привѣтъ со стороны такихъ писателей, какъ А. Н. Майковъ и И. И. Введенскій, и таковой же отъ журналистовъ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ бы наградой нашему

поэту, и имя его, быть можетъ, мы еще чаще бы встрѣчали на страницахъ петербургскихъ и московскихъ изданій; — это такъ! Но Никитина, того Никитина, который честно прошелъ свой недолгій жизненный путь, могло бы и не быть: дворнику-Никитину нужно было перерожденіе къ жизни новой, могущее совершиться только подъ вліяніемъ человѣка, сердечно его любящаго и глубоко ему преданнаго. Не знаемъ, что подумалъ читатель, но когда мы въ первый разъ прочитали письмо Никитина къ Средину, намъ почему-то пришелъ на память Бѣлинскій, лично намъ незнакомый. На это письмо-исповѣдь нельзя было отвѣчать любезнымъ, даже теплымъ письмомъ; если письмомъ отвѣчать, то надобно, чтобы строки его горѣли чувствомъ; если не письмомъ, а живымъ словомъ, — надобно, чтобы не языкъ и голова, а душа въ немъ говорила! Но всякій ли на это способенъ, да и въ правѣ ли кто бы то ни былъ заявлять подобныя требованія отъ людей? Къ счастію Никитина, такой человѣкъ нашелся въ Воронежѣ: это былъ Николай Ивановичъ Второвъ. Жизнь Второва разсказана нами въ другомъ мѣстѣ *). Это былъ одинъ изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые, къ сожалѣнію, такъ рѣдко встрѣчаются въ нашихъ провинціальныхъ городахъ, чрезвычайно бѣдныхъ литературными и вообще умственными интересами. Въ столицахъ, и отчасти въ университетскихъ городахъ, люди, подобные Второву, мало замѣтны. Настоящее мѣсто ихъ дѣятельности тамъ, гдѣ въ обществѣ не замѣчается никакихъ признаковъ умственной жизни: тамъ они прогоняютъ спячку, отыскиваютъ какіе-нибудь мѣстные интересы, возбуждаютъ къ нимъ сочувствіе и, во имя ихъ, собираютъ около себя кружки даровитыхъ и образованныхъ людей. Такіе кружки начали появляться у насъ съ конца прошлаго столѣтія. Въ столицахъ они не переводились до начала 40-хъ годовъ: довольно указать на кружки: Веневитинова, Станкевича, Бѣлинскаго, Славянофильскій и т. п. Въ провинціальныхъ городахъ они также встрѣчались: такъ, отецъ Второва, одинъ изъ замѣчательныхъ людей своего времени, былъ членомъ подобнаго кружка, существовавшаго

*) См. „Русскій Архивъ“ 1877 года, книга 11-я.

въ Симбирскѣ еще въ концѣ прошлаго вѣка *). Но ни одинъ изъ провинціальныхъ кружковъ не заявилъ такъ громко о своемъ существованіи и не оставилъ такихъ живыхъ и прочныхъ слѣдовъ на мѣстѣ, какъ кружокъ Второвскій. Окончивъ курсъ въ Казанскомъ университетѣ почти мальчикомъ, Второвъ началъ свою службу въ Казани, сначала въ канцеляріи губернатора, потомъ при университетской библіотекѣ. Служебныя занятія соединялись у него одновременно съ научными и литературными: онъ доканчивалъ свое образованіе, былъ редакторомъ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей и усердно занимался собираніемъ историческихъ и этнографическихъ свѣдѣній, относящихся до Казанской губерніи. Путешествіе по Остзейскому краю, сдѣланное имъ въ 1842 г., еще болѣе усилило въ немъ склонность къ изученію мѣстныхъ особенностей: наши прибалтійскіе Нѣмцы, въ этомъ отношеніи, могли служить образцомъ для всякаго. Второвъ переѣхалъ въ Воронежъ изъ Петербурга (1849) и поступилъ на службу совѣтникомъ губернскаго правленія. Почти одновременно съ нимъ явился въ Воронежъ также изъ Петербурга и поступилъ товарищемъ предсѣдателя гражданской палаты товарищъ его по университету, другъ и близкій родственникъ по женѣ, К. О. Александровъ-Дольникъ, молодой человѣкъ съ тѣмъ же направленіемъ и вкусами. Второвъ и Дольникъ рѣзко отличались отъ образованной молодежи тогдашняго времени, не умѣвшей къ чему приложить знанія, выносимыя ею изъ университетовъ. Образованность ихъ была самобытна, съ научнымъ направленіемъ и ничего диллетантическаго въ себѣ не имѣла; она опиралась не на журналистику, а на серьезное знакомство съ французской и нѣмецкой литературой. Поселившись въ Воронежѣ, Второвъ и Дольникъ все свое свободное отъ служебныхъ занятій время тотчасъ же посвятили мѣстной археологіи, статистикѣ и этнографіи. Они отыскали древніе акты, начали приводить ихъ въ порядокъ и готовить къ печати; они дѣлали поѣздки по губерніи съ этнографическою цѣлію; они искали знакомства съ людьми, которые если не занимались, то были спо-

*) Объ Н. А. Второвѣ см. нашу статью „Отецъ и Сынъ“ въ „Рус. Вѣстникѣ“ 1875 г., кн. IV — IX.

собны къ подобнымъ занятіямъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи, т. е., въ умѣньи ихъ находить людей и возбуждать ихъ къ умственной дѣятельности, они обнаружили рѣдкія способности: только что кончившіе курсъ университетскіе студенты, учители кадетскаго корпуса, гимназіи, семинаріи, священники, даже учители рисованія и фотографы, — все это, всѣ и каждый несъ свою дань изученію мѣстности, чѣмъ кто могъ, — статьями, замѣтками, рисунками и т. п. Воронежскія Губернскія Вѣдомости сдѣлались органомъ этихъ мѣстныхъ тружениковъ, далеко, впрочемъ, не исчерпавшимъ всѣхъ ихъ работъ. Въ квартирѣ Второва всѣ эти люди сходились, собирались за-просто, когда кто хотѣлъ, безъ особо-назначенныхъ для этого вечеровъ. Здѣсь разсуждали объ этихъ маленькихъ мѣстныхъ интересахъ, составляли планы новыхъ работъ, читали новыя замѣчательныя вещи. Необыкновенное добродушіе и простота въ обращеніи хозяина привлекали къ нему каждаго и ободряли людей самыхъ робкихъ и застѣнчивыхъ. Дольникъ недолго прожилъ въ Воронежѣ; поэтому кружокъ людей, собиравшихся около него и Второва, удержалъ названіе только по имени послѣдняго, что совершенно справедливо: Второвъ прожилъ въ Воронежѣ до 1857 г.; отношенія къ нему Никитина перешли въ дружескія уже по отъѣздѣ Дольника, котораго совсѣмъ не знали нѣкоторые изъ друзей Никитина. Но, отзываясь такимъ образомъ о Второвѣ, мы были бы несправедливы, если бы умолчали о томъ, что само время и мѣстность, гдѣ пришлось ему дѣйствовать, представляли самыя благопріятныя условія для дѣятельности подобнаго рода. Время конца 40-хъ и первой половины 50-хъ годовъ неоспоримо самое мрачное въ нашей новѣйшей исторіи, и по этому поводу очень много писалось и пишется. Но весьма мало говорится о томъ, что это *мрачное* десятилѣтіе, это *Николаевское время,* рѣзко отличается отъ позднѣйшей, дѣйствительно, *свѣтлой эпохи* императора Александра II-го однимъ великимъ преимуществомъ, — умственною зрѣлостію и культурностію молодежи, выходившей тогда изъ высшихъ учебныхъ заведеній. Степень этой зрѣлости, конечно, не обусловливалась ни мракомъ, ни всякаго рода умственнымъ давленіемъ (какъ ломка тогдашнихъ гимназій и уни-

верситетовъ); но результаты того и другаго обнаружились гораздо позже, именно, въ самый разгаръ великихъ преобразованій покойнаго Государя: потрясенныя школы не могли дать лучшихъ результатовъ. Въ Воронежѣ въ концѣ 40-хъ и въ началѣ 50-хъ годовъ было уже гораздо больше, чѣмъ прежде, молодыхъ людей съ высшимъ образованіемъ, служившихъ большею частію или при губернаторѣ, или въ его канцеляріи; но это было общимъ явленіемъ во всѣхъ губернскихъ городахъ, послѣ запрещенія молодымъ людямъ, оканчивавшимъ университетскіе курсы, начинать государственную службу въ столицахъ. Истиннымъ преимуществомъ Воронежа передъ другими губернскими городами былъ кадетскій корпусъ, открывшійся въ этомъ городѣ въ 1845 году, при условіяхъ чрезвычайно благопріятныхъ. Первый директоръ (А. Д. Винтуловъ) и первый инспекторъ (В. А. Половцевъ) воронежскаго корпуса были люди весьма умные, образованные, глубоко уважавшіе педагогическую и научную дѣятельность; инспекторъ Половцевъ, по словамъ лицъ, хорошо его знавшихъ, былъ, къ тому же, отличнымъ педагогомъ, совершенно въ нѣмецкомъ родѣ. У такихъ руководителей была невозможна никакая спячка, — ни служебная, ни педагогическая: вотъ источникъ, откуда беретъ свое начало замѣчательный въ своемъ родѣ персоналъ воронежскихъ корпусныхъ педагоговъ, замѣчательный именно въ томъ же родѣ дѣятельности, въ какой заявили себя Второвъ и Дольникъ. Отсюда понятно большее тяготѣніе послѣднихъ къ кадетскому корпусу, чѣмъ къ гимназіи; этимъ же объясняется и тотъ восторженный пріемъ, съ какимъ были встрѣчены въ корпусѣ первыя стихотворенія Никитина. Одинъ изъ корпусныхъ педагоговъ, Н. С. Тарачковъ, натуралистъ, ученикъ Рулье, Фишера и Щуровскаго, въ дѣлѣ изученія Воронежской губерніи, съ естественно-научною цѣлію, даже предупредилъ дѣятельность двухъ друзей, начавши свои экскурсіи по губерніи съ 1846 г. Но это только способствовало къ сближенію ихъ съ г. Тарачковымъ, по никому и ничему не мѣшало. У Н. С. Тарачкова былъ отчасти свой кружокъ, музыкальный, котораго не чуждались Второвъ и Дольникъ, какъ не чуждался, а напротивъ все болѣе сближался съ Второвымъ и корпусный нату-

ралистъ. Но Второвскій кружокъ, однако, не имѣлъ въ себѣ ничего педантическаго; онъ не состоялъ изъ людей только пишущихъ, собирающихъ матеріалы, рисующихъ и т. п.: въ него былъ свободный доступъ всѣмъ хорошимъ, образованнымъ и мыслящимъ людямъ, изъ него были изгнаны карты. Словомъ, все, что было въ Воронежѣ мыслящаго, Второвъ съумѣлъ соединить вокругъ себя, съумѣлъ воодушевить и подвинуть на работу. Онъ не давилъ своимъ авторитетомъ, какъ это нерѣдко бываетъ въ людяхъ подобнаго положенія: при немъ легко и свободно всѣмъ дышалось. Только такой добродушный и прямой человѣкъ, какъ Второвъ, могъ полюбить Никитина такъ братски, такъ нѣжно!

Вскорѣ послѣ смерти Никитина, когда возникла мысль объ изданіи его сочиненій, мы съ Второвымъ условились: мнѣ писать біографію, а ему набросать свои воспоминанія о Никитинѣ, пополнивъ ихъ выписками изъ его писемъ (числомъ 120 №№). Многосложныя занятія по службѣ, по должности вице-директора Хозяйственнаго Департамента въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, долго мѣшали Второву исполнить это намѣреніе; впрочемъ, и спѣшить не было причины, ибо мы, друзья Никитина, не имѣли возможности издать его сочиненія. Но когда въ Апрѣлѣ 1865 года первый издатель Никитина обязательно и безкорыстно предложилъ свои услуги, Второвъ, какъ бы въ предчувствіи близкой смерти, прислалъ ко мнѣ всѣ письма Никитина и объяснительную къ нимъ записку: мы говоримъ, — въ предчувствіи, ибо свойственная ему деликатность и скромность долгое время не позволяли ему согласиться прислать къ намъ для просмотра письма Никитина. «Я увѣренъ, пишетъ Второвъ въ своей запискѣ, что внутреннее чувство и тактъ укажутъ вамъ, что именно въ этихъ бумагахъ можетъ быть обнародовано и о чемъ должно быть умолчано. Собственно въ отношеніи меня я желалъ бы, чтобы моя личность, при выпискахъ изъ нихъ, оставалась совершенно въ сторонѣ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда почему-либо неизбѣжно было бы нужно упомянуть о ней, то ограничиться одними начальными буквами (В. или Н. И. В.), какъ и о всѣхъ еще живыхъ лицахъ». Вотъ вступительныя слова записки Второва:

«Съ первой поры моего знакомства съ Никитинымъ я привязался къ нему всей душею. Я полюбилъ въ немъ просто человѣка, человѣка съ благороднѣйшею душею, съ тонкимъ, изящнымъ чувствомъ, какого рѣдко встрѣтить не только въ той средѣ, въ которой онъ воспитывался, но даже и въ такъ называемой благовоспитанной.

«Мнѣ всегда казалось, — не смотря на то, что я былъ старше его лѣтъ на восемь, — что я переживу его и мнѣ прійдется когда-нибудь, если не быть его біографомъ, то, по крайней мѣрѣ, отдать отчетъ о личныхъ отношеніяхъ моихъ къ этому, во всякомъ случаѣ замѣчательному человѣку, съ которымъ судьба связала меня такою тѣсною дружбою. Вотъ почему я тщательно сберегалъ всѣ, даже ничтожныя записки его ко мнѣ, письма и другія бумаги, которыя могли сколько-нибудь характеризовать его.

«Предчувствіе мое сбылось. Вотъ уже болѣе трехъ съ половиною лѣтъ *), какъ не стало Никитина. Потеря его до сихъ поръ съ болью отзывается въ моемъ сердцѣ.... Умирая, онъ завѣщалъ мнѣ издать его сочиненія, съ тѣмъ, чтобы вырученную отъ продажи ихъ сумму употребить на какое-либо доброе дѣло **). Теперь, благодаря великодушному предложенію одного изъ почитателей таланта покойнаго Никитина, представляется возможность исполнить его волю».

Но обратимся къ Никитину. Болѣе, чѣмъ не совсѣмъ равнодушно, ожидалъ онъ рѣшенія своей участи. Что-то будетъ! думалъ бѣдный молодой человѣкъ; и мы имѣемъ право предполагать, что надежда едва ли улыбалась ему въ эти тревожныя минуты... Но,— о, радость! къ нему является незнакомый гость и зоветъ его къ Второву, къ тому Второву, котораго не могъ не знать Никитинъ по слуху, не могъ не знать отношенія его къ Губернскимъ Вѣдомостямъ. Но пусть лучше говоритъ самъ Второвъ:

«Не помню, въ тотъ же, или на другой день, какъ Иванъ Саввичъ прислалъ свое письмо къ редактору Губернскихъ Вѣдомостей

*) Записка писана 20-го Мая 1865 года.

**) По смерти Второва, эту обязанность принялъ на себя душеприказчикъ Никитина.

г. Средину, гласный Думы Н. Н. Рубцовъ, вызвавшійся непремѣнно розыскать автора письма, пріѣхалъ съ нимъ ко мнѣ вечеромъ. Я жилъ тогда близъ церкви Воскресенья, въ домѣ Михнева. Изъ оконъ моей квартиры, во 2-мъ этажѣ, открывался великолѣпный видъ на зарѣчную сторону, описанный во вступленіи къ «Кулаку». Блѣдный, худощавый, выглядывавшій какъ-то изъ подлобья, въ длинномъ сюртукѣ, Иванъ Саввичъ робко слѣдовалъ за Рубцовымъ, и когда послѣдній съ торжествомъ объявилъ, что это тотъ самый Никитинъ, съ которымъ я желалъ познакомиться, — онъ, словно подсудимый, призванный къ отвѣту, сталъ извиняться, что позволилъ себѣ такую дерзость (т. е., написать письмо) и проч. Насилу могъ я усадить его; но и затѣмъ, какъ только начиналъ я говорить съ нимъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ, и немалыхъ усилій стоило мнѣ уговорить его вести разговоръ со мною сидя. Изъ разговора нашего, который скоро обратился къ литературѣ, оказалось, что Иванъ Саввичъ много читалъ, но много такъ же оставалось ему еще неизвѣстнымъ. Онъ съ радостію принялъ предложеніе мое пользоваться небольшею моею библіотекою, и на первый же разъ запасся, помнится, «Давидомъ Копперфильдомъ» Диккенса. Рубцовъ, посидѣвъ нѣсколько времени, удалился; за нимъ хотѣлъ-было подняться и Никитинъ, но я удержалъ его. Между тѣмъ подошелъ вскорѣ К. О. Александровъ-Дольникъ. Бесѣда наша продолжалась довольно долго, и онъ разстался съ нами не такимъ букой, какимъ пришелъ! Тѣмъ не менѣе, въ началѣ, не легко-таки было залучать его къ себѣ. У меня и Константина Осиповича, по одному разу въ недѣлю, собирались короткіе наши знакомые, не для карточной (столь обыкновенной въ нашей общественной жизни) бесѣды, а для простой. Само собою разумѣется, что мы оба тотчасъ же предложили Никитину бывать у насъ въ эти дни. Какъ ни чужды были всякаго этикета наши вечеринки, Иванъ Саввичъ все таки сначала дичился, и нужно было каждый разъ повторять приглашеніе, чтобы видѣть его у себя; въ другое время приходить къ намъ запросто сталъ онъ уже спустя довольно долго послѣ первзаго нашего знакомства. Хотя вообще мы скоро сблизились съ Иваномъ Саввичемъ, со мною въ особенности (такъ какъ

Константинъ Осиповичъ еще лѣтомъ 1854 года переселился изъ Воронежа въ Москву) личныя отношенія перешли въ дружескія; но онъ продолжалъ соблюдать нѣкоторыя церемонности.

«Никитинъ не замедлилъ, по просьбѣ нашей, познакомить насъ съ своими стихотвореніями. Онъ принесъ намъ сначала небольшую тетрадь, въ которой заключалось десятка два стихотвореній, а потомъ еще нѣсколько другихъ. Бо́льшая часть ихъ, въ исправленномъ отчасти видѣ, вошла въ изданіе гр. Толстаго (первыя 42 стихотворенія). Мало-по-малу появлялись у него новыя произведенія, и все написанное онъ спѣшилъ давать намъ для прочтенія. Едва ли не первое изъ такихъ стихотвореній было написано имъ по слѣдующему случаю. Вскорѣ послѣ напечатанія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ «Руси», не помню, кто-то передалъ мнѣ написанный однимъ гимназистомъ (кажется, знаменитымъ въ послѣдствіи В—іемъ С—скимъ) разборъ этого стихотворенія. Статейка была очень глупенькая и даже пошленькая. Никитинъ, которому я показалъ ее, искренно смѣялся надъ нею; но, тѣмъ не менѣе, она задѣла его за живое, и на другой же день онъ принесъ написанное имъ стихотвореніе: «Задумчивый пѣвецъ въ пустынѣ неизвѣстной», въ послѣдствіи передѣланное въ изданіи 1859 года.

«Посѣщая меня и Константина Осиповича, Никитинъ познакомился съ нашимъ кружкомъ, всего же болѣе сошелся онъ съ Александромъ Петровичемъ Нордштейномъ, человѣкомъ отличнѣйшей души, скромнымъ, благороднымъ, честнымъ, какихъ трудно встрѣтить на мѣстѣ, которое онъ занималъ тогда (непремѣн. членъ Строительной и Дорожной Коммиссіи). Никитинъ началъ бывать у Нордштейна, и только ограничился этими тремя домами, — т. е., моимъ, К. О. Дольника и Нордштейна. Въ послѣдствіи, чрезъ Нордштейна Никитинъ познакомился съ его родственниками — Плотниковыми, къ которымъ часто ѣзжалъ потомъ гостить въ деревню. Чрезъ Плотниковыхъ Иванъ Саввичъ познакомился съ игуменіею Воронежскаго Дѣвичьяго монастыря Смарагдою*), сестрою бывшаго

*) Умершею въ 1866 году въ преклонной старости.

Воронежскаго губернатора Д. Н. Бѣгичева*), которая всегда питала къ нему большое уваженіе.

«Между тѣмъ стихотворенія Никитина распространялись по городу въ рукописяхъ и пріобрѣтали ему большую и большую извѣстность. Многіе стали искать случая познакомиться съ нимъ. Между прочими выразила желаніе видѣть Никитина супруга тогдашняго губернатора княгиня Е. Г. Долгорукая, и, по ея просьбѣ, я въ первый разъ привезъ къ ней Ивана Саввича. Она сдѣлалась одною изъ ревностнѣйшихъ почитательницъ его таланта (особенно нравились ей стихотворенія религіознаго содержанія — «Моленіе о Чашѣ», «Сладость молитвы» и пр.), заставляла переписывать для себя его стихотворенія, читала ихъ всѣмъ и каждому, и очень любила, когда ихъ читали ей вслухъ. Послѣ перваго посѣщенія Никитина, она неоднократно приглашала его къ себѣ по вечерамъ и вообще оказывала ему много вниманія: такъ, она подарила ему прекрасный эстампъ «Моленіе о чашѣ» (съ картины Бруни) и нѣсколько книгъ. Довольно любезностей показалъ къ Никитину и супругъ ея, князь Юрій Алексѣевичъ, также любитель литературы.

«Извѣстность Никитина скоро распространилась и за предѣлами Воронежа, хотя онъ и не рѣшался еще посылать куда-либо своихъ произведеній. Нѣкоторыя газеты не замедлили перепечатать изъ «Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» помѣщенныя въ нихъ два его стихотворенія («Русь» и «Война за вѣру»). За тѣмъ гр. Д. Н. Толстой, съ которымъ въ то время я былъ въ довольно близкихъ отношеніяхъ и которому, въ частномъ письмѣ, я разсказалъ о появленіи въ Воронежѣ новаго дарованія, приложивъ для образчика нѣсколько стихотвореній, вздумалъ это письмо мое цѣликомъ напечатать въ «Москвитянинѣ», и тогда же сдѣлалъ Никитину предложеніе издать на свой счетъ собраніе его стихотвореній».

Выше мы говорили о радости Никитина, отправлявшагося съ Рубцовымъ къ Второву; нечего говорить о его восторгѣ послѣ этого

*) Д. Н. Бѣгичевъ — авторъ романа «Семейство Холмскихъ».

свиданія, послѣ сближенія съ Второвымъ, и шумѣ, который поднялся въ городѣ по поводу его стихотвореній. Но что чувствовали родные, — отецъ и двоюродныя сестры Тюрины, жившія въ лачужкѣ насупротивъ домика Никитиныхъ, изъ которыхъ Анна Николаевна (прежняя Анюта) была частой гостьей у брата? Какъ они посмотрѣли на новую жизнь своего Ивана Саввича, попавшаго въ общество Губернатора, Совѣтниковъ и другихъ важныхъ господъ? Родные просто испугались: они боялись, что Ивана Саввича *возьмутъ* въ Петербургъ! Впрочемъ, отецъ потомъ далеко не былъ равнодушенъ къ извѣстности сына, что и высказывалъ по-своему, даже въ самые сильные пароксизмы пьянства: «Эй ты, Васька-Ворокъ (или кто-нибудь въ этомъ родѣ знакомецъ), подлецъ! Развѣ ты не знаешь, какой у меня сынъ-то, Иванъ Саввичъ!» — кричитъ, бывало, старикъ на весь домъ, прерывая эти возгласы къ отсутствующимъ друзьямъ или непріятелямъ крупною бранью сейчасъ же хвалимаго сына.

Восторгъ, произведенный стихотвореніемъ «Русь», былъ очень великъ; въ Воронежѣ онъ увеличивался, благодаря положенію поэта-дворника, возбудившему теплое сочувствіе къ нему во всѣхъ тогдашнихъ лучшихъ людяхъ. Популярность его возрасла особенно послѣ написаннаго имъ стихотворенія «Моленіе о чашѣ»: о Никитинѣ заговорили во всѣхъ даже едва грамотныхъ слояхъ общества; стихотвореніе переписывалось во множествѣ экземпляровъ и распространилось далеко за предѣлы Воронежа и даже губерніи. Всѣ бросились искать знакомства съ Никитинымъ; но поэтъ все еще дичился и не легко шелъ на знакомства. Легко представить себѣ положеніе бѣднаго дворника, вызваннаго къ новой жизни; легко понять его благодарное чувство къ тѣмъ людямъ, которые не дали ему задохнуться въ душной атмосферѣ. Хотя въ этомъ чувствѣ не было ничего несвободнаго, но первое время своей воронежской извѣстности Никитинъ почти не принадлежалъ самому себѣ. Благодарность и дружба до такой степени овладѣли его душою, что онъ отдался имъ вполнѣ. Безъ Второва, не бывши знакомымъ съ Второвымъ, въ первое время невозможно было близко сойтись съ Ни-

китинымъ, даже рѣдко можно было застать его дома: онъ былъ или у Второва, или вмѣстѣ съ Второвымъ ѣздилъ куда-нибудь къ немногимъ его знакомымъ; къ числу послѣднихъ принадлежали семейства А. Р. Михайлова и И. А. Придорогина. Нѣкоторые изъ желавшихъ познакомиться съ Никитинымъ обижались трудностію добиться его и распространили по городу сплетни, что Никитинъ пишетъ на этихъ вечерахъ по заказу стихи, что его возятъ какъ диковинку. Я познакомился съ Никитинымъ въ Январѣ 1854 года, въ квартирѣ Н. С. Тарачкова и С. П. Павлова, преподавателей кадетскаго корпуса, жившихъ тогда вмѣстѣ; Павловъ снималъ съ него въ это время портретъ, напечатанный потомъ въ «Художественномъ Листкѣ» Тимма. Я, какъ и многіе, былъ изумленъ тѣмъ, что не нашелъ въ немъ того, чего ожидалъ. Хотѣлось, надо правду сказать, найти въ немъ нѣчто въ родѣ мужичка или молодаго парня въ длинномъ сюртукѣ и подстриженнаго въ кружокъ, а оказалось совсѣмъ не то. Нѣкоторые изъ моихъ знакомыхъ, познакомившіеся прежде съ Никитинымъ, не шутя говорили, что онъ похожъ на Шиллера. Оставя въ сторонѣ всякое сравненіе, въ Никитинѣ въ самомъ дѣлѣ было что-то, если не нѣмецкое (чего никогда въ немъ вовсе не было), то задумчивое, литературное. Содержатель постоялаго двора высматривалъ рѣшительнымъ литераторомъ, и отчаянный славянофилъ того времени непремѣнно назвалъ бы его и по одеждѣ (онъ былъ уже одѣтъ въ короткій сюртукъ, гладко обстриженъ и брилъ бороду, какъ, впрочемъ, и прежде), и по способу выраженія, чистѣйшимъ западникомъ. Я услышалъ отъ него прежде, чѣмъ прочелъ потомъ въ его книгѣ, такія фразы, какъ «грязная жизнь, грязная дѣйствительность» и т. п., надъ которыми въ послѣдствіи онъ самъ искренно смѣялся. Но прошло болѣе года, пока это начальное знакомство не обратилось въ дружественныя отношенія. И въ послѣдствіи времени Никитинъ былъ тугъ на знакомства: сосредоточенность въ характерѣ, нѣкоторая скрытность и недовѣрчивость къ людямъ, печальныя семейныя обстоятельства, все это, въ соединеніи, если можно выразиться, съ мѣщанскою гордостію, были тому причиной.

И за предѣлами Воронежа Никитинъ нашелъ себѣ горячій привѣтъ. Корифей тогдашней литературной критики и одинъ изъ лучшихъ петербургскихъ педагоговъ, И. И. Введенскій, написалъ къ нему восторженное письмо. Введенскій пишетъ, что стихотвореніе «Русь» онъ немедленно прочелъ всѣмъ своимъ ученикамъ «и съ величайшимъ восторгомъ привѣтствовалъ васъ, какъ народнаго поэта». Введенскій восхищался стихомъ Никитина и пророчилъ ему блестящую будущность, если только онъ останется вѣренъ самому себѣ; «но если, говоритъ онъ, тотъ же Никитинъ промѣняетъ свой постоялый дворъ на искусственный кабинетъ петербургскаго или московскаго литератора, геній его станетъ увядать постепенно, и онъ займетъ мѣсто въ разрядѣ жалкихъ посредственностей, которыми, къ несчастію, такъ богата Русская поэзія». Также привѣтливо и почти въ томъ же смыслѣ о необходимости самобытности и народности въ поэзіи писалъ къ Никитину А. Н. Майковъ познакомившійся съ нимъ заочно чрезъ посредство А. П. Нордштейна; къ числу такихъ заочныхъ знакомыхъ, и все чрезъ того же Нордштейна, принадлежалъ нѣкто г. Порѣцкій, постоянный почитатель и посредникъ Никитина съ петербургскими журналистами. Къ числу же литературныхъ знакомствъ, сдѣланныхъ Никитинымъ въ это время, принадлежитъ знакомство его съ Н. В. Кукольникомъ, проживавшимъ зиму 1853—1854 г. въ г. Воронежѣ, въ качествѣ чиновника особыхъ порученій при Военномъ Министерствѣ по заготовкѣ провіанта для дѣйствующей арміи. Счастливъ былъ Никитинъ въ эту пору своей жизни; лучи счастія облили, можно сказать, все существо его, но положеніе его, какъ поэта, было фальшиво. Въ эту эпоху крайнее направленіе западничества изживало свои послѣдніе дни; духота общественной и литературной атмосферы была поразительная. «Здѣсь васъ, писалъ Никитину А. Н. Майковъ, заставятъ разлюбить Россію. Я представляю себѣ, какія у васъ въ глуши иногда, въ настоящее время великой войны, идутъ бесѣды о Россіи, ея силахъ, ея будущемъ! Представляю себѣ, какъ вы страдаете за нашу славу, ревнуете ее и вмѣстѣ съ тѣмъ полны вѣры, что «коренная вынесетъ!».. Надо много характера, чтобъ

хранить и святить это чувство въ Петербургѣ... Знаете ли, что я завидую вамъ? Завидую тому, что васъ воспитала и воскормила сермяжная Русь, слѣдовательно, вы должны ее знать лучше меня». Но громы войны, неудачной, но тѣмъ не менѣе славной, очищали воздухъ. Отовсюду неслись новыя требованія, новые запросы жизни. Поэтъ-дворникъ, поэтъ-мѣщанинъ, сынъ степей и «сермяжной Руси», одноземецъ Кольцова, — есть отъ чего восторгаться! На автора «Руси», написанной свѣжимъ и сильнымъ стихомъ, есть причины понадѣяться! Но, увы! мы видѣли, что Никитинъ почти не выѣзжалъ изъ заставы Воронежа; что мѣщаниномъ онъ былъ только по названію, а дворникомъ по одной профессіи; что его воспитали не «сермяжная Русь», о которой онъ судилъ только по заѣзжавшимъ на его дворъ извощикамъ, не степи, которыя онъ рѣдко видалъ, а литература сороковыхъ годовъ, что онъ былъ человѣкъ не съ первобытными, а съ цивилизованными понятіями, только по несчастію затертый въ необразованной средѣ. Конечно, литераторъ-дворникъ далеко не то, что литераторъ-дворянинъ, литераторъ-москвичъ или петербуржецъ: до нѣкоторой степени ему присуще было то, что въ немъ предполагалось, но только до нѣкоторой.... Непосредственнаго, напримѣръ, даже Кольцовскаго отношенія къ окружающей его жизни у Никитина не было и быть не могло; для этого онъ былъ слишкомъ развитъ и рефлективенъ. Онъ, какъ питомецъ литературы 40-хъ годовъ, стремился къ направленію, къ практической пользѣ въ поэзіи, и это стремленіе увеличивалось по мѣрѣ его развитія, — а отъ него требовали непосредственной, объективной народности, вѣры только въ самого себя, въ то время, когда въ самомъ-то себѣ онъ чувствовалъ раздвоеніе, надломъ! Не нашли того, на что надѣялись, — и восторгъ смѣнился охлажденіемъ! Все это увеличивало внутреннюю борьбу Никитина съ самимъ собою. Изъ воронежскихъ друзей его вліялъ на него, въ смыслѣ Введенскаго и Майкова, А. П. Нордштейнъ, человѣкъ вполнѣ русскій; письма г. Нордштейна, сохранившіяся въ бумагахъ Никитина, доказываютъ это вліяніе. Почти до самой смерти Никитина у нѣкоторыхъ сохранилось убѣжденіе, что онъ былъ такъ-себѣ, — простой мѣщанинъ,

человѣкъ безъ всякаго образованія. Такъ, въ 1860 г., рецензентъ «Современника», разбирая 2-ое изданіе его стихотвореній, выразился слѣдующимъ образомъ: «Г. Никитинъ, вѣроятно, думалъ, что если *господа* такъ пишутъ, то почему и мнѣ не писать!»... Такъ и до сихъ поръ еще продолжаютъ проводить ни къ чему не ведущія параллели между Кольцовымъ и Никитинымъ и хотятъ видѣть въ послѣднемъ то, чѣмъ онъ никогда не былъ. Никитинъ былъ, дѣйствительно, литературною замѣчательностію, но совершенно въ другомъ родѣ, чѣмъ Кольцовъ: это былъ литераторъ съ несомнѣннымъ поэтическимъ дарованіемъ, выработанный провинціею, безъ всякаго участія столицъ и другихъ умственныхъ центровъ, въ провинціи жившій и дѣйствовавшій. Второвъ и его кружокъ только докончили культурное образованіе Никитина, хорошую подготовку къ которому дали ему семинарія и разнообразное чтеніе.

Сочувствіе къ положенію Никитина выразилось и матеріальнымъ образомъ. Проживавшій въ то время въ Воронежѣ купецъ, нѣкто Рукавишниковъ, извѣстный откупщикъ и золотопромышленникъ, уѣзжая въ Иркутскъ, звалъ къ себѣ Никитина и предлагалъ ему очень выгодное мѣсто на пріискахъ, на всемъ его содержаніи, съ платою по 1,200 р. въ годъ. Долго шли объ этомъ толки; но, не смотря на чистосердечное желаніе г. Рукавишникова помочь Никитину, въ Сибирь онъ не поѣхалъ: жаль было отца бросить, Второва, жаль было оторваться отъ новой жизни. — «Сибирь!»... пишетъ Никитинъ въ одной изъ записокъ къ Второву:

Напишешь это слово, —
И вдругъ свободная мечта
Меня уноситъ въ край суровый.
Природы дикой красота
Вдали встаетъ передо мною.
И мнится, вижу я Байкалъ
Съ его прозрачной глубиною,
И цѣпи горъ съ громадой скалъ,
И безконечную равнину
Вокругъ бѣлѣющихъ снѣговъ,
И грозныхъ, дѣвственныхъ лѣсовъ

Необозримую вершину...
Но вотъ проходитъ этотъ бредъ,
И снова видишь предъ собою:
Диванъ съ подушкою худою,
Комодъ, старинный туалетъ,
Семь стульевъ, столъ на жалкихъ ножкахъ,
Навозъ какой-то на полу,
Цвѣты въ какихъ-то глупыхъ плошкахъ
И наконецъ, кота въ углу.
Да вотъ пришелъ старикъ сердитый,
О похоронахъ говоритъ
И, кажется, меня бранитъ.

Никитинъ ожилъ, и новая жизнь начала его толкать и задѣвать всячески; вмѣстѣ со счастіемъ начались своего рода заботы и треволненія. Сильно его озабочивало предстоящее изданіе его стихотвореній, предпринятое гр. Д. Н. Толстымъ и А. А. Половцовымъ: надобно было позаботиться о томъ, какія стихотворенія отобрать для печати, что въ нихъ поправить и т. п. Рукопись стихотвореній была отослана къ графу въ октябрѣ 1854 года, а книжка вышла въ началѣ 1856 года.

Главнѣйшее затрудненіе заключалось въ неизбѣжности частой переписки съ издателемъ, въ пересылкѣ къ нему новыхъ стихотвореній, въ просьбѣ прибавить то, урѣзать другое. Никитинъ тревожился; но незавидно было положеніе и графа Толстаго, такъ какъ мудрено было удовлетворить желанію автора, живущаго за тысячу слишкомъ верстъ отъ Петербурга. «Вы не читали «Сѣверной Почты»? спрашиваетъ Никитинъ у Второва, по выходѣ уже 1-го изданія: «Ѳ. Булгаринъ, говорили мнѣ, изволилъ сдѣлать вотъ какой взглядъ на мою книжонку: — что вотъ-де самородка произведеніе, исправленное и изданное гр. Д. Н. Толстымъ, на котораго смѣло можно положиться; что-де въ самомъ дѣлѣ книжка вышла премилая, что у меня-де есть кипы подобныхъ самородныхъ произведеній, да все, знаете, некогда взяться за исправленіе и т. д.» Вотъ что пѣлъ Булгаринъ, а другіе говорили, и, кажется, печатали, что гр. Толстой не обращалъ никакого вниманія на по-

правки и замѣтки Никитина, а печаталъ, что ему вздумалось; намъ положительно извѣстно, что и то и другое неправда. Не менѣе доставляла хлопотъ и волненій Никитину отправка новыхъ стихотвореній въ тогдашніе петербургскіе журналы. Хотя Порѣцкій, какъ мы сказали, былъ самымъ усерднымъ его коммиссіонеромъ, но въ положеніи Никитина было отъ чего волноваться! Волновали его и толки о немъ, какъ о поэтѣ, и взгляды на его общественное положеніе. Такъ одинъ журналистъ предложилъ за напечатанныя имъ семь довольно большихъ стихотвореній Никитина 25 р. с.; Порѣцкій не взялъ этихъ денегъ, сказавъ: «Я узнаю, согласится ли на это Никитинъ». — «На что ему деньги! восклицаетъ практическій журналистъ: — вѣдь онъ даромъ ихъ проѣстъ на своемъ постояломъ дворѣ?» Другой шлетъ ему, вмѣсто денегъ и въ видѣ подарка, какой-нибудь разрозненный хламъ, большею частію своего издѣлія. Здѣсь уже кстати сказать о волненіяхъ и тревогахъ, испытанныхъ Никитинымъ послѣ выхода въ свѣтъ перваго изданія его стихотвореній, въ началѣ 1856 г.; особенно опечалила его статья «Русскаго Вѣстника», кажется, принадлежавшая покойному Кудрявцеву, статья дѣльная, но односторонняя, потому что въ Никитинѣ она отыскивала Кольцова и, конечно, не находила. Впрочемъ, всѣ эти тревоги, неизбѣжныя для начинающаго литератора, исчезли въ полнотѣ наслажденія поэтическимъ творчествомъ, доселѣ не испытаннаго Никитинымъ. Со всѣмъ жаромъ онъ предался этому наслажденію и писалъ относительно много, замѣчательно быстро совершенствуясь въ стихѣ и композиціи. Въ іюлѣ 1854 года онъ началъ уже «Кулака», лучшее свое произведеніе, къ которому часто и подолгу возвращался. — Чтеніе самое разнообразное и серьезное, изученіе Французскаго языка, на которомъ Никитинъ впослѣдствіи свободно читалъ и могъ кое-какъ объясняться, составленіе для себя маленькой библіотеки изъ нашихъ лучшихъ писателей, живыя бесѣды съ образованными людьми, въ особенности съ женщинами, все это производило на него самое благотворное, умиротворяющее вліяніе. Стоитъ только прочитать крошечныя его записки къ Второву (1854—1856 г.), съ которымъ онъ

часто ими обмѣнивался, чтобы убѣдиться въ этомъ; отъ нѣкоторыхъ строкъ такъ и вѣетъ полнотою счастія.

«Я стою теперь передъ столомъ. Книги на столѣ въ порядкѣ; гляжу на нихъ, улыбаясь самодовольно, и думаю: Фу, чортъ возьми! Ужъ, въ самомъ дѣлѣ, не великій ли я человѣкъ! вѣдь пять книгъ!... Но, вдругъ, о ужасъ! какой-нибудь извощикъ выводитъ меня изъ самозабвенія крикомъ: «Савеличъ! овса!... Э, малый! да ты острыгся! Вишь виски-то, щетина-щетиной!» — «Я сегодня ѣздилъ въ поле. Боже, какъ хорошо! ручьевъ тысячи, звуковъ тысячи! Все кипитъ, начинаетъ жить. Видѣлъ и слышалъ жаворонковъ, грачей, скворцовъ, утокъ. Теперь — въ ушахъ шумъ, въ глазахъ — видѣнная картина».

А вотъ другая, зимняя картина въ шуточномъ родѣ, когда, стало быть, было до шутокъ:

Ну, вотъ я дождался разсвѣта,
Гляжу въ окно — все нѣтъ добра!
Чортъ знаетъ! Ни зима, ни лѣто....
Бѣги хоть съ горя со двора!
Мой другъ! Скажите, ради Бога,
Когда-жъ падетъ надежный снѣгъ,
Окончится ѣзда телѣгъ,
Настанетъ зимняя дорога?
Напрасно я за ворота
Спѣшу, обозовъ поджидая:
Безмолвна улица пустая,
Дворъ пустъ, въ карманѣ пустота!....
Дай, помолюсь въ тоскѣ-печали:
Не медли, матушка зима!
Мы безъ тебя оголодали,
Всѣмъ дворникамъ грозитъ сума....
О, горе, горе! Въ избахъ пусто....
Куда же дѣнется у насъ
Въ кадушкахъ припасенный квасъ
И наша кислая капуста, —
Чѣмъ дорожитъ, къ чему привыкъ
Нашъ русскій баринъ и мужикъ?
Аминь! Да будетъ власть Господня!

«Лукичъ» *) мой просится сегодня
Къ вамъ въ гости. Этакой оселъ!
Какъ зюзя съ ярмарки пришелъ....**)

Въ P. S. въ одной изъ своихъ записокъ, написанной на розовой бумагѣ, Никитинъ говоритъ: «Конечно вы замѣчаете своего рода прогрессъ въ моихъ запискахъ? Ничего, ничего... Молчаніе!» — «Въ эту пору, замѣчаетъ Второвъ, Никитинъ сдѣлался уже свѣтскимъ человѣкомъ. Онъ бросилъ свой длиннополый сюртукъ и сшилъ себѣ платье по модѣ (только до фрака никогда не доходило дѣло), сдѣлался очень развязенъ; прежней дикости не было и слѣда». Повторяемъ, едва ли былъ такъ счастливъ Никитинъ, какъ въ эту первую пору своей новой жизни, а когда онъ былъ счастливъ, т. е., спокоенъ, трудно было найти человѣка живѣе и любезнѣе его! Нелюдимости и угрюмости какъ не бывало; шутки и остроты не сходили съ устъ; въ такомъ же родѣ писались записки къ знакомымъ, иногда стихами, какъ слѣдующіе стихи къ Второву, при посылкѣ къ нему «Живописца», журнала Новикова:

Изъ библіотеки старинной ***)
Вамъ томъ разрозненный дарю;
Я, признаюсь, морали чинной
Въ сатирѣ скучной не люблю.
Желаю вамъ подъ этой пылью
Сыскать побольше добрыхъ лицъ;
Пусть вѣетъ сладостною былью
На васъ отъ сѣренькихъ страницъ.
Да, кстати! Новость сообщаю:
Мой Дмитричъ далеко... увы!
Я самъ извощиковъ встрѣчаю, —
И дворникъ съ ногъ до головы!

Дмитричъ былъ что-то въ родѣ прикащика у Никитина, прикащика, впрочемъ, не очень расторопнаго; онъ назывался иначе

*) „Лукичъ“ — герой „Кулака“, рукопись котораго часто читалась и пересылалась Второву.

**) См. главы V и VI поэмы „Кулакъ“. Стихи писаны 23 декабря 1856 г.

***) Составленной Саввою Евтѣичемъ.

«ритористомъ», потому что когда-то учился въ Семинаріи, гдѣ дошелъ до риторики.

Перерожденіе Никитина, такъ быстро совершившееся, не оттолкнуло, однако же, его отъ «грязной дѣйствительности», отъ постоялаго двора. Съ того времени, когда онъ началъ получать гонораръ за свои стихотворенія, и когда оказалась довольно порядочная выручка отъ распродажи книжки, за уплатой расходовъ по изданію, самое положеніе постоялаго двора измѣнилось къ лучшему, вмѣстѣ съ положеніемъ его хозяина; всѣ постояло-дворскія потребности удовлетворялись безотлагательно; явилась возможность имѣть прикащика и завести лошадь; не было надобности самому стряпать и прислуживать извощикамъ. Правда, было много хлопотъ и возни съ дворомъ; было много грязи въ этой постояло-дворской обстановкѣ,—но что за надобность, когда на нее никто изъ друзей Никитина не обращалъ вниманія, когда каждый изъ нихъ спѣшилъ на этотъ бѣдный постоялый дворъ, въ это убогое мѣщанское жилище, во всякое время дня и ночи, по зову и безъ зова хозяина! Никитинъ любилъ собирать у себя вечеринки во всякое время, но особенно въ дни большихъ праздниковъ и на свои имянины, 26-го Сентября. Еще свѣжи въ нашемъ воспоминаніи эти вечера, и по прошествіи многихъ лѣтъ еще, какъ живая, рисуется въ нашемъ воображеніи дорогая картина! Вотъ онъ — крошечный домикъ на Кирочной улицѣ, второй отъ угла, налѣво, при поворотѣ съ Садовой, съ тремя окнами на улицу. Ѣдешь, бывало, къ нему въ темную осеннюю ночь по едва мощенной и ничѣмъ не освѣщенной улицѣ. Ни звука, ни шороха! Только покачиваешься на извощичьихъ пролеткахъ, ныряющихъ по лужамъ. Но вотъ обдаютъ тебя лучи свѣта, и сквозь вспотѣвшія три окна видишь знакомыя листья розовой травки и лилій. «Стой!» кричишь извощику; сходишь съ пролетокъ, съ трудомъ пробираешься по узкому ветхому крылечку и прямо входишь въ переднюю, изъ которой ведутъ двѣ двери,—направо и налѣво; направо въ большую комнату, выходящую на улицу тремя знакомыми намъ окнами, налѣво — въ другую половину домика, которую занималъ Савва Евтѳичъ. Комната направо

была спальней, кабинетомъ, гостиной и всѣмъ, чѣмъ хотите, для Ивана Саввича; ее описалъ онъ въ вышеприведенныхъ нами стихахъ. Здѣсь-то, во время вечеринокъ, шла немолчная бесѣда, отсюда-то ложились лучи свѣта по грязной улицѣ, привѣтно васъ манившіе. Вы входите и садитесь непремѣнно подлѣ круглаго желтаго «стола на жалкихъ ножкахъ», на «диванѣ съ подушкою худою», или на стульяхъ. Шума и крику довольно; гости вооружены большими стаканами съ чаемъ, который приготовляется въ комнатѣ, что̀ насупротивъ передней, и чинно разносится двоюродными сестрами Никитина, сосѣдками Тюриными (Анной и Пелагеей Николаевнами), обыкновенно призываемыми для подобныхъ торжественныхъ случаевъ; въ случаѣ отсутствія одной изъ нихъ, самъ хозяинъ-поэтъ занималъ ея мѣсто. Тѣмъ же чиннымъ порядкомъ разносился дессертъ, состоящій изъ разныхъ благодатей мѣстной Помоны. На имянины непремѣнно приготовлялась легкая закуска съ неизбѣжнымъ и всегда плохимъ пирогомъ. Но гостямъ не было дѣла ни до дессерта, ни до закуски. Заводчикомъ споровъ, стало быть, душою бесѣды, былъ Придорогинъ съ его страстію вѣчно ставить вопросы и никогда не затрудняться ихъ рѣшеніемъ, какъ бы оно радикально ни было; истиннымъ Несторомъ бесѣдъ былъ Второвъ, лучше и основательнѣе другихъ образованный, съ его умною, логически-послѣдовательною рѣчью. Изрѣдка ввертывалъ свое, иногда очень мѣткое и оригинальное, слово и Савва Евтѣичъ, бывшій тутъ же въ длиннополомъ синемъ сюртукѣ. Самъ Иванъ Саввичъ только урывками принималъ участіе въ бесѣдѣ, принужденный хлопотать по хозяйству, или принимать гостей; если гость былъ въ первый разъ въ домѣ, онъ непремѣнно подводилъ его къ отцу, говоря: — «рекомендую вамъ — мой батенька!» Да, шумѣли много на Никитинскихъ вечеринкахъ; но нельзя сказать, чтобы «шумѣли — и только!» Начиная съ 1856—57 г., когда появились «Русскій Вѣстникъ» и «Русская Бесѣда», когда въ воздухѣ запахло освобожденіемъ крестьянъ и ароматомъ самыхъ смѣлыхъ надеждъ, когда не однимъ провинціаламъ пришлось многому доучиваться, приходилось провѣрять себя, сводить счеты съ своимъ

прошлымъ, перевоспитываться, — эти скромныя вечеринки, на которыхъ истреблялось только множество чаю и плодовъ, нисколько не походили на Репетиловскія, хотя участвующіе въ нихъ, расходясь далеко за полночь по домамъ, нерѣдко вспоминали безсмертные стихи Грибоѣдова. Или вотъ другая картина, все въ той же комнатѣ, но уже въ лѣтнюю пору, и еще до захожденія солнца. Придешь, бывало, одинъ къ Никитину и застаешь его сидящимъ на диванѣ за столомъ. На столѣ лежатъ двѣ-три книги, стоитъ чернильница, разбросаны бумаги. По прошествіи многихъ лѣтъ, забылись, конечно, веденныя рѣчи, но не забылось чтеніе Никитинымъ задушевнѣйшихъ его произведеній, не забылся его симпатичный голосъ, звенящій чистымъ баритономъ; никогда не забудется выраженіе строгаго и блѣднаго лица его, его горящихъ глазъ, на вѣкахъ которыхъ часто дрожали слезы! Трепетъ пробѣгалъ по вашему тѣлу, когда въ безмолвной комнатѣ, залитой лучами лѣтняго солнца, мужественно раздавались звуки, напримѣръ, вотъ такихъ стиховъ:

Какъ узникъ, я рвался на волю,
Упрямо цѣпи разбивалъ!
Я свѣта, воздуха желалъ!
Въ моей тюрьмѣ мнѣ было тѣсно!
Ни силъ, ни жизни молодой
Я не жалѣлъ въ борьбѣ съ судьбой!

Да, и вы твердо и свято вѣрили чтецу, что онъ и р в а л с я, и р а з б и в а л ъ, и ж е л а л ъ и н е ж а л ѣ л ъ! Одной изъ такихъ минутъ я обязанъ дружественнымъ сближеніемъ съ Никитинымъ.

———

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Деревня и общество женщин. — Болѣзнь Никитина. — Отъѣздъ Второва. — Письмо къ нему Никитина. — Новая жизнь послѣдняго съ весны 1857 г. — «Кулакъ». — Любовь. — Мысль о книжной торговлѣ. — Передряга, случившаяся съ Никитинымъ, какъ послѣдствіе распространенія «Колокола» въ Воронежской фабрикаціи. — Устройство книжнаго магазина и его открытіе.

Освоившись съ своимъ новымъ положеніемъ, Никитинъ съ удовольствіемъ покидалъ свою берлогу не только для бесѣды съ своими городскими друзьями и знакомыми, но и для деревни, для общества людей, мало ему знакомыхъ. По свидѣтельству Второва, Никитинъ часто ѣзжалъ въ деревню Плотниковыхъ, находившуюся недалеко отъ Воронежа, если не ошибаемся, въ Землянскомъ уѣздѣ. Здѣсь открылся передъ нимъ новый міръ — природы и быта. Довольно живописная природа воронежскихъ окрестностей, хорошо знакомая Никитину, еще не давала ему полнаго понятія о всемъ разнообразіи и прелести нашей при-донской природы, отличающейся кроткимъ характеромъ безконечныхъ, но живописныхъ равнинъ. Питомецъ мѣщанскаго быта и постоялаго двора, Никитинъ ожилъ въ деревнѣ, былъ обязанъ ей лучшими минутами своей жизни. Благотворно и поучительно, до нѣкоторой степени, было на него вліяніе и деревенскаго быта. Здѣсь онъ имѣлъ возможность присмотрѣться къ крестьянину въ его домашней, семейной обстановкѣ; здѣсь на него хорошо подѣйствовалъ и помѣщичій бытъ, хотя Никитинъ едва ли сознавалъ послѣднее. Надо правду сказать, всѣ мы до начала великой крестьянской реформы были враждебно настроены противъ помѣщиковъ. Страстно желая освобожденія крестьянъ, мы относились къ помѣщичьему быту

съ полнѣйшимъ отрицаніемъ его историческихъ заслугъ: мы, образованные люди, забывали, что въ помѣщичьей средѣ хранились историческія преданія, росла и крѣпла наша гражданственность. Вокругъ женщины, какъ само собою разумѣется, сосредоточивались всѣ свѣтлыя стороны, вся поэзія отжившаго помѣщичьяго быта. Живой образъ такой женщины литература представляетъ въ Татьянѣ Пушкина; тысячи такихъ Татьянъ, такихъ истинно русскихъ женщинъ, образованныхъ, кроткихъ, но глубокихъ своимъ жизненнымъ содержаніемъ и своимъ великимъ воспитательнымъ значеніемъ въ семьѣ, были разсыпаны по нашимъ деревнямъ въ эпоху, предшествующую эманципаціи крестьянъ. Мы не были знакомы съ тою мѣстностію, гдѣ находилась деревня Плотниковыхъ, но мы знаемъ, что у нихъ было большое сосѣдство, между которымъ были такіе дома, какъ Добровольскіе и Матвѣевы, гдѣ Никитинъ встрѣчалъ самый радушный, самый родственный пріемъ, гдѣ онъ очень любилъ бывать и скорбѣлъ, когда болѣзнь или другія причины мѣшали его поѣздкѣ. Общество этихъ трехъ помѣщичьихъ домовъ, дружное между собою, въ большинствѣ состояло изъ женщинъ, преимущественно изъ молодыхъ дѣвушекъ, чутко понявшихъ тотъ интересъ, который возбуждалъ къ себѣ ихъ новый знакомый, столь не похожій на другихъ, если нѣсколько и нелюдимый, зато въ сильной степени возбуждавшій молодое женское любопытство. Въ семействѣ Плотниковыхъ, было, если не ошибаемся, нѣсколько дѣвицъ. Превосходный садъ и молодое общество прекраснаго пола самымъ живительнымъ образомъ подѣйствовали на Никитина, и, если можно такъ выразиться, растворили его душу для впечатлѣній, дотолѣ незнакомыхъ ему. Мы имѣли возможность читать письма Никитина къ Плотниковымъ: въ нихъ нѣтъ ничего, если хотите, интереснаго; но есть именно то, о чемъ мы говоримъ — юношеская полнота жизни, на которую только урывками былъ способенъ Никитинъ, да и то развѣ только въ эту пору. Въ числѣ бумагъ Никитина находится стихотвореніе, написанное на память ему одною изъ особъ не нашего пола. Мы не знаемъ имени этой особы; знаемъ только, что она не принадлежала къ семейству Плотниковыхъ, и что Иванъ Саввичъ былъ съ нею только въ добрыхъ отно-

шеніяхъ*). Это обстоятельство давало бы намъ право напечатать все стихотвореніе, не совсѣмъ выдержанное, но очень граціозное, если бы мы не боялись длинноты его; довольствуемся отрывкомъ, который приводимъ для доказательства того, что говорилось выше и вообще, и по отношенію къ Никитину. Дѣло идетъ о садѣ, или лучше сказать, объ одномъ уголкѣ его, «безмолвномъ и забытомъ, густою чащею тѣнистыхъ липъ закрытомъ». Прощаясь съ этимъ «безмолвнымъ пріютомъ», поэтъ-дѣвушка говоритъ:

Прощай!... Промчатся дни, десятки лѣтъ пройдутъ;
Ты будешь зеленѣть, цвѣсти и красоваться,
Но я не приду тобою любоваться!
И нѣтъ въ тебѣ слѣда ни задушевныхъ думъ,
Которыми кипѣлъ и волновался умъ,
Ни даже тѣхъ шаговъ, которыми, бывало,
Твой шелковистый дернъ задумчиво я мяла!
Кому же скажешь ты о памяти моей?...
Когда-нибудь судьба подъ тѣнь твоихъ вѣтвей,
Быть можетъ, приведетъ того, кто духа силы
Для жизни пробудилъ въ душѣ моей унылой;
Напомни обо мнѣ ему, мой уголокъ!
Навѣй высокихъ думъ и грезъ златыхъ потокъ,
Волненье успокой души его тревожной,
Согрѣй надеждою, что счастіе возможно;
И, убаюканный волшебною мечтой,
Заснетъ въ его груди недугъ сомнѣній злой!

Нечего удивляться, что Никитинъ любилъ бывать въ обществѣ женщинъ, и что женщинамъ онъ нравился. Правда, былъ онъ неловокъ всегда: дворникъ, если хотите, отчасти изъ-за него высматривалъ; но женщинамъ нравилась въ немъ необыкновенная искренность, сила и цѣломудренность мысли. Если Никитинъ не любилъ ни одной женщины до 1853 года, то это, помимо его замкнутости, могло происходить и оттого, что онъ не зналъ ихъ совсѣмъ,

*) Этой особѣ посвящены три стихотворенія Никитина, помѣщенныя въ настоящемъ изданіи подъ №№ LXXXIV — LXXXVI (см. I-й томъ, стран. 172—174).

что подойти къ нимъ онъ боялся, какъ боялся войти въ кругъ равнаго съ нимъ по образованію общества. Кажется, нечего говорить, что Никитинъ не могъ увлечься непосредственнымъ чувствомъ и, тѣмъ болѣе, къ существу непосредственному.

Читатель можетъ упрекнуть насъ, что мы идеализируемъ своего героя, что мы положеніямъ, о которыхъ говоримъ, придаемъ черезчуръ идиллическій характеръ. Дальнѣйшій разсказъ оправдаетъ насъ отъ упрека въ идеализаціи. Что же касается до идилліи, то она, какъ гармонія во всѣхъ отправленіяхъ нашей жизни, въ жизни Никитина только и была въ эту эпоху, и то какъ рѣдкая гостья. Прощаясь съ нею навсегда, мы обращаемся опять къ самымъ прозаическимъ и печальнымъ явленіямъ въ жизни нашего героя.

Къ числу ихъ принадлежитъ болѣзнь Никитина, не просто временная болѣзнь, не просто хроническій недугъ, а безпрерывный рядъ физическихъ страданій, продолжавшихся по полугоду, страданій, при которыхъ немыслимо было мало-мальски спокойное существованіе. Въ жизни Никитина съ 1853 года, въ поэтической его дѣятельности, этою болѣзнію очень многое объясняется. Въ коротенькой записочкѣ, отъ 14-го Апрѣля 1855 года, вотъ что писалъ Никитинъ къ Второву: «... я боленъ. Ноги, поясница, желудокъ... бѣда! Впрочемъ, я живущъ — это не въ первый разъ!»

Къ этой запискѣ Второвъ дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе:

«Когда я познакомился съ Никитинымъ, онъ уже постоянно жаловался на разстройство желудка и питался только куринымъ супомъ съ бѣлымъ хлѣбомъ да какой-нибудь кашицей. Разстройство желудка, по его разсказамъ, началось у него съ тѣхъ поръ, какъ онъ, хвалясь своей силой, поднялъ несоразмѣрную тяжесть *), при чемъ у него какъ бы порвалось что внутри. Это случилось года за три, или четыре, до знакомства со мною. Болѣзнь, о которой говорится въ запискѣ, онъ схватилъ, благодаря мнѣ; наканунѣ, т. е., 13-го Апрѣля, было прелестнѣйшее утро, и я съ нимъ сдѣлалъ дальнюю прогулку пѣшкомъ за городъ (что нерѣдко случа-

---

*) Сдвинулъ съ мѣста чѣмъ-то нагруженный возъ.

лось) къ Архіерейской дачѣ, за Троицкой слободой. Весна была ранняя; все было уже зелено. Бродя по берегу рѣки, мы любовались ея гладкой поверхностью, гдѣ, какъ въ зеркалѣ, отражалась вся противоположная сторона. Я, отчаянный гидропатъ, соблазнился, не выдержалъ и сталъ купаться. Примѣру моему, не смотря на мое предостереженіе, послѣдовалъ и Никитинъ. Послѣдствіемъ этого купанья и была его болѣзнь, продолжавшаяся все лѣто. Сначала съ нимъ сдѣлалась горячка, и дѣло было очень плохо. Пичкалъ его тогда Т.; Никитинъ просилъ, чтобы я привезъ къ нему Кундасова. За горячкою послѣдовало скорбутное состояніе: онъ лишился употребленія ногъ и постоянно лежалъ въ постели. П. И. Савостьяновъ предложилъ ему тогда переселиться на время въ свое имѣніе (Сухіе Гаи) въ надеждѣ, что свѣжій деревенскій воздухъ поправитъ лучше его здоровье, чѣмъ лѣкарства. Никитинъ принялъ это предложеніе, но не выдержалъ, кажется, и десяти дней и снова возвратился въ Воронежъ. «Здѣсь, писалъ онъ ко мнѣ, я одинъ, и это уединеніе убиваетъ меня не менѣе болѣзни. Тоска страшная! Родныхъ нѣтъ никого, не на комъ остановить глазъ. Быть можетъ, эта тоска ребячество, — я не спорю; но выше моихъ силъ съ нею бороться, не видя надежды къ лучшему. Впереди представляется мнѣ картина: вижу самого себя медленно умирающаго, съ отгнившими членами, покрытаго язвами, потому что такова моя болѣзнь!» П. И. Савостьяновъ, о которомъ здѣсь говорится, былъ воронежскій помѣщикъ. Имѣніе его, Сухіе Гаи, находится въ 50 верстахъ отъ Воронежа. Воспитанникъ Московскаго университета, человѣкъ богатый, Павелъ Ивановичъ свою молодость посвятилъ педагогической службѣ. Онъ былъ послѣдовательно директоромъ гимназій въ Харьковѣ и Воронежѣ и директоромъ Московскаго Земледѣльческаго училища. Директорство Савостьянова въ Воронежѣ относится къ 1838—1840 г. *), когда еще живъ былъ Кольцовъ, котораго онъ принималъ у себя и знакомилъ со вновь поступавшими въ гимназію учителями. Воронежскимъ помѣщикомъ

*) См. нашу статью въ «Воронежской Бесѣдѣ» 1861 г. стр. 417.

П. И. Савостьяновъ сталъ позже, уже по выходѣ въ отставку. Бывая часто въ губернскомъ городѣ, а по зимамъ проживая въ немъ, Савостьяновъ раньше другихъ познакомился съ Никитинымъ, и когда послѣдній разболѣлся, предложилъ ему лучшее средство для излѣченія — пожить въ деревнѣ, на свѣжемъ воздухѣ. Онъ послалъ за нимъ особенный экипажъ, называемый *каруцею,* въ которомъ и пріѣхалъ въ Гаи Никитинъ лежащимъ въ постели, въ сопровожденіи нанятаго слуги. Въ большомъ господскомъ домѣ, расположенномъ въ саду, Никитинъ не захотѣлъ остановиться, а предпочелъ флигель, отдаленный отъ сада. И хотя, для отдыха больному, была разбита около флигеля полотняная палатка, но она, естественно, не могла замѣнить сада, при томъ же больной былъ такъ слабъ, что не могъ ходить, и его надобно было переносить на рукахъ даже въ эту палатку. Должность сидѣлки и носильщика исполнялъ съ величайшимъ усердіемъ (по разсказамъ хозяина) пріѣхавшій слуга, молодой парень, одѣтый и остриженный по русски, кажется, одинъ изъ дальнихъ родственниковъ больнаго *). При такихъ условіяхъ, не смотря на любезность хозяина, жизнь въ Гаяхъ становилась несносной. На бѣду, Павелъ Ивановичъ надѣлилъ своего гостя популярными медицинскими сочиненіями, которыми послѣдній зачитывался, и которыя просто нагнали на него панику: онъ сталъ считать себя при послѣднихъ минутахъ жизни, окончательно пораженнымъ скорбутомъ, а потому и пожелалъ скорѣе возвратиться домой. Это было въ концѣ іюня 1855 года. Памятникомъ пребыванія Никитина въ Сухихъ Гаяхъ осталось слѣдующее стихотвореніе, посвященное имъ П. И. Савостьянову:

*) Сообщая намъ приведенныя подробности, П. И. Савостьяновъ (давно умершій) останавливается на мысли, что замѣчательные люди обладаютъ необычайною способностію не только привлекать къ себѣ, но и порабощать себѣ другихъ. Мысль эта, по словамъ нашего корреспондента, вполнѣ подтвердилась для него отношеніями больнаго Никитина къ своему слугѣ. Болѣзнь сдѣлала Никитина страшно раздражительнымъ и капризнымъ. Лишенный возможности движенія, онъ не давалъ покоя своему слугѣ, сердился на него, бранилъ его, нерѣдко — оскорблялъ; и послѣдній не только никогда не обнаруживалъ ни тѣни неудовольствія, но продолжалъ служить больному еще съ большимъ удовольствіемъ, доходившимъ до увлеченія.

Не спится мнѣ. Окно отворено,
Давно горятъ небесныя свѣтила,
Сіяетъ прудъ, въ густомъ саду темно,
Ночь ясная безмолвна какъ могила...

Но тамъ — въ гробахъ навѣрно есть покой,
Здѣсь жизни пиръ: во тьмѣ кипятъ желанья,
Во тьмѣ порокъ идетъ своей тропой.
Во тьмѣ не спятъ ни страсти, ни страданья!

И больно мнѣ, и страшно за людей.
Въ ночной тиши мнѣ чудятся ихъ стоны,
И вижу я, какъ въ пламени страстей
И мучатся, и плачутъ милліоны...

И плачу я... Мнѣ думать тяжело,
Что день и ночь, минута и мгновенье
Родятъ на свѣтъ невидимое зло
И новое, тяжелое мученье.

Однакоже, по возвращеніи изъ Сухихъ Гаевъ, все лѣто 1855 года Никитинъ проболѣлъ очень сильно и только къ осени здоровье его стало поправляться. Помогъ ему окончательно новый врачъ, Кундасовъ, къ которому онъ теперь обратился, отказавъ Т — лю, доктору впрочемъ весьма почтенному и искусному. Кундасовъ посовѣтовалъ ему бросить нелѣпую діэту, которой онъ до того времени постоянно держался, и велѣлъ ему употреблять болѣе грубую пищу, ѣсть кислыя щи, солонину съ хрѣномъ и уксусомъ, пить квасъ и т. п., чего онъ прежде боялся какъ яду. Совѣтъ этотъ весьма скоро оказалъ свое полезное дѣйствіе, т. е., прибавимъ, вылѣчилъ отъ скорбута, но не отъ болѣзни желудка, не отъ кишечной чахотки, если только мы не ошибаемся въ опредѣленіи болѣзни Никитина. Еще по осени того же года Никитинъ писалъ: «Вчера (12-го Октября) для меня былъ страшный день. Я думалъ, треснетъ мой черепъ,— такъ болѣла голова отъ разстройства желудка!» Это былъ обычный симптомъ болѣзни.

Графъ Д. Н. Толстой, первый издатель сочиненій Никитина и до самой его смерти одинъ изъ искренно расположенныхъ къ нему

людей, служилъ въ это время въ Петербургѣ, вице-директоромъ департамента Полиціи Исполнительной, при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ. Графъ предложилъ Никитину поднести отъ его имени по экземпляру стихотвореній Высочайшимъ Особамъ. Само собою разумѣется, что Никитинъ съ радостію на это согласился. Стихотворенія были поднесены при простыхъ вѣрноподданническихъ письмахъ Никитина. Обѣ императрицы, царствующая и вдовствующая, и покойный Цесаревичъ Николай Александровичъ удостоили Никитина драгоцѣнными подарками, которые онъ принялъ съ восхищеніемъ. «Милый Николай Ивановичъ, писалъ онъ къ Второву, ура!! Отъ Государыни Императрицы Александры Өеодоровны сію минуту имѣлъ счастіе получить золотые часы. Пожалуйте ко мнѣ. Я прибѣгъ бы къ вамъ самъ, но у меня И. А. Придорогинъ и сейчасъ будетъ Л — къ. Приходите посмотрѣть. Цѣлую васъ заочно. Рука дрожитъ. Извините! 1856 г., числа не помню. Вашъ И. Никитинъ». — Нечего говорить, что Высочайшее вниманіе къ трудамъ Никитина возвысило его во мнѣніи всего городскаго общества и, такъ сказать, авторизовало эти труды. Къ этому же времени относятся нѣсколько заочныхъ знакомствъ, пріобрѣтенныхъ Никитинымъ; къ числу ихъ принадлежитъ знакомство съ В. А. Кокоревымъ, обратившееся въ послѣднее время въ пріязнь. Не столько первое изданіе, принятое, какъ извѣстно, довольно равнодушно публикой, сколько стихотворенія, явившіяся въ промежуткѣ времени, съ половины 1856 г. и до конца 1857 г., изъ которыхъ нѣкоторыя были весьма замѣчательны, пріобрѣли Никитину много горячихъ поклонниковъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ сохранившіяся въ его бумагахъ письма.

1857-мъ годомъ оканчивается первый періодъ литературной дѣятельности Никитина, первый періодъ его новой жизни. Въ этомъ году Второвъ покинулъ Воронежъ. Смерть, въ самое короткое время, двухъ нѣжно любимыхъ дѣтей, нѣкоторыя служебныя непріятности, а, главное, исканіе болѣе живаго дѣла, — все это тянуло Второва туда, гдѣ онъ, въ самый разгаръ величайшихъ государственныхъ преобразованій, такъ честно, благотворно, но скромно потомъ тру-

дился. Съ отъѣздомъ Второва, сначала въ Нижній-Новгородъ, а потомъ въ Петербургъ, письма къ нему Никитина (64 №№) становятся уже настоящими, большими письмами, — въ почтовый и болѣе листъ, исписанный его мелкимъ, но четкимъ почеркомъ. Отселѣ эти письма будутъ служить главнѣйшимъ источникомъ нашего разсказа.

Чего стоила Никитину разлука съ Второвымъ, — объ этомъ можно судить по слѣдующему отрывку изъ письма его къ послѣднему, отъ 15-го Апрѣля 1857 года:

«Я не могу начать моего письма къ вамъ, какъ обыкновенно начинается большая часть писемъ: Милостивый Государь N N! Вѣетъ холодомъ отъ этого начала, и оно мнѣ кажется страннымъ послѣ тѣхъ отношеній, которыя между нами существовали. Я готовъ назвать васъ другомъ, братомъ, — если позволите, — и никакъ *Милостивымъ Государемъ*....

«Что дѣлать! по неволѣ пришлось обратиться къ перу и бумагѣ, чтобы перемолвиться съ вами словомъ! Не замѣнятъ эти бѣдныя строки нашихъ изустныхъ рѣчей!... Признаться, я не могу похвалиться счастьемъ своихъ привязанностей: вы — третье лицо, которое я теряю *), лицо для меня самое дорогое, потому что ни съ кѣмъ другимъ я не былъ такъ откровененъ, никого другаго такъ не любилъ. Силу этой привязанности я понялъ только теперь, сидя въ четырехъ стѣнахъ, не зная, куда и выйти, хотя многіе меня приглашаютъ. Если и выйду, обыкновенно между мною и встрѣтившимся мнѣ знакомымъ начинается, что называется, пересыпанье изъ пустаго въ порожнее; оно и естественно: мой характеръ раскрывается не передъ каждымъ. Я душевно люблю Придорогина, бываю у него почти всякій день; но потому ли, что и онъ упалъ духомъ такъ же, какъ и я, наши бесѣды не облегчаютъ, а давятъ насъ своимъ содержаніемъ. — А что, братъ, говоритъ онъ, подпирая рукою свою большую голову: — видно, приходится умирать! Зачѣмъ жить, — неизвѣстно! А жизнь скверно прожита! — Жалоба заключается горькой улыбкой. Я молча смотрю въ окно изъ его третьяго этажа. Весело

*) Первыя два, думаемъ, были: Дураковъ и Нордштейнъ.

гремятъ по мостовой пролетки; весело снуютъ пѣшеходы; пестрѣютъ кровли зданій, трубы; зеленѣются кое-гдѣ сады; красная полоса зори догораетъ на синевѣ неба. Обстановка, кажется, не дурна; но что за тяжесть на сердцѣ! что за скука въ душѣ!... Послѣ долгаго молчанія разговоръ переходитъ на общее мѣсто — разную современную гадость, и, право, чувствуешь себя точно разбитымъ, окунувшись въ этотъ зловонный омутъ. Прохожу мимо вашей бывшей квартиры, — она пуста. Не видно знакомыхъ мнѣ бѣлыхъ занавѣсокъ; вечеромъ не горитъ огня въ кабинетѣ, гдѣ такъ часто я думалъ, читалъ, бесѣдовалъ, — словомъ, благодаря вашему дружескому, разумному вниманію, находилъ средства забывать всѣ дрязги моей домашней жизни. Какъ же мнѣ не любить васъ! Какъ мнѣ о васъ не думать! Второе — неизбѣжное слѣдствіе перваго, въ особенности теперь. Саади сказалъ правду: Quand on est seul, on est plus que jamais avec ceux, qu'on aime. Богъ вѣсть, гдѣ и когда мы встрѣтимся! и встрѣтимся ли, это вопросъ! Не понимаю, что дѣлается со мною съ нѣкотораго времени. Все мнѣ опротивѣло: мой домъ, выходъ изъ дома, разговоры съ кѣмъ бы то ни было, трудъ, даже книги. Если это болѣзнь, пусть бы она поскорѣе проходила. Единственная книга, которую я теперь читаю и которая меня завлекла, Le Dernier des Mohicans Купера, увлекла, можетъ быть, потому, что дѣйствительность въ ней воспроизведенная совершенно противуположна тому, что меня окружаетъ. Кажется, вмѣстѣ съ героями романа я слышу величавый шумъ водопадовъ, брожу въ дѣвственныхъ лѣсахъ, упиваюсь воздухомъ пустынь новаго свѣта. Все таки легче, когда забудешься, хоть не надолго. Разъ десять начиналъ я новую работу, поэму *), но разрывалъ въ мелкіе куски. Жалкое начало! Дрянь выходитъ изъ-подъ пера! Нѣтъ, придется, вѣрно, отказаться отъ міра искусства, въ которомъ когда-то мнѣ жилось такъ легко, хотя этотъ міръ и былъ ложный, созданный моимъ воображеніемъ, хотя чувства изъ него выносимыя были большею частію «плѣнной мысли раздраженье». Придется, видно, по словамъ Пушкина:

*) «Городскаго Голову».

Ожесточиться, очерствѣть
И, наконецъ, окаменѣть.

«Грустная будущность! Но что же дѣлать! Видно, я ошибся въ выбранной мною дорогѣ! Искра дарованія, способная блестѣть въ потьмахъ и чуждая силы грѣть и освѣщать предметы, не разгорится пожаромъ, потому что она жалкая искра... А свѣтящимся червячкомъ я быть не хочу. Можетъ быть, я бы и трудился, и вышло бы что нибудь изъ-подъ пера сносное; но воздухъ, которымъ я дышу, отравилъ мое дыханіе. У Пушкина книгопродавецъ говорилъ поэту, что его несчастія — источникъ пѣсней. Правда; но въ такомъ только случаѣ, если эти несчастія дѣйствуютъ на поэта, какъ шпоры на коня, побуждая его къ бѣгу; но когда шпоры обращаются въ ударъ ножомъ, бѣдный конь откажется отъ бѣга и упадетъ на землю, истекая кровью. Бури внѣ семейства, каковы бы онѣ ни были, еще сносны; но неумолкаемая гроза и гроза отвратительная, грязная, подъ родною кровлей — невыносимая битва, потому что она — уродливость въ природѣ, вопль тамъ, гдѣ, по естественному ходу вещей, ожидаешь невозмутимаго мира, гдѣ надобно бы черпать силу для борьбы съ внѣшнимъ зломъ, котораго такъ много и которое такъ разнообразно. Да ниспошлетъ мнѣ Господь духа мудрости, смиренномудрія, терпѣнія и любви! Иглы, ежедневно входящія въ мое тѣло, искажаютъ мой характеръ, дѣлаютъ меня раздражительнымъ, доводятъ иногда до желчной злости, за которою немедленно слѣдуютъ — раскаяніе и слезы, увы! слезы тоски и горя, жалкія, безсильныя слезы!!!...»

Но какъ ни горько было Никитину разставаться съ Второвымъ, эта разлука до нѣкоторой степени была для него полезна. Хотя еще съ 1856 года кружокъ Второва началъ распадаться; но все же, до самаго дня его выѣзда изъ Воронежа, собиравшіеся у него люди образовали новый, замкнутый, хотя, можетъ быть, и не столь тѣсный, кружокъ. Неоспоримо, что исторія нашего просвѣщенія есть исторія кружковъ, но къ эпохѣ освобожденія крестьянъ эти литературные кружки начали распадаться, — къ лучшему или къ худшему? — Богъ вѣсть. Въ виду предстоящаго громаднаго дѣла,

въ кружкахъ всѣмъ было тѣсно; это стѣсненіе первый, кажется, почувствовалъ Второвъ съ его прямымъ и практическимъ взглядомъ на жизнь. Съ отъѣздомъ Второва, я бы могъ сказать, что вокругъ меня сталъ собираться новый кружокъ, если только мои вечера по субботамъ, продолжавшіеся до смерти Никитина, можно назвать этимъ именемъ. Но ничего кружковаго въ нихъ не было и быть не могло, ни по времени, ни по роду моихъ занятій (я былъ въ то время учителемъ въ Кадетскомъ Корпусѣ), ни по образу жизни самого Никитина, значительно измѣнившемуся и не такъ уже теперь исключительному и замкнутому. Собирались у меня разъ въ недѣлю Никитинъ, Придорогинъ, Н. П. Курбатовъ (воспитанникъ Московскаго Университета, переѣхавшій въ Воронежъ въ 1857 году), Ѳ. Н. Бергъ (въ то время еще кадетъ) и Н. С. Милашевичъ, товарищъ мой по гимназіи, одинъ изъ героевъ Крымской войны, разсказы о которой оживляли наши бесѣды. Я не имѣю права наскучать читателю подробностями ни объ этихъ бесѣдахъ, ни о моихъ личныхъ отношеніяхъ къ Никитину, мало-по-малу, по мѣрѣ того, какъ выбывали изъ нашего кружка тѣ или другія лица, перешедшихъ въ самыя близкія и дружественныя. Но при всемъ моемъ желаніи быть какъ можно краткимъ, по поводу этихъ отношеній, пусть извинитъ меня читатель, если въ дальнѣйшемъ разсказѣ о жизни Никитина мнѣ придется не разъ обращаться къ самому себѣ.

Итакъ, съ отъѣздомъ Второва, вплоть до открытія книжнаго магазина, жизнь Никитина шла своею обычною колеею: чтеніе, литературныя занятія, изученіе нѣмецкаго языка, дворничество, изрѣдка посѣщеніе знакомыхъ, чаще болѣзнь, поглощали все его время. Посмотримъ, что говоритъ самъ Никитинъ объ этомъ все еще полузамкнутомъ періодѣ своей жизни.

2-го августа 1857 г.

«Кулакъ» сегодня отправляется въ Москву подъ покровительство Константина Осиповича (г. Александрова-Дольника). Я сдѣлалъ весьма незначительныя перемѣны въ нѣкоторыхъ главахъ.

Довольно, покуда не марать!... К. О. пишетъ, что Таракановъ въ сценѣ, когда Лукичъ проситъ у него помощи, напоминаетъ Подхалюзина. Я рѣшительно съ нимъ не согласенъ и всю сцену оставилъ нетронутою. Такимъ образомъ можно сказать: Лукичъ похожъ на Чичикова, Скобѣевъ еще на кого-нибудь и т. д. Если бы и были черты случайнаго сходства, что же это доказываетъ? Ровно ничего! Я могу походить на васъ, имѣть одинаковый вкусъ и проч., но изъ сходства вкусовъ не слѣдуетъ, что вы и я одно и то же.... Покуда мнѣ сомнѣваться и въ «Кулакѣ», и въ самомъ себѣ!... Въ продолженіи этого времени я кое-что читалъ. Право, произведенія à la Щедринъ наводнили литературу. Не много скучно: это выстрѣлы на воздухъ, холостые заряды.... Много грома и мало пользы!»

20-го сентября 1857 г.

«.... Мои дѣла идутъ — слава Богу. Если бы вы были въ Воронежѣ, я кое-что прочиталъ бы вамъ. Некрасовъ у меня есть, не утерпѣлъ — добылъ *). Да ужь какъ же я его люблю! **) А жаль, что онъ не сократилъ «Поэта и Гражданина», въ особенности въ описаніи бури, да и начало того.... не приготовляетъ къ цѣлому, а вещь все-таки превосходная! Теперь полеживаю на диванѣ съ Шекспиромъ (перев. Кетчера). Какое славное лицо по отдѣлкѣ Фальстафъ! Въ «Отеч. Записк.», я думаю, вы скоро увидите разныя разности извѣстнаго вамъ стихокропателя....»

---

*) 2 изданіе, продававшееся въ это время отъ 6 до 10 руб.

**) Этотъ взглядъ впослѣдствіи совершенно измѣнился, какъ доказываетъ стихотвореніе Никитина Поэту-Обличителю, направленное противъ Некрасова. Не помнимъ, когда и отъ кого, но Никитинъ узналъ какія-то подробности о послѣднемъ, которыя глубоко его возмутили: это и выразилось въ названномъ стихотвореніи. Намъ положительно извѣстно, что Некрасовъ искалъ сотрудничества Никитина и что послѣдній былъ всего менѣе расположенъ къ участію въ «Современникѣ». Антипатія Никитина къ этому журналу постоянно возрастала.

14-го апрѣля 1858 г.

«.... Я читаю теперь Études sur l'avenir de la Russie. Видно, что писано помѣщикомъ.... Ну, да пусть себѣ разглагольствуетъ! Дѣло идетъ своимъ чередомъ.... Хозяйство мнѣ просто шею переѣло. Нѣтъ ни одного дня, чтобы не слышалъ я толковъ о горшкахъ, корчагахъ, щахъ и проч., да иди въ кухню, да посмотри, да помири кухарку съ дворникомъ, которые побранились за какую-то дрянь. Дворникъ говоритъ: — я жить не хочу. — Кухарка легла на печь. — Я, говоритъ, стряпать не хочу, хоть всѣ оставайся безъ обѣда. Записки Семинариста подвигаются впередъ тихо, даже слишкомъ тихо!...»

27-го іюня 1858 г.

«.... Вотъ уже болѣе мѣсяца я живу по сосѣдству съ А. Р. Михайловымъ на дачѣ, если только можно назвать дачею сальные заводы, гдѣ все есть: и страшное зловоніе, и тучи мухъ, и ночью лай собакъ, и къ несчастію сквернѣйшая погода... *)

---

*) Въ это время набросано Никитинымъ слѣдующее стихотвореніе:

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ.

Дождь и холодъ — нѣтъ погоды!
Выйти некуда — хоть брось.
Виды — сальные заводы,
Выздоравливай, небось!
Наслаждайся въ этомъ раѣ!
Слушай, музыка пошла:
Свинки хрюкаютъ въ сараѣ,
Лай собака подняла,
На дворѣ кричатъ вороны,
Вѣтеръ свищетъ и поетъ;
Въ полѣ слякоть, рожь поклоны
Поминутно отдаетъ.

«Читаю много, но ничего не дѣлаю, и, право, не отъ лѣни. Нѣсколько дней тому назадъ я заглянулъ домой; тамъ кутежъ! Сказалъ-было старику, чтобы онъ поберегъ свое и мое здоровье, поберегъ бы деньги — вышла сцена, да еще какая! Я убѣжалъ къ Придорогину и плакалъ навзрыдъ.... Вотъ вамъ и поэзія! Природа надѣлила меня крѣпкимъ организмомъ: хотя я задыхаюсь, а все еще живъ».

25-го іюля 1858 г.

«.... Здоровье мое плохо. Докторъ запретилъ мнѣ на время работать головою. Вотъ уже съ мѣсяцъ ничего не дѣлаю и пью исланд-

---

Вотъ такъ дача! Вотъ такъ радость!
Тутъ отъ скуки пропадешь!
Тутъ не жизнь, а просто — гадость,
Тутъ отъ холоду умрешь!
Правда — книги — утѣшенье,
Но весь день читать, читать, —
Въ головѣ пойдетъ круженье,
Можно зрѣнье потерять!
Не пойти-ль къ сосѣду съ горя?
Тамъ хоть люди, говоръ, смѣхъ,
Отдохнешь, шутя, иль споря....
Какъ тутъ быть? идти не грѣхъ,
Жаль, сосѣдъ съ утра до ночи
Занятъ дѣломъ... Боже мой!
Какъ ему хватаетъ мочи?
Это — мученикъ святой!
Онъ уменъ — въ глаза не скажетъ:
«Эхъ, братъ, шутъ тебя принесъ!...»
Онъ и виду не покажетъ,
А подумать.... гмъ!... вопросъ!
Что жъ? повѣситься мнѣ что ли?
Нѣтъ, на дачѣ не рука!
Стало — дурно, хорошо ли, —
Маршъ съ двора! ей-ей, тоска!

7-го іюня 1858 года.

скій мохъ. Скука невыносимая! Книгъ нѣтъ, да и какую дрянь печатаютъ въ журналахъ! Отъ бездѣлья берусь за нѣмецкій языкъ. Придорогинъ подарилъ мнѣ Словарь Рейфа, и вчера вечеромъ мы начали съ нимъ переводъ *Заговоръ Фіеско*, Шиллера. А помните стихотвореніе Шиллера «Идеалы»? Боже мой! Какъ сравнивалъ я его съ нашими переводами, что за дрянь послѣдніе! За Жуковскаго просто стыдно: онъ не понялъ подлинника и не умѣлъ удержать — не говорю — картинъ и красоты выраженія — даже мыслей....»

5-го сентября 1858 г.

«.... Я все боленъ и боленъ болѣе прежняго. Мнѣ иногда приходитъ на мысль: не отправиться ли весною на воды, испытать послѣднее средство къ возстановленію моего здоровья? Но вопросъ: доѣду ли я до мѣста? Болѣзнь отнимаетъ у меня всякую надежду на будущее....»

19-го сентября 1858 г.

«.... Если я могу надѣяться на полученіе Шиллера и Гейне *), то... я такъ радъ, что путаюсь въ словахъ. Вы вообразите: вѣдь, я тогда буду богатъ! У меня составится порядочная библіотека. А сколько наслажденія предстоитъ мнѣ впереди при чтеніи! «Идеалы» Шиллера я уже знаю наизусть; «Море и сердце» Гейне — тоже. Это стихотвореніе попалось мнѣ въ одной нѣмецкой христоматіи. Теперь я все читаю разныя серьезныя вещи на Французскомъ языкѣ, отысканныя мною въ библіотекѣ г. Потапова, помѣщика Землянскаго уѣзда **). Между прочимъ я недавно познакомился съ Шенье. Какія у него картины въ антологическомъ родѣ! Но его предсмертныя стихотворенія такъ и хватаютъ за душу!

---

*) Сочиненія Гете, Шиллера и Гейне подарилъ Никитину В. А. Кокоревъ.

**) Эта прекрасная библіотека принесена ея владѣльцемъ, А. Л. Потаповымъ, въ даръ Воронежской Публичной Библіотекѣ въ 1865 г.

Какое присутствіе духа! Писать стихи въ то время, когда жизнь виситъ на волоскѣ, когда въ корридорѣ тюрьмы уже слышны шаги солдатъ, идущихъ за поэтомъ!...»

6-го октября 1858 г.

«За отсутствіемъ дворника, я отпускаю извощикамъ овесъ и сѣно и распоряжаюсь помѣщеніемъ ихъ телѣгъ на моемъ дворѣ. Это занятіе, при невозможности взяться за лучшій трудъ, развлекаетъ меня, — и слава Богу! Чего болѣе?... Утомившись порядочно за день, въ сумерки я зажигаю свѣчу, читаю какой-нибудь журналъ. Когда же чувствую себя нѣсколько здоровѣе, берусь за Шиллера и копаюсь въ лексиконѣ, покамѣстъ зарябитъ въ глазахъ. Часовъ въ 12 засыпаю и просыпаюсь въ 4, иногда въ 3 часа. Разсвѣтъ уже застаетъ меня за чаемъ, который подкрѣпляетъ меня и оживляетъ на нѣкоторое время. Но передъ обѣдомъ я снова чувствую непріятное разслабленіе въ тѣлѣ, и тогда принимаю холодную ванну, послѣ которой бѣгаю по улицамъ или по двору въ теплой шубѣ, а въ ясный солнечный день бѣгаю до того, что подкашиваются ноги, и едва-едва согрѣваюсь. Вотъ какъ много осталось крови въ вашемъ покорнѣйшемъ слугѣ, или, лучше сказать, какъ дурна его кровь. — Скучно!... Сколько я видѣлъ порядочныхъ молодыхъ людей, краснорѣчиво и громко защищавшихъ всѣ благія стремленія впередъ, и — увы! какая-нибудь тамъ пошлая женитьба, грошевый интересъ перевертывали имъ голову, каменили ихъ сердце! Грустно, когда подумаешь, что все доброе, общечеловѣческое лежитъ, такъ сказать, не въ основѣ нашего характера, не вытекаетъ изъ него естественно и разумно, какъ слѣдствіе изъ причины, а приходитъ къ намъ извнѣ, при однихъ извѣстныхъ условіяхъ приносимое благопріятнымъ вѣтромъ, при другихъ — приносимое противнымъ. Общество наше или слишкомъ молодо, или уже слишкомъ развращено, такъ что не въ силахъ выработать человѣка въ широкомъ смыслѣ этого слова (кажется, то и другое вмѣстѣ). Конечно, встрѣчаются исключенія, но много ли ихъ?... Переселеніе мое изъ Воронежа

должно остаться для меня не осуществимымъ, хотя я и не прочь отъ него, ради своего душевнаго спокойствія. Но могу ли я оставить старика его судьбѣ? Притомъ мое здоровье не вынесетъ ни продолжительной дороги, ни перемѣнъ въ образѣ жизни. Принять на себя какую-нибудь обязанность?... но при плохомъ здоровьи — плохая служба. Жить не работая, или, что то же, жить, работая дурно, слѣдовательно, получать плату выше труда — я не могу: такого рода плата походила бы на милостыню. а милостыня меня умертвитъ».

Если кто, судя по элегическому тону этихъ писемъ, сочтетъ Никитина какимъ-то сентиментальнымъ романтикомъ, тотъ жестоко ошибется. Въ характерѣ Никитина не было и тѣни сентиментальности, по крайней мѣрѣ, въ эту пору; напротивъ, практическое пониманіе жизни до такой степени было ему свойственно, что оно чуть не разсорило его съ друзьями-идеалистами, какъ читатель увидитъ ниже. Въ немногіе часы здоровья и душевнаго спокойствія (что̀ почти всегда зависѣло одно отъ другаго) Никитинъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ: живой, веселый, шутникъ, неумолкаемый разсказчикъ; жаль, что въ эти минуты онъ, какъ видно, рѣдко переписывался съ Второвымъ. Въ такія минуты Никитинъ любилъ болтать по-французски, нарочно коверкая произношеніе, а къ отсутствующимъ пріятелямъ любилъ писать французскія записки. Одна изъ такихъ записокъ оканчивается слѣдующимъ четверостишіемъ.

На языкѣ чужомъ я началъ объясняться,
Уставъ отъ русской чепухи;
Вѣкъ просвѣщенія!... Чему тутъ удивляться,
Когда А. А. писалъ стихи?

Вотъ одинъ отрывокъ изъ письма 1857 г., уже цитированнаго нами; онъ писанъ, кажется, въ веселыя минуты:

«.... Городъ нашъ бѣлится, румянится, охорашивается. Если бы были архитекторы-парикмахеры, кажется, онъ завилъ бы себѣ кудри. Удивительный щеголь! Повидимому, приготовляется къ чему-то торжественному, а къ чему? неизвѣстно. Рынокъ иногда обращается въ театръ, гдѣ разыгрываются небольшія піесы, впрочемъ богатыя

по содержанію. Напримѣръ. Сцена представляетъ утро. Накрапываетъ мелкій дождь. Торговки согнулись и дрожатъ отъ холода. Передъ ними: груши, яблоки, дули, грибы и т. п. — Идетъ! Идетъ! — кто-то отрывисто и въ полголоса восклицаетъ въ толпѣ, — и торговый людъ робко смотритъ по направленію протянутой руки бородатаго кулака. — Вонъ — онъ! — замѣчаетъ послѣдній, — и лицо, почтительно сопровождаемое свитой, является на сценѣ. Размѣреннымъ шагомъ подходитъ онъ къ торговкѣ, беретъ изъ ведра груздь и отвѣдываетъ.

«Это что?

— Грузди, батюшка!

«А въ груздѣ что?»

— Ничего, батюшка.

«Такъ ты такіе-то продаешь грузди! Съ червями! Въ полицію ихъ!... Эй, С.! возьми!»

— Такъ нѣтъ же! Пропадай они тутъ! — И старая торговка опрокидываетъ въ грязь свой свѣжепросоленный товаръ. Главное лицо піесы плюетъ и удаляется размѣреннымъ шагомъ. Окружающіе изумлены; зѣваки его сопровождаютъ.

«Это что?» — нахмурившись, восклицаетъ то-же лицо и отвѣдываетъ мягкую грушу.

— Гру... Гру--ши! — трепетно отвѣчаетъ торговка.

«Гнилыя!»

Торговка хочетъ раскусить другую грушу, показать, что «гнилья» тутъ нѣтъ и не было, но груша летитъ и расплющивается объ ея щеку. Лотокъ съ товаромъ опрокидывается нѣмыми лицами піесы. Повелѣвающая ими плотная особа проходитъ по разсыпаннымъ грушамъ; другая, тоже плотная, но меньше ростомъ, топчетъ ихъ; остальная свита, идя почти въ присядку, окончательно ихъ уничтожаетъ».

Если читатель обратитъ вниманіе на число написанныхъ Никитинымъ въ это время (до конца 1858 г.) стихотвореній и на двѣ начатыя большія вещи — поэму «Городской Голова» и «Записки Семинариста», принявъ въ соображеніе отношеніе его къ дворни-

честву, высказанное въ письмѣ отъ 6-го Октября 1858 г., отношеніе далеко теперь не враждебное, при другихъ благопріятствующихъ условіяхъ, — то онъ согласится съ нами въ томъ, что мы выше сказали о Никитинѣ: ничего въ немъ не было сентиментальнаго; даже крайности направленія, подъ вліяніемъ котораго онъ воспитался, начали теперь исчезать въ немъ совершенно, благодаря вліянію времени и преимущественно московской журналистики («Рус. Вѣстнику» и «Рус. Бесѣдѣ»), завершившей умственное развитіе и складъ понятій не одного Никитина, но и всѣхъ его сверстниковъ. На послѣднихъ особенно сильное вліяніе имѣла «Русская Бесѣда» не своимъ славянскимъ направленіемъ, непонятнымъ большинству, а примиряющимъ отношеніемъ къ основамъ русской жизни, отрицаніе которыхъ начинало уже тяготить многихъ. Никитинъ очень сочувствовалъ направленію «Рус. Бесѣды» и помѣщалъ въ ней лучшія свои стихотворенія; но въ «Рус. Вѣстникъ» онъ не посылалъ ничего, вслѣдствіе отзыва о немъ Кудрявцева. «Кулакъ», вышедшій изъ типографіи въ концѣ 1857 и поступившій въ продажу въ началѣ 1858 г., былъ благосклонно принятъ публикою и журналами. Это задушевное произведеніе Никитина, вмѣстѣ съ печатавшимися въ ту-же пору его стихотвореніями, окончательно утвердило за нимъ довольно почетное мѣсто въ нашей литературѣ, — какое именно? — это дѣло критика, а не біографа. Но Никитинъ былъ теперь доволенъ собою и имѣлъ полное право сказать: «Покуда мнѣ сомнѣваться въ самомъ себѣ!» Самый восторженный пріемъ встрѣтилъ себѣ «Кулакъ» въ разборѣ академика Я. К. Грота, напечатанномъ въ «Извѣстіяхъ II Отдѣленія Академіи Наукъ». Разборъ этотъ, называющій поэму Никитина «замѣчательнымъ явленіемъ въ русской поэзіи», былъ читанъ въ засѣданіи Отдѣленія. Въ «Кулакѣ» находится много чертъ автобіографическихъ; нѣкоторыя въ немъ сцены писаны прямо съ натуры. Если «Лукича» и нельзя назвать живымъ подобіемъ Саввы Евтѣича, то въ основаніи ихъ характеровъ легло много общаго. Мы имѣемъ нѣкоторое право предполагать, что старикъ Никитинъ инстинктивно понималъ это сходство; но, какъ человѣкъ умный, едва ли роптал на сына, такъ какъ поэтъ-сынъ относился

къ своему герою очень симпатично. Критика упрекала Никитина за эти симпатіи и за идеализацію такой жалкой личности, какъ «Лукичъ»; упрекъ въ идеализаціи справедливъ, но онъ объясняется именно тѣмъ сходствомъ, о которомъ сейчасъ сказано. Въ поэмѣ «Кулакъ» Никитинъ хотѣлъ изобразить причины нравственнаго паденія такой же крупной личности, какъ и его отецъ, — человѣка въ положеніи городскаго пролетарія, мѣщанина. «Кулакъ» разошелся очень быстро: къ концу года не было уже въ продажѣ ни одного экземпляра. Въ распродажѣ этой поэмы принималъ самое живое участіе В. А. Кокоревъ, лично незнакомый съ Никитинымъ, но которому поэтъ нашъ былъ очень многимъ обязанъ. «Кулакъ», за всѣми расходами, доставилъ Никитину полторы тысячи рублей сереб. Нѣкоторые книгопродавцы вступили съ нимъ въ переговоры о продажѣ «Кулака» и о напечатаніи его вторымъ изданіемъ. Желалъ этого и самъ Никитинъ, но неудобство заочныхъ переговоровъ, а главное, поглощеніе новымъ дѣломъ, которому онъ предался со всею страстію, остановили и продажу и изданіе.

Оживъ, на сколько можно было ожить полуживому человѣку, прогнавъ со двора долой нужду и крайнюю бѣдность, достигнувъ литературной извѣстности и почета въ глазахъ образованныхъ людей Воронежа, Никитинъ сильно почувствовалъ то, чего ему недоставало съ самой ранней юности: присутствіе въ домѣ, въ семействѣ, любящаго женскаго существа, безъ котораго жизнь холостяка такъ черства и холодна. Имѣя уже за тридцать лѣтъ, Никитинъ съ ужасомъ обращался къ предстоящей жизни стараго холостяка и только утѣшался тѣмъ, что не доживетъ до этой поры. Нѣсколько ранѣе того времени, о которомъ мы ведемъ рѣчь, Никитину понравилась одна дѣвушка, принадлежащая къ одному почтенному и образованному купеческому семейству, въ которомъ онъ былъ дружески принятъ. Понравилась она ему очень. Мы употребимъ собственное выраженіе Никитина: «въ наши съ вами годы (я былъ старше его двумя годами) ужь какая тамъ любовь!» говорилъ онъ не разъ. Но чувство это было въ немъ серьезно и сильно, еще сильнѣе — желаніе подавить его. Проси Никитинъ руки этой дѣвушки, можно быть

увѣреннымъ, что предложеніе его не было бы отвергнуто ни *ею,* ни *ея* семействомъ. Но какъ просить ему, полуживому человѣку, содержателю постоялаго двора, живущему въ грязи и съ такимъ отцомъ! Какъ окружить подобной обстановкой женщину, выросшую совсѣмъ въ иной атмосферѣ! Что же оставалось дѣлать?... Еще новый вопросъ жизни, который Никитинъ порѣшилъ такъ: подавить въ себѣ это чувство и не дать ему разгорѣться. И хотя приводить въ исполненіе подобныя рѣшенія былъ онъ большой мастеръ, но теплота этого чувства еще долго согрѣвала его душу. Это было замѣтно даже въ тѣ рѣдкія веселыя минуты, когда онъ трунилъ и надъ самимъ собою, и надъ своимъ чувствомъ. Вотъ отрывокъ изъ письма, написанный, какъ надобно полагать, въ одну изъ такихъ минутъ и относящійся къ предмету, о которомъ мы говоримъ:

«.... Осуществилась-ли моя завѣтная мечта? вы спрашиваете. Покамѣстъ нѣтъ. Скоро-ли она осуществится — навѣрное сказать не могу. Для того, чтобы мечта эта перешла въ дѣйствительность, мною положено много труда; но мнѣ кажется, все-таки я далекъ отъ цѣли. Быть можетъ, я имѣлъ бы возможность приблизиться къ ней съ помощію побочныхъ средствъ; но побраните вашего покорнѣйшаго слугу за его упрямство — я во всемъ хочу быть обязаннымъ только своимъ собственнымъ силамъ, только своей собственной энергіи. Такимъ образомъ шла до этого дня моя жизнь. Если въ дни моей молодости я не задохся, не погибъ въ окружающемъ меня воздухѣ, если я сгладилъ съ себя печать семинарскаго образованія, если я вошелъ въ кругъ порядочныхъ людей, — всѣмъ этимъ я обязанъ одному себѣ. Итакъ, или до конца надобно выдержать испытаніе, выпить чашу до дна, — или, при неудачѣ, остаться, по крайней мѣрѣ, съ безукоризненною совѣстью, съ мыслью, что я поступилъ благородно, что я смѣло смотрѣлъ не только на улыбающееся мнѣ счастіе, но и на суровое, грозящее мнѣ горе. За неимѣніемъ лучшаго, и это можетъ быть утѣшеніемъ, впрочемъ, такимъ, которое изрѣжетъ морщинами мое лицо и сдѣлаетъ сѣдыми нѣсколько моихъ волосъ. Какъ видите, я не жаркій мечтатель!...

Въ эту минуту мнѣ пришли на память слова Пушкина, вложенныя имъ въ уста Ленскаго:

Писалъ темно и вяло....

«Въ самомъ дѣлѣ, я пишу темно. А что до вялости... ахъ, если бы я далъ волю своему перу, клянусь Богомъ, огонь брызнулъ бы изъ этихъ строкъ; но... Довольно, почтеннѣйшій Иванъ Саввичъ, довольно! — «Слушаю-съ!»

«A propos: у васъ по платью встрѣчаютъ, или по чинамъ? Сохрани Богъ, если вы скажете: по письмамъ. Тогда я пропащій человѣкъ!»

Осенью 1858 года Никитинъ считалъ себя чуть не богачемъ: у него набралось до двухъ тысячъ руб. сер. Что дѣлать съ этими деньгами? — вотъ вопросъ, который занималъ его очень много *). Думалъ было онъ купить какой-то каменный домъ, продававшійся съ аукціона по сосѣдству, но это намѣреніе почему-то не осуществилось. Приглашеніе «Общества дешеваго изданія книгъ» въ агенты дало первую мысль Никитину о книжномъ магазинѣ. Эта мысль зрѣла и развивалась въ немъ очень быстро и уже въ концѣ октября отправилась въ Петербургъ на обсужденіе Второва и Придорогина, проживавшаго тамъ временно по своимъ дѣламъ. На моей квартирѣ почти каждый вечеръ шли объ этомъ толки, строились проекты по устройству книжнаго магазина, полагались начала, на которыхъ слѣдуетъ вести торговлю и т. п. Въ этихъ совѣщаніяхъ принимали дѣятельное участіе Н. С. Милашевичъ и Н. П. Курбатовъ. Разсчитывали, что для открытія магазина необходимо имѣть еще тысячи двѣ рублей; но гдѣ ихъ взять? Достать такую сумму денегъ на вексель или подъ залогъ дома въ Воронежѣ, записаннаго впрочемъ на имя отца, не было никакой возможности. Друзья Никитина предложили ему просить этихъ денегъ заимообразно у г. Кокорева, который былъ очень хорошъ со Второвымъ и уже не разъ обна-

---

*) Въ то блаженное время двѣ тысячи рублей значили втрое больше, чѣмъ теперь. Въ нашихъ провинціяхъ ассигнаціонный счетъ былъ въ полномъ практическомъ употребленіи (кромѣ оффиціальныхъ сдѣлокъ) вплоть до половины 60-хъ годовъ; въ деревняхъ этотъ счетъ продолжался и того больше.

руживалъ самое теплое участіе къ нашему поэту. Не безъ борьбы съ самимъ собою принялъ Никитинъ это предложеніе: онъ очень хорошо зналъ, что г. Кокоревъ ему не откажетъ; но что̀ если дѣла пойдутъ плохо и не чѣмъ будетъ расплатиться съ великодушнымъ кредиторомъ!... Положимъ, «Кулакъ» пошелъ отлично; можно выпустить второе изданіе стихотвореній; но все же не думать нельзя: заемъ могъ кончиться благодѣяніемъ, которое Никитинъ и въ тогдашнемъ своемъ положеніи, и какъ человѣкъ честный, не могъ принять. Письмо его къ Второву отъ 27-го октября, въ которомъ Никитинъ проситъ его переговорить съ г. Кокоревымъ о займѣ, носитъ на себѣ слѣды самой тяжелой борьбы. Но по счастію, деликатность В. А. Кокорева вполнѣ успокоила Никитина. «Кокоревъ, писалъ Второвъ, дастъ вамъ въ ссуду просимыя вами три тысячи рублей. Но чтобы заемъ этотъ не тяготилъ васъ, онъ предлагаетъ вамъ издать полное собраніе вашихъ стихотвореній съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи ихъ въ двухъ заводахъ, распродать и вырученными деньгами покрыть долгъ; изданіе и распродажу онъ принимаетъ на себя». Векселя съ Никитина Кокоревъ взять не согласился. Но прошелъ цѣлый мучительный мѣсяцъ, пока не получилъ Никитинъ этого радостнаго отвѣта. Причина такой медленности объясняется тѣмъ, что петербургскіе друзья Никитина — Второвъ и Придорогинъ, довольно равнодушно встрѣтили мысль о книжномъ магазинѣ и старались отклонить отъ нея Ивана Саввича. Второвъ боялся за его здоровье, за благосостояніе, которое, пожалуй, можетъ и лопнуть, тѣмъ болѣе, что въ Воронежѣ уже существовали въ то время три книжныхъ лавки. Къ этимъ опасеніямъ присоединился страхъ Придорогина за Никитина-поэта, дарованіе котораго, высоко имъ цѣнимое, легко можетъ быть убито торгашествомъ. Но Никитинъ не внималъ увѣщаніямъ друзей и со всей страстію предался задуманному дѣлу. Трудно описать восторгъ его при полученіи вышеприведеннаго письма Второва! «Вѣрите-ли, отвѣчаетъ онъ послѣднему, за обѣдомъ я почти ничего не ѣлъ, вечеромъ почти не могъ пить чая, — вотъ до какой степени я былъ потрясенъ!... Ура, мои друзья!... Прощай, постоялый дворъ! Прощайте, пьяныя пѣсни

извощиковъ! Прощайте, толки объ овсѣ и сѣнѣ! И ты, старушка Маланья, будившая меня до разсвѣта вопросомъ — вотъ въ такомъ-то, или въ такомъ горшкѣ варить горохъ, потому что на дворъ пріѣхало вотъ только-то извощиковъ? — прощай, моя милая! Довольно вы всѣ унесли у меня здоровья и попортили крови! Ура, мои друзья. Я плачу отъ радости. — Позвольте на минуту бросить перо!...» «Я берусь за книжную торговлю, говоритъ Никитинъ въ письмѣ къ г. Кокореву, не въ видахъ чистой спекуляціи. У меня есть другая, болѣе благородная цѣль: знакомство публики со всѣми лучшими произведеніями русской и французской литературы, въ особенности знакомство молодежи, воспитанниковъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній.... Помощь, продолжаетъ Никитинъ, которую вы мнѣ оказываете, — не простое участіе, не мимолетное состраданіе къ тяжелому положенію другаго лица, нѣтъ! это въ высшей степени благотворная, живительная сила, которая обновляетъ все мое существованіе. *До тѣхъ поръ я былъ страдательнымъ нулемъ въ средѣ моихъ согражданъ; теперь вы выводите меня на дорогу, гдѣ мнѣ представляется возможность честной и полезной дѣятельности; вы поднимаете меня, какъ гражданина, какъ человѣка!*» Назадъ тому десять лѣтъ Никитинъ не повѣрилъ бы, что онъ будетъ говорить такимъ языкомъ!...

Все, повидимому, устроилось, какъ нельзя лучше: деньги есть, планъ книжной торговли выработанъ, Курбатовъ принялъ непосредственное участіе въ дѣлѣ, въ качествѣ компаньона, и во второй половинѣ декабря отправился въ Москву и Петербургъ за товаромъ: но на первыхъ же порахъ своей новой гражданской дѣятельности Никитину пришлось познакомиться не съ розами ея, а съ терніемъ. Случилось обстоятельство, о которомъ нельзя умолчать, какъ о чертѣ мѣстныхъ провинціальныхъ нравовъ. Въ это время по городу распространился безграмотно написанный пасквиль на одно значительное лицо. Стали доискиваться, кто написалъ его? Пошелъ слухъ, неизвѣстно кѣмъ распущенный, что написать его никто не могъ, какъ Никитинъ, тотъ, что пишетъ стихи, пьянствуетъ (?!), нигдѣ не бываетъ, ходитъ съ какимъ-то артиллерійскимъ офицеромъ (Мила-

шевичемъ) по улицамъ и оба пропадаютъ у какого-то учителя кадетскаго корпуса, гдѣ-то на Поповомъ рынкѣ, просиживая у него далеко за полночь и, вѣрно, сочиняя пасквили и обличительныя статьи для газетъ. Какъ ни оскорбительно было подобное обвиненіе, но всякій другой отвѣчалъ бы на него смѣхомъ. Но въ положеніи мѣщанина Никитина, затѣвающаго книжную торговлю, было не до смѣха. Онъ былъ оскорбленъ глубоко и какъ человѣкъ, и какъ гражданинъ, выражаясь его же фразой въ письмѣ къ Кокореву: его, аскета, ничего не пьющаго и сидящаго постоянно на одномъ легкомъ супѣ, обвиняли въ пьянствѣ! Ему, горящему желаніемъ приносить общественную пользу, но принадлежащему въ то время къ мѣщанскому сословію, могло угрожать самое возмутительное оскорбленіе! Никитинъ былъ возмущенъ до глубины души. Я никогда не видалъ его въ такомъ мрачномъ состояніи духа, никогда лицо его не выражало такой скорби и негодованія, какъ 8 ноября 1858 г., когда онъ принесъ и прочелъ мнѣ одно изъ превосходныхъ своихъ стихотвореній, оканчивающееся слѣдующими словами, которыя поэтъ едва дочиталъ:

Грудь мою давитъ тяжелое бремя,
Жизнь пропадаетъ въ заботахъ о хлѣбѣ,
Дѣтство сіяетъ, какъ радуга въ небѣ....
Гдѣ вы — веселье, и сонъ, и здоровье?
Взмокло отъ слезъ у меня изголовье,
Темная даль мнѣ бѣдою грозитъ....
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.

Считая преждевременнымъ назвать по имени *лицо*, подвергшееся публичному оскорбленію черезъ глупый пасквиль, замѣтимъ, впрочемъ, что оно было въ правѣ раздражаться и угрожать, такъ какъ уже не въ первый разъ самолюбіе и честь его были оскорблены публично. Къ сказанному нами о Воронежѣ въ предыдущей главѣ, мы должны прибавить, что въ концѣ 50-хъ годовъ этотъ городъ былъ чрезвычайно оживленъ, благодаря двумъ обстоятельствамъ, — квартированію въ немъ, послѣ Крымской войны, штабовъ 4-го армейскаго корпуса и 4-й артиллерійской дивизіи и открытію спеціальныхъ классовъ при тамошнемъ кадетскомъ корпусѣ. Все это

не только увеличивало массу молодежи вообще, но и число молодыхъ людей съ высшимъ образованіемъ. Въ Воронежѣ наканунѣ освобожденія крестьянъ было, конечно, то-же, что и вездѣ: то-же одушевленіе, тѣ же надежды, та же страсть къ публичности, тотъ же восторгъ передъ «свободной» печатью, представителемъ которой былъ тогда «Колоколъ» Герцена. Въ Воронежѣ, какъ и вездѣ, «Колоколъ» былъ сильно распространенъ; но распространеніе его здѣсь имѣло такой комическій и школьный характеръ, который едва ли гдѣ встрѣчался. Въ Воронежѣ распространялись не листки «Колокола», печатавшіеся въ Лондонѣ (такихъ было очень мало), а рукописный «Колоколъ», наполовину, если не болѣе, фабриковавшійся въ самомъ же Воронежѣ, съ цѣлію *устрашить* то или другое лицо. И устрашали! Подъ рубрикою: «Намъ пишутъ изъ Воронежа» мнимые корреспонденты Герцена разсказывали разныя темныя дѣлишки мѣстныхъ администраторовъ, сообщали разные неблаговидные слухи, скандалы и т. п. Цѣль этихъ неосторожныхъ шалуновъ была, конечно, хорошая, но не все сообщаемое ими было правдиво, не все было нелицепріятно. Задѣты были многіе и въ томъ числѣ *лицо,* оскорбленное пасквилемъ. Видя успѣхъ, т. е. *страхъ* этихъ многихъ попасться на страницы воронежскаго рукописнаго «Колокола», довѣрчиво принимаемаго за Лондонскій, шалуны становились съ каждымъ днемъ смѣлѣе; но наконецъ продѣлка эта была обнаружена и виновнымъ пришлось поплатиться выходомъ въ отставку, впрочемъ, безъ всякихъ другихъ, дурныхъ послѣдствій. Никитинъ зналъ все это, но отъ этого знанія ему не было легче, такъ какъ онъ не только читалъ этотъ воронежскій «Колоколъ», но и близокъ былъ съ нѣкоторыми его авторами, долго, впрочемъ, скрывавшими свое авторство. Находясь въ такомъ положеніи, Никитинъ рѣшился на шагъ, щекотавшій его личное достоинство, — онъ задумалъ обратиться къ посредничеству городскаго головы. И вотъ онъ садится за столъ и пишетъ къ тогдашнему городскому головѣ, А. Р. Михайлову, дружески къ нему расположенному, официіальное письмо. Въ этомъ письмѣ, разсказавъ кратко, но искренно прошлую свою жизнь, и доказавъ, что онъ, ни по положенію своему, во всякомъ

случаѣ дающему ему средства къ жизни, стало быть, не вызывающему его писать за деньги все, что угодно (какъ обвиняла его молва), ни по образу своихъ мыслей, не способенъ на роль презрѣннаго пасквилянта, — Никитинъ хотя не употребилъ ни одного льстиваго выраженія объ оскорбленномъ лицѣ, но, говоря о немъ, не могъ и не долженъ былъ отнестись къ нему критически, какъ относилось общественное мнѣніе, что̀ давало поводъ толковать это молчаніе совсѣмъ иначе. Но прежде, чѣмъ письмо это могло повліять, случилось событіе, разомъ заставившее замолкнуть клевету, возмущавшую Никитина. Въ это время получена была въ Воронежѣ IV книжка «Русской Бесѣды» за 1858 г., гдѣ такія стихотворенія, какъ «Разговоры» и «Опять знакомыя видѣнья», произвели, въ нѣкоторыхъ сферахъ, буквально потрясающее впечатлѣніе. Удивлялись смѣлости редактора (И. С. Аксакова), напечатавшаго эти стихотворенія, говорили, что *теперь* нечему удивляться и въ «Колоколѣ»! Никитинъ былъ въ восторгѣ. Его не только оставили въ покоѣ, но нѣкоторые стали его даже побаиваться; вообще же его литературный авторитетъ поднялся въ городѣ очень высоко. Но тѣмъ не менѣе промчавшаяся буря заставила Никитина хлопотать въ Петербургѣ, черезъ Второва, объ избраніи его коммиссіонеромъ Императорской Академіи Наукъ, во избѣжаніе могущихъ встрѣтиться потомъ затрудненій по книжной торговлѣ; но коммиссіонерство это почему-то не состоялось. Въ послѣдствіи Никитинъ думалъ воспользоваться разсказанною нами передрягой для своей поэмы «Городской Голова», воспользоваться не въ качествѣ обличителя: эта роль ему, воспитанному въ хорошей эстетической школѣ, всегда казалась недостойной писателя. Приключеніе, грозившее разразиться надъ нимъ бѣдою, давало ему великолѣпный матеріалъ для созданія типовъ, еще ожидающихъ художника; эти личности должны были вступить въ борьбу съ его идеальнымъ Городскимъ Головою и, разумѣется, задушить его: до земскихъ учрежденій и новаго судоустройства Никитинъ не дожилъ.

Тысячу хлопотъ и волненій было Никитину съ устройствомъ книжнаго магазина, съ отысканіемъ удобнаго помѣщенія, меблировкой,

составленіемъ каталоговъ и проч. и проч. Никитинъ спѣшилъ открытіемъ магазина потому, что въ февралѣ 1859 года открывались въ Воронежѣ дворянскіе выборы, время чрезвычайно благопріятное и для торговли, и для личнаго знакомства съ образованнымъ сословіемъ губерніи, тѣмъ болѣе важнаго, что многіе изъ помѣщиковъ знали Никитина и интересовались его судьбою. Но время уходило; начались выборы; но ни товара, ни отправившагося за нимъ компаньона не было. Много было причинъ, задерживавшихъ Курбатова въ Петербургѣ по пріобрѣтенію русскихъ и французскихъ книгъ и письменныхъ принадлежностей, не смотря на то, что ему въ этомъ дѣлѣ помогали Второвъ и Придорогинъ. Никитинъ зналъ эти причины, но сильно волновался, опасаясь за свои матеріальные интересы. Волновался онъ отъ невозможности тотчасъ же приступить ко второму изданію своихъ стихотвореній, въ уплату долга Кокореву; волновался отъ всѣхъ этихъ хлопотъ по устройству магазина, отъ новости положенія, разомкнувшаго его жизнь. Всѣ эти волненія и тревоги свалили его въ постель: онъ заболѣлъ своею обычною болѣзнію, тѣмъ болѣе упорною, что желудокъ его былъ не въ состояніи принимать никакого лѣкарства. Но вотъ 15 февраля явились изъ Петербурга Придорогинъ и Курбатовъ; вслѣдъ за ними пришелъ весь купленный для магазина товаръ. Дворянскіе выборы приходили къ концу. Новый книгопродавецъ не вставалъ съ постели. Друзья его, въ продолженіе троихъ сутокъ, не выходили изъ магазина, устанавливая по полкамъ книги и прочія вещи. Толпы любопытныхъ останавливались передъ новой вывѣской, на которой красовались слова: Книжный магазинъ Никитина. Былъ четвергъ на масляницѣ. Въ девятомъ часу утра Никитинъ пригласилъ священника и, вмѣстѣ съ нимъ и Саввою Евтѣевичемъ, едва живой, отправился въ свой магазинъ. Отслужили молебенъ съ водоосвященіемъ. Когда Никитинъ, по окончаніи молебствія, оглянулся вокругъ себя, на свою, пріобрѣтенную такою дорогою цѣною, собственность, онъ истерически зарыдалъ — и упалъ на грудь отца....

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Книжный магазинъ. — Отношеніе къ нему Никитина и друзей его. — И. А. Придорогинъ. — Вліяніе его на Никитина. — Смерть его. — Болѣзнь Никитина. — Новыя тревоги, объясняемыя новостію положенія. — Битва за магазинъ съ друзьями. — Книжный магазинъ начинаетъ обязывать Никитина и пріобрѣтаетъ значеніе клуба. — Второе изданіе стихотвореній. — А. Р. Михайловъ.

Не подъ счастливыми предзнаменованіями открылъ свои дѣйствія новый книжный магазинъ въ Воронежѣ. Все, что толпилось по улицамъ въ шумные дни масляницы 1859 г., все ликующее, все мѣстное и пріѣхавшее на выборы, — все это хлынуло въ домъ Соколова на Дворянской улицѣ, гдѣ помѣщался магазинъ. Всѣ давно знали и съ нетерпѣніемъ ожидали увидѣть за прилавкомъ двухъ интересныхъ не для одного празднаго любопытства лицъ: поэта, пріобрѣвшаго уже почетную извѣстность, и молодаго человѣка, окончившаго курсъ въ Московскомъ Университетѣ и промѣнявшаго педагогическую карьеру на скромную роль прикащика. Новооткрытый магазинъ былъ очень хорошо снабженъ русскими и французскими книгами, нотами и разными письменными принадлежностями, такъ что съ этой стороны публикѣ ничего не оставалось желать лучшаго. Но съ другой стороны, публика на первыхъ же порахъ жестоко разочаровалась: она увидѣла передъ собою не поэта, окруженнаго какою-то особенною атмосферою (такъ въ благодушіи своемъ думала тогда о поэтахъ русская провинціальная публика), а человѣка черезчуръ прозаическаго. Передъ нею стояло существо сухое, какъ скелетъ, существо весьма не любезное, раздражительное, съ рѣзкими и отчасти грубыми манерами. Таковъ былъ въ то время Никитинъ;

таковъ и по причинѣ тяжелой болѣзни, отъ которой онъ не успѣлъ еще оправиться, таковъ и по другимъ причинамъ, которыхъ не хотѣли понять въ то время даже лучшіе друзья его. Никитинъ былъ просто влюбленъ въ свой книжный магазинъ. Онъ считалъ его своимъ созданіемъ, своимъ дѣтищемъ; онъ имъ гордился и положилъ на него всю свою душу. «Только теперь, идя по улицѣ, я смѣло смотрю всѣмъ въ глаза, потому что знаю, что дѣлаю дѣло; а прежде что?... кто же у насъ стихи считаетъ дѣломъ!» Такъ нерѣдко выражался Никитинъ въ минуты увлеченія своимъ магазиномъ. А увлекаться и дѣлать какое бы то ни было дѣло для Никитина было одно и то же; въ порывѣ этого увлеченія онъ жертвовалъ для дѣла всѣмъ. Никитина называли скупымъ, даже скрягой. И въ самомъ дѣлѣ, посмотрѣть на его крѣпко изношенное платье, въ которомъ обыкновенно щеголялъ онъ, на его всегда очень оригинальную фуражку, на отсутствіе въ его домѣ комфорта, необходимаго для него, какъ для человѣка вѣчно больнаго, и возможнаго по тѣмъ средствамъ, которыя доставлялъ ему потомъ магазинъ, — кто бы не назвалъ его скрягой? Самъ поэтъ въ пріятельскомъ кружку добродушно издѣвался надъ своимъ скряжничествомъ и любилъ дѣлать предметомъ осмѣянія свой оригинальный костюмъ. «Жаль тратить денегъ на глупости», говорилъ онъ обыкновенно въ отвѣтъ на насмѣшки: «пусть лучше идутъ на магазинъ». И на магазинъ дѣйствительно шло все — и деньги, и здоровье. Нѣкоторые изъ друзей Никитина ужаснулись такого отношенія его къ книжной торговлѣ. Забывъ прошлое Никитина, все пережитое имъ горе, нужду и бѣдность, они хотѣли, чтобы онъ на пріобрѣтенную такою дорогою цѣною собственность смотрѣлъ нѣсколько полегче, дилетантнѣе; они боялись, что онъ убьетъ свое здоровье, свой талантъ, что онъ сдѣлается «Кулакомъ», Плюшкинымъ. Мы видѣли, съ какою цѣлью желалъ Никитинъ открыть въ Воронежѣ книжный магазинъ. Эту идеальную цѣль онъ никогда не покидалъ и служилъ ей честно; многимъ бѣднымъ людямъ, напримѣръ, онъ постоянно и безплатно давалъ читать книги изъ своего магазина. Но осуществляя свой идеалъ книжнаго магазина, Никитинъ не забывалъ и не могъ ни на ми-

нуту забыть его торговаго значенія, не могъ не думать о барышѣ, не заботиться о выгодѣ. Не такъ смотрѣли на дѣло его непрактическіе друзья; имъ хотѣлось матеріальныхъ жертвъ во имя идеи, имъ хотѣлось подвига. Больной, измученный сомнѣніями и опасеніями за будущее, крайне раздражительный, и вслѣдствіе этого и вслѣдствіе столкновенія съ живою дѣйствительностію, Никитинъ стоялъ теперь передъ ними такимъ, каковъ онъ былъ, какимъ создала его природа; всѣ человѣческія слабости выступили теперь ярко въ его даровитой натурѣ и на первыхъ порахъ почти ни въ комъ не нашли онѣ снисхожденія, и всего менѣе въ друзьяхъ его. Безпощаднѣе всѣхъ къ Никитину былъ задушевнѣйшій другъ его, нѣжно любившій его, Придорогинъ. Мы позволяемъ себѣ сдѣлать отступленіе отъ главнаго предмета нашего разсказа, чтобы сказать нѣсколько словъ объ этой интересной личности.

Иванъ Алексѣевичъ Придорогинъ принадлежалъ къ старинной купеческой фамиліи города Воронежа, ведущей свое начало отъ Петра I. Исторія воронежскихъ купеческихъ фамилій очень интересна, и для нея имѣются любопытные матеріалы въ архивѣ Воронежскаго Статистическаго Комитета; изъ нихъ, между прочимъ, видно, что древность происхожденія въ при-донскомъ краѣ, или въ теперешней Воронежской губерніи, принадлежитъ преимущественно купечеству, съ которымъ въ этомъ отношеніи далеко не всѣ дворянскіе роды, происшедшіе отъ разнаго наименованія служилыхъ людей, могутъ сравниться. По этой, между прочимъ, причинѣ воронежское купечество, по крайней мѣрѣ аристократическая его часть, т. е. древніе, богатые роды, всегда рѣзко отличалось отъ типа русскаго купца, выработаннаго еще до-петровской исторіей и всецѣло сохранившагося въ ближайшихъ къ Воронежу торговыхъ городахъ Ельцѣ и Козловѣ; оно приняло лоскъ европейскаго образованія, подобно дворянству, и чуть ли не болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, съ нимъ смѣшивалось и роднилось. Фамилія Придорогиныхъ, нѣкогда очень богатая, принадлежала именно къ этой категоріи воронежскихъ купцовъ. Иванъ Алексѣевичъ Придорогинъ получилъ образованіе въ Московскомъ Университетѣ по словесному факультету, въ которомъ, впро-

чемъ, онъ не окончилъ курса по причинѣ болѣзни глазъ, поразившей его впослѣдствіи почти слѣпотою. Онъ былъ великій почитатель (и, кажется, слушатель) Грановскаго и вообще той блестящей плеяды профессоровъ, которою Московскій Университетъ имѣлъ право гордиться въ эпоху конца 30-хъ и въ началѣ 40-хъ годовъ. Мы могли бы сказать, что Придорогинъ былъ чистѣйшій западникъ, если бы это опредѣленіе было у насъ болѣе точно, или если бы литература создала въ этомъ родѣ что нибудь типичное, какъ съумѣла она создать Скалозуба, Фамусова, Чичикова и иныхъ. Натура поэтическая, душа теплая и любящая, Придорогинъ не могъ не восторгаться Бѣлинскимъ, именно тою стороною его направленія, которая вліяла на распространеніе началъ истинной гуманности и на развитіе эстетическаго чувства. Гуманистъ онъ былъ глубоко искренній, натура художественная — до крайностей. Конечно, Придорогинъ былъ западникъ, если уже нужно опредѣленіе; но отвлеченное начало необыкновенно цѣльно и жизненно въ немъ воплотилось: вотъ за что всѣ друзья такъ горячо его любили! Но настоящимъ западникомъ въ узкомъ смыслѣ этого слова, европеистомъ, Придорогинъ никогда не былъ: съ свойственною ему страстностію, онъ горячо любилъ все русское, отъ пѣсни до простаго крестьянскаго быта, отъ богослуженія до проповѣдей Иннокентія. И русская заунывная пѣсня, и задушевный стихъ поэта, и Херувимская Бортнянскаго, и рѣчь Иннокентія, вызывали изъ глазъ его горячую восторженную слезу. Отчасти лишній человѣкъ, какимъ представляетъ его Тургеневъ, не практическій, не съумѣвшій повести и устроить своихъ торговыхъ дѣлъ, Придорогинъ являлся только глубоко реальнымъ въ своемъ протестѣ противъ всего дикаго и произвольнаго. За одинъ изъ такихъ протестовъ онъ едва не пострадалъ, принявъ сторону городскаго общества противъ произвола мѣстной администраціи. Арестъ на гауптвахтѣ, которымъ поплатился за непрошенное вмѣшательство, возвысившій его, конечно, во мнѣніи общества, не научилъ его осторожности: почти до самой своей смерти, или до губернаторства гр. Д. Н. Толстаго, давнишняго своего пріятеля, Придорогинъ, какъ говорили, не унимался и все спорилъ съ губернской админи-

страціей за городскіе интересы. Протестантомъ и радикаломъ былъ онъ страшнымъ (конечно, на словахъ), когда рѣчь заходила о крѣпостномъ правѣ: чего-чего не говорилъ онъ тутъ! какихъ не сочинялъ ужасовъ! До 1857 г. почти ни одна наша бесѣда не обходилась безъ его горячихъ филиппикъ, которыя не рѣдко прекращались слѣдующимъ замѣчаніемъ одного изъ присутствующихъ: — Ну, полно говорить тебѣ такія страсти! Человѣкъ курицы не зарѣжетъ, а туда же корчитъ роль радикала! — Бѣдный Придорогинъ не дожилъ до 19-го февраля 1861 г. Но зорю освобожденія крестьянъ и начало последующихъ великихъ реформъ онъ привѣтствовалъ съ свойственнымъ только ему энтузіазмомъ. «Русскій Вѣстникъ» и «Русская Бесѣда» не выходили изъ его рукъ; съ ними онъ отправлялся и въ гости, и въ клубъ, гдѣ игралъ по цѣлымъ ночамъ въ карты; о замѣчательныхъ статьяхъ, появлявшихся въ этихъ журналахъ, онъ говорилъ гдѣ только можно, популяризуя и комментируя ихъ по-своему. Въ особенности приставалъ онъ къ нѣкоторымъ съ «Губернскими Очерками» Щедрина, не стѣсняясь ни мѣстомъ, ни временемъ. Такіе господа называли его «злымъ языкомъ» и поэтому часто, хотя и не всегда, оставляли его въ покоѣ. Приводимъ слѣдующее мѣсто изъ записки Второва къ характеристикѣ Придорогина:

«Милый Придорогинъ! Вотъ еще одно изъ свѣтлыхъ воспоминаній моей жизни. Имя его неразрывно связано въ моей памяти съ именемъ Никитина, и хотя дружескія отношенія мои съ послѣднимъ продолжались болѣе времени, но едва ли менѣе любилъ я и Придорогина. Что за милая это была личность! Кстати, вотъ его собственная характеристика въ виршахъ, которыя ему вздумалось написать отъ скуки, живя въ Петербургѣ въ концѣ 1858 г.; они достались мнѣ не совсѣмъ честнымъ образомъ — я унесъ ихъ отъ него. Впрочемъ, въ этой характеристикѣ онъ много налгалъ на себя:

Вся жизнь прошла моя безплодно;
Я цѣлый вѣкъ не жилъ — мечталъ.
Я не трудился, но другихъ свободно
За лѣнь и праздность укорялъ.
Я иногда брался за дѣло,

Казалось, я любилъ его;
За все я принимался смѣло
И не кончалъ я ничего.
Я по природѣ добръ душею,
Я зла чуждался и бѣжалъ,
Но и добра не много мною
Здѣсь сдѣлано, а я усталъ...
А зла, ахъ, сколько зла пристало
Ко мнѣ на жизненномъ пути!
И если, сдернувъ покрывало,
Да заглянуть въ тайникъ души, —
То страшно станетъ за всю гадость,
Что̀ тамъ копышется, кишитъ:
Вотъ жаба-зависть, а вотъ радость,
Что другъ упалъ; а тамъ стоитъ,
Какъ истуканъ во храмѣ, гордость,
Тутъ лесть — гремучая змѣя,
Тутъ жажда золота и подлость,
Какъ безобразная свинья...
. . . .
. . . .
Сомнѣнья демонъ, въ видѣ правды,
Всю вѣру серца погубилъ;
Слѣдовъ нѣтъ благодатной жатвы,
Что Богъ мнѣ на душу вложилъ... и т. д.

«Этакой чудакъ!» восклицаетъ Второвъ: «чего-то, чего онъ не наплелъ на себя!» Но эти вирши писаны не для показу; это была исповѣдь человѣка, написанная имъ въ самую тяжелую пору своей жизни: въ ней сказалась обличительная правда о самомъ себѣ, преувеличенная, конечно, какъ и всѣ обличенія. Мы не ошибемся, если скажемъ, что личности, подобныя Придорогину, могутъ только возрасти въ провинціи. Возрастаютъ и формируются онѣ обыкновенно подъ вліяніемъ литературы, подъ вліяніемъ тѣхъ свѣжихъ типовъ, которыми не оскудѣвала наша литература, особенно со временъ Пушкина, подъ вліяніемъ такихъ журнальныхъ дѣятелей, какими были въ свое время Карамзинъ, Надеждинъ, Полевой и Бѣлинскій. Всѣ крайности литературныхъ направленій долѣе удерживаются

въ провинціи, и хотя медленнѣе, но прочнѣе переходятъ въ жизнь. Такъ, уже въ началѣ сороковыхъ годовъ мы знали въ Острогожскѣ одну необыкновенно типичную личность — русскаго романтика съ ногъ до головы, самымъ органическимъ образомъ воспитавшагося на литературѣ, предшествующей Пушкину, преимущественно на Жуковскомъ. Это былъ М. В. Должиковъ, обучавшійся въ одномъ изъ Харьковскихъ частныхъ пансіоновъ. Подобно Придорогину, онъ принадлежалъ къ старинной купеческой фамиліи; подобно ему, не торговалъ и ничего не дѣлалъ, ведя, впрочемъ, совершенно иной, весьма чинный образъ жизни. Но не безслѣдно прошелъ и этотъ человѣкъ въ уѣздной глуши, человѣкъ тоже лишній; самыя его нѣсколько странныя манеры, его «благоговѣніе» къ женщинѣ, его сентиментальные разсказы о «прелестныхъ малинницахъ», которыхъ онъ встрѣтилъ въ Москвѣ въ единственную туда свою поѣздку, его страсть къ музыкѣ, при плохой игрѣ, его европеизмъ безъ знанія иностранныхъ языковъ, его бѣдность, опрятная и честная, домъ его и холостое хозяйство, управляемое старухой-няней и вольнонаемной служанкой, — все это было такъ не похоже на окружающее, все это такъ манило и влекло, если не за нимъ, то куда-то, не одну молодую воспріимчивую натуру, попавшую въ благодатную глушь уѣзднаго города. Придорогинъ жилъ и дѣйствовалъ въ другой сферѣ — обширнѣйшей и менѣе душной, въ другую пору, и былъ совсѣмъ инымъ человѣкомъ: онъ былъ, смѣемъ сказать, однимъ изъ лучшихъ русскихъ людей сороковыхъ годовъ, съ неотразимымъ на все его окружающее вліяніемъ. Придорогинъ принадлежалъ ко второму слѣдующему за Кольцовымъ поколѣнію, болѣе зрѣлому. Еще будучи студентомъ, онъ познакомился съ Кольцовымъ, потомъ съ нимъ сблизился, потомъ, скорѣе даже другихъ, отошелъ отъ него, ибо тѣ начала, которыя органически вошли въ натуру Придорогина и его современниковъ, въ душѣ Кольцова были еще въ совершенно стихійномъ видѣ, безъ ясно опредѣленнаго образа. Но какъ поэтомъ-пѣсенникомъ, Придорогинъ всегда восхищался Кольцовымъ, зналъ наизусть всѣ его пѣсни, не придавая особеннаго значенія другимъ его стихотвореніямъ. Зная хорошо все семейство Кольцо-

выхъ, Придорогинъ, восторженный почитатель Бѣлинскаго, первый указалъ на фальшивыя мѣста его біографіи воронежскаго поэта-прасола.

Весьма трудно опредѣлить степень вліянія Придорогина на Ивана Саввича, потому что оно сплеталось, такъ сказать, со Второвскимъ вліяніемъ. Но если Второвъ, олицетворенная дѣловитость, такъ любилъ Придорогина, олицетворенное бездѣлье, — удивляться вліянію послѣдняго нечего. Бездѣлушникъ Придорогинъ вносилъ въ общество, въ кружокъ близкихъ ему лицъ, почти то же, что̀ вноситъ въ общество и семейство образованная женщина, — согрѣвающую теплоту чувства. Все, что̀ могло быть холоднымъ и дидактическимъ во вліяніи Второва на И. С. Никитина, — согрѣвалось поэтической натурой Придорогина. Тонкое чувство изящнаго, ему свойственное, по-истинѣ было благодѣтельно для Никитина и особенно отразилось на «Кулакѣ», въ которомъ самыя патетическія страницы остались не выброшенными, только благодаря вліянію Придорогина. Когда затѣвался книжный магазинъ, Придорогина, какъ мы видѣли, не было въ Воронежѣ. Живя въ Петербургѣ, онъ явился самымъ горячимъ противникомъ этого предпріятія, опасаясь, что его «милый Савка» (такъ онъ называлъ Никитина), занявшись торговлею, сдѣлается «Кулакомъ, а не поэтомъ». Въ этомъ смыслѣ онъ старался дѣйствовать на Второва и долго удерживалъ его отъ займа денегъ у В. А. Кокорева; чѣмъ это кончилось, — мы видѣли. Приводимъ отрывки изъ писемъ Придорогина къ Второву. Они очень любопытны и хорошо рисуютъ, какъ личность ихъ автора, такъ и положеніе Никитина въ первую пору открытія книжнаго магазина.

20-го февраля 1859 г. Воронежъ.

.... Всѣхъ своихъ я засталъ, благодаря Бога, здоровыми; но бѣдный Саввичъ лежитъ боленъ, и боленъ очень и очень серьезно: къ его обыкновенной желудочной болѣзни присоединилась еще болѣзнь груди, бока и кашель. Худъ онъ сталъ, какъ скелетъ, и едва-едва можетъ перетащиться съ одного дивана на другой;

такъ онъ слабъ и истощенъ! Главная причина его болѣзни, такъ, по крайней мѣрѣ, кажется всѣмъ намъ, не физическая (!!), а нравственная (намекъ на скряжничество)....

20-го марта 1859 г.

.... Дѣла Саввича идутъ, сверхъ чаянія, не совсѣмъ плохо. и есть надежда, что пойдутъ и еще лучше; но здоровье его скверно. Онъ началъ лѣчиться гомеопатіей, и докторъ, пользующій его, увѣряетъ, что онъ непремѣнно поставитъ его на ноги; дай-то Богъ его устами медъ пить!...

11-го іюня 1859 г.

.... Начну прежде всего съ Никитина, судьба котораго занимаетъ меня, вѣроятно, точно такъ же, какъ и васъ, — болѣе всего. Дѣла его идутъ очень и очень недурно, но здоровье его слишкомъ тихо и тихо; онъ таетъ и догораетъ, какъ свѣча, не замѣчая того самъ. Доктора говорятъ, что у него чахотка, и, къ несчастію, кажется, что они правы. Адская болѣзнь измѣнила и самый его характеръ. Физическое истощеніе убило въ немъ поэта; но за то съ необыкновенною силою развернулся въ немъ мелочный и раздражительный духъ спекуляціи. Онъ ничего не пишетъ, мало читаетъ; онъ отсталъ отъ всѣхъ и всего; онъ весь погруженъ въ коммерческіе счеты и разсчеты; онъ доживаетъ послѣдніе дни свои въ лавкѣ; его ничто не занимаетъ, кромѣ барыша и выручки. Онъ сталъ жолченъ и раздражителенъ, что многимъ, не знавшимъ его прежде, даетъ поводъ быть имъ недовольными и иногда очень рѣдко высказывать ему свои неудовольствія. Это бѣситъ его, и обыкновенно послѣ такихъ сценъ онъ не сидитъ, а лежитъ и все-таки не на постели у себя дома, а въ лавкѣ. Напрасно я и М. Ѳ. уговаривали и уговариваемъ его бросить эту торговлю хотя на время, чтобы отдохнуть и поправиться. Онъ ничего не хочетъ слушать и серчаетъ, когда начнешь объ этомъ разговоръ; а высказать ему всю истинную правду — не достаетъ духу; онъ и такъ едва-едва дышетъ. Вотъ грустная, но, къ не-

счастію, вѣрная картина его ежедневной жизни. Часовъ съ 5-ти утра, или даже и ранѣе, — отъ слабости совсѣмъ у него нѣтъ сна — напившись чаю и молока, онъ какъ тѣнь бродитъ по улицамъ. Возвратившись къ себѣ, усталый, онъ садится за счеты и коммерческія письма. Въ 8 часовъ онъ отправляется въ свой магазинъ, гдѣ и пребываетъ до самаго вечера. Оттуда онъ возвращается до того усталымъ, что едва бываетъ въ состояніи дотащиться до дома, и не смотря однако на все это, онъ снова принимается за счеты и выкладки. Наконецъ, измученный такою усиленной работой, онъ ложится въ постель, но сонъ не приходитъ къ нему: физическая слабость — слѣдствіе болѣзни, напряженное воображеніе и разгоряченная голова, продолжающія и тутъ свою работу, не даютъ ему желаннаго успокоенія. Лѣчиться онъ совсѣмъ бросилъ, находя предписанія докторовъ скучными и безполезными, да и врядъ ли можетъ ему кто-либо помочь при настоящемъ образѣ жизни. Сбирается онъ, по пріѣздѣ отъ васъ прикащика, проѣхаться въ Москву и Петербургъ. Мой добрѣйшій Николай Ивановичъ! если только это сбудется, Бога ради употребите на него то вліяніе, которое вы на него нѣкогда имѣли: уговорите его бросить это занятіе и передать его кому-нибудь другому. Не могутъ ужиться вмѣстѣ, въ одномъ человѣкѣ, торгашъ и поэтъ: одно что-нибудь непремѣнно убьетъ другое, или разладица жизненныхъ занятій съ природою убьетъ и самую жизнь... Мы, я, Д., Милашевичъ и Курбатовъ, по-прежнему видимся очень часто, толкуемъ о прочитанномъ, судимъ и рядимъ, а иногда и смѣемся, хотя большею частію сквозь слезъ. Но нашему кружку не достаетъ васъ, отсутствующаго, и Саввича, хотя и наличнаго, но совершенно удалившагося отъ насъ и чуждающагося всего, что не относится къ его торговлѣ». Вотъ что писалъ сѣдовласый юноша, — и много было правды въ начертанной имъ картинѣ! Бѣдный Придорогинъ пророчилъ смерть полумертваго въ то время Никитина, не подозрѣвая, что эта страшная гостья ровно чрезъ четыре мѣсяца подкрадется къ нему самому незамѣтно. И въ самомъ дѣлѣ, незамѣтно подошла она, и когда ему, въ самый день кончины, указали на грозный ея образъ, Придорогинъ имѣлъ му-

жество воскликнуть: А! такъ вотъ она, смерть-то! Ну, что же, посмотримъ! — Уже лежа въ постели, съ которой непремѣнно надѣялся встать, вотъ что писалъ Придорогинъ Никитину, за нѣсколько дней до смерти:

Мой милый Савка!

«Побойся Бога! что ты съ собой дѣлаешь! Неужели ты не можешь просидѣть дня четыре дома, не ходя въ свой магазинъ?... Это просто самоубійство! Заклинаю тебя Христомъ Богомъ, слушайся доктора. Онъ, бѣдняга, чуть не со слезами разсказывалъ о твоихъ подвигахъ.... Ты когда-то любилъ меня; въ память прошлаго, послушай-ка меня — чтобы письмо мое не осталось гласомъ вопіющаго въ пустынѣ!»

Бѣдный Придорогинъ! Онъ умеръ, не устроивъ своихъ коммерческихъ дѣлъ, оставивъ ихъ и многочисленное семейство, состоящее изъ пораженнаго параличемъ, полуидіота брата и множества племянниковъ и племянницъ, на руки своей сестрѣ-вдовѣ, оставивъ все это ея материнской попечительности и заботамъ. За недѣлю до смерти Ивана Алексѣевича Никитинъ, по настойчивому приказанію врача, засѣлъ дома. Мнѣ пришлось быть вѣстникомъ смерти, поразившей ужасомъ Никитина. Смертная блѣдность на желтомъ лицѣ и воспаленные, покраснѣвшіе, но безъ слезъ глаза выражали всегда въ Никитинѣ высшую степень душевнаго потрясенія. Вотъ что онъ писалъ на другой день смерти своего друга къ Н. И. Второву:

«Не знаю, съ чего и какъ начать свое письмо къ вамъ, мой милый другъ Николай Ивановичъ!... Сердце мое облито кровью; ударъ еще такъ недавно разразился надо мною, что я рѣшительно не могу привести въ порядокъ своихъ мыслей; въ головѣ моей все перемѣшалось и перепуталось.... Общій нашъ добрый знакомый, или лучше сказать, общій нашъ другъ, И. А. Придорогинъ вчерашній день (12 ноября) окончилъ свое земное поприще. Онъ до конца жизни сохранилъ ясность разсудка и силу памяти. Послѣднія слова его были, между прочими, слѣдующія: «Скажите Второву, Ники-

тину и Д., что я горячо ихъ любилъ». Семейство покойнаго совершенно потерялось; вопль и рыданіе слышны по всему дому. Бѣдная Евпраксія Алексѣевна, эта сестра милосердія, посвятившая себя всецѣло на служеніе своимъ ближнимъ, убита печалью. Не знаю, достанетъ ли у нея силы перенести эту печаль. Къ несчастію, я не могу сказать ей въ утѣшеніе ни одного слова, не могу отдать послѣдняго поклона и поцѣлуя моему усопшему другу, потому что самъ лежу боленъ.

«Вчера заѣхалъ ко мнѣ Д., сообщилъ мнѣ нѣчто о послѣднихъ минутахъ покойника и замолчалъ. Такъ сидѣли мы около двухъ часовъ. О чемъ было намъ говорить? Горе еще слишкомъ свѣжо; мы не могли усвоить себѣ мысли, что Придорогинъ болѣе не существуетъ!... Итакъ теперь въ Воронежѣ меньше однимъ изъ самыхъ лучшихъ людей. Я хорошо зналъ моего друга: зналъ его горячую любовь къ добру, любовь ко всему прекрасному и высокому, его ненависть ко всякой пошлости и произволу, его младенческую впечатлительность, и — что же? Какой плодъ принесло ему все это въ жизни? Увы! Жизнь ничѣмъ его не вознаградила, ничего не дала ему, кромѣ печали, — и страдалецъ умеръ съ полнымъ сознаніемъ, что самъ онъ не зналъ, зачѣмъ жилъ.... Теперь въ городѣ идетъ говоръ: «Придорогинъ умеръ!.... Умеръ Придорогинъ!...» Опомнитесь, умные купчики! А давно-ли?.... впрочемъ, Богъ имъ судья, не вѣдали, что творили.... Дня чрезъ два будетъ жениться какой-нибудь богачъ — и Придорогина забудутъ среди толковъ о новой свадьбѣ....

О, родъ людской, достойный слезъ и смѣха!

Простите, не могу болѣе писать».

Возвращаемся къ книжному магазину, вновь открытому въ Воронежѣ, и къ его непривѣтливому хозяину.

Много хлопотъ и возни было Никитину со вновь открытымъ книжнымъ магазиномъ. Новость дѣла и положенія, запросы и требованія публики, жестокіе припадки болѣзни, почти не покидавшіе его въ продолженіе всего 1859 года, приставшіе съ «идеями» друзья, пристававшіе съ просьбами о «деньгахъ» и разнаго рода предло-

женіями столичные, въ особенности петербургскіе, книгопродавцы, тяжесть обязательно предложеннаго займа и, какъ ея слѣдствіе, желаніе ускорить второе изданіе сочиненій,—все это, отдѣльно и въ совокупности, терзало Никитина. Былъ онъ, правда, въ эту пору очень не хорошъ и не симпатиченъ: Придорогинъ много сказалъ правды въ письмѣ своемъ отъ 11-го іюня; но друзья Никитина были не правы, относясь къ нему такимъ же образомъ. Они, повторяемъ, взглянули на дѣло слишкомъ идеально и не обратили вниманія на то, что долженъ былъ дѣлать и съ чѣмъ долженъ былъ бороться Никитинъ для того, чтобы поставить магазинъ свой на твердую ногу и чтобы самому стать твердою ногою и въ средѣ воронежскаго торговаго сословія, и въ средѣ образованнаго общества. Мы не станемъ утомлять вниманія читателя подробностями о торговыхъ операціяхъ Никитина; письма его къ Второву переполнены этими подробностями, — порученіями о покупкѣ книгъ, о сношеніяхъ и переговорахъ съ книгопродавцами, жалобами на то и другое, и проч. и проч. Никитинъ прежде всего хотѣлъ сдѣлаться купцомъ, а не «прощалыгой, ёрникомъ», какъ онъ выражался, — хотѣлъ изъ мѣщанскаго ничтожества, изъ двусмысленнаго положенія стихокропателя, незыносимаго, какъ доказалъ ему конецъ прошлаго года, разомъ стать въ гражданское положеніе купца, завоевать себѣ кредитъ и почетъ, стать на одну ногу съ тѣми купцами-аристократами, которые, назадъ тому нѣсколько лѣтъ, когда онъ просилъ у нихъ работы, не допускали его дальше передней. И Никитинъ достигъ всего этого, достигъ въ одинъ годъ; но не легко далось ему это «гражданское» положеніе, особенно при устройствѣ магазина и разнаго рода Вознѣ съ книгами, публикой и друзьями. Больной и раздражительный, Никитинъ, дѣйствительно, сталъ бѣгать отъ друзей своихъ, въ расположеніи которыхъ онъ, разумѣется, ни на секунду не усумнился. Я попробовалъ-было принять на себя роль посредника, но не удачно. Придорогинъ былъ неисправимъ: днемъ и позднею ночью онъ приставалъ ко мнѣ съ жалобами на Никитина. Русскія книги обыкновенно продавались у Никитина по 5-ти и 10% сверхъ ихъ стоимости, продавались нерѣдко и по номи-

нальной цѣнѣ; но бумага и письменныя принадлежности, шибко расходившіяся, продавались и по 25% и по 50%. Этотъ товаръ пріобрѣтался въ Петербургѣ на очень выгодныхъ условіяхъ, явился въ Воронежѣ, какъ новинка, и покупался поэтому на расхватъ. Стоило Никитину продать какую-нибудь пачку конвертовъ, или десть почтовой бумаги, по цѣнѣ большей 10—20%, допускаемыхъ для честнаго торговца, какъ — или дѣлалась сцена, слѣдовалъ упрекъ въ «отступленіи отъ началъ, разъ принятыхъ», или Придорогинъ летѣлъ ко мнѣ и печально провозглашалъ: «Пропалъ нашъ Савка, окончательно пропалъ! Торгашъ и кулакъ сталъ совершенный! Оттого и «Кулака» хорошо написалъ, что въ самомъ-то въ немъ сидѣлъ кулакъ. Нѣтъ, этого нельзя допустить.... къ черту магазинъ! Поговорите вы съ нимъ.... Пишите къ Николаю Ивановичу....» Милый Придорогинъ! Какъ онъ былъ хорошъ въ эти минуты! Не знали друзья Никитина еще вотъ о чемъ. Одна особа, о которой мы упоминали выше, по поводу обвиненій Никитина въ сочинительствѣ пасквилей, теперь пожелала съ нимъ познакомиться. Никитинъ не могъ и не имѣлъ права не исполнить этого желанія, ибо ничего личнаго въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ не было. Знакомство состоялось, ограничившись, впрочемъ, однимъ визитомъ. Ничего не зналъ объ этомъ Придорогинъ: знай онъ, никогда бы не простилъ онъ Никитину «этой постыдной сдѣлки». Милый Придорогинъ!... Между тѣмъ письма къ Второву летѣли — и Второвъ изъ Петербурга, не зная положенія дѣла во всѣхъ подробностяхъ, начитавшись ужасовъ о «погибели дарованія», а главное, устрашившись пророчествъ о неизбѣжно-скорой смерти Никитина, которая въ самомъ дѣлѣ никогда не угрожала такъ сильно нашему поэту, какъ въ этомъ роковомъ году, — Второвъ не зналъ, что ему дѣлать; съ точки зрѣнія Придорогина онъ не могъ смотрѣть на новое положеніе Никитина, но и не могъ оставаться равнодушнымъ и замолчать. Выдержки изъ писемъ Никитина объяснятъ дѣло лучше нашихъ словъ.

9-го апрѣля 1859 г. Воронежъ.

«.... Знаете ли, мой другъ? Въ первые дни, когда я, едва державшійся на ногахъ, сталъ являться въ свой книжный магазинъ, меня неотступно преслѣдовала одна мысль: «Вотъ ты былъ дворникъ, жилъ въ грязи, слушалъ брань извощиковъ; теперь ты хозяинъ порядочнаго магазина, всегда въ кругу порядочныхъ людей....» И много, много мнѣ тогда приходило на умъ, какъ приходитъ и въ эту минуту (я пишу въ магазинѣ), — и хочется плакать, да, мой другъ! плакать и молиться.... О, зачѣмъ я не могу васъ обнять, мое безцѣнное сокровище! Да будетъ благословенъ тотъ день, когда въ первый разъ васъ встрѣтилъ! Да будутъ благословенны всѣ часы, которые я проводилъ въ вашемъ миломъ семействѣ!»

8-го мая 1859 года.

«.... Мои торговыя дѣла идутъ такъ себѣ, не дурно; но здоровье: вотъ вамъ доказательство — мой почеркъ. Вѣрите ли, — едва хожу, едва владѣю руками. Если настанетъ тепло и не поможетъ мнѣ купанье, тогда останется одно: умереть....»

22-го іюня 1859 года.

«.... Если бы была возможность, съ какою радостію я отправился бы теперь въ Петербургъ, и какъ бы горячо и крѣпко обнялъ васъ при свиданіи! Но, къ несчастію, желаніе это рѣшительно для меня не осуществимо: едва я началъ оправляться отъ одной болѣзни — простуды, явилась другая — скорбутъ. Ноги мои распухли, покрылись красносиними пятнами и окончательно отказываются мнѣ служить. Словомъ, повторяется та же исторія, которая была со мною назадъ тому три года. Впрочемъ, я не теряю присутствія духа и не бросаю дѣла, проводя цѣлые дни въ своемъ книжномъ магазинѣ. Тамъ у меня есть отдѣльная комната, гдѣ я постоянно чи-

таю, лежа на диванѣ. Если является покупатель, мнѣ даютъ тотчасъ объ этомъ знать, — и я, прихрамывая и морщась отъ боли, выхожу къ нему и, какъ могу и умѣю, удовлетворяю его требованія. Доктора единогласно совѣтуютъ мнѣ пользоваться чистымъ воздухомъ, прогулками въ полѣ и въ лѣсу; съ своей стороны я вполнѣ понимаю, какъ бы было хорошо для меня пожить нѣкоторое время безъ заботъ и занятій. Но обстоятельства сложились такъ, что мнѣ остается отказаться отъ подобной жизни, или насладиться ею въ самой ничтожной мѣрѣ. Причина этому — необходимость моего присутствія въ моемъ книжномъ магазинѣ».

6-го іюля 1859 года.

«Возобновляя въ памяти прошлую мою жизнь, такъ богатую разнообразною горечью, всматриваясь во все, окружающее меня въ настоящее время, — и тамъ, и тутъ я нахожу для себя мало утѣшительныхъ явленій. Впрочемъ, я не хочу повторять старой плачевной пѣсни о томъ, какъ мнѣ жилось прежде и какъ живется теперь: на васъ она навела бы тяжелую скуку, на меня — невыносимую тоску. Назадъ тому нѣсколько лѣтъ, счастливый случай свелъ меня съ нѣсколькими личностями, которыя имѣли благодѣтельное вліяніе на развитіе моей нравственной стороны, — вотъ о нихъ-то я хочу сказать два-три слова. Эти дорогіе для меня люди были — вы, мой другъ Николай Ивановичъ, Нордштейнъ, Придорогинъ и Д. Но никто изъ этого небольшаго кружка не могъ узнать меня на столько, на сколько должны узнать меня вы, потому что я вполнѣ раскрылъ передъ вами мою душу, и въ радости, и въ горѣ вамъ одному высказывалъ мои сокровеннѣйшія мысли, по которымъ безъ всякаго затрудненія вы могли судить о свѣтлыхъ и темныхъ сторонахъ моего характера. Къ сожалѣнію оказывается, что и вы знаете меня недостаточно. Доказательство — ваше письмо, которое глубоко меня опечалило и задѣло за живое.

«Вы ставите меня въ разрядъ торгашей, которые, ради пріобрѣтенія лишняго рубля, не задумаются пожертвовать своею совѣстью

и честью. Неужели, мой другъ, я упалъ такъ низко въ вашихъ глазахъ? Неужели такъ скоро я сдѣлался негодяемъ изъ порядочнаго человѣка? (Если бы во мнѣ не было признаковъ порядочности, я увѣренъ, вы не сошлись бы со мною близко). Грустное превращеніе! — Вотъ къ чему привело меня открытіе книжнаго магазина! Итакъ мои слова: «пора мнѣ удалиться и отдохнуть отъ сценъ, обливающихъ мое сердце кровью» — были ложью; мое желаніе принести нѣкоторую долю пользы на избранномъ мною поприщѣ — было ложью; моя любовь къ труду безукоризненному и благородному — была ложью.... Неужели, мой другъ, все это справедливо?

«Вы говорите, что я гублю свое здоровье, съ утра до ночи замкнутый въ стѣнахъ своего книжнаго магазина. Вы зовете меня въ Петербургъ, надѣясь, что поѣздка меня исцѣлитъ и разсѣетъ. Но что же я тамъ буду дѣлать безъ денегъ, и какъ я доѣду туда безъ денегъ? Книжная торговля идетъ такъ вяло, что я никакъ не соберусь уплатить А. Р. Михайлову мой долгъ, состоящій изъ 200 руб. Наконецъ, допустимъ, что, благодаря добрымъ людямъ, деньги на дорогу у меня найдутся; что станется со мною, если въ продолженіе пути желудокъ мой разстроится еще болѣе? Замѣтьте, что здѣсь, на мѣстѣ, при жизни совершенно регулярной, я счастливъ, если проходятъ двѣ недѣли безъ появленія слизей, какъ слѣдствія воспаленія кишечнаго канала. Дорожная тряска, безпокойство и несвоевременный пріемъ пищи для меня убійственны; это я испытывалъ, проѣзжая какихъ-нибудь сто верстъ. Далѣе, вы говорите, что изъ-за книжнаго дѣла я бросилъ свои стихи, т. е. что я черствѣю сердцемъ, тупѣю умомъ. Нѣтъ, мой другъ, обвиненіе это, высказанное вами изъ любви ко мнѣ, неосновательно. Не въ книжномъ магазинѣ я сижу съ утра до ночи, увиваюсь не около покупателей (которыхъ, скажу кстати, приходитъ очень мало), а просто въ особой, смежной съ магазиномъ, комнатѣ, лежа на диванѣ, читаю все, что нахожу подъ рукою дѣльнаго. Не читать — для меня значитъ не жить.... гдѣ же тутъ торгашество?

«Нанять гдѣ-нибудь въ деревнѣ квартиру я не рѣшаюсь, потому что не привыкъ къ затворнической жизни, не могу обойтись

безъ кружка двухъ-трехъ близкихъ мнѣ мыслящихъ людей. И кто будетъ ухаживать за мною въ деревнѣ? Кто будетъ обвертывать на ночь дрожжами мои ноги? Кто приготовитъ мнѣ мой діэтическій столъ, до крайности мнѣ надоѣвшій, между тѣмъ необходимый при сильномъ разстройствѣ моего желудка? Кухарка, живущая у меня нѣсколько лѣтъ, хорошо знаетъ, что̀ и когда нужно мнѣ варить и жарить, но ей невозможно оставить дворъ, гдѣ, во время моего отсутствія, она замѣняетъ хозяйку. Деревенская баба не замѣнитъ мнѣ моей кухарки, имѣть повара не позволяетъ мнѣ мой карманъ. Быть можетъ, въ послѣднихъ словахъ вы замѣтите мою страсть къ гнуснымъ рублямъ; какъ быть! пишу, что думаю: входить въ долги ради повара я не намѣренъ. Прежде я имѣлъ временное пристанище у Плотникова, но домъ его глядитъ теперь уже не такъ. Старикъ Плотниковъ умеръ, дочь его вышла замужъ, въ семействѣ явились новыя отношенія лицъ одного къ другому.... притомъ больной гость надоѣстъ скоро хозяевамъ; я знаю примѣры, что больные надоѣдаютъ родному отцу, или родной матери.

«Что касается моего молчанія, моего бездѣйствія, которое, по вашимъ словамъ, губитъ мое дарованіе (если, впрочемъ, оно есть), вотъ мой отвѣтъ: Я похожъ на скелетъ, обтянутый кожей, а вы хотите, чтобы я писалъ стихи! Могу ли я вдуматься въ предметъ и овладѣть имъ, когда меня утомляетъ двухчасовое серьезное чтеніе? Нѣтъ, мой другъ, сперва надобно освободиться отъ болѣзни, до того продолжительной и упорной, что иногда жизнь становится немилою, и тогда уже браться за стихи. Писать ихъ, конечно, легко; печатать, благодаря множеству новыхъ журналовъ, еще легче; но вотъ что скверно, если послѣ придется краснѣть за строки, подъ которыми увидишь свое имя. Мнѣ кажется, и вы не одобрили бы всякой написанной мною дряни.... Повторяю, мой другъ, надобно сперва выздоровѣть, — иначе: «плохая пѣсня соловью въ когтяхъ у кошки!»

4-го января 1860 г.

..... Вы полагаете для меня необходимымъ бросить книжную торговлю, убивающую мое здоровье и поглощающую все мое свободное время, купить хуторокъ и жить въ тиши, въ самомъ близкомъ соприкосновеніи съ природою. Да, это было бы хорошо и для меня самого, и для успѣха моихъ небольшихъ занятій; но, увы! отъ подобной мечты надобно отказаться, при первомъ ея зарожденіи. Гдѣ взять деньги, чтобы обзавестись хуторомъ, хозяйствомъ, жильемъ, земледѣльческими орудіями, рабочими лошадьми, прислугой и проч. и проч.? Если бы книгопродавецъ Гарденинъ и согласился принять отъ меня мой книжный магазинъ, спрашивается, на какихъ условіяхъ онъ его приметъ? За всѣ мои книги едва ли онъ дастъ третью часть той суммы, которая израсходована мною на пріобрѣтеніе, тѣмъ болѣе, что онѣ растрепаны читателями. Оттого-то и плохо идетъ моя книжная торговля, что, по ограниченности моихъ средствъ, я не могу отдѣлить собственно книжнаго магазина отъ библіотеки для чтенія и увеличить для продажи число предметовъ, что непремѣнно содѣйствовало бы успѣху моимъ дѣлъ. Далѣе, жизнь моя, сравнительно съ прежнею, все-таки до настоящаго времени довольно покойна. Въ продолженіе цѣлаго дня я не слышу и не вижу ничего возмущающаго меня до глубины души; остается только одна ночь, — ну, что-же дѣлать?... Съ этимъ зломъ я еще кое-какъ мирюсь. Если же снова я буду принужденъ взяться за грязную торговлю на постояломъ дворѣ, поить водкою извощиковъ, зазывать ихъ на дворъ съ улицы, вставать съ постели въ полуночную пору для шумныхъ съ ними разсчетовъ, короче — быть въ постоянной пыткѣ, въ постоянномъ раздраженіи, тогда — лучше умереть! Нѣтъ, мой милый другъ, будь что будетъ, а книжную торговлю, по всѣмъ соображеніямъ, оставить мнѣ невозможно. И куда бы я ушелъ отъ тревогъ и печалей? Спросите самихъ себя: много ли найдется въ нашей жизни безоблачныхъ дней? Итакъ, будемъ биться съ невеселою долею, а тамъ, какъ и водится, смерть положитъ всему конецъ».

Битва съ друзьями за существованіе книжнаго магазина была выиграна. Никитинъ былъ правъ.

Но магазинъ устроился и торговля пошла, какъ слѣдуетъ, не ранѣе начала 1860 года. Отъ многаго пришлось отказаться, многое повести иначе. Во-первыхъ, не удалась проектируемая компанія, «совмѣстное веденіе дѣла съ человѣкомъ образованнымъ»; въ апрѣлѣ 1859 г. Н. П. Курбатовъ уѣхалъ за границу. «Курбатовъ добрый и честный человѣкъ, говоритъ Никитинъ въ одномъ письмѣ къ Второву, — въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія; но характеры наши, взгляды на то, какъ вести нужно дѣло, совершенно противоположны». Во-вторыхъ, оказалась положительная невозможность имѣть прикащика, необходимаго помощника въ продажѣ вещей и въ мелочной croзнѣ по магазину, — невозможность не столько по недостатку средствъ, сколько по тому значенію, которое начиналъ пріобрѣтать въ городѣ магазинъ; публика стала относиться къ нему все строже и требовательнѣе, и уже не удовлетворялась сидѣніемъ за прилавкомъ только грамотнаго, хотя бы и приличнаго прикащика; въ этомъ убѣдился Никитинъ на опытѣ, выписавъ было себѣ изъ Петербурга прикащика, котораго черезъ нѣсколько мѣсяцевъ долженъ былъ отправить обратно. Прошлось ограничиться двумя мальчиками, учениками книгопродавческаго дѣла, которые оставались въ магазинѣ до смерти его основателя. Итакъ, книжный магазинъ сталъ *обязывать* Никитина; это случилось само-собою и не входило въ соображеніе. Предполагалось имѣть вліяніе на «учащуюся молодежь», на полуобразованные классы общества, но не предвидѣлось, чего потребуетъ отъ поэта-книгопродавца общество образованное. Непривѣтливо и даже сурово встрѣтившись съ этимъ обществомъ, Никитинъ вскорѣ увидѣлъ себя въ необходимости стать къ нему въ иныя отношенія; и простой торговый разсчетъ, и причины болѣе нравственныя, заставили его сблизиться съ этимъ обществомъ, дорости до него, такъ сказать, въ мелочахъ, чтобы стать потомъ съ нимъ въ уровень, даже — впереди его. Этого желало само общество, не покидавшее Никитина, приставав шее къ нему, не смотря на его мѣщанскую неуклюжесть. Словомъ, книжный магазинъ Никитина началъ пріобрѣ-

тать въ Воронежѣ значеніе клуба, мѣста, куда можно было зайти не для развлеченія отъ скуки, не для узнанія только послѣднихъ газетныхъ новостей, но и для живой, образованной бесѣды. До открытія книжнаго магазина, т. е. еще дворникомъ, Никитинъ имѣлъ наиболѣе знакомыхъ и лицъ, ему сочувствующихъ, между преподавателями и воспитателями Кадетскаго Корпуса, съ которыми и Второвъ былъ близокъ. Вновь открытый магазинъ нашелъ въ этихъ лицахъ значительную матеріальную и еще бо̀льшую нравственную поддержку. Третій директоръ Кадетскаго Корпуса, А. И. Ватаци, не только лично зналъ Никитина, но и былъ большимъ его почитателемъ. При А. И. Ватаци всѣ книги и все нужное для класснаго хозяйства Кадетскій Корпусъ сталъ пріобрѣтать только въ магазинѣ Никитина.

Въ магазинѣ, какъ говорится, начала толпиться публика и за дѣломъ, и за бездѣльемъ. Приходили подъ предлогомъ покупки вздора, вовсе не относящагося къ книжной торговлѣ, въ родѣ какихъ-нибудь несессеровъ, — и Никитинъ, какъ ловкій торговецъ, заводилъ разный вздоръ и бездѣлушки и — не былъ въ убыткѣ. Приходили, чтобы взглянуть на хозяина, познакомиться съ нимъ. Эта толкотня въ магазинѣ, это возбужденное въ публикѣ любопытство объясняется не одною праздностію, не одною бѣдностію провинціальныхъ интересовъ. — Въ Никитинѣ, какъ въ талантѣ, была сила, къ себѣ влекущая, при всѣхъ его слабостяхъ, даже отталкивающихъ сторонахъ его характера, если только кто найдетъ справедливымъ настаивать на существованіи послѣднихъ. Среди толпы лицъ, статскихъ и военныхъ, мужчинъ и женщинъ, непремѣнно одно или два заходили совсѣмъ не для покупокъ, — и съ ними-то Никитинъ, развлеченный и тѣмъ и другимъ, всегда находилъ возможность перебросить нѣсколько словъ, часто вырывавшихся изъ души, всегда сильныхъ. Часто умолкали рѣчи о продажѣ и куплѣ; мальчики овладѣвали покупающими и приходящими за полученіемъ книгъ для чтенія, уводили такихъ въ другую комнату, и вокругъ хозяина составлялся кружокъ, въ которомъ велись иныя рѣчи; вспомнимъ, что это было въ самую оживленную пору нашей жизни и литературы,

а Никитинъ такъ сочувствовалъ тогдашней современности и былъ весьма тонкимъ знатокомъ и цѣнителемъ литературы. Словомъ, передъ Никитинымъ-книгопродавцемъ, вокругъ него, создавалась публика. Онъ это понималъ, но всегда былъ на столько деликатнымъ, что не давалъ понять этого публикѣ. Такое значеніе магазина, дѣлающее честь и публикѣ и его хозяину, установилось, конечно, не вдругъ и опредѣлилось гораздо позже; но и при самомъ началѣ открытія его уже можно было это предвидѣть: вотъ еще одна изъ причинъ того страстнаго отношенія Никитина къ книжной торговлѣ, которая, какъ мы видѣли, объяснялась только его скупостію. Новость положенія заставила Никитина не только измѣнить свой образъ жизни, но и самому, на сколько это отъ него зависѣло, измѣниться. Изъ приведенныхъ писемъ читатель можетъ представить себѣ его новый образъ жизни, — прежній сталъ невозможенъ; человѣкъ выходилъ изъ замкнутаго кружка; запираться снова въ кружокъ было тяжело, ибо въ новомъ положеніи было много заманивающаго. Наконецъ, сама судьба своею нелегкою рукою разбила кружокъ: въ апрѣлѣ уѣхалъ изъ Воронежа Курбатовъ, въ іюлѣ — Милашевичъ, въ ноябрѣ умеръ Придорогинъ. Вотъ что писалъ Никитинъ въ самомъ концѣ 1859 г. къ Второву: «Семейныя мои дѣла текутъ по прежнему, съ прибавленіемъ одной новости: на мнѣ лежатъ всѣ расходы по дому, содержанію прислуги, и т. д. и т. д. Весь доходъ съ дома (до 300 р. сер.) получаетъ старикъ, и увы! этой суммы ему не достаетъ! На возраженіе мое, что я не въ силахъ выносить на своихъ плечахъ всю домашнюю обузу, онъ отвѣчалъ: «А кто тебя родилъ, поилъ и кормилъ? Кто тебя воспиталъ? Ну, ступай и живи себѣ, гдѣ хочешь». — Не слѣдовало бы мнѣ говорить объ этомъ, да сердце черезчуръ наболѣло... Отсутствіе незабвеннаго Ивана Алексѣевича сильно замѣтно въ нашемъ небольшомъ кружкѣ: замолкли веселыя рѣчи и одушевленные споры. Собственно говоря, и кружка-то теперь не существуетъ: остался Де-Пуле и я. Ни Милашевича ни Придорогина замѣнить не кѣмъ».

Но, не смотря на все это, жизнь втягивала Никитина въ свой водоворотъ не одною, какъ мы видѣли, матеріальною своею сторо-

ною. 1-го октября 1859 г. прибылъ въ Воронежъ новый губернаторъ, графъ Димитрій Николаевичъ Толстой, давнишній знакомый Второва, Придорогина и Никитина, первый издатель его стихотвореній. На другой же день по пріѣздѣ графъ зашелъ въ магазинъ Никитина и съ того времени до перевода своего изъ Воронежа, въ началѣ 1861 года, былъ нерѣдкимъ его посѣтителемъ, приходившимъ запросто; во все это время добрыя отношенія гр. Толстаго къ Ивану Саввичу ни разу не измѣнились. Никитинъ также нерѣдко и запросто посѣщалъ графа, человѣка очень образованнаго и литературнаго. Само собою разумѣется, что такія отношенія между губернаторомъ и книгопродавцемъ-поэтомъ были очень выгодны для послѣдняго, особенно въ началѣ.

Если читатель потрудится вникнуть въ новое положеніе Никитина, то онъ согласится съ нами, что оно совершенно не благопріятствовало какой бы то ни было литературной производительности. Изъ писемъ къ Второву мы видѣли, какъ смотрѣлъ на это самъ Никитинъ, а между тѣмъ самъ Никитинъ въ тяжелую для него пору 1859 года, послѣ своего магазина, только и думалъ, что о второмъ изданіи своихъ стихотвореній; среди душевныхъ тревогъ, среди мучительныхъ припадковъ болѣзни мысль объ этомъ изданіи его не покидала. Письма къ Второву переполнены толками объ изданіи, о щекотливости своего положенія по поводу займа. Выписываемъ нѣкорыя мѣста изъ нихъ.

12-го декабря 1858 года.

«.... Векселя Василію Александровичу я не посылаю. Противъ этого страшно возстали М. Ѳ. и Н. С. Они говорятъ: поступокъ Василія Александровича такъ безкорыстно благороденъ, что не ловко было бы съ моей стороны бросить на него нѣкотораго рода тѣнь. Вексель какъ бы выражалъ мою слѣдующую заднюю мысль: — Я долженъ вамъ, м. г., но я заплачу, — будьте увѣрены. Я не хочу даже одолжаться безъ законнаго документа, — и вотъ честь имѣю его вамъ представить. Это замѣчаніе я нашелъ справедливымъ. Мнѣ

доводилось уже быть въ щекотливомъ положеніи, именно при займѣ денегъ у А. Р. Михайлова. Я вручилъ ему росписку: онъ покраснѣлъ и разорвалъ ее, я покраснѣлъ и подобралъ клочки разорванной бумаги, что, разумѣется, не помѣшало мнѣ честно и совершенно съ нимъ раздѣлаться. Кстати объ А. Р. Видя мое горячее желаніе устроить книжный магазинъ, онъ сочувствовалъ мнѣ всею душею и, между прочимъ, сказалъ, что если бы въ этомъ году не было у него свадьбы дочери и раздѣла съ братомъ, онъ съ удовольствіемъ ввѣрилъ бы мнѣ 1500 р. Спасибо ему за теплое слово! Кромѣ этого человѣка, ни одной души не нашлось въ Воронежѣ, сочувствующей моему предпріятію.

«Изданіе моихъ стихотвореній я предоставляю на волю Василія Александровича; но прошу у него позволенія выбросить нѣкоторую дрянь изъ первой книжки. Дорогой мой Николай Ивановичъ! перемолвите съ нимъ объ этомъ предметѣ. Чѣмъ скорѣе состоится предполагаемое изданіе, тѣмъ менѣе останется заботъ на моихъ плечахъ. Прежнія стихотворенія, съ прибавленіемъ новыхъ и «Кулака», составятъ или два томика, или одну объемистую книжку, слѣдовательно, можно обойтись безъ дряни. Зачѣмъ пачкать дрянью и мое имя, и имя издателя моего труда: то и другое равно для меня дорого. Но главное, — чтобы поскорѣе состоялось изданіе....»

20-го іюня 1859 года.

«.... Небольшое улучшеніе моего здоровья дало мнѣ возможность взяться за трудъ. Теперь я занятъ поправкой своихъ мелкихъ стихотвореній. Думаю, что въ концѣ Августа пришлю ихъ вамъ непремѣнно. Признаюсь вамъ, я почти ничѣмъ недоволенъ, что ни прочитаю, — все кажется риторикою. Грустно!... видитъ Богъ, многое писалось отъ души. Знаю, что вы будете недовольны моею строгостію къ роднымъ моимъ дѣтищамъ, да что же дѣлать! И радъ бы глядѣть на нихъ съ любовію, но увы! они ея не заслуживаютъ. Впрочемъ, такъ и быть! Какъ видно, природа не слишкомъ щедра на свои дары; но надо поневолѣ довольствоваться немногимъ».

11-го сентября 1859 года.

«.... На замѣчаніе ваше, почему я не выставилъ годовъ подъ стихотвореніями, скажу вотъ что: выставка подобнаго рода имѣетъ смыслъ подъ произведеніями Пушкина, Лермонтова и т. п., вообще подъ произведеніями людей, за развитіемъ таланта которыхъ читатель слѣдитъ съ особеннымъ любопытствомъ. Вашъ покорнѣйшій слуга не имѣетъ на это претензіи, не желаетъ сказать о себѣ: смотри, молъ, любезный читатель, видишь, какъ я шелъ прогрессивно; видишь, какъ я развивался! — Боже сохрани! Гдѣ оно, это развитіе? Все суета суетъ!... Если я въ самомъ дѣлѣ подвинулся сколько-нибудь впередъ, замѣтятъ и безъ цифръ».

Во 2-е изданіе стихотвореній Никитина, какъ извѣстно, «Кулакъ» не вошелъ: это случилось по взаимному соглашенію Кокорева и Второва. Вторымъ изданіемъ, т. е. поправкою, или, лучше сказать, передѣлкою стихотвореній, вошедшихъ въ 1-е изданіе, были очень недовольны Второвъ и Придорогинъ. Никитинъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ безпощаденъ къ прежнимъ своимъ стихотвореніямъ до 56 года и кромсалъ ихъ немилосердно. Онъ не только ихъ выбрасывалъ и урѣзывалъ, но бралъ совершенно иные мотивы, которые и въ голову ему не приходили, когда писались эти стихотворенія. Это былъ своего рода авторскій вандализмъ, объясняемый, конечно, болѣзненною раздражительностію, страстію, чуть не азартомъ, воспользоваться рѣдкими минутами здоровья, чтобы свалить съ своихъ плечъ обузу нравственнаго обязательства. Выиграли или проиграли передѣланныя такимъ образомъ стихотворенія, — предоставляемъ судить другимъ, указывая только на фактъ. Не можемъ, впрочемъ, не замѣтить вотъ чего: какова бы ни была степень поэтическаго дарованія Никитина, она росла въ немъ съ необыкновенною быстротою; это, конечно, объясняется самымъ духовнымъ его ростомъ, ускореннымъ, быть можетъ, приближающеюся смертію. Стихомъ онъ владѣлъ съ замѣчательною свободой; стихъ у него не вымучивался, не сочинялся, а лился изъ музыкальныхъ звуковъ самаго языка.

Небольшія піесы, ихъ мотивы и образы, въ цѣломъ своемъ составѣ, создавались въ его фантазіи и потомъ уже готовыми ложились на бумагу; это былъ обычный пріемъ писанія стиховъ Никитинымъ, пріемъ, при нѣкоторомъ развитіи и упражненіи, способный перейти въ импровизацію. Думаемъ, что этимъ пріемомъ, или, если угодно, привычкою авторства объясняются достоинства и недостатки стихотвореній Никитина; имъ же можно объяснить до извѣстной степени причудливость указанныхъ выше передѣлокъ.

Прежде, чѣмъ окончить эту главу, намъ необходимо сказать нѣсколько словъ о человѣкѣ, имя котораго уже не разъ упоминалось и который горячо любилъ Никитина, — объ Антонѣ Родіоновичѣ Михайловѣ, умершемъ въ 1874 г. въ глубокой старости. Воронежскій купецъ, вышедшій изъ крѣпостныхъ людей, мыльный и свѣчной заводчикъ, многоземельный сельскій хозяинъ при помощи вольно-наемнаго труда, человѣкъ, которому въ ту пору, о которой ведется нашъ разсказъ, было далеко за 50 лѣтъ, — что, казалось бы, могло быть общаго между такимъ человѣкомъ и кружкомъ, носившимъ имя Второва! А между тѣмъ Михайловъ, никогда не принадлежавшій ни къ какимъ кружкамъ, былъ близкимъ и своимъ человѣкомъ не только для Второва, Придорогина и Никитина, но и для всѣхъ лицъ, которыя были связаны съ нимъ узами дружбы или пріязни. Что же было особеннаго въ этомъ человѣкѣ? Отецъ Михайлова былъ крѣпостнымъ извѣстной графини А. А. Орловой-Чесменской и служилъ ей въ какой-то должности по управленію. Службою его и отличнымъ знаніемъ дѣла очень дорожилъ управляющій имѣніемъ графини, Ш-нъ, который и выразилъ свое расположеніе Михайлову тѣмъ, что взялъ къ себѣ на воспитаніе, вмѣстѣ съ своими дѣтьми, старшаго сына его Антона, мальчика очень даровитаго. Казалось, ничего не могло быть лучше, потому что Ш-нъ, располагая громадными средствами, ничего не жалѣлъ для образованія своихъ дѣтей и прямо ихъ готовилъ къ университету; тотъ же путь предстоялъ и юному Михайлову. Послѣдній, обучаясь въ домѣ управляющаго, обнаружилъ замѣчательныя математическія способности, а потому, ставъ юношей, началъ готовиться къ поступленію на мате-

матическій факультетъ. Даровитость и трудолюбіе крѣпостнаго юноши были ободряющимъ примѣромъ для сыновей управляющаго, но они же помѣшали Михайлову закончить свое образованіе. Когда уже настало время собираться въ Москву, г-жа Ш-на закапризилась и не пожелала, чтобы *ея* дѣти сидѣли въ университетѣ на *одной скамейкѣ* съ крѣпостнымъ ихъ сверстникомъ; Михайловымъ, какъ прирожденнымъ крѣпостнымъ людямъ, нечего было и думать о какомъ-нибудь протестѣ противъ подобнаго каприза, а потому волею-неволею пришлось отказаться отъ университета. Свободу отъ крѣпостной зависимости Михайловъ получилъ гораздо позже, когда объ университетѣ уже нечего было и думать. Переселившись въ Воронежъ почти ни съ чѣмъ, Михайловъ взялся за торговыя и заводскія дѣла и повелъ ихъ не только умно и толково, но и на началахъ *научныхъ,* а не книжныхъ, вычитанныхъ, которыя всегда приводятъ къ разоренію диллетантовъ сельскаго хозяйства и промышленности. Михайловъ не только не разорился, но съ каждымъ годомъ увеличивалъ свои обороты, которые простирались потомъ не на одну сотню тысячъ. Техническія знанія, примѣнимыя къ его дѣятельности (сельское хозяйство и заводы свѣчной и мыловаренный), онъ зналъ въ совершенствѣ; ботаникой онъ занимался со страстію, хотя больше практически, въ примѣненіи къ своей прелестной дачѣ и къ устроенному при ней, на диво и зависть болѣе теплымъ мѣстамъ, превосходному винограднику; онъ свободно читалъ по французски, хорошо рисовалъ, особенно растенія и цвѣты. Михайловъ былъ тѣмъ, что потомъ стали называть у насъ *образованнымъ реалистомъ:* онъ былъ горячимъ поборникомъ образованія вообще, но антипатично относился къ людямъ, ничего не умѣющимъ дѣлать. Самымъ пламеннымъ его желаніемъ было распространеніе въ городской массѣ всякаго рода техническихъ свѣдѣній. Такой складъ образованія соединялся въ Михайловѣ вполнѣ органически почти съ цѣлою богословскою эрудиціею. Человѣкъ глубоко вѣрующій, Михайловъ отлично изучилъ Св. Писаніе и творенія отцевъ церкви: на этомъ поприщѣ только немногіе изъ духовенства могли съ нимъ состязаться; взгляды его на церковный вопросъ совпадали съ воз-

зрѣніями Хомякова, но отличались большею практичностію. Если мы къ этому прибавимъ, что Михайловъ постоянно слѣдилъ за литературой, что онъ писалъ литературно *), — читатель согласится съ нами, что подобное явленіе въ провинціальной купеческой средѣ принадлежитъ къ рѣзко выдающимся изъ общаго уровня. Понятно, поэтому, что Второвъ и подобные ему люди не могли не интересоваться Михайловымъ; они сами искали его знакомства, а не наоборотъ. Михайловъ не былъ недоучившимся самоучкой, какія у насъ не переводятся; напротивъ, это былъ человѣкъ оригинальнаго образованія — натуралистъ, богословъ, славянофилъ и реалистъ, какими выработала ихъ сама жизнь, а не книжки, и гораздо раньше всякихъ книжекъ и толковъ о томъ и другомъ. Придорогинъ былъ ближе всѣхъ съ Михайловымъ, на *ты;* но дружескія отношенія не мѣшали имъ иначе смотрѣть на вещи и горячо ратоборствовать въ спорахъ, особенно по церковнымъ вопросамъ, которые любилъ ставить Придорогинъ. Они сходились въ глубокой антипатіи къ крѣпостному праву и въ нетерпѣливомъ ожиданіи новыхъ муниципальныхъ учрежденій. Они вмѣстѣ боролись съ тогдашней администраціей за городскіе интересы, вмѣстѣ пытались сблизиться съ Кольцовымъ; но Михайловъ потерпѣлъ такую же неудачу, какъ и Придорогинъ: онъ долженъ былъ оставить въ покоѣ раздражительнаго и самолюбиваго поэта-прасола. Второвъ заинтересовался Михайловымъ не по одному складу его оригинальнаго образованія, не по одному мастерству его въ дѣлахъ, но и по отличному его знанію городскихъ нуждъ и потребностей. Н. И. Второвъ былъ, какъ извѣстно, однимъ изъ главныхъ дѣятелей по вопросу о городской реформѣ. Этимъ вопросомъ онъ занимался еще въ Воронежѣ, служа совѣтникомъ губернскаго правленія; А. Р. Михайловъ, понятно, былъ для него дорогимъ человѣкомъ. Общій интересъ ихъ сблизилъ, хотя Михайловъ шелъ гораздо дальше Второвскихъ предположеній, потомъ осуществившихся. Никитинъ сблизился съ Михайловымъ чрезъ Придорогина. Большая разница въ лѣтахъ не до-

*) Статьи его, безъ подписи автора, появлялись и въ столичныхъ газетахъ.

пускала этого сближенія до равныхъ, дружескихъ отношеній; въ немъ, по отношенію къ Никитину, было какъ бы что-то сыновнее. Никитинъ лучше другихъ зналъ Михайлова, зналъ его семейную жизнь, его отношеніе къ дѣтямъ обоихъ половъ, его благотворительность, никому неизвѣстную; а поэтому и уваженіе его къ Михайлову для людей, мало знавшихъ послѣдняго, могло казаться даже крайнимъ. Что касается до Михайлова, всѣ Никитинскія дѣла, литературныя и книгопродавческія, постоянно были близки его сердцу, какъ при жизни поэта, такъ въ моментъ и даже послѣ его смерти. Такія отношенія крѣпче и выше иной дружбы. А. Р. Михайловъ былъ наконецъ первымъ издателемъ полнаго собранія сочиненій Никитина, чистую выручку отъ котораго (2600 руб.) онъ внесъ, по назначенію душеприкащика, въ воронежскую Маріинскую женскую гимназію.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

1860 годъ — лучшая пора въ жизни Никитина. — Генералъ-либералъ. — Поѣздка въ Москву и Петербургъ. — Отношеніе Никитина къ современной литературѣ и жизни. — Литературный сборникъ и возбужденная имъ литературная дѣятельность. — Начало 1861 года. — Предсмертная болѣзнь. — Вторая любовь.

Прошелъ годъ съ открытія книжнаго магазина. Дѣло, рискованное вначалѣ, вполнѣ опредѣлилось. Въ характерѣ Никитина было постоянно жаловаться на «плохія дѣла». — Но дѣла были вовсе не плохи. Магазинъ далъ тысячи полторы чистой прибыли. Иванъ Саввичъ проживалъ очень немного, не болѣе того, что онъ тратилъ на себя прежде; все остальное шло на магазинъ. Торговый кредитъ Никитина возрасталъ не только въ Воронежѣ, но и въ обѣихъ столицахъ, — возрасталъ весьма быстро. Матеріальное благосостояніе, слава магазина увеличивались сколько отъ ловкости и умѣнья вести дѣло спокойно и разсчетливо, столько же и отъ литературной извѣстности хозяина, постоянно возраставшей. Все, что пріѣзжало въ Воронежъ мыслящаго и литературнаго, все это знакомилось, сближалось съ Никитинымъ и тѣмъ или другимъ способомъ распространяло извѣстность магазина, было ему полезно. Въ числѣ такихъ знакомствъ самое прочное и пріятное для Никитина было сближеніе съ Петромъ Ивановичемъ Бартеневымъ, впослѣдствіи издателемъ «Русскаго Архива», который былъ самымъ усерднымъ его коммиссіонеромъ въ Москвѣ. Мы не впадемъ ни въ малѣйшее преувеличеніе, если скажемъ, что книжный магазинъ Никитина представлялъ единственное въ своемъ родѣ явленіе (по крайней мѣрѣ, въ провинціи) по соединенію въ одномъ лицѣ литературной и книгопродавческой

дѣятельности. Ожилъ и Никитинъ, и улыбнулась ему суровая судьба. — Самое здоровье его очень поправилось. Благодаря холоднымъ ваннамъ, купанью въ лѣтнее время и кислой пищѣ, желудокъ его сталъ работать до такой степени, что онъ началъ позволять себѣ нѣкоторыя излишества въ столѣ и чаѣ, т. е., сталъ возвращаться къ любимымъ русскимъ блюдамъ, послѣ многолѣтняго употребленія опротивѣвшей ему, какъ онъ выражался, «нѣмецкой діэты». Самыя отношенія къ отцу какъ будто измѣнились къ лучшему. Старикъ, начинавшій дряхлѣть и слѣпнуть, но не покидавшій своей несчастной привычки, иногда заходилъ въ магазинъ, преимущественно утромъ еще до появленія посѣтителей и до прихода сына. Пройдя раза два по комнатамъ (ихъ было три), онъ обыкновенно обращался съ наставленіями къ мальчикамъ, въ родѣ слѣдующаго: Вы смотрите у меня, — берегите хозяйское добро! А то вѣдь я васъ знаю, — народецъ тоже! Мальчики жили въ домѣ Никитина и нерѣдко выслушивали эти поученія на другой или третій день послѣ происходившихъ въ немъ и уже знакомыхъ читателю сценъ. Иванъ Саввичъ только ночевалъ дома, поэтому и сцены случались рѣже и не могли имѣть для него прежней горечи. Домъ, какъ мы сказали, былъ записанъ на имя Саввы Евтѣича; но старикъ ни на минуту не поколебался отдать его подъ залогъ тысячи рублей серебромъ, понадобившейся сыну для торговыхъ его оборотовъ. Собственно говоря, отношенія между отцомъ и сыномъ не измѣнились къ лучшему, но нѣсколько перемѣнились. И подгулявши, и находясь въ здравомъ умѣ, старикъ находилъ теперь новую пищу для своего краснорѣчія. Гордясь сыномъ, какъ поэтомъ, онъ величалъ его теперь первостатейнымъ купцомъ, который за поясъ заткнетъ какого-нибудь подлеца (это непремѣнно) Ваську или Петрушку такого-то. Браня сына не меньше прежняго, онъ къ словамъ — А кто тебя родилъ? Кто далъ образованіе? — теперь прибавлялъ: «Черезъ кого пошелъ въ люди и сталъ хозяиномъ? А? не понимаешь!» Къ этому времени жизни Никитина относятся и мои съ нимъ объясненія объ отношеніи его къ отцу. Спокойнѣе и рѣшительнѣе прежняго говорилъ Никитинъ, что онъ ни за что старика не покинетъ,

«но и передѣлать себя я не въ силахъ», всегда онъ заканчивалъ свою рѣчь. Судьба продолжала улыбаться Никитину и даже до нѣкоторой степени увѣнчала его поэтическими лаврами со стороны согражданъ. Дѣло происходило такъ. На Святой Недѣлѣ, 9-го Апрѣля 1860 г., мы устроили, кажется, первый въ провинціи, литературный вечеръ, въ пользу литературнаго фонда. Чтеніе происходило въ великолѣпной залѣ Кадетскаго Корпуса. Стеченіе публики было громадное. Никитинъ читалъ новое свое стихотвореніе «Поэту-Обличителю». Появленіе его на эстрадѣ произвело неописанный восторгъ. Его заставили повторить стихотвореніе два раза. Этимъ пріемомъ, краснорѣчиво говорившимъ, Никитинъ былъ глубоко тронутъ. Веселое расположеніе духа отражается и въ письмахъ его, относящихся къ этому времени.

Для доказательства приводимъ слѣдующій большой отрывокъ изъ письма его къ Второву. Это — сцена, списанная съ натуры безъ малѣйшей утрировки. Она даетъ нѣкоторое понятіе и о тогдашнихъ нравахъ.

....«Назадъ тому недѣли три (писано 21-го Марта 1860 г.) приходитъ ко мнѣ господинъ средняго роста, съ толстымъ брюшкомъ, въ очкахъ, рябой, остриженный подъ гребенку, съ окладистою рыжеватою бородою, въ которой уже замѣтна сѣдина, широкоплечій, одѣтый въ теплое пальто съ бобровымъ воротникомъ. Прищуривъ глаза, онъ посмотрѣлъ сначала на полки, уставленныя книгами, при чемъ сдѣлалъ такую гримасу, какъ будто нюхалъ, — нѣтъ-ли чего-нибудь подозрительнаго въ воздухѣ, и потомъ обратился ко мнѣ съ лаконическимъ вопросомъ:

— Никитинъ?

— Точно такъ, отвѣчалъ я: къ вашимъ услугамъ.

— А, очень радъ! очень радъ! И рыжебородый господинъ такъ сильно потрясъ мою руку, что всѣ кости и суставы заходили въ моемъ тѣлѣ.

— Честь имѣю рекомендоваться, — генералъ N. Давно желалъ васъ видѣть. Много слышалъ.... Ну-съ, что подѣлываете?

— Какъ видите, — стою за прилавкомъ и продаю книги.

— О...! и голосъ его превосходительства изъ скромнаго тенора вдругъ перешолъ въ густой порывистый басъ. —

— О-о! Промышленность, торговля, l'industrie!... Этимъ скоро займется и наше, такъ называемое благородное, сословіе.... Ахъ, да! кстати: въ какой степени сочувствуете вы современному вопросу?

— Какому вопросу?

— Фу, чертъ возьми! Разумѣется, вопросу объ освобожденіи крестьянъ. Говорите откровенно....

— Я радъ всему доброму. отвѣчалъ я.

— Я радъ.... я радъ.... Да что такое — я радъ? Недостаточно, милостивый государь! — И генералъ схватилъ меня за бортъ сюртука.

— Вы, м. г., писатель! Вы должны имѣть европейскій взглядъ на эти вещи. L'esclavage à bas!... Вы понимаете по французски?

— Немножко.

— Да-съ, à bas, чертъ меня возьми! Въ этой груди — генералъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь — таится не одно благородное чувство. Еще до поднятія вопроса объ освобожденіи крестьянъ, я принималъ не разъ самыя гуманныя мѣры къ улучшенію ихъ семейнаго и общественнаго быта. Вы читали что-нибудь въ «Русскомъ Вѣстникѣ» о Пенсильванцахъ и Каролинцахъ?... Этотъ журналъ немножко англоманъ; впрочемъ, ничего: я его уважаю.... Каролинцы, м. г., защищаютъ невольничество; но я... я въ душѣ Пенсильванецъ, жена у меня тоже Пенсильванка, эманципаторка въ высшей степени. Сынъ (онъ служитъ въ гвардіи) — одинъ изъ передовыхъ людей настоящаго времени.... Что стоитъ дюжина этихъ красныхъ карандашей?

Я сказалъ цѣну.

— Прикажите ихъ для меня завернуть.... Такъ-то, м. г.! Я, напримѣръ, на дняхъ отпустилъ на волю всѣхъ своихъ дворовыхъ, да вѣдь не дармоѣдовъ... нѣ-ѣ-тъ!... и генералъ снова принялъ величественную позу и при концѣ каждой фразы билъ кулакомъ

о прилавокъ. — Я отпустилъ кузнецовъ, слесарей, столяровъ, каретниковъ, поваровъ — замѣтьте, поваровъ, чертъ возьми! Я гастрономъ, люблю хорошо поѣсть, — но свобода прежде всего... la liberté... Да здравствуетъ свобода!...

Личность этого господина сильно меня заинтересовала. Я старался продлить нашъ разговоръ; къ счастію, намъ никто не мѣшалъ.

— Ваши сосѣди-помѣщики, сказалъ я, я думаю, не очень-то долюбливаютъ васъ за ваши гуманныя идеи. — Генералъ презрительно улыбнулся.

— Тьфу! вотъ мой отвѣтъ сосѣдямъ. Мнѣ дорого мое внутреннее убѣжденіе въ правотѣ моего взгляда, на все прочее я плюю. Я люблю de tout mon cœur нашъ добрый простой народъ и люблю, знаете, иногда съ нимъ сблизиться, поговорить. Par exemple! Подъ Новый Годъ я приказалъ своему старостѣ извѣстить моихъ крестьянъ, чтобы заутра они собрались всѣ въ церковь, потому что я имѣю имъ нѣчто сказать. И вотъ наступилъ Новый Годъ. Заблаговѣстили къ обѣднѣ. Вхожу въ церковь; народу — яблоку негдѣ упасть: внѣ церкви десятки тысячъ, — сошлись, знаете, изъ окрестныхъ деревень. Ну, хорошо-съ. Отслушали мы съ женою литургію, отслушали молебенъ. Я подхожу къ священнику и говорю: — Батюшка, позвольте мнѣ сказать крестьянамъ нѣсколько словъ! — Сдѣлайте милость, ваше пр — ство! — отвѣчалъ онъ. Я сталъ на амвонъ и обратился къ крестьянамъ: — «Поздравляю васъ, братцы, съ Новымъ Годомъ, желаю вамъ всякаго блага, желаю, чтобы исполнились ваши желанія. Вы желаете свободы, — свобода будетъ вамъ дана. Но воля и свобода — два понятія, совершенно противоположныя: свобода — это жизнь въ благоустроенномъ гражданскомъ обществѣ, огражденная закономъ; воля — это значитъ — это значитъ — птица летаетъ въ воздухѣ, звѣрь рыкаетъ въ лѣсу, Черкесъ грабитъ въ своихъ неприступныхъ ущельяхъ... Ну, и такъ далѣе... Теперь я не могу припомнить всѣхъ подробностей, а вышло очень недурно, скажу безъ самохвальства. Барщину я теперь послалъ къ черту; у меня работаютъ одни вольнонаемные. Сдѣлайте одолженіе, — присылайте ко мнѣ конторщиковъ, бухгалтеровъ, упра-

вителей, агрономовъ, — всѣмъ дамъ мѣсто, всѣмъ дамъ жалованье! Свобода труда — первое условіе народнаго благосостоянія. A propos: у васъ есть въ продажѣ записныя приходо-расходныя книги?

— Есть.

— Покажите... хорошо; годятся. Цѣна?

Я сказалъ цѣну.

— Прикажите завернуть четыре книги. У меня, знаете, приходъ и расходъ каждаго зернышка записывается въ книгу. Я гляжу на этотъ предметъ съ экономической точки зрѣнія, — иначе и невозможно. Какъ жаль, что у насъ еще такъ мало развита политико-экономическая наука! Познакомьтесь, пожалуйста, съ сочиненіями П. Фуше, Молинари, и пр. Вы найдете въ нихъ много хорошаго... Ну-съ, однако, что же вы не скажете мнѣ: что вы теперь подѣлываете, что пописываете?

— Право, ничего: все не здоровится, да и некогда.

Его превосходительство покачалъ головою.

— Эхъ, молодые люди, молодые люди! Какъ у васъ мало одушевленія, этой внутренней силы, что называется énergie! Господи, Боже мой! Что если-бы я родился поэтомъ!... А! какъ вы думаете?

И онъ вдругъ сдѣлалъ шагъ назадъ, закинулъ голову и забасилъ, тыкая указательнымъ перстомъ въ воздухѣ:

— ты знаешь самъ,
Какое время наступило;
Въ комъ чувство долга не остыло,
Кто сердцемъ неподкупно прямъ...

— Ну, и проч. помните?

Проснись, громи пороки смѣло!

— Да, громи ихъ, чертъ побери! — И генералъ топнулъ ногой.

— Вотъ ваше назначеніе!... Позвольте, нечаянно вспомнилъ.... Вы знаете помѣщика С — ва?

— Знаю немного.

— Комедія! Ей Богу, комедія! Съ нимъ совершилось нѣчто въ родѣ Овидіевыхъ превращеній. Представьте: умнѣйшій человѣкъ, кандидатомъ кончилъ курсъ въ университетѣ. До поднятія

вопроса объ освобожденіи крестьянъ былъ прогрессистъ въ полномъ смыслѣ слова, врагъ отсталости, рутины, застоя, etc., etc... Но, заговорили о свободѣ крестьянъ, взялись за святое дѣло ихъ освобожденія, — и нашъ горячій прогрессистъ, нашъ глашатай великихъ идей — ррр!!!

Генералъ зарычалъ на подобіе голодной собаки, у которой отнимаютъ кость, даже физіономію, на сколько умѣлъ, сдѣлалъ собачью.

— Вотъ вамъ, продолжалъ онъ, и современные люди! Правду сказалъ Лермонтовъ:

И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ...

Parbleu! Стóитъ, ей-ей стóитъ!... Теперь спрашивается: откуда взялась у насъ эта нетвердость убѣжденій? Отчего она? оттого, что воспитаніе у насъ варварское; оттого, что depuis l'enfance, такъ сказать, съ матернимъ молокомъ мы всасываемъ въ себя произволъ; оттого, что безправіе... Да, вотъ вамъ примѣръ превращенія. Я служилъ полковникомъ въ штабѣ. Замѣтьте — служилъ! т. е. былъ не цифрой безъ значенія, а старался принести возможную пользу своею дѣятельностію. Вы, впрочемъ, не подумайте, что я говорю все это изъ хвастовства.... Dieu m'en préserve.... Вотъ, знаете, и дѣлаешь, бывало, наблюденія. Возьмешь хоть вахмистра. Вахмистръ, sans doute, бывшій когда-то мужикомъ, любимъ и уважаемъ подчиненными ему солдатами, обращался съ ними кротко, входилъ въ ихъ нужды и проч. Но едва этотъ вахмистръ, этотъ выслужившійся солдатъ, получаетъ офицерскіе эполеты, — баста! Превращеніе!... У него является напыщенность, надменность, онъ дѣлается извергомъ, варваромъ, тираномъ, le tyran, да-съ — le tyran...

Вѣроятно его пр — ству понравилось это слово: онъ повторилъ его не разъ и съ какимъ-то особеннымъ носовымъ протяжнымъ звукомъ — le-ty-ra-an!

— Однако я съ вами заговорился, заключилъ генералъ: до свиданія! Au revoir, M — eur Nikitin, au revoir!.. И его превосхо-

дительство оставилъ меня, насвистывая какую-то веселую пѣсенку. — Съ тѣхъ поръ мы больше не видались; а, право, жаль!»

Мысль о поѣздкѣ въ Москву и Петербургъ давно занимала Никитина, особенно съ того времени, когда Второвъ покинулъ Воронежъ. Осуществить эту мысль Никитинъ долго не имѣлъ никакой возможности: не было ни денегъ, ни здоровья. Лѣтомъ 1860 года запасъ здоровья оказался достаточнымъ; наличныхъ денегъ у Никитина почти никогда не водилось, потому что они всѣ уходили на магазинъ; но нашлись и деньги. Желаніе повидаться съ Второвымъ, «отвести съ нимъ душу», необходимость личныхъ знакомствъ по дѣламъ торговли, — вотъ что влекло его въ столицы. «Быть можетъ, писалъ онъ къ Второву еще въ апрѣлѣ, подъ вліяніемъ новыхъ впечатлѣній, силы мои укрѣпились-бы въ продолжительной дорогѣ. Главное, я увѣренъ, что я успѣлъ-бы въ Москвѣ или въ Петербургѣ вступить въ сдѣлку съ кѣмъ-либо изъ книгопродавцевъ, промѣнявъ или продавъ ему моего «Кулака», а потребность на него въ Воронежѣ сильная». — Наконецъ поѣздка состоялась. Въ началѣ іюня Никитинъ отправился въ Москву на почтовыхъ. Теперь можно назвать анекдотомъ, что человѣкъ, подобный Никитину, съ его образованіемъ и все-же кое-какими средствами (мы говоримъ о времени съ 1856 г.), прожилъ весь вѣкъ, не зная другаго города, кромѣ Воронежа, не заѣзжая отъ него далѣе Задонска. Путешествіе очень пріятно подѣйствовало на Никитина; но Москва ему не особенно понравилась; это общее впечатлѣніе, которое испытываютъ жители нашихъ южныхъ губерній, гдѣ, какъ извѣстно, губернскіе города принадлежатъ къ числу лучшихъ, многолюднѣйшихъ и богатѣйшихъ въ Россіи, и гдѣ они создавались не столько по московскому, сколько по петербургскому типу. Этимъ-же лѣтомъ, по возвращеніи Никитина, и я собирался въ столицы; вотъ почему Никитинъ распространяется въ подробностяхъ о дорогѣ въ приводимомъ ниже письмѣ отъ 13 іюня:

«Ну вотъ, мой милый другъ, я и въ Москвѣ! Сперва скажу вамъ нѣсколько словъ о дорогѣ вообще, о томъ, какъ я ѣхалъ, потомъ уже передамъ вамъ впечатлѣнія, произведенныя на меня

Москвою. Ѣзда по шоссе отъ Воронежа до Задонска похожа скорѣе на катанье, нежели на путешествіе, которое обыкновенно представляется намъ соединеннымъ съ извѣстными непріятностями и неудобствами. Недостатка въ лошадяхъ вплоть до Москвы не встрѣчается нигдѣ, хотя подъ Москвою гоньба имъ бываетъ страшная; такъ мнѣ говорили, что съ одной предпослѣдней станціи отправляется въ продолженіе сутокъ съ разными проѣзжающими до трехъ сотъ лошадей. Станціонные дома, по мѣрѣ приближенія ихъ къ столицѣ, становятся все лучше и лучше; нѣкоторые снабжены мягкою мебелью, изысканнымъ буфетомъ и т. п. Въ дорогѣ, право, много хорошаго. Вы не можете себѣ вообразить, какъ весело ѣхать съ ухарскимъ ямщикомъ! Надвинувъ набекрень шляпу, сидитъ онъ на передкѣ и слегка поводитъ кнутомъ. Лошади бѣгутъ скорою рысью, а онъ посвистываетъ и приговариваетъ: «Ну, ну! выноси! Эхъ, вы!» Вотъ крутая гора. Молодецъ подобралъ возжи, влѣпилъ по нѣскольку ударовъ кнута каждому коню, прикрикнулъ: «Эхъ, выручай! Грабятъ!» — и бойкая тройка понеслась, окруженная облакомъ густой пыли. Встрѣчающіеся извощики даютъ вамъ дорогу; испуганная богомолка торопливо отбѣгаетъ въ сторону; сидѣвшій на канавѣ грачъ улетаетъ на дальнія пашни. Между тѣмъ кнутъ все чаще и чаще взвивается въ воздухѣ; только и слышна трескотня колесъ по мостовой: ттрр... тукъ, тутъ, тукъ!... А вокругъ такая гладь, такіе чудные переливы свѣта и тѣни по зелени волнующейся ржи!... Въ одной изъ Тульскихъ гостинницъ вы можете очень не дурно пообѣдать за умѣренную плату; въ Серпуховѣ обѣдъ ни то, ни се, но за то видъ Оки превосходенъ. На станціяхъ почти нигдѣ нѣтъ холодной воды, хоть умирайте отъ жажды; и вотъ тутъ-то, проѣхавъ полтораста верстъ въ сутки, понимаешь вполнѣ, что за благотворный напитокъ чай! Но предупреждаю васъ, если вы хотите ѣхать съ нѣкоторымъ удобствомъ, и если сколько-нибудь дорожите своимъ душевнымъ спокойствіемъ, — берите съ собою какъ можно болѣе денегъ. Проклятыя слова: «пожалуйте на водку» на разстояніи пятисотъ верстъ будутъ раздаваться въ вашихъ ушахъ съ утра до вечера, съ вечера до утра. Вамъ придется платить

за всякіе пустяки, за самую ничтожную мелочь. Въ Ефремовѣ взяли съ меня за перетяжку трехъ колесъ 3 р. 90 к.; въ Воронежѣ они стоили бы не болѣе 75 коп., что положительно мнѣ извѣстно. На послѣдней станціи подъ Москвою сломался шкворень, за сварку котораго я заплатилъ 1 р. 50 к., тогда какъ его можно пріобрѣсти за 75 к. новый. Завяжутъ или развяжутъ какую-нибудь веревку на вашемъ экипажѣ, — давайте на водку; подмажутъ колеса, кромѣ положенныхъ за это 12 коп., — опять на водку.... Вѣрите ли, наконецъ приходишь въ бѣшенство, когда является какая-нибудь глупая рожа старосты, подстаросты, дворника, почтоваго сторожа и т. д. и т. д. и ни за что, ни про что, съ наглѣйшею улыбкой, произноситъ свое обычное: «пожалуйте на водку!» Короче, если вы въ дорогѣ будете кротки и терпѣливы, васъ обдерутъ какъ липку.... Въ Москву я пріѣхалъ вчера въ четвертомъ часу утра. Особеннаго впечатлѣнія видъ Москвы на меня не произвелъ; но Кремль — чудо какъ хорошъ! Я уже успѣлъ побывать въ Успенскомъ Соборѣ, видѣлъ гробы великихъ князей, Кремлевскій царскій дворецъ, садъ, французскія пушки, знаменитый колоколъ и проч. и проч. Пестрота, шумъ, движеніе до того мнѣ были новы, что съ перваго раза я рѣшительно потерялся, и попривыкъ ко всему этому только къ вечеру. Квартира моя находится въ 94 № гостинницы братьевъ Чижовыхъ, не далеко отъ Кремля, гдѣ лавкамъ и жильцамъ нѣтъ числа. На книжныя лавки я успѣлъ взглянуть только мелькомъ; хорошихъ не много, двѣ — три, — остальныя похожи на балаганы. Вышелъ VII томъ Бѣлинскаго — вотъ вамъ новость. У Берга (Ѳ. Н.) и Бартенева (П. И.) думаю побывать сегодня. Право, не знаешь, куда кинуться; хотѣлось бы познакомиться и съ тѣмъ, и съ другимъ, и съ третьимъ. — Прикащикъ Щепкина принялъ меня радушно; не знаю, каково-то приметъ меня хозяинъ, котораго никакъ не поймаешь, потому что онъ является въ магазинъ на полчаса, не болѣе. — Еще два слова о дорогѣ. Берите подорожную такъ же, какъ и я, т. е. отъ станціи Николаевки до станціи Лапатковой и обратно, да смотрите, чтобы экипажъ вашъ былъ крѣпокъ и проченъ, иначе вы проклянете свою

судьбу, когда онъ начнетъ разлагаться на свои составныя части, какъ это сдѣлалось съ моимъ. Ахъ, если бы Богъ далъ мнѣ успѣшно и счастливо окончить свои торговыя операціи!»

Собираясь познакомиться и съ тѣмъ, и съ другимъ, Никитинъ не познакомился ни съ кѣмъ ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ. Вотъ что пишетъ въ своей запискѣ Второвъ о пребываніи Никитина въ Петербургѣ:

«Въ Петербургѣ онъ останавливался у меня на Бассейной. домъ Аничкова. Нечего и говорить, какъ я обрадовался его пріѣзду. Прожилъ онъ здѣсь дней двѣнадцать. Большею частію онъ хлопоталъ по своимъ коммерческимъ дѣламъ, и потому водился преимущественно съ книгопродавцами, оптовыми торговцами канцелярскихъ матеріаловъ и проч. Впрочемъ, такъ какъ время было лѣтнее, то Петербургъ былъ по обыкновенію пустъ, — все разъѣхалось по дачамъ; особенно литераторы, какъ люди болѣе свободные, по крайней мѣрѣ, тѣ изъ нихъ, которые не обязаны службою, забрались какъ можно подалѣе отъ Петербурга. Поэтому Никитину не удалось видѣть, между прочимъ, Майкова, который жилъ, кажется, въ дальнемъ Парголовѣ, верстъ за 20 отъ Петербурга, куда не совсѣмъ удобно добраться; а Майкова видѣть ему очень хотѣлось. Въ промежуткахъ отъ дѣлъ мы осматривали здѣшнія достопримѣчательности, ѣздили по ближайшимъ окрестностямъ Петербурга, — тутъ же кстати случился праздникъ петербургскихъ нѣмцевъ въ Ивановъ день, на такъ называемомъ Кулербергѣ, — и его мы посѣтили. Оставалось съѣздить подальше, и я уговаривалъ Никитина побывать хотя въ Петергофѣ — прокатиться хотя по морскому заливу, посмотрѣть на фонтаны. Но его заботили дѣла по магазину въ Воронежѣ; какъ нарочно прикащикъ замедлилъ извѣстіями, — и вотъ мой Иванъ Савvичъ, какіе ни сулилъ ему я соблазны, заторопился и улепетнулъ».

Итакъ, мысль о книжномъ магазинѣ не покидала Никитина ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ, хотя онъ и ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы развлечься, забыть на время матеріальныя заботы; но онѣ, какъ нарочно, не забывались и издали еще болѣе его тревожили, —

такъ всегда бываетъ, когда мечтаешь измѣрять жизнь придуманной мѣркой, назначая часы для труда и для покоя. Кромѣ торговыхъ связей и знакомствъ (указываемъ на домъ Салаевыхъ, извѣстныхъ книгопродавцевъ Московскихъ), Никитинъ не завелъ другихъ, потому что и не могъ, и не хотѣлъ заводить. Лѣтняя пора, кратковременное пребываніе въ столицахъ, невыносимые жары, тревожное состояніе, которое испытываетъ человѣкъ, очутившійся въ первый разъ въ большомъ и шумномъ городѣ, — все это мало благопріятствовало заведенію новыхъ знакомствъ. Да не хотѣлось и заводить ихъ Никитину... А что, вы познакомились съ нашими литераторами? — спрашивали Никитина по возвращеніи его въ Воронежъ. «Съ какими литераторами? отвѣчалъ онъ вопросомъ, добавляя: Что мнѣ въ нихъ, — и что имъ во мнѣ!» Кулакъ, кулакъ! воскликнулъ бы Придорогинъ, если бы дожилъ до лѣта 60-го года. Кулакомъ, пожалуй, назвалъ бы себя назадъ тому 5 — 6 лѣтъ и Никитинъ, если бы могъ представить себя въ теперешнемъ своемъ положеніи. Онъ въ столицахъ! Онъ въ центрѣ умственнаго и литературнаго движенія! И что же?... Вмѣсто того, чтобы являться восторженнымъ пилигримомъ передъ свѣтилами литературы, чтобы спѣшить къ нимъ на поклоненіе (и онъ поспѣшилъ бы въ сороковыхъ годахъ), онъ молча и непривѣтливо проходитъ ихъ мимо! Онъ ищетъ литературнаго товара, и знать не хочетъ его производителей. Что же это такое?... Гордость или сухость сердца, или же «кулачничество», такъ пугавшее Придорогина? Ни то, ни другое и ни третье; отчасти, если хотите, понемногу всего этого; но главное: и послѣдній кумиръ разбивался, — утрачивалась вѣра въ силу и значеніе литературы!...

Живя въ провинціи, въ отдаленіи отъ центровъ науки и литературы, однако-жъ въ городѣ, что-то среднемъ между ними, живя уже не въ берлогѣ, не на постояломъ дворѣ, а на одномъ изъ бойкихъ провинціальныхъ пунктовъ, хозяйничая, такъ сказать, въ русской умственной лавочкѣ, — Никитинъ многое узналъ на дѣлѣ, что прежде было только въ гаданіи, ко многому присмотрѣлся, и свойственное его уму критическое направленіе развилось въ немъ очень

быстро. Никитину минуло 35 лѣтъ; юность прошла, съ ея увлеченіями и надеждами; настала пора зрѣлаго мужества, воспитаннаго въ суровой школѣ. Если не сурово, то можетъ черезчуръ требовательно смотрѣлъ Никитинъ на современную жизнь, смотрѣлъ безъ восторга и фразъ. Къ общему движенію, данному уничтоженіемъ крѣпостнаго права, Никитинъ отнесся восторженно; но затѣмъ, когда жизнь пошла по новому пути, когда явились неизбѣжныя уклоненія, промахи, несостоятельность тѣхъ или другихъ наличныхъ силъ передъ разными запросами жизни, вызванными преобразованіемъ, Никитинъ не могъ не смутиться. Никитинъ понялъ, что настаетъ новое время, пришла иная пора. Чувствуя въ себѣ полноту силъ, онъ смущался вопросомъ, который теперь задавала сама жизнь: годятся ли и на что именно наличныя силы? Никитинъ былъ сыномъ другаго времени, послѣднимъ продуктомъ нашей гражданственности, предшествующей эпохѣ освобожденія крестьянъ. Воспитанный въ школѣ западниковъ, процвѣтавшей въ 40-хъ годахъ, Никитинъ въ эту пору своей жизни сохранилъ отъ нихъ лишь любовь къ просвѣщенію, уваженіе къ наукѣ и литературѣ и твердую вѣру въ ихъ цивилизующее значеніе. Мѣщанинъ и дворникъ, онъ, не смотря на неправильное свое развитіе, зналъ русскую жизнь безконечно реальнѣе тѣхъ, которые сентиментально къ ней относились. За послѣдніе три, четыре года, выйдя изъ кружка, изъ замкнутости, державшей его всю жизнь, Никитинъ и узналъ столько, и выросъ на столько, какъ другимъ это не удается во всю жизнь. И теперь еще можно, пожалуй, спорить о талантѣ Никитина, но быстрый ростъ развитія его духовныхъ и литературныхъ силъ (каковы бы ни были эти послѣднія) по истинѣ былъ изумителенъ. Если болѣзненный организмъ дозволялъ ему страстное отношеніе къ книжной торговлѣ, къ «барышу», то въ то-же самое время появлялось и страстное отношеніе къ литературной дѣятельности, — являлась увѣренность въ своихъ собственныхъ силахъ, хотя Никитинъ никому этого не высказывалъ. Но силы эти пожирала болѣзнь; въ силахъ этихъ, ему казалось, не нуждалась тогдашняя литература. Уваженіе къ русской жизни, желаніе просто и прямо подойти къ ней, что такъ ярко обнару-

жилось въ направленіи «Русской Бесѣды», привлекло къ себѣ вниманіе Никитина: вотъ почему онъ съ такою охотою помѣщалъ въ этомъ журналѣ свои произведенія. Онъ сочувствовалъ направленію этого журнала потому, что оно было въ его душѣ, какъ во всякомъ живомъ русскомъ человѣкѣ. Но какъ всякаго живаго и просвѣщеннаго человѣка, Никитина возмущали крайности новыхъ литературныхъ направленій: въ крайностяхъ онъ видѣлъ духовную пустоту, отсутствіе въ человѣкѣ внутренняго содержанія. Въ Никитинѣ не было этой пустоты: въ грубой формѣ дворника, въ не совсѣмъ изящномъ образѣ купца, было содержаніе полное, былъ человѣкъ съ цѣльнымъ нравственнымъ обликомъ, человѣкъ глубоко реальный, въ одно и то-же время думающій и о барышѣ, и о возвышенныхъ идеалахъ. Подъ вліяніемъ такихъ идеаловъ возросъ Никитинъ; понятно, что онъ питалъ къ нимъ благоговѣйное уваженіе. Между тѣмъ Никитинъ не могъ не замѣтить, что идеалы стали разбиваться и мельчать, а вмѣстѣ съ этимъ стала мельчать и литература, при всемъ кажущемся оживленіи, при множествѣ чуть не ежемѣсячно появляющихся новыхъ журналовъ. И что особенно смущало Никитина, — онъ не видѣлъ разумной, логической необходимости въ этомъ измельчаніи; ему казалось оно искусственнымъ, попятнымъ движеніемъ, чѣмъ-то въ родѣ самоубійства. Онъ затруднялся въ опредѣленіи наступающаго времени, до полнѣйшаго развитія котораго, впрочемъ, не дожилъ. Никитинъ очень хорошо зналъ, что такое были у насъ западники и славянофилы, чѣмъ сдѣлался наконецъ самъ онъ; зналъ, что отрицаніе значительною долею входило въ обѣ эти школы; но ни одна изъ нихъ не дѣлала изъ отрицанія своего идеала, не порабощала духа грубой матеріи. Теперь же онъ увидѣлъ нѣчто новое — новый видъ отрицанія, который возмущалъ его глубоко: онъ увидѣлъ разгулъ отрицанія безъ теплой вѣры въ какой-либо идеалъ, свой или чужой. Литературное измельчаніе, безсиліе и робость наличныхъ дарованій передъ современными вопросами, безсиліе создать типы, на которые указывала сама жизнь, журнальное торгашество, съ которымъ былъ хорошо знакомъ Никитинъ, получавшій груды писемъ отъ разныхъ изда-

телей, грамотныхъ и малограмотныхъ, — все это возбуждало желчь въ Никитинѣ до такой степени, что онъ рѣшился-было совсѣмъ не печатать своихъ стихотвореній. Иначе относился Никитинъ къ живымъ лицамъ, носящимъ на себѣ знаменіе переходной эпохи. Онъ глубоко скорбѣлъ объ ихъ душевномъ надломѣ, тѣмъ болѣе ужасномъ, что подъ нимъ ровно ничего не оставалось не тронутымъ. Его ужаснула эта пустота; но онъ не отнесся къ ней злобно. Вѣрный до конца себѣ, Никитинъ былъ безпощаденъ лишь къ отрицанію того, что онъ считалъ нашимъ спасеніемъ — науки и литературы. Никитинъ уже умиралъ въ то время, когда начались студенческія исторіи; въ чахоточномъ бреду онъ вспоминалъ имена нѣкоторыхъ знакомыхъ ему юношей, которыхъ онъ любилъ, и которые, увы! погибли потомъ безвозвратно. Повторяемъ, въ Никитинѣ было слишкомъ много здоровыхъ силъ для того, чтобы не дойти до печальнаго сознанія въ своей безполезности, чтобы сказать: нашъ вѣкъ прошелъ! Онъ былъ убѣжденъ совершенно въ противномъ, но глубоко опечалился тѣмъ, когда сталъ замѣчать, что, вмѣсто здоровыхъ, опять появляются на сцену пораженные проказою люди. До полнаго развитія болѣзни Никитинъ не дожилъ.... Вотъ что онъ пишетъ однако, между прочимъ, въ письмѣ къ Второву:

«Тошно слушать эти заученные возгласы о гласности, добрѣ, правдѣ и прочихъ прелестяхъ. Царь ты мой небесный! Исключите два-три человѣка, у остальныхъ въ перспективѣ карманныя блага, хорошій обѣдъ, вкусное вино etc. etc. А знаете, я прихожу къ убѣжденію, что мы преподленькіе люди, едва ли способные на какой-либо серьёзный, обдуманный, требующій терпѣнія и самопожертвованія трудъ. Право такъ!...»

Но, не смотря на все это, Никитину вообще хорошо жилось въ шестидесятомъ году. Литературный авторитетъ его возрасталъ не въ одномъ Воронежѣ. Извѣстный Аполлонъ Григорьевъ, завѣдывавшій критическимъ отдѣломъ въ «Русскомъ Словѣ» (Кушелевскомъ), съ восторгомъ относился къ Никитину и называлъ его стихотворенія «жемчужинами». Все это, естественно, возбуждало литературную производительность Никитина и онъ, чаще чѣмъ прежде,

брался за перо. Кромѣ поѣздки въ столицы, остальное время года прошло въ занятіяхъ, которыя и не предполагались, и были какъ бы не своевременными. Въ это время мы съ Никитинымъ задумали изданіе періодическаго сборника. Убѣдившись въ сочувствіи къ нашей мысли со стороны нѣкоторыхъ, преимущественно провинціальныхъ, литераторовъ, мы разсчитывали выпустить на первый разъ двѣ книжки. Средства для изданія охотно и безкорыстно предложилъ товарищъ мой по службѣ, П. П. Глотовъ. Мы горячо принялись за дѣло. Все свое свободное время Никитинъ посвятилъ мнѣ, т. е., сборнику, котораго я былъ редакторомъ. Онъ не только отдалъ въ него все, что набралось у него непечатаннаго за послѣднее время, но даже принялся за трудъ, который въ его положеніи можно назвать подвигомъ, — за составленіе повѣсти, названной имъ потомъ «Дневникъ Семинариста»; представить картину изъ семинарской жизни, которую Никитинъ зналъ очень хорошо, было давнишнею ею мыслію. Не принимая никакого участія ни въ редакціи, ни въ изданіи сборника, Никитинъ тѣмъ не менѣе былъ душою этого предпріятія. Мои субботніе вечера оживились и стали вполнѣ литературными. Литературное предпріятіе возбудило и литературную производительность; мнѣ особенно пріятно вспомнить здѣсь о сочувствіи къ нему Д. И. Каченовскаго, Н. С. Сохановской (Кохановской) и воронежскаго сельскаго духовенства. П. П. Глотовъ, И. И. Зиновьевъ, А. С. Суворинъ и Н. Н. Чеботаревскій были постоянными посѣтителями этихъ субботнихъ вечеровъ, не говоря о двухъ-трехъ случайныхъ гостяхъ. Здѣсь читалось все написанное своими и все присылаемое изъ другихъ мѣстъ; спорили, разсуждали, рѣшали, что принимать и чего не печатать. Здѣсь Никитинъ, бодрый и здоровый, являлся совсѣмъ инымъ человѣкомъ. Все прежнее, дворническое и болѣзненное, съ него какъ рукой сняло; его шуткамъ и остротамъ не было конца; его взглядъ на вещи сталъ необыкновенно трезвъ; его жизненныя силы казались неистощимыми. Читалъ Никитинъ, какъ мы говорили, мастерски и въ комическихъ мѣстахъ очень натурально лицедѣйствовалъ. Въ «Дневникѣ Семинариста» есть нѣсколько такихъ сценъ,

особенно тѣ, гдѣ является личность ректора, списанная съ натуры. Въ это же время покойный поэтъ съ какою-то особенною охотой любилъ дѣлать самого себя предметомъ легкой, но остроумной насмѣшки, — свое скряжничество, свой костюмъ, давно требующій обновленія, свою свѣтскость, свою влюбчивость, свой французскій языкъ, на которомъ онъ болталъ неумолкаемо, свою страсть къ чаю, котораго онъ осушалъ по нѣскольку стакановъ, свой крѣпкій русскій организмъ, вышедшій здоровымъ и невредимымъ изъ десятилѣтняго плѣна «нѣмецкой діэты». Еще запасъ неистощимыхъ силъ, думалось, хранился въ этомъ человѣкѣ! Откуда взялась въ немъ такая вѣра и въ себя, и въ жизнь! Такъ думалось мнѣ, но я не могъ тогда замѣтить, что это была послѣдняя вспышка жизни, пламя, блеснувшее передъ тѣмъ, какъ погаснуть. Душа Никитина и въ это время была нездорова: въ ней появилась новая рана, которую онъ отъ меня тщательно скрывалъ: возбужденная литературная работа, изъ чисто объективнаго очерка превратившаяся въ собственную исповѣдь, въ повѣсть собственныхъ страданій, возбужденная искусственно жизненная напряженность, — все это дорого обошлось Никитину. «Я взялся-было, пишетъ Никитинъ къ Второву, отъ 11 Ноября, написать для Воронежскаго Сборника «Дневникъ Семинариста» и листовъ шесть мельчайшимъ почеркомъ уже написалъ; но книжная торговля такъ поглощаетъ все мое время, что едва-ли я успѣю сдѣлать что-либо путное. А жаль! Изъ «Дневника» могла бы выйти недурная вещь!» Или вотъ еще отрывокъ отъ 26 Декабря того же года: «Время проходитъ у меня скверно. Въ магазинѣ мечусь какъ угорѣлый, а другаго исхода нѣтъ, нужно метаться! Думалъ сдѣлать что-нибудь на праздникахъ, но, увы! кутежъ и проч. — вы знаете. Иногда такая нападаетъ тоска, что въ пору бритвой хватить по горлу! Ну, да посмотримъ! Бился больше, — авось отдохну. Посылаю вамъ два стихотворенія... «Портной» — это фактъ, случившійся на дняхъ. Я зналъ его лично; но я, къ сожалѣнію, не зналъ о его страшномъ положеніи. Вотъ что бываетъ на свѣтѣ, а нашъ братъ еще смѣетъ жаловаться!» Когда Никитинъ докончилъ «Дневникъ Семинариста», у него показалась горломъ кровь. Послѣднюю

сцену, смерть Яблочкина и превосходное стихотвореніе, которымъ заканчивается повѣсть, Никитинъ прочелъ мнѣ въ своемъ книжномъ магазинѣ; по нездоровью онъ нѣсколько дней не былъ у меня. «Докапалъ меня проклятый Семинаристъ!» воскликнулъ Никитинъ, приступивъ къ чтенію. Съ первыхъ же словъ смертная блѣдность покрыла его лицо; глаза его загорѣлись знакомымъ мнѣ сухимъ пламенемъ; красныя пятна зардѣлись на щекахъ; голосъ дрожалъ, порывался и замеръ какъ-то страшно на словахъ:

.... о жизни поконченъ вопросъ....
Больше не нужно ни пѣсенъ, ни слезъ!

Такъ написать могъ только умирающій; такъ прочесть можно было только передъ открытой могилой!...

Но кровохарканіе прошло; Никитинъ оправился и въ новый 1861 годъ вступилъ довольно бодро. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ мы вмѣстѣ встрѣчали новый годъ у меня на квартирѣ, вмѣстѣ проводили обыкновенно и другіе нѣкоторые дни, какъ напримѣръ, 26 Сентября и 8 Ноября, по разъ заведенному порядку. Нашъ сборникъ, который мы должны были назвать «Воронежской Бесѣдой», въ отличіе отъ другаго сборника, въ то же самое время затѣяннаго и потомъ изданнаго воронежскимъ книгопродавцемъ Гордениным, печатался уже въ Петербургѣ; слѣдовательно, литературная горячка стала проходить, и жизнь вступала въ свою обычную колею. Никитинъ, повторяемъ, былъ бодръ попрежнему, былъ хорошъ такъ же, какъ и въ прошломъ году. Книгопродавческое дѣло, можно сказать, горѣло въ его рукахъ; литературная производительность не забывалась. Въ это время онъ думалъ возвратиться къ своему «Городскому Головѣ», давно начатой, но неоконченной поэмѣ, — и, кажется, возвращался; но, по словамъ его, порвалъ все написанное и теперь и прежде; «дрянь!» отвѣчалъ Никитинъ на укоръ пріятелей. Ни одной строчки этой «дряни» мы не нашли въ бумагахъ поэта послѣ его смерти. Еще по осени 1860 года Никитинъ перевелъ свой книжный магазинъ въ новое, болѣе просторное и свѣтлое помѣщеніе, въ домъ Кирсанова. Магазинъ еще

сталъ лучше высматривать, — а Никитину этого было и довольно, чтобы ничего не пожалѣть, — ни труда, ни денегъ, для улучшенія и красы своего милаго дѣтища. Рѣшено было по лѣту опять ѣхать въ Петербургъ и Москву для закупки разныхъ товаровъ; припасались уже для этого деньги.... 10 Марта, былъ объявленъ въ Воронежѣ знаменитый манифестъ 19-го Февраля. День былъ чудесный: весеннее солнышко такъ пріятно пригрѣвало! звонили въ колокола. Народъ слушалъ манифестъ и — и оставался глубоко спокойнымъ: ничего похожаго на какія-либо заявленія и манифестаціи!... Никитинъ, какъ и многіе въ ту пору, восторженно привѣтствовавшіе свободу двадцати милліоновъ, не понялъ смысла этого глубокаго покоя...

По веснѣ Второвъ отправился за границу. 3-го Апрѣля Никитинъ писалъ къ нему прощальное (и послѣднее) письмо съ самыми теплыми пожеланіями здоровья и всего лучшаго. Въ этомъ же письмѣ онъ извѣщалъ своего друга, что въ Воронежѣ 9-го Апрѣля будетъ второй литературный вечеръ, въ которомъ и онъ приметъ участіе, что этотъ вечеръ устраивается въ пользу воскресныхъ школъ, а затѣмъ будетъ приступлено къ учрежденію «Общества Распространенія Грамотности». Вслѣдъ затѣмъ была, дѣйствительно, учреждена при губернской гимназіи воскресная школа. Никитинъ былъ въ числѣ ея основателей. Въ устройствѣ въ Воронежѣ женской гимназіи онъ принималъ самое дѣятельное нравственное участіе, благодаря своимъ отношеніямъ къ городскому обществу и гр. Д. Н. Толстому. Въ письмѣ, отъ 3-го Апрѣля, Никитинъ пишетъ Второву: «Я отправился бы въ Петербургъ сію же минуту, если бы дѣло не остановилось за компаньономъ, котораго никакъ не могу отыскать». Увы! чрезъ мѣсяцъ онъ слегъ въ постель и болѣе уже не вставалъ съ нея!...

Весну Никитинъ встрѣчалъ по обыкновенію въ загородномъ домѣ А. Р. Михайлова, почти на единственной въ Воронежѣ прелестной дачѣ, съ паркомъ, садомъ и виноградникомъ. Первое Мая провелъ онъ въ семействѣ Михайловыхъ и, гуляя поздно вечеромъ въ саду, простудился. Образовалось небольшое воспаленіе печени и разстрой-

ство желудка. Никитинъ слегъ въ постель и 3-го Мая, извѣщая меня о своемъ нездоровьѣ, просилъ непремѣнно навѣстить его вечеромъ. Я пришелъ.

— Ну, что — какъ здоровье? спросилъ я.

— Да что, братъ, скверно! Садитесь и поговоримте.

Я сѣлъ.

«Я думалъ сдѣлать духовное завѣщаніе», продолжалъ Никитинъ взволнованнымъ голосомъ. Я всмотрѣлся въ лицо его. поговорилъ о причинѣ болѣзни, и ничего опаснаго, тѣмъ менѣе роковаго я не замѣтилъ. Легкое воспаленіе печени и разстройство желудка были обычными ежегодными недугами Никитина, къ которымъ давно всѣ привыкли. Я совершенно успокоился на счетъ больнаго, а потому легко и скоро и его успокоилъ. Онъ видимо былъ доволенъ, хотя тутъ же прибавилъ: — «Однако я себя скверно чувствую!» Съ тѣхъ поръ о духовномъ завѣщаніи не было рѣчи.

Если бы мы разсказали вымышленную повѣсть, читатель былъ бы въ правѣ требовать отъ насъ опущенія занавѣса передъ смертнымъ одромъ умирающаго, передъ картиной агоніи, невыносимой для эстетическаго чувства. Въ повѣсти о жизни дѣйствительно существовавшаго и дѣйствительно многострадальнаго лица неумѣстны такія эстетическія требованія: здѣсь повѣствованіе неизбѣжно должно завершиться картиною смерти. Но мы понимаемъ эстетическую потребность въ отдохновеніи для нашихъ читателей. Мы очень рады, что имѣемъ возможность дать имъ такой отдыхъ, необходимый для того, чтобы спокойнѣе подойти къ развязкѣ нашего разсказа. Мы очень рады, что имѣемъ возможность доказать справедливость отчасти избитой фразы: «жизнь есть романъ и даже интереснѣе любаго романа». И жизнь Никитина окончилась романомъ и этотъ романъ, Р о м а н ъ в ъ п и с ь м а х ъ, мы представляемъ нашимъ читателямъ. Мы знали одного необыкновеннаго даровитаго и еще молодаго человѣка, замѣчательнаго юриста, съ душою истинно поэтической *). Этотъ молодой человѣкъ былъ обманутъ жизнію, озлобленъ, особенно

---

*) В. И. Малышевъ, сынъ извѣстнаго доктора, лѣчившаго Кольцова.

противъ самого себя, противъ всего похожаго на чувство. Безпощаднымъ юморомъ и сарказмомъ онъ казнилъ малѣйшее проявленіе какого бы то ни было чувства въ себѣ и въ другихъ. Его съѣла злая чахотка; но онъ умеръ, окруженный цвѣтами и убаюканный звуками Пушкина и Лермонтова. Онъ не отпускалъ отъ себя сестеръ, и онѣ, по его требованію, услаждали его зрѣніе цвѣтами, а слухъ звуками лучшихъ русскихъ поэтовъ. Нѣчто подобное случилось съ И. С. Никитинымъ.

Мы уже говорили о чувствѣ, которое возбуждала въ Никитинѣ одна дѣвушка, принадлежавшая къ образованному купеческому семейству. Никитинъ ломалъ и давилъ въ себѣ это чувство всячески, однако же не подавилъ совершенно, и какъ будто берегъ его для чего-то. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ казалось. Даже въ его шуткахъ и юмористическихъ выходкахъ, въ родѣ слѣдующей —

Увы, несчастный риѳмоплетъ,
Не для тебя она цвѣтетъ!

я предполагалъ неискренность и даже надѣялся, особенно съ 1860 г., когда здоровье Никитина совершенно поправилось и торговля пошла отлично, когда онъ терпѣливо выслушивалъ совѣты о томъ, какъ бы ему лучше устроить свою домашнюю жизнь, какъ устроить отца, благо теперь и средства есть и здоровья достаточно, — въ эту пору, говорю, мнѣ казалось, что Никитинъ покончитъ свой романъ предложеніемъ руки. Но я ошибся. Какъ-то въ Январѣ 1861 года я зашелъ въ книжный магазинъ. Никитинъ былъ одинъ. — Знаете ли что, сказалъ онъ мнѣ: всѣ мы подлецы ужасные!

— Это почему? говорю.

— Да такъ.... Вотъ хоть бы и я. Совѣстно признаться, а вѣдь мнѣ нравится серьезно М — а.

— Такъ что же? говорю.

— Какъ что же? Да вѣдь это подло, а А — на то?... Эхма!...

Этимъ разговоръ нашъ и кончился. Никитинъ тщательно скрывалъ отъ меня дальнѣйшія подробности, которыя я узналъ уже послѣ его смерти. Въ этой сердечной своей тайнѣ онъ сдѣлалъ повѣрен-

нымъ общаго нашего пріятеля, И. И. Зиновьева. На зараждающееся чувство Никитину отвѣчали взаимностію, т. е., тѣмъ же начинающимся, но не вполнѣ развившимся чувствомъ. — Переписка съ нею началась съ Марта 1860 г. и окончилась въ началѣ Іюля 1861 г., за три мѣсяца до смерти. Никитинъ имѣлъ отраду убѣдиться въ силѣ чувства и въ героизмѣ характера любимой имъ особы. Н. А. М—а принадлежала къ одной изъ почтенныхъ фамилій, жившей въ деревнѣ, не въ дальнемъ разстояніи отъ Воронежа. Эта великодушная дѣвушка, узнавъ, что Никитинъ умираетъ на своемъ постояломъ дворѣ (дворъ все еще содержалъ какой-то съемщикъ), среди непривѣтливой обстановки, на рукахъ только одного любящаго существа — его двоюродной сестры, мужественно рѣшается на подвигъ въ ея положеніи: она предлагаетъ Ивану Саввичу пріѣхать въ городъ и ходить за нимъ вмѣстѣ съ Анной Николаевной. Никитинъ рѣшительно отклоняетъ это предложеніе: съ такою же рѣшимостію онъ не согласился на свиданіе. Послѣ 8-го Сентября, по совершеніи духовнаго завѣщанія, въ присутствіи своей двоюродной сестры, Никитинъ сжегъ всѣ письма къ нему Н. А. Письма его мы имѣемъ въ копіяхъ, обязательно намъ сообщенныхъ ею. Вотъ этотъ Романъ въ письмахъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Романъ въ четырнадцати письмахъ, — письма И. С. Никитина къ Н. А. М—ой.

I.

19-го марта 1860 г. Воронежъ.

Вѣтеръ, снѣгъ; въ магазинѣ холодно; мнѣ не здоровится; расположеніе духа наискверпѣйшее, просто — безвыходная тоска; но вдругъ я получаю вашу записку. Вы представить себѣ не можете, какое наслажденіе принесли мнѣ написанныя вами строки! Мое воображеніе тотчасъ перенесло меня въ ваши края. Я вспомнилъ и темный садъ А. А., и свѣтлый прудъ, и покрытыя золотистою рожью поля, по которымъ я подъѣзжалъ когда-то къ вашему дому, одиноко стоящему на совершенно открытой мѣстности. Я очень хорошо помню этотъ гостепріимный, маленькій домъ, въ которомъ все привѣтливо улыбается: стѣны глядятъ весело, на стеклахъ лежитъ тѣнь цвѣтовъ, даже стоящее у окна кресло такъ, кажется, и говоритъ очарованному гостю: — «сдѣлайте одолженіе, садитесь пожалуйста, безъ церемоніи!» Не сердитесь, Н. А., что я слишкомъ заговорился. Въ вашемъ краѣ такъ много привлекательнаго! Но перейду къ дѣлу. Histoire de la litterature française у меня нѣтъ, есть только Cours de la litterature générale par Thery, 2 тома, in folio, цѣна 6 р. сер. Это не то, что вамъ нужно, и потому я отложилъ посылку книгъ до вашихъ новыхъ распоряженій. Жаль, право, что книги для чтенія не выбираете вы сами: я все боюсь вамъ не угодить. Книги ваши, по прошествіи нѣкотораго времени, вы мо-

жете обмѣнить на тѣ, которыя отправлены къ г-ну Д — ому; такимъ образомъ у васъ будетъ достаточный запасъ для чтенія, а весною я, можетъ быть, самъ привезу кое-что и будемъ читать вмѣстѣ, разумѣется, если вы позволите.

Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть вашимъ покорнѣйшимъ слугою

И. Никитинъ.

II.

1861 г. января 25-го дня.

По милости моего Акиндина (эта личность теперь, кажется, сдѣлалась историческою, благодаря своему имени), я остался передъ вами дуракомъ въ полномъ смыслѣ этого слова: онъ не приготовилъ для васъ «Мертвое Озеро» и «Три Страны Свѣта» и не сказалъ мнѣ о томъ, что ихъ нужно для васъ приготовить. Простите мнѣ мою невольную вину. Я посылаю вамъ «Томъ Джонсъ» въ 2 томахъ и pour votre papa *) «Очерки» Кокорева, 3 тома. Ради Бога, что будетъ вамъ нужно, приказывайте чрезъ кого-нибудь. Изъ вашего края навѣрно часто бываютъ у насъ знакомые вамъ люди; что до меня, — я весь къ вашимъ услугамъ.

Между прочимъ вы говорите: «вѣдь вамъ теперь извинительно быть разсѣяннымъ».... Нѣтъ, не извинительно. Повторяю вамъ въ сотый разъ: у меня нѣтъ и не было особенной причины быть разсѣяннымъ. Если и есть во мнѣ этотъ недостатокъ, — смѣю васъ увѣрить, — онъ природный.

Я былъ бы радъ, еслибъ ваше желаніе имѣть мнѣ успѣхъ всегда, и во всемъ, и вездѣ, исполнилось хотя отчасти: да, я былъ бы очень радъ, потому что, къ сожалѣнію, почти ни въ чемъ не имѣю успѣха. За примѣромъ ходить не далеко: я желалъ отъ всей души

---

*) Отставной заслуженный генералъ, избранный во время Крымской войны начальникомъ Воронежскаго ополченія.

побывать у васъ прошлой осенью; но обстоятельства сложились такъ, что это желаніе осталось безплодною мечтой. Далѣе: я желалъ бы.... впрочемъ боюсь навести на васъ скуку и потому умолкаю. «Развлеченіе», этотъ паршивенькій журналъ, я не получаю, слѣдовательно, и не знаю, что тамъ писано о Воронежѣ, равно и о воронежскомъ журналѣ въ 12 коп. сер. безъ пересылки. Охота же вамъ читать подобные литературные осадки. Ахъ, еслибы сутки состояли изъ 48 часовъ, — сколько бы можно было прочитать хорошаго! Знаете ли, — тогда, не смотря на зимнія вьюги, я прилетѣлъ бы къ вамъ и прочиталъ бы (разумѣется, если бы вы захотѣли меня слушать), прочиталъ бы.... ну, что-нибудь порядочное. А вѣдь я читаю не дурно, je vous assure!...

Пожалуйста, не браните меня за мою болтовню. Мнѣ страстно хочется съ вами поговорить; но, увы! не смѣю, боюсь, что вы нахмурите свои прекрасныя брови, и радъ не радъ — ставлю точку.

Глубоко уважающій васъ

И. Никитинъ.

III.

1861 г. февраля 10-го.

Ваше письмо начинается упрекомъ за мою разсѣяность. Этотъ упрекъ не совсѣмъ справедливъ: смѣю васъ увѣрить, что когда я писалъ къ вамъ письмо, я думалъ только о томъ лицѣ, къ которому писалъ, болѣе ни о комъ и ни о чемъ. Прошу васъ согласиться со мною хотя въ этомъ, если вы не хотите согласиться въ чемъ-либо другомъ (что, замѣчу въ скобкахъ, немножко оскорбляетъ мое самолюбіе). «Мертвое озеро» и «Три Страны Свѣта» не были вамъ посланы потому, что я не имѣлъ ихъ у себя подъ рукою. Послѣдняя книга теперь возвратилась отъ одного изъ моихъ читателей и отправляется къ вамъ съ нѣсколькими другими книгами, за выборъ которыхъ умоляю васъ меня извинить, если онъ

неудаченъ. Въ переводахъ Берга *) рекомендую вамъ прочитать стихотворенія: «Муравей» и «Когда распнутъ они тебя», — вообще вы найдете въ этой книжкѣ много хорошаго. «Мертвое Озеро» пришлю вамъ въ слѣдующій разъ; ей Богу, теперь его нѣтъ! Наконецъ, вѣрите ли мнѣ, а? Помилуйте, довели меня до божбы!... Не понимаю, откуда и какимъ образомъ родилось у васъ желаніе со мною браниться!... Неужели вы находите въ этомъ наслажденіе? Впрочемъ, о желаніяхъ, какъ и о вкусахъ, не спорятъ. Я, напримѣръ, желалъ бы теперь отъ души крѣпко пожать вашу милую руку (странное желаніе, не правда-ли?), сѣсть подлѣ васъ. Вы, конечно, это позволите, — ну, хоть во имя дружбы, если вы не шутите этимъ словомъ, — наговориться съ вами, наслушаться васъ, чтобы потомъ долго, долго жить воспоминаніемъ всего слышаннаго. Неужели судьба откажетъ мнѣ и въ этомъ наслажденіи? Замѣтьте: слово судьба я подчеркиваю. Подъ этимъ названіемъ я разумѣю не какое-нибудь разумное существо, могучее и самовластное, а просто стеченіе болѣе или менѣе благопріятныхъ обстоятельствъ, которыя наперекоръ нашей волѣ толкаютъ насъ не въ ту сторону, куда летятъ наши радужныя надежды, гдѣ живетъ наше беззаботное счастье. О, если бы мы могли распоряжаться этими обстоятельствами по своему произволу, тогда наша жизнь была бы раемъ, тогда бы ея строй совершенно измѣнился и не надрывалъ бы нашего сердца своимъ безобразіемъ, пошлостью и безсмысліемъ! Есть счастливцы, которымъ счастіе само дается въ руки, — я не принадлежу къ числу ихъ. Вы говорите, что я должемъ быть доволенъ, «потому, что одаренъ» и проч. и проч. Пожалуйста, безъ комплиментовъ! Языкъ друга долженъ быть прямъ и чистосердеченъ. Если дѣйствительно я не такъ глупъ, какъ дурачокъ Емеля, то жизнь, которая удовлетворяетъ его, не можетъ удовлетворить меня. Кажется, это очень ясно. Въ письмѣ вашемъ привело меня въ недоумѣніе слѣдующее выраженіе:

---

*) *Сборникъ Стихотвореній Иностранныхъ Поэтовъ.* Переводы В. Д. Костомарова и Ѳ. Н. Берга. Москва 1860 г. Означенныя ниже піесы носятъ названіе *Муравьи* (стр. 112) и *Крестъ* (стр. 118).

«чтобъ эта галиматья не валялась въ магазинѣ, сожгите ее»…. Нечего сказать, достаточное довѣріе къ моему уму и чувству такта! Правда; я однажды сжегъ письма дорогихъ мнѣ лицъ; но вы навѣрное не осудили бы меня, если бы узнали причину этого истребленія. Очевидно, что вы еще слишкомъ мало меня знаете, если предполагаете, что письмо ваше будетъ валяться…. Богъ съ вами!… Что касается до меня, я чувствую истинное наслажденіе въ эту минуту, при мысли, что веду съ вами заочную бесѣду, и ужъ никакъ не думаю, что письмо мое будетъ валяться гдѣ-нибудь въ вашемъ домѣ, напримѣръ, въ передней, подъ ногами горничной и т. п. Кстати о письмахъ. Развѣ я не могу писать вамъ по почтѣ? Перемолвиться словомъ только при оказіи, — это просто несносно! Нужно вамъ сказать, что письма, полученныя на мое имя, всѣ безъ исключенія распечатываются мною самимъ; въ случаѣ же моего отъѣзда, хранятся неприкосновенными въ самой конторѣ. Если можно, тогда сообщите подробный адресъ; если нѣтъ, да будетъ такъ, какъ угодно судьбѣ (употребляю это слово не безъ намѣренія)! Я не помню такого тихаго, такого благословеннаго вечера, какимъ обязанъ я вашимъ милымъ строкамъ (теперь 10 часовъ). Представьте: передо мною лежитъ ваше письмо, съ правой стороны остываетъ стаканъ чая, въ глубинѣ комнаты полумракъ, и въ этомъ полумракѣ, мнѣ кажется, я узнаю знакомый, улыбающійся образъ…. ай! ай!… заговорился.

Всею душою преданный вамъ

И. Никитинъ.

P. S. (поутру). Не могу утерпѣть, чтобы не написать еще нѣсколько строкъ. Пожалуйста, отвѣчайте съ почтою. Этотъ городишко, въ которомъ я живу, до того мнѣ скученъ, и до того мнѣ надоѣлъ, что я радъ бы изъ него убѣжать на край свѣта. Но ради Бога пишите безъ пышныхъ фразъ и безъ намековъ. Въ васъ и во мнѣ достаточно, кажется, ума, чтобы намъ понять другъ друга, даже если бы намъ вздумалось маскироваться. Помните: вся прелесть въ простотѣ и правдѣ. Будьте здоровы и веселы.

IV.

1861 г. 17-го февраля.

Наконецъ, что-же это такое? Вѣдь это просто нестерпимо!... Вы за перо, — къ вамъ гости.... Честное слово, я произведу скандалъ, — да, скандалъ! тѣмъ болѣе, что въ настоящее время скандалы въ ходу, даже въ литературѣ, представительницѣ, какъ говорятъ, всего благороднаго. Итакъ, когда вы возьметесь за перо, и когда въ эту минуту явятся къ вамъ непрошенные гости, — я (замѣчайте, какое у меня горячее воображеніе: мнѣ кажется, что моя особа присутствуетъ теперь въ селѣ В—мъ) — я спокойно затворю дверь вашей комнаты и крикну во весь голосъ: «не принимаютъ!» Пусть себѣ сплетничаютъ на мой счетъ, я все таки останусь въ выигрышѣ, потому что услышу нѣсколько лишнихъ, дорогихъ моему сердцу словъ изъ вашихъ милыхъ устъ; все прочее имѣетъ для меня цѣну прошлогодняго снѣга. Впрочемъ, и мои письма походятъ на какіе-то безсвязные отрывки, что происходитъ отъ того, что меня ежеминутно, такъ сказать, тормошатъ. Напримѣръ, хоть бы теперь. «Но, согласитесь, однакожъ, говоритъ мнѣ мой знакомый, господинъ съ крашеными волосами и поддѣльнымъ зубомъ (послѣднимъ онъ обязанъ г-ну Wahenheym, который называетъ себя célébre dentiste, чему я вѣрю), согласитесь, что если Пушкинъ замѣчателенъ, какъ художникъ, то Гоголь замѣчателенъ еще болѣе, какъ соціалистъ, не правда ли?» — 1 р. 50 коп. сер., отвѣчаю я, оборачивая голову направо. Поддѣльный зубъ смотритъ на меня съ удивленіемъ, не понимая, что общаго между 1 р. 50 к. и Гоголемъ, а мнѣ это очень понятно: я назначаю цѣну китайской туши, — вотъ и вся исторія безтолковщины. Въ это же самое время мнѣ суютъ въ руку записку, заключающуюся въ слѣдующемъ: «M—r! Nikitin, (пожалуйста, замѣтьте: послѣ M—r знакъ восклицанія, послѣ Nikitin запятая) donnez moi quelque ouvrage de Paul de Kok; — я не люблю серьезныхъ».... и такъ далѣе.... Вотъ тутъ и угоди каждому! Но довольно. Даже я начинаю заражаться смѣсью французскаго съ нижегородскимъ....

У насъ чуть-чуть не весна. Небо такое безоблачное, такое голубое; въ окно заглядываетъ веселое солнце, которому я радъ, какъ муха, всю зиму проспавшая мертвымъ сномъ и теперь начинающая понемногу оживать и расправлять свои помятыя крылья. А когда же придетъ въ самомъ дѣлѣ теплая, зеленая, благоухающая весна, съ ея синими ночами, мерцающими звѣздами и съ соловьиными пѣснями? Ахъ, если бы она поскорѣй пришла! Но вѣдь у васъ нѣтъ сада, — слышите ли вы меня? У васъ сада нѣтъ! Счастливы Д—іе, — и я имъ завидую: у нихъ тѣнистый садъ и прудъ, и прочія блага.... Ну-съ, хорошо. А если я пріѣду весною въ вашъ край, — какъ тогда и что тогда? Отъ имѣнія Д—ихъ до вашего 20 верстъ: такое пространство неудобно обратить въ мѣсто прогулки, на которомъ было бы отрадно встрѣтиться съ знакомымъ (эпитетъ здѣсь я хотѣлъ поставить другой, да ужь такъ и быть, если онъ подвернулся) человѣкомъ; слѣдовательно, мнѣ остается пріѣхать къ вамъ съ утреннимъ визитомъ, пожать вашу ручку при первой встрѣчѣ, потомъ на прощаньи — и за симъ отправиться въ нашъ богоспасаемый градъ. Помилуйте! Вѣдь это изъ рукъ вонъ! О подобной.... гм.... гм.... какъ бы это поточнѣе выразиться? просто о подобной штукѣ я не хочу и думать, не только говорить.

Въ среду на нашей сценѣ шелъ Гамлетъ. Можете себѣ представить, что̀ изъ него сдѣлали! Какой-то Горевъ вздумалъ, вѣроятно, удивить воронежскую публику, — и удивилъ! — Впрочемъ, семинаристы, — обитатели поднебеснаго райка, остались довольны, ну, а на всѣхъ угодить трудно, — дѣло понятное! Мой адресъ по почтѣ: Ив. Сав. Н. въ книжный магазинъ, больше ничего. Повторяю: всѣ получаемыя на мое имя письма остаются неприкосновенными, гдѣ бы я ни былъ. Пишите!

Прочитавъ это письмо, я мгновенно подумалъ: какія мы съ вами дѣти; не такъ ли? Напишемъ другъ-другу по нѣскольку строкъ, и воображаемъ, что это для насъ какъ бы праздникъ! — Для меня, дѣйствительно, праздникъ, тѣмъ болѣе, что въ послѣдніе дни я порядочно поболѣлъ, стало-быть, поскучалъ и прочее... Если вы

пріѣдете въ Воронежъ, не знаю, какъ у меня достанетъ смѣлости вамъ показаться: сухъ, какъ грибъ, тонокъ, какъ спичка, — короче: гадокъ до послѣдней степени. Впрочемъ, объ этомъ послѣ.

У меня къ вамъ просьба: ради Христа, избавьте меня отъ громкихъ выраженій въ своихъ письмахъ: они рѣжутъ мой слухъ, какъ рѣжетъ глаза прописная буква, употребляемая вами при словѣ: Вы. Я пишу прописную, потому что въ лицѣ вашемъ уважаю женщину, а для меня-то эти прописныя!... Ахъ, Господи! Что это Русь! Одолѣли насъ десять тысячъ китайскихъ церемоній!... До свиданія! Больше писать негдѣ. Не браните же меня за откровенность. Всею душою преданный вамъ

И. Никитинъ.

P. S. Исторіи Испаніи и Португаліи нѣтъ. Объ Испаніи лучше посылаемой вамъ книги я не знаю.

V.

1861 г. 25-го февраля.

Вѣрно такъ судьбѣ угодно, что письма наши не совсѣмъ чужды обличительнаго характера: то̀ вы сдѣлаете мнѣ замѣчаніе, то̀ я съ застѣнчивою робостію предлагаю вамъ вопросы: Это зачѣмъ? Это для чего? А вѣдь я правъ. Говорю это не подъ вліяніемъ эгоистическаго чувства (по крайней мѣрѣ въ эту минуту), а по безкорыстному и безпристрастному убѣжденію въ дѣйствительности моей правоты. Ну, зачѣмъ, напримѣръ, вы написали эти строки: «не надоѣли ли уже вамъ мои посланія?» Какимъ образомъ, при вашемъ умѣ, сорвались съ вашихъ устъ такія слова? Болѣе я не скажу ничего, для того чтобы вопросъ мой заставилъ васъ нѣсколько подумать... Но какъ вы умны! Ваше послѣднее письмо просто — прелесть, наслажденіе! Клянусь Богомъ, — говорю правду. Только это наслажденіе раздражаетъ мои нервы, — вотъ что дурно! мнѣ мало нѣсколькихъ строкъ, брошенныхъ на бумагу, мнѣ нуженъ бы

теперь длинный устный разговоръ. А когда сбудется мое желаніе, Богъ вѣсть!... Я такъ рѣдко встрѣчаюсь съ вами, такъ мало говорю, а если говорю, то такими общими мѣстами, благодаря обстановкѣ, окружающей наши встрѣчи, что отъ одного воспоминанія о нихъ на щекахъ моихъ выступаетъ краска стыда, что, надобно замѣтить, случается со мною не очень часто. Пожалуйста, пишите больше, о чемъ хотите, о чемъ бы то ни было: что вы ни напишете — все выйдетъ хорошо и все будетъ для меня дорого. Мнѣ иногда по неволѣ приходится писать мало, какъ, напр. теперь, когда я пишу въ магазинѣ. Я положилъ писать въ особой комнатѣ, но отъ этого мнѣ мало легче, потому что меня отрываютъ отъ пера ежеминутно. Звонъ колокольчика окончательно меня бѣситъ; кажется, я сдѣлаюсь больнымъ отъ его неумолкаемыхъ, не дающихъ мнѣ покоя, пронзительныхъ звуковъ.... Представьте, у меня теперь двѣсти человѣкъ подписчиковъ на чтеніе. Не смотря на г-на В—ія С—го, напечатавшаго въ «Развлеченіи», что «магазинъ Никитина-поэта и проч. и проч.», не смотря на его чахоточное усиліе блеснуть базарнымъ остроуміемъ, съ цѣлію уронить во мнѣніи мѣстной публики мой магазинъ, онъ, какъ видите, на зло его беззубыхъ завистниковъ, цвѣтетъ и крѣпнетъ. Mais voilà assez! Перейдемъ къ другому. Вы говорите, что весною мнѣ слѣдуетъ пріѣзжать не къ Д—мъ, а прямо къ вамъ. Ахъ, какъ бы это было хорошо! До какой усталости бы мы набѣгались съ вами въ саду! А потомъ музыка, пѣсни.... окна раззолочены вечернею зарею; вы разливаете чай, сидя за столомъ, я хотѣлъ было читать какую-то книгу, но заслушался васъ, и книга полетѣла въ сторону.... Рай, а не жизнь! Только все это, къ сожалѣнію, однѣ розовыя мечты. Вникните въ сущность моихъ словъ, и вы согласитесь, что я говорю правду. Какъ же я пріѣду къ вамъ, когда вы знаете хорошо, что мое знакомство avec votre papa ограничивается нѣсколькими мимолетными встрѣчами, что я едва успѣлъ сказать ему пять-шесть словъ, — послѣ этого мой пріѣздъ въ вашъ домъ будетъ похожъ на неожиданное паденіе снѣга изъ облаковъ. Д—іе дѣло другое: и я былъ у нихъ не одинъ разъ, и покой-

никъ В. Ив. бывалъ въ моемъ домѣ тоже не одинъ разъ, короче: я съ ихъ домомъ старый, близкій знакомый, чего никакъ не смѣю сказать о вашемъ домѣ. Вотъ почему меня не тянетъ особенно въ вашъ край. Я уже говорилъ вамъ, что мнѣ было бы грустно переступить вашъ порогъ затѣмъ только, чтобы сказать: «честь имѣю свидѣтельствовать свое всенижайшее почтеніе», или что-нибудь въ этомъ родѣ и потомъ переброситься нѣсколькими словами мѣстныхъ новостей и отправиться во свояси. Помочь моему горю я рѣшительно не вижу средствъ. Пріѣхать къ вамъ у меня не достанетъ смѣлости.... ей-ей, неловко! Ну, войдите въ мое положеніе и скажите: правду ли я говорю? Эта мысль: пріѣхать къ вамъ — преслѣдуетъ меня постоянно и.... и.... рѣшительно становитъ въ тупикъ! Какъ бы это примирить мое желаніе погостить подъ вашею кровлею съ глупыми условіями нашей провинціальной жизни, съ этими требованіями жителей трущобъ и заросшихъ бурьяномъ пустырей? Наказаніе да и только! Придумывайте, какъ лучше сдѣлать: вы умнѣе меня, что и скажу вамъ при первомъ же свиданіи и что готовъ подтвердить крестнымъ цѣлованіемъ, такъ какъ на́-слово вы мнѣ не вѣрите. Къ вамъ или не къ вамъ — это шекспировское быть или не быть?... Есть надъ чѣмъ поломать голову!

Ваше предположеніе на счетъ того, что садъ Д — хъ можетъ доставить мнѣ много пріятныхъ воспоминаній, не совсѣмъ вѣрно, если вы слову воспоминаніе придаете какое-нибудь особенное значеніе. Дѣйствительно, я былъ всегда ими радушно принимаемъ, жилъ у нихъ какъ родной, кричалъ и спорилъ съ ними по моей привычкѣ безъ всякаго опасенія, чуть не до забытія приличій — и только! За все это я, конечно, имъ очень благодаренъ, но зачѣмъ же на мой счетъ острить?... Грѣхъ вамъ, Н. А., тѣмъ болѣе, что вы такъ добры! Впрочемъ, я и не думаю, чтобы намекъ вашъ имѣлъ серьезное значеніе, — вы просто шутите. Посылаю вамъ литературную новость: «Разсказы и Повѣсти» Бестужева, только что полученные, и двѣ французскихъ книги — L'esclave blanc, прочтите — сто́итъ! Пожалуйста, назначайте, что̀ вы желали бы прочитать! На время же распутицы требуйте книгъ побольше, чтобы

у васъ было и другое занятіе — кромѣ танцевъ и кромѣ свадебнаго бала *). На послѣднемъ желаю вамъ веселиться, но не думаю, чтобы тамъ въ самомъ дѣлѣ вамъ было весело. Причина очень простая: вы переросли цѣлою головою окружающую васъ толпу знати и незнати.... Впрочемъ, да будетъ это сказано между нами, чтобы не раздразнить гусей. До слѣдующаго письма. Всею душою преданный вамъ

И. Никитинъ.

VI.

1861 г. 10-го марта.

Если я сказалъ вамъ, что пріѣздъ мой въ вашъ домъ нѣсколько меня стѣсняетъ, нѣкоторымъ образомъ ставитъ въ неловкое положеніе, то сказалъ это не потому, чтобы боялся чьихъ-либо пересудовъ, а потому, что мое знакомство съ вашимъ papa не слишкомъ коротко, — вотъ единственная причина моей нерѣшительности въ такомъ дѣлѣ, которое такъ близко моему сердцу. Ваше предположеніе: устроить пріѣздъ мой къ вамъ такимъ образомъ, чтобы я, при первой встрѣчѣ съ А. А., попросилъ ее отправить къ вамъ гонца съ извѣстіемъ, что Н. прибылъ въ благословенный З—скій край, смѣю васъ увѣрить, неприложимо къ дѣлу: Д—іе и m—me П—ова пришли бы навѣрно отъ подобной просьбы съ моей стороны въ величайшее недоумѣніе и, чего добраго, залились бы громкимъ смѣхомъ.... Я отъ всего сердца желаю погостить подъ вашею кровлею; но устроить это надобно какъ-нибудь иначе. Мнѣ кажется, что было бы гораздо удобнѣе извѣстить васъ о моемъ пріѣздѣ къ Д—мъ, послѣ двухъ-трехъ дней моего у нихъ пребыванія, не такъ-ли? Эхъ, да будь, что будетъ! Ужь я постараюсь съ вами увидѣться, наговориться и, слѣдовательно, быть нѣкоторое время счастливымъ.

---

*) Кажется, выходила за-мужъ сестра Н. А. М—ой.

Не знаю, о какомъ моемъ пріятелѣ изъ военныхъ упоминаете вы въ своемъ письмѣ; А. А. и Н. В., сколько мнѣ помнится, дѣйствительно встрѣчали у меня въ магазинѣ одного изъ близкихъ мнѣ людей, только онъ не принадлежитъ къ военнымъ. Помню также, что, при одной изъ этихъ встрѣчъ, шелъ разговоръ о переппскѣ, но разговоръ этотъ заключался въ слѣдующемъ: Н. В. писала мнѣ о принятіи мною въ услуженіе сынишка ея экономки; я исполнилъ ея просьбу, но на ея письмо за недосугомъ не отвѣчалъ. Поэтому-то и былъ сдѣланъ мнѣ выговоръ m—me Д—ой, дескать это, милостивый государь, неучтиво, и потомъ прибавлено: мы знаемъ, что н ѣ к о т о р ы м ъ вы сочли бы за преступленіе не отвѣчать. Я понялъ намекъ и отвѣчалъ: *да*, — не понялъ только одного: какъ m—me Д—ой извѣстно, что я къ вамъ пишу? Впрочемъ, мнѣ нѣтъ ни охоты, ни надобности добираться до источниковъ, откуда разныя лица черпаютъ для себя разныя свѣдѣнія. Пусть ихъ черпаютъ, если это доставляетъ имъ удовольствіе: о вкусахъ не спорятъ, — это первое. Второе, — не могу никакъ догадаться, на какомъ основаніи построено ваше предположеніе, будто бы я былъ влюбленъ въ m—lle N.... никакъ не могу, но думаю, что на весьма зыбкомъ. Вѣроятно, когда-нибудь, какъ услужливый человѣкъ, я предложилъ ей во время обѣда, или въ ту минуту, когда ей хотѣлось пить, стаканъ воды: изъ этого и вывели заключеніе, что я влюбленъ. Это бываетъ. Объяснимъ примѣромъ. Извѣстное лицо, въ слѣдствіе естественной потребности чихнетъ: кажется, тутъ нѣтъ ничего особеннаго: но вдругъ другое лицо замѣчаетъ ему весьма серьезно: позвольте узнать, м. г., на чей это счетъ вы чихнули? Мало-ли что бываетъ на свѣтѣ! Далѣе, вы говорите: «Вспомните, какъ вы ее встрѣчали въ послѣдній ея пріѣздъ въ Воронежъ?»... Очень просто: поклонился, спросилъ о здоровьѣ, о томъ, нѣтъ-ли чего новаго въ ихъ краѣ, и такъ далѣе; встрѣтилъ, можно сказать, обыкновеннымъ образомъ до пошлости. Если и въ этомъ найдено что-нибудь особенное, тогда.... тогда я не удивлюсь, если услышу трактатъ о способѣ добыванія ароматическаго сока изъ стараго желѣза, или приготовленіе камней въ видѣ пи-

рожнаго. Простите, добрая Н. А., что я говорю такую дичь! Вольно же было вамъ вызвать меня на то, о чемъ не стоитъ думать даже въ самое праздное, самое безполезное время. Тѣмъ болѣе непріятно говорить объ этомъ на бумагѣ, да еще съ вами, да еще въ то время, когда секунды нѣтъ свободной, потому что вашъ знакомый обѣщался придти за письмомъ черезъ два-три часа. Кстати о письмахъ. На будущее время ужь будьте такъ добры, пожалуйста, не повторяйте одно и то же, что написанныя вашею рукою строки могутъ быть прочитаны кѣмъ-бы то ни было. Послѣ этого вы сами себѣ противорѣчите, считая меня за порядочнаго человѣка. Порядочные люди, мнѣ кажется, не только уважаютъ другихъ, но и себя также, а вѣдь послѣ сдѣланной мерзости уважать себя какъ-то трудно. Что касается вашего замѣчанія, что я будто бы пишу къ вамъ bon gré — mal gré, не распространяясь о томъ, что ваше замѣчаніе рѣшительно несправедливо, я прибавляю, что васъ одолѣваютъ десять тысячъ китайскихъ церемоній.... такъ, такъ, mille fois такъ! Иначе вы не сказали бы ничего похожаго на это. Богъ съ вами! Пожалуй сердитесь, а я все-таки правъ. Визитную карточку я постараюсь вамъ доставить, но времени для этого опредѣлить не могу.

№ 238 «Сѣверной Пчелы» за прошлый годъ при семъ вамъ посылается и отдается въ вѣчное владѣніе. Ваше желаніе мнѣ было весьма легко исполнить, потому что почти всѣ газеты и журналы мною получаются, конечно, исключая «Развлеченія», о мнимыхъ достоинствахъ котораго я всегда буду радъ поспорить съ вашимъ дядею. Вѣрно, онъ очень силенъ въ логикѣ, если надѣется доказать, что глухіе отъ рожденія способны имѣть представленіе о звукахъ и, пожалуй, могутъ воспроизводить ихъ и доставлять этимъ удовольствіе другимъ.

Ноты для вашей сестры — «Я люблю твои глаза» будутъ высланы. Книги держите — сколько вамъ угодно времени и не сердитесь, если выборъ мой неудаченъ; — вѣдь я уже говорилъ вамъ это и просилъ васъ объ этомъ. О, Боже, Боже! опять китайскія церемоніи!... да оставьте ихъ въ покоѣ разъ навсегда.

Простите меня за безтолковое, отрывочное, безсвязное письмо: ей-ей, спѣшу, какъ угорѣлый. Сегодня у меня по преимуществу много народа, потому что сегодня читается Манифестъ объ освобожденіи крестьянъ. Это, разумѣется, дастъ поводъ къ толкамъ; ну и знакомыхъ-то у меня не занимать-стать, — слава Богу, довольно! — Въ это мгновеніе, заглянувъ въ ваше письмо, я прочиталъ слѣдующее: «пожалуйста, не давайте читать моихъ писемъ вашему пріятелю». — Хорошо!... Да еще подчеркнуто!!!. Ну, ужь развѣ я буду такъ несчастливъ, что васъ не увижу, — не то, при первомъ же свиданіи, по выраженію Крылова, дамъ волю словъ теченью.... Знаете ли что? Теперь за распутицею, я полагаю, посылки отъ васъ будутъ рѣдки; между тѣмъ я такъ привыкъ къ вашему слову, чтобы не сказать болѣе.... Всею душою преданный вамъ

И. Никитинъ.

P. S. Я предполагаю ѣхать въ Петербургъ; но если поѣду, то или въ 1-хъ числахъ апрѣля, чтобы возвратиться къ маю, или осенью. Увы! мнѣ такъ хочется пожить въ деревнѣ, а удастся ли? Пожалѣйте обо мнѣ....

Потрудитесь передать мое глубочайшее почтеніе вашему папашѣ и вашимъ сестрамъ. Прочитайте, пожалуйста, Бѣлинскаго. Въ его разборѣ сочиненій Пушкина вы познакомитесь со взглядомъ на женщину самого Бѣлинскаго и передовыхъ людей его времени.

VII.

1862 г. марта*).

Письмо мое, посланное вамъ 10-го марта, я считалъ слишкомъ недостаточнымъ, слишкомъ краткимъ, потому что оно было писано въ-торопяхъ, въ то время, когда вокругъ меня толкались, разсуждали, спорили и смѣялись разныя лица. Поэтому я хочу поговорить съ вами на досугѣ, съ намѣреніемъ извлечь изъ этой бесѣды двоякую для себя выгоду: пріятное и полезное. Перваго я

*) Число не обозначено.

уже достигаю тѣмъ, что веду съ вами рѣчь, втораго, — что разбиваю въ прахъ ваше предположеніе, будто бы я пишу къ вамъ всегда bon gré — mal gré, тогда какъ доказательство противнаго у васъ передъ глазами: эти строки были писаны волею и охотою. Ну-съ, кто изъ насъ правѣе, — я, или вы? Извольте, извольте!... я молчу. Скромный вообще, съ недавняго времени и въ особенности теперь, въ дни Великаго поста и молитвы, я скроменъ до того, что изъ устъ моихъ не выходитъ ни одного празднаго слова: вѣроятно, вслѣдствіе моей безпрестанной молитвы: «духъ празднословія не даждь ми».... вѣроятно такъ! Къ несчастію, я перестаю думать и о святой молитвѣ, и о тяжести грѣха, словомъ — забываю о всемъ, когда веду рѣчь съ вами. Жаль мнѣ васъ! Вы единственная причина моихъ прегрѣшеній: вы, слѣдовательно, за все должны отдать отчетъ Богу, чего однако я никакъ не желаю. Я готовъ принять на одного себя всю отвѣтственность за свои и даже за ваши ошибки, если только вы можете ошибаться, готовъ перенести великое наказаніе подъ условіемъ видѣть васъ и говорить съ вами, когда мнѣ вздумается.... Не сдвигайте вашихъ бровей: все это шутка не болѣе, но шутка для меня горькая, для васъ безвредная. Не знаю самъ, за чѣмъ я все это говорю. Просто — я радъ свободной минутѣ. Я похожъ теперь на человѣка, который, послѣ долгаго заключенія въ душныхъ и темныхъ стѣнахъ, вышелъ наконецъ на свѣжій воздухъ и спѣшитъ наглядѣться на синее небо, на широкое поле, цвѣты и деревья. Все его существо какъ будто возродилось, зажило новою жизнью, полною наслажденія и счастья. Онъ даже не думаетъ о томъ, что снова можетъ попасть въ тѣ стѣны, изъ-за которыхъ вышелъ, что счастье его похоже на сонъ, который можетъ быть прерванъ случайнымъ шумомъ или крикомъ... Да и стоитъ ли въ самомъ дѣлѣ объ этомъ думать? Вѣдь если каждую минуту удовольствія встрѣчать вопросами — какъ и почему? если подкапываться подъ каждое чувство, допрашиваясь, что оно такое, откуда пришло и куда ведетъ? если все отравлять сомнѣніемъ, — тогда жизнь превратится въ пытку. Выносить пытку за святое дѣло, за благородную идею, конечно,

должно. Эта пытка заслуживаетъ и похвалы, и подражанія, потому что она — подвигъ; но обреченіе себя на безплодныя, безцѣльныя страданія — чисто безуміе! Вотъ поэтому-то я хочу извлечь изъ настоящаго мгновенія все, что оно можетъ дать мнѣ лучшаго. Простите, что я вдался въ это quasi философское разсужденіе; эта старая истина, можетъ быть, нѣсколько припахиваетъ гнилью (если только истины могутъ чѣмъ-либо припахивать), тѣмъ не менѣе она истина. И почему-жь ее не высказать, когда насъ слушаютъ безъ зѣвоты? Что за наказаніе! Я просто сдѣлался старымъ болтуномъ, который, не обращая вниманія на время, мѣсто и на то, хотятъ ли его слушать, въ сотый разъ повторяетъ извѣстную всѣмъ исторію. Несчастная слабость! Я уже писалъ вамъ, что 10 числа этого мѣсяца у насъ былъ читанъ во всѣхъ церквахъ Манифестъ объ свобожденіи крестьянъ. Жаль, что мнѣ неизвѣстно, какъ это важное извѣстіе было принято сельскимъ населеніемъ, но городское приняло его довольно равнодушно. Вечеромъ, по распоряженію мѣстнаго начальства, городъ былъ иллюминованъ, но особеннаго движенія не было замѣтно въ освѣщенныхъ улицахъ. Дѣло другое, если бы иллюминація была вызвана самымъ событіемъ, какъ выраженіе общей радости; къ сожалѣнію, это было не такъ. Мнѣ кажется, это произошло оттого, что народъ слишкомъ утомился ожиданіемъ рѣшенія вопроса, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь. Есть и другія причины; но изложеніе ихъ потребовало бы слишкомъ много времени и мѣста, а потому я считаю его неудобнымъ. Согласитесь, — вѣдь есть чему порадоваться: такія дѣла, какъ уничтоженіе кантонистовъ, устройство желѣзныхъ дорогъ и наконецъ это послѣднее великое дѣло — освобожденіе крестьянъ, могутъ не затронуть только человѣка крайне тупоумнаго или бездушнаго; но все живое, все способное мыслить и чувствовать, пойметъ ихъ значеніе и не можетъ не радоваться. Эти дѣла будутъ лучшею страницею въ исторіи императора Александра II-го, страницею блистательною. Снимать цѣпи съ милліона подобныхъ себѣ, разумныхъ существъ, — такая доля выпадаетъ не многимъ монархамъ. Народъ еще хорошо не понялъ, какъ много для него сдѣлано; когда онъ пойметъ это,

вы увидите, что изъ него выйдетъ, какъ онъ переродится! Его апатія имѣетъ историческій смыслъ; но она уступитъ духу новаго времени, духу просвѣщенія. Поймите, какое свѣтлое будущее ожидаетъ наше потомство, какая лежитъ передъ нами широкая дорога! У меня дыханіе захватываетъ отъ восторга, когда я объ этомъ думаю!... Теперь носятся слухи о преобразованіяхъ, имѣющихъ быть въ нашихъ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Проектъ преобразованія, говорятъ, уже написанъ и напечатанъ въ небольшемъ числѣ экземпляровъ для лицъ, которыя будутъ засѣдать въ особомъ, нарочно устроенномъ по этому поводу, комитетѣ. Лишь бы позволили говорить о нашемъ духовенствѣ, — тогда литература сдѣлаетъ свое дѣло — точно такъ же, какъ она сдѣлала его въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ. Можетъ быть, я кстати появлюсь на сценѣ. Надобно вамъ сказать, что я написалъ довольно большую по объему статью — «Записки Семинариста». Статья эта напечатается въ «Воронежской Бесѣдѣ», издаваемой Глотовымъ, подъ редакціею Де-Пуле. Воображаю, какимъ сюрпризомъ покажется она нашему духовенству, въ особенности лицамъ учащимъ! Впрочемъ, я человѣкъ не совсѣмъ робкій, и чѣмъ болѣе будетъ противъ меня криковъ, тѣмъ болѣе я буду радоваться: эти крики послужатъ доказательствомъ, что я прямо попалъ въ цѣль, задѣлъ за больное мѣсто. Если бы вы знали, какой теплый, какой солнечный день у насъ былъ вчера. Представьте, — я слышалъ утромъ пѣніе жаворонка: 10 Марта — это рѣдкость. За то какъ же я былъ радъ его пѣснѣ! Я люблю этого предвѣстника весны едва ли не болѣе, чѣмъ соловья. Вы не удивляйтесь этому: жаворонокъ какъ-то необыкновенно поэтически умѣетъ себя обстановить. Слыхали ли вы его пѣсню въ степи, передъ восходомъ солнца, когда края неба горятъ въ полымѣ, по краямъ степи еще прозрачный утренній туманъ, когда вы видите передъ собою только степь да небо и подлѣ ни одной живой души. Серебряные звуки льются съ синей выси, на встрѣчу медленно восходящаго солнца, и провожаютъ васъ, куда бы вы ни ѣхали, съ горы или на гору. О! мнѣ знакома эта пѣсня, и я не могу ее не любить! Простите, что я немножко заговорился. Мнѣ, знаете ли, сдѣ-

лалось отчего-то немножко скучно, — вотъ я и повелъ съ вами рѣчь. Если минута для этой рѣчи выбрана мною не совсѣмъ кстати — пожалуй, побраните меня — чтожь такое! Я никогда не слыхалъ, какъ говоритъ раздраженная женщина, — вѣроятно, очень хорошо. Право, побраните, только ради Бога поскорѣе. Ваша молчаливая досада была бы чистымъ наказаніемъ для меня, всегда готоваго васъ слушать. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

VIII.

Марта 27-го.

Вотъ видите, какъ вы строги, какъ искусно вы умѣете ловить меня на словѣ! Я сказалъ, что мнѣ скучно, что мнѣ не съ кѣмъ обмѣняться словомъ — и написалъ вамъ нѣсколько строкъ; вы поймали мое слово и даете ему обратный смыслъ, такъ что я, употребившій его, чуть не попадаю въ родные братья тѣхъ милыхъ людей, на мѣдныхъ лбахъ которыхъ выступаетъ крупными буквами неизгладимая надпись: «дуракъ!».... Кому же охота читать строки, написанныя отъ скуки? Это справедливо. Но позвольте нѣсколько оправдаться. Я думаю, вамъ извѣстно, что есть скука, происходящая отъ праздности, отъ нечего дѣлать, отъ неспособности что-либо дѣлать, тѣмъ болѣе порядочное, умное, и есть скука другаго рода — это тяжелое состояніе души, чувство чего-то непріятнаго, какой-то тупой нравственной боли. Она не похожа на грусть: въ грусти бываетъ подъ-часъ много прелести, стало быть, и поэзіи; въ скукѣ, о которой я говорю, нѣтъ ея и тѣни. Итакъ вы не угадали моей скуки и напрасно упрекнули меня за это слово. Вообще оцѣнка чужой личности, составленіе о ней понятія, что она такое, на основаніи однихъ предположеній, — дѣло довольно трудное и рѣдко можетъ быть удачнымъ, или удачнымъ только случайно. Вы, напримѣръ, можете предположить, что я люблю пѣсню жаворонковъ потому, что привыкъ ихъ слушать вблизи «того сада,

который и проч...» но, позвольте! вы дѣлаете ошибку на первомъ шагу: я полюбилъ эту пѣсню давнымъ-давно, въ то время, когда бродилъ въ степи или въ поляхъ съ ружьемъ, не ради охоты, а ради того, чтобы надышаться чистымъ воздухомъ, послѣ долгаго заключенія въ четырехъ стѣнахъ, чтобы налюбоваться зеленью травъ, румянцемъ утренней и вечерней зари, яркимъ блескомъ солнечныхъ лучей, разсыпанныхъ на гладкой поверхности озеръ и заливовъ... Садовъ тамъ никакихъ не было; но случалось мнѣ заходить подъ тѣнь лѣса, съ говоромъ котораго я такъ сроднился съ младенчества, что слышу въ немъ что-то родное, понятное моему сердцу, будто ласкающую рѣчь милаго друга... Изъ вашихъ словъ видно, что вы любите природу, стало быть, вы меня поймете и не скажете, что я мечтаю отъ бездѣлья. Мнѣ, выросшему въ удушливомъ воздухѣ, нельзя было ее не полюбить: она была моею нравственною опорою, поддержкою моихъ силъ, свѣтлою стороною моей жизни, она замѣняла мнѣ живыхъ людей, которыхъ вокругъ меня было такъ мало, или лучше сказать — вовсе не было. Она никогда мнѣ не измѣняла, всегда оставалась одинаковою ея божественная, вѣчная красота... Въ одномъ изъ своихъ писемъ вы сказали, между прочимъ, что вамъ нѣтъ никакого дѣла до сплетенъ, что вы стоите выше этихъ пустяковъ, а теперь говорите, что эти сплетни уложили васъ въ постель. А отчего-жь вы не отвѣчали на нихъ презрѣніемъ? И что вамъ за охота употреблять слово разочарованность, это старое, избитое, истасканное до смѣшнаго слова? Люди — всюду люди: есть въ нихъ много хорошаго, много есть и подленькаго, низкаго, грязнаго. Вините въ послѣднемъ ихъ воспитаніе, окружающую ихъ среду и проч. и проч., — только менѣе всего вините ихъ самихъ. Они нерѣдко болѣе жалки, чѣмъ злы, потому что дѣйствуютъ безъ сознанія, потому что рубятъ съ плеча, не задумываясь, куда или на кого падутъ эти удары и что изъ этого выйдетъ... Пусть потеряли бы вы терпѣніе, поддались сильному гнѣву, — все это было бы ничего; но заболѣвать отъ сплетни, не только безсознательной, даже намѣренной, — просто не стоило. Ваше равнодушіе убило бы на повалъ

эту отвратительную гадину; оно было бы для нея сильнымъ, мучительнымъ наказаніемъ, потому что злая сплетня именно на то и разсчитываетъ, что ее примутъ къ сердцу. Будто вы не знаете, что въ глухой сторонѣ сплетня рождается такъ же легко, какъ насѣкомыя въ грязной избѣ, что сплетня для нѣкоторыхъ нужнѣе насущнаго хлѣба, слаще млека и меда? Ну, помилуйте, ради Бога, стоило ли вамъ заболѣвать изъ-за этой дряни? А все-таки мнѣ за васъ грустно. Что сказать вамъ о нашихъ новостяхъ? Нѣтъ, о нихъ лучше послѣ, потому что есть кое-что болѣе дорогое, болѣе близкое моему сердцу. Вы упрекаете меня въ привязанности къ китайскимъ церемоніямъ, въ сдержанности выраженій, въ какой-то вѣчной arrière pensée, между тѣмъ сами постоянно употребляете слова въ родѣ слѣдующихъ: извините, мое письмо, быть можетъ, вамъ... и такъ далѣе. Ваши варіаціи на эти слова безконечны. Грѣхъ вамъ! Оставьте все это и говорите со мною просто. Ваши слова безъ украшеній, безъ яркаго наряда будутъ для меня понятны и — главное — всегда будутъ мнѣ дороги. Яркая пестрота почти всегда удивляетъ, не рѣдко отталкиваетъ. Для того, чтобы крѣпко, горячо пожать вашу милую руку, какъ руку друга, на нее не нужно надѣвать душистую модную перчатку съ изысканнымъ махорчикомъ и съ блестящею застежкою, — увѣряю васъ, что это такъ. Игра словъ, разныя извиненія и оговорки — это своего рода pas des deux, фигура, можетъ быть, умѣстная на сценѣ, но непримѣнимая въ обыкновенной, обыденной жизни. Представьте, что я вхожу въ вашъ домъ и вмѣсто того, чтобы подойти къ вамъ прямо и сказать: «добрый день, или добрый вечеръ», — дѣлаю шагъ налѣво, шагъ направо, шагъ впередъ, шагъ назадъ, — вѣдь вы захохотали бы непремѣнно... То-то и есть!... авось на будущее время вы оставите ваши оговорки, отъ которыхъ мнѣ становится грустно и больно. Кому же пріятно недовѣріе? Какъ было бы хорошо, если бы вы пріѣхали въ Воронежъ! Какъ я былъ бы этому радъ! Конечно, разныя разности помѣшали бы поговорить намъ на свободѣ, но лучше что-нибудь, чѣмъ ничего. А знаете ли? У насъ устраивается въ пользу «Общества распространенія грамотности»

литературно-музыкальный вечеръ. Если онъ состоится, то будетъ сдѣланъ въ залѣ дворянскаго собранія на шестой недѣлѣ Великаго поста, такъ, по крайней мѣрѣ, предполагается. Я приглашенъ читать, но буду ли участвовать въ чтеніи, не знаю. «Общество распространенія грамотности» имѣетъ цѣлію устройство публичныхъ библіотекъ, образованіе низшаго класса народа, проведеніе въ массу дешевыхъ изданій книгъ и тому подобное. Цѣль, какъ видите, благая. Проектъ подобнаго общества Костромичи уже представили на утвержденіе правительства. Я знаю это потому, что переписываюсь съ его учредителями. Распространеніе грамотности можетъ принести огромную пользу; разумѣется, все это впереди; мы не доживемъ до счастливыхъ результатовъ народнаго образованія, но хорошо уже и то, что увидимъ начало благаго дѣла. Васъ удивляетъ теперь неразвитость сельскаго населенія; вы даже находите ее болѣе между государственными крестьянами, нежели между бывшими крѣпостными, и потому заключаете, что уничтоженіе крѣпостнаго права не принесетъ такихъ плодовъ, на которые надѣются передовые люди нашего времени и вообще всѣ тѣ, кому дорога наша родимая сторона. Ясно, что вы не давали себѣ труда поглубже вникнуть въ причины, которыя стали непроходимою стѣною на нашемъ пути. Изъ вашихъ словъ выходитъ, что народъ нашъ неспособенъ къ развитію. Нѣтъ, вы подумайте сперва о томъ, что надъ нимъ тяготѣло, о томъ, какое его окружаетъ чиновничество, каковы его наставники — какъ бьется онъ изъ-за насущнаго куска, таская во всю жизнь на плечахъ своихъ зипунъ, а на ногахъ лапти... впрочемъ, объ этомъ неудобно говорить на бумагѣ, я утомилъ бы васъ разными печальными подробностями. Поднимемъ-те этотъ вопросъ тогда, когда мнѣ удастся побывать въ вашемъ краѣ, я постараюсь доказать вамъ справедливость моихъ словъ.

Ваше письмо я получилъ 26-го вечеромъ, т. е. на седьмой день послѣ его отправленія изъ З.! О, благодатныя сообщенія! Кажется, и не далеко живемъ другъ-отъ-друга, а выходитъ такъ, что между нами ложится пространство въ тысячу верстъ... Кстати о пись-

махъ: если, дѣйствительно, васъ сколько-нибудь затрудняетъ русская рѣчь, благодаря полученному вами воспитанію, пишите по-французски. Ухо мое не привыкло къ этому языку и я не могу на немъ говорить, потому что узналъ его слишкомъ поздно и изучилъ самоучкою; но тѣмъ не менѣе я его знаю на столько, что письмо ваше пойму отъ перваго до послѣдняго слова. Только, пожалуйста, не повторяйте такихъ, или подобныхъ фразъ: il faut enfin cesser les jéremiades, или galimatias, или — ну, вы сами знаете, что далѣе... я не буду напоминать вамъ того, чѣмъ высказывалось и высказывается ваше недовѣріе къ людямъ вамъ преданнымъ... Вотъ же вамъ! Charge en revanche... Посмотримъ, долго ли еще будете вы мучить меня вашими церемоніями. Ухъ, что это за слово! походитъ на скрипъ ножа по каменной тарелкѣ, что, какъ извѣстно, нравится канарейкамъ, и отъ чего затыкаютъ уши люди, непривыкшіе къ подобнымъ раздирательнымъ звукамъ. Вы говорите, что у васъ прекрасная погода, что вы часто гуляете и слышите пѣсню жаворонка. Радуюсь за васъ. Вспоминайте иногда о тѣхъ людяхъ, которые, живя въ грязномъ городѣ, думаютъ о деревнѣ, скучаютъ по ней и ждутъ минуты подышать ея воздухомъ, полюбоваться на ея поля и.... c'est assez! Всею душею преданный вамъ

И. Никитинъ.

IX.

1861 г. Апрѣля 19-го.

Вы уѣхали, — и въ жизни моей остался пробѣлъ; меня окружила пустота, которую я не знаю чѣмъ наполнить. Мнѣ кажется, я еще слышу вашъ голосъ, вижу вашу кроткую, привѣтливую, улыбку, но, право, мнѣ отъ этого не легче: все это тѣнь ваша, а не вы сами. Какъ до сихъ поръ живы въ моей памяти — ясный солнечный день и эта длинная, покрытая пылью, улица и эта несносная, одѣтая въ темномалиновый бурнусъ дама, такъ некстати попавшаяся намъ на встрѣчу, и эти ворота, подлѣ которыхъ я стоялъ

съ поникшей головой, чуждый всему, что вокругъ меня происходило, — видя только одну васъ и больше никого и ничего! Какъ не хотѣлось, какъ тяжело было мнѣ идти назадъ, чтобы приняться за свою хлопотливую, безтолковую работу, обратившись въ живую машину, безъ ума и безъ сердца! Какъ живо все это я помню!

На лицо твое солнечный свѣтъ упадалъ,
Ты со взоромъ поникшимъ стояла;
Крѣпко руку твою на прощаньи я жалъ,
На устахъ моихъ рѣчь замирала.

Я не могъ отъ тебя своихъ глазъ отвести.
Одна мысль, что намъ нужно разстаться,
Поглощала меня. Повторялъ я: «Прости!»
И не могъ отъ тебя оторваться.

Понимала-ли ты мое горе тогда?
Или только, какъ ангелъ прекрасна, —
Покидала меня безъ нужды и труда,
Будто камень холодный, безстрастна?...

Вотъ затихъ стукъ колесъ средь безлюдныхъ равнинъ,
Улеглася за нимъ пыль за тобою;
И, какъ прежде, я снова остался одинъ
Съ безпощадной, безсонной тоскою.

Догорѣла свѣча. Бродитъ сумракъ въ углахъ,
Полъ сіяетъ отъ луннаго свѣта;
Безконечная ночь! Въ этихъ душныхъ стѣнахъ
Зарыдай, — не услышишь отвѣта....

Видите-ли: я наконецъ ударился въ стихи. Плохой признакъ!... И стихи-то плохіе, да чтожь такое? Будемъ живы, напишемъ и лучше. Можетъ быть, мнѣ и не слѣдовало бы говорить такимъ языкомъ, но чтожь дѣлать? Эти стихи вырвались невольно. Простите моему увлеченію. Здѣсь нѣтъ, по крайней мѣрѣ, притворства. И виноватъ-ли я, что мое воображеніе не даетъ мнѣ покоя? Позднею ночью, когда я лежалъ съ книгою въ рукахъ, мнѣ все еще вспоминался ясный солнечный день. Между строками этой книги я читалъ дру-

гія строки, и онѣ-то были для меня полны смысла, — увы! грустнаго смысла! Я содрогаюсь, когда оглядываюсь на пройденный мною, безотрадный, длинный-длинный путь. Сколько на немъ я положилъ силы! А для чего? Къ чему вела эта борьба? Что я выигралъ въ продолженіе многихъ годовъ, убивъ свое лучшее время, свою золотую молодость? Что я выигралъ? Вѣдь я не сложилъ, не могъ сложить, ни одной беззаботной, веселой пѣсни во всю мою жизнь! Неужели въ душѣ моей не нашлось бы животрепещущихъ струнъ? Неужели на лицѣ моемъ только забота должна проводить морщины? Неужели оно должно окаменѣть съ своимъ холоднымъ, суровымъ выраженіемъ и остаться навсегда чуждымъ улыбкѣ счастья? Кажется, это такъ и будетъ! Съ разбитою грудью какъ-то неловко, неблагоразумно мечтать о красныхъ дняхъ. А какъ будто, на зло всему, съ мечтами трудно разстаться. Такъ колодникъ до послѣдней минуты казни не покидаетъ надежды на свободу; такъ умирающій въ чахоткѣ вѣритъ въ свое выздоровленіе. Тотъ и другой ждутъ чуда; но чудеса въ наше время невозможны. Жизнь не измѣняетъ своего естественнаго хода, и если кому случится попасть подъ ея тяжелый жерновъ, она спокойно закончитъ свое дѣло, обративъ въ порошокъ плоть и кости своей жертвы. Теперь вопросъ: зачѣмъ я писалъ вамъ эти строки? Мало-ли кому грустно, да вамъ что за дѣло до всѣхъ скорбящихъ и чающихъ движенія воды? Но будьте немножко внимательны: у меня нѣтъ любимой сестры, на колѣни которой я могъ бы склонить свою голову, милыя руки которой я могъ бы покрыть, въ тяжелую для меня минуту, поцѣлуями и облить слезами. Чтожь, представьте себѣ, что вы моя нѣжная, моя дорогая сестра, и вы меня поймете. Не то назовите все это пустяками, увлеченіемъ впечатлительной, но не совсѣмъ разумной натуры и тому подобное.... Cela dépendra de vous. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez.... такъ сказано, не помню, въ какомъ-то романѣ. Неправда-ли, вѣдь я не послѣдній мастеръ заканчивать печальный разсказъ нелѣпою шуткой? Что за глупое настроеніе души? Вѣроятно, это зависитъ отъ скверной погоды, отъ холоднаго, сѣраго дня и великопостнаго выраженія окружающихъ меня лицъ?... Мнѣ

хотѣлось бы долго-долго съ вами говорить; но.... вотъ бѣда: я боюсь навести на васъ скуку и тоску. Мнѣ кажется, что, пробѣгая эти строки, вы теряете терпѣніе и притопываете вашей прекрасной ножкой, восклицая: «несносный человѣкъ!» Вотъ ужъ и несносный.... А я думаю, вы не выходите изъ терпѣнія, когда несетесь въ галопѣ съ какимъ-нибудь раздушеннымъ господиномъ, разсыпающимъ предъ вами яркіе цвѣты восточнаго краснорѣчія. Вотъ вы устали и сѣли отдыхать. Дыханіе ваше горячо: щеки покрыты румянцемъ; неровно поднимается грудь, — а этотъ господинъ стоитъ за вашимъ стуломъ и, картинно изгибая свою спину, снова сыплетъ предъ вами цвѣты восточнаго краснорѣчія и дышетъ на ваше полуоткрытое плечо. Позвольте же вамъ сказать, только не въ слухъ, а на ушко: «теперь уже не вы, а я теряю терпѣніе»; я постараюсь найти случай пробить насквозь мѣдный лобъ этого полотера неотразимой эпиграммой.... Ухъ, какимъ холодомъ пахнуло отъ вашего лица! Понимаю, понимаю!...

Я васъ не смѣю раздражать
И повинуюсь молчаливо!
И хоть совсѣмъ не радъ молчать,
Молчать я буду терпѣливо.

«Но, ради самого Христа,
Къ чему вся эта пестрота,
Вся эта смѣсь стиховъ и прозы,
Все это шутки, или слезы?»

Меня вы спросите. — «Увы!
Отчасти плодъ тяжелой скуки,
Отчасти плодъ душевной муки
И нездоровой головы».

Притомъ, скажу чистосердечно,
На васъ мнѣ трудно угодить:
Едва шутить начну безпечно, —
Сейчасъ упрекъ: «зачѣмъ шутить!»

Не веселъ я, — опять укоры,
Опять нахмуренные взоры;
Но какъ же быть мнѣ, мой Творецъ!...
Assez! Довольно наконецъ.

За то, что вралъ на-пропалую,
За то, что мучилъ этимъ васъ,
Склонивъ колѣни, въ этотъ часъ
Прахъ вашей ножки я цѣлую.
А ручку можно-ли пожать?
Нельзя? Такъ что и толковать!
Къ чему излишняя награда?
Такая милая отрада
Меня съ ума-бъ теперь свела,
А вы... вы не творите зла.
Мнѣ остается передъ вами,
Принявъ видъ скромности святой,
Стоять съ поникшей головой
И съ потупленными глазами,
Или забыть весь свѣтъ, — и вдругъ
Воскликнуть . . . .

Угадайте, что я хотѣлъ сказать? Держу пари, что не угадаете. Ну-съ, а я не докончу стиха ни за что на свѣтѣ, изъ опасенія навлечь на себя ваше нерасположеніе, что было бы для меня очень грустно.

Я думаю, по случаю наступающаго праздника, вы находитесь теперь въ страшныхъ хлопотахъ: отдаете разныя приказанія вашей прислугѣ, торопливо переходите изъ комнаты въ комнату, гремя связками ключей, какъ хозяйка, серьёзно озабоченная своимъ дѣломъ, и такъ далѣе. То ли дѣло вотъ я: по мнѣ хоть травушка не рости: какъ себѣ знаютъ, такъ тамъ и дѣлаютъ; я рѣшительно ни въ чемъ не принимаю участія, только время отъ времени раскрываю бумажникъ при докладахъ: вотъ то-то нужно купить, да вотъ этого не достаетъ.

Сейчасъ получилъ отъ Гагена *) свой портретъ и укупорилъ его съ тѣмъ, чтобы отправить къ вамъ. Портретъ вышелъ очень удаченъ: мое обыкновенное выраженіе лица схвачено совершенно (пер-

*) Воронежскій фотографъ.

вый портретъ не удался и брошенъ); какъ видите, личность печальная и весьма некрасивая. Положите ее куда-нибудь подалѣе въ уголокъ, чтобы она не всѣмъ бросалась въ глаза и не наводила на добрыхъ людей тоски задумчивымъ выраженіемъ своихъ глазъ. Но съ вашей стороны эта грустная личность, право, заслуживаетъ нѣкоторой симпатіи. На этой бумагѣ, въ этихъ неподвижныхъ чертахъ, мнѣ кажется, должно быть что-нибудь живое, быть можетъ, лучшая часть моей души, по весьма простой причинѣ: въ то время, когда снимали съ меня портретъ, я думалъ о васъ; поймите, что̀ я хочу сказать, и повѣрьте моему слову, только объ однихъ васъ. Мнѣ будетъ очень больно, если, по прошествіи нѣкотораго времени, онъ будетъ вами заброшенъ и окончательно забытъ, какъ забываются всѣ старыя, безполезныя вещи. Неужели это можетъ случиться такъ скоро?... Почему же и не такъ! отвѣчаетъ мнѣ какой-то насмѣшливый голосъ. Но когда же вашъ-то портретъ я буду имѣть счастіе получить? Когда же? Онъ хранился бы всегда около моего изголовья. Первая моя мысль, при наступленіи дня, была бы о немъ. Онъ глядѣлъ бы на меня во время поздней ночи, когда въ домѣ замираетъ малѣйшій шорохъ и я остаюсь совершенно одинъ съ моею неразлучной книгой. Доставите ли вы мнѣ это наслажденіе? Если нѣтъ, — Богъ съ вами! Замѣтьте: это письмо писано до полученія вашего; я не могъ утерпѣть, чтобы не взяться за перо, и теперь снова берусь за него еще съ большимъ удовольствіемъ, когда прочиталъ написанныя вами ко мнѣ строки. А то, которое вы писали въ З., гдѣ оно, это бѣдное, милое письмо? Не дѣлайте этого въ другой разъ и пожалуйста не подозрѣвайте меня въ томъ, на что я вовсе не способенъ. Если когда-нибудь и почему бы то ни было взглядъ вашъ на меня совершенно измѣнится; если наконецъ вы захотите это сдѣлать для другой, извѣстной вамъ цѣли, — скажите мнѣ слово, сдѣлайте одинъ намёкъ, и всякій клочекъ, къ которому прикоснулось ваше перо, будетъ вамъ возвращенъ немедленно и въ цѣлости. Довольны ли вы? Болѣе этого, можетъ быть грубѣе этого я ничего не могъ сказать. Но развѣ въ лицо друзей бросаютъ такія горькія обвиненія? Миръ! миръ! Да мимо идетъ

отъ вашего милаго лица всякое облачко досады. Если бы, провожая васъ отъ Гагена, я зналъ, что вы еще не такъ скоро оставите нашъ городъ, я зашелъ бы непремѣнно къ вамъ на квартиру; но я боялся помѣшать вашему отъѣзду, не смѣлъ васъ удержать и, какъ ни было мнѣ грустно, — поплелся домой.

Что-то теперь, именно въ эту секунду, когда я спрашиваю васъ, вы подѣлываете? Теперь 11 часовъ утра. Навѣрное вы уже отслушали литургію. Позвольте же поздравить васъ съ принятіемъ Св. Таинъ. Будьте здоровы и счастливы на всю вашу жизнь. Это мое задушевное, самое пламенное желаніе. Что до меня, — я предчувствую, что праздникъ будетъ проведенъ мною не весело. Я просижу дома въ четырехъ стѣнахъ. Куда мнѣ идти? Знакомыхъ у меня, пожалуй, чуть не половина города, да что мнѣ за дѣло до нихъ и что имъ за дѣло до меня! Сходиться съ кѣмъ-нибудь для того только, чтобы поболтать, чтобы провести какъ-нибудь время, — къ этому я не привыкъ. Зачѣмъ я не имѣю вашего портрета? Тогда, на первый день Пасхи, послѣ заутрени, я положилъ бы его передъ собою и долго съ любовью.... какъ видите, голова моя немножко разстроена. Простите меня за это длинное, безтолковое, написанное въ разное время письмо. Мнѣ не хочется отъ него оторваться; но нужно же когда-нибудь кончать и уже пора. Нѣтъ, еще два слова. Если я буду у васъ, вы не обращайте вниманія.... Позвольте, совсѣмъ не то.... Я знаю только одно, что вы окружены такою атмосферой, которая вѣетъ жизнью и счастіемъ на всякаго къ ней приближающагося. Я говорю это потому, что испыталъ на самомъ себѣ.... За послѣднее ваше письмо я благодаренъ вамъ до слезъ. Какая у васъ должна быть прекрасная душа! Какимъ тепломъ вѣетъ отъ вашихъ словъ, идущихъ прямо къ сердцу! Ей-ей, у меня теперь страшный хаосъ въ головѣ, иначе я написалъ бы еще много, много.... Впрочемъ, что-жь такое? Вѣдь мы увидимся, не такъ ли? Да хранитъ васъ Богъ! Всею душею преданный вамъ

И. Никитинъ.

P. S. Я еще успѣю получить вашъ отвѣтъ до 5-го Мая, — только не замедлите отвѣчать.

X.

1861 г. мая 5-го.

Ваше письмо я получилъ 1-го Мая, у васъ надѣялся быть 7-го или 8-го, потому что 5-го непремѣнно хотѣлъ выѣхать изъ Воронежа. Моей злой судьбѣ было угодно распорядиться иначе: встрѣчая первый день Мая за городомъ, въ саду, въ одномъ знакомомъ мнѣ семействѣ, я пилъ на открытомъ воздухѣ чай, бродилъ по саду до поздняго вечера и получилъ воспаленіе дыхательныхъ органовъ. Теперь сижу на діэтѣ и микстурѣ. Докторъ на шагъ не выпускаетъ меня изъ комнаты. Вы не можете себѣ представить, какая напала на меня невыносимая тоска! Господи! нужно же мнѣ было заболѣть въ такое время, когда я представлялъ себѣ впереди столько задушевной радости, столько отрадныхъ, дорогихъ сердцу дней!... Какъ бы то ни было, я пріѣду къ вамъ при первой возможности, хотя полубольной, все таки пріѣду. Вы покамѣстъ не пишите мнѣ ничего; если же получите отъ меня второе письмо, — тогда дѣло другое, тогда мнѣ нужно будетъ ваше теплое слово.

За ваше послѣднее письмо я не благодарю васъ потому, что какъ бы горячо я не высказалъ вамъ эту благодарность, — она все равно окажется недостаточною на бумагѣ; нѣтъ, ужь лучше я ее выскажу вамъ лично. Неужели я васъ не увижу?... Быть не можетъ! Судя по тому, что я имѣю и хочу вамъ сказать, мнѣ кажется, что это письмо я могъ бы распространить на десять листовъ, но отлагаю этотъ разговоръ до нашей встрѣчи. Мнѣ будетъ дышаться легче въ вашемъ присутствіи, подъ обаяніемъ вашего свѣтлаго взгляда; а теперь и рука дрожитъ у меня отъ слабости и грудь дышетъ неровно. Не браните меня: мнѣ и безъ того теперь невесело.

Сію минуту прочиталъ письмо отъ Д—хъ. Они приглашаютъ меня къ себѣ, за что, разумѣется, я имъ очень благодаренъ. Что касается моихъ словъ m—me Д—ой, будто бы я обѣщался пріѣхать

въ ихъ края, — я ихъ что-то не помню, едва ли это было мною когда-нибудь сказано. Повторяю еще разъ: я пріѣду къ вамъ при первой возможности, и, какъ знать, быть-можетъ успѣю опередить это письмо. Будьте здоровы и веселы. Клянусь вамъ Богомъ, — я насильно отрываю перо отъ этого письма. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

XI *).

26-го мая 1861 года.

Благодарю васъ отъ всей души за ваше письмо. Я молчалъ долго потому, что не могъ все это время поднять отъ подушки голову. Теперь мнѣ нѣсколько легче, по крайней мѣрѣ, я кое-какъ усѣлся въ постели и царапаю эти строки. Боже мой! какъ мнѣ тяжело болѣть въ такое благодатное время, когда все цвѣтетъ и поетъ! Видно, такъ нужно; — могъ ли я предвидѣть, что 1-е мая принесетъ мнѣ столько несчастія? Трое лѣчившихъ меня докторовъ (теперь ѣздитъ ко мнѣ уже одинъ) положили, чтобы я, какъ скоро поднимусь на ноги, все лѣто провелъ бы въ деревнѣ, — это дескать, лучшее для васъ лѣкарство. Такъ-то такъ, но скоро ли я встану? А тутъ, какъ на горе, отвратительная, сырая, холодная погода, такъ что я топлю комнату и лишенъ возможности проѣхаться по улицѣ въ экипажѣ, чтобы вздохнуть на четверть часа чистымъ воздухомъ. Когда Богъ приведетъ мнѣ быть въ деревнѣ, не знаю. Вы, ради Бога, оставьте мысль о посѣщеніи Воронежа (кромѣ многихъ другихъ причинъ) уже по тому одному, что мнѣ запрещено строжайше всякое душевное волненіе. Нервы у меня до того раздражены, что я вздрагиваю отъ неосторожнаго скрипа дверей, или отъ нечаяннаго приближенія кого-либо изъ домашнихъ къ моей постели. Всякое сильное сердеч-

*) Это и слѣдующія письма писаны уже дрожащею рукою.

ное ощущеніе для меня можетъ имѣть дурныя послѣдствія. Богъ милостивъ, у насъ еще есть впереди время. Я не могу выразить, какъ я благодаренъ моимъ друзьямъ и знакомымъ за то участіе, которое они во мнѣ принимаютъ. А что до васъ.... неужели вы думаете, что я васъ не понимаю, что я не вижу въ васъ женщины, способной возвышаться до подвига. Я бы сказалъ вамъ многое, но и рука ослабѣла, и голова моя будто сжата въ тискахъ. Простите, если здѣсь что-нибудь сказано не такъ. Когда просвѣтлѣютъ мои мысли, я напишу къ вамъ длинное-длинное письмо; всего-же лучше, если бы мнѣ удалось поскорѣе увидѣть васъ въ вашей деревнѣ. О днѣ моего къ вамъ пріѣзда я извѣщу васъ особымъ письмомъ. Это, конечно, можетъ быть только по моемъ выздоровленіи.

Читать я понемногу могу, само собою въ постели, помѣстивъ книгу передъ глазами. Настроеніе моего духа до того неестественно, что на меня всякая книга наводитъ невыносимую тоску. Еще разъ примите отъ меня мою задушевную благодарность за вашу обо мнѣ память. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

XII.

4-го іюня.

Отъ всей души благодарю васъ за все ваше участіе. Мнѣ теперь, слава Богу, нѣсколько лучше. Не писалъ я вамъ потому, что позабылъ, гдѣ вы квартируете, хотя вашъ кучеръ и сказалъ мнѣ фамилію хозяина дома. Но голова моя еще очень слаба, я все забылъ. Еще разъ и глубоко благодарю васъ и буду тогда только счастливъ, когда буду имѣть возможность видѣть васъ, быть можетъ, скоро; дай-то, Господи! Въ пятницу я напишу къ вамъ.

И. Никитинъ.

XIII.

Іюня 23-го.

Давно я къ вамъ не писалъ. Но, Боже мой! Что мнѣ было писать? Вотъ уже восьмая недѣля, какъ я лежу на одномъ боку, и если выѣзжаю на полчаса, то эта прогулка удается рѣдко: для нея, вопервыхъ, я долженъ чувствовать себя нѣсколько лучше; вовторыхъ, день долженъ быть жаркій, ясный и совершенно безвѣтренный. Все это трудно согласить и потому я лежу, и лежу убитый, кромѣ болѣзни, невыносимою тоскою. Впрочемъ, теперь мнѣ немного легче, потому что дыханіе становится свободнѣе. Я не стану благодарить васъ за ваше приглашеніе: вы, конечно, понимаете, что я цѣню вполнѣ всю прелесть деревенской жизни съ ея удобствами, всю ея пользу для больнаго; но приглашеніемъ вашимъ, къ несчастію, я не могу воспользоваться. Для этого мнѣ нужно окрѣпнуть и потверже встать на ноги. Согласитесь, что я правъ: на это есть много причинъ и въ числѣ главныхъ отсутствіе доктора, совѣты котораго мнѣ покамѣстъ необходимы. Итакъ мысль о деревенской жизни волею-неволею я принужденъ оставить до болѣе благопріятнаго времени, а когда оно настанетъ, — извѣстно Богу. Но довольно о моей болѣзни; право, тошно.... О новостяхъ нашихъ я не могу вамъ ничего сообщить, потому что если онѣ до меня и доходятъ, то я пропускаю ихъ мимо ушей. Какъ-то не до нихъ, тѣмъ болѣе, что замѣчательнаго не слышно ничего. «Воронежская Бесѣда» напечатана, но еще не получена изъ Петербурга, что очень мнѣ досадно. Мнѣ хочется, чтобы она была поскорѣе въ вашихъ рукахъ для того, чтобы, между прочимъ, вы прочитали помѣщенныя мною въ ней разныя разности и сказали о нихъ свое мнѣніе. Журналы идутъ такъ слабо, что нечѣмъ отвести душу. Между тѣмъ чтеніе въ моемъ положеніи остается единственною отрадою. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

XIV.

7-го іюля.

Не судите меня строго за безпорядочность моихъ отвѣтовъ. Лежа третій мѣсяцъ въ четырехъ стѣнахъ, безъ надежды на лучшее, не имѣя силъ даже ходить по комнатѣ, потому что захватываетъ дыханіе, — трудно сохранить душевное спокойствіе. Говорить мнѣ тяжело, писать тѣмъ болѣе. Иногда приходятъ минуты такой тоски, что Божій свѣтъ становится немилымъ. Доктора рѣшили, что у меня ревматизмъ, который можетъ протянуться на долгое время. Я покорился, молчу и принимаю лѣкарства, — но, увы! онѣ не помогаютъ. Впрочемъ, я не теряю надежды; со мной бывало и хуже.

Отъ всей души желаю вамъ здоровья и счастья. Писать болѣе, право, нѣтъ мочи, довольно и того, что я сказалъ вамъ: что мнѣ хотя и плохо, но все еще живется. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Лѣто 1861 года. — Открытіе мощей Св. Тихона Задонскаго. — Состояніе Никитина. — Свиданіе его съ В. А. Кокоревымъ. — Духовное завѣщаніе. — Отецъ. — Послѣднія именины. — Смерть и погребеніе. — Заключеніе. — Послѣсловіе.

Болѣзнь Никитина приняла роковой характеръ. — Врачъ, въ послѣднее время пользовавшій Никитина, одинъ изъ милѣйшихъ нашихъ знакомыхъ, но плохой эскулапъ, совершенно растерялся. Пришлось пригласить другаго, увѣреннаго во всемогущей силѣ своей науки. Выборъ былъ очень удаченъ: увѣренность врача сообщилась больному, который отдался въ полное его распоряженіе, что съ Никитинымъ никогда прежде не бывало. Больной сдѣлался даже восторженнымъ почитателемъ врачебнаго искусства и не разъ заводилъ рѣчь о немъ. «Вѣдь, вотъ чувствую, что безъ лѣкарства не проживу и двухъ недѣль, а выпьешь нѣсколько ложекъ микстуры, — ну, какъ будто и станетъ легче и надеждишка появится!» — не разъ говорилъ Никитинъ въ первое время своей болѣзни, — и «надеждишка», въ самомъ дѣлѣ, его не покидала, тѣмъ болѣе, что болѣзнь не лишала его возможности сидѣть, ходить по комнатѣ, немножко пройтись по улицѣ въ хорошую погоду и даже, по совѣту врача, выѣхать за городъ въ покойномъ экипажѣ. Болѣзнь не отняла у Никитина возможности читать, вести дѣловую переписку, счеты по магазину, но серьёзныхъ вещей Никитинъ читать уже не могъ; серьёзное чтеніе его или утомляло, или возбуждало, а онъ и безъ того съ каждымъ днемъ болѣе приходилъ въ возбужденное состояніе, близкое къ экстазу. Бросивъ романы, Никитинъ началъ было читать

историческія сочиненія, но и они ему наскучили. Журналовъ онъ не могъ видѣть равнодушно; онъ былъ къ нимъ просто безпощаденъ. «Все ложь и мерзость!» — не разъ восклицалъ Никитинъ, просматривая толстыя книги журналовъ и отбрасывая ихъ въ сторону. Но одинъ журналъ привлекъ къ себѣ все его вниманіе: это было «Православное Обозрѣніе», гдѣ въ то время печатались записки Чеботарева, келейника преосв. Тихона Задонскаго. Какъ извѣстно, въ Августѣ 1861 года происходило открытіе мощей этого святителя. Въ тогдашней духовной журналистикѣ стали появляться статьи о жизни и дѣятельности Св. Тихона. Само собою разумѣется, что эти статьи нигдѣ не читались съ такимъ любопытствомъ, какъ въ Воронежѣ и въ Воронежской губерніи, гдѣ память объ этомъ святителѣ, умершемъ въ началѣ осьмидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка, была еще очень свѣжа, и имя его пользовалось величайшимъ уваженіемъ. Глубоко гуманный, просвѣщенный, литераторъ и витія, святитель Тихонъ былъ образцемъ простоты, кротости и истинно-христіанскаго смиренія, — качествъ, такъ свойственныхъ нашимъ древнимъ іерархамъ. Въ это время въ Воронежской и отчасти Орловской губерніяхъ (въ Елецкомъ уѣздѣ) находилось еще много не только дворянскихъ и купеческихъ, но и крестьянскихъ семействъ, въ которыхъ сохранялись преданія о личномъ знакомствѣ или о перепискѣ съ ихъ прадѣдами преосвященнаго Тихона. Смѣло можно сказать, что Задонскъ, одинъ изъ красивыхъ уѣздныхъ городковъ, обязанъ своимъ существованіемъ Св. Тихону; ему же обязанъ своимъ процвѣтаніемъ и пустынный Толшевскій монастырь, находящійся въ Воронежскомъ уѣздѣ, хотя Св. Тихонъ прожилъ въ немъ недолго. Трудно представить себѣ бо́льшее величіе въ томъ высокомъ уваженіи, которымъ народная память окружила образъ святаго мужа. Какъ художникъ, Никитинъ былъ пораженъ этимъ нравственнымъ величіемъ. Съ особенною восторженностію читалъ онъ въ запискахъ Чеботарева послѣдніе дни жизни Св. Тихона. «Вотъ это я понимаю! Вотъ она гдѣ правда-то!» не разъ восклицалъ Никитинъ, чуя и свои послѣдніе дни. По поводу предстоящаго открытія мощей, не только Воронежъ, но и вся губернія оживились и напол-

нились сотнями тысячъ богомольцевъ, шедшихъ и ѣхавшихъ со всѣхъ концовъ Россіи. — Не говоримъ о Задонскѣ: топографически онъ почти не существовалъ. Восемьдесятъ четыре версты, отдѣляющія этотъ городъ отъ Воронежа превосходнѣйшимъ шоссе, представляли сплошную улицу, по которой стремились волны народа. Все это пространство было буквально усѣяно лавочками и столиками съ съѣстными припасами и иными потребностями, необходимыми для десятковъ тысячъ ежедневно проходящихъ богомольцевъ. Ни съ чѣмъ нельзя было сравнить этой картины, единственной въ своемъ родѣ! Никитинъ не могъ быть свидѣтелемъ этой картины; но событіе открытія мощей совершенно его поглотило и, кажется, значительно поддержало его угасающую жизнь. Съ напряженнымъ вниманіемъ онъ выслушивалъ разсказы посѣтившихъ Задонскъ и самъ какъ бы напрашивался на подобные разсказы. Послѣ такого настроенія естественъ былъ переходъ къ Евангелію. Это была послѣдняя книга, которую Никитинъ читалъ въ своей жизни, читалъ до самой смерти, ни слова и ни съ кѣмъ не говоря о прочитанномъ. Ясно, что великая книга глубоко переживалась и прочувствовалась однимъ изъ «страдающихъ и обремененныхъ», стоящимъ на пути къ вѣчному упокоенію!...

Какъ нарочно, лѣтомъ 1861 года, всѣ пріятели Никитина поразъѣхались изъ Воронежа. Я тоже сдѣлалъ двѣ небольшія поѣздки по Воронежской и Орловской губерніямъ. Возвратившись домой въ концѣ іюля, я ничего не нашелъ лучшаго въ положеніи Никитина. Врачъ, пользовавшій его, уже объявилъ намъ, что больной не жилецъ на этомъ свѣтѣ. Почти каждый день я посѣщалъ больнаго. Невыносимо были тяжелы эти посѣщенія. За возбужденіемъ слѣдовала у Никитина апатія и тоска. Большею частію онъ молчалъ и лежалъ съ закрытыми глазами; нерѣдко я замѣчалъ, что они были особенно красны. Какъ нарочно, все лѣто старикъ пилъ безъ удержу и не только не понималъ положенія сына, но безобразничалъ на пропалую. Часто онъ пугалъ умирающаго сына, врываясь въ его комнату въ пьяномъ, безобразномъ видѣ, босой и въ одномъ бѣльѣ. Никѣмъ неудерживаемый — ибо А. Н. Тюрина, ходившая за больнымъ Иваномъ Саввичемъ, не могла съ нимъ справиться, — онъ давалъ про-

сторъ своей брани и своимъ рукамъ, обыкновенно вооруженнымъ въ подобныя минуты солеными огурцами, которые онъ бросалъ куда ни попало. — «Аннушка! уведи, ради Бога, старика!» едва говорилъ умирающій сынъ. Но что могла сдѣлать Аннушка съ расходившейся бурей? — «Когда же, наконецъ, умретъ Никитинъ?» говорили вовсе не шутя люди, хотя и не близкіе къ Ивану Саввичу, но искренно его уважавшіе, знавшіе, что̀ съ нимъ и вокругъ него творится. Этотъ роковой вопросъ: когда же наступитъ конецъ? — увы! пришлось задавать себѣ даже тѣмъ, которымъ былъ такъ дорогъ умирающій.

Но съ августа здоровье Никитина какъ будто стало поправляться. Онъ былъ въ состояніи выходить со двора и даже кататься. Раза два или три мы съ нимъ гуляли вмѣстѣ, вмѣстѣ пріискивали новое помѣщеніе для магазина и заходили въ самый магазинъ отдохнуть и посмотрѣть. Съ начала болѣзни завѣдывалъ магазиномъ и жилъ въ немъ молодой человѣкъ, окончившій курсъ въ Московскомъ университетѣ, Н. Н. Чеботаревскій, теперь имъ распоряжались мальчики, Акиндинъ и Миша. Въ одно изъ такихъ посѣщеній, въ самомъ концѣ августа, мы удалились съ Иваномъ Саввичемъ въ заднюю комнату, исправлявшую у него должность кабинета. Онъ легъ отдохнуть на диванъ; я сидѣлъ на одномъ изъ двухъ стульевъ. Затворенная дверь, ведущая въ магазинъ, вдругъ и поспѣшно отворяется. Входитъ незнакомый мужчина высокаго роста и обращается ко мнѣ съ вопросомъ: — «вы Иванъ Саввичъ?» Я указалъ глазами на диванъ. «Я Кокоревъ», сказалъ вошедшій. Лежавшій съ полузакрытыми глазами Никитинъ вскакиваетъ съ дивана, выпрямляется во весь ростъ и, взявши за руку г. Кокорева, голосомъ полнымъ прежней силы, хотя часто обрывающимся, начинаетъ ему говорить... мы затрудняемся сказать, что говорить? Не рѣчь же? Не монологъ? Но это было въ самомъ дѣлѣ что-то въ родѣ рѣчи-монолога. Мы затрудняемся припомнить все, что было сказано, и какъ было сказано! В. А. Кокоревъ былъ болѣе чѣмъ смущенъ этою сценою: въ первый разъ онъ видѣлъ Никитина и въ такомъ положеніи!... Онъ пробовалъ было остановить потокъ смутившихъ его благодар-

ственныхъ словъ; но тщетно. — «Нѣтъ, постойте... дайте мнѣ все высказать», говорилъ надрывающійся, страстный голосъ: «вы дали мнѣ новую жизнь... вы... вы спасли меня... не подойди такъ скоро смерть, я не остался бы здѣсь, въ этомъ городѣ... здѣсь мнѣ душно!...» Голосъ Никитина порвался отъ истерическихъ рыданій; ему сдѣлалось дурно. Когда оправился Никитинъ, я поспѣшилъ оставить его вдвоемъ съ Кокоревымъ и, послѣ того, дня два или три не навѣщалъ его. Я началъ надѣяться на его выздоровленіе. — Мнѣ казалось, что Никитинъ видимо оживаетъ, начинаетъ интересоваться многимъ и всего болѣе «Воронежской Бесѣдой», уже отпечатанной и присланной уже въ готовыхъ листахъ; свиданіе съ г. Кокоревымъ прошло, я зналъ, благополучно: въ тотъ же вечеръ они еще разъ видѣлись. Но вотъ 1-го сентября я получаю записку, уничтожившую мои надежды:

«Другъ мой! Пріѣзжайте ко мнѣ сегодня въ свободные для васъ часы. Нужно написать духовное завѣщаніе. Теперь ужъ, пожалуйста, безъ возраженій: по окончаніи этого дѣла, мнѣ будетъ легче. Васъ позвольте просить быть моимъ душеприкащикомъ. Не откажитесь! Кому же кромѣ? Кого бы пригласить изъ священниковъ, — право, не знаю; не придумаете ли? Пріѣзжайте, если можно, съ Чеботаревскимъ, и будьте со мною похладнокровнѣе при свиданіи, — иначе я не выдержу. Бумаги гербовой, если нужно, возьмите; деньги найдете въ магазинѣ. Весь вашъ И. Никитинъ».

Предоставляемъ самому читателю рѣшить, чего стоило Никитину совершеніе духовнаго завѣщанія! Чего стоило человѣку въ его положеніи прощаться съ жизнію и со всѣмъ, что пріобрѣтено такою дорогою цѣною! Никитину страшно не хотѣлось умирать: часто, особенно въ послѣднія шесть недѣль, и украдкою отъ меня, онъ плакалъ какъ ребенокъ. Духовное завѣщаніе было совершено 10-го сентября. Эти десять дней — ужасное время!... Они прошли въ мучительныхъ приготовленіяхъ и толкахъ. Никитинъ совѣтовалъ мнѣ, тотчасъ же послѣ его смерти, распродать книжный магазинъ по частямъ, пустивъ вещи по номинальной цѣнѣ. Когда же значительная часть будетъ такимъ образомъ распродана, остальныя

вещи, «хламъ», какъ онъ выражался, сбыть за что ни попало, съ аукціона. Я было заикнулся о моемъ невѣжествѣ въ торговомъ дѣлѣ, о неумѣньи распоряжаться вообще и т. п.

— Да чѣмъ тутъ и распоряжаться-то, возразилъ Никитинъ: вѣдь, много-много, за всѣми уплатами и расходами, останется тысячи три.

Съ полнымъ спокойствіемъ и самообладаніемъ распорядился больной своимъ имуществомъ и даже входилъ въ мельчайшія подробности по поводу похоронъ. Прежде Никитинъ хотѣлъ было предоставить вырученныя отъ продажи магазина деньги въ пользу какого-нибудь учебнаго или благотворительнаго заведенія. Я безъ труда уговорилъ его сдѣлать своими наслѣдниками хотя дальнихъ, но бѣдныхъ родныхъ его съ отцовской и материнской стороны. А отецъ? вопросъ объ отцѣ былъ невыносимо тяжелый и такимъ остается до сихъ поръ... У отца оставался постоялый дворъ и домъ, что по меньшей мѣрѣ приносило 300—400 р. дохода; отцу оставлялась вся движимость въ домѣ: мебель, платье, разныя вещи и т. п.; но своего книжнаго магазина Никитинъ не хотѣлъ отдать отцу, не хотѣлъ дать въ немъ старику ни малѣйшей доли участія!... Послѣ смерти Ивана Саввича старикъ не могъ остаться безъ всякаго призора, не могъ умереть съ голоду: собственность, которою онъ располагалъ, т. е. большая усадьба и дворъ, стоила немного меньше книжнаго магазина; онъ могъ найти себѣ наслѣдниковъ, которые не оставятъ его старости безъ присмотра, что и дѣйствительно потомъ случилось. Чѣмъ болѣе безобразничалъ старикъ, тѣмъ больше терялъ онъ всякую способность къ разсчету: онъ не столько тратилъ денегъ на пропой, сколько терялъ ихъ, дарилъ кому зря, просто бросалъ или разрывалъ кредитные билеты: знай, молъ, нашихъ! Ивану Саввичу давно приходилось (конечно, послѣ страшныхъ сценъ) не давать старику на руки болѣе трехъ или пяти рублей, самому покупать для него водку; но и это не много помогало: Савва Евтѣичъ находилъ случай брать деньги впередъ у постояльцевъ, занимать у знакомыхъ, отдавать подъ залогъ вещи и т. п. Словомъ, разсуждая здраво и безпристрастно (а такъ разсуждалъ

Никитинъ при составленіи духовнаго завѣщанія), старикъ былъ все равно, что малое дитя, безсильное управлять своею судьбой. Но.... отецъ!... такія отношенія при послѣднемъ смертномъ часѣ!... общественное мнѣніе!... даютъ же дитяти опекуна-распорядителя, почему же и не дать его этому взбалмошному старому сумасброду?... Почему же не смягчить свирѣпости этого льва, хотя бы малою долей наслѣдства, — пусть и погибнетъ эта доля, если нѣтъ возможности сохранить ее?... Но умирающій сынъ оставался глухъ къ совѣтамъ включить отца въ духовное завѣщаніе! При всемъ тогдашнемъ моемъ вліяніи на Никитина, не смотря на совѣты отца духовнаго *) и другихъ близкихъ ему лицъ, онъ оставался непреклоннымъ, говоря: «Это безполезно, и деньги пойдутъ прахомъ. Старикъ имѣетъ домъ, возьметъ къ себѣ племянника съ женою и, я убѣжденъ, доживетъ свой вѣкъ спокойнѣе теперешняго. Вы меня знаете, а другіе пусть говорятъ обо мнѣ, что хотятъ». За два дня до совершенія завѣщанія, я пріѣхалъ къ Никитину часовъ въ 7 утра, вмѣстѣ съ духовникомъ. Мы нашли его сидящимъ въ креслахъ. Онъ готовился къ принятію Св. Таинъ. Повидавшись съ нами, онъ довольно бодро всталъ и, къ изумленію нашему, поплелся въ другую половину домика, которую занималъ отецъ. Старикъ еще спалъ; за все это лѣто я не болѣе двухъ разъ видѣлъ его трезвымъ. Черезъ нѣсколько минутъ мы услышали уже знакомыя мнѣ истерическія рыданія и слова: «Батенька! Простите меня!» Никитинъ стоялъ на колѣняхъ передъ безчувственно-спящимъ отцомъ; но въ отвѣтъ на эту предсмертную просьбу, громко раздававшуюся по опустѣлому дому, было слышно одно бормотанье полусоннаго пьянаго человѣка. Оставивъ больнаго съ священникомъ, я вышелъ въ другую комнату. Черезъ четверть часа я снова услышалъ напугавшія меня рыданія. Я поспѣшилъ въ комнату больнаго, гдѣ уже все было кончено, и нашелъ его, тихо плачущимъ. «Теперь

*) Профессора семинаріи іеромонаха Арсенія (Иващенки), потомъ архимандрита, ректора Витебской семинаріи и члена Комитета Духовной Цензуры, ученаго автора многихъ церковно-историческихъ статей и книги «Лѣтопись Церковныхъ Событій въ связи съ гражданскими».

ничего... Мнѣ легко! Вѣдь, вы знаете, другъ мой, что я не могу плакать!» — сказалъ онъ, посмотрѣвъ на меня кротко и спокойно. Въ Никитинѣ было всегда сильно развито религіозное чувство, хотя онъ не разъ жалѣлъ о томъ, что утратилъ его младенческую непосредственность. Послѣдняя, казалось, теперь снова его посѣтила...

При составленіи духовнаго завѣщанія, Никитинъ предполагалъ выручку отъ проданнаго имущества, за всѣми расходами и уплатою долговъ, въ 2,100 р. сер. Приблизительное опредѣленіе долей наслѣдства было необходимо для его наслѣдниковъ, людей безграмотныхъ; имъ приблизительно было опредѣлено, — на какую сумму каждый изъ нихъ можетъ разсчитывать. Всѣхъ наслѣдниковъ было тринадцать человѣкъ; они должны были получить 7-ю, 14-ю, 16-ю, 20-ю и 40-ю доли изъ вырученной отъ продажи магазина суммы. Наслѣдники Никитина, какъ мы сказали, были дальними его родственниками отъ двоюродныхъ сестеръ Тюриныхъ до дочери «Портнаго», воспѣтаго имъ въ одномъ изъ задушевнѣйшихъ стихотвореній. Къ нимъ вполнѣ относится слѣдующая строфа изъ этой же піесы:

Бѣдность голодная, грязью покрытая,
Бѣдность несмѣлая, бѣдность забитая, —
Днемъ она гибнетъ, и въ полночь и заполночь,
Гибнетъ она, — и никто не идетъ на помочь,
Гибнетъ она — и опоры нѣтъ волоса,
Теплаго сердца, знакомаго голоса....

Тринадцать семействъ такихъ бѣдняковъ нашли себѣ теплое сердце и значительно улучшили свое положеніе.. . *)

Духовное завѣщаніе было передано въ запечатанномъ конвертѣ Аннѣ Николаевнѣ Тюриной. Содержаніе его старику оставалось неизвѣстнымъ.

26-го сентября былъ день именинъ Никитина. Со дня совершенія духовнаго завѣщанія я навѣщалъ его ежедневно. Онъ угасалъ съ каждымъ днемъ. Меня онъ какъ будто сталъ бояться.

*) Книжный магазинъ Никитина былъ проданъ мною за семь тысячъ восемьсотъ руб. сереб. За разными расходами, на долю наслѣдниковъ пришлось 7664 руб. 84 коп. сереб., т. е. больше чѣмъ втрое, какъ предполагалось, и на что они разсчитывали.

«Чудакъ этотъ М. Ѳ., говорилъ умирающій сестрѣ, — онъ думаетъ, что я умру! А я чувствую, что встану: мнѣ теперь стало легче. Ты только не говори ему этого, Аннушка, а то разсердится». Больнаго мучила мысль, что онъ не можетъ писать къ Второву, возвратившемуся уже изъ-за границы, не можетъ съ нимъ проститься. Мнѣ поручилъ Никитинъ исполнить эту печальную обязанность. «Смотрите же, пріѣзжайте вечеромъ на именины чай пить,—знаете, какъ всегда, да непремѣнно съ сестрою», еще задолго до 26-го числа говорилъ мнѣ Иванъ Саввичъ. Вечеромъ въ этотъ день я явился одинъ. Я сѣлъ за тѣмъ же круглымъ столомъ «на жалкихъ ножкахъ», вокругъ котораго обыкновенно возсѣдали гости, собиравшіеся на вечеринки Никитина. Передъ тѣмъ же диваномъ «съ подушкою худою» стоялъ этотъ столъ; но на диванѣ не гости сидѣли, а лежалъ умирающій хозяинъ-именинникъ. Смерть уже положила на немъ печать свою. Его глаза были большею частію закрыты; пылающія уста горѣли чахоточнымъ пламенемъ. Я сѣлъ и осмотрѣлся кругомъ. Боже! какая перемѣна!... Могилой повѣяло на меня отъ этой картины смерти, отъ пустоты и молчанія, царствующихъ во всемъ домѣ. Вошелъ Савва Евтѣичъ, трезвый и прибранный по случаю именинъ сына, и сѣлъ. Безчувственно пожавъ мнѣ руку, Никитинъ снова погрузился въ забытье: для успокоенія, докторъ давалъ ему сильные пріемы морфія. Кое-какъ глотая чай, по-праздничному, впрочемъ, подававшійся, шепотомъ разговаривали мы со старикомъ. Старикъ очнулся совершенно и, кажется, понималъ безнадежное положеніе сына. Тихо и кротко началъ онъ мнѣ жаловаться на больнаго, говоря, что онъ тревожится, сердится понапрасну, совсѣмъ не бережетъ и убиваетъ себя. — «Вотъ хоть бы вы ему посовѣтовали успокоиться; насъ онъ совсѣмъ не слушаетъ», закончилъ свою жалобу Савва Евтѣичъ. Жалобы на крайнюю раздражительность умирающаго я слышалъ не разъ отъ Анны Николаевны. При самомъ началѣ этого разговора Никитинъ очнулся и замѣтно сталъ прислушиваться къ словамъ отца. Не разъ онъ вскидывалъ глазами, и что-то похожее на улыбку я замѣтилъ на его лицѣ. При послѣднихъ словахъ старика, онъ совсѣмъ открылъ глаза

и какъ-то тревожно смотрѣлъ на насъ обоихъ. Я чувствовалъ потребность сказать хоть что нибудь — и сказалъ фразу о необходимости спокойствія для больнаго. Никитинъ быстро приподнялся съ дивана и сталъ на ноги, шатаясь и едва держась руками за столъ. Онъ былъ страшенъ, какъ поднявшійся изъ гроба мертвецъ.

— «Спокойствіе!... — воскликнулъ умирающій. — Теперь поздно говорить о спокойствіи!... Я себя убиваю!... Нѣтъ, — вотъ мой убійца!...» Горящіе глаза его обратились къ ошеломленному и уничтоженному отцу. Умирающій опустился на диванъ, застоналъ и обратился къ стѣнѣ, погрузившись снова въ забытье. Этою сценою окончилось послѣднее празднованіе именинъ Никитина. Старикъ снова запилъ...

Смерть прекратила страданія Никитина 16-го октября, въ половинѣ пятаго часа по-полудни. Съ самаго ранняго утра, неотрезвившійся старикъ не выходилъ изъ комнаты умирающаго сына. Онъ стоялъ у его смертнаго одра и взывалъ сиплымъ голосомъ: «Кому отказываешь магазинъ? Гдѣ ключи? Подай сюда духовную!» Эти слова, не произносимыя, а выкликаемыя, повторялись на всѣ лады: «Иванъ Саввичъ! подай ключи.... Иванъ Саввичъ! гдѣ деньги», и т. д. Произносились и слова, угрожающія проклятіемъ!... Умирающій судорожно вздрагивалъ и умолялъ глазами сестру отвести старика въ другую комнату. Я былъ свидѣтелемъ этой сцены въ три часа по-полудни. Кое-какъ я угомонилъ старика, сказавъ, что духовная у меня, что содержаніе ея онъ скоро узнаетъ, что деньги всѣ цѣлы. Я не имѣлъ духу присутствовать при послѣднихъ минутахъ умирающаго страдальца. Я былъ уничтоженъ картиною такой смерти. «Баба, баба!» еще былъ въ силахъ сказать мнѣ Никитинъ. Это были послѣднія его слова. Все было уже кончено, когда черезъ часъ я возвратился съ сестрою въ этотъ домъ смерти и ужасовъ.

По окончаніи первой панихиды, въ присутствіи духовенства и множества лицъ, собравшихся въ домѣ, было вскрыто духовное завѣщаніе. Старикъ взвылъ, когда узналъ, что онъ обойденъ наслѣдствомъ. Но слово проклятія не сорвалось съ устъ его....

Ночь на 17-е октября.... Но не дай Богъ переживать никому такой ночи! На столѣ лежалъ мертвецъ. Въ пустынномъ домѣ поднялась суета отъ неизбѣжнаго прихода близкихъ и посторонних лицъ и отъ неизбѣжныхъ въ подобныхъ случаяхъ хлопотъ; но среди всего этого раздавались дикіе вопли, прерывавшіе печальное, монотонное чтеніе псалтыри. Для ободренія себя старикъ прибѣгалъ къ извѣстному средству, ругался и врывался въ комнату, гдѣ лежалъ трупъ сына. Я вынужденъ былъ напомнить ему о своихъ правахъ душеприкащика. Куда тебѣ! Онъ просто лѣзъ ко мнѣ съ угрозами и ругательствами. Я принужденъ былъ наконецъ постращать его закономъ, призваніемъ полиціи... И все это происходило передъ неостывшимъ еще трупомъ!... Спѣшимъ прибавить, что смерть сына не прошла даромъ Саввѣ Евтѣичу: могучій старикъ крѣпко осунулся и одряхлѣлъ лѣтъ на десять. На другой день и при погребеніи онъ былъ трезвъ и кротокъ и тихо плакалъ. Я заходилъ къ нему и потомъ. Онъ почти ослѣпъ и безъ провожатаго уже не могъ ходить. Охотно и незлобиво говорилъ онъ о сынѣ, интересовался поставленнымъ на его могилѣ памятникомъ и каждый разъ заводилъ рѣчь о духовномъ завѣщаніи, объясняя умолчаніе въ немъ своего имени наговоромъ злыхъ людей; ибо-де «Иванъ Саввичъ не таковскій былъ человѣкъ, чтобы забыть отца; а что они между собою иногда ссорились, такъ мало ли чего не бываетъ, — вѣдь, и горшокъ съ горшкомъ сталкиваются!» Старикъ пережилъ сына только тремя годами. Послѣдніе дни жизни его прошли очень спокойно, но извѣстная болѣзнь не покидала его до гробовой доски.

Похороны Никитина, сверхъ чаянія и требованія покойнаго, вышли торжественныя. Явилось все духовенство Смоленскаго каѳедральнаго собора; явились толпы учащейся молодежи, гимназисты и семинаристы, кадетскій корпусъ прислалъ выпускной классъ; собралось много самой разнообразной публики. Гробъ до собора и потомъ до могилы несли на рукахъ. На голову мертвеца возложили лавровый вѣнокъ. Въ соборъ прибылъ новый начальникъ губерніи, М. И. Чертковъ, и многія изъ почетнѣйшихъ лицъ города. Новая могила была приготовлена какъ-разъ подлѣ старой, вырытой назадъ тому

девятнадцать лѣтъ и тоже знаменательной въ исторіи нашей литературы, — подлѣ могилы Кольцова, на такъ называемомъ Новомъ, или Митрофановскомъ, кладбищѣ. День погребенія былъ ясный и теплый. Кроткій лучъ осенняго солнца, проходя чрезъ церковные своды, смягчалъ строгое и печальное лицо Никитина. Когда я всматривался въ это лицо, чтобы не забыть его во вѣкъ, дорогой образъ живымъ и говорящимъ возставалъ передо мною изъ гроба и сомкнувшіяся уста, казалось, говорили мнѣ:

.... Ты останешься живъ,
Ты обо мнѣ и о моихъ поступкахъ
Разскажешь тѣмъ, кто знать ихъ пожелаетъ.
(Гамлетъ. Перев. Кронеберга. Ст. 231).

И разсказать я счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ....

Еще нѣсколько словъ. Мы старались избѣгать идеализаціи при изображеніи жизни Никитина. Мы ослабляли тѣни, но только не въ очертаніи его характера. Мы не подводимъ итоговъ, не дѣлаемъ выводовъ изъ сказаннаго, предоставляя это сдѣлать самому читателю. Просимъ его еще разъ не забыть объ одномъ: Никитинъ возрасталъ и развивался въ эпоху мрака, въ невыносимой духотѣ бѣднаго и темнаго быта. Но въ душѣ своей онъ носилъ другой идеалъ, къ которому стремился съ мужествомъ героическимъ. Передъ концомъ своей жизни онъ разцвѣлъ на мгновеніе, когда почуялъ вѣяніе инаго, свѣжаго воздуха, приближеніе поры, къ которой онъ такъ обращался:

Прійдетъ ли наконецъ пора,
Когда блеснутъ лучи разсвѣта, —
Когда зародыши добра
На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,
Взойдутъ, созрѣютъ въ свой чередъ,
И принесутъ сторичный плодъ, —
Когда минетъ проказа вѣка
И воцарится честный трудъ, —
Когда увидимъ человѣка —
Добра божественный сосудъ?

Эта проказа вѣка не обошла Никитина, какъ и всѣхъ его современниковъ, развивавшихся при одинаковыхъ съ нимъ условіяхъ.

Мы не дѣлаемъ оцѣнки литературнымъ произведеніямъ Никитина. Лучшая поэма, имъ созданная, — его жизнь; лучшій типъ — онъ самъ.

Много лѣтъ прошло, какъ была составлена нами біографія Никитина, и почти четверть вѣка, какъ его не стало. Да позволено намъ будетъ присовокупить къ сказанному, въ видѣ послѣсловія, слѣдующія строки.

Послѣ смерти Никитина я прожилъ въ Воронежѣ четыре года. Ни прежде, ни послѣ я не былъ такъ доволенъ своимъ служебнымъ положеніемъ и тѣмъ родомъ частныхъ занятій, который въ это время выпадалъ на мою долю (напр., редакція губернскихъ вѣдомостей, устройство въ городѣ публичной библіотеки и т. п.); но и за всѣмъ этимъ, Никитинъ не позабывался: смерть его произвела въ душѣ моей тяжелую рану, которую плохо залѣчивало время. Въ моей умственной, духовной жизни я почувствовалъ какую-то пустоту, чего-то не доставало: казалось, у меня сразу убыло силы; казалось, вдругъ оборвалась моя молодость. Меня начало тянуть изъ Воронежа, гдѣ прошли мои гимназическіе годы, гдѣ я прожилъ осьмнадцать лѣтъ, — лучшую пору молодости. Я выѣхалъ изъ Воронежа въ 1865 году и уже болѣе въ него не возвращался. Но за двадцать послѣднихъ лѣтъ и до сего часа, гдѣ я ни жилъ, всегда и вездѣ полоса прошлаго воронежскаго времени, обнимающая собою 1857—1861 годы, рисуется въ моихъ воспоминаніяхъ въ самомъ свѣтломъ, лучезарномъ видѣ и на ней ярко выступаетъ образъ Никитина во всей полнотѣ его обаянія. Въ чемъ же заключалось оно, это обаяніе? — Въ томъ именно, что близкое общеніе съ Никитинымъ поднимало вашъ духъ и возбуждало вашу энергію; этотъ человѣкъ былъ олицетвореніе труда, живое воплощеніе идеи, замысла; вблизи его нельзя было ни задремать, ни опустить рукъ. Никитинъ былъ рожденъ если не повелѣвать, то руководить другими, — идти если не впереди всѣхъ, то рядомъ съ лучшими, избранными. Это была натура преимущественно мужеская, а не женственная,

не пассивная. Таковъ онъ былъ и въ дружбѣ, — крѣпкій, независимый и лично свободный! Духовный ростъ Никитина совершался на глазахъ друзей его; послѣдніе, какъ умѣли и могли, конечно, помогали этому росту, но больше непосредственно, чѣмъ посредственно. Говорить о какомъ-то подчиненіи Никитина друзьямъ, о какомъ-то воспитаніи его послѣдними, могутъ только люди, не знавшіе лично Никитина, не имѣвшіе, стало быть, и понятія о той гармоніи всѣхъ душевныхъ способностей — ума, воли, чувства, фантазіи, — которая поражала въ немъ наблюдателя и какою не обладалъ ни одинъ изъ друзей его. Придайте подобному человѣку печать даровитости, — и вы получите личность, полную обаянія, привлекающую къ себѣ и увлекающуюся, но совершенно неспособную къ какой-либо страдательной роли. Такихъ цѣльныхъ и крѣпкихъ натуръ, какъ Никитинъ, мало вырабатываетъ наша русская жизнь; такіе люди не забываются.

Тамбовъ.
Май — Іюнь 1885 года.

Вырыта заступомъ яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, какъ осенняя ночь, молчаливая, —
Горько она, моя бѣдная, шла
И, какъ степной огонекъ, замерла.

—

Что же? усни, моя доля суровая!
Крѣпко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
Только однимъ человѣкомъ убавится...
Убыль его никому не больна,
Память о немъ никому не нужна!

—

Вотъ она — слышится пѣснь беззаботная,
Гостья погоста, пѣвунья залетная,
Въ воздухѣ синемъ на волѣ купается;
Звонкая пѣснь серебромъ разсыпается...
Тише!.. О жизни покончен вопросъ.
Больше не нужно ни пѣсенъ, ни слезъ!

Лит. Малинова въ Москвѣ

СТИХОТВОРЕНІЯ

1849—1857.



1849 Г.

I.

Тихо ночь ложится
На вершины горъ,
И луна глядится
Въ зеркала озеръ.

Надъ глухою степью,
Въ неизвѣстный путь,
Безконечной цѣпью
Облака плывутъ;

Надъ рѣкой широкой,
Сумракомъ покрытъ,
Въ тишинѣ глубокой
Лѣсъ густой стоитъ;

Свѣтлые заливы
Въ камышахъ блестятъ,
Неподвижны нивы
На поляхъ стоятъ;

Небо голубое
Весело глядитъ,
И село большое
Беззаботно спитъ;

Лишь во мракѣ ночи
Горе и развратъ
Не смыкаютъ очи,
Въ тишинѣ не спятъ.

II.

ВЕСНА НА СТЕПИ.

Степь широкая,
Степь безлюдная,
Отчего ты такъ
Смотришь пасмурно?

Гдѣ краса твоя,
Зелень яркая,
На цвѣтахъ роса
Изумрудная?

Гдѣ тѣ дни, когда
Съ утра до ночи
Ты залетныхъ птицъ
Пѣсни слушала,

Дорогимъ ковромъ
Разстилалася,
По зарямъ, сквозь сонъ,
Волновалася?

Когда, въ часъ ночной,
Тайны чудныя
Вѣтерокъ тебѣ
Шепталъ ласково,

Освѣжалъ твою
Грудь открытую,
Какъ дитя, тебя
Убаюкивалъ?...

А теперь лежишь
Мертвецомъ нагимъ;
Тишина вокругъ,
Какъ на кладбищѣ...

Пробудись,— пришла
Пора прежняя;
Уберись въ цвѣты,
Въ бархатъ зелени;

Изукрась себя
Росы жемчугомъ;
Созови гостей
Весну праздновать.

Посмотри кругомъ:
Небо ясное
Голубымъ шатромъ
Пораскинулось,

Золотой вѣнецъ
Солнца краснаго
Весь въ огняхъ горитъ
Надъ дубравою.

Новой жизнію
Вѣетъ теплый день,
Вѣтерокъ на грудь
Къ тебѣ просится.

III.

ПОЛЕ.

Раскинулось поле волнистою тканью
И съ небомъ слилось темносинею гранью,
И въ небѣ прозрачномъ щитомъ золотымъ
Блестящее солнце сіяетъ надъ нимъ;
Какъ по морю, вѣтеръ по нивамъ гуляетъ
И бѣлымъ туманомъ холмы одѣваетъ,
О чемъ-то украдкой съ травой говоритъ
И смѣло во ржи золотистой шумитъ.
Одинъ я... и сердцу, и думамъ свобода...
Здѣсь мать моя, другъ и наставникъ — природа.
И кажется жизнь мнѣ свѣтлѣй впереди,
Когда къ своей мощной, широкой груди
Она, какъ младенца, меня допускаетъ
И часть своей силы мнѣ въ душу вливаетъ.

IV.

МОНАСТЫРЬ.

Крестомъ высокимъ осѣненный,
Вдали отъ селъ и городовъ
Одинъ стоишь ты, окруженный
Густыми купами деревъ.

Вокругъ глубокое молчанье,
И только съ шелестомъ листовъ
Однообразное журчанье
Живыхъ сливается ручьевъ,

И вѣтерокъ прохладный вѣетъ,
И тѣнь бросаютъ дерева,
И живописно зеленѣетъ
Полянъ высокая трава.

О, какъ сыны твои счастливы!
Въ твоемъ безмолвіи святомъ
Они страстей своихъ порывы
Смирили бдѣньемъ и постомъ.

Ихъ сердце отжило для міра,
Умъ съ суетою незнакомъ,
Какъ-будто свѣтлый ангелъ мира
Ихъ осѣнилъ своимъ крестомъ.

И внемлетъ вѣчное Богъ-Слово,
Ихъ тяжкій трудъ благословивъ,
Святыхъ молитвъ живое слово
И гимновъ сладостный призывъ.

V.

ЛѢСЪ.

Шуми, шуми, зеленый лѣсъ!
Знакомъ мнѣ шумъ твой величавый,
И твой покой, и блескъ небесъ
Надъ головой твоей кудрявой.
Я съ дѣтства понимать привыкъ,
Твое молчаніе нѣмое
И твой таинственный языкъ,
Какъ что-то близкое, родное.

Какъ я любилъ, когда порой,
Краса угрюмая природы,
Ты спорилъ съ сильною грозой
Въ минуты страшной непогоды,
Когда большихъ твоихъ дубовъ
Вершины темныя качались,
И сотни разныхъ голосовъ
Въ твоей глуши перекликались...

Или, когда свѣтило дня
На дальнемъ западѣ сіяло
И яркимъ пурпуромъ огня
Твою одежду освѣщало!
Межъ-тѣмъ, въ глуши твоихъ деревъ
Была ужь ночь, а надъ тобою
Цѣпь разноцвѣтныхъ облаковъ
Тянулась пестрою грядою.

И вотъ я снова прихожу
Къ тебѣ съ тоской моей безплодной,
Опять на сумракъ твой гляжу
И голосъ слушаю свободный.
И, можетъ быть, въ твоей глуши,
Какъ узникъ, волей оживленный,
Забуду скорбь моей души
И горечь жизни обыденной.

VI.

Н*. Д*.

Не отравляй минутъ успокоенья
Болѣзненнымъ предчувствіемъ утратъ:

Таинственно Небесъ опредѣленье.
Но ихъ законъ ненарушимо святъ.

И еслибы отъ самой колыбели
Страданіе досталося тебѣ, —
Какъ человѣкъ, своей высокой цѣли
Не забывай въ мучительной борьбѣ.

XVII.

Присутствіе непостижимой силы
Таинственно скрывается во всемъ:
Есть мысль и жизнь въ безмолвіи ночномъ,
И въ блескѣ дня, и въ тишинѣ могилы,
Въ движеніи безчисленныхъ міровъ,
Въ торжественномъ покоѣ океана,
И въ сумракѣ задумчивыхъ лѣсовъ,
И въ ужасѣ степнаго урагана,
Въ дыханіи прохладномъ вѣтерка,
И въ шелестѣ листовъ передъ зарею,
И въ красотѣ пустыннаго цвѣтка,
И въ ручейкѣ, текущемъ подъ горою.

XIII.

ГРУСТЬ СТАРИКА.

Жизнь къ развязкѣ печально идетъ,
Сердце счастья и радостей проситъ,
А годовъ невозвратный полетъ
И послѣднюю радость уноситъ.
Охладѣла горячая кровь,
Беззаботная удаль пропала,

И не прежній разгулъ, не любовь, —
Въ душу горькая дума запала...
Все погибло подъ холодомъ лѣтъ,
Что́ когда-то отрадою было,
И надежды на счастіе нѣтъ,
И въ природѣ все стало уныло:
Лѣсъ, нахмурясь, какъ слабый старикъ,
Погруженный въ тяжелую думу,
Головою кудрявой поникъ,
Будто тужитъ о чемъ-то угрюмо;
Вѣтеръ съ тучею, съ синей волной
Рѣчь сердитую часто заводитъ;
Блѣдный мѣсяцъ надъ сонной рѣкой,
Одинокій, задумчиво бродитъ...
Въ годы прежніе міръ былъ иной:
Какъ невѣста, земля убиралась,
Что̀ камышъ, хлѣбъ стоялъ золотой,
Степь зеленымъ ковромъ разстилалась;
Лѣсъ привѣтно подъ тѣнь свою звалъ,
Вѣтеръ весело пѣлъ въ чистомъ полѣ.
По ночамъ ярко мѣсяцъ сіялъ,
Рѣки шумно катилися въ море.
И, какъ пиръ, жизнь привольная шла,
Душа воли, простора просила,
Подъ грозою отвага была,
И не знала усталости сила.
А теперь, тяжкой грустью убитъ,
Какъ живая развалина ходишь,
И душа по-неволѣ скорбитъ,
И слезу по-неволѣ уронишь,
И подумаешь молча порой:
Нѣтъ, старикъ, не бывалые годы!
Межъ людьми ты теперь ужъ чужой,
Лишній гость межъ гостями природы.

IX.

МРАМОРЪ.

Недвижимый мраморъ, въ пустынѣ глухой,
Лежалъ одиноко, обросшій травой;
Дожди въ непогоду его обмывали,
Да вольныя птицы на немъ отдыхали.
Но кто-то художнику молвилъ о немъ,
Взглянулъ онъ на мраморъ — и яркимъ огнемъ
Блеснули его вдохновенныя очи,
И взялъ онъ его, и безсонныя ночи
Надъ нимъ проводилъ онъ въ своей мастерской,
И камень подъ творческой ожилъ рукой.
Съ тѣхъ поръ, въ изумленьи, съ восторгомъ нѣмымъ,
Толпа преклоняетъ колѣни предъ нимъ.

X. *)

Еще одинъ потухшій день
Я равнодушно провожаю
И молчаливой ночи тѣнь,
Какъ гостя скучнаго, встрѣчаю.
Увы! не принесетъ мнѣ сна
Ея нѣмая тишина!
Весь день душа болѣла тайно
И за себя, и за другихъ...
Отъ пошлыхъ встрѣчъ, отъ сплетенъ злыхъ,
Отъ жизни грязной и печальной
Покой пора бы ей узнать...
Да гдѣ онъ? Гдѣ его искать?

---

*) См. „Примѣчанія", стр. 3, № 1.

Едва на землю утро взглянетъ,
Едва пройдетъ ночная тѣнь, —
Опять тяжелый, грустный день,
Однообразный день настанетъ, —
Опять начнется боль души,
На злыя пытки осужденной,
Опять наплачешься въ тиши,
Измученный и оскорбленный.

XI. *)

ТИШИНА НОЧИ.

Въ глубинѣ бездонной,
Полны чудныхъ силъ,
Идутъ милліоны
Вѣковыхъ свѣтилъ.

Тускло освѣщенный
Блѣдною луной,
Городъ утомленный
Смолкъ во тьмѣ ночной.

Спитъ онъ, очарованъ
Чудной тишиной,
Будто заколдованъ
Властью не земной.

Лишь объятъ дремотой,
Закричитъ порой
Сторожъ беззаботный
Въ улицѣ пустой.

*) См. „Примѣчанія“, стр 3, № 2-й.

Кажется, міръ сонный,
Полный сладкихъ грезъ,
Отдохнулъ спокойно
Отъ заботъ и слезъ.

Но взгляни: вотъ домикъ
Освѣщенъ огнемъ,
На столѣ покойникъ
Ждетъ могилы въ немъ.

Онъ, бѣднякъ голодный,
Утѣшенья чуждъ,
Кончилъ вѣкъ безплодный
Тайной жертвой нуждъ.

Дочери не спится,
Въ уголкѣ сидитъ...
И въ глазахъ мутится,
И въ ушахъ звенитъ.

Ночь минетъ, — быть можетъ,
Христа ради ей
Кто-нибудь поможетъ
Изъ чужихъ людей.

Можетъ быть, какъ нищей,
Ей на гробъ дадутъ,
Въ гробѣ на кладбище
Старика снесутъ...

И никто не знаетъ,
Что въ нѣмой тоскѣ
Сирота рыдаетъ
Въ тѣсномъ уголкѣ;

Что въ нуждѣ до срока,
Можетъ быть, она
Жертвою порока
Умереть должна.

Міръ заснулъ... и только
Съ неба видитъ Богъ
Тайны жизни горькой
И людскихъ тревогъ.

XII.

Молвы язвительной и дерзкой
Внимая ложный приговоръ,
Стыжусь отвѣтить бранью рѣзкой
На необдуманный укоръ.

Гоненья зритель равнодушный,
Я испыталъ уже давно,
Что злобѣ черни малодушной
Отвѣтъ — презрѣніе одно.

Пускай позоръ несправедливый
Она готовитъ мнѣ въ тиши,—
Грозу я встрѣчу терпѣливо
И сохраню покой души.

Моей невинности сознанье
И незапятнанная честь
Незаслуженное страданье
Дадутъ мнѣ силы перенесть.

Я правъ,— и этого довольно,
И, что-бы ни было со мной,

Я не унижусь добровольно
Передъ язвительной толпой.

Я не подамъ руки свободной
Ожесточенному врагу;
Скорѣй погибну благородно,
Но твердость воли сберегу.

XIII *).

ПОХОРОНЫ.

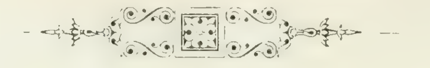
Парчой покрытая гробница,
Надъ нею пышный балдахинъ,
Вокругъ задумчивыя лица
И факеловъ огонь и дымъ,
Святыхъ молитвъ напѣвъ печальный,—
Вотъ все, чѣмъ жизнь заключена!
И эта жизнь покрыта тайной:
Завѣса смертью спущена...
Теперь, скажи мнѣ, сынъ свободы,
Зачѣмъ страдалъ, зачѣмъ ты жилъ?
Отведена царю природы
Сажень земли между могилъ.
Молчатъ въ тебѣ любовь и злоба,
Надежды гордыя молчатъ...
Зачѣмъ ты жилъ, усопшій братъ?
Стучитъ земля по крышкѣ гроба,
И, чуждый горя и заботъ,
Глядитъ безсмысленно народъ.

*) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 3-й.

XIV.

ПЕРЕМѢНА.

Была пора невинности счастливой,
Когда свой умъ тревожный и пытливый
Я примирялъ съ дѣйствительностью злой
Святыхъ молитвъ горячею слезой;
Когда, дитя безпечное свободы,
Въ знакомыхъ мнѣ явленіяхъ природы
Величіе и мысль я находилъ,
И жизнь мою, какъ даръ небесъ, любилъ.
Теперь не то: сомнѣніемъ томимый,
Я потерялъ свой миръ невозмутимый,—
Единую отраду бытія,
И жизнь моя не радуетъ меня...
Бываютъ дни, — измученный борьбою,
Въ тиши ночной, съ горячею мольбою
Склоняюсь я къ подножію креста;
Слова молитвъ твердятъ мои уста,
Но сердце тѣмъ словамъ не отвѣчаетъ,
И мысль моя, Богъ знаетъ, гдѣ блуждаетъ,
И сладкихъ слезъ давно минувшихъ лѣтъ
Ни на лицѣ, ни на глазахъ ужъ нѣтъ.
Такъ, холодомъ темницы окруженный,
Скорбитъ порой преступникъ осужденный
И къ прежнимъ днямъ уносится мечтой;
Но бѣдняку лишь новое страданье
Приноситъ лѣтъ былыхъ воспоминанье.





XV.

НОЧЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ.

Въ зеркало влаги холодной
Мѣсяцъ спокойно глядитъ
И надъ землею безмолвной
Тихо плыветъ и горитъ.

Легкою дымкой тумана
Ясный одѣтъ небосклонъ;
Свѣтлая грудь океана
Дышетъ какъ-будто сквозь сонъ.

Медленно, ровно качаясь,
Въ гавани спятъ корабли;
Берегъ въ водѣ отражаясь,
Смутно мелькаетъ вдали.

Смолкла дневная тревога...
Полный торжественныхъ думъ,
Видитъ присутствіе Бога
Въ этомъ молчаніи умъ.

XVI.

ДУБЪ.

От темнаго лѣса далеко,
На почвѣ безплодно-сухой,
Дубъ старый стоитъ одиноко,
Какъ сторожъ пустыни глухой.

Стоитъ онъ и смотритъ угрюмо
Туда, гдѣ подъ сводомъ небесъ
Глубокую думаетъ думу
Знакомый давно ему лѣсъ;

Гдѣ братья его съ облаками
Ведутъ разговоръ по ночамъ,
И дивы приходятъ толпами
Кружиться по свѣжимъ цвѣтамъ;

Гдѣ вѣтеръ прохладою вѣетъ
И чудныя пѣсни поетъ,
И листъ молодой зеленѣетъ,
И птица на вѣткахъ живетъ...

А онъ, на равнинѣ песчаной,
И пылью, и мохомъ покрытъ,
Какъ будто изгнанникъ печальный
О родинѣ милой груститъ;

Не знаетъ онъ свѣжей прохлады,
Не видитъ небесной росы,
И только — послѣдней отрады,
Губительной жаждетъ грозы.

XVII *).

ТАЙНОЕ ГОРЕ.

Есть горе тайное: оно
Вниманья чуждаго боится
И въ глубинѣ души одно,
Неизлѣчимое таится.
Улыбку холодомъ мертвитъ,
Оно не ищетъ и не проситъ,
И, если горе переноситъ,—
Молчанье гордое хранитъ.
Не всякому нужна пощада,
Не всякъ наслѣдовать готовъ
Удѣлъ иль нищихъ, иль рабовъ,
Участье — жалкая отрада.
Къ чему колѣни преклонять?
Свободнымъ легче умирать.

XVIII.

ВЕЧЕРЪ.

Когда потухшій день смѣняетъ вечеръ сонный,
Я оставляю мой пріютъ уединенный,
И, голову усталую склонивъ,
Задумчиво иду подъ тѣнь плакучихъ ивъ.
Сажусь на берегу и, грустной думы полный,
Недвижимый, гляжу на голубыя волны,
И слушаю ихъ шумъ и жалобный призывъ,
И съ жизнію моей я сравниваю ихъ...
Вдали передо мной душистый лугъ пестрѣетъ,

*) См. „Примѣчанія", стр. 4, № 4-й.

Колышется трава и желтый колосъ зрѣетъ,
И, тучныхъ пажитей обильные плоды,
Стоятъ соломою накрытые скирды;
За гибкимъ тростникомъ глубокіе заливы
Какъ зеркало блестятъ; на золотыя нивы
Спускается туманъ прозрачною волной,
И зарево зари сіяетъ надъ рѣкой.
И, кажется мнѣ, все какой-то дышетъ тайной,
И забываю я тогда свой день печальный,
Съ оставленнымъ трудомъ безъ жалобы мирюсь,
Гляжу на небеса и въ тишинѣ молюсь.

XIX.

КЛЮЧЪ.

Въ глубокомъ ущельи, межъ каменныхъ плитъ,
Серебряный ключъ одиноко звучитъ;
Звучитъ онъ и точитъ жемчужныя слезы
На черные корни засохшей березы,
И катятся съ камня тѣ слезы ручьемъ,
Безплодно теряясь въ ущельи глухомъ.
Давно ужъ минули счастливые годы,
Когда онъ, любимецъ цвѣтущей природы,
Алмазные брызги кругомъ разсыпалъ,
Когда его путникъ отрадою звалъ,
Когда дерева близь него выростали,
И листья зеленые тихо шептали,
И самъ онъ, при свѣтѣ блестящей луны,
Разсказывалъ чудныя были и сны.
Теперь, одинокій, заросъ онъ травою,
Сталъ скуденъ и мутенъ, и знойной порою
Къ нему не приходитъ пробитой тропой

Измученный путникъ за чистой водой.
Въ ту пору, какъ горы туманъ одѣваетъ,
Надъ нимъ, какъ бывало, теперь не играетъ
Сверкающій мѣсяцъ прозрачнымъ лучемъ
И звѣзды, какъ прежде, не смотрятся въ немъ.
Лишь старый скелетъ обнаженной березы
Глядитъ на его безполезныя слезы,
Да изрѣдка вѣтеръ къ нему прилетитъ
И съ нимъ, при мерцаніи звѣздъ, говоритъ
Про свѣтлыя рѣки и синее море,
Про славу ихъ въ свѣтѣ и жизнь на просторѣ.

XX.

НОЧЬ.

Одѣлося сумракомъ поле. На темной лазури сверкаетъ
Гряда облаковъ разноцвѣтныхъ. Блѣднѣя, заря потухаетъ.
Вотъ вспыхнули яркія звѣзды на небѣ, одна за другой,
И мѣсяцъ надъ лѣсомъ сосновымъ поднялся, какъ щитъ золотой;
Извивы рѣки серебристой межь зеленью луга блеснули;
Вокругъ тишина и безлюдье: и поле, и берегъ уснули;
Лишь мельницы старой колеса, алмазъ разсыпая, шумятъ,
Да съ вѣтромъ волнистыя нивы, Богъ знаетъ, о чемъ говорятъ.
На кольяхъ, вдоль берега вбитыхъ, растянуты мокрыя сѣти;

Вотъ бѣдный шалашъ рыболова, гдѣ вечеромъ рѣзвыя дѣти
Играютъ трепещущей рыбой и ищутъ въ травѣ водяной
Улитокъ и маленькихъ камней, обточенныхъ синей волной;
Какъ лебеди, бѣлыя тучи надъ полемъ плывутъ караваномъ,
Надъ чистой рѣкою спятъ ивы, одѣтыя легкимъ туманомъ,
И, къ свѣтлымъ струямъ наклонившись, сквозь чуткій прерывистый сонъ,
Тростникъ молчаливо внимаетъ таинственной музыкѣ волнъ.

XXI.

Оставь печальный твой разсказъ,
Насмѣшки жолчію облитый,
И сердца гнѣвъ полуоткрытый,
И блескъ заимствованныхъ фразъ.

Уже-ль намъ новы эти слезы,
И повѣсть грустная утратъ,
Ума обманутыя грезы,
И заблужденій длинный рядъ?

Уже-ль мы сами не читали
Любви и ревности страницъ,
Или на мраморѣ гробницъ,
О милыхъ сердцу не рыдали?...

Скажи, зачѣмъ ты раскрывалъ
Свои намъ раны и страданья
И отъ толпы рукоплесканья,
Какъ нищій милостыни, ждалъ?

Свой плачъ и свой вѣнецъ терновый
Зачѣмъ для всенародныхъ глазъ
Ты выставляешь на-показъ,
Какъ женщина свои обновы?...

Къ чему весь этотъ жалкій бредъ,
Болѣзненный и непонятный,
О заблужденьяхъ прежнихъ лѣтъ,
О молодости невозвратной?

Кого изъ насъ теперь займетъ
Твое затверженное слово?
Скажи: какою мыслью новой
Оно намъ сердце потрясетъ?...

Нѣтъ! есть другой предметъ для слезъ:
Не личныя твои страданья,—
Не плодъ твоихъ ничтожныхъ грезъ
И тягостнаго испытанья;—

Но нашей жизни нищета
Съ однообразной пестротою
И, скрытая подъ мишурою,
Пороковъ нашихъ нагота.

Да, плачь о томъ, что увядаетъ
Нашъ умъ въ бездѣйствіи пустомъ,
Что правда свѣтлая страдаетъ,
Развратъ увѣнчанъ торжествомъ;

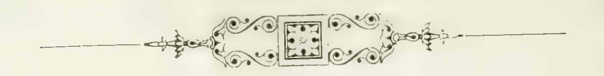
Что мы постыдно позабыли
Прекрасный міръ живыхъ идей
И что позоромъ заклеймили
Себя, какъ гражданъ и людей;

Что нѣтъ въ насъ силъ для возрожденья,
Что мы безчувственно влачимъ
Оковы зла и униженья
И разорвать ихъ не хотимъ...

Объ этомъ плачь! И, можетъ статься,
Заставишь ты кого-нибудь
Въ своемъ безсиліи сознаться
И строго на себя взглянуть.

XXII.

Когда закатъ прощальными лучами
Спокойныхъ водъ озолотитъ стекло,
И ляжетъ тѣнь ночная надъ полями,
И замолчитъ веселое село,
И на цвѣтахъ и на травѣ душистой
Блеснетъ роса, посланница небесъ,
И тканію тумана серебристой
Одѣнется темнокудрявый лѣсъ;—
Съ какою-то отрадой непонятной
На Божій міръ я въ этотъ часъ гляжу
И въ тишинѣ природы необъятной
Покой уму и сердцу нахожу;
И чужды мнѣ земныя впечатлѣнья,
И такъ свѣтло во глубинѣ души:
Мнѣ кажется, со мной въ уединеньи
Тогда весь міръ бесѣдуетъ въ тиши.





XXIII.

Когда, одинъ, въ минуты размышленья,
Съ природой я бесѣдую въ тиши,
Я вѣрю: есть святое Провидѣнье
И кроткій миръ для сердца и души;
И грусть свою тогда я забываю,
Съ своей нуждой безропотно мирюсь,
И небесамъ невидимо молюсь,
И пѣснь пою, и слезы проливаю...
И сладко мнѣ! и жаль мнѣ отдавать
На судъ людской восторги вдохновеній
И отъ толпы, какъ платы, ожидать
Пустыхъ похвалъ, иль горькихъ обвиненій.
Глухихъ степей незнаемый пѣвецъ,
Я нахожу въ моей пустынѣ счастье;
Своимъ слезамъ, какъ площадной слѣпецъ,
Стыжусь просить холоднаго участья.
Печаль моя застѣнчиво-робка,—
Въ родной груди скрываясь боязливо.
За пѣснь свою награды и вѣнка
Не требуетъ она самолюбиво.

XXIV.

На западѣ солнце пылаетъ,
Багряное море горитъ;
Корабль одинокій, какъ птица,
По влагѣ холодной скользитъ.

Сверкаетъ струя за кормою,
Какъ крылья, шумятъ паруса;
Кругомъ необъятное море,
И съ моремъ слились небеса.

Безпечно веселую пѣсню,
Задумавшись, кормчій поетъ,
А черная туча на югѣ,
Какъ дымъ отъ пожара, встаетъ.

Вотъ буря... и море завыло.
Умолкъ беззаботный пѣвецъ;
Огнемъ его вспыхнули очи:
Теперь онъ и царь, и боецъ!

Вотъ здѣсь узнаю человѣка
Въ лицѣ побѣдителя волнъ,
И какъ-то отрадно мнѣ думать,
Что я человѣкомъ рожденъ.

XXV *).

ДИТЯТИ.

Не знаешь ты тоски желаній:
Прекрасенъ міръ твоей весны
И свѣтлы, чуждые страданій,
Твои младенческіе сны.

Съ грозою жизни незнакома,
Какъ птичка, вѣчно весела,
Подъ кровлею роднаго дома
Ты рай земной себѣ нашла.

Придетъ пора — прольешь ты слезы,
Быть можетъ, трудъ тебя согнетъ...
И дѣтства радостныя грезы
Умрутъ подъ холодомъ заботъ.

Тогда, неся свой крестъ тяжелый,
Не разъ подъ бременемъ его
Ты вспомнишь о веснѣ веселой
И — не воротишь ничего.

*) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 5-й.

XXVI.

ЮГЪ И СѢВЕРЪ.

Есть сторона, гдѣ все благоухаетъ;
Гдѣ ночь, какъ день безоблачный, сіяетъ
Надъ зыбью водъ, и моря вѣчный шумъ
Таинственно оковываетъ умъ;
Гдѣ въ сумракѣ садовъ уединенныхъ,
Сіяющей луной осеребренныхъ,
Подъемлется алмазною дугой
Фонтанный дождь надъ сочною травой;
Гдѣ статуи безмолвствуютъ угрюмо,
Объятыя невыразимой думой;
Гдѣ говорятъ такъ много о быломъ
Развалины, покрытыя плющемъ;
Гдѣ на коврахъ долины живописной
Ложится тѣнь отъ рощи кипарисной;
Гдѣ все быстрѣй и зрѣетъ, и цвѣтетъ;
Гдѣ жизнь безпечнѣе идетъ.

Но мнѣ милѣй роскошной жизни Юга
Сѣдой зимы полуночная вьюга,
Морозъ и вѣтръ, и грозный шумъ лѣсовъ,
Дремучій боръ по скату береговъ,
Просторъ степей, и небо надъ степями
Съ громадой тучъ и яркими звѣздами.
Глядишь кругомъ, — все сердцу говоритъ:
И деревень однообразный видъ,
И городовъ обширныя картины,
И снѣжныя безлюдныя равнины,
И удали размашистый разгулъ,
И русскій духъ, и русской пѣсни гулъ,

То глубоко безпечной, то унылой,
Проникнутой невыразимой силой...
Глядишь вокругъ, — и на душѣ легко,
И зрѣетъ мысль такъ вольно, широко,
И сладко пѣснь въ честь родины поется,
И кровь кипитъ, и сердце гордо бьется,
И съ радостью внимаешь звуку словъ:
«Я Руси сынъ! здѣсь край моихъ отцовъ!»

XXVII.

РУСЬ.

Подъ большимъ шатромъ
Голубыхъ небесъ, —
Вижу, — даль степей
Зеленѣется,

И на граняхъ ихъ,
Выше темныхъ тучъ,
Цѣпи горъ стоятъ
Великанами.

По степямъ въ моря
Рѣки катятся,
И лежатъ пути
Во всѣ стороны.

Посмотрю на югъ, —
Нивы зрѣлыя,
Что̀ камышъ густой,
Тихо движутся;

Мурава луговъ
Ковромъ стелется,
Виноградъ въ садахъ
Наливается.

Гляну къ сѣверу,—
Тамъ, въ глуши пустынь,
Снѣгъ, чтó бѣлый пухъ,
Быстро кружится;

Подымаетъ грудь
Море синее,
И горами ледъ
Ходитъ по морю;

И пожаръ небесъ
Яркимъ заревомъ
Освѣщаетъ мглу
Непроглядную...

Это ты, моя
Русь державная,
Моя родина
Православная!

Широко ты, Русь,
По лицу земли
Въ красѣ царственной
Развернулася!

У тебя ли нѣтъ
Поля чистаго,
Гдѣ-бъ разгулъ нашла
Воля смѣлая?

У тебя ли нѣтъ
Про запасъ казны,
Для друзей стола,
Меча недругу?

У тебя ли нѣтъ
Богатырскихъ силъ,
Старины святой,
Громкихъ подвиговъ?

Передъ кѣмъ себя
Ты унизила?
Кому въ черный день
Низко кланялась?

На поляхъ своихъ
Подъ курганами
Положила ты
Татаръ полчища.

Ты на жизнь и смерть
Вела споръ съ Литвой
И дала урокъ
Ляху гордому.

И давно-ль было,
Когда съ Запада
Облегла тебя
Туча темная?..

Подъ грозой ея
Лѣса падали,
Мать сыра-земля
Колебалася,

И зловѣщій дымъ
От горѣвшихъ селъ
Высоко вставалъ
Черным облакомъ!

Но лишь кликнулъ Царь
Свой народъ на брань, —
Вдругъ со всѣхъ концовъ
Поднялася Русь, —

Собрала дѣтей,
Стариковъ и женъ,
Приняла гостей
На кровавый пиръ.

И въ глухихъ степяхъ
Подъ сугробами,
Улеглися спать
Гости на вѣки.

Хоронили ихъ
Вьюги снѣжныя,
Бури сѣвера
О нихъ плакали!...

И теперь среди
Городовъ твоихъ
Муравьемъ кишитъ
Православный людъ.

По сѣдымъ морямъ
Изъ далекихъ странъ
На поклонъ тебѣ
Корабли идутъ.

И поля цвѣтутъ,
И лѣса шумятъ,
И лежатъ въ землѣ
Груды золота;

И во всѣхъ концахъ
Свѣта бѣлаго
Про тебя идетъ
Слава громкая.

Ужь и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,

Стать за честь твою
Противъ недруга,
За тебя въ нуждѣ
Сложить голову!

XXVIII *).

Бываютъ свѣтлыя мгновенья:
Миръ ясный душу осѣнитъ;
Огонь святаго вдохновенья
Неугасаемо горитъ.

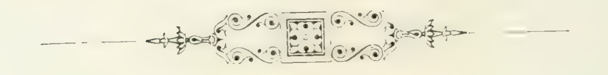
Оно печать безсмертной силы
На трудъ обдуманный кладетъ;
Оно безмолвію могилы
И мертвымъ камнямъ жизнь даетъ,

*) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 6-й.

Развратъ и пошлость поражаетъ,
Добру приноситъ ѳиміамъ,
И вѣчной правдѣ воздвигаетъ
Святой алтарь и вѣчный храмъ.

Оно не требуетъ награды,
Въ тиши творитъ оно, какъ Богъ...
Но человѣку нѣтъ пощады
Въ бездонномъ омутѣ тревогъ.

Падетъ на грудь заботы камень,
Свободу рукъ скуетъ нужда, —
И гаснетъ вдохновенья пламень,
Могучій двигатель труда.





1852 Г.

XXIX.

Суровый холодъ жизни строгой
Спокойно я переношу
И у Небесъ дороги новой
Въ часы молитвы не прошу.

Отраду тайную находитъ
И въ самой грусти гордый умъ:
Такъ часто моря стонъ и шумъ
Насъ въ восхищеніе приводитъ.

Къ борьбѣ съ судьбою я привыкъ,
Окрѣпъ подъ бурей искушеній:
Она высокихъ думъ родникъ,
Причина слезъ и вдохновеній.

XXX.

ПѢВЦУ.

Не пой о счастіи, пѣвецъ, не утѣшай
Себя забавою ничтожной;
Пусть это счастіе невозмутимый рай,—
Оно въ нашъ вѣкъ лишь призракъ ложный.
Пусть пѣснь твоя звучна, — она одинъ обманъ
И обольстительныя грезы:
Она не исцѣлитъ души глубокихъ ранъ
И не осушитъ сердца слезы.

Взгляни, какъ наша жизнь лѣнивая идетъ
И скучно, и однообразно,
Запечатлѣнная тревогою заботъ
Одной дѣйствительности грязной;
Взгляни на всѣ плоды, которые въ нашъ вѣкъ
Собрать доселѣ мы успѣли,
На все, чѣмъ окруженъ и занятъ человѣкъ
До позднихъ лѣтъ отъ колыбели: —

Вездѣ откроешь ты печальные слѣды
Ничтожества, иль ослѣпленья,
Причины тайныя безсмысленной борьбы,
Нетвердой вѣры и сомнѣнья,
Замѣтишь грубаго ничтожества печать,
Добра и чести оскорбленье,
Безсовѣстный разсчетъ, обдуманный развратъ,
Или природы искаженье.

И многое прочтетъ внимательный твой взоръ
Въ страницахъ ежедневной жизни...

И этотъ ли слѣпой, общественный позоръ
Оставишь ты безъ укоризны?
И не проснется вмигъ въ тебѣ свободный духъ
Глубокаго негодованья?
И ты, земной пророкъ и правды смѣлый другъ,
Не вспомнишь своего призванья?

О, нѣтъ! не пой, пѣвецъ, о счастіи пустомъ
Въ годину нашего позора!
Пусть пѣснь твоя межъ насъ, какъ правосудный
громъ,
Раздастся голосомъ укора!
Пусть умъ нашъ пробудитъ и душу потрясетъ
Твое пророческое слово,
И сердце холодомъ и страхомъ обольетъ,
И воскреситъ для жизни новой.

XXXI.

РАЗВАЛИНЫ.

Какъ безъименная могила
Давно забытаго жильца,
Лежатъ въ пустынѣ молчаливой
Обломки стараго дворца.
Густою пылію покрыла
Рука столѣтій камни стѣнъ
И фантастическихъ письменъ
На нихъ фигуры начертила.
Тяжелый сводъ упасть готовъ,
Карнизъ массивный обвалился,
И дикій плющъ вокругъ столбовъ
Живой гирляндою обвился,

И моха желтаго узоръ,
Однообразно испещренный,
Покрылъ разбитыя колонны,
Какъ чудно-вытканный коверъ.

Чье это древнее жилище,
Пустыни грустная краса?
Надъ нимъ такъ свѣтлы небеса, —
Оно печальнѣе кладбища!
Гдѣ эти люди съ ихъ страстями
И позабытымъ ихъ трудомъ?
Гдѣ безъименный, старый холмъ
Надъ ихъ истлѣвшими костями?

Была пора, здѣсь жизнь цвѣла,
Пороки, можетъ быть, скрывались,
Иль благородныя дѣла
Рукою твердой совершались.
И, можетъ быть, среди пировъ,
Пѣвецъ, въ минуты вдохновенья,
Здѣсь пѣлъ о доблестяхъ отцовъ
И плакалъ, полный умиленья;
И пѣснямъ сладостнымъ его
Въ восторгѣ гости удивлялись,
И дружно кубки вкругъ него
Въ честь славныхъ дѣдовъ наполнялись.
Теперь все тихо... нѣтъ слѣда
Минувшей жизни. Небо ясно,
Какъ и въ протекшіе года,
Земля цвѣтущая прекрасна...
А люди?... Этотъ вѣтерокъ,
Пустыни житель одинокій,
Разноситъ, можетъ быть, далеко
Съ ихъ прахомъ смѣшанный песокъ!...

XXXII.

КЛАДБИЩЕ.

Какъ часто я съ глубокой думой
Вокругъ могилъ одинъ брожу
И на курганы ихъ гляжу
Съ тоской тяжелой и угрюмой.
Какъ больно мнѣ, когда, порой,
Могильщикъ, грубою рукой
Гробъ новый въ землю опуская,
Стоитъ съ ослабленнымъ лицомъ
Надъ безотвѣтнымъ мертвецомъ,
Святыню смерти оскорбляя.
Или, когда въ травѣ густой,
Остатокъ жалкій разрушенья,
Вдругъ черепъ я найду сухой,
Престолъ ума и вдохновенья,
Лишенный чести погребенья.
И пораженъ, и недвижимъ,
Сомнѣнья холодомъ облитый,
Я мыслю, скорбію томимъ,
Надъ жертвой тлѣнія забытой:
Кто васъ въ сонъ вѣчный погрузилъ,
Земли невѣдомые гости,
И ваши брошенныя кости
Съ живою плотью разлучилъ?
Какъ ваше вѣчное молчанье
Намъ безошибочно понять:
Ничтожества-ль оно печать,
Или печать существованья?
Въ какой загадочной странѣ,
Невидимой и неизвѣстной,

Здѣсь кости положивъ однѣ,
Витаетъ духъ вашъ безтѣлесный?
Чѣмъ занятъ онъ въ мiру иномъ?
Что онъ, безстрастный, созерцаетъ?
И помнитъ-ли онъ о земномъ,
Иль все за гробомъ забываетъ?
Быть можетъ, небомъ окруженъ,
Жилецъ божественнаго свѣта,
Какъ на песчинку, смотритъ онъ
На нашу бѣдную планету;
Иль, можетъ быть, сложивъ съ себя
Свои тѣлесныя оковы,
Безъ нихъ другаго бытiя
Не отыскалъ онъ въ мiрѣ новомъ.
Быть можетъ, все, чѣмъ мы живемъ,
Чѣмъ умъ и сердце утѣшаемъ,
Землѣ, какъ жертву, отдаемъ
И въ ней одной похороняемъ...
Нѣтъ! прочь безплодное сомнѣнье!
Я вѣрю истинѣ святой,—
Святымъ глаголамъ Откровенья
О нашей жизни неземной.
И сладко мнѣ въ часы страданья
Припоминать, порой, въ тиши,
Загробное существованье
Неумирающей души!





XXXIII.

СТЕПНАЯ ДОРОГА.

Спокойно небо голубое;
Одно въ бездонной глубинѣ
Сіяетъ солнце золотое
Надъ степью въ радужномъ огнѣ;
Горячій вѣтеръ наклоняетъ
Траву волнистую къ землѣ,
И даль въ полупрозрачной тьмѣ,
Какъ въ млечномъ морѣ, утопаетъ;
И надъ душистою травой,
Палящимъ солнцемъ разрѣженный,
Струится воздухъ благовонный
Неосязаемой волной.
Гляжу кругомъ: все та-жъ картина,
Все тотъ-же яркій колоритъ.
Вотъ слышу,—тихо надъ равниной
Трель музыкальная звучитъ:
То жаворонокъ одинокій,
Кружась въ лазурной вышинѣ,
Поетъ надъ степію широкой
О вольной жизни и веснѣ.
И степь той пѣсни переливамъ,
И безотвѣтна и пуста,

Въ забытьи внемлетъ молчаливомъ,
Какъ безмятежное дитя;
И, спрятавшись въ коврахъ зеленыхъ,
Цвѣтовъ вдыхая ароматъ,
Милльоны легкихъ насѣкомыхъ
Неумолкаемо жужжатъ.

О, степь! люблю твою равнину,
И чистый воздухъ, и просторъ,
Твою безлюдную пустыню,
Твоихъ ковровъ живой узоръ,
Твои высокіе курганы,
И золотистый твой песокъ,
И перелетный вѣтерокъ,
И серебристые туманы...
Вотъ полдень...: жарки небеса...
Иду одинъ. Передо мною
Дороги пыльной полоса
Вдали раскинулась змѣею.
Вотъ надъ оврагомъ, близь рѣки,
Цыгане таборъ свой разбили,
Кибитки вкругъ постановили
И разложили огоньки;
Одни обѣдъ приготовляютъ
Въ котлахъ, наполненныхъ водой;
Другіе на травѣ густой,
Въ тѣни кибитокъ, отдыхаютъ,
И тутъ же, смирно, съ ними въ рядъ,
Ихъ псы косматые лежатъ,
И съ крикомъ прыгаетъ, смѣется
Толпа оборванныхъ дѣтей
Вкругъ загорѣлыхъ матерей;
Вдали табунъ коней пасется...
Ихъ миновалъ,— и тотъ-же видъ

Вокругъ меня и надо мною;
Лишь дикій коршунъ надъ травою
Порою въ воздухѣ кружитъ,
И также лентою широкой
Дорога длинная лежитъ,
И также солнце одиноко
Въ прозрачной синевѣ горитъ.
Вотъ день сталъ гаснуть... вечерѣетъ...
Вотъ поднялись издалека
Грядою длинной облака,
Въ пожарѣ западъ пламенѣетъ,
Вся степь, какъ спящая краса,
Румянцемъ розовымъ покрылась,
И потемнѣли небеса,
И солнце тихо закатилось.
Густѣетъ сумракъ... вѣтерокъ
Пахнулъ прохладою ночною,
И надъ уснувшею землею
Зарницы вспыхнулъ огонекъ.
И величаво мѣсяцъ полный
Изъ-за холмовъ далекихъ всталъ
И надъ равниною безмолвной,
Какъ чудный свѣточъ, засіялъ...
О, какъ божественно-прекрасна
Картина ночи средь степи,
Когда торжественно и ясно
Горятъ небесные огни,
И степь, раскинувшись широко,
Въ туманѣ дремлетъ одиноко,
И только слышится вокругъ
Необъяснимый жизни звукъ!
Брось посохъ, путникъ утомленный,
Тебѣ не надобно двора:
Здѣсь твой ночлегъ уединенный,

Здѣсь отдохнешь ты до утра:
Твоя постель — цвѣты живые,
Трава пахучая — коверъ.
А эти своды голубые —
Твой раззолоченный шатеръ.

XXXIV.

ХУДОЖНИКУ.

Я знаю часъ невыразимой муки,
Когда одинъ, въ сомнѣніи нѣмомъ,
Сложивъ крестомъ ослабнувшія руки,
Ты думаешь надъ мертвымъ полотномъ:
Когда ты кисть упрямую бросаешь
И, голову свою склонивъ на грудь,
Твоихъ идей невыразимый трудъ
И жалкое искусство проклинаешь.
Проходитъ гнѣвъ,— и творческою силой
Твоя душа опять оживлена,
И, все забывъ, съ любовью терпѣливой
Ты день и ночь сидишь близъ полотна.
Оконченъ трудъ. Толпа тебя вѣнчаетъ,
И похвала вокругъ тебя шумитъ,
И клевета, въ смущеніи, молчитъ,
И все вокругъ колѣни преклоняетъ.
А ты, бѣднякъ! поникнувши челомъ,
Стоишь одинъ, съ тоскою подавленной,
Не находя въ созданіи своемъ
Ни красоты, ни мысли воплощенной.

XXXV *).

Не повторяй холодной укоризны:
Не суждено тебѣ меня любить,
Безпечный миръ твоей невинной жизни
Я не хочу безжалостно сгубить.
Тебѣ-ль, съ младенчества не знавшей огорченій,
Со мною объ-руку идти однимъ путемъ,
Глядѣть на зло, на грязь, и гаснуть за трудомъ,
И плакать, можетъ быть, подъ бременемъ лишеній,
Страдать не день, не два,— всю жизнь свою стра-
дать!
Но гдѣ-жь на это силъ, гдѣ воли нужно взять?
И что себѣ въ тотъ часъ скажу я въ оправданье,
Когда убитая и горемъ, и тоской,
Упрекомъ мнѣ и горькою слезой
Отвѣтишь ты на ласки и лобзанье?
Слезы твоей себѣ не могъ бы я простить...
Но кто-жъ меня безчувствію научитъ
И наконецъ заставитъ позабыть
Все, что̀ меня и радуетъ, и мучитъ,
Что̀ для меня, подъ холодомъ заботъ,
Подъ гнетомъ нуждъ, печали и сомнѣній, —
Единая отрада и оплотъ, —
Источникъ думъ, надеждъ и пѣснопѣній?

XXXVI.

ЗАСОХШАЯ БЕРЕЗА.

Въ глуши на почвѣ раскаленной
Береза старая стоитъ;
Въ ея вершинѣ обнаженной
Зеленый листъ не шелеститъ.

*) См. „Примѣчанія“, стр. 6, № 7-й.

Кругомъ, сливаясь съ небесами,
Полуодѣтыми въ туманѣ,
Пестрѣетъ чудными цвѣтами
Волнистой степи океанъ.

Курганы ярко зеленѣютъ,
Росу приносятъ вечера,
Прохладой тихой ночи вѣютъ
И пышетъ заревомъ заря.

Но беззащитная береза
Глядитъ съ тоской на небеса,
И на вѣтвяхъ ея, какъ слезы,
Сверкаетъ чистая роса;

Далеко бурею суровой
Ея листы разнесены,
И нѣтъ для ней одежды новой
И благодѣтельной весны...

XXXVII.

Привѣтъ мой вамъ, угрюмый міракъ ночей
И тишина безжизненныхъ полей,
Одѣтыя сырымъ туманомъ степи,
И облаковъ неправильныя цѣпи,
Холодное сіяніе небесъ
И инеемъ осеребренный лѣсъ!

Привѣтъ мой вамъ, морозъ и непогода!
Теперь, вдали отъ шума и народа,
Въ часы ночей, за сладостнымъ трудомъ,
Въ моемъ углу и скромномъ, и спокойномъ,

И тишиной глубокой окруженномъ,
Я отдохну и сердцемъ, и умомъ.

Пускай сыны тщеславія и лѣни,
Поклонники мгновенныхъ наслажденій,
Изысканность забавъ своихъ любя,
Въ нихъ радости находятъ для себя,
И на алтарь непостоянной моды
Несутъ, какъ дань, часы своей свободы.

Милѣе мнѣ мой уголокъ простой,
Божественной иконы ликъ святой,
И передъ нимъ горящая лампада,
И тихій трудъ, души моей отрада:
Здѣсь все, къ чему привыкъ я съ давнихъ поръ,
Что́ любитъ мой неприхотливый взоръ.

Мнѣ кажется: живу я въ мірѣ новомъ,
Когда одинъ, въ безмолвіи суровомъ,
Забывъ весь шумъ заботливаго дня,
Недвижимый, сижу я близь огня
И лѣтопись минувшаго читаю,
И скромный стихъ задумчиво слагаю.

И грустно мнѣ, когда дневной разсвѣтъ
Меня отъ думъ любимыхъ оторветъ;
Когда рука дѣйствительности строгой
Укажетъ мнѣ печальную дорогу,
И все мое вниманье поглотитъ,
И всѣ мои восторги умертвитъ.

XXXVIII.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ.

Невидимой цѣпью
Жизнь связана тѣсно
Съ таинственной смертью.
И въ самомъ началѣ
Зародыша жизни
Сокрыта возможность
Его разрушенья,
И въ жалкихъ остаткахъ
Ничтожнаго праха
Таятся начала
Для будущей жизни...
Такъ годы проходятъ
И цѣлые вѣки,
И все поглощаетъ
Могущество смерти,
Всегда оставаясь
Источникомъ жизни;
И такъ существуетъ
Доселѣ природа,
Служа колыбелью
И вмѣстѣ могилой.

XXXIX.

УСПОКОЕНІЕ.

О, умъ мой холодный!
Зачѣмъ, уклоняясь
Отъ кроткаго свѣта
Божественной вѣры,

Ты гордо блуждаешь
Во мракѣ сомнѣнья?
Отвѣть, если можешь:
Кто далъ тебѣ силу
Разумной свободы
И къ истинамъ вѣчнымъ
Любовь и влеченье?
Кто плотью животной
Покрылъ мнѣ такъ чудно
Скелетъ обнаженный,
Наполнилъ всѣ жилы
Горячею кровью,
Далъ каждому нерву
Свое назначенье
И сердце заставилъ
Впервые забиться,
Дотоль ему чуждой,
Невѣдомой жизнью?
Кто далъ тебѣ средство
Чрезъ малую точку
Подвижнаго ока
Усвоивать знанье
О видимомъ мірѣ?
И какъ назовешь ты
Тотъ духъ въ человѣкѣ,
Который стремится
Отъ грани земнаго,
Съ сознаньемъ свободы
И сильнымъ желаньемъ
Познаній и блага?
Который владѣетъ
Порывами сердца,
Одинъ торжествуетъ
Въ страданіяхъ тѣла,

Законы природы
Себѣ подчиняя?..
Кто далъ это свойство
Цвѣтущей природѣ, —
Что въ ней разрушенье
Единаго тѣла
Бываетъ началомъ
Для жизни другаго?
Кто этотъ Художникъ,
Рукой всемогущей
Въ цвѣткѣ заключившій
Цѣлебную силу,
И ядъ смертоносный,
И яркія краски,
И тѣни, и запахъ?..
Смирись же и вѣруй,
О, умъ мой надменный:
Законы вселенной,
И смерть, и рожденье
Живущаго въ мірѣ,
И мощная воля
Души человѣка
Даютъ мнѣ постигнуть
Великую тайну,
Что есть Высшій Разумъ,
Все дивно создавшій,
Всѣмъ правящій мудро.

XL.

Кое изобиліе человѣку во всемъ трудѣ его, имъ же трудится подъ солнцемъ: родъ преходитъ и родъ приходитъ, а земля во вѣкъ стоитъ.

Екклезіаста гл. I, ст. 3 и 4.

Съ тѣхъ поръ, какъ міръ нашъ необъятный
Изъ неизвѣстныхъ намъ началъ
Образовался непонятно
И бытіе свое началъ, —
Событій зритель величавый,
Какъ много видѣлъ онъ одинъ
Борьбы добра и зла, и славы,
И разрушенія картинъ!
Какъ много царствъ и поколѣній,
И вдохновеннаго труда,
И геніальныхъ наблюденій
Похоронилъ онъ навсегда!..
И вотъ теперь, какъ и тогда,
Природа вѣчная сіяетъ:
Надъ нею бури и года,
Какъ тѣни легкія, мелькаютъ,
И между-тѣмъ какъ человѣкъ,
Земли развѣнчанный владыка,
Въ цѣпяхъ страстей кончаетъ вѣкъ
Безъ цѣли ясной и великой, —
Все также блещутъ небеса,
И стройно движутся планеты,
И яркой зеленью одѣты
Непроходимые лѣса;
Цвѣтутъ луга, поля и степи,
Моря глубокія шумятъ,
И горъ заоблачныя цѣпи
Въ снѣгахъ нетающихъ горятъ.

XLI.

НОВЫЙ ЗАВѢТЪ.

Измученный жизнью суровой,
Не разъ я себѣ находилъ
Въ глаголахъ Предвѣчнаго Слова
Источникъ покоя и силъ.
Какъ дышатъ святые ихъ звуки
Божественнымъ чувствомъ любви,
И сердца тревожнаго муки
Какъ скоро смиряютъ они!...
Здѣсь все въ чудно-сжатой картинѣ
Представлено Духомъ Святымъ:
И міръ, существующій нынѣ,
И Богъ, управляющій имъ,
И сущаго въ мірѣ значенье,
Причина, и цѣль, и конецъ,
И вѣчнаго Сына рожденье,
И крестъ, и терновый вѣнецъ.
Какъ сладко читать эти строки,
Читая, молиться въ тиши,
И плакать, и черпать уроки
Изъ нихъ для ума и души!

XLII *).

МОЛИТВА ДИТЯТИ.

Молись, дитя: сомнѣнья камень
Твоей груди не тяготитъ:
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовію горитъ.

*). См. „Примѣчанія“, стр. 7, № 8 й.

Молись, дитя: тебѣ внимаетъ
Творецъ безчисленныхъ міровъ,
И капли слезъ твоихъ считаетъ,
И отвѣчать тебѣ готовъ.

Быть можетъ, ангелъ твой хранитель
Всѣ эти слезы соберетъ
И ихъ въ надзвѣздную обитель
Къ престолу Бога отнесетъ.

Молись, дитя, мужай съ лѣтами!
И дай Богъ, въ пору позднихъ лѣтъ,
Такими-жъ свѣтлыми очами
Тебѣ глядѣть на Божій свѣтъ!

Но если жизнь тебя измучитъ,
И умъ, и сердце возмутитъ,
Но если жизнь роптать научитъ.
Любовь и вѣру погаситъ, —

Приникни съ жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься съ небесами,
Съ самимъ собою и съ людьми.

И вновь тогда изъ райской сѣни
Хранитель-ангелъ твой сойдетъ,
И за тебя, склонивъ колѣни,
Молитву къ Богу вознесетъ.

XLIII.

Я помню счастливые годы,
Когда безпечно и шутя
Безукоризненной свободой
Я наслаждался, какъ дитя;

Когда въ тиши уединенья,
Какъ воплощенный херувимъ,
Тревогой горя и сомнѣнья
Я не былъ мучимъ и томимъ.

Съ какимъ восторгомъ непонятнымъ
Тогда часъ утра я встрѣчалъ,
Когда надъ полемъ необъятнымъ
Востокъ безоблачный пылалъ,

И серебристыми волнами,
Подъ дуновеньемъ вѣтерка,
Надъ благовонными лугами
Паровъ вставали облака!

Съ какою дѣтскою отрадой
Глядѣлъ я на кудрявый лѣсъ,
Весенней дышащій прохладой,
На сводъ сіяющій небесъ,

Надъ тихо спящіе заливы
Въ зеленыхъ рамахъ береговъ,
На блескъ и тѣнь волнистой нивы
И на узоры облаковъ!...

То были дни святой свободы,
Очарованья и чудесъ

На лонѣ мира и природы, —
То на землѣ былъ рай небесъ!

Пришла пора... иныя строки
Въ страницахъ жизни я прочелъ,
И въ нихъ тяжелые уроки
Уму и сердцу я нашелъ.

О, если-бъ въ пору перехода
Изъ дѣтства въ зрѣлые года
Широкій путь моя свобода
Нашла для скромнаго труда!

Согрѣтый мыслію живою,
Какъ гражданинъ и человѣкъ,
Быть можетъ, свѣтлою чертою
Тогда-бъ отмѣтилъ я свой вѣкъ!

Но горекъ жребій мой суровый
И много силъ я схоронилъ,
Пока дорогу жизни новой,
Средь зла и грязи, проложилъ!

И грустно мнѣ, и стыдно вспомнить
Ничтожность прожитыхъ годовъ:
Чтобъ пустоту ихъ всю пополнить,
Отдать полжизни-бъ я готовъ!

Но дни идутъ, идутъ безплодно...
И больно мнѣ, что и теперь
Одною мыслью благородной
Я не загладилъ ихъ потерь!

Что въ массу общаго познанья
Другимъ взыскательнымъ вѣкамъ,

Какъ весь итогъ существованья,
Я ничего не передамъ.

И одинокій, безъ значенья,
Какъ лишній гость въ пиру чужомъ,
Ничтожной жертвою забвенья
Умру въ краю моемъ родномъ!

XLIV. *)

Съ суровой долею я рано подружился:
Не зналъ веселыхъ дней, веселыхъ игръ не зналъ,
Мечтами дѣтскими ни съ кѣмъ я не дѣлился,
Ни отъ кого рѣчей разумныхъ не слыхалъ.

Но все, что̀ грязнаго есть въ жизни самой бѣдной, —
И горе, и разгулъ, кровавый потъ трудовъ,
Порокъ, и плачъ нужды, оборванной и блѣдной,
Я видѣлъ вкругъ себя съ младенческихъ годовъ.

Мучительные дни съ безсонными ночами,
Какъ много васъ прошло безъ свѣта и тепла!
Какъ вы мнѣ памятны тоскою и слезами,
Потерями надеждъ, безсильемъ противъ зла!

Но были у меня отрадныя мгновенья,
Когда всю скорбь мою я въ звукахъ изливалъ,
И зналъ я сердца миръ и слезы вдохновенья,
И долю горькую завидной почиталъ.

---

*) См. „Примѣчанія“, стр. 7, № 9-й.

За даръ свой, въ этотъ мигъ, благодарилъ я Бога,
Казался раемъ мнѣ пріютъ печальный мой,
Межъ тѣмъ безумная и пьяная тревога,
Горячій споръ и брань кипѣли за стѣной...

Вдругъ до толпы дошелъ напѣвъ мой вдохновенный,
Изъ сердца вырванный, родившійся въ глуши, —
И чувства лучшія, вся жизнь моей души,
Разоблачилися рукой непосвященной!

Я слышу надъ собой и приговоръ, и судъ...
И стала пѣснь моя, пѣснь муки и восторга,
Съ людьми и съ жизнію меня мирившій трудъ, —
Предметомъ злыхъ остротъ, и клеветы, и торга...

XLV.

ПОЭТУ *).

Не говори, что жизнь ничтожна;
Нѣтъ, послѣ бурь и непогодъ,
Борьбы суровой и тревожной,
И цвѣтъ, и плодъ она даетъ.

Не вѣчны всѣ твои печали...
Въ тебѣ самомъ источникъ силъ.
Взгляни кругомъ: не для тебя ли
Весь міръ сокровища раскрылъ?

Кудрявъ и зеленъ лѣсъ дремучій,
Листы зарей освѣщены,
Огнемъ охваченныя тучи
Въ стеклѣ рѣки отражены.

*) См. „Примѣчанія", стр. 8. № 10-й.

Покрытъ цвѣтами скатъ кургана.
Взойди и стань на вышинѣ,—
Какой просторъ! Сквозь сѣть тумана,
Село чуть видно въ сторонѣ.

Звенитъ и льется птички голосъ:
Узнай, о чемъ она поетъ;
Пойми, что шепчетъ спѣлый колосъ,
И что за рѣчи ключъ ведетъ?

Вотъ царство жизни и свободы!
Здѣсь всюду блескъ! Здѣсь вѣчный пиръ!
Пойми живой языкъ природы,—
И скажешь ты: прекрасенъ міръ!

XLVI.

ПѢСНЯ.

Зашумѣла, разгулялась
Въ полѣ непогода;
Принакрылась бѣлымъ снѣгомъ
Гладкая дорога.

Бѣлымъ снѣгомъ принакрылась,
Не осталось слѣду,
Поднялася пыль и вьюга,
Не видать и свѣту.

Да удалому дѣтинѣ
Буря не забота:
Онъ проложитъ путь-дорогу,
Лишь была-бъ охота.

Не страшна глухая полночь,
Дальній путь и вьюга,
Если молодца въ свой теремъ
Ждетъ краса-подруга.

Ужъ какъ встрѣтитъ она гостя
Утренней зарею,
Обойметъ его стыдливо
Бѣлою рукою,

Опустивши ясны очи,
Друга приголубитъ...
Вспыхнетъ онъ — и холодъ ночи,
И весь свѣтъ забудетъ.

XLVII.

ВОЙНА ЗА ВѢРУ.

Какъ волны грозныя, встаютъ сыны Востока,
Народный фанатизмъ муллами подожженъ,
Толпы мятежниковъ подъ знамена пророка,
Съ надеждой грабежа, сошлись со всѣхъ сторонъ.
Языческихъ временъ воскресъ театръ кровавый,
Глумится надъ крестомъ безумство мусульманъ,
И смотрятъ холодно великія державы
На униженіе и казни христіанъ.
За слезы ихъ и кровь нѣтъ голоса и мщенья!
Отъ бѣдныхъ матерей отъятые сыны
Въ рабы презрѣнному Еврею проданы,
И въ пламени горятъ несчастныя селенья...
Скажите намъ, враги поклонниковъ креста:
Зачѣмъ оскорблены храмъ истиннаго Бога

И древней Грецiи священныя мѣста,
Когда жидовская спокойна синагога?
Когда мятежниковъ, безчестiя сыновъ,
Орудiе крамолъ, тревогъ и возмущенья,
Не заклеймили вы печатiю презрѣнья,
Но дали ихъ толпамъ гостепрiимный кровъ?
Скажите намъ, враги Руси миролюбивой:
Уже-ль вы лучшаго предлога не нашли,
Чтобы извлечь свой мечъ въ войнѣ несправедливой
И положить свой прахъ въ поляхъ чужой земли?
Уже-ль чужихъ умовъ холодное коварство
Васъ въ жалкихъ палачей умѣло обратить,
И для безславiя жестокаго тиранства
Народныя права заставило забыть?
Ужели въ лѣтопись родной своей отчизны
Не стыдно вамъ внести свой собственный позоръ,
Потомковъ заслужить суровый приговоръ
И современниковъ живыя укоризны?
Иль духа русскаго досель вы не узнали?
Иль неизвѣстно вамъ, какъ Сѣвера сыны,
За оскорбленiе родной своей страны,
По слову царскому милльонами вставали?
Вамъ хочется борьбы! но страшенъ будетъ споръ
За древнiя права, за честь Руси державной:
Мы вашей кровiю скрѣпимъ нашъ договоръ —
Свободу христiанъ и вѣры православной!
Мы вновь напомнимъ вамъ героевъ Рымника,
И ужасъ Чесменскiй, и славный бой Кагула,
И грозной силою холоднаго штыка
Смиримъ фанатиковъ надменнаго Стамбула!
Впередъ, святая Русь! Тебя зоветъ на брань
Народа твоего поруганная вѣра!
Съ тобой и за тебя молитва христiанъ!
Съ тобой и за тебя Святая Матерь-Дѣва!

Придетъ пора,— ее недолго ждать,—
Оцѣнятъ твой порывъ, поймутъ твой подвигъ
громкій,
И будетъ свѣтъ тебѣ рукоплескать,
И позавидуютъ тебѣ твои потомки.

XLVIII *).

СТАРИКЪ ДРУГОЖЕНЕЦЪ.

Удружилъ ты мнѣ, сватъ, молодою женой!
Стала жизнь мнѣ и радость не въ радость:
День и ночь ни за-что она споритъ со мной
И бранитъ мою бѣдную старость;
Ни за-что ни про-что малыхъ пасынковъ бьетъ,
Да заводитъ съ сосѣдями ссоры;
Кто что ѣстъ, кто что пьетъ и какъ дома жи-
ветъ,—
Хоть бѣжать — какъ начнетъ разговоры.
И ужь пусть бы сама человѣкомъ была!
Не повѣришь, весь домъ разорила!
И грозилъ ей,— да что!... значитъ, волю взяла!...
Женскій стыдъ,— Божій гнѣвъ позабыла!
А любовь... ужъ куда тутъ! молчи про любовь!...
За себя мнѣ бѣда небольшая,—
Погубилъ я дѣтей, погубилъ свою кровь:
Доканаетъ ихъ мачиха злая!
Эхъ! не прежняя мочь, не былая пора,
Молодецкая удаль и сила,—
Не ходить бы женѣ, не спросясь со двора,
И воды бы она не взмутила...

*) См. „Примѣчанія", стр. 10, № 11-й

Спохватился теперь, да не сладишь съ бѣдой,
Лишь гляди на жену, да казнися,
Да молчи, какъ дуракъ, когда скажутъ порой:
По-дѣломъ старику, — не женися!

XLIX *).

ЗИМНЯЯ НОЧЬ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Весело сіяетъ
Мѣсяцъ надъ селомъ;
Бѣлый снѣгъ сверкаетъ
Синимъ огонькомъ.

Мѣсяца лучами
Божій храмъ облитъ;
Крестъ подъ облаками,
Какъ свѣча, горитъ.

Пусто, одиноко
Сонное село;
Вьюгами глубоко
Избы занесло.

Тишина нѣмая
Въ улицахъ пустыхъ,
И не слышно лая
Псовъ сторожевыхъ.

Помоляся Богу,
Спитъ крестьянскій людъ,
Позабывъ тревогу
И тяжелый трудъ.

*) См. „Примѣчанія“, стр. 11, № 12-й.

Лишь въ одной избушкѣ
Огонекъ горитъ:
Бѣдная старушка
Тамъ больна лежитъ.

Думаетъ-гадаетъ
Про своихъ сиротъ:
Кто ихъ приласкаетъ,
Какъ она умретъ!

Горемыки-дѣтки,
Долго-ли до бѣдъ!
Оба малолѣтки,
Разуму въ нихъ нѣтъ,

Какъ начнутъ шататься
По дворамъ чужимъ,—
Мудрено-ль связаться
Съ человѣкомъ злымъ!..

А ужъ тутъ дорога
Не къ добру лежитъ:
Позабудутъ Бога,
Потеряютъ стыдъ.

Господи, помилуй
Горемыкъ-сиротъ,
Дай имъ разумъ, силу,
Будь Ты имъ оплотъ!...

И въ лампадкѣ мѣдной
Теплится огонь,
Освѣщая блѣдно
Ликъ святыхъ иконъ.

И черты старушки,
Полныя заботъ,
И въ углу избушки
Дремлющихъ сиротъ.

Вотъ пѣтухъ безсонный
Гдѣ-то закричалъ;
Полночи спокойной
Долгій часъ насталъ.

И, Богъ вѣсть, отколѣ
Пѣсенникъ лихой
Вдругъ промчался въ поле
Съ тройкой удалой,

И въ морозной дали
Тихо потонулъ
И напѣвъ печали,
И тоски разгулъ.

L.

НАСЛѢДСТВО.

Не осталося
Мнѣ отъ батюшки
Палатъ каменныхъ,
Слугъ и золота;

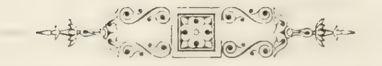
Онъ оставилъ мнѣ
Кладъ наслѣдственный:
Волю твердую,
Удаль смѣлую.

Съ ними молодцу
Всюду весело!
Безъ казны богатъ,
Безъ почета гордъ.

Въ горѣ, въ черный день,
Соловьемъ поешь;
При нуждѣ, въ бѣдѣ
Смотришь соколомъ;

На распашку грудь
Противъ недруга,
Подъ грозой, въ бою
Улыбаешься.

И мила душѣ
Доля всякая,
И весь бѣлый свѣтъ
Раемъ кажется!





LI *).

МОЛЕНІЕ О ЧАШѢ.

И, прешедъ мало, паде на лицѣ Своемъ, моляся и глаголя: Отче Мой, аще возможно есть, да мимо идетъ отъ Мене чаша сія: обаче не яко же Азъ хощу, но яко же Ты.

Матѳ. гл. XXVI, ст. 30—47.

Сверкаетъ западъ озлащенный
Надъ Іудейскою землей,
И на окрестность вечеръ сонный
Съ прозрачною нисходитъ мглой.
Спокойно высясь надъ полями,
Закатомъ солнца освѣщенъ,
Стоитъ высокій Елеонъ
Съ благоуханными садами.
Вокругъ его живыхъ картинъ
Сіяютъ чудные узоры:
Здѣсь увѣнчалъ Ерусалимъ
Своими зданіями горы.
Вдали Гавалъ и Гаразимъ,
Къ востоку воды Іордана,

*) См. „Примѣчанія“, стр. 11, № 13.

Съ пейзажемъ дремлющихъ долинъ,
Рисуются въ волнахъ тумана,
И моря Мертваго краса
Сквозь сонъ глядитъ на небеса.
А тамъ, на западѣ, далеко,
Лазурныхъ Средиземныхъ волнъ
Разливъ могучій огражденъ
Песчанымъ берегомъ широко...
Темнѣетъ... всюду тишина...
Вотъ ночи вспыхнули свѣтила, —
И ярко полная луна
Садъ Геѳсиманскій озарила.
Въ травѣ подъ вѣтвями оливъ
И померанцевъ неподвижныхъ,
Сыны Божественнаго Слова,
Спятъ три апостола всемірныхъ,
И сонъ ихъ сладокъ, и глубокъ.
Но тяжело спалъ міръ суровый:
Вѣковъ наслѣдственный порокъ
Его замкнулъ въ свои оковы,
Проклятье праотца на немъ
Пятномъ безславія лежало
И, съ каждымъ вѣкомъ, новымъ зломъ
Его, какъ язва поражало...
И въ цѣломъ мірѣ въ эту пору
Одинъ Учитель лишь не спалъ
И, чуждый общему позору,
Судьбу всемірную рѣшалъ.
За слово истины высокой
Голгоѳскій крестъ предвидѣлъ Онъ
И, чувствомъ скорби возмущенъ,
Отцу молился одиноко:
«Отецъ! Отецъ! душа Моя
Въ нѣмой тоскѣ изнемогаетъ,

Картина будущаго дня
Мнѣ сердце кровью обливаетъ;
Я знаю, этотъ день придетъ, —
На жертву отданный народу,
Твой Сынъ Божественный умретъ,
Умретъ за общую свободу...
Проклятье черни загремитъ
Надъ головой, вѣнцомъ покрытой,
И подвигъ жертвы очернитъ
Насмѣшка злобы ядовитой,
И тѣ, которымъ со креста
Пошлю Я даръ благословенья,
Съ улыбкой гордаго презрѣнья
Подымутъ руку на Христа...
Отецъ! Отецъ! пусть чаша эта
Минуетъ Сына Твоего:
Мнѣ горько видѣть злобу свѣта
За искупленіе его!
Но если Твоему народу
Позоръ Мой славу принесетъ,
Пускай за общую свободу
Сынъ человѣческій умретъ!»
Молитву кончивъ, грусти полный,
Къ ученикамъ Онъ подошелъ
И, увидавъ ихъ сонъ спокойный,
Сказалъ имъ: «встаньте, часъ пришелъ.
Оставьте сонъ свой и молитесь,
Чтобъ въ искушеніе не впасть,
Тогда вы въ вѣрѣ укрѣпитесь
И съ вѣрой встрѣтите напасть».
Сказалъ — и тихо удалился
Туда, гдѣ прежде плакалъ Онъ,
И, новой скорбью возмущенъ,
На землю палъ Онъ и молился:

«Отецъ! Ты въ міръ Меня послалъ,
Но Сына міръ Твой не пріемлетъ;
Ему любовь Я завѣщалъ,
Моимъ глаголамъ онъ не внемлетъ;
Я былъ врачемъ его больныхъ,
Я за враговъ Моихъ молился, —
И надо Мной Ерусалимъ,
Какъ надъ обманщикомъ, глумился!
Народу миръ Я завѣщалъ, —
Народъ судомъ Мнѣ угрожаетъ;
Я въ мірѣ мертвыхъ воскрешалъ, —
И міръ Мнѣ крестъ приготовляетъ!...
Отецъ! Отецъ Мой! чаша эта
Да мимо идетъ отъ Меня!
Ты Богъ любви, начало свѣта,
И все возможно для Тебя!
Но если кровь нужна святая,
Чтобъ землю съ небомъ примирить, —
Твой вѣчный судъ благословляя,
На крестъ готовъ Я восходить!»
И снова, тайной грусти полный,
Къ ученикамъ Онъ подошелъ
И, увидавъ ихъ сонъ спокойный,
Сказалъ имъ: «встаньте—часъ пришелъ:
Ужъ не далеко царство славы,
Близка великая борьба.
Молитесь: скоро въ день кровавый
Земли окончится судьба».
Сказалъ и снова удалился
Подъ тѣнь смоковницъ и оливъ
И тамъ, колѣна преклонивъ,
Опять онъ плакалъ и молился:
«Отецъ! отецъ! Мнѣ тяжело!
Мой умъ колеблется, темнѣетъ;

Все человѣческое зло
На мнѣ единомъ тяготѣетъ,
Позоръ людской,—позоръ вѣковъ,—
Все на себя Я принимаю,
Но самъ подъ тяжестью оковъ,
Какъ человѣкъ, изнемогаю...
Отецъ! спаси же Свой народъ!
Дай мнѣ на подвигъ укрѣпленье!
И Сынъ Твой съ радостью умретъ
Великой жертвой примиренья!...»
И руки къ небу Онъ подъялъ
И весь въ молитву превратился...
Огонь лице Его сжигалъ,
Кровавый потъ по немъ струился.

И вдругъ съ безоблачныхъ небесъ,
Эдема блескомъ окруженный,
Явился въ садъ уединенный
Глашатый Божіихъ чудесъ.
Былъ чуденъ взоръ его спокойный,
И безмятежно и свѣтло
Одушевленное чело;
И ликъ сіялъ, какъ полдень знойный,
И близь Учителя онъ сталъ,
И рѣчью свыше вдохновенной
Освободителя вселенной
На славный подвигъ укрѣплялъ,
И самъ, подобный легкой тѣни,
Но полный благодатныхъ силъ,
Свои воздушныя колѣни
Съ молитвой пламенной склонилъ.

Весь міръ въ ту пору спалъ глубоко;
Была на небѣ тишина;

Лишь въ царствѣ мрака одиноко
Страдалъ безплодно сатана.
Онъ зналъ, что въ мірѣ колебался
Его владычества кумиръ,
И что за этотъ падшій міръ
Вѣнецъ и крестъ приготовлялся.
Онъ понималъ, о чемъ, одинъ,
Молился Праведникъ великій,
И плакалъ мрачный властелинъ
О славѣ свѣтлаго Владыки.

Луна сіяла. Небожитель
Спѣшилъ въ Эдемъ по облакамъ;
Межъ тѣмъ могучій Искупитель
Опять пришелъ къ ученикамъ,
И въ это чудное мгновенье
Какъ былъ онъ истинно великъ,
Какимъ огнемъ одушевленья
Горѣлъ Его прекрасный ликъ!
Какъ ярко отражали очи
Всю волю твердую Его,
Какъ любовались на Него
Свѣтила блѣдной полуночи!...
И вотъ Учитель имъ сказалъ:
«Вставайте: близо́къ день печали,
И часъ предательства насталъ!»
И звукъ мечей остроконечныхъ
Садъ Геѳсиманскій пробудилъ,
И отблескъ факеловъ зловѣщихъ
Лице Іуды освѣтилъ.

LII.

СЛАДОСТЬ МОЛИТВЫ.

Бываютъ минуты,— тоскою убитый,
На ложѣ до утра безъ сна я сижу,
И нѣтъ на устахъ моихъ теплой молитвы,
И съ грустью на образъ святой я гляжу.

Вокругъ меня въ комнатѣ тихо, безмолвно....
Лампада въ углу одиноко горитъ,
И кажется мнѣ, что святая икона
Мнѣ въ очи съ укоромъ и строго глядитъ.

И дума за думой на умъ мнѣ приходитъ,
И жаръ непонятный по жиламъ течетъ,
И сердце отрады ни въ чемъ не находитъ,
И волосъ отъ тайнаго страха встаетъ.

И вспомню тогда я тревогу желаній,
И жгучія слезы тяжелыхъ утратъ,
Невѣрность надежды и горечь страданій,
И скрытый подъ маской глубокій развратъ,

Всю бѣдность и суетность нашего вѣка,
Всѣ мелочи жалкихъ, ничтожныхъ заботъ,
Все зло въ этомъ мірѣ, всю скорбь человѣка,
И грозную вѣчность, и съ жизнью разсчетъ;

И вспомню я крестъ на Голгоѳѣ позорной,
Облитаго кровью Страдальца на немъ,
При шумѣ и кликахъ насмѣшки народной
Поникшаго тихо покорнымъ челомъ...

И страшно мнѣ станетъ отъ этихъ видѣній,
И съ ложа невольно тогда я сойду,
Склоню предъ иконой святою колѣни
И съ жаркой молитвою ницъ упаду.

И мнится мнѣ, слышу я шопотъ невнятный,
И кто-то со мной въ полумракѣ стоитъ:
Быть можетъ, незримо, въ тотъ мигъ благодатный
Мой ангелъ-хранитель молитву творитъ.

И въ душу прольется мнѣ свѣтлая радость,
И смѣло на образъ тогда я взгляну,
И, чувствуя въ сердцѣ какую-то сладость,
На ложе я лягу и крѣпко засну.

LIII *).

НОЧЛЕГЪ ИЗВОЩИКОВЪ.

Далеко, далеко раскинулось поле,
Покрытое снѣгомъ, что бѣлымъ ковромъ,
И звѣзды зажглися, и мѣсяцъ, что лебедь,
Плыветъ одиноко надъ соннымъ селомъ.

Богъ знаетъ откуда, съ какимъ-то товаромъ
Обозъ по дорогѣ пробитой идетъ:
То взъѣдетъ онъ тихо на длинную гору,
То въ темной лощинѣ изъ глазъ пропадетъ.

И вотъ на дорогѣ онъ вновь показался
И на гору сталъ подниматься шажкомъ;
Вотъ слышно, какъ снѣгъ заскрипѣлъ подъ санями,
И кони заржали подъ самымъ селомъ.

*) См. „Примѣчанія", стр. 16, № 14-й.

Въ овчинныхъ тулупахъ, въ коломенскихъ
шапкахъ,
Съ обозомъ, и съ правой, и съ лѣвой руки,
Въ лаптяхъ и онучахъ, въ большихъ рукавицахъ,
Кряхтя, пожимаясь, идутъ мужики.

Избились ихъ лапти отъ дальней дороги,
Ихъ жесткія лица морозъ заклеймилъ,
Высокія шапки, усы ихъ, и брови,
И бороды иней пушистый покрылъ.

Подходятъ они ко дворамъ постоялымъ,
На встрѣчу имъ дворникъ спѣшитъ изъ воротъ
И шапку снимаетъ, привѣтствуя словомъ:
«Откудова, братцы, Господь васъ несетъ?»

— Да ѣдемъ вотъ съ рыбой въ Москву изъ
Ростова*),
Передній извощикъ ему отвѣчалъ, —
А что на дворѣ-то не тѣсно-ль намъ будетъ?
Теперь ты, я чаю, насъ вовсе не ждалъ? —

«Для добраго гостя найдется мѣстечко»,
Привѣтливо дворникъ плечистый сказалъ
И, рыжую бороду тихо погладивъ,
Слегка ухмыляясь, опять продолжалъ:

«Вѣдь, я не таковъ, какъ сосѣдъ-прощалыга,
Готовый за грошъ свою душу продать;
Я знаю, какъ надо съ людьми обходиться,
Кого какъ привѣтить и чѣмъ угощать.

---

*) Ростовъ на Дону.

«Овесъ мой — овинный, изба — та же баня,
Не какъ у сосѣда, — зубовъ не сберешь;
И есть гдѣ прилечь, посидѣть, обсушиться,
А квасъ, то есть брага, и нехотя пьешь.

«Въѣзжайте-ка, братцы; намъ стыдно считаться:
Ужь я по-пріятельски васъ угощу,
И встрѣчу, какъ водится, хлѣбомъ и солью,
И съ хлѣбомъ и солью съ двора отпущу».

Послушались дворника добрые люди:
На дворъ помѣстились, коней отпрягли,
Къ санямъ привязали и корму имъ дали,
И въ теплую избу чрезъ сѣни вошли.

Снявъ шапки, святымъ образамъ помолились,
Обчистили иней пушистый съ волосъ,
Раздѣлись, тулупы на нары поклали
И рѣчь завели про суровый морозъ.

Погрѣлись близь печки и руки умыли,
И, грудь осѣнивши широкимъ крестомъ,
Хозяйкѣ хлѣбъ-соль подавать приказали,
И ужинать сѣли за длиннымъ столомъ.

И вотъ въ сарафанѣ, покрытая кичкой,
Къ гостямъ молодая хозяйка вошла;
Сказала: «здорово, родные, здорово!»
И каждому порознь поклонъ отдала;

По крашеной ложкѣ имъ всѣмъ разложила,
И соли въ солонкѣ, и хлѣбъ подала,
И въ чашкѣ глубокой, съ надтреснутымъ краемъ,
Изъ кухни горячія щи принесла.

И блюда за блюдомъ пошла перемѣна...
Извощики молча и дружно ѣдятъ,
И потъ начинаетъ съ нихъ градомъ катиться,
Глаза оживились и лица горятъ.

«Послушай, хозяюшка!» молвилъ извощикъ,
Съ трудомъ проглотивши свинины кусокъ:
«Нельзя-ли найти намъ кваску-то получше,
Вѣдь, этотъ слѣпому глаза продеретъ?»

— И, что ты, родимый! квасокъ-атъ что брага,
Его и купцамъ доводилося пить.
«Спасибо, хозяйка!» сказалъ ей извощикъ,
«Не скоро намъ брагу твою позабыть».

— Ну полно-те спорить, вишь съ бабой связался! —
Промолвилъ другой, обтирая усы:
Аль къ тещѣ съ женою пріѣхалъ на праздникъ?
Что есть, то и ладно, а нѣтъ — не проси! —

«Вѣстимо, Данилычъ,» сказалъ ему третій:
«За хлѣбомъ и солью шумѣть не рука;
Вѣдь, мы не бояре; что есть, тѣмъ и сыты...
А ну-ка, хозяюшка, дай-ка гуська!»

— Эхъ, братцы! рукою расправивши кудри,
Товарищамъ молвилъ дѣтина одинъ:
Разъ, ѣздилъ я лѣтомъ въ Макарьевъ на тройкѣ,
Нанялъ меня, знаешь, купеческій сынъ.

— Ну, что за раздолье мнѣ было въ дорогѣ!
Признаться, ужъ попилъ тогда я винца!
Какъ свистнешь, бывало, и тронешь лошадокъ,
Захочешь потѣшить порой молодца, —

— И птицей несется залетная тройка,
Лишь пыль поднимается черным столбомъ,
Звенитъ колокольчикъ, и версты мелькаютъ,
На небѣ ни тучки и поле кругомъ,

— Въ лицо вѣтерокъ подуваетъ на встрѣчу,
И на сердцѣ любо, и пышетъ лицо...
Пріѣхалъ въ деревню: готова закуска,
И дворника дочка подноситъ винцо.

— А вечеромъ, знаешь, мой купчикъ удалый,
Какъ этакъ порядкомъ уже подгульнетъ,
На улицу выйдетъ, вся грудь на распашку,
Вокругъ себя парней толпу соберетъ,

— Одѣлитъ деньгами и весело крикнетъ:
«А ну-ка, валяй: не бѣлы-то снѣги!»
И парни затянутъ, и самъ онъ зальется,
И тутъ ужъ его кошелекъ береги.

— Бывало, шепнешь ему: «Яковъ Петровичъ!
Припрячь кошелекъ-то, вѣдь, спроситъ отецъ».
«Молчи, братъ! за словомъ въ карманъ не полѣзу:
Въ товарѣ убытокъ, — и дѣлу конецъ.»

Такъ, сидя на лавкѣ за хлѣбомъ и солью,
Смѣясь, мужики продолжаютъ разсказъ:
И, стоя близь печки, качаясь въ дремотѣ,
Ихъ слушаетъ дворникъ, прищуривши глазъ,

И думаетъ самъ онъ съ собою спросонокъ:
«Однако отъ этихъ барышъ мнѣ придетъ;
Овса-то, вотъ видишь, по мѣрочкѣ взяли,
А ѣсть, — такъ одинъ за троихъ уберетъ.

«Куда-жъ это, Господи, все уложилось! —
Баранина, щи, поросенокъ и гусь,
Лапша и свинина, и медъ на заѣдки...
Ну, я же по своему съ ними сочтусь!»

Вотъ кончился ужинъ. Извощики встали...
Хозяйка мочалкою вытерла столъ,
А дворникъ внесъ въ избу охапку соломы,
Взглянулъ изъ-подлобья и молча ушелъ

Провѣдавъ лошадокъ, сводивъ ихъ къ колодцу,
Извощики снова всѣ въ избу вошли,
Постлали постель, помолилися Богу,
Раздѣлись, разулись и — спать залегли.

И все замолчало... Лишь въ кухнѣ хозяйка,
Поставивъ посуду на полку рядкомъ,
Изъ глиняной чашки, при свѣтѣ огарка,
Поила теленка густымъ молокомъ.

Но вотъ наконецъ и она улеглася,
Подъ голову старый зипунъ положивъ,
И крѣпко на печкѣ горячей заснула,
Всѣ хлопоты кухни своей позабывъ.

Все тихо... всѣ спятъ... и давно уже полночь.
Раскинувши руки, храпятъ мужики:
Лишь, хрюкая, въ кухнѣ больной поросенокъ
Въ широкой лоханкѣ сбираетъ куски...

Свѣтать начинаетъ. Извощики встали...
Хозяйка остатокъ огарка зажгла,
Гостямъ утереться дала полотенце,
Ковшомъ въ рукомойникъ воды налила.

Умылися гости, предъ образомъ стали,
Молитву, какую умѣли, прочли
И къ спящему дворнику въ избу другую
За кормъ и хлѣбъ-соль разсчитаться вошли.

Сердитый, спросонокъ, глаза протирая,
Поднялся онъ съ лавки и счеты сыскалъ,
За столъ сѣлъ нахмурясь, потеръ свой затылокъ
И молвилъ: «ну кто изъ васъ что забиралъ?»

— Заборъ ты нашъ знаешь: мы поровну брали;
А ты вотъ за ужинъ изволь положить
Себѣ не въ обиду и намъ не въ убытокъ.—
Съ тобою хлѣбъ-соль намъ впередъ чтобъ водить.

«Да что же, давай четвертакъ съ человѣка:
Оно хоть и мало,— да такъ ужь и быть».
— Не много-ли будетъ, почтенный хозяинъ?
Богатъ скоро будешь! нельзя-ли сложить?

«Нѣтъ, складки, ребята, не будетъ и гроша,
И эта цѣна-то пустякъ-пустякомъ;
А будете спорить — заплатите вдвое:
Ворота, вѣдь, заперты добрымъ замкомъ».

Подумавъ, извощики крѣпко вздохнули,
И, нехотя вынувъ свои кошели,
Хозяину деньги сполна отсчитали
И въ путь свой, въ дорогу сбираться пошли.

Всю выручку въ старый сундукъ положивши,
Хозяинъ одѣлся и вышелъ на дворъ
И, видя, что гости коней запрягаютъ,
Взялъ ключъ и замокъ на воротахъ отперъ.

Накинувъ арканы на шеи лошадокъ.
Извощики стали съѣзжать со двора.
«Спасибо, хозяинъ!» промолвилъ послѣдній:
«Смотри, разживайся съ чужаго добра!»

— Ну, съ Богомъ, любезный! сказалъ ему дворникъ:
Еще изъ-за гроша ты сталъ толковать!
Впередъ, просимъ милости, къ намъ заѣзжайте,
Ужъ мнѣ не учиться, кого какъ принять.

LIV *).

ССОРА.

«Не пора-ль, Пантелей, постыдиться людей
И опять за работу приняться!
Промоталъ хомуты, промоталъ лошадей, —
Вѣрно, по міру хочешь таскаться?
Вѣдь и такъ отъ сосѣдей мнѣ нѣту житья,
Показаться на улицу стыдно;
Словно въ трубы трубятъ: что̀, родная моя,
Твоего Пантелея не видно?
А ты думаешь: гдѣ же опричь ему быть,
Чай, опять загулялъ съ бурлаками?...
И сердечко въ груди закипитъ — закипитъ,
И, вздохнувши, зальешься слезами».
— Не дурачь ты меня, мужъ женѣ отвѣчалъ,
Я не первый денекъ тебя знаю.
Да по чьей же я милости пьяницей сталъ
И теперь ни за-что пропадаю?

*) См. „Примѣчанія", стр. 18, № 15-й.

Не вино съ бурлаками, — я кровь свою пью,
Ею горе мое заливаю,
Да за чаркой тебя проклинаю, змѣю,
И тебя, и себя проклинаю!
Ахъ, ты время мое, золотая пора,
Не видать ужъ тебя вѣрно болѣ!
Какъ, бывало, съ зарей, на телѣгахъ съ двора
Ѣдешь рожь убирать въ свое поле: —
Сбруя вся на заказъ, кони — любо взглянуть,
Словно звѣри изъ упряжи рвутся;
Не успѣешь, бывало, вожжей шевельнуть, —
Ужъ, голубчики, вихремъ несутся.
Пашешь, — пѣсню поешь, косишь, — устали нѣтъ;
Придетъ праздникъ, — помолишься Богу,
По деревнѣ идешь, — и почетъ и привѣтъ:
Старики уступаютъ дорогу!
А теперь... Одного я вотъ въ толкъ не возьму:
Въ закромахъ у насъ чисто и пусто;
Иину пору и нѣту соломы въ дому,
Въ кошелѣ и подавно не густо;
На тебя-жъ поглядишь, — что̀ откуда идетъ,
Что ни праздникъ, — иная обновка ..
Оно, можетъ, тебѣ и Господь подаетъ,
Да не вѣрится... что-то не ловко!...—

«Не велишь-ли ты мнѣ въ старыхъ тряпкахъ ходить!»
Покраснѣвши, жена отвѣчала:
«Кажись, было на что̀ мнѣ обновки купить, —
Я, вѣдь, цѣлую зимушку пряла.
Вотъ тебѣ-то, неряхѣ, великая честь!
Вишь, онъ рѣчи какія заводитъ:
Самому же лаптишекъ не хочется сплесть,
А зипутъ-то онучи не стоитъ».

— Поистерся немного: не всѣмъ щеголять;
Бѣдняку что̀ Богъ далъ, то и ладно.
А ты любишь гостей-то по платью встрѣчать?
Сосѣдъ ходитъ не даромъ нарядно.—

«Ахъ, родные мои», закричала жена:
«Ужъ и гостя привѣтить нѣтъ воли!
Ну, хорошъ муженекъ, хороши времена:
Не води съ людьми хлѣба и соли!
Да вотъ на-ка тебѣ! Не по-твоему быть!
Я не больно тебя испугалась!
Таки будетъ сосѣдъ ко мнѣ въ гости ходить,
Чтобъ сердечко твое надрывалось!»
— Коли такъ, ну и такъ! мужъ женѣ отвѣчалъ:
Мнѣ тебя переучивать поздно;
Ужъ и то я грѣха много на душу взялъ,
А сосѣда попробовать можно...
Перестанемъ кричать! собери-ка поѣсть:
Я и то другой день безъ обѣда,
Дай хоть хлѣба ломоть, да влей щей, коли есть,
Молоко-то оставь для сосѣда.—

«Да вотъ хлѣба-то я не успѣла испечь!»
Жена, съ лавки вскочивши, сказала:
«Коли хочешь поѣсть, почини прежде печь...»
И на печку она указала.
Мужъ ни слова на это женѣ не сказалъ;
Взялъ зипунъ свой и шапку съ постели,
Постоялъ у окна, головой покачалъ
И пошолъ, куда очи глядѣли.
Только онъ изъ воротъ, сосѣдъ вотъ онъ—идетъ,
Шляпа на бокъ, халатъ на распашку,
Отъ коневьихъ сапогъ чистымъ дегтемъ несетъ,
И застегнута лентой рубашка.

«Будь здоровъ, Пантелей! Что повѣсилъ, братъ,
носъ!
Аль запала въ головушку дума?»
— Видишь, бойкій какой! А ты что мнѣ за спросъ?..
Пантелей ему молвилъ угрюмо.
«Что такъ больно сердитъ? знать, болитъ голова,
Или просто некстати зазнался?..»
Пантелей второпяхъ засучилъ рукава,
Изъ-подлобья кругомъ озирался.
— Эхъ, была не была! ну, держися, дружокъ!—
И мужикъ во всю мочь развернулся,
Да какъ хватитъ сосѣда съ размаху въ високъ,
И не охнулъ,—бѣднякъ протянулся.

Ввечеру Пантелей ужъ сидѣлъ въ кабакѣ
И, слегка подгульнувъ съ бурлаками,
Крѣпко руку свою прислонивши къ щекѣ,
Пѣсни пѣлъ, заливаясь слезами.

LV.

ИЗМѢНА.

Ты взойди, взойди,
Заря ясная,
Изъ-за темныхъ тучъ
Взойди, выгляни;

Подымись, туманъ,
Отъ сырой земли,
Покажись ты мнѣ,
Путь-дороженька.

Шелъ къ подругѣ я
Вчера вечеромъ,
Мужички въ селѣ
Спать ложилися.

Вотъ взошелъ я къ ней
На широкій дворъ,
Отворилъ избы
Дверь знакомую.

Глядь,— огонь горитъ
Въ чистой горенкѣ,
Въ углу столъ накрытъ
Бѣлой скатертью;

У стола сидитъ
Гость разряженный,
Вплоть до плечъ лежатъ
Кудри черныя.

Подлѣ, рядомъ съ нимъ,
Моя милая:
Обвила его
Рукой бѣлою

И, на грудь къ нему
Склонивъ голову,
Рѣчи тихія
Шепчетъ ласково.

Поднялись мои
Дыбомъ волосы,
Обдало меня
Жаромъ-холодомъ.

На столѣ лежалъ
Бѣлый хлѣбъ и ножъ:
Знать, кудрявый гость
Званъ былъ ужинать.

Я схватилъ тотъ ножъ —
Къ гостю бросился;
Не успѣлъ онъ встать,
Слова вымолвить, —

Облило его
Кровью алою;
Словно снѣгъ, лицо
Забѣлѣлося.

А она, вскочивъ,
Громко ахнула
И, какъ листъ вздрогнувъ,
Пала замертво.

Стало страшно мнѣ
Въ свѣтлой горенкѣ:
Распахнулъ я дверь,
На дворъ выбѣжалъ...

Ну, подумалъ я,
Добрый молодецъ,
Ты простись теперь
Съ отцомъ, съ матерью!

И пришелъ мнѣ въ умъ
Дальній, темный лѣсъ,
Жизнь разгульная
Подъ дорогою...

Я сказалъ себѣ:
Больше некуда!
И, махнувъ рукой,
Въ путь отправился...

Ты взойди, взойди,
Заря ясная,
Покажи мнѣ путь
Къ лѣсу темному!

LVI *).

Полно, степь моя, спать безпробудно:
Зимы-матушки царство прошло,
Сохнетъ скатерть дорожки безлюдной,
Снѣгъ пропалъ, — и тепло, и свѣтло.

Пробудись и умойся росою,
Въ ненаглядной красѣ покажись,
Принакрой свою грудь муравою,
Какъ невѣста, въ цвѣты нарядись.

Полюбуйся: весна наступаетъ,
Журавли караваномъ летятъ,
Въ яркомъ золотѣ день утопаетъ,
И ручьи по оврагамъ шумятъ.

Бѣлоснѣжныя тучки толпами
Въ синевѣ, на просторѣ плывутъ,
По груди у тебя полосами,
Другъ за дружкою, тѣни бѣгутъ.

*) См. „Примѣчанія“, стр. 19, № 16-й

Скоро гости къ тебѣ соберутся,
Сколько гнѣздъ понавьютъ,— посмотри!
Что за звуки, за пѣсни польются
День-деньской, отъ зари до зари!

Тамъ ужъ лѣто,— ложись подъ косою,
Ковыль бѣлый, въ угоду косцамъ!
Подымайся, копна за копною!
Распѣвайте, косцы, по ночамъ!

И тогда,—при мерцаньи румяномъ
Ясныхъ зорекъ въ прохладные дни,
Отдохни, моя степь, подъ туманомъ
Беззаботно и крѣпко усни.

LVII.

УТРО НА БЕРЕГУ ОЗЕРА.

Ясно утро. Тихо вѣетъ
Теплый вѣтерокъ;
Лугъ, какъ бархатъ, зеленѣетъ,
Въ заревѣ востокъ.

Окаймленное кустами
Молодыхъ ракитъ,
Разноцвѣтными огнями
Озеро блеститъ.

Тишинѣ и солнцу радо,
По равнинѣ водъ
Лебедей ручное стадо
Медленно плыветъ.

Вотъ одинъ взмахнулъ лѣниво
Крыльями,— и вдругъ
Влага брызнула игриво
Жемчугомъ вокругъ.

Привязавъ къ ракитамъ лодку,
Мужички вдвоемъ,
Близъ осоки, втихомолку,
Тянутъ сѣть съ трудомъ.

По травѣ, въ рубашкахъ бѣлыхъ,
Скачутъ босикомъ
Два мальчишка загорѣлыхъ
На прутахъ верхомъ.

Крупный потъ съ нихъ градомъ льется
И лицо горитъ:
Звучно смѣхъ ихъ раздается,
Голосокъ звенитъ.

«Ну, катай на-перегонки!»
А на шалуновъ
Съ тайной завистью дѣвчонка
Смотритъ изъ кустовъ.

«Тянутъ, тянутъ!» закричали
Ребятишки вдругъ:
«Вдоволь, чай, теперь поймали
И линей, и щукъ».

Вотъ на берегѣ отлогомъ
Показалась сѣть.
— «Ну, вытряхивай-ка, съ Богомъ,—
Нечего глядѣть!»

Такъ сказалъ старикъ высокій,
Весь какъ лунь сѣдой,
Съ грудью выпукло-широкой,
Съ длинной бородой.

Сѣть намокшую подняли
Дружно рыбаки;
На пескѣ затрепетали
Окуни, линьки.

Дѣти весело шумѣли:
«Будетъ на денекъ!»
И на корточки присѣли
Рыбу класть въ мѣшокъ.

«Ты, подкидышъ, къ намъ откуда?
Не зови — придетъ...
Убирайся-ка отсюда!
Не пойдешь, — такъ вотъ!..»

И подкидыша мальчишка
Оттолкнулъ рукой.
— «Ну, за что ее ты, Мишка?»
Упрекнулъ другой.

«Экій малый уродился»,
Говорилъ старикъ:
«Все-бъ дрался онъ, да бранился,
Экій озорникъ!»

— «Ты бы внука-то маленько
За вихоръ подралъ:
Онъ взялъ волю-то раненько!»
Свату сватъ сказалъ.

— «Эхъ!.. дѣвчонка надоѣла...
Самъ я, знаешь, ѓоль,
Тутъ подкидыша, безъ дѣла,
Одѣвать изволь.

«Хлѣбъ, смотри, вотъ вздорожаетъ, —
Ты чужихъ корми;
А, вѣдь, мать, небось, гуляетъ,
Прахъ ее возьми!»

— «Потерпи, чай, не забудетъ
За добро Господь!
Вѣдь, она работать будетъ,
Богъ дастъ, подростетъ».

— «Такъ-то такъ... вѣстимо, надо
Къ дѣлу пріучить;
Да теперь беретъ досада
Безъ толку кормить.

«И дѣвчонка-то больная,
Сохнетъ, какъ трава,
Да все плачетъ... дрянь такая!
А на грѣхъ жива!»

Мужички потолковали
И въ село пошли;
Вслѣдъ мальчишки побѣжали,
Рыбу понесли;

А дѣвчонка провожала
Грустнымъ взглядомъ ихъ,
И слеза у ней дрожала
Въ глазкахъ голубыхъ.

LVIII.

УПРЯМЫЙ ОТЕЦЪ.

— «Ты хоть плачь, хоть не плачь, — быть по-моему!
Я сказалъ тебѣ: не послушаю!
Молода еще, рано умничать!
«Мой женихъ-де вотъ и буянъ и мотъ,
Онъ въ могилу свелъ жену первую...»
Ты скажи прямѣй: мнѣ, моль, батюшка,
Полюбился сынъ Кузьмы-мельника.
Такъ сули ты мнѣ горы золота, —
Не владѣть тобой сыну знахаря.
Онъ добро скопилъ, — пусть имъ хвалится:
Наживи же онъ имя честное!
Я съ сумой пойду, умру съ голода,
Не отдамъ себя на посмѣшище, —
Не хочу я быть родней знахаря!
Колдуновъ у насъ въ роду не было.
А ты этимъ-то мнѣ, безстыдница,
За мою хлѣбъ-соль платить вздумала,
Жениховъ своихъ пересуживать!
Да ты знаешь-ли власть отцовскую?
Съ пастухомъ, велю, подъ вѣнецъ пойдешь!
Не учи, скажу: такъ мнѣ хочется!»

Захватило духъ въ груди дочери,
Полотна бѣлѣй лицо сдѣлалось,
И, дрожа, какъ листъ, съ мольбой горькою
Къ старику она въ ноги бросилась:
«Пожалѣй меня, милый батюшка,
Не сведи меня во гробъ заживо!

Аль въ избѣ твоей я ужъ лишняя,
У тебя въ дому не работница?...
Ты, кормилецъ мой, самъ говаривалъ,
Что не выдашь дочь за немилаго.
Не губи же ты мою молодость:
Лучше въ дѣвкахъ я буду старѣться,
День и ночь сидѣть за работою!
Откажи, родной, свахѣ засланной».

— «Хороша твоя рѣчь, разумница;
Только гдѣ ты ей научилася?
Понимаю я, что ты думаешь:
Мой отецъ, молъ, старъ, — ему бѣлый гробъ,
Красной дѣвушкѣ своя волюшка...
Али, можетъ быть, тебѣ нелюбо,
Что отецъ въ почетъ по селу пойдетъ,
Что богатый зять тестю бѣдному
При нуждѣ, порой, будетъ помочью?
Такъ ступай же ты съ моего двора,
Чтобъ ноги твоей въ домѣ не было!»

«Не гони меня, сжалься, батюшка,
Ради горькихъ слезъ моей матушки!
Вѣдь, она тебя Богомъ, при смерти,
Умоляла быть мнѣ защитою...
Не гони, родной, — я, вѣдь, кровь твоя!»

— «Знаю я твои бабьи присказки!
Что по мертвому, что-ль, расплакалась?
Да хоть встань твоя мать-покойница,
Я и ей скажу: «быть по моему!»
Прокляну, коли не послушаешь...»

Протекло семь дней: дѣло сладилось.
Отецъ празднуетъ свадьбу дочери.

За столомъ шумятъ гости званые;
Подъ хмѣлькомъ, старикъ пляшетъ съ радости,
Зятемъ, дочерью выхваляется.
Зять сидитъ въ углу, гладитъ бороду,
На плечахъ его кафтанъ новенькій,
Сапоги съ гвоздьми, съ мѣдной прошвою*),
Подпоясанъ онъ краснымъ поясомъ.
Молодая съ нимъ сидитъ объ руку;
Сарафанъ на ней съ рядомъ пуговокъ,
Кичка съ бисернымъ подзатыльникомъ, —
Но лицо бѣлѣй снѣга чистаго:
Вѣрно, много слезъ красной дѣвицей
До вѣнца въ семь дней было пролито...

Вотъ окончился деревенскій пиръ,
Проводилъ старикъ съ двора дѣтище.
Только пыль пошла вдоль по улицѣ,
Когда зять, надѣвъ шляпу на ухо,
Во весь духъ пустилъ тройку дружную.
И безъ умолку подъ дугой большой
Залилися два колокольчика...

Замолчало все въ селѣ къ полночи,
Не спалося только сыну мельника,
Онъ сидѣлъ и пѣлъ на завалинкѣ:
То души тоска въ пѣснѣ слышалась,
То разгулъ, будто воля гордая,
На борьбу звала судьбу горькую.

Сталъ одинъ старикъ жить хозяиномъ,
Молодую взялъ въ домъ работницу...

*) Въ нѣкоторыхъ селахъ Воронежской губерніи задники крестьянскихъ сапоговъ прошиваются, для щегольства, мѣдною проволокою.

Выпалъ первый снѣгъ. Зиму-матушку
Деревенскій людъ встрѣтилъ весело;
Мужички въ извозъ отправляются,
На гумнахъ вездѣ молотьба идетъ,
А старикъ съ утра до полночи
Въ кабакѣ сидитъ, пригорюнившись.
«Что̀, старинушка, чай, богатый зять
Хорошо живетъ съ твоей дочерью?..»
Подъ хмѣлькомъ иной ему вымолвитъ;
Вмигъ сожметъ Пахомъ брови съ просѣдью
И, потупивъ взоръ, скажетъ нехотя:
— «У себя въ дому за женой смотри,
А въ чужую клѣть не заглядывай!» —
«За женой-то мнѣ глядѣть нечего;
Лучше ты своимъ зятемъ радуйся:
Вонъ теперь въ грязи онъ на улицѣ».

Минулъ свадьбѣ годъ. Насталъ праздничекъ.
Разбудилъ село колокольный звонъ;
Мужички идутъ въ церковь весело;
На крещеный людъ смотритъ солнышко.
Въ церкви Божіей бѣлый гробъ стоитъ,
По бокамъ его два подсвѣчника;
Въ головахъ одинъ, въ зипунѣ худомъ,
Сирота-Пахомъ думу думаетъ
И не сводитъ глазъ съ мертвой дочери...
Вотъ окончилась служба долгая,
Мужички снесли гробъ на кладбище;
Приняла земля дочь покорную.
Обернулся зять къ тестю блѣдному
И сказалъ, заткнувъ руки за-поясъ:
«Не пришлось пожить съ твоей дочерью!
Хлѣбъ и соль была, кажись, вольная,
А все какъ-то ей не здоровилось...»

А старикъ стоялъ надъ могилою,
Опустивъ, въ тоскѣ, на грудь голову,
И когда на гробъ земля черная
Съ шумомъ глыбами вдругъ посыпалась,—
Пробѣжалъ морозъ по костямъ его,
И ручьемъ изъ глазъ слезы брызнули...
И не разъ съ тѣхъ поръ въ ночь безсонную
Этотъ шумъ ему дома слышался.

LIX.

С. В. ЧИС.....ОЙ.

Да не смущается сердце ваше, вѣруйте въ Бога.
Іоанна, гл. XIV, ст. 1.

Тяжелъ вашъ крестъ!... что̀ было съ вами
Въ глуши безлюдной и степной,
Когда у васъ передъ глазами,
На рыхломъ снѣгѣ, сынъ родной,
Назадъ минуту жизни полный,
Какъ цвѣтъ, подрѣзанный косой,
Лежалъ недвижный и нѣмой,
Мгновенной смертью пораженный?
Когда любимое дитя
Вы къ жизни воплемъ призывали
И безотвѣтныя уста
Своимъ дыханьемъ согрѣвали?...
Тяжелъ вашъ крестъ и ваша чаша
Горька! но живъ Господь всего:
Да не смутится сердце ваше,
Молитесь, вѣруйте въ Него!
Слеза-ль падетъ у васъ,—Онъ знаетъ
Число всѣхъ каплей дождевыхъ,—

И ваши слезы сосчитаетъ,
Оцѣнитъ каждую изъ нихъ.
Онъ весь любовь, и жизнь, и сила,
Съ Нимъ благо все, съ Нимъ свѣтъ во тьмѣ!...
И, наконецъ, скажите мнѣ,
Ужели такъ страшна могила?
Что лучше: раньше умереть,
Или страдать и сокрушаться,
Глядѣть на зло, и зло терпѣть,
И вѣровать, и сомнѣваться?
Утраты, нужды испытать,
Прочесть весь свитокъ жизни горькой,
Чтобъ у дверей могилы только
Ихъ смыслъ таинственный понять?...
Блаженъ, кто къ вѣчному покою,
Не испытавъ житейскихъ волнъ,
Причалилъ рано утлый челнъ,
Хранимый вышнею рукою!
Кто знаетъ? можетъ быть, въ тотъ часъ,
Когда въ тиши, въ тоскѣ глубокой,
Вы на молитвѣ одинокой
Стоите долго,—подлѣ васъ
Вашъ сынъ, теперь жилецъ небесный,
Стоитъ, какъ ангелъ безтѣлесный,
И слышитъ васъ и, можетъ быть,
За васъ молитвы онъ творитъ;
Иль въ хорѣ ангеловъ летаетъ,
И,—чуждый всѣхъ земныхъ заботъ,—
И славу Бога созерцаетъ,
И гимны райскіе поетъ!
Къ чему же плачъ? Настанетъ время,
Когда въ надзвѣздной сторонѣ,
За все земное бремя
Вознаградитесь вы вполнѣ.

Тамъ, окруженный неба свѣтомъ,
Сынъ радость съ вами раздѣлитъ,
И, по разлукѣ въ мірѣ этомъ,
Васъ вѣчность съ нимъ соединитъ.

LX *.

ВЕЧЕРЪ ПОСЛѢ ДОЖДЯ.

Замерли грома раскаты. Дождемъ окропленное поле,
Послѣ грозы, озарилось улыбкой румянаго солнца.
Заревомъ пышетъ закатъ. Золотисто-румяныя тучи
Ярко горятъ надъ вершиной кудряваго лѣса.
Спятъ неподвижныя нивы, обвѣяны нѣгой вечерней.
О, какъ хорошъ этотъ воздухъ, грозой и дождемъ освѣженный!
Какъ ему рады повсюду, куда онъ проникъ благодатный!
Видѣлъ я въ полдень вотъ этотъ цвѣтокъ темно-синій: отъ жару
Грустно свернувъ лепестки, онъ клонился къ землѣ раскаленной;
Вотъ онъ опять развернулся и держится прямо на стеблѣ.
Солнце-художникъ покрыло его золотистою краской,
Свѣтлыя капли, какъ жемчугъ, горятъ на головкѣ махровой;
Крѣпко прильнула къ нему хлопотливо-жужжащая пчелка,
Сокъ ароматный сбирая. А какъ забѣлѣлася ярко

*) См. „Примѣчанія“, стр. 20, № 17-й.

Гречка расцвѣтшая, чистой омытая влагой отъ пыли!
Издали кажется, снѣгъ это бѣлой лежитъ полосою.
Словно воздушный цвѣтокъ, стрекоза опустилась на колосъ;
Бѣдная! долго ждала она капли прозрачной изъ тучки.
Вышелъ сурокъ изъ норы своей темной; кругомъ оглянулся,
Сталъ осторожно на заднія лапки и слушаетъ: тихо...
Только кричитъ гдѣ-то перепелъ, и распѣваетъ овсянка;
Весело свистнулъ онъ и водицы напился изъ лужи.
Вотъ пожилой мужичокъ показался изъ лѣсу. Подъ мышкой
Держитъ онъ свѣжія лыки. Окинувши поле глазами,
Шляпу онъ снялъ съ головы, сѣдиной серебристой покрытой,
Тайно молитву творя, осѣнился крестомъ и промолвилъ:
«Экую радость послалъ намъ Господь — проливной этотъ дождикъ!
Хлѣбъ-отъ въ недѣлю поправится такъ, что его не узнаешь».

LXI *).

ЖЕНА ЯМЩИКА.

Жгучъ морозъ трескучій,
На дворѣ темно;
Серебристый иней
Запушилъ окно.

Тяжело и скучно,
Тишина въ избѣ;
Только вѣтеръ воетъ
Жалобно въ трубѣ,

И горитъ лучина,
Издавая трескъ,
Нá палати, стѣны
Разливая блескъ.

Дремлетъ подлѣ печки,
Прислонясь къ стѣнѣ,
Мальчуганъ кудрявый
Въ старомъ зипунѣ.

Слабо освѣщаетъ
Блѣдный огонекъ
Дѣтскую головку
И румянецъ щекъ.

Тѣнь его головки
На стѣнѣ лежитъ;
На скамьѣ, за прялкой
Мать его сидитъ.

*) См. „Примѣчанія“, стр. 20, № 18-й.

Ей не даромъ снился
Страшный сонъ вчера:
Вся душа изныла
Съ ранняго утра.

Пятая недѣля
Вотъ къ концу идетъ,
Мужъ что въ воду канулъ,
Вѣсточки не шлетъ.

«Ну, Господь помилуй,
Если съ мужикомъ
Грѣхъ какой случился
На пути глухомъ!...

«Дѣло мое бабье,
Цѣлый вѣкъ больна,
Что я буду дѣлать
Одиной-одна!

«Сынъ еще ребенокъ,
Скоро-ль подростетъ?
Бѣдный!... все гостинца
Отъ отца онъ ждетъ!...»

И глядитъ на сына
Горемыка-мать:
«Ты бы легъ, касатикъ,
Перестань дремать!»

— «А зачѣмъ же мама,
Ты сама не спишь,
И вечоръ все пряла,
И теперь сидишь?»

«Охъ, мой ненаглядный,
Прясть-то нѣтъ ужъ силъ:
Что-то такъ мнѣ грустно,
Божій свѣтъ не милъ!»

— «Полно плакать, мама!»
Мальчуганъ сказалъ
И къ плечу родимой
Головой припалъ.

— «Я не стану плакать.
Лягъ, усни, дружокъ;
Я тебѣ соломки
Принесу снопокъ,

«Постелю постельку,
И Господь пошлетъ —
Твой отецъ гостинецъ
Скоро привезетъ;

«Новыя салазки
Сдѣлаетъ опять;
Будетъ въ нихъ сыночка
По двору катать...»

И дитя забылось.
Ночь длинна — длинна...
Мѣрно раздается
Звукъ веретена.

Дымная лучина
Чуть въ свѣтцѣ горитъ,
Только вьюга какъ-то
Жалобнѣй шумитъ.

Мнится, будто стонетъ
Кто-то у крыльца,
Словно провожаютъ
Съ плачемъ мертвеца...

И на память пряхѣ
Молодость пришла,
Вотъ и мать-старушка,
Мнится, ожила.

Сѣла на лежанку
И на дочь глядитъ:
«Сохнешь ты, родная,
Сохнешь, говоритъ;

«Гдѣ тебѣ, голубкѣ,
За мужемъ-то жить,
Трудъ, порой рабочей,
Въ полѣ выносить!

«И въ кого родилась
Ты съ такимъ лицомъ?
Старшія-то сестры
Кровь, вѣдь, съ молокомъ!

«И разгульны, правда,
Нечего сказать,
Да за то имъ шутка
Молотить и жать.

«А тебя за разумъ
Хвалитъ вся семья,
Да любить-то... любитъ
Только мать твоя».

Вотъ въ сѣняхъ избушки
Кто-то застучалъ.
«Батюшка пріѣхалъ!»
Мальчуганъ сказалъ.

И вскочилъ съ постели,
Щеки ярче розъ.
«Батюшка пріѣхалъ,
Калачей привезъ!...»

— «Вишь морозъ какъ крѣпко
Дверь-то прихватилъ!»
Грубо гость знакомый
Вдругъ заговорилъ...

И мужикъ плечистый
Сильно дверь рванулъ,
На порогѣ съ шапки
Иней отряхнулъ.

Осѣнилъ три раза
Грудь свою крестомъ,
Почесалъ затылокъ
И сказалъ потомъ:

— «Здравствуешь, сосѣдка!
Какъ живешь, мой свѣтъ?...
Экая погодка,
Въ полѣ слѣду нѣтъ!

«Ну, не съ доброй вѣстью
Я къ тебѣ пришелъ:
Я лошадокъ вашихъ
Изъ Москвы привелъ».—

«А мой мужъ?» спросила
Ямщика жена,
И бѣлѣе снѣга
Сдѣлалась она.

— «Да въ Москву пріѣхавъ,
Вдругъ онъ захворалъ,
И Господь бѣднягѣ
По душу послалъ». —

Вѣсть, какъ громъ, упала...
И, едва жива,
Перевесть дыханья
Не могла вдова;

Опустивъ рученки,
Сынъ дрожалъ, какъ листъ...
За стѣной избушки
Былъ и плачъ, и свистъ.

— «Вишь, какая притча!»
Разсуждалъ мужикъ:
«Вѣрно, я не впору
Развязалъ языкъ.

«А, вѣдь, жалко бабу,
Что и говорить!
Скоро ей придется
По міру ходить!

«Полно горевать-то»,
Онъ вдовѣ сказалъ:
«Стало, неча дѣлать,
Богъ, знать, наказалъ!

«Ну, прощай покуда,
Мнѣ домой пора;
Лошади-то ваши
Тутъ вотъ у двора.

«Да!... вѣдь, эка память,
Все сталъ забывать:
Вотъ отецъ сынишкѣ
Крестъ велѣлъ отдать.

«Са́мъ онъ черезъ силу
Съ шеи его снялъ,
Въ грамоткѣ мнѣ отдалъ
Въ руки и сказалъ:

— «Вотъ благословенье
«Сыну моему;
«Пусть не забываетъ
«Мать скажи ему».

«А тебя-то, видно,
Крѣпко онъ любилъ.
По-смерть твое имя,
Бѣдный, онъ твердилъ».

LXII.

КУПЕЦЪ НА ПЧЕЛЬНИКѢ.

Межъ ульевъ, къ лѣску примыкая густому,
Подъ тѣнію гибкихъ березъ и ракитъ,
Недавно покрытая новой соломой,
Изба одинокая въ полѣ стоитъ.

Вкругъ ульевъ ветловый плетень. За избою
На толстыхъ столбахъ обветшалый навѣсъ;
Правѣе ворота съ одной вереею,
А далѣе поле, дорога и лѣсъ.
И какъ хорошо это поле! Вотъ гречка
Межъ рожью высокой и спѣлымъ овсомъ
Бѣлѣется ярко, что́ млечная рѣчка;
Вотъ стелется просо зеленымъ ковромъ,
Склоняяся къ почвѣ густыми кистями;
Съ нимъ рядомъ желтѣетъ овесъ золотой,
Красиво качая своими кудрями;
А воздухъ струится прозрачной волной,
И солнце такъ ярко, привѣтно сіяетъ!
Вонъ коршунъ лукавый надъ рожью плыветъ,
Вдали колокольчикъ звенитъ, замираетъ,
И міръ насѣкомыхъ немолчно поетъ.

Близь пчельника, въ полѣ, подъ тѣнью ракиты,
Съ купцомъ и сватами пчелинецъ сидитъ,
Широкая лысина шляпой покрыта,
Глаза его мутны, лицо все горитъ:
Лежатъ на щекахъ загорѣлыхъ морщины,
И просѣдь бѣлѣетъ въ его волосахъ,
Рубашка на немъ изъ крученой холстины,
А ноги въ онучахъ и новыхъ лаптяхъ.
Съ нимъ рядомъ бесѣдуютъ три его свата:
До плечъ изъ-подъ шапокъ ихъ кудри висятъ,
Всѣ въ синихъ рубахахъ, на шапкахъ заплаты,
Всѣ пылью покрыты съ лица и до пятъ.
Предъ ними, на бѣлой разостланной тряпкѣ,
Ведро деревянное съ квасомъ стоитъ,
Желтѣется медъ въ неокрашенной чашкѣ *)

*) Въ свободное время, любимое занятіе пчелинцевъ, кромѣ починки старыхъ ульевъ, выдѣлка изъ дерева чашекъ, ложекъ и т. п. Эти произведенія, разумѣется, самой грубой работы.

И чернаго хлѣба краюха лежитъ.
Напротивъ пчелинца, въ поддевкѣ суконной,
Въ жилетѣ и въ плисовыхъ черныхъ штанахъ,
Купецъ темнорусый на травкѣ зеленой
Сидитъ, подбоченясь, съ бутылкой въ рукахъ.
Подалѣе, въ кичкѣ, въ цвѣтномъ сарафанѣ *),
Невѣстка пчелинца, нагнувшись, стоитъ
И съ саломъ свинымъ, на чугунномъ таганѣ,
Яичницу въ глиняной чашкѣ варитъ **).
Лѣвѣй, по дорогѣ, близь ивы тѣнистой,
Двѣ лошади подлѣ повозокъ стоятъ,
И два медолома во ржи золотистой,
Позавтракавъ, трубки лѣниво курятъ.
Безоблачно небо; безлюдно все поле;
Лишь пчелы жужжатъ, не смолкая, кругомъ,
Да громко, подъ тѣнью ракитъ, на просторѣ,
Ведутъ мужички свои рѣчи съ купцомъ.

1-й сватъ.

Нѣтъ, ты ужъ на свата, купецъ, положися:
Вѣдь, онъ не захочетъ душою кривить;
Давай-ка задатокъ, да Богу молися,
Товаръ то-же золото, можно купить.

Пчелинецъ.

Не знаю я, сватушка, хитрыхъ уловокъ;
Да мой и родитель-то былъ не таковъ.
Ты видишь, что за десять лучшихъ колодокъ ***)
Всего-то я выпросилъ триста рублевъ.

---

*) Продажа меду у мужичка-пчельника считается праздникомъ. Въ это время онъ приглашаетъ родныхъ и знакомыхъ погулять на счетъ покупателя, и бабы надѣваютъ тогда лучшее платье.

**) Яичница—любимое полевое кушанье деревенскихъ пчелинцевъ.

***) Улей и колодка имѣютъ одно и то-же значеніе.

КУПЕЦЪ.

Эхъ, скупъ ты, Кудимычъ! грѣшишь противъ Бога!
Знать, вздумалъ на старости въ кладъ собирать.
И двадцать цѣлковыхъ по-моему много:
Вѣдь, было-бъ и мнѣ изъ чего хлопотать.

2-Й СВАТЪ.

Вѣстимо, гдѣ польза, легка и работа,
Я помню, говаривалъ кумъ мой Сысой:
Родись только просо, косить не забота,
Семья будетъ съ кашей, хозяинъ съ казной.

ПЧЕЛИНЕЦЪ

Да, сватушка, любо на свѣтѣ съ казною,—
А я вотъ на старости лѣтъ обѣднѣлъ;
Лишился дѣтишекъ, да вотъ и съ женою
Жить вмѣстѣ не долго Господь мнѣ велѣлъ.
Невѣстка, ты знаешь, зимой овдовѣла:
Самъ старъ: и пахать, и косить ужъ не въ мочь;
Тутъ горе—избушка недавно сгорѣла;
Одна мнѣ утѣха осталася—дочь.
Господь дастъ, голубушку къ мѣсту пристрою
(А ей наступилъ девятнадцатый годъ),
Тогда и глаза я покойно закрою.
Да денегъ-то нѣтъ: вся надежда на медъ.

КУПЕЦЪ.

Э, полно грустить-то... А лучше, Кудимычъ,
Давай-ка вотъ выпьемъ по чаркѣ одной!

ПЧЕЛИНЕЦЪ.

Спасибо, родимой мой, Яковъ Данилычъ!
Премного доволенъ, спасибо, родной!

КУПЕЦЪ.

Да кушай, дружище! Зачѣмъ тутъ считаться?
Сторгуемся,— ладно, а нѣтъ,— не порокъ;
Мнѣ стыдно отказомъ твоимъ обижаться:
Я знаю тебя ужъ не первый годокъ.

ПЧЕЛИНЕЦЪ.

Да какъ же! Еще твой родитель покойный
Лѣтъ двадцать со мной по пріятельски жилъ.
Вотъ былъ человѣкъ-то! Ужъ этакой скромный!
А какъ онъ моихъ ребятишекъ любилъ!
За то, коли бабы порой посмѣются
И скажутъ бывало: «вонъ ѣдетъ купецъ!»
Ребята мои его ждутъ, не дождутся,
Глядятъ на дорогу,— и играмъ конецъ.
Душа былъ покойникъ!... Повѣришь, бывало,
Полсотни колодокъ онъ купитъ съ двухъ словъ.

КУПЕЦЪ.

Я самъ не охотникъ болтать, что попало.
Да что-жъ, вѣдь, десятокъ не триста-жъ рублевъ?

ПЧЕЛИНЕЦЪ.

Ну, двадцать пять сбавлю: оно дешевенько,
Да надо тебѣ дать копѣйку нажить!

КУПЕЦЪ.

Спасибо, Кудимычъ. Испей-ка маленько!
Успѣемъ поладить: куда намъ спѣшить!

ПЧЕЛИНЕЦЪ.

Я выпью; гляди только, Яковъ Данилычъ,
Чтобъ дѣло покончить по совѣсти намъ!

КУПЕЦЪ.

По совѣсти кончимъ. Ну, кушай, Кудимычъ!
Покамѣстъ, я, кстати, налью и сватамъ.

2-й СВАТЪ

Вотъ добрый купецъ-атъ! Вишь, какъ угощаетъ!
Люблю за обычай!... А что сватъ, Иванъ,
Мнѣ кажется, день померкать начинаетъ
И по полю ходитъ какой-то туманъ?

3-й СВАТЪ.

Въ глазахъ, вѣрно, сватъ, у тебя потемнѣло:
На полѣ идетъ все своимъ чередомъ.
Туманъ, или ясно,—не важное дѣло...
Вотъ пчельникъ-то ходитъ немного кругомъ!

КУПЕЦЪ.

Послушай, Пахомовна, что тамъ хлопочешь?
Поди-ка сюда, побесѣдуй со мной;
Ты, видно, меня и привѣтить не хочешь,
Какъ-будто мы вовсе чужіе съ тобой.

ПАХОМОВНА.

И, что ты! коли я тебя забывала?
Хозяйкѣ грѣшно про гостей забывать.
Я все за яичницей тамъ хлопотала:
Дрова-то сырыя, совсѣмъ не горятъ.

КУПЕЦЪ.

Небось, загорятся: закуска не къ сроку.
Ты на-ка вотъ чарочку выпей пока;
А я, вѣдь, тебѣ приготовилъ обновку,—
Кусокъ миткалю и два красныхъ платка.

Съ меня ты червонцы всегда получаешь *),
Съ другаго и лыками всѣхъ не возьмешь».

Пахомовна ложки межъ тѣмъ разложила,
Холоднаго квасу въ ведро подлила,
Поближе гостей всѣхъ присѣсть пригласила
И въ чашкѣ яичницу имъ подала.
И, весело гуторя, около чашки
Сваты и пчелинецъ усѣлись въ кружокъ;
Разгладили бороды, скинули шапки
И каждый взялъ ложку и хлѣба кусокъ,
И дружно обѣдъ свой они продолжали.
Но хмѣльный пчелинецъ не ѣлъ и молчалъ;
Глаза старика черезъ-силу моргали.
И носъ его въ воздухѣ что-то клевалъ.
Купецъ и Пахомовна рядомъ сидѣли,
И глазъ не сводилъ съ нея ловкій сосѣдъ,
И щеки молодки румянцемъ горѣли...
Вотъ медомъ окончился сытный обѣдъ.

— «Спасибо за хлѣбъ-соль и ласку, Кудимычъ»,
Сваты говорили и силились встать.
«Спасибо тебѣ тоже, Яковъ Данилычъ,
Довольны, родимый: ужъ неча сказать!» —

«Не стоитъ, сваточки: вы вовсе не ѣли»,
Сватамъ, спотыкаясь, пчелинецъ сказалъ:
«А чтòбы одну вы мнѣ пѣсенку спѣли;
Я пѣсенъ, признаться, давно не слыхалъ!
— «Ну, что же, Кудимычъ, какъ будемъ мы ладить?»

*) Мужики степныхъ губерній почитаютъ для себя величайшею обидою, если имъ платятъ за какой-либо товаръ разорванными билетами или старою серебряною монетою.

Смотри же, какъ съ свекромъ-то ладить я буду,
Такъ ты, молодица, меня поддержи;
А я и въ другой разъ тебя не забуду;
Теперь лишь по прежнему мнѣ послужи.

Поморщившись, баба стаканъ осушила
И вытерла губы слегка рукавомъ,
Намазала меду на хлѣбъ, закусила
И бойко промолвила свекру потомъ:
«Зачѣмъ у васъ, батюшко, дѣло-то стало?
Уважь коли можно, купецъ-атъ хорошъ;
Иной нападетъ, вѣдь, такой тряпыхало,
Пожалуй, и денегъ гроша не возьмешь.
Вотъ прошлое лѣто, у свата Степана,
Какой-то проѣзжій его подпоилъ,
А послѣ, мошенникъ, надѣлалъ изъяну,
И къ вечеру слѣдъ его въ полѣ простылъ».

— «Ты сущую правду сказала про свата»,
Поднявшись, пчелинецъ съ трудомъ бормоталъ,
«Купцы надуваютъ, вѣдь, нашего брата,—
Я самъ этотъ грѣхъ на себѣ испыталъ.
Ну, слушай же Яковъ Данилычъ! Вотъ видишь,—
Признаться, ей-Богу въ умѣ не было,
За то, что въ разсчетѣ меня не обидишь,
Долой семь цѣлковыхъ! куда что ни шло!»—

«Нѣтъ, такъ не придется. Я радъ бы душою,
Да слишкомъ, любезный, цѣна высока,
Ты, видно, не хочешь поладить со мною,
А ждешь къ себѣ въ гости купца-кулака?
Что-жъ? — Вольному воля; пожалуй, какъ, знаешь,
Но только такого, какъ я, не найдешь:

Платкомъ утираясь, промолвилъ купецъ:
«Нельзя ли съ цѣны твоей что-нибудь сбавить?
Скажи покороче, — и дѣлу конецъ».

«Да вотъ что, кормилецъ, я сбавлю немного:
Ты хочешь мнѣ двѣсти и двадцать отдать?
Не то, — такъ ступай себѣ... вонъ и дорога!
Я больше не стану съ тобой толковать».

— «Сто двадцать!... упрямъ ты маленько,
Кудимычъ!»
Какъ-будто обидясь, купецъ повторилъ.

«Сто двадцать! Сто двадцать! какъ знаешь,
Данилычъ!
Ни гроша не сбавлю, — и такъ уступилъ!» [1])

— «Ну, вѣрно, часъ добрый! помолимся Богу!
Куплю хоть въ убытокъ, на зло кулакамъ!...»
И, синій картузъ приподнявши немного,
Съ пчелинцемъ ударилъ купецъ по рукамъ.
«Да только, братъ, вотъ что: вѣдь, я покупаю
На Божію волю, на милость твою,
И если я ульи плохіе сломаю,
Поправь, ради дружбы, ошибку мою».

«Не бойся, родимый, обиды не будетъ...
Родитель мой по смерть всегда говорилъ:
Будь честенъ, Ванюшка, Господь не забудетъ,
Гляди, чтобъ ты никого не забылъ».

[1]) Подобнаго рода продѣлки нѣкоторыми покупателями меду употребляются нерѣдко. Пьяный пчелинецъ безсознательно повторяетъ слова купца, и, что всего удивительнѣе, опять остается его пріятелемъ: проспавшись, бѣднякъ не помнитъ ничего, сочтетъ вырученныя за медъ деньги и скажетъ: „Эхъ, дешевенько я отдалъ медъ этому купцу: ну, видно его счастье!“

— «Давайте, ребята, проворнѣй кадушку!» [1])
Работниковъ кликнувъ, купецъ имъ сказалъ:
«Да кстати сейчасъ же зажгите курушку [2])
И вмѣстѣ съ ножемъ не забудьте рѣзецъ; [3])
Теперь ужъ позволь намъ, хозяинъ, за дѣло,
И тотчасъ ребята работу начнутъ».

«Часъ добрый, часъ добрый! работайте смѣло!
Пускай себѣ съ Богомъ на пчельникъ идутъ».

И вотъ медоломы къ труду приступили.
Купецъ мужичковъ продолжалъ угощать,
И вновь даровое вино они пили,
И стали съ покупкой купца поздравлять.
Но праздникъ былъ полный для свата Ивана:
Смекнувъ, что безъ дѣла сидѣть не рука,
Досталъ онъ жилейку свою изъ кармана
И, кашлянувъ, началъ играть трепака.
Не долго Пахомовна смирно сидѣла,
Ей сватова пѣсня знакома была. —
Въ красавицѣ-бабѣ вся кровь закипѣла
И, вставши, плясать она бойко пошла;
И крѣпко подъ тактъ застучала котами,
Рукой подбоченяся, грудью впередъ,
И тихо вокругъ поводила глазами,
И градомъ катился съ лица ея потъ.

«Спасибо, невѣстка, воскликнулъ Кудимычъ:
Всему свое время—гулять, такъ гулять!...
Какъ думаешь, батюшка, Яковъ Данилычъ,
Такого намъ праздника долго, вѣдь, ждать?»

---

1) Въ кадушку кладется медъ, вынутый изъ улья
2) Курушкою медоломы подкуриваютъ пчелъ.
3) Большой ножъ и рѣзецъ (острый желѣзный крюкъ) необходимы при очищенiи улья.

— «Катай! и моя не щербата копѣйка!»
Вскочивъ и шатаясь, сватъ Карпъ закричалъ:
«Ну что-жъ ты тамъ дремлешь съ своею жилейкой?
Играй веселѣе, коли заигралъ!»
И, свистнувъ, онъ крѣпко притопнулъ ногами,
Хватилъ о-земь шапку, подперся въ бока,
Тряхнулъ молодецки густыми кудрями,—
И началъ въ присядку плясать трепака.
И долго со звукомъ жилейки сливался
И свистъ его звонкій, и стукъ сапоговъ...
На пляску съ улыбкой купецъ любовался
И думалъ: «ну, разъ я надулъ мужичковъ,
Не дурно-бъ теперь и въ другой постараться».
Межъ тѣмъ подошелъ ужъ одинъ медоломъ...

«Ну что, братъ: успѣли-ли съ медомъ убраться?»
Хозяинъ работнику молвилъ тишкомъ.

— «Вотъ, есть о чемъ думать! вѣдь, намъ не учиться!
Ну, польза, хозяинъ, отъ меду придетъ:
Полтиною можно на рубль поживиться;
Всѣ ульи на выборъ... отличнѣйшій сортъ!»

«Ступай же, тамъ все убери хорошенько;
Мы скоро поѣдемъ», купецъ отвѣчалъ.
«Ну, что, другъ Кудимычъ! Вѣдь, дѣло плохонько:
Ты медомъ-то крѣпко меня наказалъ!
Не дай ужъ въ обиду, — прибавь двѣ колодки...
Такая досада! и самъ я не свой!»

— «Охъ, нѣтъ-ли родимый, какой тутъ уловки?»
Кудимычъ сказалъ, покачавъ головой.

«Какой-же уловки?... Я развѣ мошенникъ?
Ты, стало-быть, хочешь меня обижать?»

—«Ей-Богу, не думалъ!... пойдемъ-ка на пчельникъ:
Колодку сверхъ счета не шутка отдать».—
Купецъ говорилъ, что одной маловато,
Но твердо пчелинецъ стоялъ на своемъ
И тутъ-же сослался на перваго свата,
Примолвивъ: «мы знаемъ, вѣдь, дѣло-то въ чемъ!»
Насилу упрямый купецъ согласился,
Пчелинцу сто двадцать рублей отсчиталъ,
И честью своей передъ нимъ похвалился
И шляпу въ подарокъ ему обѣщалъ *).

И, вотъ, всѣ на пчельникъ отправились вмѣстѣ.
Пахомовна въ тряпку посуду взяла,
И только на прежнемъ, оставленномъ мѣстѣ
Дымился огонь и бѣлѣла зола.
Толкая другъ-друга, махая руками,
Сваты охмѣлѣвшіе медленно шли,
И пыль загребали съ дороги ногами,
И подъ руки свата-пчелинца вели.

«Ну, вотъ когда вдоволь мы всѣ погуляли!»
Сватамъ, съ разстановкой, старикъ говорилъ:
«Вишь дѣло какое... и медъ мы продали,
И шляпу мнѣ добрый купецъ посулилъ.
Вотъ праздникъ-то Богъ далъ!.. Теперь я съ казною...
Еще десять ульевъ послѣднихъ продамъ;
Построю избушку... и дочку зимою
За парня хорошаго за-мужъ отдамъ...

*) Подарить пчелинцу рукавицы или шляпу каждый покупатель считаетъ своею обязанностію.

Постойте... постойте... вѣдь, я и забылся...
Эхъ, то-то, вѣдь, старому пить не рука!
Я, кажется, съ вами, за что-то бранился?...
Простите, родные, меня старика!»

«Да что ты, Кудимычъ!» сваты отвѣчали:
«Не грѣхъ-ли объ этомъ тебѣ говорить,
Коли мы отъ тебя обиду видали?
Намъ по-вѣкъ родимый тебя не забыть»,
Сватъ Карпъ говорилъ, головою кудрявой качая,
И, старую шапку назадъ заломивъ,
Съ открытою грудью шелъ, пѣснь напѣвая:

«Эхъ, воля моя, молодецкая воля!
Не надолго, вѣрно, была ты дана:
Сгубила тебя горемычная доля,
На вѣкъ погубила злодѣйка-жена!
Какъ вспомнишь ту волю,— слеза навернется,
И съ горя-бъ на свѣтъ, на людей не глядѣлъ!
Да видно—живи, молодецъ, какъ живется,
Когда свое счастье беречь не умѣлъ!»

И долго сваты на дорогѣ шумѣли...
Но силы остатокъ имъ сталъ измѣнять:
Ихъ очи безъ цѣли и мысли глядѣли,
И рѣчи ихъ трудно ужъ было понять.
До пчельника кой-какъ съ трудомъ дотащившись,
Межъ ульевъ бродили они съ полчаса
И всѣ, наконецъ, на траву повалившись,
Въ тяжелой дремотѣ закрыли глаза.
И все пріутихло... Одинъ лишь Кудимычъ,
Порою, невнятно, сквозь сонъ бормоталъ:

«Сто двадцать... сто двадцать... какъ знаешь
Данилычъ!
Ни гроша не сбавлю... Я сразу сказалъ».

Садилося солнце. Волнистыя нивы
Горѣли румянцемъ. Весь западъ пылалъ.
Чуть слышно шептали зеленыя ивы;
Вечернею прохладою воздухъ дышалъ.
Очистивши улей, подарокъ пчелинца,
Купецъ отдалъ бабѣ миткаль и платки,
Примолвивъ: «Ну, вотъ тебѣ вдругъ три гостинца,
Носи, не жалѣй, съ моей легкой руки;
У тебя, вѣдь, обновокъ, я думаю, мало?»

— «Охъ, мало, касатикъ! откуда ихъ взять?
Намъ, послѣ пожара, какъ лѣто настало,
И хлѣбъ-то пришлось у людей занимать!
Теперь хоть отъ меду копѣйка собьется, —
Старикъ не минуетъ избушку купить;
А дочь-то опять жениха не дождется...
Да, плохо, кормилецъ мой, стало намъ жить!
Я думаю въ городъ... въ кухарки наняться...
Не-то похоронимъ, глядишь, старика,
Дочь станетъ въ селѣ безъ пріюта шататься,
И я-то останусь тогда безъ куска...»

— «Эхъ, жаль», купецъ думалъ: «дѣла въ безпорядкѣ...
Въ другой разъ тутъ нечего будетъ купить.
Ну, если-бъ я зналъ, что пчелинецъ въ упадкѣ, —
Мнѣ въ мутной водѣ рыбу легче-бъ ловить...»

Межъ-тѣмъ ужъ коней запрягли медоломы;
Купецъ сѣлъ въ повозку, картузъ приподнялъ,

Слегка поклонился молодкѣ знакомой
И тронуть своихъ лошадей приказалъ.
И лошади крупною рысью пустились,
На уздахъ раздался бубенчиковъ звукъ,
И спицы тяжелыхъ колесъ закружились,
И пыль за повозками встала вокругъ...
Вотъ кони, исчезнувъ за пылью густою,
Еще на горѣ показалися разъ,
Свернули налѣво и вдругъ, за горою,
Въ глубокой лощинѣ пропали изъ глазъ.

LXIII *).

НЕУДАЧНАЯ ПРИСУХА.

Ударъ за ударомъ,
Полуночный громъ,
Полнеба пожаромъ
Горитъ надъ селомъ.

И дождь поливаетъ,
И буря шумитъ,
Избушку шатаетъ,
Въ оконце стучитъ.

Ночникъ одиноко
Въ избушкѣ горитъ;
На лавкѣ широкой
Кудесникъ сидитъ.

---

*) См. „Примѣчанія“, стр. 22, № 19-й.

Сидитъ онъ — колдуетъ
Надъ чашкой съ водой,
То на воду дуетъ,
То шепчетъ порой.

На лбу бороздами
Морщины лежатъ,
Глаза подъ бровями,
Какъ угли горятъ.

У притолки парень
Въ халатѣ стоитъ:
Онъ, блѣдный, печаленъ
И въ землю глядитъ.

Лицо некрасиво,
На видъ простоватъ,
Но сложенъ на диво
Отъ плечъ и до пятъ.

«Ну, слушай: готово!
Хоть трудъ мой великъ»,
Промолвилъ сурово
Кудесникъ-старикъ:

«Я сдѣлаю дѣло:
Красотка твоя
И душу, и тѣло
Отдастъ за тебя!

«Ты самъ ужъ, вѣстимо,
Зѣвать — не зѣвай:
Безъ ласки ей мимо
Пройти не давай...»

— Спасибо кормилецъ!
За все заплачу;
Поможешь, — гостинецъ
Съ поклономъ вручу.

«Крупы, коли скажешь,
Мѣшокъ — ни-почемъ!
А денегъ прикажешь,—
И деньги найдемъ».

И съ радости дома
Такъ парень мой спалъ,
Что бури и грома
Всю ночь не слыхалъ.

Пять дней пролетѣло...
Вотъ разъ вечеркомъ,
На лавкѣ, безъ дѣла
Лежитъ онъ ничкомъ,

На крѣпкія руки
Припавъ головой,
Колотитъ отъ скуки
Объ лавку ногой,

И вдругъ повернулся,
Плечо почесалъ,
Зѣвнулъ, потянулся
И громко сказалъ:

—«Слышь, матушка! баютъ,
У насъ въ деревняхъ
Вишь доки бываютъ,—
И вѣрить-то страхъ!

«Кого, вишь, присушатъ,
Не милъ станетъ свѣтъ:
Тоска такъ и душитъ!..
Что — правда, аль нѣтъ?»

«Бываютъ, вѣстимо»,
Отвѣтила мать:
«Не дай Богъ, родимый,
Ихъ видѣть и знать!...»

—«Ну, правда, такъ ладно!»
Сынъ думалъ: «дождусь!..
Эхъ, жить буду славно,
Коли я женюсь!..»

Но, видно, напрасно
Кудесникъ шепталъ
И дѣвицѣ красной
Тоской угрожалъ.

Другаго красотка
Любила тайкомъ
За пѣсни походку
И кудри кольцомъ...

А парень гуляетъ:
Какъ праздникъ придетъ,
Лицо умываетъ
И гребень беретъ,

И кудри направо,
Налѣво завьетъ,
Подумаетъ: «браво!»
И пальцемъ щелкнетъ.

Какъ снѣгъ въ чистомъ полѣ,
Рубашка на немъ,
Кумачъ на подолѣ
Краснѣетъ огнемъ.

На шляпѣ высокой,
Межъ плисовыхъ лентъ,
Горитъ одиноко
Витой позументъ.

Онучи обвиты
Кругомъ бичевой,
И лапти прошиты
Суровой пенькой.

Тряхнетъ волосами,
Идетъ въ хороводъ.
«Ну, вотъ, дескать, нами
Любуйся народъ!»

Какъ встрѣтился съ милой,—
Ни словъ, ни рѣчей;
Что въ памяти было,—
Забылъ, хоть убей!

Вдругъ правда, случайно,
До парня дошла:
Ужъ дѣвкина тайна
Не тайной была...

Вся кровь закипѣла
Въ бѣднягѣ... «Такъ вотъ,
Онъ думалъ, въ чемъ дѣло!
Кудесникъ-атъ вретъ.

«Не грѣхъ ему палкой
Бока обломать
Обманщику... жалко
Мнѣ руки марать!»

И два дни, угрюмый,
Убитый тоской,
Все думалъ о́нъ думу
Въ избушкѣ родной.

На третій, лишь только
Отправилась мать
На рѣчку въ ведерко
Водицы набрать,

Съ гвоздя торопливо
Котомку онъ снялъ;
«Пойду, молъ!...» и живо
Ремни развязалъ.

Въ тряпицѣ рубашку
Въ нее положилъ,
И съ ложкою чашку
Туда-жъ опустилъ,

Халатъ для дороги
Про непогодь взялъ...
Мать входитъ; онъ въ ноги
Ей палъ и сказалъ:

«Ну, матушка, горько,
Признаться, идти
Съ родимой сторонки...
А видно, прости!»

Мать такъ и завыла:
«Касатикъ ты мой!
Ахъ, крестная сила!
Что это съ тобой?»

— «Да что тутъ мнѣ биться,
Какъ рыбѣ объ ледъ!
Пойду потрудиться,
Что Богъ ни пошлетъ.

«И тутъ жилъ трудами,
Талана, вишь, нѣтъ...»
Старушка руками
Всплеснула въ отвѣтъ:

«Да какъ же подъ старость
Мнѣ жить-то одной?
Вѣдь, ты моя радость,
Кормилецъ родной!»

И къ сыну припала
На грудь головой
И все повторяла:
«Кормилецъ родной!»

Сынъ крѣпко рукою
Хватилъ себя въ лобъ,
И думалъ съ собою:
«Прямой остолопъ!»

«Ну, вотъ тебѣ, здравствуй!...
Наладилось мнѣ:
Иди, малый! царствуй
Въ чужой сторонѣ!

«А, стало, — старушкѣ
Одной пропадать?
Казны-то полушки
Ей негдѣ достать».

И парень украдкой
Лицо отвернулъ
И старую шапку
На лавку швырнулъ.

— «Ну, полно родная!
Я въ шутку... пройдетъ...
Все доля дурная...
Наука впередъ!»

Румяное солнце
Къ полямъ подошло,
Въ избушкѣ оконце
Огнемъ залило.

Румянецъ, золотитъ
Лѣсокъ въ сторонѣ.
Мой парень молотитъ
Овесъ на гумнѣ.

Тяжелыя муки
Въ душѣ улеглись:
Могучія руки
За трудъ принялись.

Цѣпъ такъ и летаетъ,
Какъ молнія жжетъ,
На снопъ упадаетъ,
По колосу бьетъ.

Богъ помочь, дѣтина!
Давно-бъ такъ пора!...
Далой ты кручина,
Долой со двора!

LXIV.

БУРЛАКЪ.

Эхъ, пріятель, и ты, видно, горе видалъ,
Коли плачешь отъ пѣсни веселой!
Нѣтъ, послушай-ка ты, что́ вотъ я испыталъ,
Такъ узнаешь о жизни тяжелой!
Девятнадцати лѣтъ, послѣ смерти отца,
Я остался одинъ сиротою;
Дочь сосѣда любила меня молодца.
Я женился, — и зажилъ съ женою!
Словно счастья на дворъ мнѣ она принесла,—
Дай Богъ царство небесное бѣдной! —
Ужъ такая-то, братецъ, хозяйка была,—
Дорожила полушкою мѣдною!
Въ зимній вечеръ, бывало, лучину зажжетъ
И прядетъ себѣ, глазъ не смыкаетъ;
Пѣтухи пропоютъ,— ну, тогда отдохнетъ
И приляжетъ; а чуть разсвѣтаетъ,—
Ужъ она на ногахъ: поглядишь, — побѣжитъ
И овцамъ, и коровамъ дастъ корму,
Печь истопитъ, и снова за прялкой сидитъ,
Или что прибираетъ по дому.
Лѣтомъ рожь станетъ жать, иль снопы подавать
Съ земи на возъ, — и горя ей мало.
Я, бывало, скажу: «не пора-ль отдыхать?»
— «Ничего, говоритъ, не устала».—

Иногда ей случится обновку купить
Для утѣхи, такъ скажетъ: «напрасно!
Мы безъ этого будемъ другъ-друга любить,
Что̀ ты тратишься, соколъ мой ясный!»
Какъ въ раю съ нею жилъ!.. Да не намъ, вѣрно, знать,
Гдѣ и какъ насъ кручина застанетъ!
Улеглася жена въ землю на-вѣки спать...
Вспомнишь,— жизнь не мила тебѣ станетъ!
Вся надёжа была,— словно вылитый въ мать,
Темнорусый красавецъ-сынишка.
По складамъ ужъ псалтирь было началъ читать...
Думалъ: «выйдетъ, молъ, въ люди мальчишка!»
Да не то ему Богъ на роду написалъ:
Заболѣлъ отъ чего-то весною,—
Я и бабокъ къ нему, знахарей призывалъ
И поилъ наговорной водою,
Обѣщалъ рублевую свѣчку купить,
Предъ иконою въ церкви поставить,—
Не услышалъ Господь... и пришлось положить
Сына въ гробъ, на кладбище отправить...
Было горько мнѣ, другъ, въ эти черные дни!
Опустились совсѣмъ мои руки!
Стали хлѣбъ убирать,— въ полѣ пѣсни, огни,
А я сохну отъ горя и скуки!
Снѣга перваго ждалъ: я продамъ, молъ, вотъ рожь,
Справлю сани, извозничать буду,—
Вдругъ,— бѣда за бѣдой,— на скотину падежъ...
Чай, по гробъ этотъ годъ не забуду!
Кой-какъ зиму провелъ; вижу,— честь мнѣ не та:
То на сходкѣ иной посмѣется;
«Дескать,— всякая вотъ что-ни-есть мелкота
Тоже въ дѣло мірское суется!»
То бранятъ за глаза: «не съ его-де умомъ
Жить въ нуждѣ: видишь, какъ онъ лѣнится;

Нѣтъ, по нашему такъ: коли быть молодцомъ,
Не тужи, хоть и горе случится!»
Образумилъ меня людской смѣхъ, разговоръ;
Видно, Богъ свою помочь мнѣ подалъ!
Запросилась душа на широкій просторъ...
Взялъ я паспортъ, подушное отдалъ...
И пошелъ въ бурлаки. Разгуляли тоску
Волги-матушки синія волны!..
Коли отдыхъ придетъ, — на крутомъ бережку
Разведешь огонекъ въ вечеръ темный,
Изъ товарищей пѣсню одинъ заведетъ,
Тѣ подхватятъ, — и въ мигъ встрепенешься,
Съ головы и до ногъ жаръ и холодъ пойдетъ,
Слезы сдержишь, — и самъ тутъ зальешься!
Непогода-ль случится, и вдругъ посѣтитъ
Мою душу забытое горе, —
Есть разгулъ молодцу: Волга съ шумомъ бѣжитъ
И про волю поетъ на просторѣ;
Ретивое забьется, — и вспыхнешь огнемъ!
Осень, холодъ, — не надобна шуба!
Сядешь въ лодку, — гуляй! размахнешься весломъ,
Силой съ бурей помѣряться любо!
И летишь по волнамъ, только брызги кругомъ...
Крикнешь: «ну, теперь Божія воля!
Коли жить, — будемъ жить, умереть, — такъ умремъ!»
И въ душѣ словно не было горя!

LXV.

Подлѣ рѣки одиноко стою я подъ тѣнью ракиты;
Свѣтъ ослѣпительный солнца скользитъ по широкимъ уступамъ
Горъ мѣловыхъ, будто снѣгомъ не тающимъ плотно покрытыхъ;
Въ зелени яркой садовъ, подъ горою, бѣлѣются хаты;
Бродятъ лѣниво вдоль луга стада, — и по пыльной дорогѣ
Тянется длинный обозъ; погоняя воловъ утомленныхъ,
Тихо идутъ чумаки, и одинъ черномазый хохленокъ
Спитъ крѣпкимъ сномъ на возу, беззаботно раскинувши руки.
Поглядите налѣво: о, Боже, какая картина!
Влага прозрачная, кажется, дышетъ, разлившись широко!
Синее небо и бѣлыя тихо плывущія тучки,
Бéрега желтый песокъ, неподвижнаго лѣса вершины,
Тонкій пушистый камышъ, и рыбакъ, опускающій сѣти, —
Все отразилось въ стеклѣ этой влаги такъ живо и ясно,
Что вдохновенный художникъ съ своею волшебною кистью,
Смѣлый поэтъ съ своимъ словомъ послушнымъ сознали-бъ здѣсь оба
Жалкую бѣдность искусства предъ жизнію вѣчной природы!...

Съ перваго взгляда все кажется просто, но сколько
тутъ силы,
Жизни, величія, новыхъ предметовъ для пѣсенъ
и думы...
Слышишь ли эти немолчные звуки серебряной влаги?
Что она хочетъ сказать? не разгула ли проситъ
и воли?
Иль на своемъ языкѣ непонятномъ и годы, и вѣки
Вторитъ свободно торжественный гимнъ вездѣсу-
щему Богу?
Есть-ли таинственный смыслъ въ этомъ говорѣ
вѣтра съ листами?
Я-ли одинъ созерцаю присутствіе Бога въ твореньи,
Иль надо мною здѣсь духи витаютъ незримой
толпою,
Жизнію, мнѣ незнакомой, живутъ, и доступенъ
имъ лучшій,
Полный прекраснаго, міръ съ его тайнами, силой
и славой?
Видно, не чуждъ онъ и мнѣ: будто что-то родное
я слышу
Въ шопотѣ вѣтра съ травою и въ говорѣ волнъ
подъ ногами.
Вижу на каждомъ шагу своемъ тайны; но сладко
мнѣ думать:
Въ царствѣ природы не лишній я гость съ моей
думой и пѣсней.

LXVI.

ЛѢСНИКЪ И ЕГО ВНУКЪ.

«Дѣдушка, дѣдушка! Вотъ я чудесъ-то когда насмотрѣлся!
Пѣсней наслушался всякихъ!... и вспомню, такъ сердце забьется.
Утромъ я сѣлъ на полянѣ подъ дубомъ и сталъ дожидаться,
Скоро-ли солнышко встанетъ. Въ лѣсу было тихо, такъ тихо,
Словно все замерло... Вижу я, — тучки на небѣ алѣютъ —
Больше да больше, — и солнышко встало! Какъ будто пожаромъ
Лѣсъ освѣтило! Цвѣты на полянѣ, — листы на деревьяхъ, —
Ожило все, засіяло... ну, точно смѣется сквозь слезы
Божьей росы!... Сквозь просѣку увидѣлъ я чистое поле:
Яркимъ румянцемъ покрылось оно, а пары поднимались
Выше и выше, и золотомъ тучки отъ солнца горѣли.
Богъ вѣсть, кто строилъ изъ тучекъ мосты, колокольни, хоромы,
Горы какія-то съ мѣдными шапками... Диво и только!
Глянулъ я вверхъ: надо мною на вѣткахъ была паутина, —
Мнѣ показалось, серебряной сѣти я вижу узоры.

Самъ-то паукъ длинноногій, какъ умный хозяинъ, поутру
Вышелъ, работу свою осмотрѣлъ и двѣ ниточки новыхъ
Бойко провелъ, да и скрылся подъ листикомъ,— вотъ ужъ лукавый!...
Вдругъ на сухую березу сѣлъ дятелъ и носикомъ длиннымъ
Началъ стучать, будто вымолвить хочетъ: «проснитеся, сони!»
Слышу: малиновка гдѣ-то запѣла, за нею другая,
И раздалися въ кустахъ голоса, будто праздникъ великій
Вольныя птички встрѣчали... такъ весело!... Вѣтеръ прохладный
Что-то шепнулъ потихоньку осинѣ, — она встрепенулась,
Съ листьевъ посыпались свѣтлыя капли, какъ дождикъ, на травку;
Вдругъ зашумѣли березы, орѣшникъ, и лепетъ, и говоръ
По лѣсу всюду пошелъ, словно гости пришли на бесѣду...»

— «Охъ, ты, кудрявый шалунъ, на яву начинаешь ты грезить!
Вѣтеръ въ лѣсу зашумѣлъ, — у него это чудо большое.
Любишь ты сказки-то слушать и самъ ихъ разсказывать мастеръ.
Вишь, вчера вечеромъ сѣлъ у ручья, да глазѣетъ на звѣзды,
Невидаль точно какая! Кололъ-бы ты лучше лучину!

Что, и ручей, чай, вчера разсказалъ тебѣ новаго
много?»

— «Какъ же, разсказывалъ, дѣдушка! Я любо-
вался сначала,
Какъ потухала заря, и на небѣ одна за дру-
гою
Звѣздочки стали выглядывать; мнѣ показалось въ
ту пору:
Ангеловъ свѣтлыя очи глядятъ къ намъ оттуда
на землю.
Видѣлъ я, какъ поднимался и мѣсяцъ надъ лѣ-
сомъ; не знаю,
Что онъ не смотритъ, какъ солнышко? все будто
думаетъ что-то.
Любо мнѣ было. Прилегъ я на травку подъ ивой
зеленой, —
Слышу, ручей говоритъ: «хорошо мнѣ журчать
въ темномъ лѣсѣ:
Въ полночь тутъ дивы приходятъ ко мнѣ, поютъ
пѣсни и пляшутъ;
Только раздолья здѣсь нѣтъ. Будетъ время, я
выйду на волю,
Выйду изъ темнаго лѣса, увижу я синее море;
Въ морѣ дворцы изъ стекла и сады съ золотыми
плодами;
Есть тамъ русалки, бѣлѣй молока ихъ открытыя
плечи;
Очи, какъ звѣзды, горятъ; въ волосахъ дорогіе
каменья.
Есть тамъ старикъ-чародѣй; разсылаетъ онъ вѣ-
тры по волѣ;
Слушаютъ рыбы его; вѣсти чудныя рѣки прино-
сятъ...»

— «Вотъ, погоди,— подростешь, позабудешь ты
эти разсказы;
Люди за нихъ не дадутъ тебѣ хлѣба и скажутъ:
трудися!
Вонъ нашъ пастухъ съ раннихъ лѣтъ обучился
играть на свирѣли,
Такъ и состарѣлся нищимъ, все новыя пѣсни
слагаетъ!»

«Развѣ не плакалъ ты, дѣдушка, самъ, когда
вечеромъ позднимъ
Брался пастухъ за свирѣль, и по темному лѣсу
далеко
Пѣснь соловьиная вдругъ разливалась, — и все
замолкало,
Словно и лѣсъ ее слушалъ, и синее небо, и звѣзды?
Нѣтъ, не брани меня, дѣдушка! Выросту, буду
трудиться,
Буду и пѣсни я пѣть, как поетъ вѣтерокъ пе-
релетный,
Вольныя птицы по днямъ, по ночамъ темный лѣсъ
подъ грозою,
Буду пѣть радость и горе, и улыбаться сквозь
слезы!»

LXVII.

БУРЯ.

Тучи идутъ разноцвѣтной грядою по синему небу.
Воздухъ прозраченъ и чистъ. Отъ лучей восхо-
дящаго солнца
Бора опушка горитъ за рѣкой золотыми огнями.
Въ зеркалѣ водъ отразилися небо и берегъ,

Гибкій высокій тростникъ и ракитъ изумрудная
зелень.
Здѣсь чуть замѣтная зыбь ослѣпительно блещетъ
отъ солнца,
Тамъ — вонъ, отъ тѣни крутыхъ береговъ вороненою сталью
Кажется влага. Вдали полосою широкой, что скатерть,
Тянется лугъ, поднимаются горы, мелькаютъ въ
туманѣ
Села, деревни, лѣса, а за ними синѣется небо.
Тихо кругомъ. Лишь шумитъ, не смолкая, вода у
плотины,
Словно и проситъ простора, и ропщетъ, что мельнику служитъ,
Да иногда пробѣжитъ по травѣ вѣтерокъ невидимкой,
Что-то шепнетъ ей, и, вольный, умчится далеко.
Вотъ ужъ и солнце совсѣмъ закатилось, но пышетъ доселѣ
Алый румянецъ на небѣ. Рѣка, берега и деревья
Залиты розовымъ свѣтомъ, и свѣтъ этотъ гаснетъ,
темнѣетъ...
Вотъ еще разъ онъ мелькнулъ на поверхности дремлющей влаги,
Вотъ отъ него пожелтѣвшій листокъ на прибрежной осинѣ
Вдругъ, какъ червонецъ, блеснулъ, засіялъ — и
угасъ постепенно.
Тѣни густѣютъ. Деревья вдали принимать начинаютъ
Странные образы. Ивы стоятъ надъ водою, какъ
будто
Думаютъ что-то и слушаютъ. Боръ какъ-то смотритъ угрюмо.

Тучи, какъ горы, подъятыя къ небу невидимой силой,
Грозно плывутъ и растутъ, и на нихъ прихотли-
вою грудой
Башенъ, разрушенныхъ замковъ и скалъ громоздятся
обломки.
Чу! пахнулъ вѣтерокъ! Пушистый тростникъ за-
шепталъ, закачался,
Утки плывутъ торопливо къ осокѣ, откуда-то съ
крикомъ
Чибисъ несется, сухіе листы полетѣли съ ракиты.
Темнымъ столбомъ закружилася пыль на песчаной
дорогѣ,
Быстро, стрѣлою колѣнчатой молнія тучи разсѣкла,
Пыль поднялася густѣе,—и частою, крупною дробью
Дождь застучалъ по зеленымъ листамъ; не прошло
и минуты,
Онъ превратился ужъ въ ливень, и боръ встрепе-
нулся отъ бури,
Что исполинъ, закачалъ головою своею кудрявой
И зашумѣлъ, загудѣлъ, словно нѣсколько мельницъ
огромныхъ
Начали разомъ работу, вращая колеса и камни.
Вотъ все покрылось на мигъ оглушительнымъ сви-
стомъ, и снова
Гулъ непонятный раздался, похожій на шумъ во-
допада.
Волны, покрытыя бѣлою пѣной, то къ берегу
хлынутъ,
То побѣгутъ отъ него и гуляютъ вдали на свободѣ.
Молнія ярко блеснетъ, вдругъ освѣтитъ небо и
землю,
Мигъ — опять все потонетъ во мракѣ, и грома удары
Грянутъ, какъ выстрѣлы страшныхъ орудій. Де-
ревья со скрипомъ

Гнутся и вѣтвями машутъ надъ мутной водою.
Вотъ еще разъ прокатился ударъ громовой, — и
береза
На берегъ съ трескомъ упала, и вся загорѣлась,
какъ свѣточъ.
Любо глядѣть на грозу! Отчего-то сильнѣй въ это
время
Кровь обращается въ жилахъ, огнемъ загораются очи,
Чувствуешь силы избытокъ и хочешь простора и
воли!
Слышится что-то родное въ тревогѣ дремучаго бора,
Слышатся пѣсни, и крики, и грозныхъ рѣчей от-
голоски...
Мнится, что ожили богатыри старой Матушки-Руси,
Съ недругомъ въ битвѣ сошлись и могучія мѣ-
ряютъ силы...
Вотъ темносиняя туча рѣдѣетъ. На влажную землю
Изрѣдка падаютъ капли дождя. Словно свѣчи, на
небѣ
Кое-гдѣ звѣзды блеснули. Порывистый вѣтеръ сла-
бѣетъ,
Шумъ постепенно въ бору замираетъ. Вотъ мѣ-
сяцъ поднялся,
Кроткимъ серебрянымъ свѣтомъ осыпалъ онъ бора
вершину,
И, послѣ бури, всюду глубокая тишь воцарилась,
Небо по-прежнему смотритъ съ любовью на землю.

LXVIII.

БОЛѢСТЬ.

«Сходи-ка, старуха, невѣстку провѣдать,
Не стала-бъ она на дворѣ голосить?»

— «А что тамъ я стану съ невѣсткою дѣлать?
Вѣдь, я не могу ей руки подложить.
Вотъ нажили, Богъ далъ, утѣху подъ старость!
Твердила тебѣ: «захотѣлъ ты, молъ, взять,
Старикъ, бѣлоручку за сына на радость, —
Придется тебѣ на себя попенять»; —
Вотъ такъ и сбылось! Что ни день — съ ней за-
бота:
Тутъ вотъ это не такъ, тамъ вотъ то не по ней,
То вишь не подъ силу ей въ полѣ работа,
То скажетъ: въ избѣ зачѣмъ держимъ свиней.
Печь топишь, — головка отъ дыму кружится,
Все ей вотъ опрятной, да чистою быть,
А хлѣвъ велишь чистить, — ну, тутъ и лѣнится,
Чуть станешь бранить, — и пойдетъ голосить:
«Ихъ-охъ! Ихъ-охъ!» —

— «Старуха, побойся ты Бога!
Зачѣмъ ты объ этомъ кричишь день и ночь?
Ну, знахаря кликни: бѣды-то немного, —
У бабы, вѣдь, болѣсть, ей надо помочь.
А лгать тебѣ стыдно! она не лѣнится,
Безъ дѣла и часу не станетъ сидѣть;
Бранить ее станешь, — отвѣтить боится;
Коли ей уже тошно, — уйдетъ себѣ въ клѣть
И плачетъ украдкой, и мужу не скажетъ;
«Зачѣмъ, — дескать, ссору въ семьѣ начинать?»
Смотри же, Господь тебя, право, накажетъ,
Невѣстку напрасно не слѣдъ обижать».

— «Охъ, батюшки, кто говоритъ-то, — досада!
Лежи на печи, коли Богъ наказалъ;
Ослѣпъ и оглохъ, ну, чего-жъ тебѣ надо?
Туда же жену переучивать сталъ!

И такъ у меня отъ хозяйства по дому,
Хрычъ старый, вотъ этакъ идетъ голова!
Вишь важное дѣло, что взялъ онъ за сына
Разумную дѣвку, мѣщанскую дочь, —
Ни платья за нею, казны ни алтына,
Теперь и толкуетъ: «ей надо помочь!»
Пришла въ чужой домъ и болѣзни узнала.
Нѣтъ, я еще въ руки ее не взяла»...
Тутъ шорохъ старуха въ сѣняхъ услыхала
И смолкла. Невѣстка въ избушку взошла.
Лице у больной было грустно и блѣдно;
Какъ видно, на немъ положили слѣды
Тяжелыя думы и трудъ ежедневный,
И тайныя слезы, и горечь нужды.

— «Ну, что же, голубушка, спать-то раненько,
Возьми-ка, мнѣ на ночь постель приготовь,
Да сядь, поработай за прялкой маленько»,
Невѣсткѣ сквозь зубы сказала свекровь.
Невѣстка за свѣжей соломой сходила,
На нарахъ въ сторонкѣ ее постлала,
Къ стѣнѣ въ изголовье зипунъ положила,
Присѣла на лавку и прясть начала.
Въ избѣ было тихо. Лучина пылала,
Старикъ беззаботно и сладко дремалъ,
Старуха чугунъ на полу вытирала,—
И только подъ печью сверчокъ распѣвалъ,
Да котъ вкругъ старухи ходилъ, увивался
И, щурясь, мурлыкалъ; но баба ногой
Толкнула его, проворчавъ: «разгулялся!
Гляди, передъ болѣстью, видно, какой».
Вдругъ дверь отворилась: стуча сапогами,
Вошелъ сынъ старухи, снялъ шапку, кафтанъ,

Ударилъ ихъ объ полъ, тряхнулъ волосами
И крикнулъ: «ну, матушка, вотъ я и пьянъ!»

— «Что это ты сдѣлалъ? когда это было?
Ты отъ роду не пилъ и капли вина».
«Я не пилъ, когда мое сердце не ныло,
Когда, какъ былинка, не сохла жена!»

— «Спасибо, сыночекъ!... спасибо, безпутный!..
Ужъ я и ума не могу приложить!
Куда же мнѣ дѣться теперь, безпріютной?
Невѣсткѣ что скажешь, начнетъ голосить,
Не то сложитъ руки, и горя ей мало;
Старикъ только ѣстъ, да лежитъ на печи,
А вотъ и отъ сынка почета не стало, —
Живи — сокрушайся, терпи, да молчи!
Ахъ, Царь мой небесный! Да это подъ старость
Хоть руки пришлось наложить!
Взростила, взлелѣяла сына на радость,
Онъ мать-то ужъ скоро не станетъ кормить!»

— «Неправда! я по смерть кормить тебя буду!
Я лучше зипунъ свой послѣдній продамъ,
Пойду въ кабалу, а тебя не забуду,
И крошку съ тобой раздѣлю пополамъ!
Ты мною болѣла, подъ сердцемъ носила
Меня, и твоимъ молокомъ я вспоенъ,
Сызмала меня ты къ добру пріучала, —
И вотъ тебѣ честь и земной мой поклонъ...
Да чѣмъ же невѣстка тебѣ помѣшала?
За что на жену-то мою нападать?» —

— «Гляди ты, безпутный, пока я не встала, —
Я скоро заставлю тебя замолчать!»

— «На, бей меня, матушка! бей, чтобъ отъ боли
Я плакалъ и выплакалъ горе мое!
Эхъ-ма! не далось мнѣ таланта и доли!
Когда-жъ пропадешь ты, худое житье?» —

— «Вотъ дѣло-то! жизнь тебѣ стала постыла!
Ты вздумалъ вино-то отъ этого пить?
Такъ вотъ же тебѣ!...»
И старуха вскочила
И кинулась палкою сына учить.
Невѣстка къ ней броситься съ лавки хотѣла,
Но только что вскрикнула: «сжалься хоть разъ!»
И вдругъ — пошатнулась назадъ, поблѣднѣла —
И на полъ упала.
— «Помилуй ты насъ,
Царица Небесная, Мать Пресвятая!
Ахъ, батюшки! — гдѣ тутъ вода-то была?
Что это съ тобою, моя золотая?»
Надъ бабой свекровь голосить начала.

— «Ну, матушка, Богъ тебѣ будетъ судьею!...»
Сынъ тихо промолвилъ и самъ зарыдалъ.

— «Чай, плачутъ?... Аль вѣтеръ шумитъ за стѣною?»
Проснувшись старикъ на печи разсуждалъ:
«Не слышу... Чай, сынъ о женѣ все горюетъ;
У ней это болѣсть, тутъ можно понять,
Старуха не смыслитъ, свое мнѣ толкуетъ,
А нѣтъ, чтобы знахаря къ бабѣ позвать».

LXIX *).

БОБЫЛЬ.

(Посвящается Н. В. Кукольнику).

Дай взгляну веселѣй:
Дума не помога.
Для меня-ль, бобыля,
Всюду не дорога!

Безъ избы — я пригрѣтъ,
Соколъ — безъ наряда,
Безъ казны — мнѣ почетъ,
Умирать не надо!

Въ чистомъ полѣ идешь,—
Вѣтерокъ встрѣчаетъ,
Забѣгаетъ впередъ,
Стежки подметаетъ.

Рожь стоитъ по бокамъ,
Отдаетъ поклоны;
Ляжешь спать, — подъ тобой
Постланъ шелкъ зеленый;

Звѣзды смотрятъ въ глаза;
Бѣлый день настаетъ, —
Умываетъ роса,
Солнышко румянитъ.

*) См. „Примѣчанія", стр. 26, № 20-й.

На людей поглядишь,—
Право, смѣхъ и горе!
Цѣлый вѣкъ имъ труды
На дворѣ и въ полѣ.

А тутъ вотъ молодецъ:
За сохой не ходитъ,—
Да привѣтъ, и хлѣбъ-соль,
И пріютъ находитъ.

Ну, а нечего ѣсть,—
Стянешь поясъ крѣпче,
Волосами тряхнешь,—
Вотъ оно и легче.

А не то — къ богачамъ
Имъ работникъ нуженъ;
Помолотишь денекъ,—
Вотъ тебѣ и ужинъ.

Ужъ за то, коли есть
Зипунишка новый,
На ногахъ сапоги,
Въ кошелькѣ цѣлковый,—

И раздумье прошло,
И тоска пропала;
Сторонись, богачи:
Бѣдность загуляла!

Какъ войдешь въ хороводъ,
Да начнешь тамъ пляску,
При вечерней зарѣ,
Съ присвистомъ въ-присядку,—

Бабы, дѣвки глядятъ,
Стукаютъ котами,
Парни нехотя въ ладъ
Шевелятъ плечами.

Вотъ на старости лѣтъ
Кто-то меня вспомнитъ, —
Приглядитъ за больнымъ,
Мертваго схоронитъ?

Да бобыль-сирота
Ничего не проситъ;
Надъ могилой его
Буря поголоситъ,

Окропитъ ее дождь
Чистою слезою,
Принакроетъ весна
Шелковой травою.

LXX.

РАЗСКАЗЪ ЯМЩИКА.

Вѣкъ жить — увидишь и худо порою.
Жаль, что вотъ темно, а то изъ окна
Я показалъ бы тебѣ: за рѣкою
Есть тутъ у насъ деревенька одна.
Тамъ живетъ баринъ. Господь его знаетъ,
Этакой умница, братецъ ты мой,
Ну, а теперь ни за-что пропадаетъ.
Разъ онъ немножко размолвилъ съ женой:

Барыня сдѣлала что-то неладно, —
Мужъ сгоряча-то ее побранилъ;
Правду сказать, вѣдь, оно и досадно;
Онъ безъ ума ее, слышно, любилъ.
Та, — дѣло барское, знаешь, обидно, —
Къ матушкѣ нѣжной отправилась въ домъ,
Да сиротою прикинулась, видно, —
Съ годъ и жила со старухой вдвоемъ.
Только и тутъ она что-то... да это
Дѣло не наше, я самъ не видалъ...
Баринъ-атъ сохъ; иногда до разсвѣта
Съ горя и глазъ, говорятъ, не смыкалъ.
Все вишь грустилъ, да жены дожидался,
Ей поклониться онъ самъ не хотѣлъ;
Ну, а потомъ въ путь-дорогу собрался,
Нанялъ меня и къ женѣ полетѣлъ.
Какъ помирился онъ съ нею, — не знаю,
Барыня что-то сердита была...
Самъ-атъ я, братецъ ты мой, помекаю —
Мать по-неволѣ ее прогнала.
Вотъ мы поѣхали. Вижу, ласкаетъ
Баринъ жену: то въ глаза ей глядитъ,
То, знаешь, ноги ковромъ укрываетъ,
То этакъ ласково съ ней говоритъ, —
Ну, а жена пожимаетъ плечами,
Въ сторону смотритъ, — ни слова въ отвѣтъ...
Онъ и присталъ къ ней почти со слезами:
«Или въ тебѣ и души, дескать, нѣтъ?
Я, дескать, все забываю, прощаю...
Такъ же люблю тебя, милый мой другъ...»
Тутъ она молвила что-то, — не знаю,
И покатилася со смѣху вдругъ...
Баринъ притихъ. Ужъ и зло меня взяло!
Я какъ хвачу кореннаго кнутомъ...

После одумался, — совѣстно стало:
Тройка шла на гору, шла-то съ трудомъ;
Конь головой обернулся немного,
Этакъ глядитъ на меня, все глядитъ...
«Ну, молъ, ступай ужъ своею дорогой.
Грѣхъ мой на барынѣ, видно, лежитъ...»
Вотъ мы... о чемъ бишь я рѣчь велъ сначала?
Да, я сказалъ, что тутъ баринъ притихъ.
Вотъ мы и ѣдемъ. Ужъ ночь наступала.
Я пріударилъ лошадокъ лихихъ.
Въѣхали въ городъ... Эхъ-ма! забываю,
Чей э́то дворъ, гдѣ коней я кормилъ!
Дворъ-то мощеный... постой, вспоминаю...
Нѣтъ, провались онъ, совсѣмъ позабылъ!
Ну, ночевали. Заря занималась...
Баринъ проснулся — глядь: барыни нѣтъ!
Кинулись шарить, — искать, — не сыскалась;
Только нашли у воротъ одинъ слѣдъ,—
Кто-то, знать, былъ съ подрѣзными санями...
Мы тутъ въ погоню. Ужъ день разсвѣталъ;
Верстъ этакъ семь пролетѣли полями, —
Слѣдъ неизвѣстно куда и пропалъ.
Мы завернули въ село, да въ другое,—
Нѣтъ нигдѣ слуху; баринъ сидитъ,
Руки ломаетъ. — Лицо-то больное,
Самъ-атъ озябъ, словно листъ весь дрожитъ...
Что мнѣ съ нимъ дѣлать? Проѣхалъ немного
И говорю ему: «слѣду, молъ, нѣтъ;
Этой-вотъ что ли держать намъ дорогой?»
Онъ и понесъ чепуху мнѣ въ отвѣтъ,
Сердце мое облилось тогда кровью!
«Эхъ, погубилъ, молъ, сердечный ты мой,
Жизнь и здоровье горячей любовью!»
Ну и привезъ его къ ночи домой.

Жаль горемычнаго! Вчужѣ сгрустнется:
Въ годъ онъ согнулся и весь посѣдѣлъ.
Нынче надъ нимъ ужъ и дворня смѣется:
«Баринъ-атъ нашъ, молъ, совсѣмъ одурѣлъ...»
Диво мнѣ! Какъ онъ жену не забудетъ!
Нѣтъ, вотъ, поди! коротаетъ свой вѣкъ!
Хлѣба не ѣстъ, все по ней вишь тоскуетъ...
Этакой, братецъ ты мой, человѣкъ!

LXXI.

ВСТРѢЧА ЗИМЫ.

Поутру вчера дождь
Въ стекла оконъ стучалъ;
Надъ землею туманъ
Облаками вставалъ.

Вѣялъ холодъ въ лицо
Отъ угрюмыхъ небесъ,
И, Богъ знаетъ, о чемъ
Плакалъ сумрачный лѣсъ.

Въ полдень дождь пересталъ,
И, что бѣлый пушокъ,
На осеннюю грязь
Началъ падать снѣжокъ.

Ночь прошла. Разсвѣло.
Нѣтъ нигдѣ облачка.
Воздухъ легокъ и чистъ,
И замерзла рѣка.

На дворахъ и домахъ
Снѣгъ лежитъ полотномъ
И отъ солнца блеститъ
Разноцвѣтнымъ огнемъ.

На безлюдный просторъ
Побѣлѣвшихъ полей
Смотритъ весело лѣсъ
Изъ-подъ черныхъ кудрей,—

Словно радъ онъ чему.
И на вѣткахъ березъ,
Какъ алмазы, горятъ
Капли сдержанныхъ слезъ.

Здравствуй, гостья-зима!
Просимъ милости къ намъ
Пѣсни сѣвера пѣть
По лѣсамъ и степямъ.

Есть раздолье у насъ,—
Гдѣ угодно гуляй;
Строй мосты по рѣкамъ
И ковры разстилай.

Намъ не стать привыкать,—
Пусть морозъ твой трещитъ:
Наша русская кровь
На морозѣ горитъ.

Искони ужъ таковъ
Православный народъ:
Лѣтомъ, смотришь, — жара,
Въ полушубкѣ идетъ;

Жгучій холодъ пахнулъ,—
Все равно для него:
По колѣни въ снѣгу,
Говоритъ: «ничего!»

Въ чистомъ полѣ мятель
И куритъ, и мутитъ,—
Нашъ степной мужичокъ
Ѣдетъ въ санкахъ, кряхтитъ:

«Ну, соколики, ну!
Выносите, дружки!»
Самъ сидитъ и поетъ —
«Не бѣлы-то снѣжки!»

Да и намъ-ли, подъ-часъ,
Смерть не встрѣтить шутя,
Если къ бурямъ у насъ
Привыкаетъ дитя?

Когда мать въ колыбель
На ночь сына кладетъ,
Подъ окномъ для него
Пѣсни вьюга поетъ,

И разгулъ непогодъ
Съ раннихъ лѣтъ ему любъ,
И ростетъ богатырь,
Что подъ бурями дубъ.

Разсыпай же, зима,
До весны золотой
Серебро по полямъ
Нашей Руси святой!

И случится-ли, къ намъ
Гость незванный придетъ
И за наше добро
Съ нами споръ заведетъ, —

Ужъ прими ты его
На сторонкѣ чужой,
Хмѣльный пиръ приготовь,
Гостю пѣсню пропой;

Для постели ему
Бѣлый пухъ припаси,
И мятелью засыпь
Его слѣдъ на Руси!





1855 Г.

LXXII *).

УТРО.

Звѣзды меркнутъ и гаснутъ. Въ огнѣ облака.
Бѣлый паръ по лугамъ разстилается.
По зеркальной водѣ, по кудрямъ лозняка
Отъ зари алый свѣтъ разливается.
Дремлетъ чуткій камышъ. Тишь — безлюдье вокругъ.
Чуть примѣтна тропинка росистая.
Кустъ задѣнешь плечомъ, — на лицо тебѣ вдругъ
Съ листьевъ брызнетъ роса серебристая.
Потянулъ вѣтерокъ, — воду морщитъ, рябитъ.
Понеслись утки съ шумомъ и скрылися.
Далеко, далеко колокольчикъ звенитъ.
Рыбаки въ шалашѣ пробудилися,
Сняли сѣти съ шестовъ, весла къ лодкамъ несутъ...
А востокъ все горитъ, разгорается.
Птички солнышка ждутъ, птички пѣсни поютъ,
И стоитъ себѣ лѣсъ, улыбается.

---

*) См. „Примѣчанія“, стр. 26, № 21-й.

Вотъ и солнце встаетъ, изъ-за пашенъ
блеститъ,
За морями ночлегъ свой покинуло;
На поля, на луга, на макушки ракитъ
Золотыми потоками хлынуло
Ѣдетъ пахарь съ сохой, ѣдетъ, — пѣсню поетъ;
По плечу молодцу все тяжелое...
Не боли ты, душа! отдохни отъ заботъ!
Здравствуй солнце, да утро веселое!

LXXIII.

ВЪ ЛѢСУ.

(послѣ выздоровленія).

Привѣтъ тебѣ, знакомецъ мой кудрявый!
Прими меня подъ сѣнь твоихъ дубовъ,
Раскинувшихъ навѣсъ свой величавый
Надъ гладью свѣтлыхъ водъ и зеленью луговъ.

Какъ жаждалъ я, измученный тоскою,
Въ недугѣ медленномъ сгарая, какъ въ огнѣ,
Твоей прохладою упиться въ тишинѣ
И на траву прилечь горячей головою!

Какъ часто въ тягостномъ безмолвіи ночей,
Въ часы томительнаго бдѣнья,
Я вспоминалъ твой мракъ, и музыку рѣчей,
И птицъ веселый свистъ и пѣнье,

И дни давнишніе, когда свой скудный домъ
Я покидалъ, ребенокъ нелюдимый,
И, молча, въ сумракѣ твоемъ
Бродилъ, взволнованный мечтой невыразимой!

О, какъ ты былъ хорошъ вечернею порой,
Когда весь молніей мгновенно освѣщался
И вдругъ — на голосъ тучи громовой
Разгульнымъ свистомъ откликался!

И любо было мнѣ!... какъ съ существомъ роднымъ,
Съ тобой я всѣмъ дѣлился откровенно:
И горькою слезой, и радостью мгновенной,
И пѣснью, сложенной подъ говоромъ твоимъ.

Тебя, могучаго, не измѣнили годы!...
А я, твой гость, съ лѣтами возмужалъ,
Но въ пламени страстей, средь мелочной невзгоды
Тяжелой горечи я много испыталъ...

Ужасенъ этотъ ядъ! Онъ вдругъ не убиваетъ,
Не поражаетъ, какъ небесный громъ:
Онъ сушитъ мозгъ, въ суставы проникаетъ,
Жжетъ тѣло медленнымъ огнемъ!

Паду-ль я, этимъ ядомъ пораженный,
Утративъ крѣпость силъ и пѣсенъ скромный даръ,
Иль новыхъ думъ и чувствъ узнаю свѣтъ и жаръ,
Въ горнилѣ горя искушенный, —

Богъ вѣсть, что впереди! Теперь, полубольной,
Я вновь подъ сѣнь твою, лѣсъ сумрачный, вступаю
И слушаю привѣтный говоръ твой,
Тебѣ мою печаль, какъ другу, повѣряю!...

LXXIV.

ВНЕЗАПНОЕ ГОРЕ.

Вотъ и осень прошла. Убранъ хлѣбъ золотой,
Все гумно у сосѣда завалено...
У меня только смотритъ оно сиротой, —
Ничего-то на немъ не поставлено!

А ужъ я ли свою силу для пашни жалѣлъ,
Былъ лѣнивъ за любимой работою,
Иль, какъ надо, удобрить ее не успѣлъ,
Или началъ посѣвъ не съ охотою?

А ужъ я ли кормилицѣ — теплой веснѣ,
Не былъ радъ — и обычая стараго
Не держался, для гостьи съ людьми наравнѣ, —
Не затеплилъ свѣчи воску яраго!...

День и ночь все я думалъ: авось, молъ, дождусь!
Стану осенью рожь обмолачивать, —
Все, глядишь, на одежу дѣтишкамъ собьюсь
И оброкъ буду въ пору уплачивать.

Не дозрѣла моя колосистая рожь,
Крупнымъ градомъ до корня побитая!...
Ужъ когда же ты, радость, на дворъ мой войдешь?
Охъ, бѣда ты моя непокрытая!

Посидятъ, вѣрно, дѣтки безъ хлѣба зимой,
Безъ одежи натерпятся холоду...
Привыкайте, родимые, къ долѣ худой!
Закаляйтесь въ кручинушкѣ смолоду!

Всѣмъ не стать — пировать... Къ горькимъ
горе идетъ,
Съ ними всюду, какъ другъ, уживается,
Съ ними сѣетъ и жнетъ, съ ними пѣсню поетъ,
Когда грудь по частямъ разрывается!

LXXV.

ДѢЛЕЖЪ.

Да, сударь мой, нерѣдко вотъ бываетъ:
Отецъ на столъ, а дѣтки за дѣлежъ,
И брата братъ за-шиворотъ хватаетъ...
Изъ-за чего? И въ толкъ-атъ не возьмешь!...

У васъ-то, баръ, я чаю, нѣтъ разлада...
А мужики, извѣстно, вахлаки:
У нихъ за грошъ — остуда и досада,
За гривенникъ какой-нибудь — пинки!

Тутъ изъ-за бабъ, дѣтишекъ выйдетъ злоба...
Вотъ мы теперь: всего-то двое насъ —
Мой братъ, да я: женаты, сударь, оба,
И хлѣбъ всегда имѣли про запасъ,

И жили бы себѣ, домкомъ сбирались...
Нѣтъ, погоди! Вишь, жены не въ ладу:
Вонъ у одной коты поистаскались...
«Я, говоритъ, на рѣчку не пойду,

Пускай идетъ невѣстка, коли хочетъ,
Ей мужъ успѣлъ обнову-то купить...»
А та себѣ, какъ бѣшеная, вскочитъ,
Начнетъ вотъ такъ руками разводить,

И ну — кричать: «а ты — что за дворянка?
Котовъ-де нѣтъ, да сѣла и сидитъ...»
И тутъ пойдетъ такая перебранка,
Что у тебя въ ушахъ инда звенитъ.

Братъ за жену, глядишь, молвитъ слово
И дурой мою-то назоветъ,
А у тебя на слово пять готово, —
Вотъ, сударь мой, потѣха и пойдетъ!

Все это такъ... И при отцѣ бывало.
Да старичокъ насъ скоро разводилъ;
Чуть крикнетъ: «эй!» — бѣжишь куда попало,
Не то — бѣда! Охъ, крутъ покойникъ былъ!

Какъ померъ онъ, мой братъ и позазнался:
Срамитъ меня, срамитъ мою жену:
Вы, дескать, что? Старшимъ-то я остался,
Я, говоритъ, васъ вотъ какъ поверну!

И повернулъ... Тутъ надо лыкъ на лапти,
Онъ бражничать возьмется, да гулять;
Ты цѣпъ берешь, онъ лѣзетъ на палати,
Ну, одному не растянуться стать.

Жена его все, знаешь, поджигаетъ:
«Дѣлись, дескать! Твой братъ-то лежебокъ,
Какъ куколку жену-то снаряжаетъ,
Изподтишка весь домъ поразволокъ...»

Сама-то, вишь, она скупенька больно,
Готова вѣкъ въ отрепьяхъ пропадать,
Да любитъ жить хозяйкой самовольной,
По-своему все, знаешь, повершать.

Ну, а моя бабенка не сварлива,
А грѣхъ таить,— отъ щегольства не прочь,
Да и того... въ работѣ-то лѣнива,
Что есть, то есть,— тутъ ложью не помочь.

Вотъ, сударь мой, и завязалось дѣло:
Что день, то шумъ, подъ шумомъ и заснешь,
И брату-то все это надоѣло,
И мнѣ равно,— и начали дѣлежъ.

Сперва-то мы по совѣсти дѣлились;
Не сладились,— взялись-было за судъ,—
Ну, кое-какъ въ расправѣ помирились,
Остался споръ за старенькій хомутъ...

И я кричу, и братъ не уступаетъ:
Нѣтъ, говоритъ, хоть тресни, не отдамъ!
Я за шлею,— онъ, знаешь, вырываетъ,
Да норовитъ ударить по рукамъ.

И смѣхъ, и грѣхъ!.. Стоимъ за дрянь горою...
Вдругъ, сударь мой, моргнуть я не успѣлъ,
Какъ крикнулъ братъ: «возьми, пусть за тобою!»
Да на меня хомутъ-то и надѣлъ.

Я сгоряча въ шлеѣ позапутлялся;
Народъ оретъ: «вонъ обрядилъ коня!...»
Ужъ такъ-то я въ ту пору растерялся,—
Инда слеза прошибла у меня!...

Вамъ, сударь, смѣхъ... Нѣтъ, тутъ смѣшнаго мало:
Вѣдь, братъ-то мой по-барски чаялъ жить;
Взялся за гужъ,— анъ силы не достало,
Тужилъ, тужилъ — и началъ съ горя пить.

И мнѣ не медъ... Вѣдь, праздниковъ не знаешь:
Работаешь, спины не разогнешь,
Чуть непогодь — все стонешь, да перхаешь...
Вотъ, сударь мой, мужицкій-то дѣлежъ!

LXXVI.

ВЫѢЗДЪ ЯМЩИКА.

Ну, кажись, я готовъ:
Вотъ мой кафтанишко,
Рукавицы на мнѣ,
Новый кнутъ подъ мышкой...

Въ головѣ-то шумитъ...
Вотъ что мнѣ досадно!
Правда, хмѣль, вѣдь, не дурь,—
Выспался — и ладно.

Ты, жена, замолчи:
Безъ тебя все знаю:
Ѣду съ бариномъ... да!
Ухъ, какъ погуляю!

Да и баринъ... поди, —
У роднаго сына
Онъ невѣсту отбилъ, —
Стало молодчина!

Схоронилъ двѣ жены,
Вотъ нашелъ и третью...
А сердитъ... чуть не такъ,
Заколотитъ плетью!

Ну, ништо... говорятъ,
Это-то невѣста
И сама дастъ отпоръ, —
Не отыщешь мѣста.

За богатство идетъ, —
Вѣтрогонка, значитъ:
Сына пуститъ съ сумой,
Мужа одурачитъ...

Сынъ, къ примѣру, не глупъ
Да запуганъ, вѣрно:
Все глядитъ сиротой...
Смиренъ непомѣрно.

Ну, да пусть судитъ Богъ,
Что черно̀ и бѣло...
Вотъ лошадокъ запречь—
Это наше дѣло!

Слышь, жена! погляди, —
Каковы уздечки?
Вишь, вотъ мѣдный наборъ,
Вотъ мохры, колечки.

А дуга-то, дуга,
Въ золотѣ сіяетъ...
Прр... шалишь, коренной!
Знай песокъ копаетъ!

Ты, дружокъ, не блажи;
Старость твою жалко!...
Такъ кнутомъ проучу,—
Станетъ небу жарко!...

Сидоръ возжи возьметъ. —
Чорта не боится!
Пролетитъ, — на него
Облачко дивится!

Только крикнешь: «ну, ну!
Эхъ, ты, беззаботный!» —
Отстаетъ позади
Вѣтеръ перелетный!

А сѣдокъ-атъ мнѣ — тьфу!
Коли скажетъ: «легче!»
Нѣтъ, молъ, сѣлъ, такъ сиди,
Да держись покрѣпче.

Ужъ у насъ, коли лѣнь, —
День и ночь спимъ сряду;
Коли пиръ — на-повалъ,
Трудъ — такъ до упаду;

Коли ѣхать, — катай!
Головы не жалко!...
Намъ безъ свѣта свѣтло,
Безъ дороги — гладко!

Ну, Матрена, прощай!
Оставайся съ Богомъ;
Жди обновки себѣ,
Да гляди за домомъ.

Да! кобылѣ больной
Парь трухою ногу...
Не забудь!... А воды
Не давай по-многу.

Ну-ка, въ путь! Шевелись!
Эхъ, какъ понеслися!
Берегись, ты, мужикъ,
Глухъ что-ль?... берегися!...

LXXVII.

Отвяжися тоска,
Пылью поразвѣйся,
Что за грусть, коли живъ,—
И сквозь слезы смѣйся!

Не диковинка — пиръ
При хорошей долѣ;
Удаль съ горя поетъ,
Пляшетъ и въ неволѣ.

Ужъ ты какъ ни хвались
Умной головою,—
Громовыхъ облаковъ
Не отвесть рукою.

Грусть-забота не спитъ,
Безъ бѣды крушится;
Беззаботно душѣ,—
И на камнѣ спится.

Коли солнышка нѣтъ,—
Ясный мѣсяцъ свѣтитъ;
Измѣнила любовь,—
Пѣсня не измѣнитъ!

Сердце проситъ не слезъ,
А живетъ отрадой;
Вотъ умрешь,— ну, тогда
Ничего не надо.

LXXVIII.

19 ОКТЯБРЯ.

Что это за утро! Серебряный иней
На зелени луга лежитъ;
Камышъ пожелтѣвшій надъ рѣчкою синей
Сквозною оградой стоитъ.

Надъ черною далью безлюдной равнины
Клубится прозрачный туманъ,
И длинныя нити сѣдой паутины
Опутали сѣрый бурьянъ.

А небо такъ чисто, свѣтло, безмятежно,
Что вонъ — далеко въ сторонѣ
Я вижу — мелькнулъ рыболовъ бѣлоснѣжный
И тонетъ теперь въ вышинѣ!

Веселой прохладой луговъ освѣженный,
Я краснаго солнышка жду,
Любуюсь на пашни, на лѣсъ обнаженный,
И въ сонную чащу вхожу.

Листы шелестятъ у меня подъ ногами,
Два дятела гдѣ-то стучатъ...

А солнышко тихо встаетъ надъ полями,
Озера румянцемъ горятъ.

Вотъ ярко блеснули лучи золотые
И крадутся въ чащу березъ
Все дальше и дальше, — и вѣтки сырыя
Покрылися каплями слезъ.

У осени поздней, порою печальной,
Есть чудныя краски свои,
Какъ есть своя прелесть въ улыбкѣ прощальной,
Въ послѣднемъ объятьи любви.





LXXIX.

СТАРОСТА.

Что не туча темная
По небу плыветъ,
На гумно по улицѣ
Староста идетъ.

Борода-то черная,
Красное лицо,
Волоса-то жесткіе
Завились въ кольцо.

Пузо перевязано
Краснымъ кушакомъ,
Плеча позатянуты
Синимъ кафтаномъ.

Палкой подпирается,
Бровью не ведетъ.
Въ сапоги-то новые
Мѣра ржи войдетъ.

Онъ идетъ по улицѣ, —
Безъ метлы мететъ;
Курица покажется, —
Въ ворота шмыгнетъ.

Одаль, да съ поклонами
Мужички идутъ,
Ребятишки малые
Ко дворамъ ползутъ.

Утомился староста:
На гумнѣ стоитъ,
Гладитъ усъ и бороду,
Да на людъ глядитъ.

На небѣ ни облачка,
Вѣтерокъ-атъ спитъ,
Солнце землю-матушку,
Какъ огнемъ, палитъ.

Отъ цѣповъ-то стукъ и дробь,—
Стонетъ все гумно,
Бабъ и дѣвокъ жаръ печетъ,
Мужичковъ равно.

Староста надумался:
«Молоти дружнѣй!»
Бабъ и дѣвокъ потъ прошибъ,
Мужичковъ сильнѣй.

Бабу чернобровую
Староста позвалъ,
Рѣчь-то велъ разумную,—
Дѣло толковалъ...

Дура баба плюнула,
Молотить пошла.
То-то, значитъ, молодость,
Въ нуждѣ не была!

Умная головушка
Рубитъ не съ плеча:
Староста не выпустилъ
Слова сгоряча.

На скирды посматривалъ,
Поглядѣлъ на рожь,
Поглядѣлъ и вымолвилъ:
«Умолотъ хорошъ!»

Улыбнулся ласково,
Дѣвокъ похвалилъ,
Бабѣ съ бровью черною
Чорта посулилъ.

«Вечеромъ голубушка,
Чистить хлѣвъ пошлю...»
— Не грѣшно-ли, батюшка?—
«Нѣтъ, коли велю!»

Баба призадумалась...
Староста пошелъ,
Онъ прошелъ по улицѣ,—
Безъ метлы подмелъ.

На гумнѣ-то стонъ стоитъ,
Весело гумно:
По̀томъ обливается
Каждое зерно.

LXXX.

НОВАЯ УТРАТА.

Давно-ль повеселѣлъ мой уголокъ печальной,
Давно-ль я межъ друзей сидѣлъ,
И слушалъ ихъ, и радовался тайно?...
И вотъ опять осиротѣлъ!

Кругомъ глубокое молчанье...
Однимъ я позабытъ, другой умчался въ даль,
Да и кому нужна моя печаль?
У всякого свое страданье!

Послѣдній другъ безвременно зарытъ...
Угасъ, замученный борьбою
Съ суровой долею, съ безчувственной семьею,
Тоскою медленной убитъ.

Погибли молодыя силы.
Безжалостной судьбы не могъ онъ побѣдить...
Мой бѣдный другъ! И гробъ твой до могилы
Не удалось мнѣ проводить.

Все чудится: я слышу милый голосъ,
Все жду, что другъ отворитъ дверь...
Одинъ остался я теперь,—
На сжатой нивѣ позабытый колосъ.

Безоблачны покуда небеса,
Но сердце у меня не даромъ замираетъ,
И этотъ стихъ не даромъ вызываетъ
Слезу на грустные глаза...

Такъ иногда, передъ грозою,
Надъ зеркальной поверхностью рѣки,
Тревожно дѣлая круги,
Щебечетъ ласточка порою...

LXXXI.

У кого нѣтъ думы
И заботъ-кручины,
Да за то есть радость—
Уголокъ родимый,

Сядетъ онъ, усталый,
Съ милою женою,
Отдохнетъ въ бесѣдѣ
Сердцемъ и душою.

На дворѣ невзгода,—
Свѣчка нагараетъ...
На полу малютка
Весело играетъ.

Къ дому онъ подходитъ,—
Путь неровный—гладокъ;
Ужинать присядетъ,—
Бѣдный ужинъ сладокъ.

Не съ кѣмъ подѣлиться
Теплыми словами,—
Поведешь бесѣду
Съ голыми стѣнами!

Облаку да вѣтру
Горе перескажешь,
И съ подушкой думать
Съ вечера приляжешь.

LXXXII.

Помню я: бывало, няня,
Долго сидя за чулкомъ,
Молвитъ: баловень ты, Ваня,
Все дурачишься съ котомъ.

Встань, подай мою шубейку,
Что-то холодно... дрожу...
Да присядь вотъ на скамейку,
Сказку длинную скажу.

И старушка съ разстановкой
До полночи говоритъ.
Съ приподнятою головкой
Я сижу. Свѣча горитъ.

Пѣтухи давно пропѣли.
Поздно. Тянется ко сну...
Гдѣ-то дрожки прогремѣли...
И подъ говоръ я засну.

Сонъ покоенъ. Утромъ встанешь,
Прямо въ садикъ... Рай земной!
Пѣсни, говоръ... А какъ глянешь
На росинки, — самъ не свой!

Чуть сорока прощекочетъ, —
Понимаешь, хоть молчишь,
Упрекнуть, молъ, она хочетъ:
«Здравствуй, Ваня!.. долго спишь!»

А теперь ночной порою
На груди гора лежитъ:
День прожитый предъ тобою
Страшнымъ призракомъ стоитъ.

Видишь зла и грязи море,
Племя жалкое невѣждъ,
Униженье, голодъ, горе,
Клочья нищенскихъ одеждъ.

Потъ на пашняхъ за сохами,
Потъ въ лѣсу за топоромъ,
Потъ на гумнахъ за цѣпами,
На дворѣ и за дворомъ.

Видишь горькія потери,
Слезы падшей красоты,
И затворенныя двери
Для убитой нищеты...

И съ тоскою ждешь разсвѣта...
Давитъ голову свинецъ.
О, когда же горечь эта
Вся исчезнетъ наконецъ?

LXXXIII.

ВЪ АЛЬБОМЪ Н. В. П—ВОЙ.

Прохладно. Всѣ окна открыты
Въ душистый и сумрачный садъ.
Въ прудѣ горятъ звѣзды. Ракиты
Надъ гладью хрустальною спятъ.

Пѣвучіе звуки рояли
То стихнутъ, то вновь потекутъ;
Съ утра соловьи не смолкали
Въ саду — и теперь все поютъ.

Поникъ я въ тоскѣ головою,
Подъ пѣсни душа замерла...
Затѣмъ-что подъ кровлей чужою
Минутное счастье нашла...

LXXXIV.

ВЪ АЛЬБОМЪ М. Н. Ж.

И дикъ, и не веселъ нашъ сѣверъ холодный,
Но ты сохранила вполнѣ
Горячее сердце и разумъ свободный
Въ суровой чужой сторонѣ.

Съ тяжелой тоскою по родинѣ дальней,
Скромна, благородна-горда,
Ты шла одиноко дорогой печальной
Подъ гнетомъ заботъ и труда.

Ты злому невѣждѣ и плуту не мстила,
Какъ голубь, нѣжна и кротка,
Ты черныя сплетни презрѣньемъ казнила,
Прощала всегда дурака.

Ты грусти своей показать не хотѣла
Предъ бѣдной и жалкой толпой,
И смѣло на пошлыя лица глядѣла,
Сквозь слезы смѣялась порой.

Но рано, иль поздно минуетъ невзгода,—
Не даромъ ты крѣпла въ борьбѣ, —
Какъ дочери милой, родная природа
Откроетъ объятья тебѣ.

И ты отдохнешь... Но подъ кровлей родною
Не помни минувшаго зла;
Повѣрь: на Руси не одною душою
Ты крѣпко любима была.

LXXXV.

* * *

Чуть сошлись мы, другъ-друга узнали,
Ваши рѣчи мнѣ въ душу запали;
Но, увы! не услышать мнѣ ихъ,
Не услышать мнѣ звуковъ родныхъ.

Не помочь, видно, горю словами!
На мгновенье я встрѣтился съ вами,
Разстаюсь навсегда, навсегда:
Унесетесь вы, Богъ-вѣсть, куда!

Вотъ какъ жизнь иногда безтолкова!
Вотъ какъ доля глупа и сурова!
Ужъ какъ ляжетъ она на плечахъ, —
Бѣлый свѣтъ помутится въ глазахъ!

LXXXVI.

* * *

День и ночь съ тобой жду встрѣчи,
Встрѣчусь, — голову теряю;
Рѣчь веду, но эти рѣчи
Всей душой я проклинаю.

Рвется чувство на свободу,
На любовь хочу отвѣта...
Говорю я про погоду,
Говорю, какъ ты одѣта.

Не сердись, не слушай болѣ:
Этой лжи я самъ не вѣрю...
Я не радъ своей неволѣ,
Я не радъ, что лицемѣрю.

Такова моя отрада,
Такъ свой вѣкъ я коротаю:
Тяжело-ль, молчать мнѣ надо,
Полюблю-ль, любовь скрываю.

LXXXVII *).

СПЛЕТНЯ.

Живи, какъ отшельникъ,
Гуляй, или плачь, —
Найдетъ тебя сплетня,
Придетъ твой палачъ!

Двери не отворитъ, —
Подъ дверь подползетъ,
Ограда мѣшаетъ, —
Сквозь камень пройдетъ.

Въ чемъ грѣшенъ, не грѣшенъ, —
Въ набатъ прогудитъ,
На вѣкъ обезчеститъ,
По гробъ осрамитъ.

И въ грязь тебя втопчетъ
И недругъ, и другъ...
Проклятая сплетня!
Проклятый недугъ!

LXXXVIII *).

ВЪ САДУ.

При зарѣ, по водѣ — и румянецъ и тѣнь,
Въ чащѣ пѣсня да свистъ раздается;
Притаилъ садъ дыханье, весь нѣга и лѣнь,
По кудрямъ его золото льется.

*) См. „Примѣчанія", стр. 28, № 22-й.
**) См. „Примѣчанія", стр. 29, № 23-й.

Долго-ль буду я тутъ одиноко бродить,
Слушать пѣсню и свистъ соловьиный,
Надрывать свою грудь, свое сердце крушить,
Молча сдерживать слезы кручины?

На печаль, милый другъ мой, тебя я узналъ,
На тоску я съ тобой повстрѣчался,
На бѣду моимъ свѣтомъ и счастьемъ назвалъ,
Всей душою къ тебѣ привязался!

Ужъ и такъ мои дни были днями потерь:
Гибли молодость, сила, здоровье...
Выносилъ я, терпѣлъ... Каково-жъ мнѣ теперь,—
Знаетъ Богъ, да мое изголовье!

Нѣтъ, не жить мнѣ съ тобою подъ крышей одной:
Какъ простимся, — и полно встрѣчаться!
Тяжело мнѣ и горько разстаться съ тобой,
Легче-бъ тѣлу съ душою разстаться!

И за что-жъ ты, мой другъ, у меня отнята?...
Ты права. Не тебя обвиняю;
Виноватъ, видно, я, да моя бѣднота...
Въ первый разъ я ее проклинаю!

LXXXIX.

* *
*

Разсыпались звѣзды, дрожатъ и горятъ...
За пашнями диво творится:
На воздухѣ синія горы висятъ,
И въ полымя людъ шевелится.

Подвинулось небо назадъ отъ земли, —
Водѣ золотой уступило;
Безъ вѣтра плывутъ по водѣ корабли,
Бока ихъ огнемъ охватило...

А ночь черезъ лѣсъ торопливо ползетъ.
Ползетъ и листа не зацѣпитъ;
Насупила брови, глазами сверкнетъ, —
Широкое поле освѣтитъ.

Опять я съ тоскою домой ворочусь,
Молчалъ бы, да нѣтъ моей мочи...
Одинъ я средь поля пятномъ остаюсь,
Чернѣе и пашенъ, и ночи.

Гляжу и любуюсь: просторъ и краса...
Въ себя заглянуть только стыдно:
Закиданы грязью мои небеса,
Звѣзды ни единой не видно.

XC. *)

ГНѢЗДО ЛАСТОЧКИ.

Кипитъ вода, реветъ ручьемъ,
На мельницѣ и стукъ и громъ;
Колеса-то въ водѣ шумятъ,
А брызги вверхъ огнемъ летятъ;
Отъ пѣны-то бугоръ стоитъ,
Что̀ мостъ живой, весь полъ дрожитъ.
Шумитъ вода, рукавъ трясетъ, —
На камни рожь дождемъ течетъ,

*) См. „Примѣчаніе", стр. 29, № 24-й.

Подъ жерновомъ муку родитъ,
Идетъ мука, — въ глаза пылитъ.
Объ мельникѣ и рѣчи нѣтъ:
Въ пыли, въ мукѣ, и лысъ, и сѣдъ,
Кричитъ весь день про бѣдный людъ:
Вотъ тотъ-то мотъ, вотъ тотъ-то плутъ...
Самъ, старый чертъ, какъ звѣрь, глядитъ, —
Чужимъ добромъ и пьянъ, и сытъ;
Дѣтей забылъ, жену извелъ;
Барбосъ съ нимъ жилъ, барбосъ ушелъ.

Одна пѣвунья-ласточка
Подъ крышей обжилась,
Свила-слѣпила гнѣздышко,
Дѣтьми обзавелась.

Поетъ, пока не выгнали:
Чужой-то кровъ — не свой;
Хоть не любо, не весело,
Да свыкнешься съ нуждой.

Въ ночь темную, подъ крылышко
Головку подогнетъ,
И спитъ себѣ подъ громъ и стукъ,
Носкомъ не шевельнетъ.



ПРИЛОЖЕНІЯ.

I.

НОВАЯ БОРЬБА.

Опять призывъ къ войнѣ! Еще на Русь святую
Двѣ тучи новыя грозу свою несутъ
И снова нашу Русь на битву роковую,
На битву страшную, помѣряться зовутъ!
И не забыли мы своей недавней славы, —
Еще не прожилъ силъ великій нашъ народъ,
И такъ же грозный онъ и такъ же величавый,
Какъ буря зашумитъ и двинется впередъ.
Впередъ за христіанъ, позорно умерщвленныхъ!
Впередъ за нашу честь и за права отцовъ,
За славу мѣстъ, нечестьемъ оскорбленныхъ,
За вѣру русскую, — наслѣдіе вѣковъ!
Пришла теперь пора для нашего народа
Рѣшить своимъ мечемъ современный вопросъ,
Свята-ли христіанъ поруганныхъ свобода
И крѣпокъ-ли досель нашъ сѣверный колоссъ?...
Понятно Англіи кичливое волненье:
Народный русскій духъ немного ей знакомъ;
Она не видѣла Полтавскаго сраженья,
И чужды ей нашъ снѣгъ и Бородинскій громъ.
И, можетъ быть, она узнаетъ слишкомъ поздно
Своей политики запятнанную честь,
И начатой войны разсчетъ неосторожный,
И нашу правую воинственную месть.
Но этотъ ли Парижъ, ужъ дважды пощаженный
Благословеннаго державною рукой,

Опять подъемлетъ мечъ безчестно обнаженный,
Заранѣ хвастаясь безславною борьбой!
Вы-ль это, жаркіе поклонники свободы,
Объ общемъ равенствѣ твердившіе всегда,
На брань позорную сзываете народы
И защищаете насилье безъ стыда!
Вы-ль, представители слѣпые просвѣщенья,
Сыны Британіи и Франціи сыны,
Забыли все свое народное значенье
И стали съ гордостью подъ знаменемъ Луны!...
Съ какимъ презрѣніемъ потомокъ оскорбленный,
Краснѣя, вашъ позоръ въ исторію внесетъ
И, гнѣвомъ праведнымъ невольно увлеченный,
Постыдный вашъ союзъ, быть можетъ, проклянетъ!
Но славу Сѣвера, наслѣдіе столѣтій,
Но честь своей страны Россія сохранитъ!
Возстанетъ старъ и младъ, и женщины и дѣти,
И благородный гнѣвъ въ сердцахъ ихъ закипитъ!
И далеко нашъ кличъ призывный пронесется,
И пробудитъ онъ всѣхъ униженныхъ Славянъ,
И грозно племя ихъ въ одинъ народъ сольется
И страшною карой падетъ на Мусульманъ!
И вновь увидитъ міръ, какъ мы въ борьбѣ кровавой
Напомнимъ скопищамъ забывшихся враговъ
Свой богатырскій мечъ, запечатлѣнный славой,
И силу Русскую и доблести отцовъ!

1854 года.

II.

Воздадимъ хвалу Русской землѣ.

(Сказаніе о Мамаевомъ побоищѣ).

Ужъ какъ былъ молодецъ —
Илья Муромецъ,
Сидѣлъ сиднемъ Илья
Ровно тридцать лѣтъ,—

На тугой лукъ стрѣлы
Не накладывалъ,
Богатырской руки
Не показывалъ.

Какъ провѣдалъ онъ тутъ,
Долго сидючи,
О лихомъ Соловьѣ
О разбойникѣ,—

Снарядилъ въ путь коня:
Его первый скокъ —
Былъ пять верстъ, а другой —
Пропалъ изъ виду.

По коню былъ сѣдокъ,—
Къ князю въ Кіевъ-градъ
Онъ привезъ Соловья
Въ торокахъ живьемъ.

Вотъ таковъ-то народъ
Руси-Матушки!
Онъ, безъ нужды, не вдругъ
Съ мѣста тронется;

Не привыкъ богатырь
Силой хвастаться,
Щеголять удальствомъ,
Умомъ-разумомъ;

Ужъ зато кто на брань
Самъ напросится,
За живое его
Тронетъ не въ пору,—

Прочь раздумье и лѣнь!
Послѣ отдыха
Онъ, какъ буря, встаетъ
Противъ недруга!

И поднимется кличъ
Съ отголосками,
Словно громъ загремитъ
Съ перекатами.

И за тысячи верстъ
Людъ откликнется,
И пойдетъ по Руси
Гулъ безъ умолку.

Тогда все трынъ-трава
Бойцу смѣлому:
На куски его рѣжь,—
Не поморщится.

Эхъ, родимая мать,
Русь-кормилица!
Не пришлось тебѣ знать
Нѣги - роскоши!

Подъ грозой ты росла,
Да подъ вьюгами,
Буйный вѣтеръ тебя
Убаюкивалъ;

Умывалъ бѣлый снѣгъ
Лицо полное,
Холодъ щеки твои
Подрумянивалъ.

Много видѣла ты
Нужды смолоду,
Часто съ злыми людьми
На смерть билася.

То не служба была,
Только службишка;
Вотъ теперь сослужи
Службу крѣпкую.

Видишь: тучи несутъ
Громъ и молнію,
При моряхъ города
Загораются,

Всѣ друзья твои врозь
Поразсыпались,
Ты одна подъ грозой...
Стой, Русь-Матушка!

Не дадутъ тебѣ пасть
Дѣти-соколы.
Встань, послушай ихъ кликъ,
Да порадуйся...

«Для тебя — все добро.
Платье цѣнное,
Нашихъ женъ кровь и жизнь,
Все для матери».

Пронесетъ Богъ грозу,
Взглянетъ солнышко,
Шире прежняго, Русь,
Ты раздвинешься!

Будетъ имя твое
Людямъ памятно,
Пока міру стоять
Богомъ сужено.

И ужъ много могилъ
Нашихъ недруговъ
Поростетъ на Руси
Травой дикою!

1854 годъ.

III.

УЛИЧНАЯ ВСТРѢЧА.

Словно безлюдный стоитъ весь городъ.
Чуть видно солнце сквозь сѣть облаковъ.
Пусто на улицѣ. Утренній холодъ
Вывелъ узоры на стеклахъ домовъ.
Крыши повсюду покрыты коврами
Мягкаго снѣга; изъ трубъ тамъ и сямъ
Дымъ поднимается кверху столбами,

Вьется, рѣдѣетъ, подобно клочкамъ
Тучекъ прозрачныхъ, — и вдаль улетаетъ...
Скучная улица! Вѣрно, народъ
Здѣсь не охотно дворы покидаетъ...
Вотъ только баба, согнувшись, несетъ
Гробикъ подъ мышкою... вотъ и другая
Встрѣтилась съ нею, поклонъ отдала,
Кланяясь, молвила: «здравствуй, родная!»
Остановилась и рѣчь повела:

«Кому же этотъ гробикъ-то
Ты, мать моя, взяла,
Сыночекъ что-ли кончился,
Иль дочка умерла?»

— «Сынка, моя голубушка,
Сбираюсь хоронить;
Да вотъ насилу сбилася
И гробикъ-то купить.

А ужъ свѣчей и ладону
Не знаю, гдѣ и взять...
Есть старый самоваришка,
Хочу въ закладъ отдать.

Мужъ боленъ. Вотъ три мѣсяца
Лежитъ все на печи,
Просить на бѣдность — совѣстно,
Хоть голосомъ кричи». —

«И, мать! и я стыдилася
Просить въ твои года;
Глупа была, ужъ что таить,
Глупа да и горда.

Теперь привыкла, горя нѣтъ:
Придешь въ знакомый домъ,
Поплачешь, да поклонишься,
Разскажешь обо всемъ.

Вдова, молъ, я несчастная...
Глядишь, — присѣсть велятъ,
Дадутъ какое платьишко
И къ чаю пригласятъ.

Другое дѣло, мать моя,
Подъ окнами ходить, —
Вѣстимо, это совѣстно,
Ужъ надо нищей быть.

А примутъ тебя въ комнатѣ, —
Какой же тутъ порокъ?...
Ты, кажется, кручинишься,
Что померъ твой сынокъ?»

— «Охъ, я, вѣдь, съ нимъ заботушки
Не мало приняла!...
Кормить его, по немочи,
Я грудью не могла.

По утру жидкой кашицы
Вольешь ему въ рожокъ,
Сосетъ ее онъ, бѣдненькій,
Да тѣмъ и сытъ денекъ.

Тутъ, знаешь, у насъ горенка,
Зимой-то, что̀ ледникъ, —
Чуть сонный онъ размечется,
Ну, и подыметъ крикъ...

И весь дрожитъ отъ холода...
Начнешь ему дышать
На красныя рученки-то,
Ну, и заснетъ опять».—

«И плакать тебѣ нечего,
Что Богъ его прибралъ...
Онъ, мать моя, я думаю,
Не долго прохворалъ?»

— «Съ недѣлю, другъ мой, маялся
И не бралъ въ ротъ рожка;
Бывало, только капельку
Проглотитъ молока.

Вчера, моя голубушка,
Ласкаю я его,
Глядь, — слёзки навернулися
На глазкахъ у него.

Какъ-будто жизнь безгрѣшную
Онъ кинуть не хотѣлъ...
А умеръ тихо, бѣдненькій,
Какъ свѣчка, догорѣлъ!» —

«О чемъ же ты заплакала?
Тутъ воля не твоя.
И дѣти-то при бѣдности —
Железы, мать моя!

Вотъ у меня Аринушка
И умница была,
По бархату, душа моя,
Шить золотомъ могла;

Бывало, за работою
До пѣтуховъ сидитъ;
А мнѣ съ поклономъ по людямъ
И выйти не велитъ:

«Сама ужъ, дескать, маменька,
Я пропитаю васъ».
Работала, работала, —
Да и лишилась глазъ.

Связала мои рученьки:
Вѣдь, чахнетъ отъ тоски;
Слѣпа, а вяжетъ кое-какъ
Носчишки да чулки.

Чужаго калача не съѣстъ;
А если и возьметъ
Кусокъ какой отъ голода,
Все сердце надорветъ:

И ѣстъ, и плачетъ, глупая,
Журишь, — отвѣта нѣтъ...
Вотъ каково, при бѣдности,
Съ дѣтьми-то жить, мой свѣтъ!»

— «Охъ, горько, моя милая!
Ростетъ дитя — печаль,
Умретъ оно — своя, вѣдь, кровь.
Жаль, другъ мой, крѣпко жаль!» —

«Молися Богу, мать моя, —
Не надобно тужить.
Прости же, я зайду къ тебѣ
Блиновъ-то закусить».

Бабы разстались. На улицѣ снова
Пусто. Заборы и стѣны домовъ
Смотрятъ печально и какъ-то сурово.
Солнце за длинной грядой облаковъ
Спряталось. Небо такъ блѣдно, безцвѣтно,
Точно какъ мертвое... и облака
Такъ безотрадно глядятъ, безпривѣтно,
Что по-неволѣ находитъ тоска.

1855 года.

IV.

НА ВЗЯТІЕ КАРСА.

Во храмы, братья! на колѣни!
Возсталъ нашъ Богъ и грянулъ громъ!
На память позднихъ поколѣній
Судъ начатъ кровью и огнемъ...

Таковъ удѣлъ твой, Русь святая, —
Величье кровью покупать;
На грудахъ пепла, выростая,
Не въ первый разъ тебѣ стоять.

Въ борьбѣ съ чужими племенами
Ты возмужала, развилась,
И надъ мятежными волнами
Скалой громадной поднялась.

Опять борьба! Растутъ могилы...
Опять стоишь ты подъ грозой!
Но чую я, какъ крѣпнутъ наши силы,
И вижу я, какъ дѣти рвутся въ бой...

За Русь! гремитъ народный голосъ.
За Русь! по ратямъ кликъ идетъ.
И дыбомъ подымается мой волосъ, —
За Русь! душа и тѣло вопіетъ.

Все во гнѣвѣ проснулось и все закипѣло;
Великою мыслью все царство живетъ;
На страшныя битвы за правое дѣло
Народъ оскорбленный, какъ буря, идетъ.

Задвигались рати, какъ тучи съ громами,
Откликнулись степи, вздрогнули лѣса,
Мелькаютъ знамена съ святыми крестами,
И меркнутъ отъ пыли густой небеса.

За нашихъ героевъ отмщенье настало:
По сушѣ, по морю гулъ битвы пошелъ, —
И знамя Ислама позорно упало,
Надъ Карсомъ поднялся двуглавый орелъ.

Да царствуетъ наша родная держава,
Сыновъ-исполиновъ безсмертная мать!
Да будетъ тебѣ вѣковѣчная слава,
Облитая кровью могучая рать!

Пусть огнедышащихъ орудій
Намъ зѣвы мѣдные грозятъ, —
Мы не закроемъ нашей груди
Гранитомъ стѣнъ и сталью латъ.

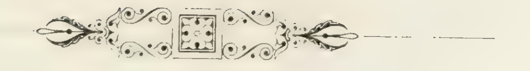
Любовь къ отчизнѣ закалила
Въ неравныхъ спорахъ нашъ народъ, —
Вотъ сверхъестественная сила
И чудотворный нашъ оплотъ!

Твердыня Руси—плоть живая,
Несокрушимая стѣна,
Надежда, слава вѣковая,
И честь, и гордость — все она!

За насъ Господь! Онъ Русью правитъ;
Онъ Моисеевъ жезлъ пошлетъ,
Царь по волнамъ жезломъ ударитъ, —
И рати двинутся впередъ.

И грянутъ новые удары...
И вамъ, защитникамъ Луны,
За грабежи и за пожары
Отплатятъ Сѣвера сыны.

1855 года.



ПРИМѢЧАНІЯ КЪ СТИХОТВОРЕНІЯМЪ.

1 — Въ 1-мъ изданіи стихотвореній Никитина (Толстовскомъ) это стихотвореніе, начиная съ пятаго стиха, было напечатано (стр. 17) въ такомъ видѣ:

О, какъ печальны эти дни
Съ ихъ пустотой однообразной!
Какъ долго тянутся они
Среди дѣйствительности грязной!
Какъ тяжело предузнавать
Ихъ безотрадную ничтожность,
И лучшей доли невозможность
Заранѣ тайно сознавать!..
Но я привыкъ уже къ страданью
И къ этимъ долгимъ, жалкимъ днямъ,
Какъ узникъ къ тягостнымъ цѣпямъ
И вѣчному тюрьмы молчанью.
И вотъ когда, ночную тѣнь
Смѣнивъ, на землю утро взглянетъ,
Опять печальный, скучный день,
Однообразный день настанетъ;
Опять онъ много принесетъ
Съ собою горькихъ ощущеній,
Разсчетовъ мелкихъ и заботъ,
И безполезныхъ размышленій.

2 — Въ первоначальной редакціи, въ изданіи 1856 г. (стр. 19—22) 8—11 куплеты читались такъ:

И скрестивши руки,
Ужаса полна,
Въ безотрадной мукѣ
Дочь его одна.

Вся какъ листъ трепещетъ
Подлѣ мертвеца,
То молитву шепчетъ,
То зоветъ отца.

И никто не знаетъ,
Что въ тоскѣ нѣмой
Сирота рыдаетъ
Въ темнотѣ ночной;

Что дитя забвенья,
Можетъ быть, она
Горечь униженья
Испытать должна.

Стихотвореніе оканчивалось слѣдующими куплетами:

И межъ-тѣмъ какъ слезы
Молча горе льетъ,
Сладостныя грезы
Ночь другимъ даетъ.

Также длится чудно
Въ мірѣ жизни пиръ,
Той же силы юной
Полонъ Божій миръ.

3—Въ изданіи 1856 г. стихотвореніе это напечатано въ слѣдующемъ видѣ (стр. 25—26):

Парчой покрытая гробница,
Надъ нею пышный балдахинъ,
Вокругъ задумчивыя лица
И факеловъ горящихъ дымъ:
Вотъ окончательная сцена,
Которой жизнь заключена!
Актеръ умолкъ, настала смѣна;
Завѣса смертью спущена.
Остался вѣковою тайной
Загробный жребій мертвеца,
И непонятенъ смыслъ печальной
Его холоднаго лица.
Что̀ въ немъ? Надежды выраженье,
Или сомнѣніе и страхъ,
Иль къ жизни прожитой презрѣнье,
Или вопросъ о небесахъ?...
И какъ узнать, зачѣмъ онъ жилъ,
Страдалъ, терпѣлъ и сокрушался?
Напрасно, можетъ быть, любилъ
И безполезно сомнѣвался?
Гдѣ зрѣлый плодъ его трудовъ,
Ума прекрасное созданье,
Оставленное для сыновъ,
Какъ благородное стяжанье?
Увы! быть можетъ, онъ и самъ
Намъ не отвѣтилъ бы на это,
Какую роль на сценѣ свѣта
Игралъ онъ, рабствуя страстямъ!...

4—Стихотвореніе это въ изд. 1856 г. (стр. 32), начиная съ 5 стиха, читается такъ:

Какъ будто червь, въ груди больной
Цвѣтъ жизни точитъ по-немногу,
И отравляетъ сонъ ночной,
И споритъ съ совѣстію строгой;
Улыбку холодомъ мертвитъ,
Сомнѣньемъ радость отравляетъ,
Отъ шума и толпы бѣжитъ,
И молча слезы проливаетъ.
Но, гордость смѣлую храня,
Себѣ не проситъ состраданья,
И тайну своего огня
Не отдаетъ на поруганье,

И въ сердцѣ горькихъ слезъ родникъ,
Какъ преступленіе, скрываетъ,
И подавляетъ страсти крикъ,
И стоны смѣхомъ заглушаетъ.

5 — Въ первый разъ, въ изданіи 1856 г., это стихотвореніе было напечатано такъ (стр. 42):

Не знаешь ты тоски желаній:
Прекрасенъ міръ твоей весны,
И тихи, чуждые страданій,
Твои младенческіе сны.

Но вѣрь, покой твой мимолетный
Разрушитъ опыта гроза,
Измѣнитъ смѣхъ твой беззаботный
Печали тайная слеза.

Тогда, быть можетъ, въ буряхъ свѣта
Тебѣ не разъ напомнитъ умъ
Твои безоблачныя лѣта
И юныхъ игръ веселый шумъ.

6 — Въ изданіи 1856 г. это стихотвореніе было напечатано въ такомъ видѣ (стр. 52—53):

Бываютъ свѣтлыя мгновенья,
Когда за грань тревогъ земныхъ,
Плотскаго чуждый тяготѣнья,
Умъ переносится на мигъ

Когда пророческихъ видѣній
Святою силой вдохновенъ,
Судьбу грядущихъ поколѣній
Предузнаетъ онъ въ мглѣ временъ;

Когда онъ съ истины подъемлетъ
Покрова темнаго края
И слову Бога жадно внемлетъ
Въ великой книгѣ бытія...

Но только пламень вдохновенья
Начнетъ въ груди ослабѣвать,
Опять земныя впечатлѣнья
Умъ утомленный тяготятъ;

Опять тревога жизни грязной
Ничтожной мелочью заботъ
И нищетою безобразной
Невольно сердце потрясетъ...

И снова съ грустію тяжелой
На міръ внимательно глядишь
И подъ улыбкою веселой
Тоску глубокую таишь.

7—Въ изданіи 1856 г. это стихотвореніе имѣетъ слѣдующую редакцію (стр. 70—71):

Не повторяй холодной укоризны:
Не суждено тебѣ меня любить.
Я не хочу безжалостно сгубить
Спокойствіе твоей невинной жизни.
Я все готовъ тебѣ, мой другъ, отдать
И счастіе твое купить моимъ страданьемъ, —
Но выше силъ моихъ соединять
Твою судьбу съ моимъ существованьемъ!
Чѣмъ заплачу, что̀ дамъ тебѣ взамѣнъ
За міръ души и дѣвственныя грезы?
Безплодный рядъ, быть можетъ, грустныхъ сценъ
И никому невидимыя слезы...
Ты знаешь-ли всю жизнь мою вполнѣ,
Все зло дѣйствительности грязной,
И горечь нуждъ, знакомыхъ съ дѣтства мнѣ,
И скорбь моей тоски однообразной?
Такою-ли дорогой проходить
Тебѣ, мой другъ, не знавшей огорченій,
И цѣлый вѣкъ мнѣ въ жертву приносить
Безпечный міръ забавъ и наслажденій?
И что̀ въ тотъ день, измученный тоской,
Въ свое тебѣ скажу я оправданье,
Когда ты мнѣ упрекомъ и слезой
Отвѣтишь вдругъ на ласки и лобзанье?
Нѣтъ, этихъ жертвъ я не хочу принять!
Но кто жъ меня безчувствію научитъ
И наконецъ заставитъ позабыть
Все, что меня и радуетъ и мучитъ,
Что́ для меня, подъ холодомъ заботъ,
Подъ гнетомъ нуждъ, и горя и лишеній,
Единая отрада и оплотъ, —
Источникъ думъ, надеждъ и пѣснопѣній?

8 — Въ изданіи 1856 г. (стр. 85—86) первый куплетъ этого стихотворенія читался такъ:

Молись, дитя: въ устахъ младенца
Молитва, чуждая страстей,
Какъ голосъ радостнаго сердца,
И чище вѣрой, и святѣй.

Послѣдніе-же четыре такъ:

О, еслибъ послѣ многихъ лѣтъ,
Въ часы молитвы, со слезами,
Взглянуло ты на Божій свѣтъ
Такими-жъ свѣтлыми очами.

Но если дѣтства чистота
Когда нибудь тебя оставитъ,
И горькой жизни нагота
Тебя на жизнь роптать заставитъ,—

Въ тѣ дни къ подножію креста
Приникни съ дѣтскою любовью,
И твердой вѣры чистота
Здѣсь примиритъ тебя съ собою.

Здѣсь ангелъ дѣтства твоего
Къ тебѣ опять слетитъ незримо
И о тебѣ Творцу всего
Молиться станетъ невидимо.

9 — Въ Толстовскомъ изданіи стихотвореніе это, вызванное мѣстною критикою, напечатано (стр. 91 — 93) въ слѣдующемъ видѣ:

Задумчивый пѣвецъ, въ пустынѣ неизвѣстной,
Неопытной рукой я струны пробуждалъ
И пѣсни грустныя, какъ лучшій даръ небесный,
Какъ драгоцѣнный кладъ, таилъ и сберегалъ.

Быть-можетъ, силой чувствъ и мыслію глубокой
Я струнъ одушевить не могъ и не успѣлъ:
Никѣмъ незнаемый, съ лѣтъ раннихъ одинокій,
Какъ птица вольная, я безъ искусства пѣлъ.

И пѣснь слагалася легко и беззаботно,
Какъ ни былъ тѣсенъ міръ, гдѣ возмужалъ мой умъ,
Со мною говорилъ и вѣтеръ перелетный,
Я понималъ лѣсовъ, и волнъ и вьюги шумъ.

И все, что грязнаго есть въ жизни самой бѣдной, —
И горе, и разгулъ, кровавый потъ трудовъ,
Порокъ и плачъ нужды оборванной и блѣдной, —
Я видѣлъ вкругъ себя съ младенческихъ годовъ.

Но были у меня отрадныя мгновенья,
Когда всю скорбь мою я въ звукахъ изливалъ!
И зналъ я сердца миръ и слезы вдохновенья,
И долю горькую завидной почиталъ.

За даръ свой, въ этотъ мигъ, благодарилъ я Бога,
Казался раемъ мнѣ мой темный уголокъ,
Тогда-какъ за стѣной и пьяная тревога
Была подлѣ меня, и шелъ о рынкѣ толкъ...

Вдругъ до толпы дошелъ напѣвъ мой вдохновенный,
Изъ сердца вырванный, родившійся въ глуши,
И чувства лучшія, вся жизнь моей души
Разоблачилися рукой непосвященной!

И больно слышать мнѣ, когда мой скромный стихъ,
Проникнутый огнемъ и мыслью благородной,
Перетолкованный, звучитъ въ устахъ чужихъ,
Какъ звукъ безчувственный, безжизненный, холодный...

10 — Въ Толстовскомъ изданіи это стихотвореніе имѣло слѣдующую редакцію (стр. 94 — 96):

Не говори, что жизнь ничтожна,
Сперва въ глубокой тишинѣ
Не изучивши осторожно
Ея значенія вполнѣ.

Оставь печальное сомнѣнье:
Ума неопытнаго плодъ,
Оно въ минуты вдохновенья
Твои восторги осмѣетъ.

Повѣрь, на праздникъ жизни шумной,
Наслѣдникъ будущій небесъ,
Не даромъ ты, какъ гость разумный,
Дары высокіе принесъ;

Не даромъ въ звуки пѣснопѣній
Ты чувства сердца перелилъ
И фантастическихъ видѣній
Край заколдованный открылъ;

Взгляни кругомъ: не для тебя-ли
Художникъ, полный юныхъ силъ,
Дитя сомнѣнья и печали,
Весь міръ сокровища раскрылъ?

Не для тебя-ли небо блещетъ,
И звѣзды радужно горятъ,
И музыкально море плещетъ,
Лѣса дремучіе шумятъ,

И разноцвѣтными коврами
Лежатъ широкія поля,
И съ голубыми небесами
Степей сливаются края,

Въ туманѣ бѣломъ тонутъ горы,
И очаровываютъ взоръ
Долинъ роскошные узоры,
Луговъ приволье и просторъ?

Пойми, что шепчетъ спѣлый колосъ,
И вѣтерокъ о чемъ шумитъ,
И не тебѣ-ль ихъ чудный голосъ
О тайнахъ жизни говоритъ?..

Нѣтъ, не суди о жизни строго!
Повѣрь, прекрасное любя,
Ты въ ней всегда отыщешь много
Отрады новой для себя.

Умѣй изъ груды безобразной
Картину стройную создать
И положить на слѣпокъ грязный
Живаго творчества печать: —

И ты поймешь свое призванье
Въ минуты свѣтлыя труда,
И выше своего страданья
Себя поставишь навсегда,

И безполезныя сомнѣнья
Въ тебѣ въ ту пору замолчатъ,
И слезы, слезы вдохновенья,
Тебя за трудъ вознаградятъ!..

11 — 5 — 16 строки этого стихотворенія принадлежатъ позднѣйшей редакціи и замѣняютъ слѣдующіе стихи первой редакціи, напечатанные въ изд. 1856 г. (стр. 102—104):

Судитъ добрыхъ людей, малыхъ пасынковъ бьетъ,
Да съ сосѣдями ссоры заводитъ;
Кто что ѣстъ, кто что пьетъ и какъ дома живетъ,
Все наружу съ насмѣшкой выводитъ;
Ходитъ изъ дому въ домъ, переноситъ слова,
Выдаетъ небылицы за были;
У себя-же въ дому не рости хоть трава, —
И съ иконъ не смететъ густой пыли.
По недѣлямъ въ избѣ соръ на лавкахъ лежитъ,
Въ стекла тусклыя свѣтъ не проходитъ,
По угламъ на стѣнахъ паутина виситъ,
Плѣсень съ мокраго пола не сходитъ;
На холодной печи ребятишки кричатъ,
Инда сердце въ тоскѣ замираетъ, —
Дѣла мачихѣ нѣтъ, хоть ложись умирать, —
Ни заботы, ни горя не знаетъ;
Отъ двора моего отучила родныхъ,
Отказала знакомымъ съ порога,
Знать не хочетъ молвы, пересудовъ худыхъ,
Ни людей не боится, ни Бога...
Тяжкимъ, долгимъ трудомъ я добро собиралъ,
Много нуждъ перенесъ и заботы.
Худо ѣлъ, мало пилъ, рѣдко спалъ-отдыхалъ,
Не покладывалъ рукъ за работой:
То на пашнѣ съ зорей, съ бороной и сохой,
То съ цѣпомъ на гумнѣ заваленномъ,
То въ лѣсу съ топоромъ, то съ широкой косой
На степи, иль въ лугу отведенномъ.
Вездѣ былъ, успѣвалъ, силу-матушку клалъ,
Свою бѣдность хотѣлъ я поправить, —
И спорилось въ рукахъ: не чужимъ собиралъ,
Думалъ счастье дѣтишкамъ оставить,
Чтобъ они въ сиротствѣ на отцовскую лѣнь,
Послѣ смерти моей, не пеняли
И меня, старика, при нуждѣ, въ черный день
Добрымъ словомъ всегда поминали...
Да на старости лѣтъ умъ за разумъ зашелъ
У меня въ головѣ посѣдѣлой:
Въ тихій домъ свой жену молодую я ввелъ,
И жена принялася за дѣло.
И пошло все вверхъ дномъ: потекло серебро,
Какъ вода между рукъ, на обновки;
Началася гульба,— и погибло добро
Въ одинъ годъ отъ безстыдной мотовки.

12 — Стихотвореніе это, въ изданіи 1856 г., начиналось такъ (стр. 105 — 108):

Жгучъ морозъ трескучій;
Ночь, какъ день, ясна;
Смотритъ изъ-за тучи
Яркая луна.

Вторая строфа выпущена.

Между четвертою и пятою строфами помѣщены слѣдующіе четыре стиха:

Не кипитъ работа
На дворахъ большихъ,
Не скрыпятъ ворота,
Въ избахъ шумъ затихъ.

Въ шестой строфѣ два послѣдніе стиха читаются такъ:

Бѣдная старушка
Тамъ еще не спитъ.

8 — 11 строфы совершенно передѣланы, и вотъ соотвѣтствующія имъ строфы въ изданіи 1856 г.

Будетъ имъ надеждой,
Хлѣба дастъ кусокъ,
Обувь и одежду,
Теплый уголокъ...

И въ тоскѣ безмолвной,
Тяжкихъ думъ полна,
Стала предъ иконой
Съ трепетомъ она,

И, склонивъ колѣни,
Сдерживая духъ,
Въ грустномъ умиленьи
Повторяла вслухъ:

«Пресвятая Дѣва!
Сохрани сиротъ
Отъ людскаго гнѣва,
Отъ кручинъ, заботъ.

«Въ безпріютной долѣ
Щедро помоги;
Отъ порока въ горѣ
Мудро сбереги;

«Награди ихъ силой,
Разумомъ-умомъ,
И за грѣхъ помилуй
На Судѣ святомъ!...»

13 — Это стихотвореніе было напечатано въ первый разъ въ «Рус. Архивѣ» 1865 г., стр. 805—810. Приводимъ варіантъ его изъ Михайловскаго изданія (стр. 267—274):

День ясный тихо догораетъ;
Чистъ неба куполъ голубой;
Весь западъ въ золотѣ сіяетъ

Надъ Іудейскою землей;
Спокойно высясь надъ полями,
Закатомъ солнца освѣщенъ,
Стоитъ высокій Елеонъ
Съ благоуханными садами.
И, полный блеска, передъ нимъ,
Народа шумомъ оживленный,
Лежитъ святой Ерусалимъ,
Стѣною твердой окруженный.
Вдали Гевалъ и Гаразимъ [1]),
Къ востоку воды Іордана
Съ роскошной зеленью долинъ
Рисуются въ волнахъ тумана,
И моря Мертваго краса
Сквозь сонъ глядитъ на небеса [2]).
А тамъ, на западѣ, далеко,
Лазурныхъ Средиземныхъ волнъ
Разливъ могучій огражденъ
Песчанымъ берегомъ широко... [3])
Темнѣетъ... всюду тишина...
Вотъ ночи вспыхнули свѣтила, —
И ярко полная луна
Садъ Геѳсиманскій озарила.
Въ травѣ, подъ вѣтвями оливъ,
Сыны Божественнаго Слова,
Ерусалима шумъ забывъ,
Спятъ три Апостола Христовы.
Ихъ сонъ спокоенъ и глубокъ;
Но тяжело спалъ міръ суровый:
Вѣковъ наслѣдственный порокъ
Его замкнулъ въ свои оковы,
Проклятье праотцевъ на немъ
Пятномъ безславія лежало
И, съ каждымъ вѣкомъ, новымъ зломъ
Его, какъ язва, поражало...
Но часъ свободы наступалъ —
И, чуждый общему позору,
Посланникъ Бога, въ эту пору,

---

[1]) Гевалъ (нынѣ Емададъ-динъ) и Гаразимъ (нынѣ Шехъ-Гаденъ) близъ Сихема въ колѣнѣ Ефремовомъ, на северъ отъ Іерусалима, въ 52 верст. Шесть колѣнъ Израилевыхъ на первой произносили проклятія, а другія шесть на второй—благословенія, заповѣданныя Моисеемъ. *Свящ.-церк. Географія В. П. П. изд. 2-е 1848.*

[2]) Вода Мертваго моря свѣтла и прозрачна, но чрезвычайно горька, какъ въ нашихъ солончакахъ. Самая большая длина его простирается на 91 версту, ширина 25. *Тамъ же.*

[3]) Средиземное море находится въ разстояніи 50 верстъ отъ Іерусалима. *Тамъ же.*

Судьбу всемірную рѣшалъ.
За слово истины высокой
Голгоѳскій крестъ предвидѣлъ Онъ,
И, чувствомъ скорби возмущенъ,
Отцу молился одиноко:
„Ты знаешь, Отче, скорбь Мою
И видишь, какъ Твой Сынъ страдаетъ,—
О, подкрѣпи Меня, молю,
Моя душа изнемогаетъ!
День казни близокъ: онъ придетъ —
На жертву отданный народу,
Твой Сынъ безропотно умретъ,
Умретъ за общую свободу... *)
Проклятьемъ черни пораженъ,
Измученный и обнаженный,
Передъ толпой поникнетъ Онъ
Своей главой окровавленной,
И тѣ, которымъ со креста,
Пошлетъ Онъ даръ благословенья,
Съ улыбкой гордаго презрѣнья
Поднимутъ руку на Христа...
О, да минуетъ чаша эта,
Мой Отче, Сына Твоего!
Мнѣ горько видѣть злобу свѣта
За искупленіе его!
Но не Моя да будетъ воля,
Да будетъ такъ, какъ хочешь Ты!
Тобой назначенная доля
Есть дѣло вѣчной правоты.
И если Твоему народу
Позоръ Мой благо принесетъ, —
Пускай за общую свободу
Сынъ человѣческій умретъ!"
Молитву кончивъ, скорби полный,
Къ ученикамъ Онъ подошелъ
И, увидавъ ихъ сонъ спокойный,
Сказалъ имъ: „встаньте, часъ пришелъ!
Оставьте сонъ свой и молитесь,
Чтобъ въ искушенье вамъ не впасть,
Тогда вы въ вѣрѣ укрѣпитесь
И съ вѣрой встрѣтите напасть".
Сказалъ, — и тихо удалился
Туда, гдѣ прежде плакалъ Онъ,
И, той же скорбью возмущенъ,
На землю палъ Онъ и молился:

---

*) Посл. св. Апост. Павла Римл., гл. VIII, ст. 21. Его же къ Галат. гл. V, ст. 1 и 13.

«Ты, Отче, въ міръ Меня послалъ,
Но Сына міръ Твой не пріемлетъ:
Ему любовь Я завѣщалъ,
Моимъ глаголамъ онъ не внемлетъ;
Я былъ врачемъ его больнымъ,
Я за враговъ Моихъ молился, —
И надо Мной Ерусалимъ
Какъ надъ обманщикомъ глумился!
Народу миръ Я завѣщалъ, —
Народъ судомъ мнѣ угрожаетъ,
Я въ мірѣ мертвыхъ воскрешалъ, —
И міръ мнѣ крестъ приготовляетъ!...
О, если можно, отъ Меня
Да мимо идетъ чаша эта!
Ты Богъ любви, начало Свѣта,
И все возможно для Тебя!
Но если кровь нужна свята,
Чтобъ землю съ Небомъ примирить, —
Твой вѣчный судъ благословляя,
На крестъ готовъ Я восходить!"
И взоръ въ тоскѣ невыразимой
Съ небесъ на землю онъ низвелъ
И снова, скорбію томимый,
Къ ученикамъ Онъ подошелъ.
Но ихъ смежившіяся очи
Невольный сонъ отягощалъ;
Великой тайны этой ночи
Ихъ бѣдный умъ не постигалъ.
И сталъ Онъ, молча, полный муки,
Чело высокое склонилъ
И на груди святыя руки
Въ изнеможеніи сложилъ.
Что думалъ Онъ въ минуты эти,
Какъ человѣкъ и Божій Сынъ,
Подъявшій грѣхъ тысящелѣтій, —
То зналъ Отецъ Его одинъ.
Но ни одна душа людская
Не испытала никогда
Той боли тягостной, какая
Въ Его груди была тогда,
И люди вѣрно-бъ не поняли,
Весь грѣшный міръ нашъ не постигъ
Тѣхъ слезъ, которыя сіяли
Въ очахъ Спасителя въ тотъ мигъ.
И вотъ опять Онъ удалился
Подъ сѣнь смоковницъ и оливъ
И, тамъ колѣна преклонивъ,
Опять Онъ плакалъ и молился:

«О, Боже мой! Мнѣ тяжело!
Мой умъ колеблется, темнѣетъ;
Все человѣческое зло
На Мнѣ единомъ тяготѣетъ.
Позоръ людской,—позоръ вѣковъ, —
Все на Себя Я принимаю,
Но самъ, подъ тяжестью оковъ,
Какъ человѣкъ, изнемогаю...
О, не оставь Меня въ борьбѣ
Съ Моею плотію земною, —
И все угодное Тебѣ
Тогда да будетъ надо Мною.
Молюсь, да снидетъ на Меня
Святая сила подкрѣпленья,
Да совершу съ любовью Я
Великій подвигъ примиренья!»
И руки къ небу Онъ подъялъ,
И весь въ молитву превратился;
Огонь лице Его сжигалъ,
Кровавый потъ по Немъ струился.

И вдругъ съ безоблачныхъ небесъ,
Лучами свѣта окруженный,
Явился въ садъ уединенный
Глашатай Божіихъ чудесъ *).
Былъ чуденъ взоръ его прекрасный,
И безмятежно и свѣтло
Одушевленное чело,
И ликъ сіялъ, какъ полдень ясный;
И близь Спасителя Онъ сталъ
И рѣчью свыше вдохновенной
Освободителя вселенной
На славный подвигъ укрѣплялъ;
И самъ, подобный легкой тѣни,
Но полный благодатныхъ силъ,
Свои воздушныя колѣни
Съ молитвой пламенной склонилъ.

Вокругъ молчало все глубоко;
Была на небѣ тишина, —
Лишь въ царствѣ мрака одиноко
Страдалъ безплодно сатана.
Онъ зналъ, что въ мірѣ колебался
Его владычества кумиръ,
И что безславно падшій міръ

*) Лук., гл. XXII, ст. 43.

Къ свободѣ новой приближался.
Виновникъ зла, онъ понималъ,
Кто былъ Мессія воплощенный*),
О чемъ Отца Онъ умолялъ,
И, страшной мукой подавленный,
Духъ гордый молча изнывалъ,
Безсильной злобой сокрушенный...

Спокойно въ выси голубой
Свѣтилъ блистали миріады,
И полонъ сладостной прохлады
Былъ чистый воздухъ. Надъ землей,
Поднявшись тихо, небожитель
Летѣлъ къ надзвѣзднымъ высотамъ, —
Межъ тѣмъ всемірный Искупитель
Опять пришелъ къ ученикамъ.
И въ это чудное мгновенье
Какъ былъ Онъ истинно великъ,
Какимъ огнемъ одушевленья
Горѣлъ Его прекрасный ликъ!
Какъ ярко отражали очи
Всю волю твердую Его,
Какъ радостно свѣтила ночи
Съ высотъ глядѣли на Него!

Ученики, какъ прежде, спали,
И вновь Спаситель имъ сказалъ:
«Вставайте, близокъ день печали
И часъ предательства насталъ...»
И звукъ мечей остроконечныхъ
Садъ Геѳсиманскій пробудилъ,
И отблескъ факеловъ зловѣщихъ
Лицо Іуды освѣтилъ.

14 — Первоначальный набросокъ этого стихотворенія, приведенный въ Михайловскомъ изданіи (см. Т. I, стр. 531—533), былъ слѣдующій:

Широко лежатъ
Поля бѣлыя;
Высоко горятъ
Звѣзды яркія;

Мѣсяцъ въ дальній путь,
Вслѣдъ за тучками,
Надъ селомъ плыветъ
Бѣлымъ лебедемъ.

Со смолой обозъ,
Съ горы на гору,
Не спѣша, къ селу
Подвигается.

*) Матѳ. гл. VIII, ст. 29; Марк. V, 7; Лук. VI, 34.
Воскресное Чтеніе 1840 г. № 45 „Искушеніе Іисуса Христа отъ діавола“.

Рѣзко снѣгъ скрипитъ
Подъ полозьями,
На уздахъ звенятъ
Кольца мѣдныя.

Идутъ лошади
Съ ноги на ногу;
Мужички крехтятъ,
Пожимаются.

Отъ мороза ихъ
Брови, бороды
Поросли густымъ,
Бѣлымъ инеемъ.

Вотъ въ село они
Дружно въѣхали,
Подошли къ двору
Постоялому.

И на встрѣчу къ нимъ
Дворникъ ласковый
Подошелъ и снялъ
Шапку старую.

Поклонился всѣмъ,
Поздоровался;
Сталъ ихъ звать къ себѣ,
Приговаривать:

«Что на дворъ что-ль вамъ?
Просимъ милости:
У меня овесъ —
То же золото:

Я не то, что вонъ
Сосѣдъ-выжига, —
Люди добрые
Со мной знаются,

Я, вѣдь, самъ въ извозъ,
Братцы, хаживалъ,
Нужды, голода,
Много видывалъ,

Угощу, небось,
По-пріятельски,
Провожу съ двора
Хлѣбомъ, солію,

Поѣзжайте-ка,
Просимъ милости;
У меня изба
Баня банею».

Мужички его
Словъ послушались, —
На широкій дворъ
Къ нему въѣхали;

Отпрягли коней
Подъ сараями,
Въ хрептуги овса
Понасыпали.

Со двора пошли
Въ избу теплую,
Образамъ святымъ
Помолилися,

Распоясались,
Шубы скинули,
На палатяхъ ихъ
Поразвѣшали.

Водой чистою
Руки вымыли
И за длинный столъ
Посажалися.

Подала имъ хлѣбъ
Жена дворника,
Въ мискѣ крашеной
Щи поставила.

Мужички ѣдятъ,
Согрѣваются,
Сами рѣчь ведутъ
О Саратовѣ.

Прислонясь къ стѣнѣ,
Подлѣ притолки,
Ихъ разсказъ, сквозь сонъ,
Дворникъ слушаетъ.

Про себя-жъ одинъ,
Молча, думаетъ:
Вишь, сидятъ они,
Прохлаждаются.

А овса, такъ вотъ,
Почти не брали;
Угощу-жъ я васъ
По-пріятельски!

15 — Въ изд. 1856 г. это стихотвореніе напечатано со многими варіантами (125—130 стр.); отмѣчаемъ главнѣйшіе:

Послѣ 18-го стиха были помѣщены шесть слѣдующихъ:

Только видно его я ничѣмъ не залью,
Лишь одну свою жизнь скоротаю.
Ты не знаешь, небось, какъ я прежде живалъ,
Все умѣя про нужду готовить,
Пока замужъ тебя, бѣлоручку, не взялъ,
Не посмѣвши отцу прекословить.

Стихи 29—33 соотвѣтствуютъ слѣдующимъ стихамъ изданія 1856 г.:

Самъ работаешь до ночи, устали нѣтъ,
Противъ вѣтру вся грудь на распашку,
Лишь коса зазвенитъ, какъ рука размахнетъ,
И отъ поту хоть выжми рубашку.
Придетъ праздникъ, — одѣвшись, глядишь молодцомъ,
Сходишь въ церковь, помолишься Богу,
И идешь по селу, вьются кудри кольцомъ,
Старики уступаютъ дорогу!
А теперь, — знать, за грѣхъ меня Богъ наказалъ, —
Надо мною смѣяться всѣ стали...
И, вздохнувъ глубоко, онъ опять продолжалъ,
И глаза его вдругъ засверкали:
Одного я маленько вотъ въ толкъ не возьму:

Между 56 и 57 стихами выкинуты слѣдующіе четыре стиха:

Аль досада беретъ, что сталъ голъ, какъ соколъ,
Что ужъ нечѣмъ пришло охмѣляться?
Та бѣда — не бѣда, онъ другую нашелъ,
Захотѣлъ надъ женой издѣваться.

Послѣ 88 стиха выпущены четыре:

Да, вѣдь, я, братъ, видалъ и почище тебя
И умѣлъ въ ихъ бокахъ ломать кости;
Ты ступай, куда шелъ, вонъ дорога твоя,
А я знаю, къ кому иду въ гости.

Стихи 90—92:

Закричалъ Пантелей, размахнувшись, —
И онъ такъ хватилъ мѣтко сосѣда въ високъ,
Инда съ часъ тотъ лежалъ, растянувшись...

16—Въ Толстовскомъ изданіи это стихотвореніе было напечатано (стр. 5—6) въ слѣдующей редакціи:

Полно спать тебѣ, степь, подъ туманомъ:
Зимы-матушки кончился срокъ;
Съ юга гости летятъ караваномъ,
Настаетъ весны теплый денекъ.

Уберись, какъ невѣста, цвѣтами
И умой лицо первымъ дождемъ,
Грудь накрой травы новой шелками
Изукрасься росы жемчугомъ.

Посмотри: небеса надъ тобою
Развернулись шатромъ голубымъ,
Вьются бѣлыя тучки толпою,
Блещетъ солнце огнемъ золотымъ.

Вѣтерокъ тебя нѣжитъ, ласкаетъ,
Вѣетъ юною жизнію день,
И отъ тучекъ слегка пробѣгаетъ
По груди твоей длинная тѣнь.

Скоро гости къ тебѣ соберутся,
Гнѣзда дѣтямъ своимъ будутъ вить,
Съ утра до ночи пѣсни польются,
Станутъ гости до осени жить.

И растительной жизни избыткомъ,
Какъ младенца любимаго мать,
Свѣжихъ соковъ здоровымъ напиткомъ
Ты начнешь траву щедро питать.

И трава на привольномъ просторѣ
Шелкъ зеленыхъ кудрей разовьетъ,
По зарямъ сквозь дремоту, что̀ море,
Съ вѣтромъ шопотъ и шумъ заведетъ.

Косари, помолясь предъ иконой,
Изъ далекихъ придутъ хуторовъ,
Огласятъ тебя пѣснью знакомой
И намечутъ душистыхъ стоговъ.

И тогда отдыхай беззаботно,
Погружайся въ глубокій свой сонъ;
Про тебя сложу пѣснь я охотно
И отдамъ тебѣ низкій поклонъ.

17—Первымъ десяти стихамъ соотвѣтствуютъ, по изданію 1856 г., слѣдующіе (стр. 149 — 150).

Буря утихла. Грядой облака потянулись къ востоку;
Грома глухіе раскаты вдали замирать начинаютъ;
Вотъ они смолкли, и огненный ликъ заходящаго солнца
Снова блеснулъ изъ-за тучи — и вмигъ загорѣлся весь западъ,
Нѣжнымъ румянцемъ покрылась опушка кудряваго лѣса,
Капли дождя засіяли на немъ будто чудные камни.
Слышу, о чемъ-то таинственно шепчется вѣтеръ съ листами;
Рѣчи его непонятны для нашего грубаго слуха,
Но понимаютъ ихъ, вѣрно, листы, отвѣчая имъ дружно.
Около лѣса желтѣется ржи неоглядное море,
Искрами блещетъ небесная влага на иглахъ колосьевъ;
Жадно они напилися ея послѣ долгой засухи;
Сладко дремать имъ теперь, наклонясь надъ сырою землею,
Воздухъ прохладный вдыхая, подъ кротко-сіяющимъ небомъ.
О, какъ хорошъ этотъ воздухъ, грозой и дождемъ освѣженный!
Какъ ощутительно вѣетъ онъ новою силой и жизнью!
Какъ ему рады повсюду, куда онъ проникъ, благодатный!
Видѣлъ я въ полдень вотъ этотъ цвѣтокъ темносиній: отъ жару
Грустно свернувъ лепестки, онъ клонился къ землѣ раскаленной:
Вѣрно, увялъ-бы онъ, если-бы на день продлилась засуха.
Что-же теперь? Окропленный дождемъ, оживленный прохладой,
Снова онъ весь развернулся и держится прямо на стеблѣ.

18—Въ изданіи 1856 г. это стихотвореніе напечатано съ значительными варіантами. Вотъ главнѣйшіе (стр. 153 — 162):

Стихотвореніе начинается слѣдующимъ куплетомъ:

Скоро будетъ полночь...
Тишина въ избѣ;
Только вѣтеръ воетъ
Жалобно въ трубѣ,

Строфы 3, 5 и 6 читаются такъ:

Въ старомъ зипунишкѣ,
Прислонясь къ стѣнѣ,
Дремлетъ подлѣ печки
Мальчикъ на скамьѣ.

Съ дремлющимъ малюткой
Рядомъ мать сидитъ
И, лаская сына,
Кротко говоритъ:

«Ты-бы легъ, касатикъ,
Вѣдь, ужъ ночь давно;
На-ка вотъ шубенку,
Вишь какъ холодно».

Строфы 7—11 представляютъ слѣдующую редакцію:

— «А зачѣмъ-же, мама,
Ты сама сидишь,
И вечоръ все пряла
И теперь не спишь?»

«Охъ, мой ненаглядный,
Прясть-то нѣтъ ужъ силъ:
Что-то такъ мнѣ грустно,
Божій свѣтъ не милъ!

«Пятая недѣля
Вотъ къ концу идетъ,
А доселъ отецъ твой
Вѣсточки не шлетъ.

«Ну. Господь помилуй!
Если съ мужикомъ
Грѣхъ какой случился
На пути глухомъ.

«Дѣло мое бабье,
Какъ тогда мнѣ быть?
Кто насъ горькихъ станетъ
Одѣвать, кормить?

15-й строфѣ Кокоревскаго изданія соотвѣтствуютъ слѣдующіе 8-мь стиховъ:

«Полно плакать, мама!» —
Грустно сынъ сказалъ
И, поднявъ головку,
Тихо съ мѣста всталъ,

И къ щекѣ родимой
Онъ прильнулъ щекой
И, заплакавъ горько,
Мать обнялъ рукой.

19-я строфа читается такъ:

И дитя забылось...
Снова мать прядетъ,
Ей отъ думъ, заботы
Сонъ на умъ нейдетъ.

Строфы 22-я и 23-я также измѣнены:

И съ тоской тяжелой
Вспомнила она,
Какъ ея дѣвичья
Жизнь проведена;

Какъ ей, умирая,
Говорила мать:
«Тошно сиротою
Мнѣ тебя кидать!»

26-й строфѣ соотвѣтствуютъ слѣдующіе 8-мь стиховъ:

«И разгульны, правда,
Нечего сказать,
Да за то какъ станутъ
Въ полѣ работать, —

«Хоть жара, хоть вѣтеръ—
Все равно для нихъ:
Отъ того и замужъ
Скоро взяли ихъ.

Послѣ 27-й строфы выпущены слѣдующіе 12 стиховъ:

«Все ты сшить умѣешь
И въ избѣ прибрать,
Ребятишекъ братьевъ
Любишь обмывать.

Да въ быту крестьянскомъ,
Знаешь ты сама,
Сила-то дороже
Разума-ума»...

Вспомнила, какъ замужъ
Взялъ ее ямщикъ,
Какъ его покойный
Тесть любилъ, старикъ.

Строфамъ 28 и 29 соотвѣтствуютъ, по изданію 1856 г., слѣдующіе четыре стиха:

Вотъ въ сѣняхъ избушки
Кто-то застучалъ.
«Ахъ, отецъ!» проснувшись,
Мальчикъ закричалъ.

Строфа 32 читается такъ:

И мужикъ рукою
Сильно дверь рванулъ,
Въ избу вшелъ, снялъ шапку,
Съ платья снѣгъ стряхнулъ,

36 — 38 строфы напечатаны въ изд. 1856 г. слѣдующ. образомъ:

«На дворѣ съ нимъ вмѣстѣ
Мнѣ пришлось стоять,
И меня лошадокъ
Упросилъ онъ взять».

Горько зарыдала
Бѣдная вдова,
Выслушавъ сосѣда
Первыя слова.

Опустивъ рученки,
Сынъ ея стоялъ
Блѣдный, и всѣмъ тѣломъ
Въ ужасѣ дрожалъ.

Строфа 42-я читается такъ:

«Лошади-то ваши
Тутъ вотъ у двора:
Такъ поди, возьми ихъ;
Мнѣ домой пора»...

19 — Вотъ какъ было напечатано это стихотвореніе въ первомъ изданіи, 1856 г., сочиненій Никитина:

Ударъ за ударомъ,
Полуночный громъ...
То вспыхнетъ пожаромъ
Все небо кругомъ,

Освѣтитъ картину
Села надъ рѣкой,
И лѣса вершину,
И берегъ крутой;

То снова все темно...
Лишь вѣтеръ шумитъ,
Да ливень холодный
Въ оконцо стучитъ.

Горитъ одиноко
Въ избушкѣ ночникъ;
На лавкѣ широкой
Кудесникъ старикъ,

Съ сѣдой бородою,
Съ угрюмымъ лицомъ,
Надъ чашей съ водою
Сидитъ за столомъ.

На лбу бороздами
Морщины лежатъ,
Глаза подъ бровями,
Какъ угли, горятъ.

У притолки парень
Въ халатѣ стоитъ:
Онъ, бѣдный, печаленъ
И въ землю глядитъ;

Лицо не красиво,
На видъ простоватъ,
Но сложенъ на-диво
Отъ плечъ и до пятъ.

«Ну, слушай: готово!
Хоть трудъ мой великъ, —
Промолвилъ сурово
Кудесникъ-старикъ:

«Я сдѣлаю дѣло:
Красотка твоя
И душу и тѣло
Отдастъ за тебя!»

И тихо онъ началъ
Шептать наговоръ:

«На морѣ на Окіянѣ
«Бѣлый камень Алатырь:
«На немъ баня огнемъ пышетъ
«Съ раскаленною доской.
«Тридцать три тоски оттуда
«Всюду мчатся: на югъ,
«На пути и перепутья,
«Западъ, сѣверъ и востокъ.
«Киньтесь вы, тоски, къ дѣвицѣ
«Въ разумъ, въ сердце, въ очи, въ ликъ,
«Въ жилы, кости и суставы,
«Въ тѣло бѣлое и кровь!
«Чтобъ *о немъ* она крушилась,
«Тосковала день и ночь,
«Чтобъ для ней *онъ* былъ утѣхой,
«Милѣй солнышка и сна,
«Свѣта бѣлаго дороже,
«Лучше матери, отца!
«Будетъ слово мое крѣпко,
«И не снимется тоска
«Тѣмъ, кто въ морѣ выпьетъ воду,
«Траву выщиплетъ въ поляхъ!»

«Иди! до свиданья!
И помни мой трудъ:
Мои заклинанья
Не даромъ пойдутъ».

— «Спасибо кормилецъ!
За все заплачу;
Поможешь, — гостинецъ
Съ поклономъ вручу.

«Крупы, коли скажешь, —
Мѣшокъ ни-почемъ!
А денегъ прикажешь —
И деньги найдемъ».

И съ радости дома
Такъ парень мой спалъ,
Что бури и грома
Всю ночь не слыхалъ.

Во снѣ ему снилось,
Что онъ ужъ женатъ,
Что, Богъ далъ, родилось
Ужъ двое ребятъ.

Пять дней пролетѣло...
Вотъ разъ, вечеркомъ,
На лавкѣ, безъ дѣла,
Лежитъ онъ ничкомъ.

На крѣпкія руки
Припавъ головой,
Колотитъ отъ скуки
Объ лавку ногой.

Лучина горѣла
Въ свѣтцѣ на полу,
Старушка сидѣла
За прялкой въ углу, —

И вдругъ повернулся,
Плечо почесалъ,
Зѣвнулъ, потянулся
И громко сказалъ:

«Слышь, матушка! баютъ,
У насъ въ деревняхъ

Вишь доки бываютъ, —
И вѣрить-то страхъ!

«Кого вишь присушатъ,
Не милъ станетъ свѣтъ:
Тоска такъ и душитъ!...
Что̀ правда, аль нѣтъ?»

— «Охота, родимый,
Про дрянь вспоминать!
Бываютъ, вѣстимо...»
Отвѣтила мать.

«Ну, правда, такъ ладно!»
Сынъ думалъ: «дождусь!...
Эхъ, жить буду славно,
Коли я женюсь!»...

Но, видно, напрасно
Кудесникъ шепталъ
И дѣвицѣ красной
Тоской угрожалъ, —

Тоска не являлась...
А жаль: вѣдь, плуту
Навѣрно-бъ досталось
Взять съ парня крупу.

Другаго красотка
Любила тайкомъ
За пѣсни, походку
И кудри кольцомъ.

А парень гуляетъ:
Какъ праздникъ придетъ,
Лицо умываетъ
И гребень беретъ,

И кудри направо,
Налѣво завьетъ,
Подумаетъ: «браво!»
И пальцемъ щелкнетъ.

Какъ снѣгъ въ чистомъ полѣ,
Рубашка на немъ,
Кумачъ на подолѣ
Сверкаетъ огнемъ.

На шляпѣ высокой,
Межъ черныхъ двухъ лентъ,
Блеститъ одиноко
Витой позументъ.

Онучи обвиты
Кругомъ бичевой,
И лапти прошиты
Суровой пенькой.

Тряхнетъ волосами,
Идетъ въ хороводъ.
«Ну, вотъ, дескать, нами
Любуйся народъ!»

И свистнетъ, и станетъ
Плясать молодцомъ,
Отъ ногъ инда встанетъ
Пыль темнымъ столбомъ.

Но какъ-то, случайно,
Узналъ наконецъ
Про дѣвкину тайну,
На грѣхъ, молодецъ.

Вся кровь закипѣла
Въ бѣднягѣ... «Такъ вотъ,
Онъ думалъ: въ чемъ дѣло!
Кудесникъ-то вретъ.

«Дождется-жъ онъ платы!
Ну, я съ нимъ того...
Обманщикъ проклятый,
Я вспомню его!»

И два дни, угрюмый,
Убитый тоской,
Все думалъ онъ думу
Въ избушкѣ своей.

На третій, — лишь только
Отправилась мать
На рѣчку въ ведерко
Водицы набрать,

И день загорѣлся, —
Съ постели онъ всталъ,

Обулся, одѣлся,
Котомку съискалъ,

Въ тряпицѣ рубашку
Въ нее положилъ.
И съ ложкою чашку
Туда-жъ опустилъ,

Халатъ для дороги,
Про непогодь, взялъ...
Мать входитъ; онъ въ ноги
Ей палъ и сказалъ:

«Ну, матушка! горько,
Признаться, идти
Съ родимой сторонки...
А видно прости!»

Мать такъ и завыла:
— «Касатикъ ты мой!
Ахъ, крестная сила!
Что-жь это съ тобой?» —

«Эхъ, тошно, родная!
И днемъ и во снѣ
Сторонка чужая
Все грезится мнѣ.

«Нуждѣ не учиться,
Косить не боюсь,
Пойду потрудиться:
Съ казной ворочусь».

Какъ мѣлъ поблѣднѣла
Отъ словъ его мать;
На лавку присѣла
И что-то сказать

Хотѣла, какъ видно,
Раскрыла ужъ ротъ,—
Но очи недвижно
Смотрѣли впередъ

Безъ мысли, безъ цѣли,
И, словно свинецъ,
Уста посинѣли...
Ну, словно мертвецъ!

«Эхъ-ма! я старуху
Никакъ испугалъ!
Не слышно и духу...»
Сынокъ разсуждалъ.

«Вотъ горе, ей-Богу!
Жаль полъ-то мочить:
Водой бы немного
Ее окатить».

Межъ - тѣмъ встрепенулась
Старушка, отъ сна
Какъ будто проснулась
Въ тревогѣ она;

Вздохнула, привстала,
Припомнила все,
И вдругъ зарыдала:
—«Дитя ты мое!

«Да какъ же подъ старость,
Мнѣ жить-то одной?
Вѣдь, ты моя радость,
Кормилецъ родной!»

И къ сыну припала
На грудь головой
И все повторяла:
— «Кормилецъ родной!»

Сынъ крѣпко рукою
Хватилъ себя въ лобъ,
И думалъ съ собою:
«Прямой остолопъ!

«Ну, вотъ тебѣ—здравствуй!...
Наладилось мнѣ:
Иди, малый! царствуй
Въ чужой сторонѣ!

«А, стало, старушкѣ
Одной пропадать!
Казны-то полушки,
Вѣдь, негдѣ ей взять».

И парень украдкой
Лицо отвернулъ,
Заплакалъ, и шапку
На лавку швырнулъ.

«Ну, полно, родная!
Я такъ... пошутилъ...
Эхъ, доля худая!
Живи, знать, какъ жилъ!»

Чрезъ часъ взялъ онъ хлѣба
Ломоть, закусилъ,
И такъ до обѣда
Овесъ молотилъ,

Что парень сосѣдскій
Взглянулъ и сказалъ:
— «Охъ, взмахъ молодецкій!
Вотъ силу Богъ далъ!»

Старушкѣ, ужъ долго
Спустя, сынъ сказалъ,
Зачѣмъ въ путь-дорогу
Онъ вдругъ загадалъ.

Но самъ посчитался
Съ плутомъ старикомъ:
Морочить заклялся
Старикъ колдовствомъ.

20 — Это стихотвореніе въ первый разъ было напечатано въ Михайловскомъ изданіи (см. т. I, стр. 347—349). Оставивъ его въ рукописи, Никитинъ потомъ совершенно передѣлалъ его для Кокоревскаго изданія, гдѣ оно и напечатано подъ названіемъ «Пѣсни Бобыля» (см. стр. 123, и тоже въ нашемъ изданіи, т. П, стр. 33—34).

21 — Это стихотвореніе, одно изъ наиболѣе любимыхъ поэтомъ, имѣетъ три редакціи. Печатая его въ текстѣ по Кокоревскому изданію, 3-му (стр. 13—14), приводимъ и двѣ первыя, такъ какъ онѣ, кромѣ интересныхъ варіантовъ, имѣютъ свои достоинства.

УТРО (1-я редакція).

Пышетъ въ небѣ заря, словно села горятъ.
Спятъ поля и луга подъ туманами.
Какъ толпа силачей, сосны въ думѣ стоятъ
На крутомъ берегу великанами.
Что̀ дитя въ пеленахъ, чутко дремлетъ рѣка,
Лишь камышъ шелеститъ и колышется,
Пробѣжитъ по водѣ полоса вѣтерка,
Или крикъ пѣтуховъ въ селахъ слышится.
Отдохнулъ Божій міръ, освѣжилась земля
И росою небесной умылася;
Сквозь дремотную лѣнь ждутъ луга и поля,
Чтобы солнышко вновь появилося.
Вѣетъ влажной прохладой въ лицо вѣтерокъ.
И туманъ въ облака собирается,
Засинѣлася даль, загорѣлся востокъ,
И все выше огонь подымается.
Вотъ кричитъ коростель, тамъ-и-сямъ поднялись

Чибиса надъ болотами топкими,
И проснувшихся птицъ въ одну пѣсню слились
Голоса переливами звонкими.
Вотъ и солнце взошло. Пробудилась земля,
Дерева и кусты тѣнь откинули,
И, какъ волны, потоки лучей на поля,
На луга и лѣса разомъ хлынули.
Засіяла рѣка, заблестѣла роса,
Смотритъ весело травка душистая,
Разноцвѣтнымъ огнемъ освѣтились лѣса,
Тонетъ въ золотѣ рожь колосистая.
Всюду радость и жизнь, всюду пѣсни звучатъ...
Тамъ дымокъ надъ селомъ подымается;
Тутъ шумятъ рыбаки, въ полѣ косы звенятъ,
Вотъ на тройкѣ ямщикъ заливается...
Только я какъ чужой среди бѣлаго дня,
И не въ радость мнѣ утро веселое:
Безъ разсвѣта лежитъ на душѣ у меня
Ночью темною горе тяжелое.

УТРО (2-я редакція).

Звѣзды гаснутъ. Поля и дороги молчатъ.
Полоса ранней зорьки алѣется.
Надъ заливами ивы въ дремотѣ стоятъ;
За рѣкою лѣсъ темный чернѣется.
Что̀ дитя въ пеленахъ, спитъ спокойно рѣка,
Лишь камышъ шелеститъ и колышется,
Иль порою зашепчутъ листья лозняка,
Или крикъ дикой цапли послышится.
Воздухъ влаженъ; отъ сочныхъ, зеленыхъ луговъ,
Окропленныхъ росой серебристою
И задернутыхъ бѣлою тканью паровъ,
Тихо вѣетъ прохладой душистою.
Тронешь вѣтки куста, — словно крупный жемчугъ,
Капли съ сонныхъ листовъ осыпаются...
И, куда ни посмотришь, — безлюдье вокругъ,
Но луга и поля просыпаются:
Гдѣ-то свистнулъ куликъ; пронеслись надъ рѣкой
Утки съ шумомъ и Богъ-вѣсть гдѣ сокрылися...
Въ полѣ перепелъ крикнулъ, за нимъ и другой...
Вотъ стада чибисовъ закружилися...
Ужъ заря поблѣднѣла. Окрѣпъ вѣтерокъ,
И, рѣдѣя, туманъ подымается.
Показалася даль; загорѣлся востокъ,
Яркимъ пурпуромъ лѣсъ покрывается....
Дождалася румянаго утра земля,
Птицы теплыя гнѣзда покинули

И запѣли; и солнца лучи на поля
Золотыми потоками хлынули.
Вонъ вдали тамъ, какъ стекла, озера блестятъ,
Весь, какъ шелковый, лугъ зеленѣется,
И привѣтливо какъ-то деревья глядятъ,
И, чтó холстъ, въ полѣ греча бѣлѣется;
Чуть примѣтно волнуется желтый ячмень,
Рожь высокая медленно движется.
Всходу свѣтъ... Лишь отъ тучекъ подвижная тѣнь
Тамъ-и-сямъ полосами раскинется.
Пѣсня птицъ все звучитъ... вонъ мелькаетъ челнокъ,
И рыбакъ ловить рыбу сбирается;
Тамъ надъ дальнимъ селомъ заклубился дымокъ,
Тутъ на тройкѣ ямщикъ заливается,
Подъ дугой колокольчикъ звенитъ и гудитъ...
Прочь заботы и горе тяжелое!
Въ этотъ мигъ и во мнѣ сила жизни кипитъ,—
Здравствуй, солнце и утро веселое!

22 — Это стихотвореніе явилось въ первый разъ въ «Народномъ Чтеніи» 1859 г., № 3, въ такомъ видѣ:

ПЫЛЬ.

Безъ умолку вѣтеръ
Поетъ и свиститъ,
Постылая гостья,
Пыль въ окна летитъ.

Садится на стѣны,
На платье и полъ,
Святыя иконы,
Постелю и столъ.

Все пачкаетъ сряду...
Совсѣмъ-бы бѣда,
Да благо есть тряпки
И въ чашкѣ вода.

Но ты, наше горе,
Ты, ѣдкая пыль,
Домашняя сплетня,
Невѣрная быль.

Съ тобой не покончишь
Горячей водой,
Ни чистою тряпкой,
Ни щеткой густой!

Ты стѣну проточишь,
Сквозь камень пройдешь,
Ты огненной искрой
На грудь упадешь

Ты ядомъ весь воздухъ
Кругомъ напоишь,
Всю кровь перепортишь,
Всю жизнь отравишь,

Влетишь незамѣтно
Ты пылью сухой,
И жертву зарѣжешь
Тупою пилой.

23 — Это стихотвореніе было напечатано въ первый разъ въ «Отечеств. Запискахъ» 1856 г., № 12, откуда перешло потомъ въ Кокоревское изданіе (стр. 58 — 59) съ такими измѣненіями:

1-й куплетъ въ «Отечеств. запискахъ» читался такъ:

Ясный прудъ задремалъ. Садъ окутала тѣнь,
Въ синемъ небѣ заря догораетъ.
Не смолкалъ соловей въ темной чащѣ весь день
И теперь онъ поетъ — не смолкаетъ.

4-й и 5-й куплеты Кокоревскаго изданія соотвѣтствуютъ тремъ слѣдующимъ:

Ужъ и такъ моя жизнь не весельемъ была...
Все я вынесъ! Я скрылъ свои муки...
Ты безъ умысла мнѣ сладкій ядъ поднесла —
Ты сковала мнѣ ноги и руки...

Воли нѣтъ у меня, помутился мой умъ,
Источилось по каплѣ здоровье,
Каково мнѣ легко отъ заботъ и отъ думъ, —
Знаетъ Богъ, да мое изголовье!

Нѣтъ, нейти намъ съ тобой по дорогѣ одной,
И не жить намъ подъ крышей одною...
Научи-же меня, какъ разстаться съ тобой, —
На вѣкъ тѣлу разстаться съ душою!..

24 — Въ «Отечеств. Запискахъ» 1856 г., № 12, безъ измѣненія напечатаны только первые десять стиховъ, а далѣе стихотвореніе идетъ такъ:

Самъ мельникъ-то и сѣдъ, и крутъ,
Ворчитъ онъ сплошь на бѣдный людъ...

А ласточкѣ и нужды нѣтъ:
Пріютъ она нашла,
Свила гнѣздо подъ крышею
И дѣтокъ нажила,

Поди тамъ, вѣйся по свѣту,
Да мѣсто выбирай,
Съ привычкою и мельница
Покажется за рай...

СОЧИНЕНІЯ
И. С. НИКИТИНА

СЪ

ЕГО ПОРТРЕТОМЪ, FAC-SIMILE

И

БІОГРАФІЕЙ,

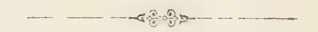
СОСТАВЛЕННОЙ РЕДАКТОРОМЪ ИЗДАНІЯ

М. Ѳ. де-Пуле.

ТОМЪ II.

ИЗДАНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ

К. К. ШАМОВА.





МОСКВА.
Типографія Э. Лиснера и Ю. Романа, на Арбатѣ, д. Платонова.
Русская типографія, Тверская, домъ Малкіеля.
1886.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

1857.

Стран.

I. Лампадка 1
II. «Смеркаетъ день. Въ бору темнѣетъ» 2
III. «Свѣтитъ мѣсяцъ въ окна» 4
IV. «Первый громъ прогремѣлъ. Яркій блескъ въ синевѣ» . . 5
V. «Въ синемъ небѣ плывутъ надъ полями» 6
VI. «Ярко звѣздъ мерцанье» . . . . —
VII. «Въ чистомъ полѣ тѣнь шагаетъ» 8
VIII. «Покой мнѣ нуженъ. Грудь болитъ» 9
IX. Соха 10
X. «Ахъ, ты, бѣдность горемычная» 11
XI. Удаль и забота 12
XII. Безталанная доля 13
XIII. «Медленно движется время» 14
XIV. «Незамѣнимая, безцѣнная утрата» 15
XV. Разговоры 16
XVI. Нищій 18
XVII. Пахарь 19
XVIII. Деревенскій бѣднякъ 20

1858.

XIX. Ночлегъ въ деревнѣ 23
XX. Дѣдушка 24
XXI. Пряха 25
XXII. Въ альбомъ Е. А. П—вой 28
XXIII. Въ альбомъ А. Н. О—вой . . . . —
XXIV. «Въ небѣ радуга сіяетъ» 30
XXV. «Въ темной чащѣ замолкъ соловей» . . . . —
XXVI. «Помнишь? — съ алыми краями» 31

Стран.
XXVII. Горькія слезы 32
XXVIII. «Мнѣ, видно, нѣтъ иной дороги» 33
XXIX. «Дѣтство веселое, дѣтскія грезы» 34
XXX. «Ахъ, у радости быстрыя крылья». 35
XXXI. «Опять знакомыя видѣня!» 36
XXXII. Пѣсня бобыля 37
XXXIII. «Ѣхалъ изъ ярмарки ухарь-купецъ». 38
XXXIV. Мертвое тѣло 40

1859.

XXXV. Старый слуга 46
XXXVI. «Живая рѣчь, живые звуки». 48
XXXVII. «Перестань, милый другъ, свое сердце пугать». . . . 49
XXXVIII. «И дождь и вѣтеръ. Ночь темна» 50
XXXIX. Могила дитяти (Посвящается Н. И. Второву) 51

1860.

XL. «Бѣдная молодость, дни не веселые» 53
XLI. «Я радъ молчать о горѣ старомъ» 54
XLII. Поэту-обличителю 55
XLIII. «Теперь мы вышли на дорогу» 56
XLIV. Поминки. 58
XLV. На пепелищѣ. 59
XLVI. Портной. 60
XLVII. «За прялкою баба въ понявѣ сидитъ» 64
XLVIII. Мать и дочь 65
XLIX. Погостъ. 67

1861.

L. Хозяинъ. 68

Большія піэсы:

Кулакъ (въ авторскомъ изданіи) 77
Поѣздка на хуторъ 211
Тарасъ 223
Дневникъ семинариста 245

Примѣчанія къ стихотвореніямъ 3
Приложеніе ко 2-му тому 3

Прощай, Лукичъ! Не радъ съ тобою,
Когда мой домъ объятъ былъ сномъ,
Сидѣлъ я, грустный, за столомъ,
Подъ гнетомъ думъ, ночной порою!
И если по твоему пути
Пришлось бы, можетъ быть, идти...
Но я избралъ иную долю
Какъ узникъ, я рвался на волю,
Упрямо цѣпи разбивалъ
И свѣта, воздуха желалъ!
Въ моей тюрьмѣ мнѣ было тѣсно!
Ни силъ, ни жизни молодой
Я не жалѣлъ въ борьбѣ съ судьбой
Во благо ль — небесамъ извѣстно.

Лит. Малкова въ Москвѣ



1857 Г.

I.

ЛАМПАДКА.

Предъ образомъ лампадка догораетъ,
Кидая тѣнь на потолокъ;
Какъ много думъ, думъ горькихъ вызываетъ
Глазамъ знакомый огонекъ!

Я помню ночь: передъ моей кроваткой,
Сжавъ руки, съ мукою въ чертахъ,
Вся блѣдная, освѣщена лампадкой,
Молилась мать моя въ слезахъ.

Я былъ въ жару. А за стѣною пѣли, —
Шелъ пиръ семейный, какъ всегда!...
Испуганный, я вздрагивалъ въ постели....
Зачѣмъ не умеръ я тогда?

Я помню день: лампадка трепетала;
Шелъ дождикъ, по стеклу звеня.
Отецъ мой плакалъ... мать въ гробу лежала...
Въ глазахъ мутилось у меня.

Но молодость сильна. Вдали блестѣло;
Полна надежды, — жить спѣша.
Изъ омута, гдѣ сердце холодѣло, —
Рвалась впередъ моя душа.

Вотъ эта даль, страна моей святыни,
Гдѣ, мнѣ казалось, свѣтъ горитъ...
Иду по ней, — и холодомъ пустыни
Со всѣхъ сторонъ меня язвитъ.

Увы! лампадки яркое сіянье,
Что́ было, пробуждая вновь,
Бросаетъ лучъ на новое страданье
Недавнихъ ранъ живую кровь!

Я не нашелъ съ годами лучшей доли,
Не спасъ меня завѣтный путь
Отъ тонкихъ иглъ, что входятъ противъ воли
Въ горячій мозгъ, въ больную грудь.

Все мракъ и плачъ... рубцы отъ бичеванья...
Разсвѣтъ спасительный далекъ...
И гаснутъ дни средь мрака и молчанья,
Какъ этотъ блѣдный огонекъ.

II *).

* * *

(*Отрывокъ*).

Смеркаетъ день. Въ бору темнѣетъ...
Пожаръ зори надъ нимъ краснѣетъ;
Во влажной почвѣ листъ сухой

---

*) См. „Примѣчанія“ стр. 3, № 1-й.

Безъ звука тонетъ подъ ногой,
Недвижны сосны. Сонъ ихъ чудный
Такъ полонъ грезъ. Едва-едва
Примѣтна неба синева
Сквозь вѣтви. Сѣтью изумрудной
Покрыла цѣпкая трава
Сухое дерево. Грозою
Оно на землю свалено
И до корней обожжено.
Тропинка черною полосою
Лежитъ въ травѣ. По сторонамъ
Грибы бѣлѣютъ тутъ и тамъ.
Порою вѣтеръ шаловливый
Разбудитъ листья, слышенъ шумъ,
И вдругъ все стихнетъ — и на умъ
Приходятъ сказочныя дивы.
Слухъ раздраженъ. Вотъ въ чащѣ трескъ—
И мнится, видишь яркій блескъ
Двухъ яркихъ глазъ... Одно мгновенье —
И все пропало. Вотъ рѣка;
Въ зеленой рамѣ лозняка
Ея спокойное теченье
Такъ полно силы! Челноки:
Собрали сѣти рыбаки,
Плывутъ; струи бѣгутъ отъ веселъ;
Угрюмый берегъ тѣнь отбросилъ;
Мостъ подъ телѣгами дрожитъ;
И скрипъ колесъ, и стукъ копыть
Тревожатъ цаплю, и пугливо
Она летитъ изъ-подъ куста.
Веселый шумъ и суета
На мельницѣ. Нетерпѣливо
Волна сердитая реветъ,
Мелькаетъ жерновъ торопливо...

Пора домой: ужъ ночь идетъ,
Огни по небу разсыпаетъ.
Пора домой: семья заботъ
Меня давно тамъ поджидаетъ;
Приду, — и встрѣтитъ у воротъ,
И крѣпко, крѣпко обойметъ.

III.

* * *

Свѣтитъ мѣсяцъ въ окна. .
Пѣтухи пропѣли;
Погасилъ я свѣчку
И лежу въ постели.

Спать-бы—да не спится,
Весь я, какъ разбитый;
Голову и сердце
Мучитъ день прожитый.

Пусть-бы мнѣ на долю
Выпалъ трудъ тяжелый,—
Да хоть сонъ покойный,
Да хоть часъ веселый!

Что-жъ ты, жизнь-веселье,
Пропадаешь даромъ,
Улетаешь прахомъ,
Исчезаешь паромъ?

Есть же, вѣдь, у птички,
Что̀ поетъ въ лазури,

Воля да раздолье
И пріютъ отъ бури.

Запоетъ зорею —
Кто-нибудь услышитъ,
Веселѣе смотритъ,
Легче грудью дышетъ.

Ты же, какъ ни бейся,
Все не въ честь, не въ радость:
И другимъ ненуженъ,
И себѣ-то въ тягость.

IV.

Первый громъ прогремѣлъ. Яркій блескъ въ синевѣ,
Въ тепломъ воздухѣ пѣсни и нѣга;
Голубые цвѣтки въ прошлогодней травѣ
Показались на свѣтъ изъ-подъ снѣга.

Пригрѣваются стекла лучемъ золотымъ;
Вербы почки свои распустили;
И съ надворья гнѣздо, надъ окошкомъ моимъ,
Сизокрылые голуби свили!

Что за робкіе гости! чуть мимо идешь, —
Торопливо головки поднимутъ,
Смотрятъ долго и зорко... Того только ждешь,
Что бѣдняжки пріютъ свой покинутъ.

Какъ я радъ имъ! Боюсь и окно отворять:
Все мнѣ кажется, ихъ испугаю;
Беззащитнымъ созданьямъ легко помѣшать,
А легко-ль имъ живется — я знаю.

Чуть окрасится небо полоской огня
И сквозь стекла разсвѣтъ забѣлѣетъ, —
Воркотнею своей они будятъ меня:
Посмотри, молъ, какъ зорька алѣетъ.

Сталъ уютнѣй, свѣтлѣй уголокъ мой теперь...
Этой кроткой семьи новоселье, —
Можетъ быть, послѣ смутъ, и борьбы и потерь,
Предвѣщаетъ мнѣ миръ и веселье!

V.

Въ синемъ небѣ плывутъ надъ полями
Облака съ золотыми краями;
Чуть замѣтенъ надъ лѣсомъ туманъ,
Теплый вечеръ прозрачно-румянъ.

Вотъ ужъ вѣетъ прохладой ночною;
Грезитъ колосъ надъ узкой межою;
Мѣсяцъ огненнымъ шаромъ встаетъ,
Краснымъ заревомъ лѣсъ обдаетъ.

Кротко звѣздъ золотое сіянье,
Въ чистомъ полѣ покой и молчанье;
Точно въ храмѣ стою я въ тиши
И въ восторгѣ молюсь отъ души.

VI.

Ярко звѣздъ мерцанье
Въ синевѣ небесъ;
Мѣсяца сіянье
Падаетъ на лѣсъ.

Въ зеркало залива
Сонный лѣсъ глядитъ;
Въ чащѣ молчаливой
Темнота лежитъ.

Слышенъ межъ кустами
Смѣхъ и разговоръ;
Жарко косарями
Разведенъ костеръ.

По травѣ высокой,
Съ цѣпью на ногахъ,
Бродитъ одиноко
Бѣлый конь въ потьмахъ.

Вотъ ужъ пѣснь заводитъ
Пѣсенникъ лихой,
Изъ кружка выходитъ
Парень молодой.

Шапку вверхъ кидаетъ,
Ловитъ — не глядитъ,
Пляшетъ — присѣдаетъ,
Соловьемъ свиститъ.

Пѣснѣ отвѣчаетъ
Коростель въ лугахъ,
Пѣсня замираетъ
Далеко въ поляхъ...

Золотыя нивы,
Гладь и блескъ озеръ,
Свѣтлые заливы,
Безъ конца просторъ,

Звѣзды надъ полями,
Глушь да камыши...
Такъ и льются сами
Звуки изъ души.

VII.

* * *

Въ чистомъ полѣ тѣнь шагаетъ...
Пѣсня изъ лѣсу несется,
Листъ зеленый задѣваетъ,
Желтый колосъ окликаетъ,
За курганомъ отдается.

За курганомъ, за холмами,
Дымъ-туманъ стоитъ надъ нивой,
Свѣтъ мигаетъ полосами,
Зорька тучекъ рукавами
Закрывается стыдливо.

Рожь да лѣсъ, зари сіянье, —
Дума, Богъ вѣсть, гдѣ летаетъ...
Смутно листьевъ очертанье,
Вѣтерокъ сдержалъ дыханье,
Только молнія сверкаетъ.

VIII.

* * *

Покой мнѣ нуженъ. Грудь болитъ,
Озлобленъ умъ и ноетъ тѣло.
Все, отъ чего душа скорбитъ,
Вокругъ меня весь день кипѣло.

Куда бѣжать отъ громкихъ словъ?
Мы всѣ добры и непорочны!
Боготворить себя готовъ
Иной другъ правды безупречный!

Убита совѣсть, умеръ стыдъ,
И ложь во тьмѣ царитъ свободно:
Никто позора не казнитъ,
Никто не плачетъ всенародно!

Межъ нами мучениковъ нѣтъ...
На крикъ: «спасите!» нѣтъ отвѣта!
Не выйдемъ мы на Божій свѣтъ:
Нашъ рабскій духъ боится свѣта!

Быть можетъ, въ воздухѣ весь вредъ, —
Чему-бы гибнуть, — процвѣтаетъ,
Чему-бъ цвѣсти,— роняетъ цвѣтъ
И жалкой смертью умираетъ.

IX.

СОХА.

Ты, соха-ли наша матушка,
Горькой бѣдности помощница,
Неизмѣнная кормилица,
Вѣковѣчная работница!

По твоей-ли, соха, милости,
Съ хлѣбомъ гумны пораздвинуты,
Сыты злые, сыты добрые,
По полямъ ковры раскинуты!

Про тебя и вспомнить некому...
Что-жъ молчишь ты, безпривѣтная,
Что не въ славу тебѣ трудъ идетъ,
Не въ честь служба безотвѣтная?...

Ахъ, крѣпка, не знаетъ устали
Мужичка рука желѣзная,
И покоитъ соху-матушку
Одна ноченька беззвѣздная!

На межѣ трава зеленая,
Полынь дикая качается;
Не твоя-ли доля горькая
Въ ея сокѣ отзывается?

Ужъ и кѣмъ же ты придумана,
Къ дѣлу на вѣки приставлена?
Кормишь малаго и стараго,
Сиротой сама оставлена...

X.

* * *

Ахъ, ты, бѣдность горемычная,
Дома въ горѣ терпѣливая,
Къ куску черному привычная,
Въ чужихъ людяхъ боязливая!

Всѣмъ ты, робкая, въ глаза глядишь,
Сирота, стыдомъ убитая,
Къ богачу придешь, — въ углу стоишь,
Безпривѣтная, забытая.

Ты плывешь — куда водой несетъ,
Стороной бредешь — гдѣ путь дадутъ,
Просишь солнышка — гроза идетъ,
Скажешь правду — силой ротъ зажмутъ.

У тебя весна безъ зелени,
А любовь твоя безъ радости,
Твоя радость безо времени,
Немочь съ голодомъ при старости.

Вѣкъ ты мучишься, да маешься,
Все на сердцѣ грусть великая;
Съ бѣлымъ свѣтомъ ты разстанешься, —
На могилѣ травка дикая.

XI.

УДАЛЬ И ЗАБОТА.

Таетъ забота, какъ свѣчка,
Вѣкъ отъ тоски пропадаетъ;
Удали горе — не горе,
Въ цѣпи закуй, — распѣваетъ.

Ляжетъ забота — не спится,
Спитъ-ли, пройди — встрепенется;
Спитъ молодецкая удаль,
Громомъ ударь — не проснется.

Клонится колосъ отъ вѣтра,
Вѣтеръ заботу наклонитъ;
Встрѣтится удаль съ грозою —
На ухо шапку заломитъ.

Всѣхъ-то забота боится,
Топнутъ ногой — поблѣднѣетъ;
Топнутъ ногою на удаль —
Лѣзетъ на ножъ, не робѣетъ.

По-смерть забота скупится,
Поздно и рано хлопочетъ;
Удаль, не думавъ, добудетъ,
Кинетъ на вѣтеръ — хохочетъ.

Пѣсня заботы — не пѣсня:
Слушать — тоска одолѣетъ;
Удаль присвистнетъ, притопнетъ—
Горе и думу развѣетъ.

Явится въ гости забота, —
Въ домѣ и скука и холодъ;
Удаль влетитъ да обниметъ, —
Станешь и веселъ и молодъ.

XII.

БЕЗТАЛАННАЯ ДОЛЯ.

Доля безталанная,
Чтó жена сварливая,
Не уморитъ съ голода,
Не накормитъ дóсыта.

Дома — гонитъ изъ дому,
Ведетъ въ гости на горе;
Ломитъ, что ни вздумаетъ,
Поперекъ да на двое.

Ахъ, жена сварливая
Пошумитъ — уходится,
Съ пѣтухами поздними
Заснетъ — успокоится.

Доля безталанная
Весь день потѣшается,
Растолкаетъ соннаго —
Всю ночь насмѣхается.

Грозитъ мукой, бѣдностью,
Сулитъ дни тяжелые,
Смотрѣть велитъ соколомъ,
Пѣсни пѣть веселыя.

Пѣсни тѣ веселыя
Свистомъ покрываются,
Послѣ пѣсенъ въ три ручья
Слезы проливаются.

XIII.

* * *

Медленно движется время,—
Вѣруй, надѣйся и жди...
Зрѣй, наше юное племя!
Путь твой широкъ впереди.
Молніи насъ освѣтили,
Мы на распутьи стоимъ...
Мертвые въ мирѣ почили,
Дѣло настало живымъ.

Сѣялось сѣмя вѣками,—
Корни въ землѣ глубоко;
Срубишь лѣса топорами,—
Зло вырывать не легко:
Намъ его въ дѣтствѣ привили,
Дѣды сроднилися съ нимъ...
Мертвые въ мирѣ почили,
Дѣло настало живымъ.

Стыдъ, кто безсмысленно тужитъ,
Листья зашепчутъ: онъ нѣмъ!
Слава, кто истинѣ служитъ,
Истинѣ жертвуетъ всѣмъ!
Поздно глаза мы открыли,
Дружно на трудъ поспѣшимъ...

Мертвые въ мирѣ почили,
Дѣло настало живымъ.

Рыхлая почва готова,
Сѣйте, покуда весна:
Добраго дѣла и слова
Не пропадутъ сѣмена.
Гдѣ мы и какъ ихъ добыли —
Внукамъ отчетъ отдадимъ...
Мертвые въ мирѣ почили
Дѣло настало живымъ.

XIV.

* * *

Незамѣнимая, безцѣнная утрата!
И вѣра въ будущность, и радости труда,
Чѣмъ жизнь была средь горести богата,—
Все сгублено безъ цѣли и плода!
Какъ хрупкое стекло, все въ дребезги разбито
Желѣзнымъ молотомъ судьбы!...
Такъ вотъ зачѣмъ такъ много лѣтъ прожито
Въ тяжеломъ воздухѣ, средь горя и борьбы!
Осталась боль... Незримо и несмѣло,
Но врагъ подходитъ въ тишинѣ.
До времени изношенное тѣло
Горитъ на медленномъ огнѣ...
Жизнь обмануло горько и обидно!
А все не вѣрится... все хочешь на пути,
Въ глухой степи, гдѣ зги не видно,
Хоть точку свѣтлую найти.
Но гдѣ-жъ она? Гдѣ отдохнуть возможно?

Гдѣ путеводные, небесные огни?
Неужто кончатся такъ пошло и ничтожно
Слезами памятные дни?...

Такъ, полная тревожнаго волненья,
Не смѣя тишины дыханьемъ нарушать,
Младенца милаго послѣднія мгновенья
Тоскливо сторожитъ трепещущая мать.
Неужто онъ умретъ? И, чуду вѣрить рада,
Въ слезахъ предъ образомъ ницъ падаетъ она;
Но часъ пробилъ. Едва зажженная лампада —
Таинственной рукой погашена....

XV *).

РАЗГОВОРЫ.

Новой жизни заря —
И тепло и свѣтло:
О добрѣ говоримъ,
Негодуемъ на зло.

За родимый нашъ край
Наше сердце болитъ;
За прожитые дни
Мучитъ совѣсть и стыдъ.

Что̀ намъ цвѣсть не даетъ,
Держитъ ростъ молодой, —
Такъ и сбросилъ-бы съ плечъ
Этотъ хламъ вѣковой!

*) См. „Примѣчанія“, стр. 3, № 2-й.

Гдѣ-жъ вы, слуги добра?
Выходите впередъ...
Подавайте примѣръ!
Поучайте народъ!

Нашъ разумный порывъ,
Нашу честную рѣчь
Надо въ кровь претворить,
Надо плотью облечь.

Какъ повѣрить словамъ —
По часамъ мы ростемъ!
Закричатъ: «помоги!» —
Черезъ пропасть шагнемъ!

Въ насъ душа горяча,
Наша воля крѣпка,
И печаль за другихъ
Глубока, глубока!...

А приходитъ пора
Добрый подвигъ начать, —
Такъ намъ жаль съ головы
Волосокъ потерять;

Тутъ раздумье и лѣнь,
Тутъ насъ робость возьметъ;
А слова... на словахъ
Соколиный полетъ!...

XVI.

НИЩІЙ.

И вечерней, и ранней порою
Много старцевъ, и вдовъ, и сиротъ
Подъ окошками ходитъ съ сумою,
Христа-ради на помощь зоветъ.

Надѣваетъ-ли сумку неволя,
Неохота-ли взяться за трудъ, —
Тяжела и горька твоя доля,
Безпріютный, оборванный людъ!

Не откажутъ тебѣ въ подаяньи,
Не умрешь ты безъ крова зимой. —
Жаль разумное Божье созданье,
Человѣка въ грязи и съ сумой!

Но беднѣе и хуже есть нищій:
Не пойдетъ онъ просить подъ окномъ,
Цѣлый вѣкъ, изъ одежды и пищи,
Онъ работаетъ ночью и днемъ.

Спитъ въ лачужкѣ, на грязной соломѣ,
Богатырь въ безысходной бѣдѣ,
Крѣпче камня въ несносной истомѣ,
Крѣпче мѣди въ кровавой нуждѣ.

Пò-смерть зерна онъ въ землю бросаетъ,
Пò-смерть жнетъ, а нужда продаетъ;
О немъ облако слезы роняетъ,
Про тоску его буря поетъ.

XVII.

ПАХАРЬ.

Солнце за день нагулялося,
За кудрявый лѣсъ спускается;
Лѣсъ стоитъ подъ шапкой темною,
Въ золотомъ огнѣ купается.

На бугрѣ трава зеленая
Спитъ, вся искрами обрызгана,
Пылью розовой осыпана,
Да каменьями унизана.

Не слыхать-то въ полѣ голоса,
Молча воронъ на межѣ сидитъ,
Только слышенъ голосъ пахаря,
За сохой онъ на коня кричитъ.

Съ ранней зорьки пашня черная
Бороздами подымается,
Конь идетъ — понурилъ голову,
Мужичекъ идетъ — шатается...

Ужь когда же ты, кормилецъ нашъ,
Возьмешь верхъ надъ долей горькою?
Изъ земли ты роешь золото,
Самъ-то сытъ сухою коркою!

Зрѣетъ рожь — тебѣ заботушка:
Какъ-бы градомъ не побилася,
Безъ дождей въ жары не высохла,
Отъ дождей не положилася.

Хлѣбъ поспѣлъ — тебѣ кручинушка:
Убирать ты не управишься,
На корню-то онъ осыплется,
Безъ куска-то ты останешься.

Урожай — купцы спѣсивятся;
Годъ плохой — въ семьѣ всѣ мучатся—
Все твой дворъ не поправляется,
Дѣтки грамотѣ не учатся.

Гдѣ же кладъ твой заколдованный,
Гдѣ талантъ твой, пахарь, спрятался?
На труды твои, да на горе
Вдоволь вчужѣ я наплакался!

XVIII.

ДЕРЕВЕНСКІЙ БѢДНЯКЪ.

Мужика-бѣдняка
Господь-Богъ наградилъ:
Душу теплую далъ
И умомъ надѣлилъ.

Да злодѣйка-нужда
И глупа и сильна,
Закидала его
Соромъ, грязью она.

Ѣдкимъ дымомъ въ избѣ,
И курной и сырой,
Выѣдаетъ глаза,
Душитъ зимней порой

То работа не въ мочь,
То расправа и судъ
Молодца-силача
Въ три-погибели гнутъ.

Присмирѣлъ онъ, притихъ,
Рѣчи скупо ведетъ,
Изъ подлобья глядитъ,
Силу въ землю кладетъ,

Захирѣй его конь —
Бѣдный чертъ виноватъ,
Плаксу-бабу бранитъ
И голодныхъ ребятъ.

Пропадай, дескать, всѣ!...
На печь ляжетъ ничкомъ,
Вихорь крышу развѣй,
Съ горя все ни почемъ!

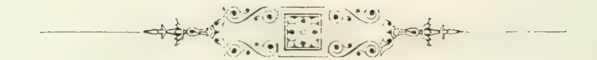
А какъ крикнутъ: «пожаръ!».
Не зови и не тронь,—
За чужое добро
Радъ и въ дымъ, и въ огонь.

Коли хмѣль въ головѣ —
Загуляетъ душа:
Тутъ и горе прошло,
Тутъ и жизнь хороша.

На дворѣ подъ дождемъ
Онъ зипунъ распахнетъ,
Про лѣса, и про степь,
Да про Волгу поетъ.

Проспался, гдѣ упалъ,—
И притихъ онъ опять:
Передъ всѣми готовъ
Шапку рваную снять.

Схватитъ немочь—молчитъ,
Только зубы сожметъ;
Скажутъ: смерть подошла.—
Онъ рукою махнетъ.





1858 Г.

XIX.

НОЧЛЕГЪ ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Душный воздухъ, дымъ лучины,
Подъ ногами соръ,
Соръ на лавкахъ, паутины
По угламъ узоръ;

Закоптѣлыя палати,
Черствый хлѣбъ, вода,
Кашель пряхи, плачъ дитяти...
О, нужда, нужда!

Мыкать горе, вѣкъ трудиться,
Нищимъ умереть...
Вотъ гдѣ нужно-бы учиться
Вѣрить и терпѣть!

XX.

ДѢДУШКА.

Лысый, съ бѣлой бородою,
Дѣдушка сидитъ.
Чашка съ хлѣбомъ и водою
Передъ нимъ стоитъ.

Бѣлъ, какъ лунь, на лбу морщины,
Съ испитымъ лицемъ,
Много видѣлъ онъ кручины
На вѣку своемъ.

Все прошло; пропала сила,
Притупился взглядъ;
Смерть въ могилу уложила
Дѣтокъ и внучатъ.

Съ нимъ въ избушкѣ закоптѣлой
Котъ одинъ живетъ.
Старъ и онъ, и спитъ день цѣлый,
Съ печи не спрыгнетъ.

Старику не много надо:
Лапти сплесть, да сбыть —
Вотъ и сытъ. Его отрада —
Въ Божій храмъ ходить.

Къ стѣнкѣ, около порога,
Станетъ тамъ, кряхтя,
И за скорби славитъ Бога,
Божіе дитя.

Радъ онъ жить, не прочь въ могилу, —
Въ темный уголокъ...
Гдѣ ты черпалъ эту силу,
Бѣдный мужичокъ?

XXI.

ПРЯХА.

Ночь и непогодь. Избушка
Плохо топлена.
Нитки бѣдная старушка
Сучитъ у окна.

Ужъ грозы-ль она боится,
Скучно-ли, — сидитъ,
Спать ложилась, да не спится,
Сердце все щемитъ.

И трещитъ-трещитъ лучина,
Свѣтъ на пряху льетъ.
Прожитая грусть-кручина
За сердце беретъ.

Бѣдность, бѣдность! Мужъ, бывало,
Хоть подъ часъ и пилъ, —
Все жилось съ нимъ, горя мало,
Все жену кормилъ.

Вотъ подъ старость, какъ ужъ зрѣнье
Потерялъ на вѣкъ,
Потерялъ онъ и терпѣнье —
Грѣшный человѣкъ!

За сохой ходить — не видитъ,
Побираться — стыдъ,
Тутъ безвинно кто обидитъ, —
Онъ молчитъ, молчитъ...

Плюнетъ, срамными словами
Долю проклянетъ,
И зальется вдругъ слезами,
Какъ дитя реветъ...

Такъ и умеръ. Богъ помилуй —
Вотъ морозъ-то былъ!
Бились — бились! Сынъ могилу
Топоромъ рубилъ!...

Паренекъ тогда былъ молодъ, —
Выросъ, возмужалъ...
Что́ за сила! Въ зной и холодъ
Устали не зналъ!

Поведетъ-ли рѣчь, бывало, —
Что́ старикъ ведетъ;
Запоетъ при зорькѣ алой, —
Слушать, — духъ замретъ...

Человѣкъ-ли утопаетъ,
Иль изба горитъ,
Что-бъ ни дѣлалъ — все бросаетъ —
Помогать бѣжитъ.

И веселье, и здоровье
Далъ ему Господь;
Будь хоть камень изголовье,
Легъ онъ — и заснетъ...

Справить думалъ онъ избушку,
Въ бурлаки пошелъ;
Нѣтъ! Беречь ему старушку
Богъ ужъ не привелъ.

Приусталъ подъ лямкой, въ стужу
До костей промокъ,
Платье — ветошь, грудь — наружу,
Заболѣлъ и слегъ.

Умеръ, бѣдный! Мать узнала, —
Слезъ что пролила!
Умъ и память потеряла,
Грудь надорвала!

И трещитъ-трещитъ лучина,
Ниткѣ нѣтъ конца.
Мучитъ пряху грусть-кручина,
Нѣтъ на ней лица.

Плачъ да стонъ она все слышитъ
И, припавъ къ стеклу,
На морозный иней дышетъ,
Смотритъ: по селу

Кто-то въ бѣломъ пробѣгаетъ,
Съ бѣлой головой,
Горстью звѣзды разсыпаетъ
Въ улицѣ пустой;

Звѣзды искрятся... А вьюга
Въ ворота стучитъ...
И старушка отъ испуга
Чуть жива сидитъ.

XXII.

ВЪ АЛЬБОМЪ Е. А. П-ВОЙ.

Съ младенчества дикарь печальный,
Больной, съ изношеннымъ лицомъ,
Съ какой-то робостію тайной
Вхожу я въ незнакомый домъ.

Но гдѣ привыкъ, гдѣ я встрѣчаю
Хозяйки милое лицо, —
Тутъ все забыто: я вбѣгаю
Здоровъ и веселъ на крыльцо.

Вотъ такъ и здѣсь: я точно дома;
Мнѣ такъ отрадно и тепло;
И радъ я на листкѣ альбома
Писать, что̀ въ голову пришло.

Хозяйка милая, я знаю,
Мнѣ все проститъ, она добра;
И сталь неловкаго пера
Я неохотно покидаю.
Хотѣлъ бы вновь писать, писать —
До безконечности болтать.

XXIII.

ВЪ АЛЬБОМЪ А. Н. О-ВОЙ.

Послушный вашему желанью,
Беру перо, сажусь писать:
Грѣшно прекрасному созданью
Въ невинной просьбѣ отказать.

Конечно, жаль! я васъ не знаю;
Увы! скорбитъ моя душа!
Молвѣ я съ жадностью внимаю,
Что вы, какъ ангелъ, хороша.

Но все равно. Идите съ Богомъ,
Мои стихи! Счастливый путь!
Отрадной встрѣчи мнѣ залогомъ
Послужите когда-нибудь.

Какъ угадать! Сѣдой и хилый,
Когда весь сморщусь и согнусь,
Авось съ красавицею милой
Лѣтъ черезъ десять я сойдусь.

Въ тотъ мигъ — его воображаю —
Добра, прекрасна, молода,
Она мнѣ скажетъ: «я васъ знаю!»
И буду счастливъ я тогда.

«Я съ вами ужъ давно знакома...»
И этихъ строкъ напомнитъ рядъ,
Покажетъ мнѣ листокъ альбома,
И я отвѣчу: виноватъ!

Позвольте... эта встрѣча съ вами...
И волю дамъ карандашу,
И вдохновенными стихами
Ея портретъ я напишу.

XXIV.

* * *

Въ небѣ радуга сіяетъ,
Розы дождикомъ омыты,
Солнце въ зелени играетъ,
Темный садъ благоухаетъ,
Кудри золотомъ покрыты.

Свѣтъ и тѣнь подъ деревами
Переходятъ, какъ живые;
Мохъ унизанъ огоньками,
Надъ душистыми цвѣтами
Вьются пчелы золотыя.

Въ чащѣ, — свиста переливы.
Стрекотня и пѣсенъ звуки.
Подлѣ ты, мой другъ стыдливый...
Слава Богу! мигъ счастливый
Уловилъ я въ часъ разлуки.

XXV *).

* * *

Въ темной чащѣ замолкъ соловей,
Прокатилась звѣзда въ синевѣ;
Мѣсяцъ смотритъ сквозь сѣтку вѣтвей,
Зажигаетъ росу на травѣ.

---

*) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 3-й.

Дремлютъ розы. Прохлада плыветъ.
Кто-то свистнулъ... вотъ замеръ и свистъ.
Ухо слышитъ,—едва упадетъ
Насѣкомымъ подточенный листъ.

Какъ при мѣсяцѣ кротокъ и тихъ
У тебя милый очеркъ лица!
Эту ночь, полный грезъ золотыхъ,
Я-бъ продлилъ безъ конца, безъ конца!

XXVI.

* * *

Помнишь? — съ алыми краями
Тучки въ озерѣ играли;
Шапки на ухо, верхами
Ребятишки въ лѣсъ скакали.

Табуномъ своимъ покинутъ,
Конь въ водѣ остановился
И, какъ будто опрокинутъ,
Недвижимъ въ ней отразился.

При зорѣ румяной колосъ
Сквозь дремоту улыбался;
Лѣсъ синѣлъ. Кукушки голосъ
Въ сонной чащѣ раздавался.

По полянѣ передъ нами —
Что́ ни шагъ — цвѣты пестрѣли,
Тѣнь бродила за кустами,
Краски вечера блѣднѣли...

Трепетъ сердца, упоенье, —
Вамъ въ слова не воплотиться!
Помнишь?... Чудныя мгновенья!
Суждено-ль имъ воротиться?

XXVII.

ГОРЬКІЯ СЛЕЗЫ.

In meiner Brust, da sitzt ein Weh,
Das will die Brust zersprengen.
Heine.

Чужихъ страданій жалкій зритель,
Я жизнь растратилъ безъ плода,
И вотъ проснулась совѣсть-мститель
И жжетъ лицо огнемъ стыда.

Чужой бѣдой я волновался,
Отъ слезъ чужихъ я не спалъ ночь, —
И все молчалъ, и все боялся,
И никому не могъ помочь.

Убитъ нуждой, убитъ трудами,
Мой братъ и чахъ, и погибалъ,
Я закрывалъ лицо руками —
И плакалъ, плакалъ — и молчалъ!

Я слышалъ злу рукоплесканья
И все терпѣлъ, едва дыша;
Подъ пыткою негодованья
Молчала рабская душа!

Мой духъ сроднился съ духомъ вѣка,
Тропой пробитою я шелъ:

Святую личность человѣка
До пошлой мелочи низвелъ.

Ты-ль это жизнь, къ добру съ любовью,
Плодъ мысли, горя и борьбы?
Увы! отмѣчена ты кровью,
Насмѣшка страшная судьбы!

XXVIII.

* * *

Мнѣ, видно, нѣтъ иной дороги —
Она лежитъ... иди впередъ,
Тащись покуда служатъ ноги,
А впереди — что̀ Богъ пошлетъ.

Все грязь, да грязь... Господь помилуй!
Устанешь — духъ переведешь,
Опять впередъ! хоть не подъ силу,
Хоть плакать въ пору, — все идешь!

Нужда, печаль, тоска и скука,
Нѣтъ воли сердцу и уму...
Изъ-за чего вся эта мука —
Извѣстно Богу одному!

Ужъ пусть-бы радость пропадала
Для блага хоть чьего-нибудь,
Была-бы цѣль — душа-бъ молчала,
Имѣлъ-бы смыслъ тяжелый путь;

Такъ нѣтъ! какой-то врагъ незримый
Изъ жизни пытку создаетъ
И, какъ палачъ неумолимый,
Надъ жертвой хохотъ издаетъ.

XXIX *).

* * *

Дѣтство веселое, дѣтскія грезы —
Только васъ вспомнишь, — улыбка и слезы...
Голову няня въ дремотѣ склонила,
На полъ съ лежанки чулокъ уронила;
Прыгаетъ котъ, шевелитъ его лапкой;
Свѣчка ужъ меркнетъ подъ огненной шапкой,
Движется сумракъ, въ глаза мнѣ глядитъ...
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.

Прогнали сонъ мой разсказы старушки.
Вотъ я въ лѣсу у порога избушки;
Ждетъ къ себѣ гостя колдунья сѣдая —
Змѣй подлетаетъ, огонь разсыпая.
Замеръ лѣсъ темный, ни свиста, ни шума,
Смотрятъ деревья угрюмо, угрюмо!
Сердце мое замираетъ — дрожитъ...
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.

Няня встаетъ и лѣниво зѣваетъ,
На ночь постелю мою оправляетъ.
«Лягъ, мой соколикъ, съ молитвой святою,
Божія сила да будетъ съ тобою...»

---

*) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 4-й.

Нянина шубка мнѣ ноги пригрѣла,
Вотъ ужъ въ глазахъ у меня запестрѣло,
Сплю и не сплю я... лампада горитъ...
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.

Вѣчная память, веселое время!
Грудь мою давитъ тяжелое бремя,
Жизнь пропадаетъ въ заботахъ о хлѣбѣ,
Дѣтство сіяетъ, какъ радуга въ небѣ...
Гдѣ вы, веселье, и сонъ, и здоровье?
Взмокло отъ слезъ у меня изголовье,
Темная даль мнѣ бѣдою грозитъ...
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.

XXX *).

* * *

Ахъ, у радости быстрыя крылья,
Золотыя да яркія перья!
Прилетитъ, — вся душа встрепенется,
Передъ смертью больной улыбнется!

Ужъ зазвать-бы мнѣ радость обманомъ,
Задержать и мольбою и лаской:
Отъ тумана глаза-бъ прояснились,
На веселый ладъ пѣсни-бъ сложились,

Ты, кручинушка, ночь безъ разсвѣта,
Безъ разсвѣта, да съ холодомъ, съ вѣтромъ...
При тебѣ — вся краса изсушится,
При тебѣ въ головѣ помутится.

*) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 5-й.

Ужъ и будь ты, кручинушка, пепломъ —
Весь бы по полю въ бурю развѣялъ,
Пусть бы травушка въ полѣ горѣла,
Да на сердцѣ смола не кипѣла.

XXXI.

Опять знакомыя видѣнья!
Опять, подъ дѣтскій смѣхъ и шумъ,
Прожитый день припомнилъ умъ,
Проснулось чувство отвращенья!
О, Боже правый! Вотъ она
И лжи, и подлостей страница, —
На каждой буквѣ кровь видна...
Какой позоръ! Вотъ эти лица
Ханжей, предателей, льстецовъ,
Низкопоклонниковъ, рабовъ,
Рабовъ разсчета и разврата,
Рабовъ бездушныхъ, ледяныхъ,
Рабовъ, продать готовыхъ брата,
И друга, и дѣтей родныхъ,
Рабовъ бездѣлья, скуки праздной,
Страстишекъ мелкихъ и заботъ...
И ты, въ своей одеждѣ грязной,
Нашъ бѣдный труженикъ-народъ,
Несущій крестъ свой терпѣливо,
Ты, — за кого краснорѣчиво
Ведемъ мы споръ, добро любя,
Пора-ль на свѣтъ вести тебя, —
И ты мнѣ вспомнился...
Угрюмо,
Въ печальной долѣ хлѣбу радъ,
Ты мимо каменныхъ палатъ
Идешь на трудъ съ тупою думой,

Полуодѣтъ, полуобутъ,
Нуждой безжалостной согнутъ...
Неужто, молодое племя,
Въ тебѣ воскреснетъ наше время,
Развратъ души, развратъ ума,
И лѣнь, и мелочность, и тьма?
Намъ нѣтъ изъ пропасти исхода...
Влачась и въ прахѣ, и въ пыли,
О, еслибъ мы сказать могли:
«Вамъ, дѣти, счастье и свобода,
Широкій путь, разумный трудъ!..»
Увы! невѣдомъ Божій судъ!

XXXII.

ПѢСНЯ БОБЫЛЯ.

Ни кола, ни двора,
Зипунъ — весь пожитокъ...
Эхъ, живи — не тужи,
Умрешь — не убытокъ!

Богачу-дураку
И съ казной не спится;
Бобыль голъ, какъ соколъ,
Поетъ-веселится.

Онъ идетъ, да поетъ,
Вѣтеръ подпѣваетъ;
Сторонись, богачи!
Бѣднота гуляетъ!

Рожь стоитъ по бокамъ,
Отдаетъ поклоны...

Эхъ, присвистни, бобыль!
Слушай, лѣсъ зеленый!

Ужъ ты плачь ли, не плачь, —
Слезъ никто не видитъ;
Оробѣй, загорюй, —
Курица обидитъ.

Ужъ ты сытъ ли, не сытъ, —
Въ печаль не вдавайся,
Причешись, распахнись,
Шути, улыбайся!

Поживемъ, да умремъ, —
Будетъ голь пригрѣта...
Разумѣй, кто уменъ,—
Пѣсенка допѣта!

XXXIII.

* * *

Ѣхалъ изъ ярмарки ухарь-купецъ,
Ухарь-купецъ, удалой молодецъ.
Сталъ онъ на дворъ лошадей покормить,
Вздумалъ деревню гульбой удивить.
Въ красной рубашкѣ, кудрявъ и румянъ,
Вышелъ на улицу веселъ и пьянъ.
Собралъ онъ дѣвокъ-красавицъ въ кружокъ,
Выхватилъ съ звонкой казной кошелекъ.
Потчуетъ старыхъ и малыхъ виномъ:
«Пей — пропивай! Поживемъ — наживемъ!...»
Морщатся дѣвки, до донышка пьютъ,
Шутятъ, и пляшутъ, и пѣсни поютъ.

Ухарь-купецъ подпѣваетъ — свиститъ,
О земь ногой молодецки стучитъ.

Синее небо, и сумракъ и тишь,
Смотрится въ воду зеленый камышъ,
Полосы свѣта по рѣчкѣ лежатъ;
Въ золотѣ тучки надъ лѣсомъ горятъ.
Дѣвичья пляска при зорькѣ видна,
Дѣвичья пѣсня за рѣчкой слышна,
По лугу льется, по чащѣ лѣсной...
Тамъ услыхалъ ее сторожъ сѣдой;
Бѣлый, какъ лунь, онъ подъ дубомъ стоитъ,
Дубъ не шелохнется, сторожъ молчитъ.
Къ дѣвкѣ стыдливой купецъ пристаетъ,
Обнялъ, цѣлуетъ и руки ей жметъ.
Рвется красотка за дѣвичій кругъ:
Совѣстно ей отъ родныхъ и подругъ.
Смотрятъ подруги, — ихъ зависть беретъ,
Вотъ, молъ, упрямицѣ счастье идетъ.
Дѣвкинъ отецъ свое дѣло смекнулъ,
Локтемъ жену торопливо толкнулъ,
Сѣдъ онъ и рваная шапка на немъ,
Глазомъ мигнулъ — и пропалъ за угломъ.
Дѣвкина мать расторопна, смѣла,
Съ вкрадчивой рѣчью къ купцу подошла,
«Полно, косатикъ, отстань — не балуй!
Дѣвки моей не позорь, — не цѣлуй!»
Ухарь-купецъ позвенѣлъ серебромъ:
— Нѣтъ, такъ не надо... другую найдемъ...—
Вырвалась дѣвка, хотѣла бѣжать,
Мать ей велѣла на мѣстѣ стоять.

Звѣздная ночь и ясна, и тепла.
Дѣвичья пѣсня давно замерла.

Шепчетъ нахмуренный лѣсъ надъ водой,
Вѣтромъ шатаетъ камышъ молодой.
Синяя туча надъ лѣсомъ плыветъ,
Темную зелень огнемъ обдаетъ.
Въ крайней избушкѣ не гаснетъ ночникъ,
Спитъ на печи подгулявшій старикъ,
Спитъ въ зипунишкѣ и старыхъ лаптяхъ,
Рваная шапка комкомъ въ головахъ.
Молится Богу старуха жена,
Плакать-бы надо, — не плачетъ она.
Дочь ихъ — красавица поздно пришла,
Дѣвичью совѣсть виномъ залила.
Что́ тутъ за диво! и замужъ пойдетъ....
То-то чай дѣтокъ на путь наведетъ!...

XXXIV.

МЕРТВОЕ ТѢЛО.

Парень-извощикъ въ дорогѣ продрогъ,
Крѣпко продрогъ, тяжело занемогъ.

Въ грязной избѣ онъ на печкѣ лежитъ,
Горло распухло, чуть-чуть говоритъ.

Ноетъ душа отъ тяжелой тоски:
Пашни родныя куда далеки!

Какъ на чужой сторонѣ умереть!
Хоть бы на мать, на отца поглядѣть!...

Въ горѣ товарищи держатъ совѣтъ:
«Ну-ка умретъ, — попадемъ мы въ отвѣтъ!

«Изъ дому паспортовъ не взяли мы —
«Ну-ка умретъ, — не уйдемъ отъ тюрьмы!»

Дворникъ встревоженъ, священника ждетъ:
Медленнымъ шагомъ священникъ идетъ.

Встали извощики, всталъ и больной!
Свѣчка горитъ предъ иконой святой,

Бѣлая скатерть на столъ постлана,
Въ душной избѣ тишина, тишина...

Кончилъ молитву священникъ сѣдой,
Вышли извощики за дверь толпой.

Парень шатается, дышетъ съ трудомъ,
Старецъ стоитъ недвижимъ со крестомъ.

«Страшенъ судъ Божій, покайся, мой
сынъ!
Богъ тебя слышитъ, да я лишь одинъ...»

«Батюшка!... грѣшенъ!...» — больной простоналъ;
Палъ на колѣни и громко рыдалъ...

Грѣшника старецъ во всемъ разрѣшилъ,
Крови и плоти святой пріобщилъ...

Сѣлъ—написалъ: вотъ такой пріобщенъ.
Дворнику легче: исполненъ законъ.

Полночь. Всѣ въ домѣ уснули давно, —
Въ душной избѣ, какъ въ могилѣ, темно.

Скупо въ углу рукомойникъ течетъ,
Капля за каплею звукъ издаетъ.

Мѣрно кузнечикъ куетъ въ тишинѣ,
Кто-то невнятно бормочетъ во снѣ.

Вѣтеръ печально поетъ подъ окномъ,
Воетъ-голоситъ, Господь вѣсть, по комъ.

Тошно въ потьмахъ одному мужику:
Сны-вѣщуны навѣваютъ тоску.

Съ жесткой постели, въ раздумьи, онъ всталъ,
Ощупью печь и лучину сыскалъ,

Красное пламя изъ угля добылъ,
Ярко больному лицо освѣтилъ.

Тихъ онъ лежитъ, на лицѣ доброта,
Впалыя щеки бѣлѣе холста.

Свѣсились кудри, открыты глаза,
Въ мертвыхъ глазахъ не обсохла слеза.

Вздрогнулъ извощикъ. «Ну, вотъ, дождались!»
Дворника будитъ: проснись, подымись!

— Что тамъ? — «Товарищъ нашъ мертвый лежитъ»...
Дворникъ вскочилъ, какъ безумный глядитъ.

— «Охъ, попадете, ребята, въ бѣду!
Вы попадете и я попаду!

«Какъ-это паспортовъ, какъ не имѣть?
Знаешь — начальство... не станетъ жалѣть!...»

Вдругъ у него на душѣ отлегло.
Тс!... далеко ли, братъ, ваше село?

«Верстъ этакъ двѣсти... не близко, родной!»
— Нечего мѣшкать! ступайте домой!

«Мертваго можно одѣть-снарядить,
Въ сани ввалить, да веретьемъ покрыть;

Подлѣ села его выньте на свѣтъ:
Умеръ дорогою — вотъ и отвѣтъ!»

Думаетъ — шепчетъ проснувшійся людъ,
Ѣхать не радость, не радость и судъ.

Помочи, видно, тутъ нечего ждать...
Быть тому такъ, что покойника взять!

Бѣлѣетъ снѣгъ въ степи глухой,
Стоитъ на ней ковыль сухой;
Ковыль сухой и старъ и сѣдъ,
Блеститъ на немъ мороза слѣдъ.
Просторъ и сонъ, могильный сонъ,
Туманъ, что̀ дымъ, со всѣхъ сторонъ;
А глубь небесъ въ огняхъ горитъ,
Вкругъ мѣсяца кольцо лежитъ;
Звѣзда звѣздѣ привѣты шлетъ,
Холодный свѣтъ на землю льетъ;
Въ степи глухой обозъ скрипитъ,
Передній конь идетъ — храпитъ:
Продрогъ мужикъ, глядитъ на снѣгъ,

Съ ума нейдетъ въ селѣ ночлегъ;
Въ своемъ селѣ онъ сонъ найдетъ,
Теперь его все страхъ беретъ:
Мертвецъ за нимъ въ саняхъ лежитъ,
Живому степь бѣдой грозитъ.
Мелькнула тѣнь, зашла впередъ,
Растетъ сѣдой и рѣчь ведетъ:
«Мертвецъ въ саняхъ! мертвецъ въ саняхъ!...»
Вскочилъ мужикъ, на сердцѣ страхъ,
По тѣлу дрожь, тоска въ груди...
«Товарищи! сюда иди!
Эй, дядя Петръ! Мертвецъ встаетъ!
Мертвецъ встаетъ, ко мнѣ идетъ!»
Извощики на кличъ бѣгутъ,
О чудѣ рѣчь въ степи ведутъ.
Блеститъ ковыль, сквозь чуткій сонъ
Людскую рѣчь подслушалъ онъ...

Вотъ ужъ покойникъ въ родимомъ селѣ.
Убранъ, лежитъ на дубовомъ столѣ.
Мать къ мертвецу припадаетъ на грудь:
«Соколъ мой ясный, скажи что-нибудь!
Какъ безъ тебя мнѣ свой вѣкъ коротать,
Горькое горе встрѣчать, провожать!...»
— «Полно, старуха! Ей мужъ говоритъ,
Полно косатка!» — и плачетъ на взрыдъ.
Чу! колокольчикъ звенитъ и поетъ...
Ближе и ближе — и смолкъ у воротъ.
Грозный чиновникъ въ избушку спѣшитъ,
Дверь отворилъ, на порогѣ кричитъ:
Эй, старшина! понятыхъ собери!
Слышишь, каналья? да живо, смотри!
Все онъ провѣдалъ, про все разузналъ,
Доктора взялъ и на судъ прискакалъ.

Трупъ обнажили. И вотъ, въ торопяхъ,
Въ фартукѣ бѣломъ, въ зеленыхъ очкахъ,
По локоть докторъ рукавъ завернулъ,
Острою сталью надъ трупомъ сверкнулъ.
Вскрикнула мать: «не дадимъ, не дадимъ!
Сынъ это мой! не ругайся надъ нимъ!
Сжалься, родной! отступись-отойди!
Мать свою вспомни... во грѣхъ не входи!...»
— «Вывести бабу!» — чиновникъ сказалъ.
Докторъ на трупѣ пятно отъискалъ.
Бѣднымъ извощикамъ сдѣланъ допросъ,
Обнялъ ихъ ужасъ — и кто что понесъ...
Жаль васъ, родимые! жаль, соколы!
«Эй, старшина! подавай кандалы!»





XXXV.

СТАРЫЙ СЛУГА.

Сохнетъ старикъ отъ печали,
Ночи не спитъ на-пролетъ:
Барскимъ добромъ поклепали,
Воромъ вся дворня зоветъ.

Не ждалъ онъ горькой невзгоды,
Барину вѣрно служилъ...
Какъ его въ прежніе годы
Старый слуга мой любилъ!

Въ курточкѣ красной, бывало,
Веселъ, завитъ и румянъ,
Прыгаетъ, бьетъ какъ попало
Рѣзвый барчукъ въ барабанъ;

Бьетъ, и кричитъ, и смѣется,
Дѣтскою саблей звенитъ;
Вдругъ къ старику повернется —
«Смирно!» и ножкой стучитъ.

Ниткой его зануздаетъ,
На спину сядетъ верхомъ,
Въ шутку кнутомъ погоняетъ,
Ѣдетъ по залѣ кругомъ.

Радъ мой старикъ — и проворно
На четверенькахъ ползетъ.
«Стой!» — и онъ станетъ покорно,
Бровью сѣдой не моргнетъ.

Ручку-ль барчукъ шаловливый,
Ножку-ль убьетъ за игрой, —
Вздрогнетъ слуга боязливый:
«Баринъ ты мой золотой!»

Шопотомъ тужитъ, горюетъ:
«Не досмотрѣлъ я, злодѣй!»
Барскую ножку цѣлуетъ...
«Бей меня, батюшка, бей!»

Тошно подъ барской опалой!
Недруговъ страшенъ навѣтъ!
Пусть-бы ужъ много пропало, —
Ложки серебряной нѣтъ!

Смотритъ старикъ за овцами,
На ноги лапти надѣлъ,
Плечи покрылъ лоскутами, —
Такъ ему баринъ велѣлъ.

Плакалъ бѣднякъ, убивался,
Вслухъ не винилъ никого:
Рабъ своей тѣни боялся, —
Такъ напугали его.

Господи! горе и голодъ!...
Долго ли чахнуть въ тоскѣ?...
Вырвался какъ-то онъ въ городъ
И — загулялъ въ кабакѣ.

Пей, безталанная доля!
Пилъ онъ, и пѣлъ, и плясалъ...
Волюшка, милая воля,
Гдѣ-же твой свѣтъ запропалъ?

И потащился полями
Пьяный въ родное село.
Вьюга неслась облаками,
Вѣтромъ лицо его жгло.

Снѣгъ заметалъ одежонку,
Сонъ горемыку клонилъ...
Легъ онъ, надвинулъ шапченку,
И середь поля застылъ.

XXXVI.

* * *

Живая рѣчь, живые звуки, —
Зачѣмъ вамъ чужды плоть и кровь?
Я въ васъ облекъ-бы сердца муки —
Мою печаль, мою любовь.

Въ груди огонь, въ душѣ смятенье
И подавленной страсти стонъ,
А ваше мѣрное теченье
Наводитъ скуку или сонъ...

Такъ, недоступно и незримо,
Вь насъ зрѣетъ чувство иногда,
И остается навсегда
Загадкою неразрѣшимой,
Какъ мученикъ прожившій вѣкъ,
Намъ съ дѣтства близкій человѣкъ...

XXXVII.

* * *

Перестань, милый другъ, свое сердце пугать:
Чтó намъ завтра сулитъ — мудрено угадать.
Посмотри: изъ-за синяго полога тучъ
На зеленый курганъ брызнулъ золотомъ лучъ.
Колокольчикъ поникъ надъ росистой межой,
Алой краской покрытъ василекъ голубой,
Сироты-павилики румяный цвѣтокъ
Приласкался къ нему и обвилъ стебелекъ.
Про таланъ золотой въ полѣ пахарь поетъ,
Въ потемнѣвшемъ лѣсу отголосокъ идетъ.
Въ каждой травкѣ — душа, каждый звукъ — говоритъ,
Въ синевѣ про любовь голосъ птички звенитъ...
Только ты все грустишь, словъ любви не найдешь,
Громовыхъ облаковъ въ день безоблачный ждешь.

XXXVIII.

И дождь, и вѣтеръ. Ночь темна.
Въ уснувшемъ домѣ тишина:
Никто мнѣ думать не мѣшаетъ.
Сижу одинъ въ своемъ углѣ.
При свѣчкѣ весело играетъ
Полоска свѣта на окнѣ.

Я радъ осенней непогодѣ:
Мнѣ шумъ толпы невыносимъ.
Я, какъ дикарь, привыкъ къ свободѣ,
Привыкъ къ стѣнамъ моимъ роднымъ...
Здѣсь все мнѣ дорого и мило,
Хоть радости здѣсь мало было...

Святая ночь! Теперь я чуждъ
Дневныхъ тревогъ, насущныхъ нуждъ.
Онѣ забыты. Жизни полны,
Видѣнья свѣтлыя встаютъ;
Изъ глубины души, какъ волны,
Слова послушныя текутъ.

И грустно мнѣ мой трудъ отрадный,
Когда въ окно разсвѣтъ блеснетъ,
Мѣнять на холодъ безпощадный,
На бремя мелочныхъ заботъ...
И снова жажду я досуга
И темной ночи жду, какъ друга.

XXXIX.

МОГИЛА ДИТЯТИ.

(Посвящается Н. И. Второву).

Надъ твоей могилкой
Солнышко сіяетъ;
Въ зелени сирени
Птичка распѣваетъ.

Вьются—распѣваютъ
Пчелы надъ цвѣтами,
Вѣтерокъ лепечетъ
Съ темными листами.

Спишь ли ты, малютка,
Или такъ лежится?...
Встань и полюбуйся,
Что̀ кругомъ творится.

Всталъ-бы ты,—нѣтъ воли:
Тѣсный домъ твой проченъ,
Выходъ на свѣтъ Божій
Крѣпко заколоченъ.

Спи, дитя! Едва-ли
Стоитъ просыпаться,
На людское горе
Сердцемъ надрываться.

Наша жизнь земная,
Право, незавидна;
Спи, дитя родное,
Суждено такъ, видно.

Сонъ твой—сонъ отрадный.
Крестъ и камень бѣлый
Надъ твоей могилкой
Солнышко пригрѣло.

Перелетнымъ гостьямъ
Благодать святая
Въ ямочкѣ на камнѣ
Влага дождевая.

Пьетъ шалунья-птичка,
Брызги разсыпаетъ,
Чуткій слухъ малютки
Пѣснями ласкаетъ.





1860 Г.

XL.

Бѣдная молодость, дни невеселые,
Дни невеселые, сердцу тяжелые!
Глянешь назадъ, — точно степь неоглядная,
Глушь безотвѣтная, даль безотрадная!

Нѣтъ въ этой дали ни кустика зелени,
Все-то зачахло, да сгибло безъ времени,
Спитъ точно мертвое, спитъ какъ убитое,
Солнышкомъ Божьимъ на вѣки забытое.

Солнышко Божье на свѣтъ поскупилося,
Счастье-веселье на зовъ не явилося;
Горькое горе безъ зову нагрянуло,
При горѣ радость свинцомъ въ воду канула.

Бѣдная молодость, дни невеселые,
Дни невеселые, сердцу тяжелые!
Радъ-бы забыть васъ, да что-жъ мнѣ останется,
Чѣмъ моя жизнь при бездольи помянется?

XLI.

* * *

Я радъ молчать о горѣ старомъ,
Мнѣ къ чернымъ днямъ не привыкать;
Но вотъ вопросъ: неужто даромъ
Мнѣ нужно слезы проливать?

Утраты, нужды и печали,
Къ чему меня вы привели?
Какой мнѣ путь вы указали,
Какое благо принесли?

Дождусь ли я успокоенья
Отъ мукъ разумнаго плода?
Рѣши ты, жизнь, мои сомнѣнья,
Когда ты смысла не чужда!

Но если ты полна позора,
Обмана, мелочныхъ заботъ,—
Во что же вѣрить? Гдѣ опора?
Изъ темной пропасти исходъ?

Исходъ!... едва-ли онъ возможенъ:
Душа на скорбь осуждена,
Уснуло сердце, умъ встревоженъ;
А даль темна, какъ ночь темна.

Ужъ не пора-ли лечь въ могилу:
Усопшихъ сонъ невозмутимъ...
О, Боже мой! пошли Ты силу
И миръ душевный всѣмъ живымъ!

XLII *).

ПОЭТУ-ОБЛИЧИТЕЛЮ.

Обличитель чужаго разврата,
Проповѣдникъ святой чистоты,
Ты, — что̀ камень на падшаго брата
Поднимаешь, — сойди съ высоты!

Ужъ не первый въ величьи суровомъ,
Врагъ неправды и лѣни тупой,
Какъ гроза, своимъ огненнымъ словомъ
Ты царишь надъ послушной толпой.

Дышетъ рѣчь твоя жаркой любовью,
Безъ конца ты готовъ говорить,
И, подумаешь, собственной кровью
Счастье ближнему радъ ты купить.

Что-жъ ты сдѣлалъ для края роднаго,
Безкорыстный мудрецъ-гражданинъ?
Укажи, гдѣ для дѣла благаго
Потерялъ ты хоть волосъ одинъ?

Твоя жизнь, какъ и наша, безплодна,
Лицемѣрна, пуста и пошла...
Ты не понялъ печали народной,
Не оплакалъ ты горькаго зла.

Нищій духомъ и словомъ богатый,
По-наслышкѣ о всемъ ты поешь,

---

*) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 6-й.

И безстыдно похвалъ ждешь, какъ платы,
За свою всенародную ложь.

Будь ты проклято, праздное слово!
Будь ты проклята, мертвая лѣнь!
Покажись, съ своей жизнію новой,
Темноту прогоняющій день!

Передъ нами нѣмыя могилы,
Позади — одна горечь потерь...
На тебя, на твои только силы,
Молодежь, вся надежда теперь.

Много поту тобою прольется,
И быть можетъ, въ глуши, безъ слѣдовъ,
Очистительныхъ жертвъ принесется
Въ искупленье отцовскихъ грѣховъ.

Не легка твоя будетъ дорога,
Но иди,— не погибнетъ твой трудъ!
Знамя чести и истины строгой
Только крѣпкіе въ бурю несутъ.

Безконечное мысли движенье,
Царство разума, правды святой,—
Вотъ прямое твое назначенье,
Добрый подвигъ на почвѣ родной!

XLIII.

Теперь мы вышли на дорогу,
Дорога,— просто благодать.
Ужь не сказать-ли: слава Богу,
Трудъ совершенъ! Чего желать?

Душѣ просторъ, уму свобода!..
Да, умъ нашъ многое постигъ:
О благѣ бѣднаго народа
Мы написали груду книгъ.

Всѣ эти дымныя избенки,
Гдѣ въ полумракѣ, въ темнотѣ,
Полунагіе ребятенки
Ростутъ въ грязи и въ нищетѣ,

Гдѣ по ночамъ горитъ лучина,
И, рабъ нужды, при огонькѣ,
Сѣдой какъ лунь, старикъ-кручина
Плететъ лаптишки въ уголкѣ;

Гдѣ жница-мать въ широкомъ полѣ,
На вѣтрѣ, въ нестерпимый зной,
Забывъ усталость по неволѣ,
Малютку кормитъ подъ копной.

Ея уста спеклися кровью,
Работой грудь надорвана...
Но, Боже мой, съ какой любовью
Малютку пѣстуетъ она!

Все это нынѣ мы узнали,
И наконецъ, — о, мудрый вѣкъ!—
Какъ дважды-два мы доказали,
Что и мужикъ нашъ—человѣкъ.

Все суета!.. махнемъ рукою!..
Насъ чернь не слушаетъ, молчитъ;
Упрямо ходитъ за сохою
И недовѣрчиво глядитъ.

Покамѣстъ умъ нашъ созидаетъ
Дворцы да башни въ облакахъ,
Горячій потъ она роняетъ
На нивахъ, гумнахъ и дворахъ,

Въ глухой степи, въ лѣсной трущобѣ,
Средь улицъ селъ и городовъ,
И, утомясь, въ досчатомъ гробѣ
Опочиваетъ отъ трудовъ.

Чѣмъ это кончится?.. Едва-ли,
Ничтожной жизни горькій плодъ,
Не ждутъ насъ новыя печали,
На мѣсто прожитыхъ невзгодъ!

XLIV.

ПОМИНКИ.

Ни тучки, ни вѣтра, и поле молчитъ;
Горячее солнце и жжетъ и палитъ.
И пылью покрытая, будто мертва,
Стоитъ неподвижно подъ зноемъ трава.
И слышится только въ молчаніи дня
Веселыхъ кузнечиковъ звонъ — трескотня.

Средь чистаго поля конь-пахарь лежитъ;
На трупѣ коня воронъ черный сидитъ,
Кровавый свой клювъ поднимаетъ порой
И каркаетъ, будто вѣщунъ роковой.
Эхъ, конь безотвѣтный, слуга мужика,
Была твоя служба вѣрна и крѣпка!
Побои и голодъ — ты все выносилъ
И духъ свой на пашнѣ, въ сохѣ, испустилъ.

Мужикъ горемычный рукою махнулъ,
И снялъ съ него кожу и, молча, вздохнулъ,
Вздохнулъ и заплакалъ: «ничто, молъ, не въ прокъ!»
И кожу сырую въ кабакъ поволокъ.
И пѣлъ онъ тамъ пѣсни, свисталъ соловьемъ:
«Пускай пропадаетъ! гори все огнемъ!»
Со смѣха народъ головами качалъ:
«Смотри, молъ, ребята! онъ умъ потерялъ,
Со зла свое сердце гульбой веселитъ,
По мертвой скотинѣ поминки творитъ!»

XLV.

НА ПЕПЕЛИЩѢ.

На яблонѣ грустно кукушка кукуетъ;
На камнѣ мужикъ одиноко горюетъ:
У ногъ его кучами пепелъ лежитъ,
Надъ пепломъ труба безобразно торчитъ.

Въ избитыхъ лаптишкахъ, въ рубашкѣ дырявой,
Сидитъ онъ, поникъ головою кудрявой,
Поникъ горемычный отъ думъ и заботъ,
И солнце открытую голову жжетъ.

Не годъ и не два онъ терялъ свою силу:
На пашнѣ онъ клалъ ее, будто въ могилу,
Онъ клалъ ее дома, съ цѣпомъ на гумнѣ,
Безропотно клалъ на чужой сторонѣ.

Весь вѣкъ свой работалъ безъ счастья, безъ доли,
Росли на широкихъ ладоняхъ мозоли,
И трескалась кожа... да что́ за бѣда!
Ужь видно не жить мужику безъ труда!

Упорной работы соха не сносила,
Ломалась, и въ полѣ другая ходила;
Тупилось желѣзо, стирался сошникъ,
И только выдерживалъ пахарь-мужикъ.

Просилъ, безотвѣтный, не счастья у неба,
Но хлѣба насущнаго, чернаго хлѣба...
Подкралась бѣда,—все метлой подмела,—
У пахаря нѣтъ ни двора, ни кола.

Крѣпись, горемычный! не гнись отъ удара!
Все вынесло сердце: и ужасъ пожара,
И матери старой пронзительный стонъ
Въ то время, какъ въ полымя кинулся онъ

И выхватилъ сына, что̀ спалъ въ колыбели,
За нимъ по-слѣдамъ потолки загремѣли...
«Пускай догараютъ!...» И нищій мужикъ
Къ головкѣ ребенка устами приникъ.

XLVI *).

ПОРТНОЙ.

Пали на долю мнѣ пѣсни унылыя,
Пѣсни печальныя, пѣсни постылыя,
Радъ бы не пѣть ихъ, да грудь надрывается,
Слышу я, слышу, чей плачъ разливается:
Бѣдность голодная, грязью покрытая,
Бѣдность несмѣлая, бѣдность забитая,

*) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 7-й.

Днемъ она гибнетъ, и въ полночь, и за-полночь,
Гибнетъ она — и никто нейдетъ на-помочь;
Гибнетъ она — и опоры нѣтъ волоса,
Теплаго сердца, знакомаго голоса...
Горькій полынь — эта пѣснь невеселая,
Пѣснь невеселая, правда тяжелая!
Кто здѣсь узнаетъ кручину свою?
Эту я пѣсню про бѣдность пою.

I.

Морозъ трещитъ, и воетъ вьюга,
И хлопья снѣга другъ на друга
Ложатся, и ростетъ сугробъ,
И, молчаливый будто гробъ,
Весь домъ промерзъ. Три дня забыта,
Ужъ печь не топится три дня,
И нечѣмъ развести огня,
И дверь рогожей не обита,
Она стара и вся въ щеляхъ;
Бѣлѣетъ иней на стѣнахъ,
Окошко инеемъ покрыто,
И отъ мороза на окнѣ
Вода застыла въ кувшинѣ.

Нѣтъ крошки хлѣба въ цѣломъ домѣ,
И на дворѣ нѣтъ плахи дровъ.
Портной озябъ. Онъ нездоровъ
И головой поникъ въ истомѣ:
Печальна жизнь его была,
Печально молодость прошла,
Прошло и дѣтство безотрадно:
Съ крыльца ребенкомъ онъ упалъ,
На камняхъ ногу изломалъ,

Его посѣкли безпощадно...
Не умеръ онъ. Полубольнымъ
Все росъ, да росъ. Но чѣмъ кормиться?
Что̀ въ руки взять? Чему учиться?
И самоучкой сталъ портнымъ.
Женился, бѣдный, — все не радость:
Жена не долго пожила
И Богу душу отдала
Въ родахъ подъ Пасху. Вотъ и старость
Теперь пришла. А дочь больна,
Ужь кровью кашляетъ она.
И все прядетъ, прядетъ все пряжу,
Иль, молча, спицами звенитъ,
Перчатки вяжетъ на продажу,
И все груститъ, и все груститъ.
Робка, какъ птичка полевая,
Живетъ одна, живетъ въ глуши,
Въ глухую полночь, чуть живая,
Встаетъ и молится въ тиши.

II.

Морозъ и ночь. Въ своей постели
Не спитъ измученный старикъ.
Его глаза глядятъ безъ цѣли,
Безъ цѣли онъ зажегъ ночникъ.
Лежитъ и стонетъ. Дочь привстала
И посмотрѣла на отца:
Онъ блѣденъ, хуже мертвеца...
«Что-жъ ты не спишь?» она сказала.
— Такъ, скучно. Хоть бы разсвѣло...
Ты не озябла? — «Мнѣ тепло...»

И разсвѣло. Окрѣпъ и холодъ.
Но хлѣба, хлѣба гдѣ добыть?

Суму надѣть, иль воромъ быть?
О, будь ты проклятъ, страшный голодъ!
Куда идти? Кого просить?
Иль самого себя убить?
Портной привсталъ. Нѣтъ, силы мало!
Всѣ кости ноютъ, все болитъ;
Дочь посинѣла и дрожитъ...
Хотѣлъ заплакать, — слезъ не стало...
И со двора, въ нѣмой тоскѣ,
Побрелъ онъ съ костылемъ въ рукѣ.
Куда? Онъ думалъ не о пищѣ,
Шелъ не за хлѣбомъ, — на кладбище
Шелъ бить могильщику челомъ;
Онъ былъ давно ему знакомъ.
Но какъ начать? Неловко было...
Портной съ нимъ долго толковалъ
О томъ, о семъ; а сердце ныло...
И наконецъ онъ шапку снялъ.
«Послушай, сжалься, ради Бога!
Мнѣ остается жить немного;
Нельзя ли тутъ, вотъ въ сторонѣ,
Могилку приготовить мнѣ?»
— Ого? — могильщикъ улыбнулся,
— Ты шутишь, иль въ умѣ рехнулся?
Умрешь, — зароютъ, не грусти...
Грѣшно болтать-то безъ пути... —
«Зароютъ, другъ мой, я не спорю.
Вѣдь, дочь-то, дочь моя больна!
Куда просить пойдетъ она!
Кого?... Ужъ пособи ты горю!
Платить-то нечѣмъ... я бы радъ,
Я заплатилъ бы... вырой, братъ!...»
— Земля-то, видишь ты, застыла..
Рубить-то будетъ не легко. —

«Ты такъ... не очень глубоко,
Не очень... все таки могила!
Просить и совѣстно, — нужда!»
— Пожалуй, вырыть не бѣда!

III.

И слегъ портной. Лице пылаетъ,
Въ бреду онъ громко говоритъ,
Что Божій гнѣвъ ему грозитъ,
Что грѣшникомъ онъ умираетъ,
Что онъ повѣситься хотѣлъ,
И только Катю пожалѣлъ.
Дочь плачетъ: «полно, ради Бога!
У насъ тепло, обита дверь,
И чай налитъ: онъ есть теперь,
И есть дрова, и хлѣба много,—
Все дали люди... Встань, родной!»
И вотъ встаетъ, встаетъ портной.
— «Ты понимаешь? Жизнь смѣется.
Смѣется... Кто тутъ зарыдалъ?
Не кашляй! тише! кровь польется...»
И навзничь мертвымъ онъ упалъ.

XLVII.

* * *

За прялкою баба въ понявѣ сидитъ;
Ребенокъ больной въ колыбели лежитъ,
Лежитъ онъ и въ ротъ не беретъ молока,
Кричитъ онъ безъ умолку—слушать тоска!

Торопится баба: рубашка нужна;
Совсѣмъ-то, совсѣмъ обносилась она:
Надѣть-то ей нечего,—просто напасть!
Прядетъ она ночью, днемъ некогда прясть.

И за̀-полночь ярко лучина горитъ,
И грудь отъ сидѣнья щемитъ и болитъ,
И взглядъ притупился, устала рука...
Дитя надрывается,—слушать тоска!

Пришлось по неволѣ работу бросать.
«Ну, что̀ мое дитятко? молвила мать:
Усни себѣ съ Богомъ, усни въ тишинѣ!
Вѣдь, некогда, дитятко, некогда мнѣ!»

И баба садится, и снова прядетъ,
И снова покою ей крикъ не даетъ.
«Молчи, говорю! мнѣ самой до себя!
Ну, чѣмъ же теперь исцѣлю я тебя?»

Поютъ пѣтухи; видно скоро разсвѣтъ:
Дымится лучина, и гаснетъ — и нѣтъ;
Притихъ онъ и глазки сомкнулъ.
Уснулъ онъ,—да только ужъ на-вѣкъ уснулъ.

XLVIII.

МАТЬ И ДОЧЬ.

Худа, ветха избушка
И, какъ тюрьма, тѣсна;
Слѣпая мать-старушка,
Какъ полотно, блѣдна.

Бѣдняжка потеряла
Свои глаза и умъ
И, какъ ребенокъ малый,
Чужда заботъ и думъ.

Все пѣсни распѣваетъ,
Забившись въ уголокъ,
И жизнь въ ней догораетъ,
Какъ въ лампѣ огонекъ.

А дочь, съ восходомъ солнца,
Иглу свою беретъ,
У свѣтлаго оконца
До темной ночи шьетъ.

Жара. Вокругъ молчанье,
Лѣниво день идетъ,
Докучныхъ мухъ жужжанье
Покоя не даетъ.

Старушки тихій голосъ
Безъ-умолку звучитъ...
И гнется дочь, какъ колосъ,
Тоска въ груди кипитъ.

Народъ неутомимо
По улицѣ снуетъ,
Идетъ все мимо, мимо, —
Богъ-вѣсть куда, идетъ.

Ужъ ночь. Темно въ избушкѣ,
И некому мѣшать;
Осталося — къ подушкѣ
Припасть, — и зарыдать.

XLIX.

ПОГОСТЪ.

Глубина небесъ синѣетъ,
Свѣтитъ яркая луна,
Церковь въ сумракѣ бѣлѣетъ,
На погостѣ тишина.

Тишина — не слышно звука,
Не горитъ огня въ селѣ.
Безпробудно скорбь и мука
Спитъ въ кормилицѣ землѣ.

Миръ вамъ, старыя невзгоды!
Память вѣчная слезамъ!
Вѣетъ воздухомъ свободы
По трущобамъ и лѣсамъ.

Золотыя искры свѣта
Проникаютъ въ глушь и дичь,
Слышенъ въ полѣ кличъ привѣта,
По степямъ веселый кличъ.





1861 Г.

I *).

ХОЗЯИНЪ.

Впряженъ въ телѣгу конь косматый,
Откормленъ на диво овсомъ,
И бляхи мѣдныя на немъ
Блестятъ при заревѣ заката.
Купцу дай-Господи пожить:
Широкоплечъ, какъ клюква красенъ,
Казной отъ бѣдъ обезопасенъ,
Здоровъ, — о чемъ ему тужить?
Да мой купецъ и не горюетъ.
Съ какой-то бабой за столомъ
Въ особой горенкѣ, вдвоемъ,
Сидитъ на мельницѣ, пируетъ.
Вода реветъ, вода шумитъ,
Отъ грома мельница дрожитъ,
Идетъ работа толкачами,
Идетъ работа рѣшетомъ,
Колесами и жерновами —
И стукотня, и пыль кругомъ...
Купецъ мой рюмку поднимаетъ

*) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 8-й.

И кулакомъ объ столъ стучитъ.
«И выпью!... кто мнѣ помѣшаетъ?
«И пью... самъ чертъ не запретитъ!
«Пей, Марья!...»

— То-то, ненаглядный,
Ты мнѣ на платье обѣщалъ... —
«И кончено! Сказалъ — и ладно:
«Будетъ такъ, какъ я сказалъ.
«Мнѣ что̀ жена? Сыта, одѣта —
«И все... вотъ выпрягу коня
«И прогуляю до разсвѣта,
«И баста! Обними меня!...»

Вода шумитъ — не умолкаетъ,
При свѣтѣ мѣсяца кипитъ,
Алмазной радугой сверкаетъ,
Огнями синими горитъ.
Но даль темна и молчалива,
Огонь веселый рыбака
Краснѣетъ въ зеркалѣ залива,
Скользитъ по листьямъ лозняка.

Купецъ гуляетъ. Мы не станемъ
Ему мѣшать. Въ тиши ночной
Мы лучше въ домъ его заглянемъ,
Войдемъ неслышною тропой.

Ужъ поздно. Свѣчка нагорѣла.
Больной лежитъ и смерти ждетъ.
Его лицо, какъ мраморъ, бѣло,
И руки холодны, какъ ледъ;
На лобъ открытый кудри пали:
Остатокъ прежней красоты,

Печать раздумья и печали
Еще хранятъ его черты:
Такъ, освѣщенные зарею,
Въ замолкшемъ на-долго лѣсу,
Листы осеннею порою
Еще хранятъ свою красу.
Пора на отдыхъ. Грудь разбита,
На сердцѣ запеклася кровь —
И радость на-вѣкъ позабыта...
А ты, горячая любовь,
Явилась поздно. Доля! доля!
И если-бъ раньше ты пришла, —
Какой-бы здѣсь пріютъ нашла?
Здѣсь трудъ и бѣдность, здѣсь неволя,
Здѣсь горе гнѣзда вьетъ свои,
И вѣетъ холодъ отъ порога,
И стѣны дома смотрятъ строго...
Здѣсь нѣтъ пріюта для любви!
Лежитъ больной, лицо печально,
И будто тѣнью лобъ покрытъ:
Такъ, лѣтомъ только догоритъ
Румяной зорьки лучъ прощальный,—
Подъ сводомъ сумрачныхъ небесъ
Стоитъ угрюмъ и теменъ лѣсъ.
Родная мать роняетъ слезы,
Облокотясь на столъ рукой.
Надежды, молодости грезы,
Миръ сердца — этотъ рай земной —
Все унесло, умчало горе,
Какъ бурный вѣтръ уноситъ пыль,
Когда въ степи шумитъ ковыль,
Шумитъ взволнованный, какъ море,
И догораетъ вся до тла
Грозой зажженая ветла.

Плачь, бѣдное созданье!
И не слезами,—кровью плачь!
Безвыходно твое страданье
И безпощаденъ твой палачъ.
Невесела, невыносима,
Горька, какъ ядъ, твоя судьба:
Ты жизнь убила, какъ раба,
И не была никѣмъ любима...
Твой мужъ... но виноватъ ли онъ,
Что пьянъ, и грубъ, и неуменъ?
Когда-бъ онъ могъ подумать строго,
Какъ зла надѣлано имъ много,
Какъ много ранъ нанесено,—
Себя онъ проклялъ-бы давно.
Въ борьбѣ тяжелой ты устала,
Изнемогла и въ грязь упала,
И въ грязь затоптана толпой.
Увы! сгубилъ тебя запой!...
Твоя слеза на кровь походитъ....
Плачь больше!... Въ воздухѣ чума!...
Любимый сынъ въ могилу сходитъ,
Другой давно сошелъ съ ума.

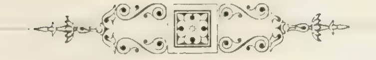
Вотъ онъ сидитъ на лежанкѣ просторной,
Голо остриженъ, и бѣденъ, и хилъ;
Палку, какъ скрипку, къ плечу прислонилъ,
Бровью и глазомъ моргаетъ проворно,
Правой рукою и взадъ и впередъ
Водитъ по палкѣ и пѣсню поетъ:
«На старомъ курганѣ, въ широкой степи,
Прикованный соколъ сидитъ на цѣпи,
Сидитъ онъ ужъ тысячу лѣтъ,
Все нѣтъ ему воли, все нѣтъ!
И грудь онъ съ досады когтями терзаетъ,

И каплями кровь изъ груди вытекаетъ.
Летятъ въ синевѣ облака,
А степь широка, широка!...»
Вдругъ палку кинулъ онъ, закрылъ лицо руками
И плачетъ горькими слезами:
«Больно мнѣ! больно мнѣ! мозгъ мой горитъ.
Счастье тому, кто въ могилѣ лежитъ!
Мать моя, матушка! полно рыдать!
Долго ли намъ эту жизнь коротать?
Знаешь ли? Спальню запри изнутри,
Сторожемъ стану я подлѣ двери.
Прочь! закричу я: здѣсь мать моя спитъ!
Больно мнѣ, больно мнѣ! мозгъ мой горитъ!...»

Больной все слушалъ эти звуки,
Горѣлъ на медленномъ огнѣ;
Сказать хотѣлъ онъ: дайте мнѣ
Хоть умереть безъ слезъ и муки!
Ужель не могъ я отъ судьбы
Дождаться мира въ часъ кончины,
За годы думы и кручины,
За годы пытки и борьбы?
Иль эти пытки шуткой были?
Иль мало, среди стѣнъ родныхъ,
Отравой зла меня поили?
Иль, вмѣсто слезъ, изъ глазъ моихъ
Текла вода на изголовье,
Когда, губя свое здоровье,
Я думалъ ночи безо сна —
Зачѣмъ мнѣ эта жизнь дана?
И догарающій въ постели,
Всю жизнь припомнивъ съ колыбели,
Хотѣлъ онъ на своемъ пути
Хоть точку свѣтлую найти —
И не сыскалъ.

Такъ, въ полдень жгучій,
Спустившись съ каменистой кручи,
Томимый жаждой, пѣшеходъ
Искать ключа въ оврагъ идетъ.
И долго тамъ, усталый, бродитъ
И влаги капли не находитъ,
И падаетъ, едва живой,
На землю, съ болью головной...

«Ну, отпирай! заснули скоро!...»
Ударивъ въ ставень кулакомъ,
Хозяинъ крикнулъ подъ окномъ...
Печальный домъ, пріютъ раздора!
Нѣтъ, тяжело срывать покровъ
Съ твоихъ таинственныхъ угловъ,
Срывать покровъ, какъ уголь черный!
Угрюмъ твой видъ, какъ гроба видъ,
Какъ мѣсто казни, гдѣ стоитъ
Съ желѣзной цѣпью столбъ позорный
И плаха съ топоромъ лежитъ!
За то, что здѣсь такъ мало свѣта,
Что воздухъ солнцемъ несогрѣтъ,
За то, что нѣтъ на мысль отвѣта,
За то, что радости здѣсь нѣтъ,
Ни ласкъ, ни милаго объятья,
За то, что гибнетъ человѣкъ, —
Я шлю тебѣ мои проклятья,
Чужой оплакивая вѣкъ!



КУЛАКЪ.

(ВЪ АВТОРСКОМЪ ИЗДАНІИ).

КУЛАКЪ *).

Все благо и прекрасно на землѣ,
Когда живетъ въ своемъ опредѣленьи;
Добро вездѣ, добро найдешь и въ злѣ.
Когда-жъ предметъ пойдетъ по направленью,
Противному его предназначенью,
По сущности добро, онъ станетъ — зломъ.
Такъ человѣкъ: что добродѣтель въ немъ,
То можетъ быть порокомъ.

Шекспиръ (Ромео и Юлія).

I.

День гаснетъ. Облаковъ громада
Покрыта краской золотой;
Отъ луга влажною струей
Плыветъ душистая прохлада;
Надъ самымъ озеромъ тростникъ
Сквозной оградою поникъ.
Порой куда-то пронесется

*) См. „Примѣчанія", стр. 5, № 9-й.

Со свистомъ стая куликовъ,
И снова тишь. Въ тѣни кустовъ
Рыбачій челнъ не покачнется.
Вдоль тяги тянется обозъ;
Скрипятъ колеса. За волами
Шагаютъ чумаки съ кнутами;
Кипитъ народомъ перевозъ:
Паромъ отчалили лѣниво,
Ушами лошади пугливо
Прядутъ; рабочіе кричатъ,
И плещетъ по водѣ канатъ...
Шлагбаумъ, съ образомъ часовня,
Избушки, бани, колокольня
Съ крестомъ и галкой на крестѣ,
И на прибрежной высотѣ
Плетни, поникнувшія ивы —
Все опрокинуто въ рѣкѣ.
Бѣлѣютъ мойки въ далекѣ,
Луками выгнулись заливы.
А тамъ кусты, деревня, нивы,
Да чуть примѣтный, сквозь туманъ,
Средь поля чистаго курганъ.

Тому давно, въ глуши суровой,
Шумѣлъ тутъ грозно лѣсъ дубовой,
Съ пустыннымъ вѣтромъ рѣчи велъ,
И плавалъ въ облакахъ орелъ;
Синѣла степь безгранной далью,
И, притаясь за валъ, съ пищалью,
Зажечь готовый свой маякъ,
Татаръ выглядывалъ казакъ.
Но вдругъ все жизнью закипѣло,
Въ лѣсу желѣзо зазвенѣло —
И падалъ дубъ; онъ отжилъ вѣкъ...

И, вмѣсто звѣря, человѣкъ
Въ пустынѣ воцарился смѣло.

Проснулись воды, и росли,
Гроза Азова, корабли.
Тѣ дни прошли. Уединенно
Теперь подъ кровлей обновленной,
Стоитъ на островѣ нагомъ
Безмолвный прадѣдовскій домъ,
Цейхгаузъ старый. Тихи воды.
Гдѣ былъ Петра пріютъ простой,
Купецъ усердною рукою
Одинъ почтилъ былые годы —
Часовню выстроилъ, и въ ней
Затеплилъ набожно елей.
Но городъ выросъ. Въ изголовье
Онъ положилъ степей приволье,
Плечами горы придавилъ,
Болота камнями покрылъ.
Одно пятно: въ семьѣ громадной
Высоко-поднятыхъ домовъ,
Какъ нищіе въ толпѣ нарядной,
Торчатъ избенки бѣдняковъ;
Въ дырявыхъ шапкахъ, съ костылями,
Онѣ ползутъ по крутизнамъ
И смотрятъ тусклыми очами
На богачей по сторонамъ;
Того и жди, — гроза подуетъ,
И полетятъ онѣ въ оврагъ...
Таковъ домишко, гдѣ горюетъ
Съ женой и дочерью Кулакъ:
На крышѣ старыя заплаты,
Пріютъ крикливыхъ воробьевъ,
Карнизъ обрушиться готовъ;

Стѣна крива; заборъ досчатый
Подпертъ осиновымъ коломъ;
Дворъ тѣсный смотритъ пустыремъ;
Ростетъ трава вокругъ крылечка;
Но садъ... въ садъ послѣ завернемъ;
Теперь мы въ горенку войдемъ.
Она свѣтла. Икона, печка,
Съ посудой шкафъ, сосновый столъ,
Скамейка, стулъ безъ спинки,
Комодъ пузатый подъ замкомъ —
Все старина, за то соринки
Тутъ не замѣтишь ни на чемъ.

II.

Хозяйка добрая, здорово!
Ты вѣчно съ варежкой въ рукѣ,
И въ этомъ бѣломъ колпакѣ,
И все молчишь! Порою слово
Промолвишь съ дочерью родной,
И вновь разбитый голосъ твой
Умолкнетъ. Бѣдная Арина!
Повысушили до поры
Нужда, да тяжкая кручина
Тебя, какъ травушку въ жары;
Поникла голова, что́ колосъ,
И посѣдѣлъ твой русый волосъ;
Одна незлобная душа,
Осталась въ горѣ хороша.

И ты, красавица, съ работой
Сидишь въ раздумьи подъ окномъ;
Одной привычною заботой

Всю жизнь вы заняты вдвоемъ...
Глядишь на улицу тоскливо,
Румянецъ на лицѣ поблекъ,
И спицы движутся лѣниво,
Лѣниво вяжется чулокъ.
О чемъ тоска? откуда скука?
Коса, что̀ черная смола,
Какъ бѣлый воскъ рука бѣла...
Душа болитъ? Неволя мука?..
Что̀ дѣлать! подожди, пока
Прогонитъ вѣтеръ облака *).

«Охъ, Саша! полно сокрушаться!
Вотъ ты закашляешь опять...
Промолвила старушка мать:
Ну, въ садъ пошла-бы прогуляться,
Вишь, вечеръ чудо!»

— Все равно!
И тутъ не дурно: вотъ въ окно
Свѣтъ Божій виденъ — и довольно! —

«Глядѣть-то на тебя мнѣ больно!
Блѣдна, вотъ точно полотно...»
И мать качала головою
И съ Саши не сводила глазъ.
«Поди-ты! сокрушаетъ насъ
Старикъ! надъ дочерью родною
Смѣется... Чѣмъ бы не женихъ
Столяръ-сосѣдъ? Уменъ и тихъ.
Три раза сваха приходила,
Ужъ какъ, вѣдь, старика просила!
Одинъ отвѣтъ: на дняхъ приди...

*) См. „Примѣчанія“, стр. 6, № 10-й.

Подумать надо... погоди...
Ты вотъ что, Саша, попытайся,
Съ отцомъ сама поговори,
Чуть будетъ веселъ».

— Дожидайся!
Я думаю, въ ногахъ умри,—
Откажетъ...—

Мать не отвѣчала,
Поникнувъ грустно головой.
— Чуть будетъ веселъ... Боже мой!
За что же я-то потеряла
Веселье? Вѣдь, къ чужимъ прійдешь,
Тамъ свѣтъ иной, тамъ отдохнешь;
А при отцѣ языкъ и руки —
Все связано! когда со скуки
Въ окно глядишь, и тутъ запретъ!
Ужъ и глазамъ-то воли нѣтъ! —

«Все осуждать его не надо.
Извѣстно — старъ, кругомъ нужда,
На рынкѣ хлопоты всегда,
Вотъ и беретъ его досада.
Онъ ничего... вѣдь, онъ не золъ:
На часъ вспылитъ, и гнѣвъ прошелъ».
— Я такъ... я развѣ осуждаю?
И день — печаль, и ночь — тоска,
Тутъ по неволѣ съ языка
Сорвется слово.—

«Знаю, знаю!
Какъ быть? живи, какъ Богъ велѣлъ...
Знать, положенъ таковъ предѣлъ».

Заря погасла. Мѣсяцъ всходитъ,
На стекла блѣдный свѣтъ наводитъ;
За лѣсъ свалились облака:
Въ туманѣ городъ и рѣка;
Не шевельнетъ листомъ осина;
Лишь гдѣ-то колесо гремитъ,
Да соловей въ саду свиститъ.
Молчатъ и Саша и Арина,
Ихъ спицы бѣдныя однѣ
Не умолкаютъ въ тишинѣ.

Какъ хорошо лицо больное
Старушки сгорбленной! оно,
Какъ изваяніе живое,
Все мѣсяцемъ освѣщено.
Въ рукахъ на мигъ уснули спицы,
Глаза на дочь устремлены,
И неподвижныя рѣсницы
Слезой докучной смочены.
Сверкаетъ небо огоньками,
Не видно тучки въ синевѣ,
А у старушки облачками
Проходятъ думы въ головѣ:
Безъ дѣтокъ грусть, съ дѣтьми не радость!
Сынокъ въ землѣ давно лежитъ,
Осталась дочь одна подъ старость —
И эту горе изсушитъ.
Ну, что́ ей дѣлать, если свахѣ
Старикъ откажетъ? Какъ тутъ быть?
Я чаю, легче-бы на плахѣ
Бѣдняжкѣ голову сложить!
И безъ того ужъ ей несладко:
Работа, скука, нищета....
Всю жизнь свою, моя касатка,

Что въ клѣткѣ птица, заперта.
Когда и выйдти доведется,
Домой придетъ — печальнѣй домъ....
Глядишь, на грѣхъ старикъ напьется,
О-охъ, бѣда мнѣ съ старикомъ!
Ну, та-ль она была съ-измала?
Бывало, пѣла и плясала,
На мѣстѣ часу не сидитъ,
Вотъ словно колокольчикъ звонкій,
Веселый смѣхъ и голосъ тонкій
Вь саду, иль въ горенкѣ звенитъ!
Бывало, чуть съ постельки встанетъ,
Посмотришь — куколки достанетъ,
Толкуетъ съ ними: «Ты вотъ такъ
Сиди, ты глупая дѣвченка....
Вотъ и братишка твой дуракъ,
Вамъ надо няню». И рученкой
Начнетъ ихъ эдакъ тормошить...
Возьметъ, подастъ имъ на бумажкахъ
Водицы въ желудевыхъ чашкахъ.
«Ну, вотъ, молъ, чай, извольте пить!»
— Уймися, говорю, вострушка,—
Отецъ прикрикнетъ: — посѣку! —
Бѣдняжка сядетъ въ уголку,
Наморщитъ лобикъ, какъ старушка,
И хмурится. Отецъ съ двора —
Опять потѣшная игра.

И мать работу положила,
Печной заслонъ въ потьмахъ открыла,
Достала щепкой уголекъ
И стала дуть. Вдругъ огонекъ
Блеснулъ — и снова замираетъ.
Вотъ щепка вспыхнула едва,—

Изъ мрака смутно выступаетъ
Старушки блѣдной голова.

III.

Ужъ столъ накрытъ, и скудный ужинъ
Готовъ. Покой старушкѣ нуженъ,
Заснуть-бы время, — мужа ждетъ;
Скрипитъ крылечко, — онъ идетъ.
Сюртукъ до пятъ, въ плечахъ просторенъ,
Картузъ въ пыли, ни рыжъ, ни черенъ,
Спокоенъ строгій, хитрый взглядъ,
Густыя брови внизъ висятъ.
Угрюмо супясь. Лобъ широкій
Изрытъ морщинами глубоко,
И теменъ волосъ, но сѣда
Подстриженная борода.

«Усталъ, Лукичъ? жена спросила:
Легко-ль, чуть свѣтъ ушелъ съ двора!
Садись-ко ужинать: пора!»
— Не каплетъ сверху... заспѣшила!
Отвѣтилъ мужъ: успѣешь, другъ!
И, снявъ поношеный сюртукъ,
На гвоздь повѣсилъ осторожно,
Рубашки воротъ распустилъ,
Лицо и руки освѣжилъ
Водою. — Ну, теперь вотъ можно
За щи приняться. —

«Вишь, родной!
Старушка молвила: не спится!

Всю ноченьку провеселится,
Поди, какъ свищетъ!»

— Кто такой?
Отвѣтилъ мужъ скороговоркой,
Ломая хлѣбъ съ сухою коркой.
«Соловьюшекъ у насъ въ саду».
— Сытъ. стало. Коли-бъ зналъ нужду,
Не пѣлъ-бы. Мнѣ вотъ не поется,
Какъ хлѣбъ-атъ пòтомъ достается....
Ты, Саша, ужинала что-ль? —
«Мы ждали васъ».

— Подай мнѣ соль. —
Дочь подала.

— За ужинъ сѣла,
Такъ ѣшь! Ты что невесела? —
«Я ничего».

— Гм... дурь нашла!
Такъ, какъ! —

Старушка поглядѣла
На Сашу. Саша поняла
И ложку не хотя взяла.
— Охъ, эта, дѣвичья кручина!
Отецъ, нахмурясь, продолжалъ
И мокрой ложкой постучалъ
Объ столъ: все блажь! Подбавь, Арина,
Мнѣ каши... да! все блажь одна!
Я знаю отъ чего она,
Смотри! —

«Опять не угодила!
За смѣхъ—упрекъ, за грусть—упрекъ...

Ну, грустно, — что-жъ тутъ за порокъ?
Что́ за бѣда?»

— Заговорила!
Языкъ прикусишь! берегись!
Вишь ты!... — И жилы напряглись
На лбу отца. Гроза сбиралась.
Но Саша знала старика,
Словамъ дать волю удержалась, —
И пронеслися облака
Безъ грома.

Чашка опустѣла.
Лукичъ усы свои утеръ
И, помолившись, кинулъ взоръ
На Сашинъ хлѣбъ. «Ломтя не съѣла...
Сердита, значитъ... Прибирай!
Есть квасъ-то на ночь?»

— Есть немного. —
«Ну, принеси. Сейчасъ ступай!»
— Куда-жъ идти? Теперь порога
Не сыщешь въ погребѣ: не день... —
«Ну, ну! пошевельнуться лѣнь!»

Дочь вышла. На лицѣ Арины
Слегка разгладились морщины.
Старикъ, молъ, трезвъ... Иль онъ любви
Не знаетъ къ дѣтищу родному?
Скажу про Сашу... Не чужому...
Что-жъ! Господи благослови!
И подлѣ мужа робко сѣла.
«Лукичъ!»

— Ну, что тамъ?

«Я хотѣла...

Того... съ тобой поговорить...
Не станешь ты меня бранить?»
— За что? —

«Начать-то я не смѣю».

— Ну, ладно, ладно! говори! —
«Вишь, мы вотъ стары, я болѣю,
Совсѣмъ свалюсь, того смотри,
Обрадуй ты меня подъ старость—
Отдай ты дочь за столяра!»
— Обрадуй... что-же тутъ за радость?
Вотъ ты, къ примѣру, и стара,
А дура!... стало есть причина,
Зачѣмъ я медлю... Эхъ, Арина!
Пора-бы, кажется, умнѣть! —
«Какъ мнѣ на Сашу-то глядѣть?
Она часъ отъ часу худѣетъ.
Вѣдь, я ей мать!»

— Повеселѣетъ!

Ты знаешь, дѣвичья слеза,
Что́ утромъ на травѣ роса:
Пригрѣетъ солнце и — пропала.—
«Пусть я отрады не видала,
Хоть ей-то, дочери, добра
Ты пожелай!»

— Въ постель пора!

Оставь, пока не разсердился! —

Старушка въ спальню побрела.
Тамъ передъ образомъ свѣтился

Огонь. Въ углу кровать была,
Безъ полога. Подушекъ тѣни
Какъ будто спали на стѣнѣ.
Арина стала на колѣни,
И долго, въ чуткой тишинѣ,
Передъ иконою святою
Слеза катилась за слезою.

Межъ тѣмъ Лукичъ окно открылъ
И трубку медленно курилъ;
Сквозь дымъ, глаза его безъ цѣли
На кудри яблоней глядѣли.
«Ну, завтра ярмарка. Авось
На хлѣбъ добуду. Плохо стало!
Ходьбы и хлопотни не мало,
А прибыли отъ нихъ — хоть брось!
Другимъ, къ примѣру, удается:
Казна валится, точно кладъ;
Ты, право, грошу былъ-бы радъ,
Такъ нѣтъ! Гдѣ тонко, тутъ и рвется.
Порой что̀ въ домъ и попадетъ,
Нужда метлою подмететъ.
Вотъ дочь невѣста... все забота!
И сватаютъ, да нѣтъ разсчета: —
Сосѣдъ нашъ честенъ, всѣмъ хорошъ,
Да голь большая, вотъ причина!
Что честь-то? коли нѣтъ алтына,
Далеко съ нею не уйдешь.
Безъ денегъ честь — плохая доля!
Согнешься не хотя кольцомъ
Передъ зажиточнымъ плутомъ:
Нужда — тяжелая неволя!
Мнѣ дочь и жаль! я человѣкъ,
Отецъ, къ примѣру... да не вѣкъ

Мнѣ мыкать горе. Я не молодъ.
Лукичъ — кулакъ! кричитъ весь городъ.
Кулакъ... Душа-то не сосѣдъ,
Сплутуешь, коли хлѣба нѣтъ.
Будь зять богатый, будь помога,
Не выйди я изъ-за порога,
На мѣстѣ дай Богъ мнѣ пропасть,
Коли подумаю украсть!
А есть женихъ, навѣрно знаю...
Богатъ, не долженъ никому,
И Саша нравится ему.
Давно я сваху поджидаю».

Такъ думалъ онъ. А вѣтерокъ
Его волосъ едва касался,
И въ трубкѣ красный огонекъ
Подъ сѣрымъ пепломъ раздувался.
Порой катилася звѣзда,
По небу искры разсыпала
И гасла. Ночь благоухала,
И бѣлыхъ облаковъ гряда
Плыла на сѣверъ. Жадно пили
Росу поникшіе листы,
И звуки смутные ловили.
При свѣтѣ мѣсяца кусты,
Бросая трепетныя тѣни,
Казалось, въ царство сновидѣній
Перенеслись. Межъ ихъ вѣтвей
Въ потемкахъ щелкалъ соловей.

Быть-можетъ, съ дѣтства взятый въ руки
Разумной матерью, отцомъ,
Лукичъ избѣгъ-бы жалкой муки —
Какъ нынѣ, не былъ Кулакомъ.

Великъ, кто взросъ среди порока,
Невѣжества и нищеты,
И остается безъ упрека
Жрецомъ добра и правоты;
Кто видитъ горе, знаетъ голодъ,
Усталый, чахнетъ за трудомъ,
И крѣпкой волей вѣчно молодъ,
Всегда идетъ прямымъ путемъ!
Но пусть, какъ мученикъ, сквозь пламень
Прошелъ ты, полный чистоты,
Остановись, поднявши камень
На жертву зла и нищеты!
Корою грубою закрытый,
Быть-можетъ, въ грязной нищетѣ
Добра зародышъ неразвитый
Горитъ, какъ свѣчка въ темнотѣ!
Быть-можетъ, жертвѣ заблужденья
Доступны рѣдкія мгновенья,
Когда казнитъ она свой вѣкъ
И плачетъ, сердце надрывая,
Какъ плакалъ передъ дверью рая
Впервые падшій человѣкъ!

IV.

Еще ребенкомъ, нестѣсненный
Въ привычкахъ жизни обыденной,
Лукичъ бездѣлье полюбилъ.
Своимъ Карпушкой занятъ былъ
Торгашъ, отецъ его, немного,
Хоть и твердилъ сынишкѣ строго:
«А вотъ, Господь дастъ, доживемъ,
Мы поглядимъ, какимъ добромъ

Воздашь отцу за попеченье.
Тутъ можно человѣкомъ быть:
Съизмала началось ученье —
Псалтырь и все... тутъ можно жить!
Я и читать вотъ не учился,
Да вышелъ въ люди: сытъ, обутъ...»
И подъ хмѣлькомъ всегда бранился:
«Ты, дескать, баловень! ты плутъ!...»
И сына за вихоръ поймаетъ,
Такъ, ни за что... «Ну, вотъ, молъ, знай!»
Деретъ деретъ, — до слезъ таскаетъ,
И молвитъ: «Ну, ступай, играй!»
А мать свое хозяйство знала,
Въ печи дрова со счетомъ жгла,
Горшки, да чашки берегла,
И ей заботы было мало,
Когда зимой по цѣлымъ днямъ,
Забросивъ книжку и указку,
Сынокъ катался по горамъ.
Раздолье!... легкія салазки
Со скрипомъ по снѣгу летятъ,
На нихъ бубенчики звенятъ.
«Какъ смѣлъ ты утромъ не являться?»
Ему учитель говорилъ.
— У насъ молебенъ въ домѣ былъ,
Мнѣ батюшка велѣлъ остаться. —
«Ты до обѣда гдѣ ходилъ?
Кричалъ отецъ: часъ цѣлый ждали».
— Учитель не пускалъ домой:
Зады сидѣли повторяли...—
Бывало, лѣтнею порой,
Тайкомъ залѣзетъ въ садъ чужой,
Румяныхъ яблокъ наворуетъ,
Тащитъ ихъ къ матери. «Гдѣ взялъ?»

— А это мнѣ Сенютка далъ,
Вотъ ѣшь! — И мать его цѣлуетъ:
Поди, молъ, родила сынка,
Не съѣсть безъ матери куска!
Порой грачей въ гнѣздѣ поймаетъ:
«Эй, Сенька! у меня грачи!
Давай мѣнять на калачи!»
— Не надо! — Сенька отвѣчаетъ.
«Ну и не надо... вотъ имъ! вотъ!»
И головы грачамъ свернетъ,
Парнишку больно оттаскаетъ
И прибѣжитъ домой, реветъ.
«О чемъ ты?» мать въ испугѣ спроситъ.
— Да вотъ Сенютка, сынъ голоситъ:
Моихъ грачей закинулъ въ ровъ
И надавалъ мнѣ тумаковъ.—

Карпушка на ноги поднялся
И все безъ дѣла оставался,
Покамѣсть вздумалось отцу
Въ науку мудрую къ купцу
Его отдать. Тутъ всѣ разсчеты —
Торговыхъ плутней извороты
Онъ изучилъ, и кошелекъ
Казной хозяйскою, какъ могъ,
Наполнилъ. Годы шли. Скончался
Его отецъ; угасла мать.
Невѣсту долго-ли сыскать?
И сынъ женился. Распрощался
Съ купцомъ; заторговалъ мукой;
И какъ по маслу, годъ-другой,
Все шло. Но вдругъ за пень задѣло:
Тутъ неудача, тамъ сплошалъ...
Спустилъ, какъ воду, капиталъ

И запилъ: горе одолѣло!
Искать мѣстечка — стыдъ большой;
Искать рѣшился — отказали.
А ремеслу не обучали;
Подумалъ — и махнулъ рукой:
— «Тьфу, чортъ возьми! да что за горе!
Пойду на рынокъ по утру,
Такъ вотъ и деньги! Рынокъ — море!
Тамъ рыба есть, умѣй ловить,
Достанетъ какъ нибудь прожить!»
И съ той поры, лѣтъ тридцать сряду,
Онъ всякой дрянью промышлялъ,
И Лукича весь городъ зналъ
По разнымъ плутнямъ, по наряду,
По вѣчной худобѣ сапогъ
И по загару смуглыхъ щекъ.

V.

Флагъ поднятъ. Ярмарка открыта.
Народомъ площадь вся покрыта.
На море пестрое головъ
Громада бѣлая домовъ
Глядитъ стеклянными очами;
Недвижная, затоплена
Вся солнца золотомъ она.
Людъ Божій движется волнами...
И кички съ острыми углами,
Подолы красные рубахъ,
На черныхъ шляпахъ позументы,
И вѣтромъ въ дѣвичьихъ косахъ
Едва колеблемыя ленты —
Вся деревенская краса

Вотъ такъ и мечется въ глаза!
Изъ лавокъ, хитрая приманка,
Высматриваютъ кушаки,
И разноцвѣтные платки,
И разноцвѣтная серпянка.
Тутъ груды чашекъ и горшковъ,
Корчагъ, боченковъ, кувшиновъ;
Тамъ — лыки, ведра и ушаты,
Лотки, подойники, лопаты,
Колеса... «Гдѣ? Какая дрянь?
Ты вотъ на ступицу-то глянь!»
Торгашъ плечистый повторяетъ
И бойко колесомъ вертитъ.
А парень крендель доѣдаетъ,
— Сложи полтину, говоритъ:
Возьму и дегтю, вотъ мазницы...—
«Нѣтъ, врешь! отдай за рукавицы!
Ты гаманокъ-то свой не прячь!»
Кричитъ на лѣво бородачъ.
Здѣсь давка: спорятъ съ мужиками
За клячу пѣгую купцы,
И *Лазаря* поютъ слѣпцы,
Сбирая мѣдными грошами
Дань съ сострадательныхъ зѣвакъ.
Набитъ-биткомъ толпой гулякъ
Пріютъ разгула и кручины,
Подъ кровлею изъ парусины.
«Охъ, православные, я пьянъ!»
Въ бумажномъ колпакѣ и блесткахъ,
Кривляясь съ бубномъ на подмосткахъ,
Народъ дурачитъ шарлатанъ
И корчитъ рожу.... «Какъ обманъ!»
Повертывая головою,
Цыганъ проносится съ божбою:

«Коню не двадцать лѣтъ, а пять.
Жены, дѣтей мнѣ не видать!»
Веселый говоръ, крикъ торговли,
Пискъ дудокъ, пѣсни мужичковъ
И ранній звонъ колоколовъ —
Все въ гулъ слилось. Межъ тѣмъ оглобли
Приподнялись поверхъ возовъ,
Какъ лѣсъ безъ вѣтокъ и листовъ.

Лукичъ на ярмаркѣ съ разсвѣта,
Успѣлъ ужъ выпить, закусить,
Купить два старыхъ пистолета
И съ барышемъ кому-то сбыть.
Теперь онъ съ бабою хлопочетъ,
Руками уперся въ бока,
Лицо горитъ, чуть не соскочетъ
Картузъ съ затылка, — рѣчь бойка.
«Ты вотъ что, умная молодка,
По сторонамъ-то не смотри,
Твой холстъ, къ примѣру, не находка....
Почемъ аршинъ-то? говори».
— По гривнѣ я тебѣ сказала;
Вонъ и другіе такъ берутъ. —
«Не ври! куда ты указала!
Тамъ по три гроша отдаютъ!»
— И, що-ты! аль я одурѣла!
Поди-ко цѣну объявилъ!
Купецъ четыре мнѣ сулилъ,
Да я отдать не захотѣла....
Вонъ онъ стоитъ.... —

«Ха, ха! ну, такъ!
Отдай! и ты не догадалась!
Эхъ, дура! съ кулакомъ связалась!

Вѣдь, онъ обмѣряетъ! кулакъ!
А я на совѣсть покупаю...
Ей, голова, почемъ пенька?»
Остановивши мужика,
Онъ закричалъ.

— Спасибо! знаю!... —
«Должно нашъ братъ училъ тебя!»
Лукичъ подумалъ про себя.
И снова съ бабою заспорилъ,
Голубушкою называлъ,
Разъ десять къ чорту посылалъ,
И на послѣдокъ урезонилъ.
Изъ-подъ полы аршинъ досталъ,
Разъ!... разъ!... и смѣрена холстина.
«Гляди вотъ: двадцать три аршина».
—Охъ-ма! тутъ двадцать семь какъ-разъ! —
«Что, у тебя иль нѣту глазъ?
Аршинъ казенный, понимаешь!
Вотъ нà.... не видишь, два клейма!»
— Да какъ-же такъ? —

«Не довѣряешь?»
— Я дома мѣрила сама. —
«Тьфу! провались ты! я съумѣю
Безъ краденой холстины жить!
Глаза что-ль ею мнѣ накрыть?
Такъ я, къ примѣру, крестъ имѣю»!
И кошелекъ онъ развязалъ,
На гривну бабу обсчиталъ
И торопливо отвернулся:
Прощай, молъ, вѣрно!... недосугъ!
Пошелъ-было въ толпу — и вдругъ
Съ помѣщикомъ въ очкахъ столкнулся.

«Мое почтенье, Климъ Кузмичъ!
Не купите-ли, сударь, бричку?
Отличный сортъ!»

— Ба, ба! Лукичъ!
Ты не забылъ свою привычку —
Прислуживаешь, братецъ, всѣмъ? —
«Что дѣлать, сами посудите,
Я тоже хлѣбъ, къ примѣру, ѣмъ...
А бричка дешева-съ! купите!»
— Нѣтъ, я на бричку не купецъ.
Не попадется-ль жеребецъ?
Вотъ не найду никакъ, мученье!
А нуженъ къ пристяжнымъ подъ шерсть—
Караковый. —

«Есть, сударь, есть!
Рысакъ! А бѣгъ — мое почтенье!»
И онъ прищелкнулъ языкомъ:
«Да-съ! одолжу, молъ, рысакомъ!»
— Ты плутъ естественный, я знаю;
Смотри, Лукичъ, не обмани! —
«Ну вотъ-съ, помилуйте! ни-ни!
Я васъ съ другими не сравняю.
Тутъ... Вамъ Скобѣевъ незнакомъ?»
— Нисколько. —

«Онъ, сударь, кругомъ
Въ долгахъ: весь въ карты проигрался,
Теперь рысакъ одинъ остался....
Ну, конь! Глазами, ваша честь,
Вотъ такъ, къ примѣру, хочетъ съѣсть!
Чортъ знаетъ! просто заглядѣнье!»
— Да правда-ль? —

«Не далеко домъ,
Коли угодно завернемъ,
Посмотримъ».

— Сдѣлай одолженье!
А помнишь ли, купилъ ты мнѣ
Собаку какъ-то по веснѣ? —
«Плохенька развѣ?»

— Околѣла,
Не взялъ-бы чертъ знаетъ чего! —
«Охотиться не захотѣла....
Поможемъ, сударь, ничего,
Ахъ! тутъ вотъ есть у офицера
Собака.... кличку-то забылъ,
Вчера деньщикъ и говорилъ....
Ну, и животное, къ примѣру:
Брось въ воду гривенникъ — найдетъ!
Вотъ вамъ купить-бы».

— Радъ душою!
Но для чего-жъ онъ продаетъ? —
«Что дѣлать станете съ нуждою!
Наслѣдство дядя обѣщалъ,
А при смерти не завѣщалъ,
Ѣсть нечего.... семья большая....»
— А! вотъ что! баринъ отвѣчалъ
И, гибкой тросточкой играя,
Проглядывалъ по сторонамъ
И напѣвалъ: «тири-та-рамъ...»

VI.

«Вотъ-съ двухъ-этажный, съ мезониномъ...»
Лукичъ помѣщику сказалъ
И домъ Скобѣева, аршиномъ
Махнувъ на право, показалъ.
«Эй, кучеръ! соня!»

Кучеръ плотный,
Безсмысленно разинувъ ротъ,
Дремалъ на камнѣ у воротъ.
«Иль ночь-то не спалъ, беззаботный?»
Лукичъ у кучера спросилъ.
Тотъ вздрогнулъ и глаза открылъ,
Досталъ тавлинку изъ кармана
И сильно въ ноздри потянулъ.
«Гдѣ баринъ?»

— Ась? А.... Чхи! Татьяна
Мнѣ говорила.... чхи!... пьетъ чай.—
«Потише ротъ-то разѣвай!
Вишь, зачихалъ. Эхъ, ты, пріятель!
На рысака вотъ покупатель...»
— Ну, что-же? стало показать?—
«Вѣдь, не заочно покупать».
—А баринъ? —

«Выводи, онъ знаетъ».
И кучеръ скрылся. «Климъ Кузьмичъ!
Сказалъ въ полголоса Лукичъ:
Снаровка дѣлу не мѣшаетъ —
Ему на водку надо дать....»
— Ну, дураку-то! —

«Какъ узнать!
Бываетъ и дуракъ годится.
Онъ, рыжій чортъ, не постыдится
И господину понавретъ,
Что нашъ-де конь намъ не подходитъ
И кормъ-де въ прокъ ему нейдетъ.
Ей-Богу-съ! Этотъ хамскій родъ
Господъ частенько за носъ водитъ!»
Помѣщикъ смѣхомъ отвѣчалъ
И два четвертака досталъ.
Лукичъ въ конюшню торопливо
Вошелъ и молвилъ: «живо! живо!»
Въ карманъ свой деньги опустилъ
И кнутъ у кучера спросилъ.
—Вонъ на стѣнѣ... не тутъ... правѣе,
Статья-то, слышь, не подойдетъ:
Вѣдь, конь съ запаломъ—зареветъ.—
«Ты не крути, держи умнѣе.
А ну-ка, дорогой рысакъ,
Подставь бока... Вотъ такъ! Вотъ такъ!
Прр! прр! На дворъ его скорѣе!...»

И бѣдный конь черезъ порогъ
Вдругъ сдѣлалъ бѣшеный скачокъ,
Глазами дико покосился
И началъ землю рыть ногой.
Лукичъ, смѣясь, посторонился —
Вишь, дескать, бойкой сталъ какой.
Помѣщикъ подошелъ. Рукою
Коня по шеѣ потрепалъ
И съ лоскомъ гривою густою
Полюбовался. Холку взялъ,
Поправилъ на бокъ, осторожно
Ощупалъ ноги, мышки, грудь,

И молвилъ: «надобно взглянуть
На зубы.» — Очепно возможно,
Кудрявый кучеръ отвѣчалъ
И зубы рысаку разжалъ.
«Э! Конь-то молодой! три года...
Лишь сталъ окраины ронять...
А ну, нельзя ли пробѣжать?
Стой! Стой! Да, не дурна порода!»
— А бѣгъ-то, бѣгъ-то, Климъ Кузмичъ!
А шея! говорилъ Лукичъ:
Позвольте-съ, вотъ и самъ хозяинъ. —

Хозяинъ былъ румяный баринъ,
Съ усами, съ трубкою въ рукѣ,
Въ фуражкѣ, въ черномъ сюртукѣ,
Со знакомъ службы безпорочной,
Обритъ отлично, сложенъ прочно,
Взглядъ строгъ, на выкатѣ глаза
И подъ гребенку волоса.

«Скобѣевъ, сударь. Честь имѣю...
А вы-съ? коли спросить я смѣю...»
Онъ покупателю сказалъ.

— Долбинъ, помѣщикъ. Я узналъ,
Что рысака вы продаете... —
«Такъ точно».

— Дорого-ль возьмете? —
«Позвольте въ домъ васъ попросить».
— Зачѣмъ-же? можно тутъ рѣшить. —
«Четыреста. Коню три года...»
— Я видѣлъ. А чьего завода? —
«Орловой».

— Дорогъ-съ. Не дамъ.
А вотъ за триста по рукамъ. —

«Я не торгашъ, предупреждаю.
Три съ половиною даютъ,
Придти хотѣли — и придутъ».
Все вретъ, Лукичъ подумалъ: знаю...
И молвилъ: «я и приводилъ».
— Ну! ну! Скобѣевъ перебилъ.
«Я не обидѣлъ васъ словами;
Что-жъ! наше дѣло сторона.
Не дорогая, молъ, цѣна,
Я вотъ что...» и старикъ руками
Развелъ.

Хозяинъ былъ упрямъ,
И плохо подвигалась сдѣлка.
«Ударьте, сударь, по рукамъ!
Лукичъ, какъ бѣсъ, шепталъ украдкой
Помѣщику: вѣдь дѣло гадко!
Скобѣевъ спятится вотъ-вотъ...
Кончайте! сотня не разсчетъ!»

Долбинъ стоялъ въ недоумѣньи,
Поглядывалъ на рысака,
Картина-конь! на старика, —
Тотъ весь дрожалъ отъ нетерпѣнья:
Усами шевелилъ, мигалъ,
Къ карману руку прикладалъ...
Не прозѣвай, молъ! Что́ ты смотришь?
Покаешься, да не воротишь,
Мнѣ что̀! я не желаю зла...
И сдѣлка кончена была.

Кому не святъ обычай русской!
И вотъ за водкой и закуской
Скобѣевъ и Долбинъ сидятъ.
Червонцы на столѣ звенятъ;
Лицо хозяина сіяетъ;
Онъ залпомъ рюмку выпиваетъ,
Остатки въ потолокъ — вотъ такъ!
Дескать, попрыгивай, рысакъ.
Долбинъ поморщился немного.
Но тоже выпилъ. У порога
Лукичъ почтительно стоялъ
И очереди ожидалъ;
Хватилъ и молвилъ: «захромаю
Съ одной-съ...»

Скобѣевъ не слыхалъ;
Бесѣду съ гостемъ продолжалъ:
«Такъ, вотъ что, Климъ Кузьмичъ! я знаю
Имѣнье ваше... проѣзжалъ...
Земли довольно...»

— Рукъ не много!
Душъ тридцать. Впрочемъ, не бѣда:
На мѣсячинѣ всѣ. —

«Ахъ, да!
Мысль не дурна».

— Но надо строго
Слѣдить. Внимательность нужна. —
«Лѣнятся?»

— Ужасъ! Разоряютъ!
Заставишь сѣять, сѣмена

За голенища засыпаютъ,
Порою въ землю зарываютъ! —
«Неужто?»

— Просто, нѣтъ души!
Хоть колъ на головѣ теши,
Не убѣдишь!... Я разъ гуляю...
Гляжу—нырнулъ мальчишка въ рожь...
Э! погоди, молъ! не уйдешь!
И что-же сударь открываю? —
«Ну-съ? —

— Онъ колосья воровалъ!
Шапченку верхомъ ихъ набралъ!
На что́, молъ? Хлопаетъ глазами
Да хнычетъ. —

«Этакой развратъ!
Ужасно! и отцы молчатъ?»
— Нашли тутъ! научаютъ сами...
Не наѣдятся, чертъ возьми!
Что хочешь, какъ ихъ не корми! —

«Вотъ саранча!»

— Да-съ! наказанье!
Вы какъ? на службѣ? —

«Да... служилъ...
Въ коммисіи подъ лямкой былъ».
— Такъ... Вышли? —

«Родилось желанье
Окончить, знаете, свой вѣкъ

Покойно: грѣшный человѣкъ, —
Усталъ трудиться».

— Охъ, Создатель!
Лукичъ подумалъ: вотъ и вѣрь!
Не скажетъ, вѣдь, за что̀ теперь
Онъ подъ судомъ... хорошъ пріятель!
Давно-ль деревню-то купилъ?
А говоритъ — подъ лямкой былъ. —

Помѣщикъ всталъ и распростился.
Онъ къ воротамъ, — Лукичъ во слѣдъ.
«За трудъ, сударь», и побожился:
Коню-то, молъ, цѣны, вѣдь, нѣтъ.
— Вотъ два цѣлковыхъ. —

«Что вы-съ! мало!
Какъ можно! это курамъ смѣхъ!
Гм, время, значитъ, такъ пропало...»
— Ну, сколько же? —

«Да пять не грѣхъ».
Долбинъ заспорилъ.

«Воля ваша,
Хоть не давайте ничего!
Мы, стало, служимъ изъ того...
А все, къ примѣру, глупость наша:
Добра желаешь».

— Эхъ, какой!
Одинъ прибавлю. Да! постой!
На счетъ собаки... —

«Что-жь, извольте!
Оно,—вы скупы, да пойдемте:
Я не сердитъ, служить готовъ».
—Теперь я занятъ.—

«Мы съ двухъ словъ!»
—Нѣтъ, нѣтъ! до завтра. Срокъ не
долгъ.—
«Упустимъ: часъ въ торговлѣ дорогъ!»
—Пустое! Кучеръ! Эй! за мной!
Веди коня!—

«Ну, Богъ съ тобой!
Лукичъ подумалъ: заскупился.
Вотъ покупатель-то явился!
Вѣдь, съ виду смотритъ молодцомъ:
Очками, тростью щеголяетъ
И на спинѣ колпакъ съ махромъ,
Чертъ знаетъ для чего, таскаетъ:
А хорошенько разберешь —
Выходитъ такъ себѣ... какъ глина,
Что́ хочешь изъ нея сомнешь.
Эхъ, плачетъ по тебѣ дубина!
Добру съумѣла-бъ научить,
Да не кому дубиной бить!
Ни то муракъ... развѣсилъ уши!
Разинулъ ротъ, и вѣритъ чуши,
Скобѣевъ будто задолжалъ,
Все, значитъ, въ карты проигралъ.
Какъ разъ! Ему и проиграться!
Да онъ удавится за грошъ!»

—Эй, старый хрычъ! кого ты ждешь?
Пора въ-свояси убираться!

Съ крыльца Скобѣевъ забасилъ;
Лукичъ за козырекъ схватился,
Картузъ подъ мышку положилъ
И молвилъ: «ну, сударь, трудился!
Весь лобъ въ поту!»

«Платокъ возьми,
Утрись».

— Утремся. Я дѣтьми
За вашу клячу-то божился,
Не грѣхъ за хлопоты мнѣ взять.—
«Вишь, старый хрычъ, чѣмъ похвалился!
Я-бъ безъ тебя умѣлъ продать.
Взялъ съ одного, ну, знай и мѣру...
А много заплатилъ Долбинъ?»
— Съ него возьмешь! хоть-бы алтынъ,
Такая выжига, къ примѣру! —
«Все лжешь!»

— Бываетъ, что и лгу,
А передъ вами не могу:
Не хватитъ духу.—

«Это видно!...
Я-бъ далъ, нѣтъ мелочи въ дому...»
— Да не шутите, сударь, стыдно! —
«Не забываться, ротъ зажму!»
— Благодаримъ: не вы ли сами
Просили вашу клячу сбыть? —
«Взялъ съ одного, ты съ барышами —
И полно!..»

— Что и говорить!
Вотъ щедрость! Гм... мое почтенье!

Останься съ рюмкою вина...
Ну, дорогое угощенье! —
«Вишневка. Какъ? вѣдь, не дурна?»
— Хоть рубль-то дайте! —

«Чести много,
Пожалуй, на́ вотъ четвертакъ».
— Себѣ возьмите, коли такъ!
Эхъ баринъ! не боишься Бога! —
«Я говорилъ тебѣ — молчать!»
— Потише! можно испугать!...
Онъ четвертакъ, къ примѣру, вынулъ,
Вишь умникъ! дурака нашелъ...—
И свой картузъ Лукичъ надвинулъ.
Съ досады плюнулъ — и ушелъ.

Горятъ огни зори вечерней.
Въ туманѣ прячутся деревни,
И все темнѣй, темнѣй вдали.
За пашнями, изъ-подъ земли,
Выходитъ пламя полосами
И начинаетъ тутъ и тамъ
Краснѣть по темнымъ облакамъ,
По синевѣ надъ облаками,
И смотришь — неба сторона
Виситъ, въ огнѣ потоплена.
Сквозь сумракъ поле зеленѣетъ;
Угрюмо на краю небесъ
Насупился кудрявый лѣсъ,
Едва примѣтный онъ синѣетъ,
Какъ будто туча приплыла
И въ полѣ ночевать легла.
Соха на пашнѣ опочила,
Дорожка торная мертва,

Вдругъ началъ перепелъ: вва! вва!
И смолкъ.

Но пыль, какъ дымъ, покрыла
Весь городъ; такъ и ѣстъ глаза!
Дворянской улицы краса,
Поникли тополи печально,
Наводитъ грусть ихъ жалкій видъ;
На стеклахъ кое-гдѣ горитъ
Зори румяной лучъ прощальный,
Напоминая цвѣтъ лица
Полуживаго мертвеца.
Угрюмо смотритъ съ тротуара
Чугунныхъ пушекъ рядъ нѣмой,
Угрюмо ходитъ часовой
На каланчѣ, и вѣсть пожара —
И днемъ и ночью черный флагъ
Готовъ онъ вздернуть. Чтó ни шагъ —
Все вывѣски. Вотъ подъѣзжаетъ
Телѣга, вдругъ, какъ изъ земли,
Рука и палка выростаетъ,
Телѣга скрылася вдали.
Уже прохладенъ воздухъ сонный
И мѣсяцъ отраженъ рѣкой,
Но камень, солнцемъ раскаленный,
Доселѣ тепелъ подъ ногой.

Лукичъ въ свой домикъ возвращался.
Прищуривъ мутные глаза,
Онъ шелъ одинъ, безъ картуза,
И сильно въ стороны шатался,
И въ слухъ несвязно бормоталъ:
«А вамъ-то что? Вы что такое?
Вишь умники! ну, погулялъ!

Вѣдь, на свое, не на чужое!
Слышь, Климъ Кузьмичъ! каковъ рысакъ?
Плохонекъ? ну, впередъ наука!
На то, къ примѣру, въ морѣ щука,
Чтобъ не дремалъ карась.... да, такъ!
Ты вѣрилъ на слово, и ладно;
Выходитъ дѣло, ты и глупъ!
А мнѣ-то что̀? мнѣ ненакладно,
Мнѣ благо, что купецъ не скупъ.
Э! А собаку-то, пріятель!
Молчишь, сердитъ за рысака...
Да, ты теперь не покупатель,
И не нуждаюся пока.
Да гдѣ я? Что̀ за чертовщина!
Постой-ка, осмотрюсь кругомъ...
Я помню отъ угла мой домъ
Четвертый... экая причина!
Дай сосчитаю: вотъ одинъ,
Другой и третій... больше нѣту...
Тутъ пустошь и какой-то тынъ...
Да какъ-же прежде пустошь эту
Я здѣсь ни разу не видалъ?...
Тьфу, пропасть! ничего не знаю!
А! догадался! понимаю!
Не въ эту улицу попалъ».

VII.

Аринѣ сердце предвѣщало,
Что пьянъ и грозенъ мужъ придетъ;
Чуть раздавался скрипъ воротъ,
Въ знобъ и жаръ ее кидало.
Свѣча горѣла. За чулкомъ

Грустила Саша подъ окномъ.
Заботамъ чуждъ, какъ уголь черный,
Не унывалъ лишь котъ проворный:
Клубкомъ старушки на полу
Игралъ онъ весело въ углу.
«Иду!... раздался на крылечкѣ
Знакомый крикъ: огня подать!»
И Саша бросилася къ свѣчкѣ,
Отца готовая встрѣчать.

Дверь распахнулась, онъ явился:
Лобъ сморщенъ, дыбомъ волоса,
Дырявый галстухъ на бокъ сбился
И кровью налиты глаза.
«Безъ картуза!» всплеснувъ руками,
Старушка молвила.

— Молчать!
Я дамъ вамъ дружбу съ столярами!
Тсс!... смирно!... рта не раззѣвать!... —
«Постойте? Саша говорила:
Я васъ раздѣну».

— Раздѣвай!
Ну, да! и галстухъ.... все снимай!....
А ты о чемъ вчера грустила?—
«Такъ, скучно было».

Врешь! не такъ!
Ты думаешь, отецъ дуракъ...
Цѣлуй мнѣ руку!

Дочь стояла
Недвижно, только по лицу,

Сквозь блѣдность, краска выступала.
— Не стою?... А! поцѣловала!
Противно, значитъ... да! отцу!
Едва губами прислонилась! —
«Ну, началось!» сказала дочь
И отошла съ досадой прочь.
— Разуй меня! куда ты скрылась? —
Но Саша медлила.

— Идешь?...
Ну, ладно. Тише! что ты рвешь!
Не надо!

«Полно издѣваться!
Давайте!»

— Цыцъ! —

«Вѣдь, брошу!»

— Какъ?
Ну, брось!... ну, брось!... отецъ дуракъ.
Ну, что-жъ? не грѣхъ и посмѣяться...
А я заплачу... не въ первой...
Вотъ плачу... смѣйся! Богъ съ тобой! —
«Да лягъ! промолвила старушка:
Хоть тутъ — на лавкѣ. Вотъ подушка».
— Чего? учи-ко дочь свою!
А я вотъ пѣсню запою:
Лучина... —

«Полно, старичина!
Грѣшно! какая тамъ лучина!»
— Молчать! я хлѣба мало ѣлъ!
Вотъ это кто добыть умѣлъ? —
И серебро свое онъ вынулъ

И по полу его раскинулъ
«На что-жъ бросать-то?

— Стой, не тронь!
Не подбирай! туши огонь! —
«Да лягъ! потушимъ!»

— А! потушишь!
Украсть хотите? нѣтъ, постой! —
«Изъ-за чего ты насъ все крушишь?
Ну, пьянъ, и спалъ бы, Богъ съ тобой!»
— Кто пьянъ? — ты мужу такъ сказала?
Куда? не спрячешься! найду! —
«Оставьте, Саша умоляла:
Она ушла, ушла! въ саду.»
— Прочь отъ двери! Ты что пристала?
А кто тебѣ вотъ это сшилъ? —
И дочь онъ за рукавъ схватилъ.
— Ну! что-жъ, къ примѣру, замолчала? —
У Саши загорѣлся взоръ,
И все лицо, что́ коленкоръ,
Вдругъ побѣлѣло. «Не кричите!»
— Кто сшилъ? —

«Сама!»

— Вотъ разъ! вотъ два! —
И половина рукава
Упала на полъ.

«Рвите! рвите,
За то, что для себя и васъ
За дѣломъ не смыкаю глазъ!
За то, что руки вамъ цѣлую
И добываю хлѣбъ иглой,

Или, какъ нынче, въ ночь глухую,
Вотъ такъ терплю!... И вы родной!
И вы отецъ!»

Старикъ смутился,
Какъ ни былъ пьянъ; но спохватился
И плюнулъ дочери въ глаза.
И вѣрно-бъ грянула гроза,
Но Саша за отцомъ слѣдила:
Вмигъ отъ удара отскочила
Назадъ и бросилася вонъ.

Лукичъ въ сонъ крѣпкій погруженъ *).
Свѣча погасла. Все сидѣли
И мать и дочь въ саду густомъ,
И звѣзды радостнымъ огнемъ
Надъ головами ихъ горѣли.
Но грозно, въ синей вышинѣ,
Стояла туча въ сторонѣ,
Сверкала молнія порою —
И садъ изъ мрака выступалъ,
И вновь во мракѣ пропадалъ,
Старушка робкою рукою
Крестилась; вся освѣщена
На мигъ, и пробудясь отъ сна,
На вѣткѣ вздрагивала птичка,
А по дворамъ шла перекличка
У пѣтуховъ.

«Не спишь, дитя?
Старушка молвила, кряхтя:
Я что-то зябну... охъ! поди-ты,
Какъ грудь-то больно!»

*) См. „Примѣчанія“, стр. 6, № 11-й.

— Вотъ платокъ:
Покройтесь. —

«Что ты, мой дружокъ!
И будутъ у самой открыты
До свѣта плечи!»

— Мнѣ тепло. —
«Нѣтъ, нѣтъ! не надо! все прошло!»

Но дочь старушку убѣдила
И грудь и шею ей покрыла
Платкомъ. Сама, какъ часовой,
Бродила по травѣ сырой.
Прогулка грустная не грѣла
Ея продрогнувшаго тѣла.
Тутъ горе... горе впереди,
Теперь и прежде... и въ груди
Досада на отца кипѣла.
Потрясена, раздражена,
Вдыхала съ жадностью она
Холодный воздухъ, хоть и знала,
Что безъ того больной лежала
Не такъ давно. Теперь опять
Хотѣла слечь — и вновь не встать.

Въ саду зеленомъ блескъ и тѣни,
На солнцѣ искрится роса;
Веселыхъ птичекъ голоса
Перекликаются въ сирени;
Прохлада свѣжая давно
Плыветъ въ открытое окно.
Старушка стекла вытираетъ.
Подъ потолокъ пуская паръ,

Кипитъ нагрѣтый самоваръ,
И Саша чайникъ наливаетъ,
Сидитъ съ поникшей головой,
Подпертой бѣлою рукой.

И вотъ Лукичъ отъ мухъ проснулся,
Зѣвнулъ, лѣниво потянулся,
Взглянулъ на столъ — тамъ серебро;
Повѣрилъ — цѣло, ну, добро!
Онъ вспоминалъ, хоть и неясно,
Что пошумѣлъ вчера напрасно;
Ну, молъ, бѣда не велика,
Не тронь, уважутъ старика.

«Охъ, голова болитъ, старуха!
А что вчера я смирно легъ?»
— Чуть не прибилъ насъ. Видитъ Богъ,
За что̀. Такая-то сокруха!
И понаслушались всего...—
«Гм, жаль! не помню ничего!»
— Въ саду сидѣли до̀ разсвѣта...
Грѣшно, Лукичъ! Въ мои-ли лѣта
Такъ жить! —

«Ну, ну! не поминай!
Ты пьянаго не раздражай.
Давай-ко поскорѣе чаю,
Быть-можетъ, голова... того...
А я жду сваху».

— Отъ кого? —
«Про это я, выходитъ, знаю:
Что̀ думалъ, сбудется авось».
— Смотри, тужить-бы не пришлось...
И-ихъ, старикъ! —

«И-ихъ, старуха!
Не забывается сосѣдъ!
Вѣдь, я сказалъ, къ примѣру: нѣтъ!
Ну, плеть не перебьетъ обуха!»
— Мнѣ замужъ, батюшка, нейдти, —
Чуть слышно Саша отвѣчала,
И съ чаемъ чашка задрожала
Въ ея рукѣ.

«Ты безъ пути *)
Того... не завирайся много!»
— Я правду говорю.—

«Ну, врешь!
Велю — за пастуха пойдешь».
И, поглядѣвъ на Сашу строго,
Отецъ прибавилъ: «да, велю,
И баста! споровъ не люблю».
— Конечно такъ. Я кукла, стало,
Иль тряпка... и куда попало
Меня ни бросить, все равно,
Подъ лавку или за окно.—
«Да что, къ примѣру, ты въ умѣ-ли?
Ты съ кѣмъ изволишь разсуждать?»
— Вотъ если-бъ эту чашку взять
Разбить, вы вѣрно-бъ пожалѣли! —
«Ну что-жъ изъ этого?»

— Да такъ,
Вы сами знаете — пустякъ:
Вамъ чашка дочери дороже.—
«Смекаю. Ты-то за кого
Меня сочла? за куклу тоже?
Да ты отъ взгляда моего,

*) См. „Примѣчанія“, стр. 7, № 12-й.

Не то что словъ, должна дрожать!
А ты... ты хлѣбомъ попрекать
Отцу! Ты что́ вчера сказала?
Для васъ дескать моя игла...»
— Я виновата, попрекала.
Да если-бъ камнемъ я была,
Тогда-бъ промолвила! Вѣдь, горько!
Иной собакѣ лучше жить,
Чѣмъ мнѣ: ее не станутъ бить,
Гнать изъ конуры...—

«Дальше!»

— Только.
Что-жъ мало этого?—

«Молчать!
И слышишь ты, не поминать
Сосѣда! моего порога
Не смѣй онъ знать! Вишь, рѣчь нашла!
Благодари, къ примѣру, Бога,
Что у тебя коса цѣла!»

Старушка вышла изъ терпѣнья.
Въ душѣ за дочь оскорблена,
Всѣ слезы, годы униженья,
Все горе старое она
Припомнила и поблѣднѣла,
И мужу высказать хотѣла,
Какой, молъ, есть ты человѣкъ?
Крушилъ жену свою весь вѣкъ
И крушишь дочь. Побои, пьянство...
Вѣдь, это мука, молъ! тиранство...
Ты въ этомъ Богу дашь отчетъ!..

И не рѣшилась. Нѣтъ, нейдетъ:
Вспылитъ. Немного помолчала
И грустно дочери сказала:
«Пей Саша, чай-то: онъ простылъ.
Что-жъ плакать?»

— Гм! ей чай немилъ.
Сгубилъ сосѣдъ твою голубку,
Заплачь и ты, — оно подъ стать! —
Промолвилъ мужъ и началъ трубку
Объ уголъ печки выбивать.

Межъ тѣмъ въ калиткѣ обветшалой
Кольцо желѣзное стучало.
Лукичъ прислушался: «Стучатъ,
Подъ чай, къ примѣру, наровятъ...»
Въ окно Арина поглядѣла:
— Старуха чья-то. Охъ, Лукичъ,
Не сваха ли? кому опричь? —
«Чтожь! примемъ». Саша поблѣднѣла.
Отецъ на кухню указалъ
И Сашѣ выйдти приказалъ.
Она не трогалася съ мѣста.
«Опять упрямство! слышь, невѣста,
За косу выведу, гляди!»
— Иди, душа моя, иди!
Сказала мать: охъ мука, мука! —
«Ну, ну! не мука, а наука...
Васъ плетью-бъ нужно обучать».
И онъ сюртукъ сталъ надѣвать.

———— —

VIII.

Дверь заскрипѣла, отворилась —
И гостья, кашляя вошла,
Святымъ иконамъ помолилась
И чуть не въ поясъ отдала
Поклонъ хозяину съ хозяйкой.
На гостьѣ былъ нарядъ простой:
Покрытый синею китайкой
Шушунъ, кокошникъ золотой
И сарафанъ. Взглядъ ястребиный,
Лукавый. На лицѣ морщины,
И тонкій носъ загнутъ крючкомъ.

«Челомъ вамъ, золотые, бьемъ!
Здоровы ли, мои родные?
Ну, жаръ! насилу доплелась!
Да пыль отъ вѣтра поднялась,—
Измучилася, золотые!»
— Садись-ко, матушка, садись,
Сказалъ Лукичъ: вотъ чашку чаю...—
«Давай, родной. Уста спеклись.
Шестой десятокъ доживаю,
Насилу бродишь. Ну, и жаръ!»
—Жена! долей-ко самоваръ.
Привѣтимъ гостью дорогую
Чѣмъ Богъ послалъ.—

«И-и родной!
Привѣть хоть лаской-то одной.
Да потрудись на рѣчь простую
Мнѣ, старой бабѣ, отвѣчать».

—Изволь. Послушаемъ, въ чемъ дѣло.—
«Кажись, вамъ времячко приспѣло
Живой товаръ свой съ рукъ сбывать;
Есть у меня купецъ; не знаю,
Хорошъ ли будетъ онъ для васъ».
—А! понимаю, понимаю!
Товаръ, къ примѣру, есть у насъ;
Да кто купецъ-то?—

«Таракановъ,
Тарасъ Петровичъ».

— Это онъ!
Лукичъ подумалъ: въ руку сонъ!
Его и ждалъ. —

«Пять балагановъ
Своихъ на рынкѣ... голова!»
— Прибавила. И всѣхъ-то два.—
«И, нѣтъ!... Красавецъ! и бровями,
И темнорусыми кудрями,—
Всѣмъ взялъ! хоть въ рамку, золотой!»
—Намъ красотой не любоваться!
А былъ бы съ умной головой,
Умѣлъ-бы дѣломъ заниматься—
Вотъ это лучше красоты!—
«Охъ, батюшка, ума палата!
А домъ-атъ—поглядѣлъ бы ты,
Ужъ нечего!... не наша хата!
Пять комнатъ, судырь мой,—просторъ!
На окнахъ бѣлыя гардины,
Въ простѣнкахъ разныя картины,
А дворъ-то, что́ это за дворъ!
Кругомъ дубовые амбары,

И лѣсъ старинный,— прочный лѣсъ!
Въ одномъ углу большой навѣсъ,
Въ амбарахъ всякіе товары....
Что́, золотой, и говорить:
Добра возами не свозить!»
— Ну, тутъ прикрасы не у мѣста;
Ты о приданомъ рѣчь веди.—
«Рѣчь о приданомъ впереди.
Для жениха нужна невѣста.
Ее онъ видѣлъ какъ-то разъ,
Да на̀-вотъ! кругомъ закружился!
И хлѣба, золотой, лишился,
И ночью не смыкаетъ глазъ —
Все ею грезитъ. Да и мнѣ-то
Совсѣмъ покою не даетъ.
Тутъ мочи нѣтъ, а онъ придетъ,
Все умоляетъ: какъ-бы это
Сходила ты къ невѣстѣ въ домъ
Поговорить съ ея отцомъ?»
— Ну, да однако, что-же надо?—
«Такъ что-нибудь, хоть для обряда:
Четыре головныхъ платка,
Ну-съ... три-четыре перстенька,
Три нитки жемчугу на шею,
(Ужъ много я просить не смѣю),
Салопъ на бѣличьемъ мѣху,
Сукна на чуйку жениху,
Три шали, восемь платьевъ новыхъ,
Кровать, комодъ и самоваръ,
Ну-съ... чайныхъ чашекъ пять-шесть паръ
И — денегъ, сударь, сто цѣлковыхъ...»
— Выходитъ дѣло, не взыщи!
Съ приданымъ этакимъ, гдѣ знаешь,
Иную дѣвушку ищи.—

«И, золотой, ты обижаешь!
Ты покажи товаръ купцу;
Нельзя: такое заведенье!
Не съ разу торгъ, не вдругъ рѣшенье,
Сказать: здорово и — къ вѣнцу».
— Ну да! вотъ эта рѣчь умнѣе!
Смотрушки завтра. Попозднѣе
Прошу покорно вечеркомъ
Пожаловать къ намъ съ женихомъ.—
«Всенепремѣнно. Ваши гости.
Повѣришь ли, что я скажу?
Состарѣлись мои всѣ кости,
Лѣтъ тридцать свахою хожу,
И счетъ-то свадьбамъ потеряла,
А и доселѣ, мой родной,
Всѣ, для кого я хлопотала,
Осталися довольны мной.
Кому какой таланъ отъ Бога!
За то, куда, вѣдь, не придешь —
И ласку, и хлѣбъ-соль найдешь....
Однимъ нехорошо немного:
Иные выжиги за трудъ
По уговору не даютъ.
Ну, имъ и достается горько:
Начнешь по городу звонить,
То тѣмъ, то семъ ихъ обносить —
И свадьба врозь! да мнѣ-то только
Отъ этихъ выжигъ барыша!»
— Охъ, свашенька, моя душа,
Хозяйка, сморщившись, сказала:
Не грѣхъ-ли отъ такихъ затѣй?—
«И, нѣтъ, родная! я слыхала
(Старшой мой сынъ-то грамотѣй,
Надъ Библіей и засыпаетъ):

За око — око! вотъ, вѣдь, что!
Коли тебя обидѣлъ кто,
Не кланяйся: не подобаетъ».

Лукичъ любилъ потолковать.
И у него вплоть до обѣда
Со свахой длилася бесѣда.
«Дочь надо замужъ выдавать
Умно, дескать. Смотри тутъ въ оба!
Тутъ думу думай не шутя:
Не шашка — кровное дитя,
Дашь промахъ разъ, — бѣда до гроба!»
Но сваха не была плоха.
— Да, да! разсказывай, молъ, сказки! —
И не жалѣла яркой краски,
Рисуя бойко жениха.

IX.

Покамѣстъ гостья толковала, *)
Невольно Саша ей внимала,
И, ѣдкой горечи полна,
Рукою трепетной она
Взялась за дверь; была готова
Ее нежданно отворить,
Явиться предъ отцомъ, и снова
Отказъ отъ брака повторить.
Старикъ вспылитъ. Въ пылу досады
Не будетъ отъ него пощады...
Что-жъ! такъ и быть! Но Боже! мать
Грозой семейной испугать,
Заставить плакать... развѣ мало
Она слезъ горькихъ пролила?

*) См. „Примѣчанія“, стр. 8, № 13-й.

У Саши силы не достало,
И глупымъ бредомъ назвала
Порывъ свой дѣвушка.

Какъ сладко
Въ саду малиновка поетъ!
И какъ не пѣть! въ глуши живетъ,
Въ кустѣ гнѣздо свила украдкой,
Въ гнѣздѣ малютки... любо ей!
Міръ Божій свѣтелъ. Надъ землею
Раздолье утренней порою
Купаться въ золотѣ лучей.

Весна! весна! души отрада!
Блеститъ на солнцѣ зелень сада,
Въ избыткѣ жизни каждый листъ
Трепещетъ. Въ чащѣ пискъ и свистъ,
Въ травѣ жужжанье. Дятелъ цѣпкій,
По ивѣ ползая, стучитъ;
Вокругъ его сухія вѣтки
Торчатъ, какъ пальцы. Грачъ глядитъ
Лукаво съ вѣковой березы;
Тамъ крикъ галчатъ на днѣ дупла,
Тутъ въ чашечку душистой розы
Вползаетъ желтая пчела
За медомъ. Вѣтерка дыханье
Едва касается травы,
Надъ головою дня сіянье
И ширь бездонной синевы.

Но вотъ и Саша. Торопливо
Къ плетню сосѣдскому идетъ,
Сама рукой нетерпѣливой
То сломитъ вѣтвь, то отведетъ.

Порою яркими лучами
Ей солнце брызнетъ на плечо,
Пригрѣетъ щеку горячо,
Межъ тѣмъ неслышными шагами
За нею тѣнь ея спѣшитъ.
Плетень все блише. Онъ увитъ
Весь хмѣлемъ. Дѣвушка подходитъ,
Кудрявый хмѣль рукой отводитъ
И на сосѣдскій дворь глядитъ.
Онъ пустъ. Зеленая крапива
На зноѣ нѣжится лѣниво,
Да у крыльца кусокъ стекла
Сверкаетъ. Даромъ ты пришла,
Бѣдняжка! не видать сосѣда!
И ждать нельзя: пора обѣда, —
Старушка дочь свою зоветъ:
Скорѣй! скорѣй! отецъ, молъ, ждетъ!

Лукичъ былъ веселъ и за щами
Шутилъ надъ Сашей и женой:
«Вотъ, дескать, скоро пиръ честной...
Готовьтесь! погуляемъ съ вами!»
Дочь шутокъ вынесть не могла
И за водой съ двора ушла.

Полдневный воздухъ жаромъ пышетъ;
Съ открытой грудью спитъ, не дышетъ
Въ постели свѣтлая рѣка.
На желтой полосѣ песка
Бѣлѣетъ камень. Одиноко
За бѣлымъ камнемъ грачъ сидитъ,
Крыло повисло, клювъ раскрытъ.
Покрытый влажною осокой,
Къ крутому берегу приросъ

Недвижной лодки черный носъ.
Вдали барахтаются смѣло
Мальчишки. Весело волнѣ
Ласкать ихъ молодое тѣло...
И видны головы однѣ,
Да руки крикуновъ. Толпою
Идутъ коровы къ водопою;
Усталый, щелкая кнутомъ,
Пастухъ тащится босикомъ,
Въ рубашкѣ.

Саша отдохнула
У камня... Тихо и жара...
Воды прозрачной два ведра
Съ краями вровень зачерпнула —
И оглянулась. «Гдѣ-жъ онъ былъ?»
Столяръ на встрѣчу ей спѣшилъ.

Сосѣдъ-столяръ высокъ и строенъ,
Не очень смуглъ, не слишкомъ бѣлъ,
Веселый взглядъ его спокоенъ
И простодушно твердъ и смѣлъ;
Въ обтяжку казакинъ изъ нанки,
Рубашка красная чиста;
Не въ тяготу ему рубанки
И не въ кручину бѣднота.

«Вотъ, Саша, встрѣча-то! здорово!
Эхъ, мѣсто дрянь! народъ вонъ есть...
Поцѣловалъ-бы... право слово!
Ну, жаль! глаза-бъ ему отвесть,
Да не умѣю».

— Горя много,
Не до того... —

«О чемъ грустить?
Что горе? въ горѣ Богъ помога;
Вѣкъ горевать, такъ что и жить!»
— Куда ходилъ? —

«Да тутъ скончался
Старикъ знакомый. Тамъ сиротъ!...
Нѣтъ гроба... голосьба идетъ...
Я приготовить обѣщался,
Теперь снялъ мѣрку. Жаль до слезъ!
Спасибо, есть готовый тесъ...
Ну, что отецъ?»

— Терпѣть устала!
Не въ мочь! — и Саша разсказала
О свахѣ.

«Эдакой старикъ!»
И головой столяръ поникъ,
Подумалъ и встряхнулъ кудрями.
«Все вздоръ! не надо унывать!
Повѣрь, все кончится словами...»
— Да, хорошо! легко сказать!
Защита гдѣ? Отецъ-то воленъ...
Смотрушки завтра. Онъ сказалъ,
Чтобъ ты двора его не зналъ. —
«Вотъ человѣкъ! упрямствомъ боленъ!
Вѣдь, за тобою у него
Не требую я ничего...
Я бѣденъ! этого боится?
Такъ мой топоръ не залежится;
Отнимется одна рука,
Вотъ есть другая... безъ куска
Сидѣть не станемъ...»

— Это знаетъ
Онъ самъ. —

«Такъ что жь и горевать!»
— Нѣтъ, Вася, сердце предвѣщаетъ,
Что намъ въ разлукѣ свѣковать! —
«Въ разлукѣ! Господи помилуй!»
Да развѣ твой отецъ палачъ?
Хоть за-живо ложись въ могилу, —
Онъ не дрогнетъ? Ну, рвись и плачь,
Проси, покуда станетъ силы,
Рѣчей и слезъ!»

— Все такъ, мой милый!
Все это было, и не разъ...
Ты знаешь, онъ каковъ у насъ?
Жаль мать, не то хоть утопиться:
Попрекъ, ругательство да споръ. —
«Ну, чтожь! теперь и согласиться?
Подставитъ шею подъ топоръ?...
Послушай: старику извѣстно,
Что я не плутъ и въ словѣ твердъ,
Ему навѣрно вотъ что лестно —
Женихъ богатъ... Лукичъ, вѣдь, гордъ!
Ну, и разсчетъ: онъ, молъ, надежа
Въ нуждѣ, то-есть... такъ помогу,
Мой другъ, и я. Ей-ей не лгу!
Хлѣбъ надобенъ? Возьми. Одежа —
Дамъ и одежу! пусть лежитъ
Хоть на печи, все будетъ сытъ!
Скажи ему».

— Онъ посмѣется...
А смѣхъ во зло меня введетъ...

Ты не повѣришь, — сердце рвется,
Когда онъ подъ хмѣлькомъ придетъ,
Да зашумитъ! Сама, вѣдь, знаю,
Что грубость — грѣхъ: не утерплю,
Забудусь. Послѣ проклинаю
Себя-же... Я его люблю,
Да что... не достаетъ терпѣнья! —
«Эхъ, руку-бъ далъ на отсѣченье,
Да не поможешь!... мой совѣтъ —
Поудержись: грубить не слѣдъ.
Что дѣлать? болѣе терпѣла,
Дождемся счастья...»

Но грустна
Стояла Саша. Думъ полна,
На воду тихую глядѣла
Глазами мутными она.
Лазурь небесъ тамъ отражалась:
Рѣка, свободна и свѣтла,
Ее привѣтливо, казалось,
Въ свои объятія звала.

X.

Мерцаютъ звѣзды. Городъ сонный
Какъ будто вымеръ, — такъ онъ тихъ!
Сквозь сумракъ камни мостовыхъ
Бѣлѣютъ смутно. Мѣсяцъ полный
Свободу далъ своимъ лучамъ:
По крышамъ лазятъ, по стѣнамъ;
Одинъ въ окно слезу подмѣтитъ;
Другой, какъ хитрый чародѣй,
Въ тюрьму проникнетъ безъ ключей

И цѣпь колодника освѣтитъ;
Неслышно церковь навѣститъ,
Окладъ иконъ посеребритъ;
Не зная страха и запрета,
Войдетъ въ алтарь, осмотритъ полъ,
Скорбящій ликъ Владыки свѣта —
И дерзко ляжетъ на престолъ.
Иль въ чащу сада проберется,
По темной зелени блеснетъ,
Росинку на листѣ найдетъ,
Росинка искрою зажжется.
Порой на улицѣ пустой
Безсонный сторожъ молча ходитъ
И въ доску бьетъ, и эхо вторитъ;
Тѣнь позади на мостовой
Махаетъ, какъ и онъ, рукой.
И снова тихо... Звѣздъ сіянье
Такъ чудно! Вдругъ въ лицо пахнетъ....
Что это? Вѣтерка дыханье,
Иль духа горняго полетъ?

Спитъ Божій людъ. Столяръ доселѣ
Не успокоился въ постели.
Лежитъ онъ подлѣ верстака,
Отдѣлкой гроба утомленный;
Подушка — локоть обнаженный;
Подъ локтемъ — жосткая доска.
Печально смотритъ мастерская;
Смолистый запахъ изливая,
Бѣлѣютъ стружки на полу,
Сосновый гробъ стоитъ въ углу,
Топоръ въ березовый отрубокъ
Воткнулся носомъ. На стѣнѣ
Чернѣетъ старый полушубокъ,

Пила, при трепетномъ огнѣ,
Блеститъ и меркнетъ. На скамейкѣ,
Въ платкѣ и желтой душегрѣйкѣ,
Семьи сварливая глава,
Сидитъ дородная вдова
И, молча, карты раскладаетъ:
Про сынинъ бракъ она гадаетъ.
Но сбивчивъ глупый ихъ отвѣтъ —
То выйдетъ — *да*, то выйдетъ — *нѣтъ*.
Вотъ примѣръ: *печаль дорога,*
Постель, больная, интересъ....
Да тутъ и навыкъ не помога,
Богъ знаетъ, — просто темный лѣсъ!
Межъ тѣмъ, съ гремушкою въ рученкѣ,
До вечера проспавшій днемъ,
Въ штанишкахъ, въ синей рубашенкѣ,
По стружкамъ скачетъ босикомъ
Ея сынишка краснощекой,
И православныхъ избъ жилецъ,
Извѣстный на Руси пѣвецъ,
Сверчокъ стрекочетъ одиноко
Подъ печью.

«Вотъ, сказала мать:
Вотъ пиковый король.... постылый:
Онъ твой злодѣй, мой Вася милый, —
Посмотришь, свадьбѣ не бывать,
Ни, ни! я прежде это знала:
Намедни, помнится, во снѣ
Все бисеръ да жемчугъ низала —
И доведется плакать мнѣ».

Сынъ улыбнулся беззаботно,
Не слишкомъ довѣряя снамъ,

Одной надеждѣ безотчетно
Онъ предавался: «Пусть упрямъ
Старикъ-сосѣдъ, все знаетъ Бога....
Ну, будетъ, вѣдомо, тревога:
Лукичъ браниться молодецъ,
Да все же дѣтищу отецъ,
Не камень... сжалится... но диво,
Что ноетъ сердце такъ тоскливо...»
И тяжело столяръ вздыхалъ,
Въ раздумьи кудри расправлялъ.

«Мнѣ то досадно, мать сказала:
Что Лукичу я уважала!
Давно-ль жена его у насъ
Брала утюгъ... дескать, на часъ,
Два дня держала, — я ни слова,
Я подѣлиться, молъ, готова
Съ сосѣдомъ! Сальную свѣчу
Взаемъ на красной горкѣ взяли
И до сихъ поръ не отдавали...
Ништо! покуда помолчу...
А если онъ насъ одурачитъ
Я за себя не поручусь,
Ни, ни! я такъ съ нимъ расплачусь,
Что любо!»

— Это ссора, значитъ...
Отвѣтилъ сынъ: бѣды-то нѣтъ,
Безъ шума дѣло обойдется. —
«Какъ свистнешь, такъ и отзовется.
Мнѣ эдакъ дорогъ твой сосѣдъ,
Что̀ вонъ немытая тряпица...
Ну, Саша, точно, не въ него:

Скромна, работать мастерица....»
— И недурна? —

«Да, ничего».
— А ну-ко, Ваня, плясовую! —
«Какую, братецъ? А? какую?»
Мальчишка весело спросилъ
И ножками засѣменилъ.
Столяръ запѣлъ:

Какъ у насъ во садочку,
Какъ у насъ во зеленомъ,
Люшиньки-люли!...

Вдова смѣялась
На пляску. Пѣсня продолжалась
Недолго. Сердце столяра
Опять заныло. — Спать пора,
Оставь-ко, Ваня! —

«Право слово,
Я ничего! я не усталъ!»
Но братъ не слушалъ и молчалъ.
И принялась за карты снова
Вдова. Кудрявый Ваня сѣлъ
На лавку и въ окно глядѣлъ.
— Эхъ, какъ звѣзда-то покатилась!
Смотрите! — вдругъ онъ закричалъ.
Столяръ съ улыбкою сказалъ:
«Лови!» Вдова перекрестилась.
— Знать, умеръ кто... Кто ни умретъ,
Такъ, говорятъ, звѣзда спадетъ...
Э, Вася! я и не спросила!
За гробъ-то дорого-ль ты взялъ? —
«Да какъ сказать? Не въ этомъ сила.

Вѣдь, я покойника-то зналъ.
Чудакъ! онъ жилъ въ своемъ домишкѣ,
Такъ — въ старой мазанкѣ! Ходилъ
Зимой и лѣтомъ въ халатишкѣ,
Щегловъ, чижей, синицъ ловилъ.
Бывало, раннею зарею,
Въ лѣсъ проберется съ западнею,
Да съ сѣтью — холодъ ни почемъ.
Разставитъ сѣть, а съ птицей клѣтку
На сукъ повѣситъ, иль на вѣтку,
И на-сторожѣ за кустомъ
Дрожитъ въ снѣгу... Одну заботу,
Покуда кончился, имѣлъ:
Не во-время, молъ, заболѣлъ.
Теперь — вотъ въ лѣсъ-бы на охоту...
Сталъ умирать, какъ закричитъ:
«— Жена! пусти на волю дѣтокъ!»
«— Какихъ тамъ дѣтокъ? говоритъ.
«— Моихъ-то вонъ, моихъ! изъ клѣтокъ!»
— Какихъ на свѣтѣ нѣтъ людей!
И твой отецъ чудилъ не мало,
(Ты въ люлькѣ былъ тогда) бывало,
Чуть свѣтъ — гоняетъ голубей.
Бѣдняжки съ крыши встрепенутся,
Куда! подъ облака взовьются!
Ему-то радость! вверхъ глядитъ,
А самъ свиститъ! а самъ свиститъ! —

Столяръ задумался печально.
Давно-ли въ этой мастерской
Лежалъ отецъ его больной?
Онъ вспомнилъ взглядъ его прощальный,
Взглядъ грустный, впалые глаза,
Полусѣдые волоса

И эту рѣчь: нужда-нуждою, —
Ты, Вася, честь свою храни,
Честь пуще золота цѣни,
Ее нельзя добыть казною!
А коли честно ты живешь, —
Все хорошо! и свѣтъ хорошъ,
И будетъ ласковъ людъ съ тобою;
Обидитъ, — Богъ съ нимъ! не суди!
Ты, знай, своимъ путемъ иди!
— Охота не укоръ. Намъ стыдно
И грѣхъ покойника корить!
Такимъ и я желалъ-бы быть....
Ну, Ваня, наплясался, видно,
Глаза слипаются... вставай,
Да Богородицу читай
На сонъ грядущій. —

И ребенокъ
Молитву началъ. Чистъ и звонокъ
Былъ дѣтскій голосъ. Братъ стоялъ,
Его ошибки поправлялъ.
Локтями упершись въ колѣни,
Вдова внимала въ тишинѣ;
Огонь мигалъ, — и братьевъ тѣни
Передвигались на стѣнѣ.

XI.

Въ рубашкѣ, съ трубкой закуренной
И разгорѣвшимся лицомъ,
Упрямствомъ дочери взбѣшонный,
Лукичъ сидѣлъ передъ окномъ,

И высоко приподнималась
Отъ гнѣва грудь его. Жена
Вздохнуть и кашлянуть боялась;
Прижавшись въ уголъ, и блѣдна,
Стояла Саша

«Ну, мученье!
Отецъ раздумывалъ: дивлюсь!
Я жениху не покажусь!..
Вотъ дочка! вотъ повиновенье!
За косы взяться? визгъ пойдетъ...
И жаль! рука не налегнетъ...
Поговорю заблаго съ нею,
Все лучше: можетъ-быть успѣю».
«Эхъ-ма! талантъ ты мой худой!
Промолвилъ онъ, махнувъ рукой:
И самъ отрады я не видѣлъ,
И дочери, знать, въ горѣ жить....
Ну, Саша! послѣ не тужить!
Не говорить: старикъ обидѣлъ!
Ты умница, ну—такъ и такъ!
Выходитъ дѣло,—я дуракъ....
Не стану спорить, Богъ съ тобою!
А вспомнишь всѣ мои слова,
Когда пойдешь ходить съ сумою,
Разумная ты голова!»
— Мнѣ бѣдность, батюшка, знакома!
Къ работѣ я привыкла дома,
А къ горю... мужнина казна
Не дастъ мнѣ счастья.—

«Не нужна!
Столяръ дороже.... ну, вѣстимо.
Ты безъ кручины и заботъ

Съ нимъ проживешь; заботы — мимо,
Къ вамъ счастье съ неба упадетъ...
Эхъ, дура!»

— Сжальтесь надо мною!
За что̀ я молодость свою
Съ немилымъ сердцу загублю?
За что̀ несчастной сиротою
Покину я порогъ родной?
Какъ мнѣ просить васъ? Боже мой! —
«Я говорю — добра желаю,
Оставь упрямство! слышишь ты?
Мнѣ что̀! тебя же избавляю
Отъ голода, отъ нищеты!
У столяра одна избенка,
Казны — ни гроша, мать — бабенка
Сварливая, всегда ворчитъ,
Ей и святой не угодитъ!
А Таракановъ — смѣтливъ, ловокъ,
Богатъ, торговый человѣкъ...
Онъ надаритъ тебѣ обновокъ
До свадьбы-то на цѣлый вѣкъ!»
— Нѣтъ, дорогими лоскутами
Меня ужь поздно утѣшать!
Я не дитя!... Не вы ли сами
Любили это повторять? —
«Лукичъ! жена ему сказала:
Столяръ ей по сердцу».

— Ну, да!
А знаешь, какова нужда?
Ты на себѣ не испытала?
Въ утѣху ли любовь, совѣтъ,
Когда къ обѣду хлѣба нѣтъ? —

«И-ихъ, старикъ! онъ силенъ, молодъ,
Не глупъ...»

— А если заболитъ,
Да годъ въ постели пролежитъ,
И дочь твоя узнаетъ голодъ,
Ты, значитъ, какъ? поможешь ей?
Смотри, тогда не пожалѣй! —
«Охъ, бѣдность! я-ль ея не знаю!
Какъ хочешь, Сашенька, гляди...
Я принуждать не принуждаю,
А про нужду по мнѣ суди:
И мать твоя была здорова,
И весела, и молода,
Теперь... теперь упасть готова
Отъ вѣтра... Охъ, тяжка нужда!»
— Что-жь! рада-ль я себѣ? моя ли
Вина? Не вы ли столяра
Въ свой домъ, какъ сына, принимали?
Не тутъ ли, батюшка, подъ-часъ
Съ родными шла у васъ бесѣда,
Что хорошо бы за сосѣда
Отдать вамъ дочь? А я отъ васъ
Таилась развѣ? Вы, вѣдь, знали,
Что мы другъ къ другу привыкали!
Вы это видѣли! —

«Молчать!
Ну!...»

— Воля ваша принуждать,
А я не выйду за другаго. —
«Не слушаться? Отца роднаго?
Нѣтъ, подожди, къ примѣру, врешь!

Какъ! я невластенъ надъ тобою?
Невластенъ? Стало, ты не мною
Воспитана и рождена?
Ты мнѣ за это не должна
Повиноваться?»

— И не жалко.
Не грѣхъ вамъ дочь свою губить? —
«Ты... ты не смѣй меня учить!
Всѣ ребра изломаю палкой!»
— Чтожь! бейте! мнѣ одинъ конецъ!
Кто васъ осудить? Вы — отецъ!
Вы властны! стало быть, я стою!...
О, Господи! да скоро-ль я
На вѣкъ глаза свои закрою? —
И покатились въ три ручья
У Саши слезы.

«Вонъ отсюда!
Ступай! вѣнчайся съ столяромъ!
Ты мнѣ не дочь! и живъ покуда,
Я не пущу тебя въ свой домъ!»
— Лукичъ, старушка зарыдала:
Опомнись! кровь твоя!...—

«Молчать!
Умѣла твари потакать,
Теперь казнись! чего-жь ты стала?
Вонъ, говорятъ тебѣ!»

— Постой!
Куда-жь идти мнѣ? Боже мой! —
«Хоть къ черту!»
— Батюшка! —

«Ни слова!
Скажи одно въ послѣдній разъ:
Готова слушаться?»

— Сейчасъ,
Сейчасъ скажу...—

«Ну, чтожь, готова?
Ты масломъ не зальешь огня,
Не хныкай! вотъ что!»

— Погодите...
Въ глазахъ мутится у меня...—
«Я жду!»

— О чемъ вы говорите? —
«Забудешь-ли сосѣда?»

— Нѣтъ!
Нѣтъ, не могу! —

«Одинъ отвѣтъ.
Такъ будь ты проклята отнынѣ!»
— Какъ! Сашу, Сашу проклинать?...
И вздрогнула старушка-мать,
Какъ листъ на трепетной осинѣ.
— Она моя! я буду ночь
Такъ — на колѣняхъ... Саша! дочь!
Дитя мое!... скажи, согласна...
Не отнимай руки, не дамъ...
Я поцѣлую... я несчастна!...
И ты! и ты!... о, горе намъ!... —
«Согласна», Саша отвѣчала
И на полъ замертво упала.
— Охъ, ты мучитель нашъ!... —

«Ну-ну!
Лукичъ прикрикнулъ на жену:
Воды скорѣе!... не хотѣла
Учить красавицу путемъ,
Вотъ довела ее до дѣла,—
До грубости передъ отцомъ!»

XII.

Едва блеснувшій лучъ разсвѣта
Засталъ Арину въ хлопотахъ;
Она была уже одѣта
И грѣла воду въ чугунахъ.
Старушка ставней не открыла
И въ горенкѣ, какъ тѣнь, бродила,
Тревожить шумомъ не хотя
Всю ночь неспавшее дитя.
Вотъ утро. Саша не гуляетъ,
Къ смотрушкамъ въ домѣ прибираетъ;
Все принимаетъ новый видъ,
Сіяетъ, лоснится, блеститъ...
Окно на солнышкѣ сверкаетъ,
Икона радостно глядитъ.
А за окномъ, на вѣткахъ ивы,
И крикъ, и споръ нетерпѣливый
У любопытныхъ воробьевъ:
Смотрите, молъ... мытье половъ,
Возня, тревога... дѣло худо!
И котъ вонъ тутъ! скорѣй отсюда!
И птицы дружно поднялись
И въ даль въ испугѣ понеслись.
Невесела одна невѣста,
Неспоръ и трудъ въ ея рукахъ,

Пойдетъ съ ведромъ — и вдругъ ни съ
мѣста...
Стоитъ, глядитъ — туманъ въ глазахъ...

Лукичъ былъ тоже озабоченъ:
Всталъ рано, чуть не на зарѣ,
Замѣтилъ, что заборъ непроченъ,
Двѣ щепки поднялъ на дворѣ
И отдалъ въ кухню на топливо.
Хозяйствомъ грѣхъ пренебрегать.
Онъ зналъ, что надо терпѣливо
И неусыпно собирать
Добро домашнее. Бывало,
Когда домой идетъ не пьянъ,
Что́ подъ ноги ему попало —
Подковка, гвоздикъ — все въ карманъ.
Прошелся по саду отъ скуки,
Червей на яблони сыскалъ
И, снявъ ихъ, про себя сказалъ:
«Ахъ, вы, анаѳемскія штуки!
Не давитесь чужимъ добромъ!»
И наконецъ покинулъ домъ.
На перекресткѣ помолился
На церковь; нищей поклонился;
Откуда, чья она — спросилъ,
И грошъ ей въ чашку положилъ, —
Не по любви и состраданью
Къ подобному себѣ созданью,
Онъ просто вѣрилъ, что Господь
За подаяніе святое
Ему сторицею пошлетъ...
Желанье, кажется, благое
И основательный разсчетъ.
Купилъ на площади торговой

Осенней шерсти два мѣшка
У горемыки мужика,—
О всходахъ проса, гречи новой
Потолковалъ съ нимъ напередъ,
И крѣпко побранилъ господъ:
«Народъ, молъ, да! работай втрое,
Изъ жилъ тянись—имъ все не въ честь!»
Мужикъ былъ тронутъ за живое,
Заговорилъ, забылъ про шерсть:
—Вотъ то, дескать!... и то, и въ празд-
никъ.—
«Такъ! трудъ чужой кладутъ въ бумаж-
никъ!...»
Лукичъ, нахмурясь, отвѣчалъ
И, вѣся шерсть, на рубль укралъ.

Домъ Лукича горитъ огнями,
Кругомъ ночь черная лежитъ,
Отъ красныхъ оконъ полосами
Свѣтъ въ сонной улицѣ виситъ.
Гостями горенка набита.
Женихъ высокъ, румянъ, курчавъ,
Веселый взглядъ его лукавъ;
Невѣста бѣдная убита,
Разноситъ чай, а гости пьютъ,
Да рѣчи умныя ведутъ.
Съ досадой женщины толкуютъ,
Что оплошалъ гостинный рядъ,
Товары завалью глядятъ,
Купцы безсовѣстно плутуютъ,
На шаляхъ мало пестроты,
На ситцахъ блѣдные цвѣты;
Старушки съ грустью вспоминаютъ

О сарафанахъ съ галуномъ,
О серьгахъ съ крупнымъ жемчугомъ,
И прихоть моды обвиняютъ.
Хозяинъ судитъ съ женихомъ
О разныхъ выгодахъ торговли,
О недостаткѣ рыбной ловли
Въ ихъ городѣ и сознаетъ,
Что рѣчь разумно онъ ведетъ.
Какъ мраморъ блѣдная, невѣста
Уже не разъ вставала съ мѣста
Гостей сластями обносить
И свой нарядъ перемѣнить.
Женихъ и мать его съ роднею
Перемигнулись межъ собою:
«Пора, молъ!» и пошли на дворъ
Надъ Сашей кончить приговоръ.
«Каковъ женихъ? не молодчина?
Шепталъ Лукичъ: не плачь, Арина!
Ты, Саша, удались пока;
Начнется торгъ, такъ не рука
Тутъ быть невѣстѣ...» Сваха входитъ,
Поклонъ — другой, и рѣчь заводитъ:
«Ну, батюшка, товаръ хорошъ,
Купца похвалишь-ли, не знаемъ».
— Ты честь товару отдаешь,
И мы купца не охуждаемъ:
Разсчетъ въ приданомъ.—

«И, родной!
Не просимъ лишняго».

— Постой!
Твой разговоръ, къ примѣру, красенъ...
Ты слушай вотъ что: жемчугу

И денегъ дать я не могу,
А насчетъ платья — я согласенъ. —
«Нѣтъ, нѣтъ! копѣечки одной
Мы не уступимъ, золотой!»
— А я и нитки не прибавлю! —
И завязался жаркій споръ.

«Пустѣйшій, значитъ, разговоръ!
Сказалъ женихъ: я все поправлю.
Дочь ваша, смѣю доложить,
Не то что... да-съ! Ей-ей, безъ лести!
Извольте насъ благословить,
Коли я нравлюсь ихней чести,
Намъ деньги — пыль-съ!»

— Выходитъ рокъ!...
Жена! утирку и платокъ! —

Старушка, плача, суетилась.
Невѣста снова появилась,
Подносъ у матери взяла
И жениху, съ боязнью тайной,
На немъ подарокъ обручальной,
Глотая слезы, подала.
Женихъ утерся имъ легонько,
Невѣстѣ, молча, возвратилъ,
Утерлась и она.

«Ну, только!
Теперь Господь васъ съединилъ»,
Съ поклономъ сваха имъ сказала,
И поцѣлуемъ приказала
Обрядъ закончить, рядомъ сѣсть
И полюбовно рѣчи весть.

И гости весело шумѣли.
Подруги Саши пѣсни пѣли;
Простой напѣвъ ихъ грустенъ былъ,
Тоску и думу наводилъ.
Вино лилось. Съ улыбкой сладкой
Женихъ невѣсту цѣловалъ,
Арина плакала украдкой,
Лукичъ безъ устали плясалъ.
Межъ тѣмъ невзгода бушевала:
Вылъ вѣтеръ, молніи струя,
Сквозь ливень крупнаго дождя,
По темнымъ стекламъ пробѣгала,
За нею въ слѣдъ катился громъ,
И вздрагивалъ непрочный домъ.

Невѣста блѣдная сидѣла,
Всему чужда, едва жива;
Какъ въ полымѣ у ней горѣла
Потупленная голова.
Не въ радость былъ ей пиръ веселый,
Звонъ рюмокъ и напѣвъ подругъ.
Нѣтъ! Сашу мучилъ бредъ тяжелый:
Надъ садомъ звѣзды. Тишь вокругъ...
Припавъ щекой къ плечу сосѣда,
Она подъ ивой съ нимъ стоитъ,
Чуть внятный шопотъ — ихъ бесѣда,
Да громко сердцу говоритъ...
Какъ темны листья сонной ивы!
Какъ ясенъ мѣсяцъ молчаливый!
Вотъ полдень. Жарко. Вѣтеръ спитъ.
Песокъ горячъ. Рѣка блеститъ.
Сосѣдъ на берегу; онъ блѣденъ.
«Что-жь, говоритъ: я, Саша бѣденъ!
Все вздоръ! отецъ твой не палачъ!
Проси, мой другъ! и рвись, и плачь!

«Гуляй, бѣднякъ! богатымъ будешь!»
Хозяинъ пьяный закричалъ
И Сашѣ на-ухо сказалъ:
«Сосѣда что-ли не забудешь?
Взгрустнулось!... Жениха займи!
Не то я... прахъ тебя возьми!
Гм! Понимаешь?...» Дочь вздрогнула,
Въ испугѣ на отца взглянула,
Въ отвѣтъ полслова не нашла,
Но тутъ подруга подошла,
Вся въ бѣломъ, бойкая, живая,
И, Сашѣ руку пожимая,
Шепнула: «не круши себя!
Я знаю!... выручу тебя!...»
Прищурила глаза лукаво
И сѣла рядомъ съ женихомъ.
«Какъ жарко!»

— Да-съ! —
«Досадно, право!...
Вы танцы любите?»

— Съ трудомъ,
Такъ-съ малость самую танцую. —
«Зачѣмъ-же?»

—Какъ бы вамъ сказать?.
Ногами вензеля писать
Мнѣ некогда-съ! вѣдь, я торгую. —
«Вы курите?»

— Ни, Боже мой!
И не къ чему-съ: расходъ пустой! —
«Зимой катаетесь?»

— Бываетъ,
На сырной. Это ничего-съ!
Вотъ жалко: вздорожалъ овесъ!
Конь, знаете, не понимаетъ:
Что̀ жерновъ, мелетъ Божій даръ. —
«Скажите!»

— Да-съ! Вотъ самоваръ
Въ семействѣ нуженъ. Не скрываю,
Съ ребячества привыкъ я къ чаю,
Сначала просто пью, потомъ
Употребляю съ молокомъ;
Не покупать-съ: своя корова. —
«Конечно. Съ молокомъ здорово...
У васъ цѣпочка не дурна.»
— Четыре серебромъ дана,
По случаю-съ. —

«А! вы счастливы!»
— Цыганки то-же говорятъ,
Таланъ все, знаете, сулятъ...
Все чепуха-съ! на грушѣ сливы. —
«Какъ? вы гадали?»

— Да-съ, гадалъ.
Я сумашедшаго знавалъ;
Ахъ! тотъ угадывалъ отлично!
Бывало, дичь несетъ, несетъ,
Подъ часъ и слушать неприлично!
Да вдругъ такой намекъ ввернетъ,
Что просто... да-съ! ей-ей чудесно! —
Даръ, значитъ: все ему извѣстно! —
«Нѣтъ, не люблю я ворожить!
Иное дѣло — говорить,

Вотъ это такъ. Сама не знаю,
Чуть на минуту умолкаю,
Мнѣ скучно.... даже зло беретъ....
Поговоришь — и все пройдетъ.
Я надоѣмъ и вамъ ужасно:
Все говорю и говорю,
Болтушка, — скажете....»

— Напрасно!
Чувствительно благодарю! —

Усердной пляской утомленный,
Забившись въ уголъ отдаленный,
Лукичъ покрякивалъ сквозь сонъ:
«Молчать!... покой мнѣ дайте.... вонъ!»
— Прощайте, батенька, прощайте! —
Женихъ съ улыбкой отвѣчалъ
И руку Лукича пожалъ.
«Ты что̀ за птица?»

— Угадайте! —
«Пожалуй. Помоги мнѣ встать.
Ты кто?»

— Вашъ нареченный зять. —
«Подай свѣчу.... вотъ такъ.... не знаю!...
Столяръ что-ль? Нѣтъ, онъ не таковъ...»
— Я, батенька, Тарасъ Петровъ. —
«А! вспомнилъ, вспомнилъ! понимаю!
Ну, поцѣлуй меня.... Вотъ такъ!
А я, ей-Богу, не туракъ!
И Саша вотъ.... дитя родное....
Мнѣ, значитъ, жаль.... продумалъ ночь...
И столяры.... и все такое....

А ты, вѣдь, можешь мнѣ помочь?
На совѣсть, честно поторгую!
И ты, выходитъ, чуть сплутую....

Женихъ давно за дверью былъ,
Но все свое Лукичъ твердилъ.

XIII.

Востокъ краснѣетъ. Кровли зданій,
Дождемъ омытыя, блестятъ.
По небу синему летятъ
Огнемъ охваченныя ткани
Прозрачно блѣдныхъ облаковъ,
И тихій звонъ колоколовъ
Ихъ провожаетъ. Паръ волнами
Плыветъ надъ сонными домами.
Онъ влаженъ. Свѣжій воздухъ чистъ.
Дышать легко. Румяный листъ
Трепещетъ, каплями покрытый.
По улицѣ ручей сердитый
Журчитъ, доселѣ не затихъ.
Межъ бѣлыхъ камней мостовыхъ
Вода во впадинахъ алѣетъ.
Порою вѣтерокъ повѣетъ, —
И грудь невольно распахнешь,
Цвѣтовъ и травъ дыханье пьешь.
Проснися, Божій людъ! не рано!
Несутся стаи голубей
Въ поля. Лучъ солнца изъ тумана
Уже сквозитъ, — и Божій людъ
Проснулся весело на трудъ.

Столяръ сидитъ съ нѣмой тоскою,
Поникъ кудрявой головою,
И не поетъ его пила:
Кручина руки отняла.
Халатомъ старенькимъ покрытый,
Его братишка, какъ убитый,
Раскинувъ руки, сладко спитъ,
И неразлучная игрушка,
Его любимая гремушка,
Безъ дѣла подъ бокомъ лежитъ.
Дверь настежь,— и вдова вбѣжала,
Съ усильемъ духъ перевела,
Руками бойко развела
И вскрикнула: «Не угадала?
Нѣтъ, карты, батюшка, не лгутъ!
Вотъ твой Лукичъ-то! вотъ онъ, плутъ.
О-охъ, родимые! устала!
Дай, сяду.... охъ.... терпѣнья нѣтъ!...
Отдѣлали! хорошъ сосѣдъ!»
— Нельзя ли, матушка, безъ шуму?
Невесело и безъ того! —
«Ну славно! славно! ничего!
Сиди вотъ сиднемъ! думай думу!
А Сашка-то изподтишка
Вонъ подцѣпила женишка...
Сейчасъ съ нимъ у воротъ прощалась,
Ужъ цѣловалась, цѣловалась!
Ну-ну! безстыжіе глаза!
Да чтó вѣдь — на меня взглянула —
И головою не кивнула...
А!... каково? не чудеса?»
— Да ладно! мнѣ-то чтó за дѣло! —
«Благодарю! благодарю!
Ну, извини, что надоѣла

И не у мѣста говорю...
Нѣтъ дѣла! думаешь не штука?
Съ тобою матери-то мука:
Дѣвчонкой, дурой проведенъ!
Понравилась! околдовала!
Вишь роза! гдѣ и разцвѣла?»
И мать съ досады вышла вонъ.

Ей нужды было очень мало,
Что сынъ невѣсту потерялъ,
Да самолюбіе страдало:
Сосѣдъ, бѣднякъ — и отказалъ.
Обидно, главная причина!
И оскорбленная вдова
Сердилась на себя, на сына,
На цѣлый свѣтъ... она едва
Кота полѣномъ не убила,
За то, что въ кухнѣ захватила
Его надъ чашкою съ водой:
Ты, молъ, не пей, такой-сякой!

Услышавъ вечеромъ случайно
У Лукича напѣвъ печальный,
Столяръ промучился всю ночь.
Кого винить: отца, иль дочь,
Рѣшить хотѣлъ онъ и терялся.
Ходилъ въ потьмахъ по мастерской,
Въ постелю жесткую кидался
И слушалъ бури свистъ и вой,
И блескомъ молніи порой
Его лобъ блѣдный освѣщался.
Постелю снова покидалъ,
Свѣчу безъ нужды зажигалъ.
Теперь сомнѣнья не осталось:

Онъ Сашу видѣлъ изъ окна:
Толпой гостей окружена,
Средь смѣха пьянаго, казалось,
Она подъ ножъ подведена.
«Ахъ, Саша, Саша!» и тоскливо
Глядѣлъ онъ на широкій дворъ,
Поросшій жгучею крапивой,
На кровли, на чужой заборъ....
И смутно передъ нимъ мелькали
Его прожитыя лѣта —
Перенесенныя печали,
Безропотная нищета,
О домѣ, о семьѣ забота,
Работа днемъ и по ночамъ,
Трудъ изъ-за хлѣба, трудъ до пота,
Едва не съ кровью пополамъ;
Вся горечь жизни обыденной,
Все, что́ язвитъ и мучитъ насъ,
Что́ отравляетъ жизнь подъ-часъ,
Весь воздухъ, пищу, сонъ покойный,
Все, что́ давно ужъ пронеслось, —
Закопошилось, поднялось,
Дыханье въ горлѣ захватило,
И свѣтъ туманомъ позакрыло....
«Эхъ! пропадай ты, голова!...»
— Куда ты? крикнула вдова,
Глазами сына провожая
Съ крыльца, но сынъ не отвѣчалъ,
Калиткой хлопнулъ — и пропалъ.

Пора обѣда наступила,
И все нейдетъ столяръ домой.
Кручина молодца сломила,
Ввела въ кабакъ, виномъ поила,

Поила отъ роду въ-первой.
И пѣлъ онъ пѣсни, — и смѣялась
Толпа гулякъ средь кабака, —
Пѣлъ громко, а змѣя-тоска
Кольцомъ холоднымъ обвилась
Вкругъ сердца.

«Охъ, не утерплю!»
Сказалъ дѣтина худощавый
И, скинувъ съ плечъ халатъ дырявый,
Пошелъ плясать. «Вотъ такъ! люблю!»
Зѣваки пьяные шумѣли.
Дѣтина соловьемъ свисталъ,
Привскакивалъ и присѣдалъ,
На полкахъ шкалики звенѣли.
«Нѣтъ, пой, кто хочетъ! я усталъ!»
Столяръ съ отчаяньемъ сказалъ,
Ладонью въ лобъ себя ударилъ
И грустный на скамейку сѣлъ
И думалъ думу.... вдругъ расправилъ
Густые кудри и запѣлъ....
Пѣлъ про туманъ на синемъ морѣ,
Да про худой таланъ и горе....
И пѣснь лилась, пѣвецъ блѣднѣлъ.
Казалось, все: тоску разлуки,
И плачъ любви, и грусти стонъ
Изъ сердца съ кровью вырвалъ онъ
И воплотилъ въ живые звуки....
И каждый звукъ былъ полонъ слезъ;
То съ поражающею силой
Онъ несся въ высь, все росъ и росъ,
Какъ будто съ свѣтомъ, съ жизнью милой
Прощался, въ небѣ утопалъ;
То падалъ, зá сердце хваталъ

И гасъ, какъ свѣточъ, постепенно...
Пѣвецъ умолкъ и застоналъ:
«Охъ, душно, братцы!...» и мгновенно
Рубашки воротъ разорвалъ.
«Вина!»

Сидѣлецъ засмѣялся;
— Клади, молъ, денежки-то намъ.—
«А въ долгъ?»

— Проваливай! —

«Отдамъ!»
— Спасибо! экъ онъ разгулялся! —
«Проклятый! на, вотъ казакинъ!»

Но вдругъ картина измѣнилась:
Въ слезахъ и блѣдная, явилась
Мать столяра.... «И ты мнѣ сынъ?
Спаситель! Николай-Угодникъ!
Да гдѣ я? Охъ! подъ сердцемъ жжетъ!
Шла мимо... съ рынка... сынъ поетъ...
Все Сашка!... Такъ!... сосѣдъ-разбойникъ!
И запилъ! Ахъ, дуракъ, дуракъ!»
Сынъ стиснулъ поднятый кулакъ...
«Ха, ха! доходитъ до расправы!»
Сказалъ дѣтина худощавый;
«Къ чертямъ старуху! проучи!»
Столяръ схватилъ его: — Молчи!
И грянулъ объ полъ. «Стой, ребята!
Связать его! позвать солдата;»
Сидѣлецъ крикнулъ. «Вотъ, онъ, другъ!»
И въ молодца впились шесть рукъ.
Но молодецъ сверкнулъ глазами,

Тряхнулъ могучими плечами, —
И всѣ разсыпались. Вдова
Перепугалась. «Голова!
Перекрестись! ну, что́ ты! Стыдно!
Опомнись! съ улицы вонъ видно!
Эхъ, соколъ, соколъ! какъ теперь
Изъ этой пропасти за дверь
Ты выйдешь? А? Побойся Бога!
Ты пропадешь!...»

— Туда дорога! —
«Я знаю, знаю, отъ чего
Ты выпилъ! Ну, и ничего...
Я мать... Мнѣ, думаешь, отрада?
Ну, брось! забудь! такъ стало надо!
Знать не судьба твоя!...»

— Забудь!
Да ножъ-то, ножъ-то прямо въ грудь
Засѣлъ... Оставь меня, родная! —
«Пойдемъ, голубчикъ мой, пойдемъ!
Братишко плачетъ, отпертъ домъ...
Все пусто... да! и мастерская...
Топоръ тамъ... все... ну, пошалилъ...
Ты вспомни, какъ отецъ-то жилъ!
Что́ завѣщалъ-то!... Власть не наша!
Перенеси!»

— Ахъ Саша, Саша!
На вѣкъ пропали мы шутя! —
Столяръ заплакалъ, какъ дитя.

XIV.

Со дня помолвки измѣнился
Невѣсты скромный уголокъ;
Въ немъ съ утра до ночи тѣснился
Веселыхъ дѣвушекъ кружокъ.
Ихъ занимало на досугѣ
Шитье приданаго подругѣ,
Мелькнувшій мимо пѣшеходъ,
Подъ вечеръ пѣсни у воротъ,
Порою сновъ истолкновенье,
Въ саду горѣлки и гулянье;
Но вечеринокъ блескъ и шумъ
Сильнѣе занималъ ихъ умъ.
Двѣ скрипки, въ домѣ освѣщенье,
Отъ стука крѣпкихъ каблуковъ
Дрожанье стульевъ и столовъ,
Смѣхъ *молодцовъ*, ихъ объясненье:
Насчетъ того-съ... мое почтенье...
Горячихъ поцѣлуевъ звукъ,
Украдкою пожатье рукъ —
Вотъ вечеринка; остальное
Не новость: сборище ночное, —
Подъ окнами толпа зѣвакъ,
Въ окрестномъ мракѣ лай собакъ.

Отцу суровому послушна,
Всегда задумчива, тиха,
Свою печаль отъ жениха
Таила Саша. Равнодушна
Въ толпѣ подругъ она была;
Порой казалась весела,
Шутить, смѣяться начинала,

Но вдругъ, средь смѣха, умолкала
И уходила въ садъ, — и тамъ,
Въ зеленой чащѣ, одиноко
Садилась на скамьѣ широкой
И накопившимся слезамъ
Давала волю...

«Слава Богу!»
Отецъ невѣсты разсуждалъ:
«Теперь на ровную дорогу
Я выйду: зятя отыскалъ...
Не столяру чета! онъ, вѣрно,
Поможетъ тестю... Вотъ что́ скверно—
Никакъ приданымъ не собьюсь!
Бѣда, къ примѣру! смерть боюсь!
Что если свадьба разойдется?
Чертъ знаетъ, просто сбился съ ногъ!
Навязываю домъ въ залогъ, —
И тутъ заемъ не удается!
Не скажутъ прямо: деньги есть
Не про твою, къ примѣру, честь;
Помучатъ болтовней, распросомъ,
На что́, молъ,—и отправятъ съ носомъ:
Свои-де нужды, извини...
Вотъ богачи-то! вотъ они!
Вотъ правда!...» Или попытаться
Пойдти къ Скобѣеву? Вѣдь, жидъ!
Просить не стоитъ... и сердитъ...
Да Богъ съ нимъ! Мнѣ равно шататься!
Ужь занимать не миновать,
Глядишь, уважитъ, — какъ узнать?»

И черезъ часъ, проситель скромный,
Онъ у Скобѣева въ пріемной

Ждалъ милости. Лакея нѣтъ,
Налѣво двери въ кабинетъ,
Тамъ разговоръ.

«Такъ все готово?»
Звучалъ густой хозяйскій басъ
(Лукичъ узналъ его за-разъ).
— Да, мнѣ дано честное слово,
Разбитый голосъ отвѣчалъ:
Вчера и нынѣ хлопоталъ
Въ коммиссіи. —

«А! вы оттуда...
Прекрасно! стало нашъ подрядъ...»
— Все подвигается покуда;
Подмазать надо, говорятъ.
Вы какъ? не прочь? —

«Весьма пріятно!
На вещи цѣну-то того...
Вы понимаете?»

— Понятно.
Да не опасно-ль? —

«Ничего!
А по бумагамъ безусловно
Въ подрядѣ вы: я подъ судомъ».
— Какъ ваше дѣло въ уголовной? —
«Пустякъ! конечно, подъ сукномъ...
Жаль, нѣтъ войны! подряды мелки,
Отъ мира мало намъ добра!»
— Ну, грѣхъ сказать! —

«Все вздоръ! бездѣлки!
Нѣтъ, батюшка, не та пора!
Тамъ видишь груды серебра!
Бывало, сердце разгорится...
Эхъ, молъ, равно! Господь проститъ,
И хватишь смѣло, — ну, и сытъ:
Сундукъ трещитъ, какъ говорится!»

Лукичъ затылокъ почесалъ
И долго головой качалъ:
— Ну, хороши, молъ! —

«Вы къ обѣду
Ко мнѣ?» Скобѣевъ забасилъ
И гостю двери отворилъ.
— Не знаю... можетъ быть, пріѣду, —
Въ раздумьи бородачъ сказалъ.
Скобѣевъ громко засвисталъ.
Едва свистъ барина раздался,
Худой и блѣдный казачокъ
Вбѣжалъ, въ испугѣ заметался
И гостю лысому помогъ
Надѣть шинель.

«Зачѣмъ явился?»
Скобѣевъ Лукича спросилъ,
Въ карманы руки заложилъ
И въ мягкомъ креслѣ развалился.
«Эй! Васька! трубку! Ну, зачѣмъ!»
— Что, сударь, обнищалъ совсѣмъ!
Просваталъ дочь, нужна помога,
Цѣлковыхъ этакъ сто взаемъ,
Я заложилъ бы вамъ свой домъ,
Не откажите, ради Бога! —

«Просваталъ дочь.... что́ она
Молоденькая? не дурна?»
Румяный баринъ улыбнулся,
Прищурился и потянулся.
— Вы все изволите шутить....
Тутъ горе! смѣю доложить. —
«Все врешь! когда вашъ братъ горюетъ?
Привыкъ къ бездѣлью, пьетъ вино,
Да ѣстъ и спитъ, или плутуетъ,
И только. Знаю васъ давно!»
— Всѣ люди грѣшные, конечно....
Я заплачу вамъ черезъ годъ,
Проценты вычтите впередъ,
Ей-ей, васъ не забуду вѣчно! —
«Пожалуй, почему не такъ.
Ты мнѣ заслужишь, я надѣюсь...»
— Послѣднихъ силъ не пожалѣю-съ!
Вотъ благодѣтель! —

«Вотъ дуракъ!
Ха-ха! шучу! Я съ кулаками
Не связываюсь никогда!»
Лукичъ остолбенѣлъ....

— Да, да!
Мы, значитъ, черви передъ вами,
И насъ, какъ плюнуть, раздавитъ....
Эхъ-ма! —

«Поменьше говорить!»
Старикъ взбѣсился.

— Ваша воля!
Прикажите, мы замолчимъ.

Мы что́ за люди! Наша доля
Терпѣть. На этомъ и стоимъ. —
«Не притворяйся сиротою:
Меня не скоро проведешь».
— Куда мнѣ съ глупой головою
Васъ проводить? Тутъ не найдешь,
Къ примѣру, слова... Вы богаты,
Вы баринъ, честная душа,
Я плутъ, на сюртукѣ заплаты
И въ кошелькѣ-то ни гроша,
Куда мнѣ!... Стало не дадите? —
«Не разживешься, признаюсь».
— Я и за это поклонюсь.
Благодарю васъ! извините,
Что безпокоилъ. —

«Краснобай!
Ну, ну! не кланяйся! ступай!
А ты мошенникъ, старичина,
Тварь хитрая!

— Благодарю!
За рысака-то вамъ дарю,
Раздайте нищимъ. —

«Вонъ, скотина!»
— Испортишь кровь. Ну, что кричать!
Вѣдь, лѣкаря придется звать.... —
Скобѣевъ бранью разразился:
«Эй, люди! въ кнутья подлеца!...»
Старикъ съ широкаго крыльца
Сходилъ себѣ, не торопился;
Не скоро дворня собралась,
И перебитой разошлась.

Дулъ сильный вѣтеръ. Дождикъ лился.
Согнувшись, въ обуви худой,
Старикъ печально шелъ домой.
На перекресткѣ онъ столкнулся
Съ торговкой, что́-то проворчалъ,
Посторонился, поскользнулся,
И чуть средь лужи не упалъ.
Старуха, шамшая, сказала:
«Хрѣнку, родимый, не возьмешь?»
— Ну, ну! проваливай! пристала!
Безъ хрѣну горько не втерпежъ!..—
Межъ тѣмъ по улицѣ широкой,
Подъ ливнемъ, гнали въ край далекой
Толпу преступниковъ въ цѣпяхъ,
Съ остриженными головами,
Съ зловѣщимъ знакомъ на спинахъ.
Конвой съ примкнутыми штыками
Ее угрюмо окружалъ,
И барабанъ не умолкалъ.
«Пошелъ народецъ на работку!
Лукичъ подумалъ: да! ступай!
Поройся тамъ, руды въ охотку
И не въ охотку покопай....
Подать хоть гривну.... сердце ноетъ....
Поди, Скобѣевы живутъ,
Ихъ въ кандалы не закуютъ:
Казна не шутка! Все прикроетъ!
Ну, вотъ тебѣ, и взялъ въ заемъ!
Постой! постой!... вѣдь, этотъ домъ
Купца Пучкова... Э, почтенный!
Я про тебя и позабылъ!
Пучковъ.... да! я ему служилъ:
Святоша, человѣкъ смиренный....
Гм... мастеръ, нечего сказать,

Горячій уголь загребать
Чужой рукой!»

XV.

Угрюмъ и прочен
Пучкова домъ. На кровлѣ тесъ
Зеленой плѣсенью поросъ.
Желѣзомъ на-крестъ заколочен
Закрытый ставень кладовой.
Косматый сторожъ, песъ цѣпной
Лежитъ въ конурѣ у забора,
Амбары въ сторонѣ стоятъ,
Ихъ двери крѣпкія отъ вора
Замки тяжелые хранятъ.
Безлюдно въ комнатахъ просторныхъ
(Хозяинъ не имѣлъ дѣтей
И рѣдко принималъ гостей),
Висятъ картинки въ рамкахъ черныхъ,
Пыль на полахъ и по столамъ,
И паутина по угламъ.
Но спальня, съ желтыми стѣнами,
Свѣтла, опрятно убрана,
Весь уголъ занятъ образами,
Лампадка вѣчно зажжена,
Кровать покрыта простынею,
И полонъ шкафъ церковныхъ книгъ;
Иныхъ терпѣть не могъ старикъ
И называлъ ихъ чепухою,
Потѣхой праздныхъ болтуновъ,
Соблазномъ молодыхъ головъ.

Въ суровой школѣ горькой нужды
Пучковъ съ ребячества окрѣпъ;

Его отецъ былъ старъ и слѣпъ,
И сынъ, изнѣженности чуждый,
Переносилъ морозъ и зной,
Шатаясь по міру съ сумой.
Порой калѣкой притворялся,
За крендель колесомъ катался,
И на крестѣ всегда берегъ
Съ казной холстинный кошелекъ.
Одинъ купецъ, старикъ бездѣтный,
Полубольной и безотвѣтный,
Его за бойкость полюбилъ,
Одѣлъ и въ лавку посадилъ.
Пріемышъ росъ, добру учился,
Поклоненъ, расторопенъ, тихъ,
За дѣломъ въ лавкѣ не лѣнился,
А ночью *Житія Святыхъ*
Читалъ хозяину отъ скуки.
Святыхъ мужей слова и муки —
Все помнилъ, но изъ чудныхъ строкъ,
Увы! урока не извлекъ!
Читалъ, читалъ, — и за услугу
Купца ограбилъ наконецъ.
Не вынесъ бѣдный мой купецъ:
И пилъ, и плакалъ, спился съ кругу,
И ночью, пьяный и больной,
Застылъ средь улицы зимой.
Чужаго золота наслѣдникъ,
Пучковъ себя не уронилъ:
Глядѣлъ смиренникомъ и былъ
О чести строгой проповѣдникъ;
Не кушалъ рыбы по постамъ,
Молился долго по ночамъ,
На церковь подавалъ грошами,
Передъ нетлѣнными мощами

Большія свѣчи зажигалъ,
Но плутовства не покидалъ.
И странно! плутъ не лицемѣрилъ:
Онъ искренно въ святыню вѣрилъ,
Да! совѣсть надо очищать!
Что́ дѣлать! страшно умирать!
Пучковъ объ адѣ начитался...
И какъ же онъ чертей боялся!
На полчаса вздремнуть не могъ,
Три раза «Да воскреснетъ Богъ»
Не повторивъ. Теперь угрюмый,
Въ очкахъ, Псалтирь читалъ онъ вслухъ,
Но врагъ добра, лукавый духъ,
Мутилъ его святыя думы,
И вдругъ — съ духовной высоты
На рынокъ, полный суеты,
Ихъ низводилъ.

Лукичъ явился.
Передъ Пучковымъ извинился,
Я, молъ, читать вамъ помѣшалъ
И полъ вотъ грязью замаралъ...
Хозяинъ поглядѣлъ пытливо
На гостя, поднялся лѣниво,
Бумажкой книгу заложилъ,
Зѣвнулъ, молитву сотворилъ
И отвѣчалъ: «Да, дождь сегодня.
Все хорошо: все власть Господня.
Ты здѣшній?»

—Здѣшній мѣщанинъ.
Не угадали?... Карпъ Лукинъ. —
И рѣчь повелъ онъ стороною:
Я, молъ, извѣстенъ вамъ давно,

И позабыть меня грѣшно,
Служилъ, какъ надобно. Нуждою
Теперь убитъ. Имѣю дочь...
И разсказалъ Лукичъ, въ чемъ дѣло.
«Гм... жаль, что не могу помочь!
Мое богатство улетѣло,
Какъ дымъ въ трубу. Все разошлось
По добрымъ людямъ. Да авось
Промаюсь... Старъ... гляжу въ могилу...
И время! Господи помилуй!»
— Нельзя ли, сударь, пожалѣть?
Вы сомнѣваетесь, извѣстно...
Вотъ образъ — заплачу вамъ честно!
Безъ покаянья умереть,
Коли солгу! —

«Зачѣмъ божиться?»
— Да тошно! Кажется, готовъ
Сквозь землю лучше провалиться,
Чѣмъ эдакъ вотъ изъ пустяковъ
Просить и мучиться напрасно! —
«Охъ, милый, вѣрить-то опасно!»
И тонко намекнулъ купецъ:
Обманъ, молъ, всюду; всякъ—хитрецъ:
Наскажетъ много, правды мало...
Да! время тяжкое настало!
Не мудрено въ заемъ-то дать,
Но каково-то получать!

Напрасно тѣломъ и душою
Лукичъ божился, умолялъ,
Въ закладъ домишко предлагалъ...
Кремень-купецъ махнулъ рукою:
«Эхъ, ну, тебя! закладъ не тотъ!

Твой домъ не каменный! нейдетъ!»
— Несытая твоя утроба!
Ну, стало, голову мнѣ снять
И подъ залогъ тебѣ отдать?
Вѣдь, ты глядишь подъ крышу гроба!...
Кому казну-то ты копишь! —
«Опомнись! съ кѣмъ ты говоришь?»
— Съ тобою, старый песъ, съ тобою!
Ты вмѣстѣ воровалъ со мною!
Клади мнѣ денежки на столъ!
Дѣлись! я вотъ зачѣмъ пришелъ! —
«И ты мнѣ могъ? и ты мнѣ смѣешь?»
— Кто? я-то?... Ты не подходи!
И въ грѣхъ, къ примѣру, не вводи, —
Убью! вотъ тутъ и околѣешь! —

Пучковъ оцѣпенѣлъ. Нѣмой,
Стоялъ онъ съ поднятой рукой,
Огнемъ глаза его сверкали,
И губы синія дрожали.
Лукичъ захохоталъ. — Ну, что-жъ!
Ударь попробуй? что-жъ не бьешь! —
«Вонъ, извергъ!»

— Не бранись со мною.
Я выйду честью! не шуми!
Не то я... прахъ тебя возьми!...
Не стоишь, правда... Богъ съ тобою.—

Пучковъ стоналъ. Онъ гадокъ былъ:
Безсильный гнѣвъ его душилъ.
— Прощай! садись опять за книги,
Копи казну, надѣнь вериги,
Все, значитъ, о душѣ печаль...
А жаль тебя! ей-Богу жаль!

«Нѣтъ, не дождаться мнѣ помоги!»
Грустилъ дорогою бѣднякъ:
«Не вѣрятъ мнѣ. Я — голь! кулакъ!
Вотъ и ходи, считай пороги,
И гнись и гибни ни за что.
На то, молъ, голь! кулакъ на то!
Гм.... да! Упрекъ-то, вѣдь, забавный!
Эхъ, ты — народецъ православный!
Не честь тебѣ лежачихъ бить,
Безъ шапки сильныхъ обходить!
Кулакъ.... да мало ль ихъ на свѣтѣ?
Кулакъ катается въ каретѣ,
Изъ грязи да въ князья ползетъ
И кровь изъ бѣднаго сосетъ....
Кулакъ во фракѣ, въ полушубкѣ,
И съ золотымъ шитьемъ, и въ юбкѣ,—
Гдѣ и не думаешь, — онъ тутъ!
Не мелочь, не грошовый плутъ,
Не намъ чета, — подниметъ плечи,
Прикрикнетъ, — не найдешь и рѣчи,
Рубашку сниметъ, — все молчи!
Господь суди васъ, палачи!
А ты, къ примѣру, въ горькой долѣ
На грошъ обманешь по-неволѣ, —
Тебя согнутъ въ бараній рогъ:
Бранятъ, и бьютъ-то, и смѣются....
Набей карманы, — видитъ Богъ,
Въ пріятели всѣ назовутся!
Будь воромъ, — скажутъ: не порокъ!
Вотъ гадость! тьфу!»

И шагъ широкой
Старикъ съ досады ускорилъ.
Но вдругъ его остановилъ

Стукъ рамы. Смотритъ—домъ высокой,
Съ кудрявымъ вензелемъ балконъ
Густой сиренью окруженъ.
Заклятый врагъ ученыхъ споровъ,
Его жилецъ, профессоръ Зоровъ,
Съ сигарой подъ окномъ стоялъ
И старика рукою звалъ.

XVI.

Ученой бурсы отпечатокъ
Невольно Зоровъ сохранилъ:
Зналъ букву, глубже не ходилъ.
Былъ въ разговорахъ простъ и кратокъ
И словомъ *вотъ* ихъ украшалъ;
Безъ нужды кашлялъ. Богъ создалъ,
Его не злымъ, но.... впрочемъ — мимо:
Подъ часъ молчать необходимо....
Деньжонки славно наживалъ.

Лукичъ былъ встрѣченъ благосклонно,
Обласканъ, — и немудрено:
У старика, тому давно,
Мальчишка, труженикъ безсонный,
Путь тяжкій Зоровъ начиналъ, —
Латинью умъ свой притуплялъ.
Плоды науки не пропали,
Бѣднякъ Лукичъ дивился имъ.
Мальчишка выросъ. Передъ нимъ
Теперь просители стояли;
Священникъ, старичокъ больной,
И дьяконъ тучный и рябой.

Священникъ кланялся. Съ досадой
Ученый мужъ рукой махалъ:

— Вашъ сынъ дуракъ! Вотъ и пропалъ...
И выгнали... хм... такъ и надо:
Зазнался.

Священникъ.

Въ чемъ же? ради Бога,
Скажите. Онъ изъ лучшихъ былъ.

Профессоръ.

А вотъ: воротнички носилъ,
Да возраженій дѣлалъ много
Наставникамъ: я, молъ, уменъ,
Въ журналы, въ чтенье погруженъ,
Исчерпалъ мудрость всю!...

(Священникъ хочетъ возразить).

Молчите!
Замѣтили, — онъ ничего:
Все то-жь! Понизили его!...

(Священникъ снова хочетъ возразить).

Хм... погодите! погодите!
Понизили по спискамъ, — онъ того....
Ученьемъ занялся небрежно....
Ну, вотъ, за то и исключенъ!...

Священникъ.

Онъ молодъ. Онъ былъ оскорбленъ....
Сперва учился онъ прилежно.

Профессоръ.

По насъ хоть звѣзды онъ хватай!
Будь скроменъ! носъ не поднимай!

Онъ кто? Воспитанникъ духовный —
Вотъ помни! Бойкость ненужна!
А свѣткость вздоръ, она вредна!
Сказалъ наставникъ, — безусловно
И вѣрь! вы думаете какъ?
На это власть!

Священникъ.

Извѣстно такъ.
Прошу васъ, сжальтесь! Два-три слова
Сказать вамъ стоитъ — примутъ снова...
Позвольте мнѣ, наединѣ,
Вамъ объяснить...

Профессоръ.

Не время мнѣ!
А, впрочемъ, если вы хотите,
Пожалуй... вотъ сюда подите.

И за ученымъ мужемъ вслѣдъ
Вошелъ проситель въ кабинетъ.
О чемъ они тамъ толковали,
Однѣ нѣмыя стѣны знали.
Дверь отворилась наконецъ,
Священникъ просто былъ мертвецъ,
Такъ блѣденъ! «Вы побойтесь Бога...
Я-бъ больше... бѣдность... негдѣ взять».
— Хм... Полно, полно толковать! —
Ученый мужъ замѣтилъ строго.
Несчастный попъ махнулъ рукой
И дверь захлопнулъ за собой
Съ проклятьемъ. Зоровъ улыбнулся:

«Хорошъ! А попъ!... Что́ нужно вамъ?»
И къ дьякону онъ обернулся.
— Да вотъ-съ по разнымъ клеветамъ,
Мой сынъ... замѣтило начальство,
Что яко бы онъ любитъ пьянство... —

«Дубковъ?

— Да-съ. —

«Знаю я его!
Исключатъ. Больше ничего».
— За что́ же? можетъ быть, ошибкой
Не то что выпилъ, пошалилъ... —
И рѣчь проситель измѣнилъ
Такъ странно, что Лукичъ съ улыбкой
Подумалъ: круто своротилъ!
Хитеръ!

— Я слышалъ стороною,
Что вы нуждаетесь въ конѣ...
Такъ все равно-съ. Позвольте мнѣ...
Продамъ охотно. — И съ божбою
Плечистый дьяконъ увѣрялъ:
— Конь добрый! я на немъ пахалъ! —
«Взглянуть, пожалуй, не мѣшаетъ.
Вы приведите-ка его...
Не норовистъ онъ?»

— Ничего.
Узду, случается, скидаетъ:
Извѣстно, наши батраки
Лѣнтяи или дураки,
Какой присмотръ! —

«Хм... Знаю, знаю!
Пусть поисправится вашъ сынъ.
Вы вотъ-что, я предупреждаю,
Вѣдь, я зависимъ... не одинъ,
Тутъ нужно...»

— Какъ-же-съ! понимаю! —

И тучный дьяконъ вышелъ вонъ,
Отдавъ почтительный поклонъ.

Профессоръ.

Ну что́, Лукичъ, не надоѣло
Стоять, да слушать? Извини...

Лукичъ.

Помилуйте!

Профессоръ.

Вотъ мы одни...
Садись.

Лукичъ (садится).

Вы звали. Вѣрно, дѣло...

Профессоръ.

Хм... я коня хотѣлъ купить, —
Раздумалъ. Надо погодить.

Лукичъ (лукаво улыбается).

Такъ-съ.

Профессоръ.

Хорошо-ли поживаешь?

Лукичъ.

По старому-съ! и такъ и сякъ.

Профессоръ.

Ну, а бываетъ, выпиваешь?

Лукичъ.

Ни капли! чтó я за дуракъ!
Да какъ живете вы отлично!
Полы подъ лакомъ, хоть глядись,
Диваны, кресла...

Профессоръ (смѣется).

Хм... Прилично...
Нельзя, деньжонки завелись!

Лукичъ (вздыхая).

Да-съ! Вы попали на дорогу.
И правда, что ученье свѣтъ:
Поитъ и кормитъ... Я вотъ сѣдъ,
И все дуракъ! Бѣда, ей-Богу!
Тутъ бѣдность...

Профессоръ.

Ты бы мнѣ сказалъ.
Ты знаешь, я не скупъ; я-бъ далъ.

Лукичъ.

Сказалъ бы, сударь... какъ-то стыдно!

Профессоръ.

Хм... вотъ пустякъ! забылъ ты видно,
Какъ у тебя я въ домѣ жилъ,
Уроки-то въ саду училъ!

Лукичъ (смотритъ на дипломъ профессора.)

Я все гляжу, спросить не смѣю,
На этотъ листъ... вотъ-съ на стѣнѣ...

Профессоръ (самодовольно улыбается).

Прочти.

Лукичъ.

Нѣтъ, сударь, не съумѣю.
Написано-то не при мнѣ.

Профессоръ.

Вотъ слушай:

(встаетъ и читаетъ)

Ecclesiasticae Academiae conventus
pro potestate sibi concessa

Dominum Zorow.

. . . .

Magistrum sanctiorum humaniorumque litterarum solenni hoc diplomate declarat honoremque ei ac privillegia concessa, decrevisse ac contulisse publice testatur.

Понялъ?

Л у к и ч ъ (съ улыбкою почесывая затылокъ).

Хоть бы слово!
Кого Господь-то умудритъ!
Гм... диво! Вижу въ рамкѣ новой,
Съ большой печатью листъ виситъ —
И только. Правда, что наука!

П р о ф е с с о р ъ (смѣется).

Вотъ то-то! Въ немъ-то вся и штука!

Л у к и ч ъ (переминаясь).

А что́ бы васъ я попросилъ...—
И тутъ старикъ заговорилъ
О свадьбѣ Саши, о заемѣ,
О закладной на домъ, о домѣ,—
И на лицѣ своемъ потомъ
Горячій потъ отеръ платкомъ,
Вздохнулъ и низко поклонился.
Ученый мужъ не отвѣчалъ,
Въ раздумьи медленно шагалъ
И кашлялъ, — вдругъ остановился.
«Ты вотъ-что, ты отдашь мнѣ въ срокъ?»
— Не выйди я за вашъ порогъ!...—
«Изволь! сегодня я разстроенъ:
Дѣлъ пропасть...»

— Значитъ, до утра?
Такъ я въ надеждѣ.—

«Будь покоенъ!
Я дамъ».

А! сынъ пономаря!...
Изъ грязи вышелъ, — не забылся!
Лукичъ подумалъ — и простился.

XVII.

Все рѣшено. Осталась ночь.
Заря надъ лѣсомъ догорала,
По желтымъ жнивьямъ тѣнь бѣжала.
Увы! измученная дочь
День свадьбы грустно ожидала,
Въ послѣдній разъ теперь рыдала
Въ объятьяхъ матери, — и мать
Ее не смѣла утѣшать.
Онѣ другъ друга понимали,
Что́ впереди, о томъ молчали,
А горе прожитыхъ годовъ
Такъ живо было, что безъ словъ
Душа рвалась и въ мукахъ ныла.
Но эти муки дочь таила,
Нѣма съ отцомъ своимъ была,
Межъ ними пропасть вдругъ легла
И Сашу на-вѣкъ отдѣлила
Отъ старика... и тѣмъ больнѣй
Была тоска послѣднихъ дней,
Тяжелѣ рядъ ночей безсонныхъ,
Невѣстой въ пыткѣ проведенныхъ!...*)

И вотъ пиръ свадебный умолкъ.
Утихъ о немъ сосѣдей толкъ,
Угомонились пересуды,
Средь улицъ гости не поютъ,
Не пляшутъ, и въ домахъ посуды
Подъ пѣсни пьяныя не бьютъ.

*) См „Примѣчанія“, стр. 8, № 14-й.

Арина вдругъ осиротѣла.
Грустить за дѣломъ и безъ дѣла,
Чуть скрипнетъ дверь, — она вздрогнетъ,
И слушаетъ, и Сашу ждетъ.
Безъ Саши горенка скучнѣе,
И время кажется длиннѣе,
И котъ не веселъ: спитъ въ углу,
Не поиграетъ на полу
Клубкомъ старушки. Чуть смеркаетъ,
Она калитку запираетъ,
И съ робостью обходитъ дворъ —
Не притаился ли гдѣ воръ,
И мужа ждетъ, и спицамъ снова
Въ ея рукахъ покоя нѣтъ...
Едва покажется разсвѣтъ,
Работа прежняя готова;
Старушкѣ не съ кѣмъ говорить,
Тоски и грусти раздѣлить:
Рѣчь мужа, какъ всегда, сурова ..
Но Саша блѣдная придетъ,
Арина такъ и обовьетъ
Ее руками: «Ахъ, родная,
Здорова ли? Присядь, присядь!
Здорова ли?» повторяетъ мать,
Съ улыбкой слезы утирая:
«Легко ль! недѣлю не была!
Ужъ я тебя ждала, ждала!
Ну, какъ живешь?» И осторожно
О всякой мелочи ничтожной
Ее распроситъ. «Ты смотри,
Ты не таись, молъ, говори...
Все хорошо? Ну, слава Богу!»
И въ лавочку черезъ дорогу
Съ копѣйкой трудовой спѣшитъ

И Сашу чаемъ угоститъ.
Свой садъ старушка позабыла:
Мать столяра ей досадила
Упрекомъ, бранью каждый день
Черезъ изломанный плетень:
— Здорово, другъ! въ саду гуляешь?
Хозяйка! яблоки считаешь?
Ты не пускай къ намъ куръ на дворъ,
Поймаю, — прямо подъ топоръ! —
Арина головой качала
И ничего не отвѣчала.
Она не зла, молъ... это такъ:
Всему причина — Сашинъ бракъ.

Лукичъ на рынкѣ ежедневно
Встрѣчался съ зятемъ. Всякій вздоръ
Входилъ въ ихъ длинный разговоръ,
Оканчиваясь непремѣнно
Разумнымъ толкомъ о дѣлахъ:
О добротѣ хлѣбовъ въ поляхъ,
О томъ, что мужики умнѣютъ,
Не такъ легко въ обманъ идутъ,
Что краснорядцы богатѣютъ:
За рубль по гривнѣ отдаютъ...
Лукичъ смѣялся: «просто — чудо!
Глупа ты, матушка Москва!
Всѣмъ вѣришь!» — Этимъ и жива.
Не ошибется... А не худо
Того-съ... — зять добрый замѣчалъ
И тестя къ чаю приглашалъ.

Онъ, видно, мнѣ не довѣряетъ,
Тесть думалъ: право, не поймешь...
И чаемъ вдоволь угощаетъ,

И льститъ, — а толку ни на грошъ.
Я говорю, къ примѣру, буду
Тебѣ въ торговлѣ помогать,
Чужихъ равно, молъ, нанимать...
— Извольте-съ! я васъ не забуду.
У насъ торговый оборотъ
Зимою-съ... вотъ зима придетъ.
Посмотримъ, какъ зима настанетъ...
Ну, если онъ меня обманетъ,
И я останусь въ дуракахъ,
Безъ дома, съ сумкой на плечахъ?
За что́ же такъ? Дитя родное
Принудилъ. Самъ теперь въ долгу...
Нѣтъ, это черезчуръ! пустое!
Нельзя! и думать не могу!

XVIII.

Настала осень. Скученъ городъ.
Дожди, туманы, рѣзкій холодъ,
Ночь черная и сѣрый день, —
И по нуждѣ покинуть лѣнь
Свой теплый уголъ. Вечерами
Вороны, галки надъ садами
Кричатъ, сбираясь на ночлегъ.
Порой нежданный, мокрый снѣгъ
Кружится, кровли покрываетъ,
Къ лицу и платью пристаетъ,
И снова мелкій дождь пойдетъ,
И вѣтеръ свистомъ досаждаетъ.
Куда ни глянешь, — ручейки,
Да грязь и лужи. Окна плачутъ,
И, морщась, пѣшеходы прячутъ
Свои носы въ воротники.

Лукичъ съ досадой молчаливой
Поглядывалъ нетерпѣливо
На небо, снѣга поджидалъ
И непогоду проклиналъ.
На рынкѣ нечѣмъ поживиться:
Дороги плохи, нѣтъ крестьянъ;
Ходи, глотай сырой туманъ,
Пришлось хоть воздухомъ кормиться!
На зло кулакъ-молокососъ
Надъ нимъ трунитъ: «Повѣсилъ носъ!
Неволя по грязи шататься!
Не молодъ, время отдохнуть
И честнымъ промысломъ заняться!
Сидѣлъ бы съ чашкой гдѣ-нибудь ..»
Сюртукъ въ дырахъ, сквозь крышу льется,
Въ окошки дуетъ, печь худа,
На что́ ни взглянешь, — сердце рвется,
Хоть умереть, такъ не бѣда!

Дождь каплетъ. Темными клоками,
Рѣдѣя, облака летятъ.
Вороны на плетнѣ сидятъ,
Такъ мокры, жалки! Подъ ногами
Листы поблеклые шумятъ.
Садъ тихъ. Деревья почернѣли,
Стыдясь невольной наготы;
Въ туманѣ прячутся кусты;
Грачей пустыя колыбели
Качаетъ вѣтеръ, и мертва
Къ землѣ припавшая трава.

Лукичъ стоитъ подъ старой ивой,
Въ рукѣ топоръ, въ глазахъ печаль.
Пришлось бѣднягѣ на топливо

Рубить деревья, — крѣпко жаль,
Да надо: все дровамъ замѣна,
Ихъ въ цѣломъ домѣ ни полѣна...
И засучилъ онъ рукава.
Что́ жь выбрать? Эти дерева
Своей рукой отецъ покойный
Ему на память посадилъ,
Подъ этой ивой онъ любилъ
Вздремнуть на травкѣ въ полдень знойный...
«Эхъ-ма! нужда!» Топоръ стучитъ —
Съ плетня вороны улетаютъ,
А щепки воздухъ разсѣкаютъ, —
И ива, падая, скрипитъ.

Старушка печку затопила,
Лукичъ на коникѣ прилегъ.
«О чемъ грустишь?» жена спросила.
— Такъ, что-то мочи нѣтъ, продрогъ.—
«Что зять-то? какъ?»

— Смотри за щами,
Въ мужское дѣло не входи! —
«О-охъ, не ошибись, гляди!
Домъ заложилъ... что́ будетъ съ нами,
Когда не выкупимъ?»

— Опять!
Нельзя, къ примѣру, помолчать? —

Дверь отворилась, и горбатый,
Въ халатѣ, съ палкой суковатой,
Длиннобородый мужичокъ
Сказалъ съ поклономъ: «Встань, дружокъ!
Хозяинъ умный, тороватый!

Явился гость, — и ты не радъ,
И я, соколъ, невиноватъ.
— Мы погодя побалагуримъ.
Ты кто? Зачѣмъ?—

«Да встань-ко, встань!
Не погоняй! кнута не любимъ...
Теперь подушное достань».
—Ты, знать, отъ старосты? Разсыльный? —
«Узналъ, сударикъ мой, узналъ!»
— Присядь: ты, кажется, усталъ...
Ну, что́ сегодня? Вѣтеръ сильный?...
Я, знаешь, все въ избѣ сижу,
На дворъ, къ примѣру не хожу,
Нога болитъ. —

«Хэ-хэ! проказникъ!
Испилъ воды на свѣтлый праздникъ!
Болитъ съ похмѣлья голова...
Хитеръ на красныя слова!»
— Чего! ей-ей, болитъ! безъ шутокъ! —
Вотъ видишь!... Охъ! не наступлю! —
«Хэ-хэ, сударикъ мой, люблю!
Нужда горька безъ прибаутокъ...
Достань-ко деньги-то, родной,
Инъ — къ старостѣ пойдемъ со мной».
— Да я бы радъ! недугъ проклятый!
Какъ быть? —

«Подушное платить!
Я вотъ старикъ, и самъ-девятый
Живу — плачу!... не стать-тужить.
Шесть душъ дѣтей, жена седьмая,
Да я съ горбомъ... Пойдемъ, пойдемъ!

Какая тамъ нога больная!»
— Скажи, что дома не засталъ,
Изъ города, молъ, отлучился... —
И въ кошелькѣ Лукичъ порылся,
Послѣднiй гривенникъ досталъ.
«Хэ-хэ, сударикъ, маловато!»
— Ей-Богу, больше гроша нѣтъ! —
«Ну, за тобою, дѣло свято...
Прощай покудова, мой свѣтъ!»
«Теперь на хлѣбъ добудь, гдѣ знаешь!»
Лукичъ подумалъ — и вздохнулъ,
И кошелекъ на столъ швырнулъ.
«Не радъ хромать, да захромаешь!
Попробуй-ка пожить вотъ-такъ...
А, вѣдь, кричатъ: кулакъ! кулакъ!»

XIX.

Вотъ и зима. Трещатъ морозы.
На солнцѣ искрится снѣжокъ.
Пошли съ товарами обозы
По Руси вдоль и поперекъ.
Ползетъ, скрипитъ дубовый полозъ,
Рѣка ли, степь ли, — нѣтъ нужды:
Вездѣ проложатся слѣды!
На мужичкѣ бѣлѣетъ волосъ,
Но веселъ онъ; идетъ-кряхтитъ,
Казну на холодѣ копитъ.

Кому путекъ, кому дорога —
Аринѣ дома дѣла много!
Вставая съ раннею зарей,
Она ходила за водой;

Порой бѣлье чужое мыла.
Дескать, работа не порокъ,
Все будетъ хлѣбушка кусокъ;
Порою и дрова рубила,
Когда Лукичъ на печкѣ спалъ,
Похмѣлье храпомъ выгонялъ;
Отъ стужи кашляла, терпѣла
И на послѣдокъ заболѣла.
Лежитъ недѣлю, — легче нѣтъ;
Уста спеклись, все тѣло ноетъ;
Едва глаза она закроетъ,
Живьемъ изъ мрака прежнихъ лѣтъ
Встаютъ забытыя видѣнья...
Вотъ вспомнилась съ грозою ночь:
Въ густомъ саду шумятъ деревья,
Изъ теплой колыбели дочь
Головку въ страхѣ поднимаетъ,
И громко плачетъ, и дрожитъ,
А мужъ неистово кричитъ
И стулъ, шатаясь, разбиваетъ....
Вдругъ тихо. Вотъ ея сынокъ,
Малютка, убранный цвѣтами,
Покоится подъ образами;
Блеститъ въ лампадкѣ огонекъ,
Въ углу кадильница дымится,
Столъ бѣлой скатертью накрытъ,
Подъ кисеей младенецъ спитъ,
Она отъ вѣтра шевелится,
А солнце въ горенку глядитъ,
На трупѣ весело играя....
И мечется въ жару больная,
Въ ушахъ звенитъ, въ глазахъ темно,
Изъ глазъ ручьями слезы льются,
Межъ тѣмъ какъ съ улицы въ окно

Къ ней звуки музыки несутся, —
Тамъ, свадьбу празднуя, идетъ
Съ разгульнымъ крикомъ пьяный сбродъ...
Въ борьбѣ съ мучительнымъ недугомъ,
Смотря безсмысленно кругомъ,
Старушка встанетъ и потомъ,
Вся потрясенная испугомъ,
Со стономъ снова упадетъ
И дочь въ безпамятствѣ зоветъ.

Лукичъ измучился съ больною:
Самъ кой-какъ печку затоплялъ
И непривычною рукою
Себѣ обѣдъ приготовлялъ.
Спѣшилъ на рынокъ, съ рынка снова
Жену провѣдать приходилъ,
Малиной теплою поилъ:
Вспотѣешь, будешь, молъ, здорова,—
И снова домъ свой покидалъ,
Куска насущнаго искалъ.

Вотъ входитъ Саша. Мать больная,
Кряхтя, ей дѣлаетъ упрекъ:
«Ты рѣдко ходишь, мой дружокъ;
Я умираю, дорогая...
Охъ, тошно! такъ и давитъ грудь!
Хоть бы на солнышко взглянуть,
Все снѣгъ, да снѣгъ!...»

— Я къ вамъ хотѣла
Вчера придти, да то дѣла,
То гости... — Саша солгала;
Свекровь ей просто не велѣла,
Не приказалъ и мужъ: авось

Еще, молъ, свидишься, небось!
Старушка ложь подозрѣвала,
По голосу ее узнала,
А голосъ Саши грустенъ былъ!
«Дитя мое, я... Богъ судилъ...
Дай руку!... дай, моя родная!
Такъ... крѣпче жми! ну, вотъ теперь
Легко...» И плакала больная,
Рыдала дочь. Безъ шума въ дверь
Входила смерть.

Былъ темный вечеръ.
Порывистый холодный вѣтеръ
Въ трубѣ печально завывалъ.
Лукичъ встревоженный стоялъ
У ногъ Арины. Дочь глядѣла
На умирающую мать,
И все сильнѣй, сильнѣй блѣднѣла.
Старушка стала умолкать
И постепенно холодѣла,
И содроганья ногъ и рукъ,
Послѣдній знакъ тяжелыхъ мукъ,
Ослабѣвали. Вдругъ, рыдая,
Упала на колѣни дочь:
«Благослови меня, родная!»
— Отецъ твой... нищій... ты помочь
Ему... нашъ домъ... и рѣчь осталась
Неоконченной, — и тихій стонъ
Смѣнилъ слова. Но вотъ и онъ
Умолкъ. Развязка приближалась:
Въ тоскѣ подъятая рука,
Какъ плеть, упала. Грудь слегка
Приподнялась и опустилась,
Дыханье рѣже становилось,

Взоръ неподвижный угасалъ,
По тѣлу трепетъ пробѣжалъ,—
И стихло все... Не умолкалъ
Лишь бури вой.

«Одинъ остался!
Одинъ, какъ перстъ!» Лукичъ сказалъ,
Закрылъ лицо — и зарыдалъ...

Уснуло доброе созданье!
Жизнь кончена. И какъ она
Была печальна и бѣдна!
Стряпня и вѣчное вязанье,
Забота въ домѣ приглядѣть,
Да съ голоду не умереть!
На пьянство мужа тайный ропотъ,
Порой побои отъ него,
Про бытъ чужой несмѣлый шопотъ,
Да слезы... больше ничего!
И эта мелочь мозгъ сушила
И человѣка въ гробъ свела!
Страшна ты, роковая сила
Нужды и мелочнаго зла!
Какъ громъ, ты не убьешь мгновенно,
Войдешь ты, — полъ не заскрипитъ,
А душишь, душишь постепенно,
Покуда жертва захрипитъ!

Съ разсвѣтомъ буря замолчала.
Арина на столѣ лежала.
Въ лампадкѣ огонекъ сіялъ;
Онъ какъ-то странно освѣщалъ
Лицо покойницы-старушки,
И неподвижной и нѣмой,

И бѣлые углы подушки,
Прижатой мертвой головой.
Убитый горемъ и тоскою,
Передъ иконою святою
Лукичъ всю ночь Псалтирь читалъ.
Унылъ и тихъ его былъ голосъ;
Отъ страха жосткій, черный волосъ
На головѣ не разъ вставалъ.
Казалось, строго и сурово
Глядѣла блѣдная жена;
Раба доселѣ, съ жизнью новой
Вдругъ измѣнилася она,—
Свою печаль припоминала
И мужу казнью угрожала...
Старикъ внимательнѣй читалъ
И ничего не понималъ.
Всѣ буквы, мнилось, оживали,
Плясали, разбѣгались вдругъ...
При оборотѣ издавали
Листы какой-то чудный звукъ...

Межъ тѣмъ сосѣдки понемногу
Набились въ горенку. Однѣ
Вздыхали и молились Богу,
Другія въ грустной тишинѣ
Съ тяжелой думою стояли,
Иль объ усопшей толковали,
Что, вотъ-де, каковы дѣла —
Жила, жила, — да умерла!
Мать столяра въ углу стояла,
Съ кумой любимою шептала:
«Вѣдь, на покойницѣ платокъ,
Что́ тряпка... ай-да муженекъ!
Убралъ жену, кулакъ проклятый!

О платьѣ и не говорю —
Я вчужѣ отъ стыда горю:
Съ заплатой, кажется, съ заплатой!...
А дочь слезинки не прольетъ...
Вотъ срамъ-то! инда зло беретъ!
Ахъ, я тебѣ и не сказала!
Она за сына моего
Хотѣла выйдти... каково?
Да я-то шишъ ей показала!
И мать-то, помянуть не тѣмъ,
Глупа была, глупа совсѣмъ!»

Сосѣдки вышли. Сталъ совѣта
Отецъ у дочери просить:
«Ну, Саша! мать вотъ неотпѣта,
Гдѣ деньги? чѣмъ мнѣ хоронить?»
— Мой мужъ поможетъ. Попросите
Здѣсь посидѣть кого-нибудь
И вслѣдъ за мною приходите. —
«Да! надо, надо шею гнуть!
И по-дѣломъ мнѣ! охъ, какъ стою!»
И крѣпко жилистой рукою,
Остановя на трупѣ взоръ,
Свой блѣдный лобъ старикъ потеръ.

XX.

Румянъ, плечистъ, причесанъ гладко,
Тарасъ Петровичъ за тетрадкой
Въ рубашкѣ розовой сидѣлъ,
На цифры барышей глядѣлъ
И улыбался. Подъ рукою
Сіяли проволоки щотъ;

Зеленый плющъ надъ головою
Висѣлъ съ окна. Полна заботъ,
За чаемъ Саша хлопотала.
Пѣлъ пѣсни свѣтлый самоваръ;
Въ лежанкѣ загребенный жаръ
Краснѣлъ; струей перебѣгало
По углямъ полымя. И вдругъ
Часы издали странный звукъ,
Шипѣли долго и лѣниво,
И, съ пятнышками вмѣсто глазъ,
Кукушка сѣрая тоскливо
Прокуковала восемь разъ.

Лукичъ вошелъ, — и сердце сжалось
У Саши. Жалокъ былъ отецъ!
Оборванъ, блѣденъ... грусть, казалось,
Его убила наконецъ.
Едва старикъ перекрестился,
Румяный зять его вскочилъ
И сожалѣнье изъявилъ,
Что доброй тещи онъ лишился,
«Мнѣ, молъ, жена передала,
Святая женщина была!...»
— Вотъ надо справить погребенье...
Нѣтъ гроба... сдѣлай одолженье...
Дай по́мочь! —

«Отъ добра не прочь,
Зачѣмъ родному не помочь?...
Гм... жаль! я думаю — простуда?»
— Богъ знаетъ что́, да умерла. —
«Я полагаю-съ, смерть пришла...
Вотъ выпейте чайку покуда».
— Благодарю! не до того. —

«Напрасно-съ, это не мѣшаетъ:
Онъ эдакъ грудь разогрѣваетъ...»
— Да я не зябну. Ничего...
Не позабудь, къ примѣру, въ горѣ!
«Вотъ ключь позвольте отыскать...
Я много не могу вамъ дать,
Не то что... да-съ! Нѣтъ денегъ въ сборѣ».
— Не добивай! я такъ убитъ! —
«О томъ никто не говоритъ!
На счетъ того-съ... оно, конечно,
Родню позабывать грѣшно,
Да, вѣдь, грѣшно и жить безпечно,
Да-съ! поскользнетесь неравно!
На васъ вотъ тулупишко рваный,
Изъ сапоговъ носки глядятъ,
А вы намедни были пьяны...
Выходитъ, кто же виноватъ?»
— Охъ, знаю, другъ мой! Все я знаю!
Вѣдь, пьетъ неволя иногда!
Ты думаешь, мнѣ нѣтъ стыда,
Что плутовствомъ я промышляю,
Хитрю, ѣмъ хлѣбъ чужой, какъ воръ?—
«Разсчетъ въ торговлѣ не укоръ...
Все это пустяки — и только,
На печкѣ хочется лежать!
На рынкѣ горько промышлять,
Ну-съ, а просить теперь — не горько?»
— Вѣстимо... если-бы ты зналъ!
Осмѣянъ всѣми, обнищалъ,
Тутъ совѣсть не даетъ покою...
Зять! не пусти меня съ сумою!
Дай мнѣ подъ старость отдохнуть!
Поставь меня на честный путь!
Дай дѣло мнѣ! Господь порука, —

Не буду пить и плутовать! —
«Привыкли-съ. Трудно перестать!
Вотъ, значитъ, вамъ впередъ наука...
На похороны помогу,
Насчетъ другаго-съ, — не могу».
— И съ бородою посѣдѣлой
Опять мнѣ грабить мужиковъ?
Пойми ты, доброе ли дѣло!
Неужто воръ я изъ воровъ!
Зять! Богомъ, значитъ, умоляю,
Подумай! Выручи! —

«Опять!
Охота вамъ слова терять!
Нельзя-съ! По чести завѣряю....
Рубль серебра, извольте, дамъ».
— Такъ я, выходитъ, по домамъ
На тѣло мертвое сбираю....
Ну, есть ли стыдъ въ тебѣ и честь?
Вѣдь, я не нищій! я твой тесть!
Вѣдь, я прошу не подаянья, —
Взаемъ. Ты слышишь, или нѣтъ? —
«А я даю изъ состраданья,
Не то что... да-съ! и мой совѣтъ:
Не надо брезгать».

Саша встала.
Негодованія полна,
Казалось, выросла она
И мужу съ твердостью сказала:
«Я свой салопъ отдамъ въ закладъ —
И мать похороню!»

— Чудесно-съ!
Гм.... дочка нѣжная.... извѣстно-съ....

Хе-хе! Бываетъ — не велятъ! —
«Ну, если такъ, найду другое...
Вотъ обручальное кольцо...»
И Саши блѣдное лицо
Покрылось краскою.

— Пустое!
Не смѣешь, значитъ! —

«Саша, Саша!
Оставь! схоронимъ какъ-нибудь!»
Отецъ сказалъ.

— Нѣтъ, воля ваша!
Ужь у меня изныла грудь
Отъ этой жизни.... я молчала...
Онъ мягко стелетъ, жестко спать...
Пусть бьетъ! я не хочу скрывать!
Больною мать моя лежала,
Я мать провѣдать не могла!
Боится — столяра увижу...—
«Столяръ мнѣ что? молва была...
Онъ плутъ! плутовъ я ненавижу.
Мужъ хоть и лыкомъ шитъ, — люби,
Да знай стряпню, да не груби,
На то жена!»

— О, будь увѣренъ!
Я буду стряпать и молчать!
Но подъ замкомъ себя держать
Я не позволю!....—

«Не намѣренъ....
Нельзя-съ, законная жена....

А мужа ты любить должна —
Вотъ только!»

Саша улыбнулась.
Мужъ отъ улыбки поблѣднѣлъ,
Но вмигъ собою овладѣлъ.
«Все вздоръ! изъ пустяковъ надулась!
Объ этомъ мы поговоримъ
Наединѣ-съ... А вотъ роднымъ
Поможемъ. Нужно — и дадимъ.
Держите, батенька, Богъ съ вами!»

Тесть, молча, подаянье взялъ,—
И точно память потерялъ:
Пошевелилъ слегка губами,
На зятя кинулъ мутный взоръ
И крупный потъ на лбу отеръ.
«А вамъ пора за умъ приняться!
Прибавилъ зять: вы нашъ родной,
Не съ поля вихорь, не чужой.
А съ пьянымъ нечего мнѣ знаться!»

Старикъ съ поклономъ вышелъ вонъ.
О чемъ-то, бѣдный, думалъ онъ?
Но вѣрно думою печальной
Былъ возмущенъ: на рынокъ шелъ —
И, Богъ вѣсть почему, забрелъ
Въ какой-то переулокъ дальной;
Опомнившись, взглянулъ кругомъ, —
И зятя назвалъ подлецомъ.

Добычи рыночной остатокъ,
Давно Лукичъ рублей десятокъ
Въ жилетѣ плисовомъ берегъ.

Теперь вотъ зять ему помогъ,
На все достало, слава Богу!
Купилъ онъ ладону, свѣчей,
Изюму, меду, калачей,
Вина, — конечно, по-немногу;
Поденьщиковъ приговорилъ
Могилу рыть и гробъ купилъ.
Принесъ его въ свою избушку,
Перекрестился, крышку снялъ,
На днѣ холстину разостлалъ,
Съ молитвой положилъ старушку,
Съ молитвою свѣчу зажегъ, —
И сѣлъ въ раздумьи въ уголокъ.
Курился ладонъ. Все молчало.
Играло солнце на стѣнѣ,
Бѣлѣлись свѣчи на окнѣ,
Стекло алмазами сверкало,
Старушка, мнилося, спала,—
Такъ въ гробѣ хороша была!
«Вотъ, думалъ онъ, вотъ жизнь-то наша!
Не даромъ сказано, что́ цвѣтъ,
Ногою смялъ его и нѣтъ.
Умру и я, умретъ и Саша,
И ни одна душа потомъ
Меня не вспомнитъ... Боже, Боже!
А, вѣдь, и я трудился тоже,
Весь вѣкъ и худомъ и добромъ
Сбивалъ копѣйку. Зной и холодъ,
Насмѣшки, брань, укоры, голодъ,
Побои — все переносилъ!
Изъ-за чего? Ну, что́ скопилъ!
Тулупъ остался, да рубаха,
А кралъ безъ совѣсти и страха!
Охъ, горе, горе! Вѣдь, метла

Годится въ дѣло! что́-же я-то?
Что́ я-то сдѣлалъ кромѣ зла?
Вотъ свѣчи... гробъ... гдѣ это взято?
Крестьянинъ, мужичекъ-бѣднякъ
На пашнѣ потомъ обливался
И продалъ рожь... а я, кулакъ,
Я, пьяница, не побоялся,
Не постыдился никого,
Какъ воръ безсовѣстный, обмѣрилъ,
Ограбилъ, осмѣялъ его —
И смертной клятвою увѣрилъ,
Что я не плутъ!... Все терпитъ Богъ!...
Вотъ зять, какъ нищему, помогъ...
Въ глазахъ мутилось, сердце ныло, —
Я въ поясъ кланялся, просилъ!...
А, вѣдь, и я добро любилъ,
Оно, вѣдь, дорого мнѣ было!
И смѣлъ, и молодъ, помню, разъ
Въ грозу и въ непогодь весною
Я утопающаго спасъ.
Когда онъ съ мокрой головою,
Нагой, на берегу лежалъ,
Открылъ глаза, пошевелился
И крѣпко руку мнѣ пожалъ...
Я, какъ ребенокъ, зарыдалъ
И радостно перекрестился!
И все пропало! Все забылъ!...»

И голову онъ опустилъ;
И, задушить его готова,
Вся мерзость, прожитая снова,
Съ укоромъ грознымъ передъ нимъ
Стояла призракомъ нѣмымъ.

Бѣднякъ! бѣднякъ! печальной доли
Тебя урокъ не вразумилъ!
Своихъ цѣпей ты не разбилъ,
Послушный рабъ безсильной воли!
Ты понималъ, что честный трудъ
И путь иной тебѣ возможенъ,
Что ты, добра живой сосудъ,
Не совершенно уничтоженъ;
Ты плакалъ и на помощь звалъ...
Подхваченный нужды волнами,
Въ послѣдній разъ взмахнулъ руками
И... въ грязномъ омутѣ пропалъ!...

XXI.

Бѣгутъ часы, идутъ недѣли,
Чредѣ обычной нѣтъ конца!
Кричитъ младенецъ въ колыбели,
Несутъ въ могилу мертвеца.
Живи, трудись, людское племя,
Вопросы мудрые рѣшай,
Сырую землю удобряй
Своею плотью!... Время, время!
Когда твоя устанетъ мочь?
Какъ страшный жерновъ день и ночь,
Вращаясь силою незримой,
Работаешь неудержимо
Ты въ Божьемъ мірѣ. Дѣла нѣтъ
Тебѣ до нашихъ слезъ и бѣдъ!
Ихъ доля — вѣчное забвенье!
Ты дашь широкій оборотъ, —
И ляжетъ прахомъ поколѣнье,
Другое очереди ждетъ!

Прошло два года. Дымъ столбами
Идетъ изъ трубъ. Снѣгъ порошитъ.
Чуть солнце сквозь туманъ глядитъ,
Не грѣя блѣдными лучами.
Старушка добрая, зима
Покрыла шапками дома.
Заутра Рождество святое.
Санями рынокъ запруженъ,
Торговлей шумной оживленъ.
Желудка рабъ, какъ все живое,
Народъ кишитъ вокругъ цыплятъ,
Гусей, свиней и поросятъ.

«Пошелъ налѣво!» торопливо
Скобѣетъ кучеру кричитъ
И палкой нищему грозитъ:
«Ты что́ присталъ?» Но вдругъ учтиво
Кивнулъ кому-то головой:
«Деревня Долбина за мной!
Съ торговъ... поздравьте...» — Ой, пропала!
Ахъ, чтобъ вамъ не было добра!
Вотъ мужичье!... — Мать столяра
Едва подъ лошадь не попала,
Къ горшкамъ съ кумою отошла,
Бесѣду снова повела:
— И говорю я это сыну:
«Оставь, молъ, ты свою кручину!»
Нѣтъ! долго Сашу вспоминалъ!
И вотъ что́ было — запивалъ!
Теперь ни-ни! Взялся за дѣло...
Поди ты! не женю никакъ,
Прошу, прошу, — такой дуракъ!
Вишь рано... время не приспѣло...
Да вретъ онъ! Это ничего!
Ужъ уломаю я его! —

Вотъ и столяръ. Его походка
Размашиста. Тулупъ косматъ.
Пробилась русая бородка,
И веселъ соколиный взглядъ;
Лицо отъ холода краснѣетъ,
На кудряхъ иней. Впереди
Толпа зѣвакъ. Она густѣетъ.
Бѣднякъ-Лукичъ посереди.
Мужикъ съ курчавой бородою,
Взбѣшенный, жилистой рукою
Его за шиворотъ держалъ,
И больно билъ, и повторялъ:
«Вотъ эдакъ съ вами! эдакъ съ вами!»
Старикъ постукивалъ зубами,
Халатъ съ разорванной полой
Отъ вѣтра въ воздухѣ мотался,
И кровь на бородѣ сѣдой
Застыла каплями...

«Попался!
Кричалъ народъ: тряхни его!
Тряхни получше! ничего!»
— Не бей по шапкѣ! Одурѣетъ! —
«Не смѣетъ бить! На это судъ
Расправа, значитъ... бить не смѣетъ!»
— Валяй! Тамъ послѣ разберутъ! —
Но вдругъ столяръ рукою смѣлой
Толпу раздвинулъ: «Стой! за что́?»
— А не обвѣшивай! за то...
Мужикъ отвѣтилъ: наше дѣло!
Я продалъ шерсть, а онъ того...
Обвѣсилъ — вонъ-що́! —

«Брось его!
Ты кто? Разбойникъ? Смѣешь драться?

Не знаешь, — отдерутъ кнутомъ!
Чего ты, Карпъ Лукичъ? Пойдемъ!»
— Проваливай! Не станемъ гнаться!
Вотъ незамай онъ покряхтитъ:
Въ бокахъ-то у него лежитъ! —

«Эхъ, съ этимъ не дошло до драки!
Жалѣли, расходясь, зѣваки:
А молодецъ куда горячъ!
И статенъ! то-то, чай, силачъ!»

«Сосѣдъ! Ну, какъ тебѣ не стыдно!
Столяръ дорогой говорилъ:
Весь помертвѣлъ... лица не видно...
Что завтра? Вспомни!»

— Согрѣшилъ!
Обвѣсилъ... не во что одѣться...
Озябъ... и нечѣмъ разговѣться.—
«А зять?...»

— Мошенникъ! Охъ, продрогъ! —
«Ну, Саша?»

— Саша помогаетъ...
Въ постели... кровью все перхаетъ...
Охъ, больно!... Заложило бокъ...—
«Эхъ, Карпъ Лукичъ!»

— Молчи! я знаю!
Сгубилъ я дочь свою, сгубилъ! —
«Нѣтъ, я не то... не попрекаю.
Мнѣ жаль тебя: сосѣдомъ былъ...
Бѣдняга! Выгнали изъ дома...

Да ты идешь едва-едва.
Квартира гдѣ?»

— У Покрова.
Нетоплена. Постель — солома.
Привыкъ, къ примѣру... Охъ, продрогъ!—
«Слышь, Карпъ Лукичъ! Ты не сердися...
Вотъ деньги есть. Не откажися,
Возьми на праздникъ. Видитъ Богъ,
Даю изъ дружества. Вѣдь, хуже
Обманывать, дрожать на стужѣ...
Возьми, пожалуйста, сосѣдъ!
Ну, хоть взаемъ... какъ знаешь!»

— Нѣтъ!
Я виноватъ передъ тобою:
Ты съ Сашей росъ... —

«Оставь! пустякъ!
Угодно было Богу такъ.
Возьми! Ты, слышь, не спорь со мною:
Въ карманъ насильно положу,
Вотъ нà!... и руки подержу».
— Покинь! Мнѣ стыдно! —

«Знаю, знаю!
А ты не вынимай назадъ:
Я, чтó родному, помогаю,
Не то что, значитъ... чѣмъ богатъ!
Утри-ко лучше кровь полою,
Неловко... Стой! Господь съ тобою!
Ты плачешь?»

— Ничего, пройдетъ.
Я такъ. Озябъ... Вода течетъ...

Сегодня въ воровствѣ поймали,
Прибили... милостыню дали...
А дочь... Проклятый зять! Прощай! —
«Да брось его! не поминай!
Вотъ завтра праздникъ, дѣлъ-то мало,
Ты завернешь въ мой уголокъ,
Мы потолкуемъ, какъ бывало,
Ну, да! присядемъ за пирогъ...
Ты просто приходи къ обѣду:
Равно!» И старому сосѣду
Онъ руку дружески пожалъ
И на прощанье шапку снялъ.

Лукичъ съ разорванной полою
Побрелъ одинъ. Взглянулъ кругомъ, —
Знакомыхъ нѣтъ; махнулъ рукою, —
И завернулъ въ питейный домъ.

Прощай, Лукичъ! Не разъ съ тобою,
Когда мой домъ объятъ былъ сномъ,
Сидѣлъ я, грустный, за столомъ,
Подъ гнетомъ думъ, ночной порою!
И мнѣ по твоему пути
Пришлось-бы, можетъ быть, идти,
Но я избралъ иную долю...
Какъ узникъ, я рвался на волю....
Упрямо цѣпи разбивалъ!
Я свѣта, воздуха желалъ!
Въ моей тюрьмѣ мнѣ было тѣсно!
Ни силъ, ни жизни молодой
Я не жалѣлъ въ борьбѣ съ судьбой!

Во благо-ль? Небесамъ извѣстно....
Но блага я просилъ у нихъ!
Не ради шутки, не отъ скуки,
Я, какъ умѣлъ, слагалъ мой стихъ,—
Я воплощалъ боль сердца въ звуки!
Моей душѣ была близка
Вся грязь и бѣдность Кулака!
Мой братъ! никто не содрогнется,
Теперь взглянувши на тебя!
Пройдетъ, быть-можетъ, посмѣется,
Потѣху пошлую любя....
Ты сгибъ, но велика-ль утрата?
Васъ много! Тысячи кругомъ,
Какъ ты, погибли подъ ярмомъ
Нужды, невѣжества, разврата!
Придетъ ли наконецъ пора,
Когда блеснутъ лучи разсвѣта;
Когда зародыши добра
На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,
Взойдутъ, созрѣютъ въ свой чередъ
И принесутъ сторичный плодъ;
Когда минетъ проказа вѣка
И воцарится честный трудъ,
Когда увидимъ человѣка,—
Добра божественный сосудъ?...



ПОѢЗДКА НА ХУТОРЪ.

ПОѢЗДКА НА ХУТОРЪ.

(Отрывокъ изъ поэмы „Городской Голова“).

Ужъ кони у крыльца стояли;
От нетерпѣнья коренной
Сухую землю рылъ ногой;
Порой бубенчики звучали.
Семенъ сидѣлъ на облучкѣ,
Въ рубашкѣ красной, кнутъ въ рукѣ;
На упряжь гордо любовался,
Глядѣлъ, глядѣлъ — и засмѣялся,
Вслухъ кореннаго похвалилъ
И шляпу на бокъ заломилъ.
Ворота настежь отворили,
Семенъ присвистнулъ,—туча пыли
Вслѣдъ за конями понеслась,
Не догнала — и улеглась.

По всей степи — ковыль, по краямъ—все туманъ.
Далеко, далеко отъ кургана курганъ,
Облака въ синевѣ бѣлымъ стадомъ плывутъ,
Журавли въ облакахъ перекличку ведутъ.
Не видать ни души. Тонетъ въ золотѣ день,
Пробѣжать по травѣ вѣтру сонному лѣнь.
А цвѣты-то цвѣты! какъ живые стоятъ,

Улыбаются, глазки на солнце глядятъ,
Словно рѣчи ведутъ, какъ ихъ жизнь коротка,
Коротка да безъ слезъ, отъ заботъ далека.
Вотъ и рѣчка... не вѣрь! то подъ жгучимъ лучемъ
Отливается тонкій ковыль серебромъ.
Высоко, высоко въ небѣ точка дрожитъ,
Колокольчикъ веселый надъ степью звенитъ.
Въ ковылѣ гудовень — и поютъ, и жужжатъ,
Раздаются свистки, молоточки стучатъ;
Средь дорожки глухой пыль столбомъ поднялась,
Закружилась, въ широкую степь понеслась...
На всѣ стороны путь: ни лѣсочка, ни горъ,
Необъятная гладь! неоглядный просторъ!

Мчится тройка, изъ упряжи рвется,
Не смолкаетъ бубенчиковъ звонъ,
Облачко за телѣгою вьется,
Ходитъ кругомъ земля съ двухъ сторонъ,
Путь-дорожка назадъ убѣгаетъ,
А курганы заходятъ впередъ;
Лучъ горячій на бляхахъ играетъ,
То подкова, то шина блеснетъ,
Кучеръ къ мѣсту какъ-будто прикованъ,
Руки вытянулъ, возжи въ рукахъ,
Синей степью сѣдокъ очарованъ: —
Любо сердцу, душа вся въ очахъ!

«Не погоняй, Семенъ! устали!»
Хозяинъ весело сказалъ, —
Но кони съ версту пробѣжали,
Пока ихъ кучеръ удержалъ.
Лѣниво катится телѣга,
Хруститъ подъ шинами песокъ;
Вздохнетъ и стихнетъ вѣтерокъ;

Надъ головою блескъ и нѣга.
Воздушный продолжая бѣгъ,
Сверкаютъ облака, какъ снѣгъ.
Жара. Вотъ оводъ закружился,
Гудетъ, на коренную сѣлъ;
Съ просонокъ кучеръ изловчился,—
Хвать кнутовищемъ, — улетѣлъ!
Ну, погоди! — Передъ глазами
Мелькаютъ пестрые цвѣты.
Умъ занятъ прежними годами,
Иль праздно погруженъ въ мечты,
Евграфъ вздохнулъ. Воображенье
На память дѣтство привело:
Въ просторной комнатѣ свѣтло;
Складовъ томительное чтенье
Тоску наводитъ на него.
За дверью шумъ: отецъ его
Торгуетъ что-то... Слышны споры,
О дегтѣ, лыкахъ разговоры,
И серебра, и рюмокъ звонъ...
А садъ сіяньемъ затопленъ...
Тамъ зелень, листьевъ трепетанье,
Тамъ лепетъ, пѣнье и жужжанье —
И голоса ему звучатъ:
Иди-же въ садъ! иди-же въ садъ! —
Вотъ онъ въ гимназію отправленъ,
Подросъ и умный ученикъ;
Но какъ-то нелюдимъ и дикъ,
Кружкомъ товарищей оставленъ.
День сѣрый. Въ классѣ тишина.
Вопросъ учитель предлагаетъ;
Евграфъ удачно отвѣчаетъ,
Восторга грудь его полна.
Наставникъ строго замѣчаетъ:

«Мѣщанскій выговоръ у васъ!»
И весело хохочетъ классъ,
Евграфъ блѣднѣетъ. — Вотъ онъ дома:
Ему торговля ужъ знакома.
Но, Боже! эти торгаши!...
Но это смрадное болото,
Гдѣ ихъ умомъ, душой, работой
До гроба двигаютъ гроши!
Гдѣ все безсмысленно и грязно,
Гдѣ все коснѣетъ и гніетъ!...
Тамъ ужасъ сердце обдаетъ!
Тамъ вѣетъ смертью безобразной!...

Но вотъ, знакомый изволокъ.
Ужъ видѣнъ хуторъ одинокой,
Затерянный въ степи широкой,
Какъ въ синемъ морѣ островокъ.
Гумно заставлено скирдами,
Передъ избою на шестѣ
Бадья заснула въ высотѣ;
Полусклоненными столбами
Подперта рига. Тамъ—вдали
Волы у стога прилегли.
Вокругъ безлюдье. Жизни полны,
Безъ отдыха и безъ слѣда,
Бѣгутъ, бѣгутъ, Богъ вѣсть — куда,
Цвѣтовъ и травъ, и свѣта волны...

Семенъ къ крылечку подкатилъ
И тройку ловко осадилъ.
Собака съ лаемъ подбѣжала,
Но дорогихъ гостей узнала,
Хвостомъ махая, отошла
И на заваленкѣ легла.

Евграфъ прикащика Ѳедота
Засталъ въ расплохъ. За творогомъ
Сидѣлъ онъ съ заспаннымъ лицомъ.
Его печаль, его забота,
Жена смазливая — въ углу
Цыплятъ кормила на полу,
Лѣнтяемъ мужа называла,
Но вдругъ Евграфа увидала,
Смутясь, вскочила въ торопяхъ
Съ густымъ румянцемъ на щекахъ.

Прикащикъ бормоталъ невнятно:
«Здоровы ль? Очень пріятно!»
Кафтанъ поспѣшно надѣвалъ
И въ рукава не попадалъ.
«Эй, Марья! Ты бы хоть покуда...
Слѣпа! творогъ-то прибери!
Да пыль-то съ лавки, пыль сотри!...
Эхъ, баба!... Кши!... пошли отсюда!
А я того-съ... велѣлъ пахать...
Вотъ гречу будемъ засѣвать».
Евграфъ сказалъ: «давно бы время!»
Въ амбаръ прикащика повелъ
И гречу указалъ на сѣмя,
Всѣ закрома съ нимъ обошелъ;
Въ овесъ, и въ просо, и въ пшеницу
Глубоко руку погружалъ, —
Все было сухо. Приказалъ
Смѣнить худую половицу
И, выходя, на хлѣвъ взглянулъ,
Ѳедота строго упрекнулъ:
«Эхъ, братъ! навозу по колѣни...
За чѣмъ ты смотришь?»

— Все дѣла!
Запущенъ, знамо, не отъ лѣни...
Кобыла, жаль, занемогла! —
«Какая шерстью?»

— Вороная. —
Евграфъ конюшню отворилъ,
Прикащикъ лошадь выводилъ.
Съ боками впалыми, больная,
Тащилась, чуть переступая.
«Хорошъ присмотръ! опоена!»
Ему, знать, черти разсказали,
Прикащикъ думалъ.—Нѣтъ-съ, едва-ли?
Мы смотримъ. Оттого больна —
Не любитъ домовой. Бываетъ,
На ней всю ночь онъ разъѣзжаетъ
По стойлу; поутру придешь, —
Такъ у бѣдняжки потъ и дрожь. —
Евграфъ вспылилъ. «Вѣдь, вотъ мученье!
Найдетъ хоть сказку въ извиненье!»

Но, проходя межами въ полѣ,
Казалось, онъ вздохнулъ на волѣ,
Свою досаду позабылъ
И всходы зелени хвалилъ.
Прикащикъ разводилъ руками.
«Распашка много-съ помогла...
Вотъ точно пухъ земля была, —
Такъ размягчили боронами!
— Гдѣ овцы? Я ихъ не видалъ. —
«Вонъ тамъ... гдѣ кустъ-то на курганѣ».
Но взоръ Евграфа замѣчалъ
Лишь пятна сѣрыя въ туманѣ;
Что-жъ! ночью можно отдохнуть —
И онъ къ гурту направилъ путь.

Заснула степь, прохладой дышетъ.
Въ огнѣ зори полъ-неба пышетъ,
Полъ-неба въ сумракѣ виситъ,
По тучамъ молнія блеститъ;
Проворно крыльями махая,
Съ тревожнымъ крикомъ въ вышинѣ
Степныхъ гостей несется стая.
Маячитъ всадникъ въ сторонѣ,
Помчался конь, — хвостомъ и гривой
Играетъ вѣтеръ шаловливой,
При зорькѣ пыль изъ-подъ копытъ
Румянымъ облакомъ летитъ.
Не слышнымъ шагомъ ночь подходитъ,
Не мнетъ травы, — и вотъ она,
Легка, недвижна и темна,
Молчаньемъ чуткимъ страхъ наводитъ....
Вотъ снова блескъ, — и грянулъ громъ,
И степь откликнулась кругомъ.

Евграфъ къ избушкѣ торопился,
Прикащикъ слѣдомъ поспѣшалъ;
Барбосъ ихъ издали узналъ,
На встрѣчу весело пустился,
Но вдругъ на вѣтеръ поднялъ носъ,
Вдали послышавъ скрипъ колесъ, —
И въ степь шарахнулся.

За щами,
Румянъ и пóтомъ окропленъ,
Межъ тѣмъ посиживалъ Семенъ,
Его веселыми рѣчами
Была прикащика жена
Чуть не до слезъ разсмѣшена.
«Эхъ, Марья Львовна! Ты на волю

Сама недавно отошла;
Ты, значитъ, въ милости была
У барина: и чаю въ волю
Пила, и все.... А я, какъ пёсъ,
Я, какъ щенокъ, средь дворни росъ;
Ѣлъ, что́ попало. Съ тумаками
Всей барской челяди знакомъ.
Отецъ мой, знаешь, былъ псаремъ,
Да умеръ. Баринъ жилъ на-славу:
Давалъ пиры, держалъ собакъ;
Чужой-ли, свой-ли, — чуть не такъ,
Своей рукой чинилъ расправу.
Жилъ я, не думалъ, не гадалъ,
Да въ музыканты и попалъ.
Ну, воля барская, извѣстно....
Ужъ и пришло тогда мнѣ тѣсно!
Одѣли, выдали фаготъ, —
Играй! Бывало — потъ пробьетъ,
Что силы дую, — все нескладно!
Растянутъ, выдерутъ изрядно, —
Опять играй! Да цѣлый годъ
Такимъ порядкомъ дулъ въ фаготъ!
И вдругъ въ отставку: не годился!
Я радъ, — молебенъ отслужилъ,
Да, видно много согрѣшилъ:
У насъ ахтеръ вина опился —
Меня въ ахтеры.... Стало, — рокъ!
Пошла мнѣ грамота не въ прокъ!
Бывало, что́: рога приставятъ,
Твердить на память рѣчь заставятъ,
Ошибся — въ зубы! Въ гробъ-бы легъ, —
Евграфъ Антипычъ мнѣ помогъ.
Я, значитъ, зналъ его довольно,
Ну, вижу — добръ; давай просить:

«Нельзя-ль на волю откупить?»
Вѣдь, откупилъ! А было больно! —
И пятерней Семенъ хватилъ
Объ столъ. — «Эхъ-ма! собакой жилъ!»

Евграфъ за ужинъ не садился;
И не хотѣлъ, и утомился,
И свѣчу сальную зажегъ,
На лавку въ горенкѣ прилегъ.
Разъ десять Марья появлялась,
Скользитъ платокъ съ открытыхъ плечъ,
Лукавы были взглядъ и рѣчь,
Тревожно грудь приподнималась....
Евграфъ лежалъ къ стѣнѣ лицомъ
И думалъ вовсе о другомъ.
Носилась мысль его безъ цѣли;
Едва глаза онъ закрывалъ,
Въ степи ковыль припоминалъ,
Надъ степью облака летѣли;
То снова вздоръ о домовомъ
Въ ушахъ, казалось, раздавался,
Прикащикъ глупо улыбался....
«Гм... Знахарь нуженъ-съ... Мы найдемъ...»
Взялся читать, — въ глазахъ пестрѣло,
Вниманіе скоро холодѣло.
Но, постепенно увлеченъ,
Забылъ онъ все, забылъ и сонъ.

Ужъ пѣтухи давно пропѣли,
Надъ свѣчкой вьется мотылекъ;
Кругъ свѣта палъ на потолокъ,
И тишь, и сумракъ вкругъ постели;
По стекламъ красной полосой
Мелькаетъ молнія порой,

И вѣтеръ ставнемъ ударяетъ....
Евграфъ страницу пробѣгаетъ,,
Его душа потрясена,
И чтó за пѣснь ему слышна!

«Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву...»
Стоитъ Дездемона, снимаетъ уборъ,
Чело наклонила, потупила взоръ;
«Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву...»
Блѣдна и прекрасна, въ тоскѣ замираетъ,
Печальная пѣсня изъ устъ вылетаетъ:
«Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву!
Зеленая ива мнѣ будетъ вѣнкомъ....»
И падаютъ слезы съ послѣднимъ стихомъ.

Уходитъ ночь, разсвѣтъ блеснулъ,
И наконецъ Евграфъ уснулъ.



ТАРАСЪ.

ТАРАСЪ

I.

Нужда, нужда! Все старыя избенки,
Въ избенкахъ сырость, темнота;
Изъ-за куска и грязной одеженки
Всѣ бьются.... прямо нищета!

Не весела ты, глушь моя родная!
Поникли ивы надъ рѣкой,
Молчитъ дорожка, травкой заростая,
И бродитъ людъ, какъ испитой.

Вотъ ужъ вечеръ идетъ,
Росой травку кропитъ;
Въ синихъ тучахъ зоря
Разыгралась-горитъ.

Золотые дворцы
По-надъ лѣсомъ плывутъ.
Золотые сады
За дворцами ростутъ.

Черезъ синюю глубь
Мостъ янтарный виситъ...
Изъ-за темныхъ дубовъ
Ночь-царица глядитъ.

Вздохи — чары и лѣнь
Разлеглись на цвѣтахъ,
Огоньки по травѣ
Зажигаютъ въ потьмахъ.

Вотъ за горкой крутой
Колокольчикъ запѣлъ,
На горѣ призатихъ,
Подъ горой зазвенѣлъ.

Зазвенѣлъ по селу,
Въ чистомъ полѣ поетъ,
На широкій просторъ
Думу-сердце зоветъ...

Житье, житье! закованъ точно въ цѣпи,
Молчи, да чахни отъ тоски...
Эхъ, если бы махнуть мнѣ на Донъ въ степи,
Или на Волгу въ бурлаки!

Такъ изнывалъ Тарасъ отъ думъ-заботы
И, грезя про чужую даль,
Онъ шелъ межами съ полевой работы
Домой, на горе и печаль.

II.

Тарасу съ дѣтства приходилось жутко:
Отецъ его былъ строгъ и крутъ,
Женѣ побои называлъ онъ шуткой,
И называлъ наукой кнутъ.

Бывало, котъ подъ ноги подвернется, —
Кота полѣномъ.... «будь уменъ!»
Храни Господь, когда вина напьется,
Бѣги семья изъ дома вонъ!

Пристанетъ къ гостю, крѣпко обнимаетъ,
Цѣлуетъ: «другъ мой дорогой!
Я вотъ тебѣ...» И въ ноги упадаетъ.
Гость скажетъ: вотъ чудакъ какой!»

— «Кто, я чудакъ? А, ты мужикъ богатый!
Не любишь знаться съ бѣднякомъ!
Такъ на-вотъ! помни, лапотникъ проклятый».
И друга хватитъ кулакомъ.

Испуганный, сынишко встрепенется
И матери тайкомъ шепнетъ:
«Охъ, матушка! опять отецъ дерется....
«Уйдемъ! онъ и тебя прибьетъ....»

— «Ступай-ко за грибами, вотъ лукошко»,
Отвѣтитъ мать: «тутъ хлѣбъ лежитъ....» —
И въ темный лѣсъ знакомою дорожкой
Мальчишка бѣгомъ побѣжитъ.

И тамъ онъ ляжетъ на травѣ росистой.
Прохлада, сумракъ. Вотъ запѣлъ
Зеленый чижъ подъ липою душистой;
Вотъ дятелъ на березу сѣлъ

И застучалъ. Вотъ заяцъ по тропинкѣ
Пронесся, — и ужъ слѣду нѣтъ.
Тутъ стрекоза вертится на былинкѣ;
По листьямъ жукъ ползетъ на свѣтъ.

Тревожно шепчетъ робкая осина.
Сквозь зелень; видны вдалекѣ
Уснувшихъ водъ зеркальная равнина,
Рыбакъ съ сѣтями въ челнокѣ,

Стада овецъ, луга, пески, заливы,
Въ водѣ и надъ водой лѣса,
За берегами золотыя нивы,
Вокругъ — въ сіяньи небеса.

И очарованъ звуками лѣсными,
Цвѣтовъ дыханьемъ упоенъ,
Ребенокъ грезитъ снами золотыми,
Весь въ слухъ и зрѣнье превращенъ.

Когда корой прозрачною и тонкой
Синѣла, въ осень, гладь озеръ,
Иной пріютъ манилъ къ себѣ ребенка, —
Сосѣда постоялый дворъ.

Тамъ бурлаки порогъ ночлегъ держали,
Или гуляли косари,
Про степь и Волгу пѣсни распѣвали
Всю ночь до утренней зари.

И за сердце хваталъ напѣвъ унылый.
Вдругъ свистъ.... и вскакивалъ бурлакъ —
«Пой веселѣй...» И пѣсня съ новой силой
Неслась, какъ вихрь... «Дружнѣй! вотъ такъ!..»

И свистомъ покрывался звукъ жилейки,
И полъ отъ топота гудѣлъ,
И прыгалъ столъ, и прыгали скамейки,...
Ребенокъ слушалъ и смотрѣлъ.

И брань отца была ему больнѣе,
Когда домой онъ приходилъ,
И уголокъ родной глядѣлъ скучнѣе,
И онъ, Богъ вѣсть, о чемъ грустилъ.

III.

Прошли года. И на дворѣ, и въ полѣ
Тарасъ работникъ хоть куда,
И головы не клонитъ въ темной долѣ
Ни передъ кѣмъ и никогда.

Чуть міроѣдъ на бѣдняка наляжетъ, —
Тарасъ ужъ тутъ. Глаза блестятъ,
Лицо блѣднѣетъ.... «Ты не трогай!» скажетъ,
«Не бей лежачихъ!.. не велятъ!...»

«Ты кто такой!...» И мѣряетъ глазами
Нахала съ головы до ногъ.
Отецъ махнетъ съ досадою руками:
«Не сдобровать тебѣ, сынокъ!

«Подрѣжутъ крылья!... Такъ оно бываетъ....»
Надвинетъ шапку и пойдетъ;
И въ кабакѣ до ночи пропадаетъ;
Домой насилу добредетъ.

«Ну, кто тутъ! Эй, жена! зажги лучину!
Я шапку пропилъ.... да! смотри.
Весь вѣкъ работалъ.... ну, пора и сыну
Работать.... чертъ васъ побери!

«Весь вѣкъ пахалъ.... все нищій.... чтожъ работа?
Вѣстимо такъ. И хлѣбъ и квасъ —
Мы все добудемъ! Важная забота!
Ну, пьянъ. Никто мнѣ не указъ!»

И въ уголокъ свои деньжонки спрячетъ,
Забудетъ, — и давай искать;
Кричитъ: «разбой!» и охаетъ, и плачетъ:
«Ты воръ, Тарасъ! не смѣй! молчать!»

«Ты воръ! будь проклятъ! сохни, какъ лучина!»
Стоитъ, ни слова сынъ въ отвѣтъ;
Въ его глазахъ угрюмая кручина,
Въ его лицѣ кровинки нѣтъ.

Сидитъ на лавкѣ бѣдная старушка,
Лицо слезами облито.
И такъ печальна бѣдная избушка,
Что не глядѣлъ бы ни на что.

Ужъ разсвѣтаетъ. Тучки краской алой
Покрыты. Закраснѣлся прудъ,
И весело подъ кровлей обветшалой
Пѣвуньи-ласточки снуютъ.

Въ дали туманъ рѣдѣетъ надъ лугами.
Вотъ слышны: рѣзкій скрипъ воротъ
И голосъ бабы: «поѣзжай межами,
Тамъ перелѣскомъ путь пойдетъ...»

— «Эхъ-ма, ужъ день!» Тарасъ тряхнетъ кудрями,
«Ну, видно, послѣ, молъ, поспишь...»
И вотъ съ сохою ѣдетъ онъ полями;
Дорога — скатерть, въ полѣ — тишь;

Надъ лѣсомъ солнце золотомъ сверкаетъ,
И птичка въ вышинѣ поетъ,
Звенитъ, поетъ и устали не знаетъ....
И парень пѣсню заведетъ.

И грустно, грустно эта пѣсня льется.
Онъ ѣдетъ лугомъ, — будитъ лугъ,
Онъ ѣдетъ лѣсомъ, — темный лѣсъ проснется
И съ нимъ поетъ, какъ старый другъ.

Зоря погасла. Кончена работа.
Уснуть бы, кажется пора,
Да спать-то парню не даетъ забота, —
Коней ведетъ онъ со двора

Поить.... И шляпу на бекрень надѣнетъ:
Ворота настежъ распахнетъ,
По улицѣ, посвистывая, ѣдетъ,
А за угломъ — подруга ждетъ.

Кругомъ безлюдно. Тепелъ лѣтній вечеръ.
Рѣка при мѣсяцѣ блеститъ.
И знаетъ только перелетный вѣтеръ,
Что́ парень съ милой говоритъ.

Печальна жизнь, печальна съ милой встрѣча:
Она поникла головой,
Въ отвѣтъ на ласки не находитъ рѣчи,
Стоитъ и парень самъ не свой.

«Я самъ не радъ, голубка дорогая!
«Какъ мнѣ жениться на тебѣ?
«Свяжу тебя, свяжу себя, родная....
«Гнѣзда не вить ужъ мнѣ себѣ.

«Мнѣ тѣсно тутъ. Не связывай мнѣ воли.
«Авось придутъ иные дни...
«А сгину гдѣ, безъ счастья и безъ доли, —
«Меня хоть ты-то не кляни!»

— «На муку, вѣрно», отвѣчаетъ голосъ:
«Да на печаль я рождена,
«И пропаду, что́ одинокій колосъ,
«И все молчать, молчать должна!

«Отецъ и мать мнѣ попрекнутъ тобою!
«Тамъ замужъ.... чахни отъ тоски!
«И всѣмъ-то будетъ воля надо мною
«До гробовой моей доски!...»

— «Не быть тому! добьюсь до красной доли!
«Не стать мнѣ силы занимать,
«И будешь ты и въ радости, и въ холѣ,
«И въ нѣгѣ вѣкъ свой вѣковать».

IV.

Блестятъ, мерцаютъ звѣзды надъ полями.
Сосѣда грязная изба
Чуть не биткомъ набита косарями,
Въ избѣ веселая гульба.

Дымъ тютюна, жара.... Весь въ сажѣ черной,
Ночникъ мигаетъ надъ столомъ,
Трещитъ. И ходитъ по рукамъ проворно
Стаканъ, наполненный виномъ.

Поютъ и пляшутъ косари степные,
Кафтаны сброшены съ ихъ плечъ,
Растрепаны ихъ кудри молодые,
Смѣла размашистая рѣчь.

Тарасъ сидитъ угрюмый и печальный.
Онъ друга по́-сердцу съискалъ,

И про свою любовь къ сторонкѣ дальней,
И про тоску поразсказалъ.

«Эхъ, курица!» товарищъ крикнулъ громко:
«Тебѣ ль летѣть въ далекій путь!
«Связался тутъ съ какою-то дѣвчонкой,
«Боишься крыльями махнуть!

«Гулялъ бы ты, какъ я, соколъ, гуляю:
«Три года на Дону прожилъ,
«Теперь на Волгу лыжи направляю,
«Про домъ и думать позабылъ».

И долго говорилъ косарь кудрявый,
И все хвалилъ степей просторъ,
Красу казачекъ, косарей забавы, —
И пѣсней кончилъ разговоръ.

Тарасъ вскочилъ. Лицо его горѣло,
«Такъ здравствуй ты, чужая даль!
«Ну, — въ степь, такъ въ степь! Все сердце изболѣло!...
«Вина! Запьемъ свою печаль!...»

И взялъ онъ паспортъ, помолился Богу
И отдалъ старикамъ поклонъ:
«Благословите, молъ, родные, на дорогу,
«Такъ, значитъ, надобно: законъ».

Старикъ кричалъ, — ничто не помогало,
И плюнулъ наконецъ со зла.
Старушка къ сыну на плечо припала
И оторваться не могла.

«Касатикъ мой, мой голубь сизокрылый!
«Господь тебя да сбережетъ!...
«Заѣлъ тебя, заѣлъ отецъ постылый,
«Да и меня-то въ гробъ кладетъ».

— «Возьми-ка съ горя объ-стѣну убейся»,
Сказалъ ей мужъ: «вишь обнялись!
«Ступай сынокъ! ступай, какъ вихорь вейся,
«Какъ вихорь, по́-свѣту кружись!... —

V.

И, распростясь съ родимыми полями,
Взявъ только косу со двора,
Пошелъ Тарасъ, съ котомкой за плечами,
Искать и счастья, и добра.

Одна зоря смѣнялася другою,
За темной ночью день вставалъ,
Все шелъ косарь, все дальше за собою
Поля родныя оставлялъ.

Порой, усталый, на траву приляжетъ,
Горячій потъ съ лица отретъ,
Ремни котомки кожаной развяжетъ
И скудный завтракъ свой начнетъ.

На немъ отъ пыли платье почернѣло,
Въ клочкахъ подошвы сапоговъ,
Лицо его отъ солнца загорѣло,
Но какъ онъ веселъ и здоровъ!

Идетъ мой парень, а надъ нимъ порою
Иль журавлей кружится цѣпь,
Иль пролетаютъ облака толпою,
И вотъ онъ углубился въ степь.

«О, Господи! что-жъ это за раздолье!
«А глушь-то... степь да небеса!
«Трава, цвѣты — ужъ, правда, тутъ приволье,
«Краса, что́ рай земной, краса!»

Межъ тѣмъ трава клонилась, поднималась,
Ей вѣтеръ кудри завивалъ,
По этимъ кудрямъ тѣнь переливалась
И яркій лучъ перебѣгалъ.

Средь изумрудной зелени, какъ глазки,
Цвѣты глядѣли тутъ-и-тамъ,
По нимъ играли радужныя краски,
И кланялись цвѣты цвѣтамъ.

И голоса безъ умолку звучали:
Жужжанье, пѣсни, трескотня
Со всѣхъ сторонъ неслись и утопали
Въ сіяньи солнечнаго дня.

Смеркается — и говоръ затихаетъ,
Край неба въ полымя горитъ,
Ночь темная украдкой подступаетъ,
Степной травы не пробудитъ.

Зажглась звѣзда, зажглось ихъ много, много.
И мѣсяцъ въ сумракѣ блеститъ,
И снопъ лучей воздушною дорогой
Идетъ — и въ глубь рѣки глядитъ.

Все стихло, спитъ. Но степь какъ будто дышетъ,
Въ дремотѣ звуки издаетъ:
Вотъ, гдѣ-то свистъ далекій ухо слышитъ,
И кажется, чумакъ поетъ.

Рѣдѣютъ тѣни. Звѣзды пропадаютъ,
Въ огнѣ несутся облака
И медленно, рѣдѣя, померкаютъ.
Трава задвигалась слегка.

Свѣтло. Вспорхнула птичка. Солнце встало,
Степь тонетъ въ золотомъ огнѣ,
И снова все запѣло, зазвучало
И на землѣ, и въ вышинѣ....

Вотъ въ сторонѣ станица показалась,
Стекломъ воды отражена,
Сидитъ на берегу; вся увѣнчалась
Садами темными она.

По зелени некошенной равнины
Разсыпался табунъ коней.
Безлюдье, тишь. Холмовъ однѣ вершины
Оглядываютъ ширь степей,

Вошелъ Тарасъ въ станицу и дивится:
Казачка, въ пестромъ колпачкѣ,
На скакунѣ, ему на встрѣчу мчится
Съ баклагой круглою въ рукѣ.

Желтѣютъ гумна. Домики нарядно
Глядятъ изъ зелени садовъ.
Вотъ спитъ казакъ подъ тѣнью виноградной,
И какъ румянъ онъ и здоровъ!

Ни грязныхъ бабъ въ понявахъ подоткнутыхъ,
Ни лицъ не видно испитыхъ,
И нѣтъ тутъ нищихъ блѣдныхъ, необутыхъ,
Калѣкъ и съ чашкими слѣпыхъ...

Какъ-разъ мой парень подоспѣлъ къ покосу,
Нанялся скоро въ косари.
«Ну, въ добрый часъ!» И наточилъ онъ косу
При свѣтѣ утренней зари.

Кипи, работа! Въ шляпѣ да въ рубахѣ
Идетъ, махаетъ онъ косой,
Коса сверкаетъ, и, при каждомъ взмахѣ,
Трава ложится полосой.

Тамъ — въ вышинѣ орелъ иль кречетъ вьется,
Иль туча крылья развернетъ,
И темный вихорь мимо пронесется, —
Тарасъ и коситъ, и поетъ...

Стога ростутъ. Покосъ къ концу подходитъ:
Степь засыпаетъ въ тишинѣ
И на сердце, нагая, грусть наводитъ...
Косарь не радъ своей казнѣ:

Такъ много нуждъ! Онъ пролилъ сколько пота,
Казны такъ мало накопилъ...
Куда жъ идти? Опять нужна работа;
Опять нужна растрата силъ!

И будешь сытъ... такъ до сырой могилы
Трудись, трудись... но жить когда?
Къ чему казна, когда растратишь силы
И надорвешься отъ труда?

Въ степи стемнѣло. Около дороги
Горятъ на травкѣ огоньки;
Въ густомъ лѣсу чернѣются треноги,
Висятъ на крючьяхъ котелки.

Въ водѣ пшено съ бараниной варится.
Усѣлись косари въ кружокъ,
И слышенъ говоръ: никому не спится,
И слышенъ изрѣдка рожокъ.

Вокругъ молчанье. Мѣсяцъ обливаетъ
Стоговъ верхушки серебромъ,
И при огнѣ изъ мрака выступаетъ
Шалашъ, покрытый камышомъ.

«Ну, не къ добру», сказалъ косарь плечистый,
«Умолкъ нашъ соловей степной!...
«А ну, Тарасъ... привстань съ травы росистой,
«Уважь, *лучинушку* пропой!

— «Ну, нѣтъ, дружище, что-то не поется.
«Гроза бы, что ли ужъ, нашла...
«Такая тишь, трава не пошатнется!
«Нѣтъ, лѣтомъ лучше жизнь была!»

— «Домой, пріятель, видно захотѣлось.
«Ты говорилъ: тутъ рай въ степяхъ!...»
«И былъ тутъ рай, да все ужъ приглядѣлось;
«Работы нѣтъ, трава въ стогахъ...»—

И думалъ онъ: вотъ я и домъ покинулъ...
Была бы только жизнь по мнѣ,
Вѣдь, кажется, я-бъ гору съ мѣста сдвинулъ,
Да что... заботы все однѣ!...

Живется жъ людямъ въ нуждѣ безъ печали!
Такъ наши дѣды жизнь вели,
Росли въ грязи, пахали, да пахали,
Съ нуждою бились, въ гробъ легли.

И съ ними... Точно смерть утѣха!
Ищи добра, броди въ потьмахъ,
Покуда, свѣту Божьему помѣха,
Лежитъ повязка на глазахъ...

Эхъ, ну, васъ къ черту, горькія заботы!
О чемъ тутъ плакать горячо?
Пойду туда, гдѣ болѣе работы,
Гдѣ нужно крѣпкое плечо.

VI.

Горитъ зоря. Румяный вечеръ жарокъ.
Румянецъ по рѣкѣ разлитъ.
Пестрѣютъ флаги плоскодонныхъ барокъ,
И людъ на пристани кишитъ.

Въ высокихъ шапкахъ чумаки съ кнутами.
Татаринъ съ бритой головой;
Въ бешметѣ съ откидными рукавами
Курчавый грекъ; цыганъ сѣдой;

Купецъ дородный съ важною походкой.
И съ самоваромъ сбитенщикъ,
И плутъ еврей съ козлиною бородкой,
Вѣстей торговыхъ проводникъ, —

Кого тутъ нѣтъ! Докучный пискъ шарманокъ,
Смѣхъ бурлаковъ и скрипъ колесъ,
И брань, и пѣсни буйныя цыганокъ,—
Все въ шумъ надъ берегомъ слилось.

Куда ни глянь — подъ хлѣбомъ берегъ гнется:
Хлѣбъ въ балаганахъ, хлѣбъ въ бунтахъ...
Не даромъ Русь кормилицей зовется
И почиваетъ на поляхъ.

Вкругъ вольницы веселый свистъ и топотъ;
Народу, — пушкой не пробьешь!
И всюду шумъ, какъ будто моря ропотъ;
Шумъ этотъ слушать устаешь.

«Вотъ гдѣ разгулъ! Вотъ милая сторонка!»
Тарасъ кричитъ на берегу:
«Гуляй, ребята! вотъ моя мошонка!
«Да грянемъ пѣсню... помогу!

«Ну, *внизъ по матушкѣ по Волгѣ*... дружно!..»
И пѣсня громко понеслась;
Откликнулся на пѣсню лугъ окружной,
И даль рѣки отозвалась...

А небо все темнѣло, померкало,
Шла туча синяя съ дождемъ,
И молнія гладь Дона освѣщала,
И перекатывался громъ.

Вдругъ хлынулъ дождь. Гроза забушевала
Народъ подъ кровли побѣжалъ.
«Шабашъ, ребята! Пѣсни, значитъ, мало!»
Тарасъ товарищамъ сказалъ.

Пустился къ Дону. Жилистою рукою
Челнокъ отъ барки отвязалъ,
Схватилъ весело,—и тѣшился грозою,
По гребнямъ волнъ перелеталъ.

И бурлаки качали головами:
«Неугомонный человѣкъ!
«Вишь понесло помѣряться съ волнами!
«Ни за копѣйку сгубить вѣкъ».

VII.

Одѣты сѣрые луга туманомъ;
То дождь польетъ, то снѣгъ летитъ.
И глушь и дичь. На берегу песчаномъ
Угрюмо темный лѣсъ стоитъ.

Дождю на встрѣчу мѣрными шагами
Подъ лямкой бурлаки идутъ,
И тянутъ барку крѣпкими плечами, —
Слабѣть канату не даютъ.

Ихъ ноги грязью до колѣнъ покрыты,
Шапчонки лѣзутъ на глаза,
Потерлось платье, лапти поизбиты,
Отъ поту взмокли волоса.

«Бери кричалъ! живѣе — что ль! заснули!»
Продрогшій кормчій закричалъ.
И бурлаки веревки натянули, —
И барка стала на привалъ.

Огонь зажженъ; дымъ въ клочьяхъ улетаетъ;
Несутся быстро облака;
И вѣтромъ барку на волнахъ качаетъ,
И плещетъ на берегъ рѣка.

Тарасъ потеръ мозолистыя руки
И сѣлъ, задумавшись, на пень.
«Ну, ну! перенесли мы нынче муки!»
Промолвилъ кто-то: «скверный день!

«Убѣгъ бы, да притянутъ къ становому
«И отдерутъ...» — «Доволокемъ!»
Сказалъ другой: «гуляй, пока до дому,
«Тамъ будь, что будетъ!... ужъ попьемъ!...»

«Вотъ мы вчера къ Тарасу приставали,
«Куда, — не пьетъ! Такой чудакъ!»
— «А что, Тарасъ, ты право крѣпче стали»,
Сказалъ оборванный бурлакъ:

«Тутъ тянешь, тянешь,—смерть, а не работа,
«А ты и ухомъ не ведешь!...»
Тарасъ кудрями мокрыми отъ пота
Тряхнулъ и молвилъ: «не умрешь!»

«Умрешь, — зароемъ». — «У тебя все шутки.
«О дѣлѣ, видишь, рѣчь идетъ.
«Вѣдь, у тебя — то пѣсни-прибаутки,
«То скука... шутъ тебя пойметъ...»

— «Разсказывай! Перебивать не буду...»
Онъ думалъ вовсе о другомъ,
Хоть и глядѣлъ, какъ желтыхъ листьевъ груду
Огонь обхватывалъ кругомъ.

Припомнилъ онъ сторонушку родную
И свой печальный, бѣдный домъ;
Отецъ клянетъ его на-пропалую,
А мать рыдаетъ за столомъ.

Припомнилъ онъ, какъ разставался съ милой,
Зачѣмъ? Что́ ждало впереди?
Гдѣ-жь доля-счастье?... Какъ она любила!...
И сердце дрогнуло въ груди.

«Сюда, ребята! Плотникъ утопаетъ!»
На баркѣ голосъ раздался:
И по доскамъ толпа перебѣгаетъ
На барку. «Экъ онъ, сорвался!»

— «Да гдѣ? — «Вонъ тутъ. Ну, долго-ль оступиться!»
— «Вотъ горе: вѣтеръ-то великъ! —
«Плыви скорѣй!» — «Не-што, плыви топиться!» —
«Спасите!» разносился крикъ,

И голова мелькала надъ волнами.
Тарасъ ужъ бросился въ рѣку
И во всю мочь размахивалъ руками.
«Держись!» кричалъ онъ бѣдняку.

«Ко мнѣ держись!» Но громкаго призыва
Товарищъ слышать ужъ не могъ —
И погрузился въ волны молчаливо...
Тарасъ нырнулъ. Ужъ онъ продрогъ

И былъ далеко. Глухо раздавался
И шумъ воды, и вѣтра вой;

Пловецъ изъ синей глуби показался
И вновь исчезъ. Нѣмой толпой

Стоялъ народъ съ надеждою несмѣлой.
И вынырнулъ Тарасъ изъ волнъ...
Глядятъ, — за нимъ еще всплываетъ тѣло...
И разомъ грянуло: «спасенъ!»

И шапками въ восторгѣ замахала
Толпа, забывшая свой страхъ.
А буря выла. Чайки пропадали,
Какъ точки, въ темныхъ облакахъ.

Усталъ пловецъ. Измученный волнами,
Едва плыветъ. Онѣ бѣгутъ
Всѣ въ бѣлой пѣнѣ, дружными рядами,
И все ростутъ, и все ростутъ...

Хотѣлъ онъ крикнуть, — замерло дыханье...
И въ воздухѣ рукой потрясъ,
Какъ будто жизни посылалъ прощанье,
И крикнулъ — и пропалъ изъ глазъ!



ДНЕВНИКЪ СЕМИНАРИСТА.

ДНЕВНИКЪ СЕМИНАРИСТА *).

184 .. Іюля 18.

Слава Тебѣ, Господи! Вотъ и каникулы! Вотъ наконецъ я и дома... Да! Нужно, подобно мнѣ, позубрить круглый годъ уроки ежедневно, да еще два раза въ день, — за исключеніемъ, разумѣется, праздниковъ, промѣрить отъ квартиры до семинаріи версты четыре, или болѣе; потомъ, въ душной комнатѣ, въ кружкѣ шести человѣкъ товарищей, подъ-часъ въ дыму тютюна, погнуться до полночи надъ запачканною тетрадкой, или истрепанною книгой, потвердить греческій и латинскій языки, геометрію, герменевтику, философію и прочее и прочее, и послѣ броситься съ досадою на жесткую постель и заснуть съ тощимъ желудкомъ, оттого что какія нибудь тамъ жиденькія, сваренныя съ свинымъ саломъ щи пролиты на полъ пьяною хозяйкой дома, — нужно, говорю я, все это пережить и перечувствовать, чтобы оцѣнить всю прелесть теплаго, гостепріимнаго, роднаго уголка... ухъ! Дай потянусь на этомъ кожаномъ стулѣ, въ этой горенкѣ съ окнами, выходящими въ зеленый, обрызганный росою, садъ, въ этомъ раю, гдѣ я самъ большой, самъ старшой, гдѣ имѣетъ право прикрикнуть на меня только одинъ мой добрый батюшка... А

*) По всей вѣроятности, Записки Семинариста, о которыхъ говорилъ Никитинъ въ письмѣ къ Второву (см. Біографію, стр. 53), въ послѣдствіи были имъ уничтожены, за исключеніемъ развѣ начальныхъ страницъ, вошедшихъ въ этотъ Дневникъ, написанный для „В. Бесѣды“.

право, здѣсь настоящій рай: тихо, свѣтло. Изъ сада пахнетъ травою и цвѣтами; на яблоняхъ чирикаютъ воробьи; у ногъ моихъ мурлычитъ мой старый знакомецъ, сѣрый котъ. Яркое солнце смотритъ сквозь стекло и золотымъ снопомъ упирается въ чисто вымытую и выскребенную ножемъ, сосновую дверь. Батюшка мой такой тихій, такой незлопамятный! Если и случается мнѣ что нибудь набѣдокурить, онъ покачаетъ головою, сдѣлаетъ легкій упрекъ — и только. Между тѣмъ, странное дѣло! я такъ боюсь его оскорбить!... А вотъ, помню я, былъ у насъ учитель во 2-мъ классѣ училища, Алексѣй Степанычъ, коренастый, съ черными нахмуренными бровями, и такой рябой и корявый, что смотрѣть скверно. Вызоветъ онъ, бывало, тебя, на средину класса и крикнетъ: «читай!» А изъ глазъ его такъ и сверкаютъ молніи. Взглянешь на него украдкою и начнешь измѣняться въ лицѣ, въ головѣ пойдетъ путаница, и все вокругъ тебя заходитъ: и ученики, и учитель, и стѣны — просто диво! И понесешь такую дичь, что послѣ самому станетъ стыдно. «Не знаешь, мерзавецъ!» зарычитъ учитель: «къ порогу!»... И начнется, бывало, жаркая баня... Что-жъ вы думаете? Попадались такіе ученики, которые, не жалѣя своей кожи, находили непонятное удовольствіе бѣсить своего наставника. Бывало, иной ляжетъ подъ розги, закуситъ до крови свой палецъ — и молчитъ. Его сѣкутъ, а онъ молчитъ. Его сѣкутъ еще больнѣе, а онъ все молчитъ. Алексѣй Степанычъ смотритъ и со зла чуть не рветъ на себѣ волосы... Да мало ли что случалось! Однажды ученикъ дѣлалъ дѣленіе и до того спутался, что никакъ не могъ рѣшить задачи. Стоитъ бѣдняжка у доски, лицо разгорѣлось, по щекамъ текутъ слезы, носъ выпачканъ мѣломъ, руки и правая пола сюртука тоже въ мѣлу—Алексѣй Степанычъ злится, не приведи Господи! «Ну, говоритъ: что-жъ ты!... рѣшай!» И вдругъ повернулся направо. «Богородицкій! какъ ты объ этомъ думаешь?» Богородицкій вскочилъ со скамьи, вытянулъ руки по швамъ и, вспомнивъ, что въ катихизисѣ есть подобный вопросъ съ надлежащимъ къ нему отвѣтомъ, громогласно и нараспѣвъ отвѣчалъ: «я думаю и разсуждаю объ этомъ такъ, какъ повелѣваетъ мать, наша Церковь». Мы всѣ переглянулись, однакожъ засмѣяться никто не смѣлъ. Алексѣй Степанычъ плю-

нулъ ему въ глаза и крикнулъ: «на колѣни!» Ну, въ семинаріи у насъ совсѣмъ не то: розги почти совсѣмъ устранены, а если и употребляются въ дѣло, такъ это ужъ за что нибудь особенное. Наставники обращаются на *вы*, къ чему я долго не могъ привыкнуть. Оно въ самомъ дѣлѣ странно: профессоръ, магистръ духовной академіи, человѣкъ, который, Богъ знаетъ, чего не прочелъ и не изучилъ, обращается, напримѣръ, ко мнѣ, или къ моему товарищу, сыну какого нибудь пономаря или дьячка, и говоритъ: «прочтите лекцію». Долго я не могъ къ этому привыкнуть. Теперь ничего. И мнѣ становится уже непріятно, иногда и вовсе обидно, если кто-либо говоритъ мнѣ *ты*; въ этомъ *ты* я вижу къ себѣ нѣкоторое пренебреженіе. Замѣчу кстати: мнѣ необходимо привыкать къ вѣжливости, или, какъ говоритъ мой пріятель Яблочкинъ, къ порядочности (Яблочкинъ необыкновенно даровитъ, жаль только, что онъ помѣшался на чтеніи какого-то Бѣлинскаго и вообще на чтеніи разныхъ свѣтскихъ книгъ). Батюшка сказалъ, что съ первыхъ чиселъ сентября я буду жить въ квартирѣ одного изъ нашихъ профессоровъ съ тою цѣлію, чтобы онъ имѣлъ непосредственное наблюденіе за моимъ поведеніемъ, слѣдилъ за моими занятіями и, гдѣ нужно, помогалъ мнѣ своими совѣтами. Этотъ надзоръ, мнѣ кажется, рѣшительно во всемъ меня свяжетъ. Либо ступишь не такъ, либо что скажешь не такъ, вотъ сейчасъ и сдѣлаютъ тебѣ замѣчаніе сначала одно, а тамъ другое, третье, и такъ далѣе. Впрочемъ, можетъ быть, я и ошибаюсь: батюшка навѣрно желаетъ мнѣ добра. Стой! вотъ еще новая мысль: что если этотъ дневникъ, который я намѣренъ продолжать, по какому нибудь несчастному, непредвидѣнному случаю, попадется въ руки профессора? Вотъ выйдетъ штука... воображаю!... Да нѣтъ! Быть не можетъ! Во-первыхъ, у меня, какъ и прежде, будетъ въ распоряженіи свой сундучекъ съ замкомъ, въ который я могу прятать все, что мнѣ заблагоразсудится; во-вторыхъ, я стану писать его или въ отсутствіе профессора, или во время его сна; стало быть, опасенія мои на этотъ счетъ не имѣютъ никакого основанія. Жаль мнѣ бросить эту работу! Записывая все, что вокругъ меня дѣлается, быть можетъ, я со временемъ привыкну свободнѣе излагать свои мысли

на бумагѣ. Притомъ самая окружающая меня жизнь здѣсь въ деревнѣ, и тамъ, въ городѣ, въ семинаріи, какъ она ни бѣдна содержаніемъ, все таки не вовсе лишена интереса. Вчера, напримѣръ, мнѣ случилось быть у нашего дьячка Кондратьича. Чудакъ онъ, ей Богу! Лѣтами еще не старъ, лѣтъ этакъ тридцати съ чѣмъ нибудь, выпить любитъ, а когда выпьетъ, ему никто нипочемъ: и прихожанинъ-мужикъ, и дьяконъ, и даже мой батюшка. Придирки свои онъ обыкновенно начинаетъ жалобою на свое незавидное положеніе: «что, дескать, я? дьячокъ — вотъ и все! тварь — и больше ничего! Червякъ — и только!...» И зальется горькими слезами, — и вдругъ отъ слезъ сдѣлаетъ неожиданный переходъ къ такой рѣчи: «да-съ, я червякъ, во истину червякъ! Ну, а ты, смѣю тебя спросить, ты что за птица?..» Тутъ голосъ его начнетъ возвышаться все болѣе и болѣе. Кондратьичъ засучиваетъ рукава, лѣвую ногу выставляетъ впередъ, правую руку съ сжатымъ кулакомъ бойко замахиваетъ назадъ, словомъ: принимаетъ грозное, наступательное положеніе, и въ эту минуту къ нему не подходи никто, иначе расшибетъ въ дребезги; если кулаковъ его окажется недостаточно, пуститъ въ ходъ свои зубы, ужъ чѣмъ-нибудь да насолитъ своему, какъ онъ выражается, врагу-супостату. Жена Кондратьича робкая, загнанная, забитая женщина, въ добавокъ худенькая, маленькая и подслѣповатая, вѣчно плачется на своего мужа, жизнь свою называетъ мукою, себя мученицею; мужъ называетъ ее слѣпою Евлампіею. Итакъ, говорю я, вчера вечеромъ случилось мнѣ быть у Кондратьича. Когда я вошелъ въ его избу, онъ ходилъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки за веревочку, которою былъ опоясанъ, и распѣвалъ: «Взбранной воеводѣ побѣдительная, яко избавльшеся отъ злыхъ....» Посреди избы стояла большая, опрокинутая вверхъ дномъ, кадушка. «А, мое вамъ почтеніе, Василій Ивановичъ!» сказалъ Кондратьичъ, замѣтивъ меня на порогѣ: «мое вамъ всенижайшее почтеніе, господинъ философъ, будущій пастырь словесныхъ овецъ.... сдѣлайте одолженіе, садитесь.... А это что у васъ за мѣшочекъ въ рукѣ?...» Я совершенно потерялся. Дѣло въ томъ, что батюшка приказалъ мнѣ отнести дьячихѣ немного пшена, но такъ, чтобы мужъ ея этого не замѣтилъ,

потому что Кондратьичъ, при всей своей нищетѣ, при всемъ своемъ безобразномъ пьянствѣ, гордъ невыносимо. «Это такъ», отвѣчалъ я, краснѣя. — «А коли такъ, стало быть и пышки въ макъ». Мы сѣли. Минуты три прошло въ молчаніи. Вдругъ подъ кадушкою послышалось всхлипываніе. Я взглянулъ на дьячка. Онъ преспокойно поправилъ свою тоненькую, завязанную грязнымъ снуркомъ, косу и отвѣчалъ: «мыши скребутъ». Всхлипываніе усилилось. Я вскочилъ, приподнялъ край кадушки и, къ величайшему моему удивленію, оттуда вышло или, правильнѣе сказать, выползло живое существо, — это была жена Кондратьича, блѣдная, безъ платка на головѣ, съ растрепанными волосами. «Что это значитъ?» спросилъ я дьячка. «Гм.... что это значитъ.... да-съ!» И, не спѣша, вынулъ онъ свою тавлинку, щелкнулъ по ней указательнымъ перстомъ, потянулъ въ одну ноздрю табаку, и съ глубокомысленнымъ видомъ произнесъ: «жена моя увидала васъ въ окно и, не желая показать молодому юношѣ свою красоту, скрылась въ эту подвижную храмину. Смѣю вамъ доложить, она у меня прецѣломудренная женщина!...» Разумѣется, Кондратьичъ говорилъ вздоръ. По справкѣ оказалось, что онъ уже не первый разъ издѣвается такимъ образомъ надъ безотвѣтною бабою. Въ минуту гнѣва, и ужъ, конечно, порядочно выпивши, Кондратьичъ опрокидываетъ кадушку тамъ, гдѣ ее находитъ, т. е. на дворѣ или въ избѣ, и обыкновенно кричитъ женѣ: «слѣпая Евлампія, гряди сѣмо!...» Бѣдная женщина, не смѣя ему прекословить, подползаетъ подъ, такъ называемую, подвижную храмину, а дьячекъ ходитъ вокругъ и распѣваетъ: «Взбранной воеводѣ побѣдительная....» Батюшка мой отчасти прощаетъ ему эти мерзости изъ состраданія къ его женѣ, которая безъ мужа должна будетъ пойти съ сумою, потому что Кондратьичъ, какъ онъ ни плохъ, все же ее кормитъ, отчасти просто по добротѣ своего сердца. Дьячокъ, съ своей стороны, умѣетъ заискать кого ему нужно. На дняхъ, когда благочинный входилъ въ нашу церковь, Кондратьичъ забѣжалъ ему впередъ. «Позвольте, позвольте!...» — «Что ты, братъ?» — «А вотъ-съ....» и, вынувъ изъ своего кармана носовой платокъ, услужливый дьячокъ смахнулъ имъ пыль съ сапогъ благочиннаго, прежде нежели

тотъ успѣлъ ему что-либо возразить. «Каковъ онъ у васъ?» спросилъ послѣ благочинный у моего батюшки. «Пьетъ иногда и характера не совсѣмъ покойнаго». — «Ну, что-жъ дѣлать! Увѣщавай его Словомъ Божіимъ. Поглядишь, исправится. Одинъ Богъ безъ грѣха...» Однако пора обѣдать. Послѣ обѣда завалюсь спать и просплю до вечера, просто — наслажденіе!

Вечеромъ.

Уже смерклось. Съ пастбища возвращается стадо коровъ, покрытое облакомъ пыли. Пастухъ пощелкиваетъ кнутомъ. Гдѣ-то вдалекѣ, вѣроятно, какой нибудь молодой парень наигрываетъ въ жилейку. На улицѣ слышенъ скрипъ отворяемыхъ и затворяемыхъ воротъ. Бабы, въ пестрыхъ поневахъ и въ бѣлыхъ рогатыхъ кичкахъ, расходятся въ разныя стороны отъ колодца. Коромысла мѣрно качаются на ихъ плечахъ, въ желѣзныхъ ведрахъ свѣтится холодная ключевая вода. Солнце медленно прячется въ синихъ тучахъ за темнымъ лѣсомъ, и его пурпуровый румянецъ горитъ на листьяхъ деревъ, на соломенныхъ кровляхъ бревенчатыхъ избушекъ, на стеклахъ узенькихъ оконъ и на поверхности свѣтлаго озера, окаймленнаго зеленымъ камышемъ. Славная, право, картина! А ужъ какъ я спалъ послѣ обѣда!... мнѣ кажется, ударъ грома не могъ бы меня разбудить.... Да какъ и не спать? Пирогъ, щи съ говядиной, подбитыя сметаною, жареная, налитая яицами, курица, творогъ, каша молочная — вотъ что было у насъ за обѣдомъ. Маменька подчивала меня, какъ гостя, и я принужденъ былъ съѣсть нѣсколько лишнихъ кусковъ единственно для того, чтобы доставить ей удовольствіе. Добрая она, право! Говоритъ, что я похудѣлъ въ продолженіе года отъ усиленныхъ занятій науками, и совѣтуетъ мнѣ беречь свое здоровье, въ особенности не читать книгъ по ночамъ, чтобы не испортить зрѣнія. Разумѣется, все это было сказано въ отсутствіе батюшки, который не любитъ потакать лѣни, а главное, не терпитъ, чтобы женщины мѣшались въ дѣло науки. Прямое назначеніе женщинъ, говоритъ онъ, — заботы о семейномъ домашнемъ быту, внѣ котораго онѣ никуда негодны. Взглядъ батюшки еще не такъ строгъ. Другіе смотрятъ на женщину, какъ на аспида и василиска. Правда,

я мало читалъ, но изъ всего мною прочитаннаго выходитъ заключеніе такого именно рода, что женщина — аспидъ и василискъ.... Кто пробѣжитъ начало моихъ записокъ, безъ сомнѣнія, скажетъ: «что за наивность! Въ какія странныя разсужденія вдается писавшій эти строки!» — Такъ-то такъ, м. г., сказалъ бы я ему, только вы забываете, что я связанъ по рукамъ и по ногамъ. Если бы я спросилъ о чемъ-либо, не прямо относящемся къ моему дѣлу — къ лекціи кого-либо изъ моихъ товарищей, — болѣе скромный изъ нихъ посмѣялся бы надо мною, болѣе дерзкій послалъ бы меня къ черту. На всякій, возникающій во мнѣ, вопросъ, на всякое, рождающееся во мнѣ, сомнѣніе я долженъ искать отвѣта только въ самомъ себѣ. За что же лишать меня моей единственной отрады — свободы мысли? Если всюду и передъ всѣми мнѣ приходится скромно потуплять глаза и покорно наклонять свою голову, по крайней мѣрѣ въ тѣ минуты, когда работаетъ моя голова, когда перо мое не успѣваетъ слѣдить за быстротою мысли, пусть я буду независимъ, пусть я буду человѣкомъ, свободно проявляющимъ даръ своего живаго слова. Въ Воронежѣ, говорятъ, появился недавно прасолъ-поэтъ. Жаръ и холодъ пробѣжалъ по моему тѣлу, когда въ одномъ изъ современныхъ журналовъ я прочиталъ эти животрепещущія строки:

Иль у сокола
Крылья связаны?
Иль пути ему
Всѣ заказаны?...

Впрочемъ, изъ нашихъ наставниковъ никто не упомянулъ о немъ, какъ о человѣкѣ, подающемъ какія-либо надежды. Говорятъ, былъ знаменитый поэтъ Пушкинъ, но я совсѣмъ его не читалъ. Въ словесности, какъ образецъ высокаго слога въ поэзіи, я помню слѣдующіе, выученные мною наизусть, стихи Державина:

Се ты — вѣковъ явленье чудно, —
Сбылось пророчество, сбылось!
Мечъ, возсіявшій изъ-подъ спуда,
Герой мой вновь свой лавръ вознесъ...

Послѣдняго стиха я никогда не могъ произнести свободно, потому что, при чтеніи его, у меня перехватывало въ горлѣ дыханіе. Вотъ Яблочкинъ, такъ ужъ молодецъ по этой части! сколько онъ знаетъ наизусть стиховъ! Передъ моимъ отъѣздомъ сюда онъ читалъ мнѣ поэму «Демонъ». Стихи необыкновенно музыкальны. Передъ глазами одна за другою рисуются картины, когда ихъ слушаешь; но впечатлѣніе, производимое цѣлою поэмою, наводитъ на странныя, невыразимыя мысли.... Что если бы, по окончаніи курса въ семинаріи, удалось мнѣ попасть въ университетъ.... да нѣтъ? не съ моими способностями. Яблочкинъ — другое дѣло: онъ хоть сейчасъ выдержитъ университетскій экзаменъ.— «Пѣшкомъ, говоритъ, на Христово имя пойду, а ужъ буду въ университетѣ». — Я ему вѣрю: съ его настойчивымъ характеромъ онъ все сдѣлаетъ. А какъ онъ смѣлъ! Однажды въ классѣ, когда профессоръ говорилъ о мѣстопребываніи души въ человѣческомъ тѣлѣ и рѣшилъ этотъ вопросъ тѣмъ, что душа обитаетъ во всемъ нашемъ тѣлѣ, Яблочкинъ неожиданно поднялся со скамьи. «Позвольте предложить вамъ возраженіе», сказалъ онъ профессору.

— Хорошо.

«Такъ какъ въ сумасшедшемъ человѣкѣ душа не можетъ проявлять разумно своего существованія, а по существу своему недѣятельною она быть не можетъ, то чѣмъ душа эта бываетъ занята въ продолженіе иногда многихъ лѣтъ, до самой смерти сумасшедшаго?»

Профессоръ сталъ въ тупикъ и, послѣ долгаго молчанія, сурово отвѣтилъ: «садитесь на мѣсто и впередъ прошу поменьше разсуждать, а слушать внимательно то, что вамъ скажутъ». — Яблочкинъ сѣлъ читать какой-то журналъ и не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на лекцію профессора, который говорилъ о Сенекѣ, о Сократѣ, о Пиѳагорѣ и, ужъ Богъ знаетъ, о комъ, всѣхъ трудно припомнить... Однако засѣла мнѣ въ голову эта семинарія! О чемъ бы я не повелъ рѣчь, непремѣнно коснусь семинаріи... Полно! Мнѣ еще нужно подумать о планѣ заданнаго намъ на каникулярное время разсужденія на тему: «*какимъ образомъ умъ, какъ источникъ идей, можетъ служить средствомъ къ пріобрѣтенію познаній?*» По поводу этой

темы Яблочкинъ сказалъ мнѣ: «подивись, братъ, нашимъ способностямъ. На эту мудреную фразу у насъ напишутъ нѣкоторые по три или по четыре листа самымъ мелкимъ почеркомъ, а простой записки къ знакомому никто изъ насъ не напишетъ толково; мало этого: десяти словъ не свяжутъ въ разговорѣ, какъ слѣдуетъ. Замѣть, братъ, это и намотай себѣ на усъ». — Однако и ты напишешь, когда прикажутъ, — отвѣчалъ я. «Само собою такъ. Воздадите Кесарево Кесареви».

22.

Цѣлую недѣлю я не брался за перо: не до того было. Наступила рабочая пора, — уборка хлѣба. Жары стоятъ нестерпимые. На небѣ нѣтъ ни облачка. Вѣтеръ горячій. Жницы работаютъ съ разсвѣта до поздней ночи. На подошвахъ ихъ необутыхъ ногъ, которыми онѣ смѣло ступаютъ по срѣзаннымъ стеблямъ ржанаго колоса, трескается кожа; на ладоняхъ появляются мозоли, нѣкоторые величиною въ орѣхъ; лица у всѣхъ покрыты загаромъ и пóтомъ; на свѣжіе слѣды горячаго пота ложится сухая пыль, образуетъ черныя полосы, которыя въ свою очередь покрываются новою пылью, и такъ далѣе, и такъ далѣе... Всѣхъ мучитъ невыносимая жажда, а въ полѣ нѣтъ ни одной капли холодной воды, потому что она на разсвѣтѣ привозится изъ села въ жбанахъ, или въ боченкахъ и, по прошествіи 3—4-хъ часовъ, дѣлается теплою, совершенно негодною для питья. Нѣтъ и отрадной тѣни, куда бы можно было приклонить усталую голову и вдохнуть въ себя струю прохладнаго воздуха. Грудныя малютки, которыхъ матери берутъ съ собою въ поле, лежатъ подъ снопами на разостланныхъ бѣлыхъ зипунахъ, время отъ времени плачутъ, замолкаютъ — и опять плачутъ. Матери торопливо кормятъ ихъ грудью и снова берутся за серпъ. При дорогѣ сидятъ грачи съ распущенными крыльями и раскрытымъ клювомъ; даже имъ тяжело отъ нестерпимаго жара. Батюшка, не смотря на свой санъ, собственноручно накладываетъ на возъ полновѣсные снопы, подмазываетъ дегтемъ колеса, впрягаетъ лошадь и сохраняетъ при всемъ этомъ невозмутимое спокойствіе: такъ онъ радъ хорошему урожаю! Примѣръ его и на меня дѣйствуетъ благодѣтельно. Только отъ непривычки

къ работѣ къ вечеру у меня страшно ломятъ плечи и руки. Ночью сплю какъ убитый, даже и во снѣ ничего не грезится. Сегодня, часовъ этакъ въ 5-ть, когда жаръ нѣсколько убавился и работа закипѣла дружнѣе, изъ села прискакалъ верхомъ мальчишка безъ шапки, босоногій, въ оборванной рубашенкѣ, и своимъ дѣтскимъ языкомъ насилу могъ растолковать батюшкѣ, что умираетъ его больная мать, что нужно ея исповѣдать и пріобщить Святыхъ Таинъ. Батюшка поморщился. Сердце мое сжалось и, грѣшный человѣкъ, я осудилъ его въ душѣ. Очевидно, ему жаль было терять золотое, рабочее время. Впрочемъ, нерѣшимость его была минутная: съ моею помощію онъ посбросалъ съ телѣги снопы и крупною рысью отправился въ село. Больная умерла въ сумерки. Вечеромъ, когда мы готовились сѣсть за ужинъ, вошелъ кузнецъ Ѳома, старикъ, бѣлый какъ лунь.

«Здравствуй, отецъ Иванъ! Вотъ я сына хочу женить...»

— Знаю, знаю. Часъ добрый! сказалъ батюшка.

«Покорнѣйше благодаримъ. Прими-ка вотъ, чѣмъ богатъ».

Ѳома поклонился и поставилъ на столъ штофъ водки.

— Спасибо, другъ, спасибо! Только напередъ тебѣ самому ее надобно отвѣдать.

«Почему не такъ, коли будетъ на то твоя милость». Батюшка налилъ стаканъ.

— Выпей-ка на здоровье.

«Начинай, отецъ Иванъ. За мною дѣло не станетъ».

— Я бы не отказался; ты знаешь, я не пью.

«Ну, и просить не стану. Благослови».

— Богъ тебя благословитъ.

Ѳома выпилъ, крякнулъ и вытеръ усы рукавомъ своего сѣраго халата.

«За вѣнчанье-то, отецъ Иванъ, ты дорого-ль съ меня положишь?»

— Сойдемся, другъ, сойдемся.

«Вѣстимо дѣло. Все-таки мнѣ надо разсчитать, что и какъ...»

Батюшка скоро съ нимъ условился.

«Ну, вотъ, сказалъ Ѳома: спасибо, что не прижимаешь; добрый

ты, значитъ, человѣкъ, не то, что нашъ дьячекъ, этакая дрянь, и не глядѣлъ бы на него».

— Богъ дастъ, исправится. Ну, каково убираетесь съ хлѣбомъ?

«Убираемся помаленьку. Такъ спѣшимъ, что нà — поди!» И, послѣ непродолжительнаго разговора объ уборкѣ хлѣба, Ѳома поклонился и вышелъ.

«Зачѣмъ вы взяли это вино?» спросилъ я у батюшки.

— Затѣмъ, чтобъ не обидѣть старика. Таковъ обычай.

«Ну, а зачѣмъ вы его потчивали?»

— Опять таковъ обычай. Вотъ погоди, когда будешь попомъ, да придется тебѣ самому плесть плетни, чинить соху, чистить хлѣвъ, да ходить со двора на дворъ съ просьбою, нельзя ли, молъ, вотъ въ томъ мнѣ помочь, да въ этомъ пособить, тогда ко всему привыкнешь. — И батюшка грустно сѣлъ за столъ, какъ будто вопросы мои пробудили въ немъ тяжелыя мысли.

30.

Полевыя работы идутъ горячо по прежнему, и я почти къ нимъ привыкъ: руки и плечи болятъ у меня уже меньше. Въ прошлое воскресенье мы всѣ порядочно поотдохнули. Время, проведенное мною въ церкви, при слушаніи Божественной Литургіи, показалось мнѣ особенно пріятнымъ. Мужички стояли такъ тихо, такъ благоговѣйно! Ни одинъ человѣкъ не улыбнулся, не смотря на то, что дьячекъ нашъ пѣлъ преотвратительно. При взглядѣ на толпу народа, въ головѣ моей мелькнула нелѣпая мысль: что если бы я былъ ученикомъ богословія? Я могъ бы надѣть стихарь, въ виду всѣхъ стать передъ налоемъ и сказать краснорѣчивое, поучительное слово.... По выходѣ изъ церкви, на паперти, меня встрѣтили двѣ чернички, одна старая, другая молодая и прехорошенькая. Онѣ занимаются печеніемъ просфоръ, посѣщаютъ богатыхъ купцовъ въ городѣ, которые надѣляютъ ихъ разными съѣстными припасами; иногда отправляются странствовать по Святымъ мѣстамъ, на счетъ какихъ доходовъ? — положительно сказать не могу. Старую черничку нѣкоторые мужички, въ особенности пожилыя бабы, почитаютъ за святую. Она носитъ на груди засаленную тетрадку: «Сонъ Пресвятыя Богородицы» и

читаетъ ее по складамъ набожнымъ бабамъ; тѣ слушаютъ, подпирая руками голову, вздыхаютъ, нерѣдко плачутъ и награждаютъ читальщицу кусками холстины. Батюшка смотритъ на нихъ подозрительно, но онѣ живутъ повидимому такъ безукоризненно и такъ хорошо съумѣли себя поставить во мнѣніи всѣхъ прихожанъ, что бояться имъ рѣшительно нечего. Эти чернички съ такою настойчивостію и вѣжливостію просили меня къ нимъ зайти, удостоить ихъ, какъ выражались онѣ, моимъ посѣщеніемъ, что мнѣ совѣстно было отказаться. Въ горенкѣ у нихъ необыкновенная чистота. Окна вымыты и вытерты до того чисто, что, при свѣтѣ солнца, кажутся зеркальными. Гладкій, сосневый полъ тоже вымытъ, выскобленъ ножемъ. и на немъ не видно ни соринки. По угламъ нѣтъ ни одного клочка паутины. Стѣны недавно обѣлены. Столъ накрытъ бѣлою, какъ снѣгъ, скатертью. Передъ иконою, убранною искуствеными розовыми цвѣтами и оправленною блестящею фольгою, ярко теплится лампадка. Рогачи поставлены у порога въ уголкѣ, вѣроятно, съ тою цѣлію, чтобы не всякому бросались въ глаза. Ихъ деревянныя рукояти такъ вычищены, что подумаешь, онѣ вышли изъ-подъ рукъ искуснаго столяра. Изъ простыхъ вопросовъ молодой чернички о томъ, что новаго въ городѣ, каково мнѣ тамъ живется, не скучаю ли я въ деревнѣ, я замѣтилъ, что она очень неглупа. Старуха достала. между тѣмъ, изъ маленькаго сундука графинъ краснаго вина и поставила его на столъ, на кругломъ зеленомъ подносѣ вмѣстѣ съ рюмкою. Не смотря на всѣ мои увѣренія, что я никогда не пилъ и не пью вина, я не могъ не исполнить желанія гостепріимныхъ хозяекъ, когда онѣ сказали, наконецъ, что я ихъ обижаю, что, слѣдовательно, я ими гнушаюсь, если не хочу выпить того, что предлагается мнѣ отъ души. Молодая черничка сидѣла напротивъ меня и такъ близко, что ея горячее дыханіе касалось моего лица. Черное платье, застегнутое на груди бѣлою перламутровою пуговкой, разстегнулось, и я горѣлъ отъ стыда и еще отъ другаго, доселѣ не знакомаго мнѣ чувства. Совѣсть моя говорила мнѣ, что я поступаю нехорошо, что мнѣ не слѣдовало долго оставаться въ этой уютной горенкѣ, между тѣмъ непонятная сила удерживала меня на мѣстѣ.

случайно занятомъ мною противъ молодой чернички. Приблизилась пора обѣда. Я опомнился, схватилъ фуражку и поблагодарилъ хозяекъ за ихъ радушный пріемъ. Онѣ пригласили меня передъ вечеромъ пить чай. Скажу чистосердечно, я былъ радъ этому приглашенію, хотя и отказывался отъ него изъ приличія.

31 утромъ.

Нѣтъ, я не былъ вчера у черничекъ. Вся эта ночь проведена мною безъ сна, въ страшной, мучительной тоскѣ. Полураздѣтый, я ворочался съ боку на бокъ въ своей постели, творилъ молитвы, — и все напрасно: сонъ убѣгалъ отъ моихъ глазъ. Голова моя горѣла, какъ въ огнѣ. Подушка жгла мои щеки, простыня обдавала меня жаромъ. Около полуночи я вышелъ изъ терпѣнія и сѣлъ къ открытому окну, думая, что ночная прохлада освѣжитъ мое пылающее лицо и приведетъ въ порядокъ мои мысли. Все было напрасно.... Тускло сіяли звѣзды на синемъ небѣ. Въ саду лежалъ непроницаемый мракъ. Порою слышался шопотъ сонныхъ листьевъ, тревожимыхъ перелетнымъ вѣтромъ. Въ этомъ шопотѣ мнѣ чудились звуки ласковой женской рѣчи. Въ темнотѣ ночи передъ моими глазами носился образъ красивой, молодой женщины. Она глядѣла на меня такъ привѣтливо, съ такою любовію манила меня къ себѣ своею бѣлою рукою. Я боялся, что сойду съ ума, вышелъ на крыльцо и началъ лить себѣ на голову воду изъ висѣвшаго тамъ на веревочкѣ глинянаго рукомойника. Эти строки я пишу при блѣдномъ свѣтѣ только-что занимающагося утра. На востокѣ загорается красная полоса. Клочки алыхъ, прозрачныхъ облаковъ быстро пролетаютъ въ голубой высотѣ. Въ росистомъ саду изрѣдка слышится шорохъ пробуждающейся птички. Батюшка теперь скоро проснется, и мы всѣ отправимся на работу. Скорѣе-бы нужно въ широкое поле: въ этой тѣсной комнатѣ душно, какъ въ раскаленной печи....

1 августа.

Перевозка сноповъ окончилась вчера рано. Я былъ дома еще засвѣтло. При наступленіи сумерокъ, умылся, почистилъ свое

платье и пошелъ побродить по селу. Ужъ не знаю, какъ это случилось, только мнѣ скоро пришлось проходить предъ знакомымъ окномъ, у котораго сидѣла молодая черничка и вязала чулокъ (зовутъ ее, какъ я послѣ узналъ, Натальею Ѳедоровной). «Зайдите къ намъ на минутку», сказала она, съ улыбкой, кивая мнѣ головой. Сердце мое забилось. Я остановился въ нерѣшительности — и зашелъ.

«А я цѣлый день сижу все одна: старуха моя ушла къ знакомой, больной бабѣ, вѣрно и ночевать тамъ останется. Садитесь, пожалуйста».

Разговоръ нашъ шелъ сначала довольно вяло. Но Наталья Ѳедоровна была такъ находчива, что я невольно оживился.

«Ахъ, какая жара!» сказала она, сбросивъ съ своей груди темный платокъ, и сѣла со мною рядомъ. Плечо ея касалось моего плеча.

«Я думаю, руки ваши отъ работы теперь сдѣлались грубѣе, чѣмъ были прежде. Вы были сегодня въ полѣ?»

Она взяла меня за руку и крѣпко ее сжала.

— «Да, былъ», отвѣчалъ я взволнованнымъ голосомъ и дрожа всѣмъ тѣломъ.

«Огонь надо зажечь», сказала она и опустила занавѣску.

Въ комнатѣ стало темно.

«Помогите мнѣ сыскать свѣчу... Никакъ ее не найду», говорила она со смѣхомъ. «Не тутъ ли она стоитъ за вами?...»

И лица моего опять коснулось горячее дыханіе, моего плеча коснулось полуобнаженное, горячее плечо. По всему моему тѣлу пробѣжалъ сладостный трепетъ. Дыханіе мое прерывалось. Я крѣпко обвилъ обѣими руками ея тонкій станъ и на губахъ моихъ, первый разъ въ моей жизни, загорѣлся огненный поцѣлуй...

8.

Нѣсколько дней я не брался за перо. Теперь горячка моя поутихла, и я могу спокойнѣе и глубже заглянуть въ свою душу. Отчего я не обратилъ вниманія на это тревожное чувство боязни, которое отталкивало меня въ минувшее, памятное мнѣ теперь,

воскресенье отъ порога черничекъ? Зачѣмъ я скрылъ отъ своего отца мое первое съ ними знакомство? Ясно, что я умышленно закрывалъ свои глаза, чтобы не видѣть того, что я долженъ былъ видѣть заранѣе. Ясно, что я съ намѣреніемъ не давалъ воли своему разсудку... Ну, любезный Василій Ивановичъ, помни этотъ урокъ! Нѣтъ, братъ, шалишь!... Теперь каждый свой шагъ ты долженъ строго обдумывать. Изъ каждаго твоего намѣренія, готоваго перейти въ дѣло, ты напередъ обязанъ выводить вѣроятныя послѣдствія. Мнѣ кажется, въ эти дни я постарѣлъ нѣсколькими годами. Я горю со стыда, когда батюшка останавливаетъ на мнѣ свой умный, проницательный взоръ, будто хочетъ сказать: «Ахъ, Вася! нехорошее ты дѣло сдѣлалъ!...»

Какая здѣсь однако скука, Боже милостивый! Ни одной книжонки нѣтъ подъ рукою, не только порядочной, и дрянной нѣтъ. Живутъ же тутъ добрые люди, да мало этого, и на жизнь свою не жалуются. На дняхъ я зашелъ къ нашему сосѣду. Сердце мое сжалось, какъ посмотрѣлъ я на его горемычное житье. Стѣны избушки покрыты копотью; темнота, сырость... Печь растрескалась. Разбитое окно заложено клочкомъ старой рогожи. Полъ земляной. На мокрой соломѣ хрюкаетъ свинья; хозяинъ говоритъ, что она заболѣла, такъ вотъ и взялъ онъ ее въ избу. Подлѣ животнаго ползаетъ маленькая дѣвочка, босоногая, въ изорванной рубашенкѣ. Другое, грудное дитя, лежитъ въ засаленной люлькѣ, повѣшанной на веревкахъ подлѣ печи; во рту у него грязная соска, наполненная жидкою пшенною кашею. Жена сосѣда, желтая и покрытая морщинами, ходитъ точно потерянная. Ротъ постоянно полуоткрытъ, глаза смотрятъ безсмысленно. Не то чтобы она была глупа отъ природы, да нужда-то ужъ слишкомъ ее заѣла. Еще одинъ мальчуганъ лѣтъ 10-ти, неумытый и оборванный, раскинулся на печи, безъ подушки и подстилки, и наигрываетъ въ жилейку, утѣшая себя пронзительными звуками. Всю эту картину освѣщала дымная лучина. «Вотъ, сказалъ я между прочимъ сосѣду: сынъ-то у тебя болтается безъ дѣла. Не хочешь ли, я буду учить его грамотѣ, покамѣсть здѣсь поживу. Я скоро его выучу».

— Э-эхъ, касатикъ! Онъ свиней пасетъ, за это добрые люди хлѣбомъ его кормятъ, а грамота ваша насъ не накормитъ. На что намъ нужна ваша грамота? Богъ съ нею!...»

Противъ этого я не нашелъ возраженій и замолчалъ.

10.

Сегодня съ нашимъ батракомъ Ѳедуломъ, на трехъ телѣгахъ, я ѣздилъ въ лугъ за сѣномъ. Воза такъ были накручены, что лошади едва тащили ихъ по песку. Ѳедулъ шелъ со мною рядомъ, покуривая коротенькую трубку. Я никогда не видалъ такихъ крѣпко-сложенныхъ людей, какъ нашъ батракъ. Росту онъ небольшаго, но въ плечахъ необыкновенно широкъ. Черные курчавые волосы, черная, курчавая борода, и густыя, нахмуренныя надъ сѣрыми глазами, брови придаютъ лицу его угрюмое выраженіе. Говоритъ онъ вообще мало и никогда не смотритъ на того, съ кѣмъ говоритъ.

«А что, Василій Ивановичъ», неожиданно спросилъ онъ меня: «скажи ты мнѣ на милость, чему васъ въ городѣ учатъ?»

Вопросъ этотъ меня удивилъ.

— Какъ же я тебѣ растолкую, чему насъ учатъ? Вѣдь, ты не поймешь.

«Отчего-жъ не понять? Пойму».

— Ну, слушай. У насъ изучаютъ риторику, философію, богословіе, физику, геометрію, разные языки...

«И будто вы знаете все это?»

— Кто знаетъ, а кто и не знаетъ.

«Такъ. Ну, а прибыль-то какая-же отъ вашего ученья?

— Та прибыль, что ученый умнѣе неученаго.

«Вотъ-что! Однако отецъ Иванъ коситъ и пашетъ не лучше моего. Опять ты вотъ говоришь, что у васъ разнымъ языкамъ учатъ. Отецъ Иванъ, какъ и ты, имъ учился. Отчего-жъ онъ не говоритъ на разныхъ языкахъ? Я у васъ 10 лѣтъ живу, пора бы услышать».

— Да съ кѣмъ же онъ станетъ тутъ говорить?

«Вѣстимо не съ кѣмъ... Прибыли-то, значитъ, отъ вашего ученья не много. Вотъ, если бы вашъ братъ ученый пріѣхалъ къ намъ, да разсказалъ толкомъ: это вотъ-та́къ надо сдѣлать, это во́тъ-какъ, и стало бы нашему брату мужику отъ этого полегче, тогда вышло бы хорошо, а то... Ну, карій! чего-жъ ты сталъ?...»

Лошади подымались на́ гору. Карій рѣшительно отказывался идти. Ѳедулъ забѣжалъ ему впередъ. «Ты коли везти, такъ вези, не то я дамъ тебѣ такого тумака по лбу, что искры изъ глазъ посыплятся». Тумака ему однакожъ онъ не далъ, а, упершись своимъ широкимъ плечомъ въ задъ телѣги, крикнулъ: «ну!..», и карій свободно потянулъ свой тяжелый возъ.

Попадавшіяся мнѣ на встрѣчу молодыя бабы и дѣвки смотрѣли на меня съ какою-то странною улыбкой, и мнѣ не разъ приходилось слышать такого рода привѣтъ: «гляди, молодка, гляди! Поповичъ идетъ.. Экой верзила!...» Правду сказать, наши лихачи парни тоже отзываются обо мнѣ не слишкомъ вѣжливо и безъ особенной застѣнчивости находятъ во мнѣ кровное родство съ извѣстною породою молодыхъ, домашнихъ животныхъ, которыя обыкновенно бываютъ и красивы и бойки, покуда еще незнакомы съ упряжью. Мнѣ кажется, я никому и ничѣмъ не подавалъ здѣсь повода къ этимъ насмѣшкамъ и никому не сдѣлалъ зла; откуда же взялось это обидное пренебреженіе къ моей личности? Вѣроятно, оно является, благодаря существованію какого нибудь Кондратьича и ему подобныхъ. Жаль, что нашему брату отъ этого не легче.... Нѣтъ, скверно тутъ жить!...

13.

Скука моя растетъ день ото дня. Поутру сверху до́-низу я перерылъ все въ своемъ сундучкѣ, думая найти въ немъ какую нибудь забытую книженку, или исписанную тетрадь. Ничего не отъискалъ! Развернешь одно — учебная книга; развернешь другое — знакомыя лекціи: логика, психологія, объясненіе разныхъ текстовъ... все это извѣстно и переизвѣстно... Быть по сему. Буду отъ нечего дѣлать опять продолжать свой дневникъ. Но, если бы пришлось мнѣ пожить

здѣсь долгое время, полагаю навѣрное, я ограничился бы тѣмъ, что вносилъ бы въ него слѣдующія, краткія замѣтки: сегодня мы были въ полѣ, или сегодня было то же, что вчера, или сегодня ничего особеннаго не случилось, и такъ далѣе, все въ этомъ же родѣ... Что прикажете дѣлать? Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ... Итакъ — продолжаю.

Въ домѣ нашемъ идетъ страшная возня: приготовленіе къ храмовому празднику, т. е., ко дню Успенія Пресвятыя Богородицы. Моютъ окна, двери, полы и прочее. Ѳедулъ хлопочетъ на дворѣ: зарѣзалъ нѣсколько куръ, зарѣзалъ трехъ гусей, зарѣзалъ барана, теперь приготовляется снимать кожу съ теленка и по поводу этой рѣзни находится въ отличномъ настроеніи духа, сыплетъ шутками и съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ вонзаетъ свой острый ножъ въ теплое мясо животнаго, умирающаго въ судорогахъ передъ его глазами. Машутка безпрестанно сердится на кухарку, кричитъ, что она лѣнива и ничего не понимаетъ. «Ну, чтожъ, лѣнива, такъ лѣнива!» отвѣтитъ кухарка и съ такимъ ожесточеніемъ начнетъ скрести ножомъ сосновую дверь, что скрипъ желѣзныхъ петлей становится слышенъ на весь домъ. Или скажетъ: «ну чтожъ, глупа, такъ глупа!» — и сунетъ съ необыкновенною скоростію въ устье печи горшокъ, или чугунъ, станетъ къ ней задомъ и время отъ времени тяжело вздыхаетъ: «охъ, хо, хо, житье, житье!...» Батюшка не мѣшается ни во что. Молвитъ иногда матушкѣ: «потише, попадья, потише!» и пойдетъ къ своему дѣлу. Матушка тотчасъ же притихнетъ. Вообще она ему во всемъ безусловно покоряется. Теперь вопросъ: гдѣ взять вилокъ? окончательно ее добиваетъ. У насъ вилокъ одна только пара, а гостей будетъ много. Для благочиннаго, приглашеннаго совершать литургію, рѣшено приготовить его любимое блюдо: жаренаго поросенка, начиненнаго гречневою кашею, съ гусинымъ жиромъ, съ перцемъ, съ лукомъ и еще съ чѣмъ-то, ужъ право не знаю. Для гостей втораго разряда, за неимѣніемъ особой спальни, очищена баня, въ которой на полу и на полку постлано свѣжее, душистое сѣно. Что касается меня, никакъ не придумаю, на что бы употребить мнѣ свободное время. По крайней мѣрѣ хоть-бы спалось поболѣе, все было

бы лучше; такъ нѣтъ: лежишь до полночи съ открытыми глазами, и, радъ-не-радъ, слушаешь лай, или вой голодныхъ собакъ.

17 ночью.

Нашъ храмовой праздникъ окончился. Слава Тебѣ, Господи! Гости разъѣхались. Ворота затворены. Въ домѣ глубокая тишина. Ну, и было же съ ними хлопотъ! Первый обѣдъ, за которымъ присутствовали благочинный и человѣкъ 15 нашей родни, прибывшей съ разныхъ сторонъ, за нѣсколько десятковъ верстъ, прошелъ безъ особенныхъ исторій и шума. За обѣдомъ батюшка выбиралъ для благочиннаго самые лучшіе, самые жирные куски мяса, повторяя: «покорнѣйше прошу отвѣдать. Сдѣлайте одолженіе, коли что дурно, не осудите, все, знаете, свое домашнее...» и усердно потчивалъ его виномъ. «Отвѣдаю, отвѣдаю», говорилъ благочинный: «пожалуйста, меня не торопи. Тише ѣдешь, дальше будешь...» И въ самомъ дѣлѣ онъ не торопился: разсказывалъ разные анекдоты, отиралъ крупный потъ на своемъ лицѣ и медленно опоражнивалъ новое блюдо. Матушка измучилась, упрашивая и кланяясь за каждою рюмкою. Гостьи пили, повидимому, единственно изъ приличія, съ большою неохотою. Но въ половинѣ стола сами начали просить вина разными намеками: гусь-то, молъ, по сухой землѣ рѣдко ходитъ, или утка-то безъ воды не любитъ жить.... и тому подобное. Всѣ эти свахи, двоюродныя и троюродныя сестры, и сватовы жены вели неумолкаемый, безтолковый разговоръ и, по окончаніи обѣда, нѣкоторыя изъ нихъ запѣли пѣсни, съ припѣвомъ:

Ай, люли! Ай, люли!
Ай, люшеньки! Ай, люли!

Тогда какъ въ другомъ углу раздавалось хлопанье ладоней подъ веселую пѣсню:

У воротъ гусли вдарили,
Ой, вдарили, вдарили!
Ой, вдарили, вдарили!

Батюшка чувствовалъ сильную усталость, а между тѣмъ не смѣлъ свободно сѣсть, или облокотиться на столъ въ присутствіи своего начальника, внимательно слушалъ его разсказы и почтительно соглашался съ его приговорами: «это совершенная истина! или — какъ вамъ этого не знать! Вамъ лучше нашего это извѣстно...» Одинъ только мѣщанинъ, дальній родственникъ матушки, держалъ себя независимо и крѣпко ударялъ объ столъ кулакомъ, приговаривая: «мы знаемъ, у кого гуляемъ! Ну, вотъ и все... и мое почтеніе!... Такъ что ли, отецъ Иванъ? Вѣрно!...» По выходѣ изъ-за стола, благочинный осматривалъ наше гумно, ригу, огородъ, на которомъ спѣютъ дыни, и прочія домашнія постройки. Батюшка сопровождалъ его съ открытою головою. Что прикажете дѣлать! Благочинный, говорятъ, самолюбивъ и не задумывается чернить того, кто ему не нравится. Лошади его были накормлены овсомъ до послѣдней возможности. Кучеръ едва ворочалъ языкомъ. Лицо его походило на красное сукно. Съ отъѣздомъ начальника батюшка повеселѣлъ и сдѣлался разговорчивѣе. Въ сумерки независимый мѣщанинъ такъ насытился, что упалъ середи двора и бормоталъ околесную: «какой безменъ? на безменѣ не обвѣсишь. .. а вотъ пенька твоя гнилая. Оттого и не доплачено.... вѣрно! ступай къ черту!...» Батюшка терпѣть не можетъ, когда упоминается дьявольское имя. Онъ подошелъ къ полусонному гостю и сказалъ: «Эй, любезный! любезный! перекрестись!»

— Проваливай къ черту! отвѣтилъ мѣщанинъ и перевернулся на другой бокъ. Ѳедулъ еще съ утра былъ на веселѣ и все приставалъ къ батюшкѣ, чтобы онъ далъ ему денегъ.

«Пожалуйста, выйди вонъ», отвѣчалъ ему батюшка: «ты видишь, у меня чужіе люди».

— Это ужъ твое дѣло, говорилъ Ѳедулъ, растопыривъ руки, какъ крылья. Я сказалъ, что хочу выпить, ну — и кончено!...

Батюшка далъ ему четвертакъ. Ѳедулъ положилъ его на свою широкую ладонь, подбросилъ вверхъ и такъ крѣпко ударилъ по ней другою ладонью, что одна старушка-гостья плюнула и сказала: «вишь, какъ его окаяннаго разбираетъ!...» Вечеромъ я вышелъ на крыльцо,

но, увы!... сойти съ него не могъ. Ѳедулъ сдвинулъ съ мѣста большой, самородный камень, служившій ступенью, и каталъ его по двору. «Дуракъ! что ты дѣлаешь?» крикнулъ я на Ѳедула.

— Камень катаю. Человѣка ломать — грѣхъ: не вытерпитъ, а камень вытерпитъ, вотъ я его и ворочаю, да! Руки чешутся, оттого и ворочаю.

«Положи его на мѣсто. Съ ума ты сошелъ!»

— Не спѣши. Покатаю и положу. Онъ такъ и сдѣлалъ.

На слѣдующіе дни повторилась та-же исторія ѣды и питья съ небольшими измѣненіями. Очищенная для гостей баня оказалась ненужною: они провели ночь, какъ попало и гдѣ пришлось, т. е., на мѣстахъ, гдѣ кого убилъ на поводъ могучій хмѣль. Повторяю опять: слава Тебѣ, Господи! Всѣ разъѣхались!

26.

Время однако идетъ, да идетъ своимъ чередомъ. Мнѣ уже не долго остается жить въ деревнѣ; бить, какъ говорится, баклуши. Да и пора отсюда. Вѣчно слышишь разговоры о пашнѣ, о посѣвахъ, заботы о томъ: упадетъ ли во время дождь, сколько мѣръ даетъ изъ копны рожь, сколько греча, и прочее и прочее. У того-то заболѣла овца. Сосѣда Кузьму видѣли въ новыхъ сапогахъ. Объ этомъ тоже разговариваютъ, и нѣкоторые смотрятъ на Кузьму съ завистью. Тётка Матрена сушила на печи лёнъ и чуть не сожгла избы, — все это переходитъ изъ устъ въ уста и возбуждаетъ разные толки. Матушка опечалена предстоящей со мною разлукою, приготовляетъ мнѣ жирныя пышки, сдобные сухари и разные крендели. Отъѣздъ назначенъ завтра. Не смотря на скуку, которая на меня напала здѣсь въ послѣдніе дни, я съ грустью обошелъ знакомыя поля, побывалъ и въ лугу, и въ лѣсу и, — стыдно, сказать, — проходя мимо окна черничекъ, остановился въ раздумьи... Окно было занавѣшено. Калитка была заперта. А что если бы Наталья Ѳедоровна сидѣла подъ окномъ и позвала меня въ свою свѣтлую горенку, ужели бы я отказался съ нею проститься? Признаюсь, во мнѣ все-таки таится задняя мысль, что эти страницы могутъ попасть въ чьи либо руки. Я не смѣю вы-

сказать того, что творится теперь и что творилось прежде въ моей душѣ... Дорого мнѣ стоило сдержать свое честное слово, много я вынесъ тоски и борьбы, но — я его сдержалъ: я уже не видалъ болѣе милой Наташи... Только уѣхать отсюда нужно скорѣе, непремѣнно скорѣе, иначе силы мои упадутъ. Итакъ — въ городъ. И потянется снова однообразная семинарская жизнь. И пойдутъ безконечные уроки, замѣчанія, выговоры и... полно заранѣе горевать! До свиданія, родной мой уголокъ. Спасибо тебѣ за пріютъ, за тотъ покой, которымъ ты меня окружалъ. Быть можетъ, по прошествіи года, снова приведетъ меня Богъ сидѣть у этого, отвореннаго въ садъ, окна, смотрѣть на эту темную зелень и вдыхать запахъ росистой травы и, быть можетъ, снова войдетъ въ мою комнату, какъ входитъ она теперь, наша молчаливая кухарка и молвитъ, почесывая по привычкѣ спину: «Василій Иванычъ! самоваръ подали. Иди!...»

1 сентября.

Ну, вотъ мы и въ городѣ. Стоимъ покамѣстъ на прежней квартирѣ, въ старомъ домишкѣ сварливой, неопрятной мѣщанки, которая, узнавъ, что я не буду болѣе ея жильцомъ, насчитываетъ на батюшку лишніе два рубля. «Давай», говоритъ, «давай. Небось, не обѣдняете! Вы сами дерете съ живаго и съ мертваго...» Батюшка уже былъ у профессора и условился съ нимъ въ цѣнѣ, но что-то хмуритъ брови; вѣрно моя новая квартира обойдется ему не дешево. Яблочкинъ ушелъ отъ меня недавно. Не знаю, потому ли, что я его нѣсколько времени не видалъ, лицо его показалось мнѣ страшно худо и блѣдно. Но какъ онъ бываетъ хорошъ, когда начинаетъ съ увлеченіемъ о чемъ-нибудь говорить! Голубые глаза горятъ, щеки покрываются яркою краскою, бѣлокурые, вьющіеся отъ природы волосы закидываются назадъ и открываютъ бѣлый широкій лобъ. Сообразно настроенію души, черты лица мѣняются ежеминутно. Во время разговора всѣ члены его приходятъ въ движеніе.

«А, Бѣлозерскій!» воскликнулъ онъ, отворяя дверь въ мою комнату: «пріѣхалъ? ну, молодецъ! Давай руку. Эхъ, дружище! какъ тебя въ деревнѣ-то откормили; вотъ что значитъ батюшкинъ да ма-

тушкинъ сынокъ, не то что нашъ братъ, сынъ пономаря и круглый сирота. Какъ поживаешь?»

— Попрежнему, отвѣчалъ я.

«Съ одинаковымъ душевнымъ спокойствіемъ? Ну, и прекрасно. Это въ тебѣ наслѣдственная добродѣтель. Отецъ твой, какъ ты самъ не разъ говорилъ, тоже ничѣмъ не возмущается. Главное, ты умный и добрый малый, за что я отъ души тебя люблю. А знаешь-ли что? На дняхъ я познакомился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, окончившимъ курсъ въ Московскомъ Университетѣ; онъ служитъ здѣсь чиновникомъ. У него прекрасная библіотека. Хочешь, душа моя, читать? какъ сыръ въ маслѣ будешь кататься».

— Еще бы не хотѣть! давай только книгъ получше!

«Охъ, ты! получше... вкусъ-то у тебя немножко испорченъ. Ну, да исправится со временемъ, ничего.

— Гдѣ ты провелъ каникулы?

«Въ деревнѣ одного помѣщика. Училъ его ротозѣя-сынишку первымъ четыремъ правиламъ ариѳметики. Ну, душа моя, помѣщикъ! Представь себѣ откормленнаго на убой быка, съ черными щетинистыми усами, съ угреватымъ расплывшимся лицомъ, — вотъ его портретъ. Чѣмъ, ты думаешь, онъ занимается? Лежитъ на мягкомъ диванѣ, въ вязаной, красной ермолкѣ, въ шелковомъ халатѣ, въ пестрыхъ туфляхъ и насвистываетъ разные марши. «Гришка! Подай трубку!...» Замѣть: столъ стоитъ у его изголовья, на столѣ табакъ и трубка. Чего-бы, кажется, кричать? Этотъ Гришка до того загнанъ и запуганъ, что совсѣмъ почти потерялъ даръ слова и движется съ потупленною головою и унылымъ лицомъ, какъ живая кукла. Такой проклятый быкъ, ни одного журнала не выписываетъ! Дочка у него тоже замѣчательное въ своемъ родѣ созданіе: раздавитъ кто-нибудь при ней муху, она чуть не падаетъ въ обморокъ, увидитъ на своемъ платьѣ козявку, поднимаетъ крикъ. Однажды вечеромъ влетѣлъ въ комнату жукъ. Барышня взвизгнула. Сѣнныя дѣвки, съ вѣниками и съ полотенцами въ рукахъ, начали метаться изъ угла въ уголъ за бѣднымъ насѣкомымъ. Наконецъ побѣда была одержана: жукъ вылетѣлъ въ окно. Барышня приняла лавровишневыхъ капель и легла

въ постель. Въ домѣ все притаило дыханіе; даже быкъ на нѣкоторое время пересталъ насвистывать свои марши...»

— Ну, что-жъ ты не поссорился съ ними?

«Нѣтъ, выдержалъ. А солоно было! На первыхъ порахъ барину угодно было посылать меня за водой. «Молодой человѣкъ, принесите-ка мнѣ воды!» Я ограничивался тѣмъ, что передавалъ его приказанія въ переднюю: Григорій! баринъ требуетъ воды. Или: «молодой человѣкъ, набейте мнѣ трубку!» Я опять отправлялся въ переднюю: Григорій! баринъ требуетъ трубку. И тому подобное. Съ этого времени барская спѣсь перестала разсчитывать на мою холопскую услужливость. Однажды я читалъ стихотворенія Шенье. Одно изъ нихъ произвело на меня такое впечатлѣніе, что я позабылся и сказалъ вслухъ: «что это за прелесть!» Чѣмъ вы восхищаетесь? спросила меня слабонервная барышня. Я показалъ ей прочитанныя мною строки. «Въ самомъ дѣлѣ, очень мило». «Переведи, Наташа, по-русски, промычалъ быкъ: я послушаю». Наташа попробовала перевести и не смогла. «А ну-ка вы, г. учитель». Я перевелъ. Быкъ взбѣсился. «Какъ, чертъ возьми! Какой-нибудь кут... (онъ хотѣлъ сказать: кутейникъ, но поправился) какой-нибудь молодой человѣкъ, учившійся на мѣдныя деньги, свободно владѣетъ французскимъ языкомъ, а у насъ 5 лѣтъ жила француженка, и ты не можешь перевести стихотворенія, а?... Послѣ этого пусть дьяволъ возьметъ всѣхъ вашихъ гувернантокъ! Вотъ-что!»... Барышня долго на меня дулась за то, что я будто бы хотѣлъ порисоваться передъ ея папашею... Нѣтъ ли у тебя чего-нибудь покурить?»

— Ничего нѣтъ. Ты знаешь, я почти не курю.

«Скупишься, душа моя, это скверно!»

— Что-жъ дѣлать! Батюшка и безъ того жалуется на большіе расходы. Поздравь меня, Яблочкинъ: я буду жить у нашего профессора К.

«Будто? Ты не шутишь?»

— Нисколько. Такъ угодно моему батюшкѣ.

«Жаль. Вѣрно старикъ твой еще не утратилъ раболѣпнаго уваженія къ бурсѣ и думаетъ, что всякій профессоръ есть своего рода свѣтило, — vir doctissimus.

— Что-жъ ты находишь тутъ дурнаго?

«А то, что въ квартирѣ своего наставника ты займешь должность камердинера, разумѣется, если ему понравишься, а не понравишься, займешь должность лакея».

— Ну, далеко хватилъ! Увидимъ.

«Увидишь, душа моя, увидишь! Во всемъ этомъ я вижу только одну хорошую сторону: квартира твоя какъ разъ противъ моей, стало быть, ты можешь навѣщать меня, когда тебѣ вздумается. У меня теперь пропасть дѣла. Старушка, чиновница, у которой я живу, и съ сыномъ которой приготовляюсь вмѣстѣ поступить въ университетъ, ежедневно мнѣ повторяетъ: «трудитесь, молодой человѣкъ, трудитесь! Поѣдете, Богъ дасть, съ моимъ Сашенькою въ Москву, я и тамъ васъ не забуду». Такая добрая!»

— Итакъ, ты навѣрное ѣдешь въ университетъ?

«Навѣрное. Совѣтую и тебѣ то же сдѣлать».

— Я бы не прочь. Батюшка не позволитъ. Онъ не хочетъ, чтобы я выходилъ изъ духовнаго званія.

«Врешь! Доброй воли у тебя не достаетъ — вотъ и все! Проси, моли, плачь... что-жъ дѣлать! Не позволитъ!.. Я круглый сирота, а видишь, не вѣшаю головы! Горько иногда мнѣ приходится, но когда подумаю, что я пробиваю себѣ дорогу безъ чужой помощи, одинъ, собственными своими силами, что кусокъ хлѣба, который я ѣмъ, добытъ моимъ трудомъ, что перо, которымъ я пишу, куплено на мою трудовую копѣйку, что я никому не обязанъ и ни отъ кого независимъ, — и на глазахъ моихъ выступаютъ радостныя слезы... Развѣ это не отрадно?... Однако прощай! Мнѣ некогда».

Послѣ этого разговора я долго сидѣлъ въ раздумьи и ничего не могъ придумать. Я знаю, что батюшка меня не послушаетъ. А такой непреклонной воли, такой энергіи, какъ у Яблочкина, у меня нѣтъ. Вѣрно мнѣ придется идти безпрекословно по той дорогѣ, которою идутъ другіе, подобные мнѣ, труженики.

2.

Утромъ, вмѣстѣ съ батюшкою, я былъ у профессора Ѳедора Ѳедоровича К. Признаюсь, сердце сильно забилось въ моей груди отъ

какой-то глупой робости, когда въ первый разъ я переступилъ порогъ его передней. О насъ доложилъ мальчуганъ, одѣтый въ нанковый, съ разодранными локтями, бешметъ. «Пусть войдутъ», послышалось за дверью. Мы вошли. Это былъ кабинетъ профессора. Онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и курилъ папироску. На колѣняхъ его мурлыкалъ сѣрый котенокъ. Съ жаднымъ любопытствомъ осматривалъ я эту комнату, это недоступное мнѣ доселѣ, святилище. Надъ диваномъ висѣли, въ деревянныхъ рамкахъ, за стеклами, засиженными мухами, портреты неизвѣстныхъ мнѣ духовныхъ лицъ. Въ маленькомъ шкафѣ на одной только полкѣ стояло нѣсколько учебныхъ книгъ, двѣ остальныя полки были пусты. На столѣ лежали разбросанныя тетрадки и засохшія перья. Занавѣски на окнахъ потемнѣли отъ пыли. Вообще комната не отличалась особенною чистотою. «Садитесь, отецъ Иванъ, безъ церемоніи», сказалъ профессоръ, не трогаясь съ мѣста, не перемѣняя своего положенія, вѣроятно изъ опасенія потревожить дремавшаго котенка. Батюшка, прежде нежели сѣлъ, указалъ на меня и поклонился въ поясъ профессору. «Отдаю его вамъ подъ ваше покровительство. Учите его добру и наблюдайте за его занятіями. Покорнѣйше васъ прошу!» и опять послѣдовалъ низкій поклонъ.— Хорошо, хорошо! Потакать не станемъ. Впрочемъ, онъ изъ лучшихъ учениковъ; слѣдовательно, при моемъ надзорѣ, вы можете быть спокойны насчетъ его дальнѣйшихъ успѣховъ. — «Покорнѣйше васъ благодарю!» отвѣчалъ батюшка и опять поклонился. Профессоръ всталъ и отворилъ дверь налѣво. «Вотъ комната, которую будетъ занимать вашъ сынъ». Комната оказалась не болѣе 4-хъ квадратныхъ аршинъ, съ тусклымъ окномъ, выходившимъ на задній дворъ. Подлѣ стѣны стояла узенькая кровать, когда-то окрашенная зеленою краскою. Своею отдѣлкою она напоминала мнѣ кровати нашей семинарской больницы. Подъ задними ножками были подложены кирпичи, потому что онѣ были ниже переднихъ. Въ углу висѣлъ мѣдный рукомойникъ, подъ которымъ на черной табуреткѣ стоялъ глиняный тазъ, до половины налитый грязною водою. Стѣны были оклеены бумажками, которыя во многихъ мѣстахъ отклеились и висѣли клоками. «Приберется, хоро-

шая будетъ комната», сказалъ профессоръ: «пусть только занимается дѣломъ. Мѣшать ему здѣсь никто не станетъ...» — Это главное, это главное! повторилъ батюшка: объ удобствѣ не безпокойтесь. Мы люди привычные ко всему. — «И прекрасно! пусть съ Богомъ переѣзжаетъ». — Когда прикажите? — «Хоть сейчасъ, мнѣ все равно. Скажите вашему сыну, чтобы онъ поприлежнѣе занимался, а голодать за моимъ столомъ онъ не будетъ: я люблю хорошо поѣсть. Что̀ вы дѣлали во время каникулъ?» Послѣднія слова относились ко мнѣ. Я покраснѣлъ. Сказать прямо, что я возилъ снопы, казалось мнѣ какъ-то неловко. «Почти ничего», отвѣчалъ я. — Это дурно! Надо трудиться: безъ труда далеко не уѣдешь. — «И я ему то-же внушаю», сказалъ батюшка. — Такъ и слѣдуетъ. Вы думаете, мнѣ вотъ легко досталось, что я вышелъ въ люди? Нѣтъ, нелегко! 16 лѣтъ я не разгибалъ спины, сидя за книгами, и никакой твари не обидѣлъ ни словомъ, ни дѣломъ. У насъ заносчивостію не возьмешь. Это, молодой человѣкъ, вы примите къ свѣдѣнію. Иначе цѣлый вѣкъ будете перезванивать въ колокола и распѣвать на клиросѣ». Во время этой рѣчи профессоръ сидѣлъ и поглаживалъ рукою котенка. Мы почтительно стояли у порога. Батюшка тяжело вздыхалъ. «Прошу васъ не оставить его своимъ вниманіемъ». — Хорошо, хорошо! — Затѣмъ мы поклонились и вышли.

На обратномъ пути батюшка внимательно разсматривалъ огромныя вывѣски на каменныхъ домахъ, читалъ ихъ и торопливо давалъ дорогу всякому порядочно-одѣтому человѣку. Мнѣ кажется, онъ немножко какъ-бы одичалъ, живя безвыѣздно въ своей деревнѣ. Отдохнувъ нѣсколько въ горенкѣ нашей старой квартиры, гдѣ кромѣ насъ не было ни одной души, онъ сказалъ мнѣ: «ну, Вася, тебѣ уже 19 лѣтъ, стало быть, ты можешь понимать, что̀ хорошо и что̀ дурно. Учись прилежно. Старшихъ слушай и береги деньги. Я ихъ не жалѣю и помѣщаю тебя къ профессору, желая тебѣ добра. Смотри же, не обмани моихъ надеждъ!» Мнѣ было что-то очень грустно, «Батюшка», сказалъ я: «Яблочкинъ ѣдетъ въ университетъ. Позвольте и мнѣ съ нимъ туда же приготовиться». — Пусть онъ ѣдетъ. Часъ ему добрый. А ты пребывай въ томъ званіи, для котораго ты

призванъ, и мечты свои оставь, если не хочешь меня обидѣть.— Я утеръ украдкою слезу и началъ собираться къ переѣзду на новую квартиру.

3.

Вотъ я и на новосельи. Батюшка отправился домой ночью, потому что спѣшилъ къ посѣву ржи. Сегодня въ первый разъ мнѣ пришлось обѣдать за однимъ столомъ съ профессоромъ. У меня не достаетъ словъ выразить, въ какое затрудненіе поставилъ меня этотъ обѣдъ! На столѣ стояли два прибора, и каждый былъ накрытъ особою салфеткою. Я рѣшительно не зналъ, что мнѣ съ нею дѣлать и куда мнѣ ее положить. Спасибо, что профессоръ вывелъ меня изъ замѣшательства своимъ примѣромъ. Далѣе дошло дѣло до серебряной ложки, похожей на лодочку, тогда какъ я привыкъ обходиться съ деревянною, круглою. Неловко безъ привычки, да и только! Того и смотри, что оболью щами или скатерть, или свой атласный черный жилетъ. Когда мнѣ пришлось взять на свою тарелку кусокъ жаренаго мяса и разрѣзывать его, я сдѣлалъ таки глупость: брызнулъ на бѣлую скатерть подливкою и окончательно потерялся. Мои длинныя ноги, казалось, стали еще длиннѣе. Я не зналъ, куда ихъ дѣвать. Попробовалъ протянуть ихъ свободно подъ столомъ, но, увы! толкнулъ ножку стола и коснулся ноги профессора. Подумалъ, подумалъ— и съ величайшею осторожностію помѣстилъ ихъ подъ свой стулъ. Къ счастію, въ продолженіе обѣда профессоръ почти ничего не говорилъ, иначе какъ бы я могъ сообразить отвѣтъ и въ то же время управляться съ ножомъ и вилкою... Прислуживала намъ старая кухарка, одѣтая опрятно и, какъ видно, хорошо знающая свое дѣло. Изъ-за стола я вышелъ голоднымъ, потому что не смѣлъ дать воли своему аппетиту, не желая показаться человѣкомъ, никогда не видавшимъ порядочнаго куска. Проклятая застѣнчивость!...

«Ну, Бѣлозерскій, дай-ка мнѣ папироску; онѣ вонъ на окнѣ лежатъ», сказалъ мнѣ Ѳедоръ Ѳедоровичъ, выходя изъ-за стола: «да, пожалуйста, будь поразвязнѣе и ужъ извини, братъ, что я начинаю съ тобою обращаться на *ты* Смѣшно же намъ церемониться: ты проживешь у меня не одинъ день...»

Такъ, подумалъ я, вотъ и первое сближенiе ученика съ профессоромъ. Посмотримъ, что будетъ далѣе.

«Позвольте узнать, что вы посовѣтуете мнѣ прочитать по части философiи?»

Онъ рекомендовалъ мнѣ слѣдующее:

Опытъ науки философiи, Надеждина.

Опытъ системы нравственной философiи, Дроздова.

Опытъ философiи природы, Кедрова,

и нѣсколько разныхъ руководствъ по логикѣ и психологiи. Все это, сказалъ онъ, вы можете спросить въ семинарской библiотекѣ. Ну, подумалъ я: эта пѣсня потянется надолго. Библiотекарь, занимающiй вмѣстѣ съ тѣмъ и должность профессора, когда попросишь у него какую-нибудь книгу, или отзывается недосугомъ, или тѣмъ, что ключъ отъ библiотеки забытъ имъ дома, или, когда бываетъ не въ духѣ, просто откажетъ такъ: вы просите книги, а навѣрное урока не знаете... Читатели!... Трепать берете, а не читать... ступайте, откуда пришли!...

Въ продолженiе этого дня у Өедора Өедоровича не мало перебывало лицъ нашего духовнаго сословiя. Онъ принималъ ихъ не одинаково. Однихъ приглашалъ въ гостиную и указывалъ на стулъ, говоря: «садитесь безъ церемонiи. Ну, что̀ у васъ новаго? Каково уродился хлѣбъ?» (Послѣднiй вопросъ онъ предлагалъ почти всѣмъ. Желалъ бы я знать, что ему за дѣло до урожая?) Другiе останавливались на порогѣ гостиной и объясняли ему свои нужды въ такихъ робкихъ выраженiяхъ, сопровождая ихъ такими глубокими поклонами, принимали на себя такой уничиженный, раболѣпный видъ, что мнѣ вчужѣ становилось досадно и горько. Өедоръ Өедоровичъ ходилъ по комнатѣ, играя махрами своего шелковаго пояса (вѣроятно, онъ никогда не снимаетъ въ комнатѣ своего халата), нѣкоторымъ обѣщалъ свое покровительство; нѣкоторымъ говорилъ: «не могу, не могу! Тутъ не поможетъ мое ходатайство.» Остальныхъ выслушивалъ въ передней и, бросивъ быстрый взглядъ на какое-нибудь замасленное, потертое полукафтанье, отрывисто восклицалъ: «некогда! приходи въ другое время!» Наконецъ за однимъ дьячкомъ просто за-

хлопнулъ дверь, сердито сказавъ: «надоѣли! всякая дрянь лѣзетъ!..» Заглянувъ случайно въ кабинетъ, я увидѣлъ подъ письменнымъ столомъ нѣсколько бутылокъ рому, голову сахару, а на столѣ два фунта чаю. Кстати о чаѣ. Послѣ вечерни, когда былъ поданъ самоваръ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ послалъ меня за табакомъ. Вотъ, говоритъ, 30 к. сер.; возьми четвертку 2 сорта турецкаго, только смотри — средняго, а не крѣпкаго. Табаку я купилъ, но возвратился промокшимъ до костей, потому что дождь поливалъ, какъ изъ ведра.

«Ну, что, сказалъ онъ: промокъ?»

— Ничего, отвѣчалъ я.

«Выпей вотъ чашку чаю».

Чай былъ уже холоденъ и такъ жидокъ, что походилъ на мутную воду; однакожъ я не смѣлъ отказаться, выпилъ и опрокинулъ чашку. «Не хочешь ли еще?» Я поблагодарилъ и отказался. Ѳедоръ Ѳедоровичъ положилъ въ жестяную сахарницу возвращенный ему мною кусочекъ сахару, замкнулъ ее и приказалъ мальчику прибрать самоваръ.

Послѣ ужина, за которымъ я сидѣлъ уже нѣсколько смѣлѣе, Ѳедоръ Ѳедоровичъ вышелъ въ переднюю, остановилъ маятникъ стѣнныхъ часовъ, чтобы онъ не безпокоилъ его ночью своимъ стукомъ, и далъ мнѣ мѣдный подсвѣчникъ и сальную свѣчу. «Если нужно, можешь зажечь». Тутъ онъ замѣтилъ дремавшаго на стулѣ мальчугана, котораго зоветъ Гришкою, и дернулъ его за вихоръ. «Пошелъ, чертенокъ, въ кухню. Видишь, нашелъ мѣсто, гдѣ спать!» Комната моя, при мѣсячномъ свѣтѣ сквозь тусклыя стекла, показалась мнѣ пустымъ, заброшеннымъ чуланомъ. Я попробовалъ отворить окно: съ задняго двора пахнуло навозомъ, и я съ досадою его закрылъ. Легъ на свою жесткую кровать, но заснуть не могъ: воображеніе мое работало неутомимо. Мнѣ вспомнились наши знакомыя поля, покрытыя желтою рожью, моя свѣтлая, уютная горенка и темный, кудрявый садъ. И вотъ яснѣе и яснѣе возникъ передо мною образъ улыбающейся женщины, забѣлѣлось ея открытое плечо, и я почувствовалъ крѣпкое пожатіе нѣжной руки. Чтò со мною, подумалъ я и приложилъ руку ко лбу; лобъ горѣлъ, какъ въ огнѣ. Неужели я простудился? Нечего

сказать, не весело мое новоселье. И медленно и тихо поднялся я съ кровати, чтобы не разбудить спавшаго профессора, зажегъ свѣчу и написалъ эти строки.

5.

Теперь снова за трудъ. Все начинаетъ входить въ свою обыкновенную колею. Сегодня поутру въ нашей семинарской церкви былъ торжественный молебенъ, на которомъ присутствовали профессора и почти всѣ ученики. Послѣ того, какъ дьяконъ провозгласилъ многолѣтіе всѣмъ учащимъ и учащимся, хоръ пѣвчихъ привелъ въ восторгъ большую часть слушателей своимъ чуть не сверхъестественнымъ крикомъ, въ особенности отличались басы. Изъ церкви ученики разошлись по классамъ. Вслѣдъ за толпою моихъ товарищей, вошелъ и я въ нашъ философскій классъ, дверь котораго отперъ намъ сѣдой сторожъ, отставной солдатъ съ лицомъ, изрытымъ оспою. Эти каменныя, громадной толщины стѣны, покрытыя зеленою краскою, эти бѣлые, мѣстами растрескавшіеся, своды потолка, эта высокая печь, никогда незатопляемая въ зимнее время и существующая неизвѣстно для какой цѣли, эти окна съ желѣзными рѣшетками, эти черные, изрѣзанные перочинными ножами, столы съ обтертыми скамьями и широкая, черная доска, утвержденная отлого на трехъ ножкахъ,— все это показалось мнѣ такъ знакомо, будто я былъ здѣсь назадъ тому не болѣе двухъ дней. Воздухъ сырой, какъ въ подвалѣ, и все вокругъ покрыто слоями густой пыли. На доскѣ кому-то вздумалось вывести пальцемъ: *терпѣніе великая добродѣтель*, и слова эти вышли чрезвычайно отчетливо. Въ классѣ начались, по обыкновенію, толкотня, пересаживанье съ мѣста на мѣсто, прыганье черезъ столы, ходьба по нимъ и смутный, безтолковый шумъ. Въ одномъ концѣ какая-то забубенная голова напѣвала вполголоса: «Я не думала ни о чемъ въ свѣтѣ тужить»; въ другомъ кто-то выводилъ густымъ басомъ: «Многая лѣта! мно-га-я лѣ-ѣ-та!» Куда ты къ черту лѣзешь? раздается громкій крикъ: ногу отдавилъ! «А ты не разставляй ихъ», отвѣчалъ сиплый голосъ. Я занялъ свое четвертое мѣсто на скамьѣ перваго стола. «Слышишь, Краснопольскій!» сказалъ ученикъ, перегнувшись черезъ мою спину. «Ты, братъ, зачѣмъ же увезъ въ

деревню моего Поль-де-Кока?» — Забылъ отдать, ей-Богу, забылъ! отвѣчалъ Краснопольскій, торопливо доѣдая мучную булку. — «Дай-ка, братъ, мнѣ булки-то немножко. Есть что ли?» — На̀ вотъ. — «А стоишь на прежней квартирѣ?» — Нѣтъ, хозяйка отказала. — «Отчего отказала?» — У меня, говоритъ, теперь дочь на возрастѣ. — Ученики захохотали. Краснопольскій обратился ко мнѣ: «Ты куда пойдешь послѣ класса?» — На квартиру, сказалъ я. — «Пойдемъ-ка лучше въ трактиръ чай пить, вотъ что̀ за нашею семинаріею, тамъ мало бываетъ народу». — Нѣтъ, не пойду, отвѣчалъ я. — «Ну, какъ хочешь. Ты гдѣ стоишь?» — У нашего профессора. — Краснопольскій вытаращилъ на меня глаза. «У Ѳедора Ѳедоровича?» — Да. — Товарищъ мой почесалъ за ухомъ и молчаливо отвернулся въ сторону. Странно! вотъ что значитъ покровительство наставника... Этакъ, пожалуй, и всѣ станутъ посматривать на меня недовѣрчиво.... «Тссс.... по мѣстамъ!» сказалъ кто-то. И вдругъ все пришло въ порядокъ. Дверь отворилась, и Ѳедоръ Ѳедоровичъ вошелъ. Одинъ изъ учениковъ, среди глубокаго молчанія, прочиталъ «Царю Небесный», послѣ чего нашъ наставникъ кивнулъ слегка на всѣ стороны головою: «садитесь!» Смотря на выраженіе его лица, на его манеры и поступь, я никакъ не могъ понять, откуда явилась въ немъ эта перемѣна. Ѳедоръ Ѳедоровичъ дома — и здѣсь — это двѣ совершенно-противоположныя личности. Тамъ онъ и говоритъ просто, и ходитъ, какъ мы всѣ ходимъ, и на лицѣ его нѣтъ чувства собственнаго достоинства, а въ классѣ и лицо у него другое, и манеры другія, и поступь другая, и даже голосъ рѣшительно не его голосъ. Сію минуту видишь, что это профессоръ, а не простой человѣкъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ. И вотъ, поднявъ голову и помахивая правою рукою, въ которой держалъ шляпу, онъ прошелся взадъ и впередъ по классу, взъерошилъ свои волоса; всѣ тотчасъ смѣтили, что будетъ сказана рѣчь, и встали. Онъ началъ: «Господа! я не буду говорить вамъ объ отеческой заботливости и неусыпномъ попеченіи вашего начальства, благодаря которому вы такъ долго отдыхали послѣ учебныхъ занятій. Равнымъ образомъ я не буду говорить о той важной обязанности, которая ожидаетъ васъ впереди и къ которой можетъ при-

вести васъ одно только безукоризненное поведеніе, неразрывно соединенное съ постояннымъ трудомъ. Все это вамъ самимъ должно быть извѣстно. Скажу одно: силы ваши теперь освѣжились. Итакъ— вамъ предстоитъ съ новымъ рвеніемъ взяться за трудъ, ожидающій васъ на широкомъ полѣ науки. Что касается меня, я употреблю всѣ, зависящія отъ меня, средства, чтобы не пропало даромъ то время, которое вы проведете со мною въ этихъ стѣнахъ....» И онъ торжественно указалъ лѣвою рукою на стѣны. «Садитесь!» Мы сѣли. Сѣлъ и Өедоръ Өедоровичъ къ своему четырехъугольному столику и вынулъ изъ боковаго кармана своего сюртука небольшую тетрадку. Это были его собственныя или, лучше сказать, академическія записки о психологіи, по которымъ когда-то учился онъ самъ и которыя передѣлываетъ и сокращаетъ теперь для насъ. Послѣдовало медленное чтеніе. Өедоръ Өедоровичъ взвѣшивалъ каждое слово, какъ иной купецъ взвѣшиваетъ на рукѣ червонецъ, пробуя, не попался ли ему фальшивый. «Самонаблюденіе, какого требуетъ психологія, повидимому, не представляетъ собою занятія труднаго, потому что предметъ самонаблюденія для каждаго человѣка есть онъ самъ. Но то самое обстоятельство, отъ котораго зависитъ, повидимому, легкость психологическихъ изслѣдованій, что каждый человѣкъ есть самъ для себя и предметъ и содержаніе психологическихъ наблюденій, составляетъ одну изъ главнѣйшихъ трудностей въ дѣлѣ самонаблюденія; потому что человѣкъ меньше всего знаетъ то, что́ онъ есть. Чтобы наша душа могла наблюдать самое себя, для этого ея мысль, ея сознаніе должны быть обращены на нее же саму; между тѣмъ: А) познаніе, пріобрѣтаемое нами такимъ образомъ о нашей душѣ, совсѣмъ не такъ ясно, какъ познаніе о внѣшнемъ мірѣ и другихъ предметахъ. Познаніе объ этихъ предметахъ можетъ быть намъ яснымъ оттого, что они противопоставляются нашей душѣ, какъ отличное отъ нея; но наше *я* не можетъ противопоставить самого себя себѣ, какъ внѣшній предметъ. Правда, что при самонаблюденіи возможно раздвоеніе нѣкоторымъ образомъ и самопротивопоставленіе нашего сознанія, потому что, кромѣ акта наблюденія, должны также продолжаться дѣйствія наблюдаемыя; но, при такомъ раздѣленіи созна-

нія, обыкновенно ослабляется сила и живость наблюдаемыхъ имъ психологическихъ явленій. Тогда какъ во внѣшнемъ мірѣ предметы представляются намъ въ раздѣльности, міръ внутренній является предъ внутреннимъ окомъ въ совершенномъ смѣшеніи...»

Я привожу здѣсь этотъ отрывокъ изъ лекціи съ тою цѣлію, чтобы онъ поглубже, такъ сказать, засѣлъ въ мою голову. Объясненіе раздвоенія нашего сознанія и самопротивопоставленія нашего *я*, къ сожалѣнію, прервалось громкимъ смѣхомъ одного ученика, который не съумѣлъ удержаться, слушая какой-то уморительный анекдотъ потѣшавшаго его товарища. Ѳедоръ Ѳедоровичъ всталъ, изслѣдовалъ сущность дѣла до мельчайшихъ подробностей, виновныхъ поставилъ къ порогу на колѣни и, казалось, все кончено. Напротивъ. Началось безконечное разсужденіе объ обязанностяхъ воспитанниковъ вообще, воспитанниковъ духовнаго сословія въ особенности. Половина слушателей зѣвала, другая слушала своего наставника по привычкѣ его слушать. Стоявшіе на колѣняхъ ученики, едва онъ оборачивалъ къ нимъ свою спину, или показывали ему кулакъ, или дразнили его языкомъ. Раздался звонокъ,— и у всѣхъ просіяли лица. Ѳедоръ Ѳедоровичъ указалъ въ тетрадкѣ на мѣсто, до котораго нужно было выучить къ слѣдующему дню урокъ, и классъ окончился. Это свободное и ненужное ни на что время, отъ 10 до 11 часовъ, покуда явится новый профессоръ, — у насъ въ нѣкоторомъ родѣ антрактъ. Ученики выходятъ въ корридоръ, толкаются въ классѣ, словомъ, происходитъ обычная неурядица. О профессорѣ исторіи, классъ котораго начался въ 11 часовъ, я скажу послѣ. Нельзя же вдругъ: хорошенькаго понемножку. Въ корридорѣ я встрѣтилъ Яблочкина. Онъ сердится, что я давно къ нему не захожу.

6.

Квартира Яблочкина не велика, но такая уютная и чистенькая, что прелесть! Стулья обиты новымъ ситцемъ. Столикъ полированный. Въ простѣнкѣ зеркало. На окнахъ разставлены цвѣты, которые, по словамъ Яблочкина, старушка-хозяйка любитъ до страсти. Когда я вошелъ въ переднюю, крѣпостной человѣкъ этой старушки снялъ съ меня шинель. Предупредительность его такъ меня смутила,

что я покраснѣлъ до ушей. Мнѣ никогда не случалось пользоваться чужими услугами. Яблочкинъ что-то переводилъ изъ Горація. «Здравствуй, Вася!» сказалъ онъ, пожимая мнѣ руку: «насилу обо мнѣ вспомнилъ». И бросилъ въ сторону книгу. Лицо его, что̀ случается рѣдко, было такое веселое и свѣтлое, что я не могъ удержаться и спросилъ, что́ это значитъ. «Да, такъ душа моя, ничего нѣтъ особеннаго. День ясный. Кругомъ тихо. Въ комнатѣ пахнетъ цвѣтами. На ногахъ у меня, видишь?» Онъ поднялъ со смѣхомъ одну ногу: «новые сапоги. Задачку я написалъ въ одинъ присѣстъ. Сталъ переводить Горація, переводится безъ труда,—вотъ я и радъ. Такъ-то, пріятель!» Яблочкинъ обнялъ меня и ударилъ ладонью по плечу. «Ну, каково поживаешь на новой квартирѣ?»

— Такъ себѣ, сказалъ я: ни хорошо, ни дурно. Дурно то, что нѣкоторые товарищи, благодаря моей новой квартирѣ, посматриваютъ на меня косо.

«А ты этого не предвидѣлъ? Разумѣется, съ этого времени тебя будутъ бояться, какъ пересказчика, доносчика и тому подобное. Впрочемъ, это вздоръ!.... Что-жъ ты просился у своего отца въ университетъ?»

— Просился. Я впередъ тебѣ говорилъ, что онъ откажетъ.

«Вотъ, ей-Богу, народъ! Видитъ пробитую дорогу и думаетъ, что лучше этой дороги и нѣтъ, и не должно быть... А все таки у тебя нѣтъ воли; ну, отчего бы не сдѣлать по-своему?»

— Это дѣло рѣшеное, отвѣчалъ я.... Поговоримъ о другомъ.

«Т. е. о семинаріи? Изволь. Вчера, въ началѣ класса, было обращено къ намъ вступительное слово такого рода: «Теперь мы снова приступаемъ къ занятіямъ. На экзаменѣ передъ каникулами отцу-ректору угодно было замѣтить, что нѣкоторые изъ насъ отвѣчали ему вяло. На будущее время я требую, чтобы каждый, кого я ни спрошу, читалъ мнѣ лекцію безъ запинки. А кто во время чтенія будетъ посматривать на потолокъ, да выдѣлывать эти: гмъ, гмъ... того, хотя бы онъ стоялъ въ первомъ десяткѣ, я сопхну въ 3-й разрядъ. Вотъ вамъ и все!...» Что̀ ты на это скажешь?»

— Ужъ мы не разъ это слышали. Приказано,—стало быть, нужно исполнять.

«Ну, нѣтъ, душа моя! Зубрить я не стану. И если бы въ самомъ дѣлѣ пришлось мнѣ во время отвѣта взглянуть на потолокъ или въ сторону — преступленіе было бы не важное. Экая бурса! Попала на одну ступень и окаменѣла: ни молодѣетъ, ни старѣется....»

Въ эту минуту, съ журналомъ въ рукѣ, вошелъ въ комнату гимназистъ, сынъ старушки. Яблочкинъ отрекомендовалъ ему меня, какъ своего лучшаго товарища. При постороннемъ человѣкѣ мнѣ тотчасъ сдѣлалось неловко, и я ломалъ свою голову изъ-за пустѣйшаго вздора: опять ли сѣсть мнѣ на прежнее мѣсто, или приличнѣе будетъ постоять. Гимназистъ обратился къ Яблочкину. «Алексѣй Сергѣичъ! я прочиталъ вотъ въ этомъ нумерѣ Отечественныхъ Записокъ одну изъ статей: разборъ сочиненій Пушкина. Чтò за языкъ! Чтò за энергія! Только, знаете ли, я не довѣряю похваламъ, которыя разсыпаются здѣсь его антологическимъ стихотвореніямъ. Они мнѣ не нравятся. Я люблю болѣе всего то, что берется прямо изъ окружающей насъ жизни».

— Въ васъ мало поэтическаго чутья. Что-жъ такое! Вамъ не нравится и «Каменный гость» Пушкина.

Тутъ у нихъ начался споръ о художественномъ воспроизведеніи дѣйствительности въ поэзіи, объ образности, о пластикѣ. Изъ словъ ихъ я понималъ немногое, не хочу таиться; самолюбіе мое сильно страдало. Наконецъ старушка зачѣмъ-то кликнула своего сына и онъ ушелъ.

«Этотъ господинъ, вѣрно, хорошо развитъ», замѣтилъ я Яблочкину.

— Ничего. Онъ отличный малый. Трудится много, читаетъ съ толкомъ. Развитіемъ своимъ обязанъ, конечно, не гимназіи, отъ которой пахнетъ мертвечиною, а самому себѣ.

«Нѣтъ ли у тебя чего-нибудь почитать? Дай пожалуйста», сказалъ я.

— Насилу ты надумался. Бери, душа моя, — книгъ достанетъ. Вотъ «Мертвыя Души» Гоголя, не читалъ?

«Нѣтъ».

— Ну, возьми.

7.

Скоро будетъ полночь. На дворѣ шумитъ дождь. За стѣною храпитъ Өедоръ Өедоровичъ, и гдѣ-то изрѣдка чирикаетъ сверчокъ. Я только-что дочиталъ «Мертвыя Души» и спѣшу сказать о нихъ нѣсколько словъ подъ вліяніемъ свѣжаго впечатлѣнія. Я взялся за книгу еще съ утра. Нечего говорить, что я читалъ ее съ увлеченіемъ. Время, проведенное мною за обѣдомъ, казалось мнѣ безконечно-длиннымъ, и я вертѣлся на стулѣ, придумывая подъ какимъ бы предлогомъ выйти изъ-за стола, чтобы снова приняться за чтеніе. «Или ты нездоровъ?» сказалъ мнѣ Өедоръ Өедоровичъ. — Нѣтъ, ничего. — «Чтожъ-ты вертишься?» — Такъ. Ѣсть что-то не хочется. — «Ну, выходи. Кто жъ мѣшаетъ». И я вышелъ. Такъ вотъ кто этотъ Гоголь!... И объ этомъ-то Гоголѣ одному изъ нашихъ наставниковъ угодно было выразиться, что произведенія его пахнутъ кухнею и конюшнею, что имъ выведены на сцену какіе-то обжоры и разная сволочь, что все это уродливо и безобразно. Ну, нѣтъ, почтеннѣйшій наставникъ! Ужъ на этотъ разъ позвольте съ вами не согласиться. Чичиковъ, Плюшкинъ, Собакевичъ, Ноздревъ... это такія личности, которыя никогда не выйдутъ изъ моей памяти. Читая книгу, мало того, что я ихъ вижу, — мнѣ кажется, я ихъ осязаю, мнѣ кажется, я чувствую ихъ дыханіе. Жизнь ключемъ бьетъ изъ каждой строки! Господи, да какой же я дуракъ! Прожить 19 лѣтъ и не прочитать ни одной порядочной книги!.. Все живое до того мнѣ чуждо, какъ будто я существую на другой планетѣ, и нѣтъ у меня ни костей, ни плоти. Но, слава Богу! этотъ день не пропалъ у меня даромъ.

Яблочкинъ далъ мнѣ еще нѣсколько книгъ. Но читать почти некогда: такъ много времени отнимаютъ классы и затверживанье наизусть разныхъ уроковъ, — право, досадно! Иногда сидишь, сидишь въ классѣ и задашь себѣ, ради скуки, вопросъ: «Изъ-за чего я тутъ сижу?» И никакъ не рѣшишь этого простаго вопроса. Сегодня, напримѣръ, въ 11 часовъ утра, явилась въ классъ высокая, тощая и блѣдная фигура, одѣтая, по своему обыкновенію, въ длиннохвостый фракъ со свѣтлыми пуговицами. Это былъ наставникъ, читающій намъ геометрію. Послѣ молитвы «Царю Небесный», черный фракъ

двигался нѣсколько минутъ изъ угла въ уголъ по классу, затѣмъ послѣдовали старческій кашель, щелчокъ по табакеркѣ, нюханье табаку и вытираніе носа платкомъ. Мы ко всему этому привыкли и ждали, что будетъ далѣе. «Дайте мнѣ мѣлу!» Ученикъ подалъ ему кусокъ мѣлу и вытеръ грязною тряпкою черную доску. Такъ какъ тряпка была въ мѣлу и выпачкала ему руки, онъ ударилъ ладонью объ ладонь и при этомъ, разумѣется, счелъ нужнымъ, на потѣху товарищей, скорчить рожу. И вотъ на доскѣ появились углы и треугольники. Геометрія не считается у насъ въ числѣ главныхъ предметовъ преподаванія, и потому на черченіе наставника никто не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Онъ останавливалъ время отъ времени свою работу, нюхалъ табакъ, поглядывалъ наискось на изображенные имъ круги и треугольники и снова продолжалъ: $AB+AC=AD+AC=S$ и притомъ уголъ BAC и такъ далѣе. Позади меня два ученика преспокойно играли въ три листика, искусно пряча подъ столомъ избитыя, засаленныя карты. Вдругъ одинъ изъ нихъ, вѣроятно въ порывѣ восторга, крикнулъ: «флюстъ!» Наставникъ вздрогнулъ и обернулся. «Какой флюстъ? Кто это сказалъ?» И, подойдя къ нашему столу, ни съ того, ни съ сего, напалъ на сидѣвшаго подлѣ меня товарища. «А, въ карты играть?.. хорошо!.. Пойдемъ къ инспектору». Бѣднякъ струсилъ и указалъ на виновнаго. «Это вотъ онъ что-то сказалъ».— А, это ты! крикнулъ наставникъ: хорошо!.. Пойдемъ къ инспектору. — «Помилуйте, отвѣчалъ съ улыбкою ученикъ: я сказалъ: плюсъ, а не флюстъ». — Пошелъ на середину класса!.. ну, стой тутъ. Гдѣ карты? — «У меня никакихъ нѣтъ картъ». — А, нѣтъ... выворачивай карманъ. Такъ... Выворачивай другой... Гм... нѣтъ... разстегни жилетъ. — Картъ нигдѣ не нашлось: онѣ уже давно были переданы въ десятыя руки. «Ну, чертъ васъ разберетъ! Зачѣмъ ты нарушаешь порядокъ? — Виноватъ! Я увлекся вашею задачею; вы, кажется, хотѣли поставить минусъ, а мнѣ показалось, что нужно плюсъ, я и крикнулъ: плюсъ! —«То-то увлекся... Пошелъ на мѣсто!» Динь, динь, динь! Пробило 12 часовъ. «Уже?» спросилъ наставникъ. Обратился къ журналисту и подписалъ въ журналѣ свою фамилію. «Дайте-ка мнѣ геометрію».

Книга была подана. «Отъ сихъ до этихъ», сказалъ онъ и провелъ своимъ острымъ ногтемъ на поляхъ страницы двѣ черты.

Я такъ спѣшилъ на квартиру, что рубашка моя взмокла отъ пота: мнѣ страшно хотѣлось ѣсть. Послѣ обѣда опять пришлось тащиться въ семинарію, чтобы перевести полстранички изъ Лактанція. И какой переводъ!.. Тянутъ слово за слово; инаго хоть убей, не знаетъ, въ какомъ времени стоитъ глаголъ и не различитъ подлежащаго отъ сказуемаго. Только время пропадаетъ даромъ!

15.

Однако мнѣ невозможно вести дневникъ свой, какъ бы хотѣлось, т. е. заноситъ въ него впечатлѣнія свои ежедневно: и времени свободнаго у меня мало, и боюсь, что Ѳедоръ Ѳедоровичъ нечаянно отворитъ дверь въ мою комнату и поймаетъ меня на мѣстѣ преступленія, съ поличнымъ въ рукахъ. Жаль! Знаю, что лица, которыя я здѣсь вывожу, очерчены блѣдно, что языкъ припахиваетъ бурсою, но все таки эта работа доставляетъ мнѣ удовольствіе. Она нисколько меня не стѣсняетъ, она не походитъ на извѣстное разсужденіе изъ заданной темы, гдѣ необходимы приступъ, дѣленіе, доказательства, сравненія, примѣры и заключеніе. Пишу то, что́ проходитъ у меня въ головѣ, что̀ вижу, что́ затрогиваетъ меня за сердце. Матеріаловъ у меня не слишкомъ много, потому что среда, въ которой я вращаюсь, ужъ черезъ чуръ тѣсна. Не спорю, что она имѣетъ свою физіономію, что на ней лежитъ своя оригинальная печать, но для меня-то нѣтъ въ ней новаго ни на волосъ. Какъ бы то ни было, буду писать, когда случится, безъ особенной послѣдовательности и строгой связи. Быть можетъ, кто нибудь прочтетъ эти строки черезъ 20 или 30 лѣтъ и скажетъ: такъ вотъ при какой обстановкѣ шло воспитаніе нашихъ отцовъ!... Прочтетъ, — и не броситъ въ насъ камня. Нынѣшній день была у насъ лекція французскаго языка, который, за неимѣніемъ профессора, читается ученикомъ Богословія, такъ называемымъ *лекторомъ*. Этотъ богословъ, въ пестрыхъ клѣтчатыхъ штанахъ и въ яркомъ, разноцвѣтномъ жилетѣ, держитъ себя важнѣе, чѣмъ кто нибудь изъ нашихъ наставниковъ. «Ну-съ», говоритъ онъ подслѣповатому ученику, голова котораго покрыта золо-

тушными струпьями, «переводите».... И стоитъ, покачивая своимъ вытянутымъ до невозможности корпусомъ. Лѣвая нога его картинно отставлена впередъ, одна рука занята книгою, другая играетъ бронзовою цѣпочкою. Ученикъ моргаетъ и посматриваетъ изъ-подлобья налѣво и направо: «подскажите, молъ, анаѳемы!..» И вотъ слышится шопотъ: человѣкъ, любящій добродѣтель... «Не подсказывать, господа!» замѣчаетъ лекторъ. «Вы, я думаю, и склонять-то не умѣете, а?» Ученикъ молчитъ. «Склоняйте l'homme».

— «Именительный l'homme».

Родительный...»

«Довольно, довольно! Какой тутъ ломъ? Экое произношеніе! Оно и видно, что вамъ приличнѣе держать ломъ въ рукахъ, а не книгу». Въ классѣ раздается сдержанный хохотъ. Лекторъ радъ, что сказалъ острое словцо. «Слѣдующій!»—«Я нездоровъ», пробасилъ плечистый верзило, лѣниво поднимаясь со скамьи съ заспаннымъ лицомъ и закрывая широкою ладонью зѣвающій ротъ. «Желудокъ, вѣрно, обременили?» Въ классѣ опять раздается хохотъ. И такимъ образомъ проходитъ время съ пользою для учащихся, съ пріятностію для наставника.

20.

Вчера Ѳедоръ Ѳедоровичъ праздновалъ день своего рожденія. Къ этому событію онъ приготовлялся за недѣлю впередъ. Вотъ, молъ, и тотъ-то меня посѣтитъ, и такой-то у меня будетъ, и записывалъ для памяти, что̀ ему нужно купить. Подъ-часъ, сидитъ съ латинскимъ лексикономъ въ рукахъ, приготовляя изъ христоматіи переводъ странички къ слѣдующему классу, и вдругъ положитъ его въ сторону и скажетъ: «ахъ, паюсной икры еще надобно, чуть не забылъ!» И замѣтитъ на бумагѣ: 1 фунтъ паюсной икры. Икры, повторитъ онъ и задумается, потупивъ голову; посмотритъ на цифры, сдѣлаетъ сложеніе и плюнетъ: «вотъ оно что! Десяти руб. сер. не хватитъ, не смотря на то, что чай, сахаръ и ромъ у меня некупленные». Даже со мною онъ заводитъ объ этомъ рѣчь: «вотъ, молъ, каково теперь содержаніе! на все такая дороговизна, что смерть!» Ужъ не намекаетъ ли онъ, что дешево взялъ съ меня за квартиру?..

Григорій, иначе называемый Гришкою, сбился съ ногъ, бѣгая на рынокъ и съ рынка. Покупка разныхъ разностей, по неизвѣстной причинѣ, не сдѣлалась разомъ. Потребовалось луку—и Григорій бѣжитъ; понадобилось горчицы—и Григорій опять бѣжитъ. Только-что возвратится, облитый горячимъ пòтомъ, «Гришка!» раздается изъ кабинета: «пошелъ сюда! Ступай, возьми уксусу на 10 коп.» И Григорій опять бѣжитъ, повторяя дорогою: «уксусу на 10 коп., уксусу на 10 коп.» Вечеромъ подъ этотъ, въ нѣкоторомъ родѣ, торжественный день, Ѳедоръ Ѳедоровичъ былъ у всенощной и возвратился оттуда съ двумя большими просфирами и тотчасъ же вывелъ крупными буквами на одной: *за здравіе*, на другой: *за упокой*. Усталый мальчуганъ дремалъ въ передней. Ѳедоръ Ѳедоровичъ вошелъ въ нее и потянулъ въ себя воздухъ. «Вишь, какъ онъ тутъ навонялъ пòтомъ... Пошелъ, чертенокъ, въ кухню!» и дернулъ его за вихоръ. Не прошло двухъ минутъ, онъ уже стоялъ въ своемъ кабинетѣ на молитвѣ, съ кіевскими святцами въ рукахъ. Передъ иконою теплилась лампадка. Наступившее утро ознаменовалось тѣмъ, что Ѳедоръ Ѳедоровичъ надѣлъ на себя новый сюртукъ. Постороннихъ лицъ съ поздравленіями не было никого. Приходили только три ученика изъ нашего класса, которые принесли ему въ подарокъ серебряную солонку, конечно, купленную ими на складчину. Знаю я этихъ ословъ, извѣстныхъ своимъ тупоуміемъ и проказами на квартирѣ, въ домѣ подозрительнаго поведенія хозяйки... впрочемъ, это не мое дѣло. Ѳедоръ Ѳедоровичъ ихъ обласкалъ и поблагодарилъ. Едва затворилась за ними дверь, онъ началъ вертѣть въ рукахъ подаренную ему вещь, разсматривалъ ее сверху, снизу, съ боковъ и наконецъ сказалъ въ слухъ: «84 пробы». Въ передней кто-то кашлянулъ. «Кто тамъ?»—Я-съ, отвѣчалъ знакомый Ѳедору Ѳедоровичу сапожникъ:—честь имѣю поздравить васъ со днемъ рожденія. Вотъ не угодно ли-съ принять кренделекъ!...—Крендель былъ испеченъ въ видѣ какого-то мудренаго вензеля и кругомъ осыпанъ миндалемъ. «Спасибо, братецъ, спасибо! Ну, что-жъ, выпьешь рюмку водки?»—Грѣшный человѣкъ! пью-съ.—И рюмка была выпита.—А вы, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, ужъ того-съ... замолвите за меня слово въ вашей семинаріи, вы ужъ

тамъ знаете кому. На счетъ лаковыхъ сапоговъ не извольте сомнѣваться: я сказалъ, что ихъ сошью—и сошью-съ. Такіе удеру,—мое почтеніе!—«Хорошо, хорошо—я постараюсь».

Вечеромъ собралось нѣсколько профессоровъ. Прежде всего мнѣ бросилась въ глаза та самая черта, которую я замѣтилъ недавно въ Ѳедорѣ Ѳедоровичѣ: всѣ они вели себя здѣсь совершенно не такъ, какъ ведутъ себя въ семинаріи. Величія не было ни тѣни. Смѣхъ, шутки, пересыпанье изъ пустаго въ порожнее—все это сильно меня изумляло. Отчего-жъ, думалъ я, эти люди на насъ, учащихся, смотрятъ съ какой-то недоступной высоты? Отчего ни къ одному изъ нихъ я не смѣю подойти съ просьбою: будьте такъ добры, потрудитесь мнѣ вотъ это растолковать?... Поневолѣ вспомнишь слова Яблочкина, который сказалъ мнѣ однажды, что молодости нужно дыханіе любви, что она не можетъ развиваться подъ холодомъ и грозою, или развивается медленно и уродливо, что она замираетъ отъ ледянаго прикосновенія непрошенныхъ объятій.

Мнѣ приказано было разносить чай. Мое новое положеніе въ качествѣ прислуги немножко меня смущало. На подносѣ всѣ чашки приходили въ движеніе, когда я проходилъ съ ними по комнатѣ. Послѣ раздачи чашекъ я молчаливо остановился у притолки; порою, по приказанію кого-нибдь изъ гостей, набивалъ трубку, причемъ не одинъ разъ говорили мнѣ съ какою-то двусмысленною улыбкою: «а ваша милость вкушаетъ отъ этого запрещеннаго плода?»—Нѣтъ, отвѣчалъ я. И въ груди моей пробуждалось чувство непонятной досады. Разговоръ оживлялся все болѣе и болѣе. Громче всѣхъ говорилъ профессоръ словесности, человѣкъ почтенныхъ лѣтъ, украшенный сѣдинами и лысиною.

«Что вы не женитесь, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, а? Ну, что вы не женитесь?»(У него, видите-ли, дочь-невѣста, такъ нельзя же о ней не позаботиться: родительское сердце!)

Ѳедоръ Ѳедоровичъ пріятно улыбался. «Найдите хорошее мѣсто, порядочный приходъ, словомъ: вѣрное обезпеченіе въ будущемъ,—вотъ и женюсь».

«Отчего-жъ бы вамъ не остаться въ свѣтскихъ?»

— Это опять зависитъ отъ простой причины: найду выгоднымъ— и свѣтскимъ останусь, мнѣ все равно.

«И семинарію, пожалуй, покинете?»

— Почему не такъ. Завиднаго тутъ не много. Что вы успѣли выиграть, преподавая 18 лѣтъ свою реторику?

«Ничего-съ. Былъ сынъ дьякона, теперь надворный совѣтникъ,— это, я вамъ скажу, не маковое зернышко. Потянемъ еще лямку,— пансіонъ дадутъ,—вотъ и выигрышъ. Ну-съ, а это бездѣлица! Вѣдь, здѣсь сто глазъ на васъ смотритъ, сто ушей васъ слушаетъ. Вы имѣете вліяніе на молодые умы, даете имъ направленіе... вотъ вамъ еще выигрышъ. Да что вы думаете о семинаріи, а? Позвольте васъ спросить? Развѣ не изъ семинаріи выходятъ люди съ крѣпкою грудью, объ которую разбиваются всѣ житейскія невзгоды? Развѣ не семинарія вырабатываетъ эти желѣзныя натуры, которыя терпѣливо выносятъ всякій долголѣтній, усидчивый трудъ? Развѣ не въ семинаріи слагаются характеры, которые впослѣдствіи дѣлаются предметомъ удивленія на всѣхъ поприщахъ общественной и государственной жизни? Кто былъ митрополитъ Платонъ, украшеніе трехъ царствованій? А митрополитъ Евгеній? А графъ Сперанскій — этотъ великій, государственный мужъ, это свѣтило умственнаго міра? То-то и есть! Вотъ вы и замолчали... Правду ли я говорю, Иванъ Ермолаичъ?»

Иванъ Ермолаичъ сидѣлъ за столомъ въ числѣ 4-хъ своихъ товарищей по службѣ, игравшихъ по $^1/_4$ коп. въ карты. Онъ выкуривалъ трубку за трубкою и запивалъ табачный дымъ крѣпкимъ пуншемъ. Лицо его носило на себѣ отпечатокъ какой-то внутренней боли, глаза смотрѣли задумчиво и тоскливо. Этому человѣку у насъ не очень посчастливилось. Вступивъ прямо изъ академіи въ должность профессора, онъ хотѣлъ было ввести въ своемъ классѣ новый методъ преподаванія, совѣтывалъ ученикамъ знакомиться съ русскою литературою и выписывать общими силами журналы. Ученики его полюбили. Начальство поставило ему на видъ, что онъ читаетъ не въ свѣтскомъ учебномъ заведеніи, и приказало ему впередъ не умничать. Иванъ Ермолаичъ покорился не вдругъ. Ему

снова сдѣлали замѣчаніе. Онъ рѣшился оставить семинарію и занять мѣсто гражданскаго чиновника; къ сожалѣнію, мѣста не нашлось, и бѣдняга притихъ, сталъ запивать и заниматься дѣломъ, спустя рукава. Но бываютъ часы, когда онъ пробуждается отъ сна. И льется свободно его одушевленное, увлекательное слово; въ классѣ наступаетъ такая тишина, что ухо слышитъ жужжанье бьющейся о стекло мухи; но вдругъ онъ приложитъ руку ко лбу, будто припоминаетъ что-то забытое, вздохнетъ и замолчитъ, какъ порванная струна.

«Такъ, такъ! Вы говорите правду», отвѣчалъ Иванъ Ермолаичъ: «въ особенности меня утѣшаютъ ваши слова: мы даемъ направленіе молодымъ умамъ, что нисколько не мѣшаетъ мнѣ спрягать глаголъ сплю: я сплю, ты спишь...»

— «Ну, ужъ это извините! При нашемъ отцѣ-ректорѣ не заснешь», замѣтилъ сидѣвшій противъ него гость. «Онъ еженедѣльно посѣщаетъ всѣ классы; примѣрный, можно сказать, начальникъ: на волосъ не позволитъ отступить отъ положеннаго имъ однажды на всегда правила. Вчера сижу я спокойно за своимъ столикомъ, глядь — онъ идетъ. Я вскочилъ, застегнулъ въ торопяхъ на всѣ пуговицы фракъ и подошелъ къ нему подъ благословенье. «Продолжайте, сказалъ онъ, продолжайте...» — Не угодно ли вамъ кого-нибудь спроситъ? говорю я. — «Ну что-жъ, пожалуй. Ну, ты... читай!» Онъ указалъ на одного ученика. Ученикъ-то попался бойкій, какъ бишь онъ прозывается?... да! Яблочкинъ. Всталъ онъ и началъ объяснять лекцію своими словами, и ничего, такъ знаете, свободно. Объяснилъ и стоитъ — улыбается. «Кончилъ?» спросилъ его отецъ-ректоръ. — Кончилъ. — «Ну что жъ, вотъ и дуракъ... И забудешь все черезъ полгода». Яблочкинъ поблѣднѣлъ, я тоже немножко потерялся. Отецъ-ректоръ обратился ко мнѣ. «У васъ въ классѣ 80 человѣкъ. Этакъ нельзя, нельзя! Если каждый изъ нихъ будетъ сочинять отвѣты изъ своей головы, вавилонское столпотвореніе выйдетъ, непремѣнно выйдетъ...» Я хотѣлъ оправдываться. «Нѣтъ, говоритъ, этакъ нельзя. Пусть основательно знаютъ то, что для нихъ напечатано, или написано; въ ихъ возрастѣ и этого достаточно, очень

достаточно...» Повернулся,— и ушелъ. Я и остался, какъ оплеванный, и съ досады такъ пробралъ Яблочкина, что у него брызнули слезы. (Бѣдный Яблочкинъ! подумалъ я: чего ему стоили эти слезы!) Вотъ вамъ и сонъ. Нѣтъ, у насъ, кого хочешь, разбудятъ».

«Такъ, такъ, отвѣчалъ Иванъ Ермолаичъ: вамъ бы слѣдовало наказать этого вольнодумца Яблочкина. Ѣшь, молъ, вареное, слушай говореное».

— Знаемъ мы эти остроты? знаемъ!... Вотъ вы хотѣли сдѣлать по-своему, а что̀?... сдѣлали?...

«Обо мнѣ нечего говорить. Все молодость: увлекся — и образумился и пою теперь: «*Пріидите и поклонимся*».

— «Эхъ, ну васъ!» раздалось нѣсколько голосовъ: «изъ-за чего вы бились? Чего вы хотѣли?»

Иванъ Ермолаичъ молчалъ и, облокотясь одною рукою объ столъ, задумчиво смотрѣлъ на свои карты. Болѣзненное выраженіе его лица ясно говорило, что думаетъ онъ вовсе о другомъ.

Сидѣвшій въ углу экономъ не принималъ почти никакого участія въ разговорѣ и вообще держался въ тѣни. Онъ у насъ ничего не читаетъ, и, слѣдовательно, не имѣетъ никакого значенія, но личность его такъ оригинальна, что пріобрѣла себѣ популярность во всей семинаріи. Онъ положительно убѣжденъ, что всѣ мы такъ уже созданы, что не можемъ чего-нибудь не украсть у своего ближняго, не можемъ не надуть его такъ, или иначе, а потому и говоритъ онъ объ этомъ — съ дровосѣкомъ, съ водовозомъ, съ поставщикомъ конопляннаго масла, словомъ, съ людьми всѣхъ сословій, лишь бы пришлось ему вступить съ ними въ какія либо сношенія по его экономической части. Голова его постоянно занята работой: кому и какъ сподручно украсть. Благодаря этой работѣ, онъ сдѣлался рѣдкимъ учителемъ воровства. Увидитъ, что водовозъ ѣстъ на дворѣ калачъ, — поди, говоритъ, сюда. Тотъ подойдетъ. «Ну, что, калачъ ѣшь? — Калачъ. — «А гдѣ взялъ?» — Купилъ. — «Побожись». Тотъ побожится. «Не вѣрю, братъ, — укралъ». — Да какъ же я его укралъ? — «Извѣстно, какъ воруютъ. За водою рано ѣздилъ?» — На разсвѣтѣ. — «Ну, вотъ, такъ и есть. Вотъ, значитъ, ты про-

далъ кому-нибудь бочки двѣ воды, а потомъ ужъ привезъ ее и сюда. Вотъ и ѣшь теперь калачъ... А дровъ не воровалъ?» — Какія тамъ черти дрова! скажетъ разсерженный водовозъ. У воротъ-то день и ночь стоитъ сторожъ; какъ же я ихъ украду? — «Да, да! Ты не придумаешь, какъ украсть!... Накладешь въ бочку полѣньевъ и поѣдешь со двора, и обмѣняешь ихъ на калачи, или на что другое. Вотъ и вся хитрость. Ужъ я тебя знаю!» Водовозъ почешетъ у себя затылокъ и пойдетъ прочь: ну, молъ, ладно! И послѣ въ самомъ дѣлѣ ѣстъ краденные калачи. Подобная исторія повторяется и съ другими.

«Господа! Кто получаетъ вѣдомости? Нѣтъ ли чего новаго?» спросилъ кто-то изъ гостей. Съ минуту продолжалось молчаніе.

— Я просмотрѣлъ у отца-ректора одинъ нумеръ, — отвѣчалъ экономъ: ничего нѣтъ особеннаго. Пишутъ, что умеръ стихотворецъ Лермонтовъ. — «А, умеръ? ну, царство ему небесное. Мнѣ помнится, я гдѣ-то читалъ стихи Лермонтова, а гдѣ, — не припомню».

Между тѣмъ началось приготовленіе къ закускѣ. На столѣ появились бутылки. Кухарка хлопотала въ другой комнатѣ: разрѣзывала холодный, говяжій языкъ, холоднаго поросенка, жаренаго гуся и прочее. Въ это время Иванъ Ермолаичъ, никѣмъ незамѣченный, вышелъ въ переднюю и сталъ отъискивать свои калоши. Я подалъ ему его шинель. «Вы семинаристъ?» спросилъ онъ меня. — Да, семинаристъ. — «А къ лакейской должности не чувствуете особеннаго призванія?» — Нѣтъ, отвѣчалъ я съ улыбкою. — «Ну, слава Богу. Что жъ вы третесь въ передней? Шли бы лучше въ свою комнату и на досугѣ читали бы тамъ порядочную книгу... до свиданія». Онъ надвинулъ на глаза свой картузъ — и ушелъ. Я не оставался безъ дѣла: помогалъ кухаркѣ перетирать тарелки, сбѣгалъ однажды за квасомъ, котораго оказалось мало и за которымъ кухарка отказалась идти въ погребъ, сказавъ, что по ночамъ она ходить всюду боится и не привыкла, и ломать своей шеи по скверной лѣстницѣ не намѣрена. Потомъ опять взялся перетирать тарелки и, по неумѣнію съ ними обходиться, одну разбилъ. Кухарка назвала меня разинею, а Ѳедоръ Ѳедоровичъ крикнулъ: «нельзя-ли поосторожнѣе?» Наконецъ каждому гостю поочередно я розыскалъ и подалъ калоши, накинулъ

на плечи верхнее платье и, усталый, вошелъ въ свою комнату. Сальная свѣча нагорѣла шапкою и едва освѣщала ея непривѣтныя стѣны. Өедоръ Өедоровичъ заглянулъ ко мнѣ въ дверь. «Вотъ видишь, мы тамъ сидѣли, а тутъ цѣлая свѣча сгорѣла даромъ. Ты, пожалуйста, за этимъ смотри...»

Эхъ-ма! Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

30.

Именно: omnia vanitas! На квартирѣ не весело, въ классѣ скучно, скучно не потому, что я невнимателенъ къ своему дѣлу, а потому, что товарищи мои слишкомъ со мною необщительны, слишкомъ холодны. Вотъ, ей-Богу, чудаки! Неужели они думаютъ, что я въ самомъ дѣлѣ рѣшусь пересказывать Өедору Өедоровичу все, что́ я вокругъ себя вижу и слышу? Но тогда я презиралъ бы самого себя болѣе, нежели кто нибудь другой. Желалъ бы я однако знать, въ чемъ заключается наблюденіе Өедора Өедоровича за моими занятіями и что̀ разумѣетъ онъ подъ словами: слѣдить за ходомъ моихъ успѣховъ? Ужь не то ли, что иногда отворитъ мою дверь и спроситъ: «чѣмъ занимаешься?» Вотъ тѣмъ-то, отвѣчу я. «Ну и прекрасно. Пожалуйста, не болтайся безъ дѣла». И начнетъ разгуливать по своей комнатѣ, поигрывая махрами шелковаго пояса и напѣвая вполголоса свой любимый романсъ:

Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ,
Ты мнѣ милъ навсегда.

Или присядетъ на корточки средь пола и тѣшится съ сѣрымъ котенкомъ. «Кисинька, кисинька!... Эхъ-ты!...» И подниметъ его за уши. Котенокъ замяучитъ. «Не любишь, шельма, а? не любишь?» Положитъ его къ себѣ на колѣни, или прижметъ къ груди и ласково поглаживаетъ ему спину и даетъ ему разныя, нѣжныя названія. Котенокъ мурлычетъ, жмуритъ глаза и вдругъ запускаетъ въ ласкающія его руки свои острые когти. «А чтобъ тебя чертъ побралъ!» крикнетъ Өедоръ Өедоровичъ и такъ хватитъ объ полъ своего любимца, что бѣдное животное ошалѣетъ, проберется въ какой-нибудь уголъ и, растянувшись на полу, долго испускаетъ жалобное мяу! мяу!

Я заметилъ, что Θедоръ Θедоровичъ бываетъ въ наилучшемъ расположеніи духа въ праздничные дни, послѣ сытнаго обѣда, который оканчивается у него объемистой мискою молочной каши, немедленно запиваемой кружкой густаго, краснаго квасу. Въ прошлое воскресенье, едва кухарка успѣла убрать со стола посуду и подмести комнату, Θедоръ Θедоровичъ легъ на диванъ, подложилъ себѣ подъ локоть пуховую подушку, приказалъ мнѣ подать огня для папиросы и крикнулъ: «Гришка!» — Ась! отвѣчалъ Григорій изъ передней. — «А, ну-ка, поди сюда.» Мальчуганъ вошелъ и остановился у притолки. Посмотрѣлъ я на него, — смѣхъ, да и только: волосы всклокочены, лицо неумыто, рубашка въ сальныхъ пятнахъ, концы старыхъ сапоговъ, подаренныхъ ему Θедоромъ Θедоровичемъ, загнулись на его маленькихъ ногахъ въ родѣ бараньихъ роговъ. Но молодецъ онъ, право: какъ ни дерутъ его за вихоръ, всегда веселъ! «Ну, что-жъ, ты былъ сегодня у обѣдни?» спрашиваетъ его Θедоръ Θедоровичъ.— А то будто нѣтъ. — «И Богу молился?» Григорій почесался о притолку и ухмыльнулся. — Какъ же не молиться, на то церковь. — «Ну, гдѣ-жъ ты стоялъ?» Григорій смѣется. «Чему ты смѣешься, stultus?» Звукъ незнакомаго слова такъ удивилъ мальчугана, что онъ фыркнулъ и убѣжалъ въ переднюю. «Ты не бѣгай, рыжая обезьяна! Пошелъ, сними съ меня сапоги!» Григорій повиновался. Между тѣмъ Θедоръ Θедоровичъ лѣниво зѣвалъ и осѣнялъ крестомъ свои уста. «Ну, рыжій! хочешь взять пятакъ?» — Хочу, отвѣчалъ рыжій и протянулъ за пятакомъ руку. «Э, ты думаешь — даромъ? Представь, какъ продаютъ черепенники, тогда и дамъ». Мальчуганъ остановился средь комнаты, прищурилъ глаза и, медленно размахивая правою рукою, затянулъ тонкимъ голосомъ:

Эхъ, лей кубышка,
Поливай кубышка.
Не жалѣй кубышка
Хозяйскаго добришка;
За хозяйской головою
Поливаемъ, какъ водою.

Кто мои черепенники беретъ,
Тотъ здравъ живетъ.
Подходи!...

При послѣднемъ словѣ онъ бойко повернулся на каблукѣ и топнулъ ногою объ полъ. Вслѣдъ за тѣмъ я получилъ приказаніе остановить маятникъ часовъ, и Ѳедоръ Ѳедоровичъ погрузился въ безмятежный сонъ.

Октября 6.

Заходилъ я, ради скуки, къ Яблочкину и засталъ его, какъ и всегда, за книгою. Онъ сидѣлъ передъ окномъ, подперевъ руками свою голову, и такъ былъ углубленъ въ свое занятіе, что не слыхалъ, какъ я вошелъ. «Ты, братъ, все за книгами», сказалъ я, положивъ руку на его плечо. Онъ вздрогнулъ и быстро поднялся со стула. — Тьфу! какъ ты меня испугалъ! Отчего ты такъ рѣдко у меня бываешь? Или боишься своего наставника? — «Что за вздоръ!» отвѣчалъ я: «нашлось свободное время, вотъ я и пришелъ. Нѣтъ ли чего почитать?» — Я тебѣ сказалъ: только бери, книги найдутся. — Яблочкинъ вздохнулъ и прилегъ на кровать. «Грудь, душа моя, болитъ, сказалъ онъ, смотря на меня задумчиво и грустно: вотъ что скверно! Ахъ, если бы у меня было твое здоровье, чего бы я не сдѣлалъ! чего бы я не перечиталъ! Лѣнтяй ты, Вася! — «Нѣтъ, Яблочкинъ, ты меня не знаешь», отвѣчалъ я нѣсколько горячо: «я такъ зубрю уроки, что другой на моемъ мѣстѣ давно бы слегъ отъ этого въ могилу, или сдѣлался идіотомъ». Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ. — Откуда же въ тебѣ эта любовь къ мертвой буквѣ? — «Тутъ нѣтъ никакой любви. Я смотрю на свои занятія, какъ на обязанность, какъ на долгъ. Я знаю, что этотъ трудъ со временемъ дастъ мнѣ возможность принести пользу тѣмъ, въ средѣ которыхъ я буду поставленъ. Знаешь ли, другъ мой, продолжалъ я, воодушевляясь: санъ священника — великое дѣло. Эта мысль приходила мнѣ въ голову въ безсонныя ночи, когда, спрятавъ учебныя книги, усталый, я бросался на свою жесткую постель. Вотъ, думалъ я: наконецъ, послѣ долгаго труда я удостоиваюсь сана священно-служителя. Падаетъ ли какой-нибудь бѣднякъ, убитый нуждою, я поддерживаю

его силы словомъ Евангельской истины. Уныватъ ли несчастный, безчестно оскорбленный и задавленный, — я указываю ему на безконечное терпѣніе Божественнаго Страдальца, Который, прибитый гвоздями на крестѣ, прощалъ своимъ врагамъ. Вырываетъ ли ранняя смерть любимаго человѣка изъ объятій друга, — я говорю послѣднему, что есть другая жизнь, что другъ его теперь болѣе счастливъ, покинувъ землю, гдѣ царствуетъ зло и льются слезы.... И, послѣ этого, быть можетъ, я пріобрѣтаю любовь и уваженіе окружающихъ меня мужичковъ. Устраиваю въ своемъ домѣ школу для дѣтей ихъ обоего пола, учу ихъ грамотѣ; читаю и объясняю имъ Святое Евангеліе. Эти дѣти становятся взрослыми людьми, разумными отцами и добрыми матерями.... И я, покрытый сѣдинами, съ чистою совѣстью ложусь на кладбищѣ, куда, какъ духовный отецъ, проводилъ уже не одного человѣка, напутствуя каждаго изъ нихъ живымъ словомъ утѣшенія...»

Яблочкинъ пожалъ мнѣ руку. «У тебя прекрасное сердце! Но, Вася, нужно имѣть желѣзную волю; мало этого, нужно имѣть свѣтлую, многосторонне развитую голову, чтобы устоять одиноко на той высотѣ, на которую ты думаешь себя поставить, и гдѣ же? Въ глуши, въ какой-нибудь деревушкѣ, среди грязи, бѣдности и горя, въ совершенномъ разъединеніи со всякимъ умственнымъ движеніемъ. Вспомни, что тебѣ еще придется зарабатывать себѣ насущный кусокъ хлѣба своими руками....»

— На все воля Божія, отвѣчалъ я и молчаливо опустилъ свою голову.

«Отъ чего это жизнь идетъ не такъ, какъ бы хотѣлось?» сказалъ Яблочкинъ съ досадою и горечью.

Послѣ долгаго, взаимнаго молчанія, у насъ снова зашелъ разговоръ о семинаріи.

«Я слышалъ, сказалъ я, что тебѣ досталось за объясненіе лекціи. Помнишь?..»

— Еще бы не помнить! — Яблочкинъ вскочилъ съ кровати. — Это не бѣда, это въ порядкѣ вещей, что я былъ оскорбленъ и уничтоженъ своимъ наставникомъ. Ему все простительно. Его уже поздно

передѣлывать. Но эта улыбка, которую я замѣтилъ на лицахъ моихъ товарищей въ то время, когда у меня брызнули неумѣстныя, проклятыя слезы, — эта глупая улыбка довела меня до послѣдней степени стыда и негодованія. Дѣло не въ томъ, что здѣсь пострадало мое самолюбіе, а въ томъ, что эта молодежь, которая, казалось бы, должна быть воспріимчивою и впечатлительною, успѣла уже теперь, въ стѣнахъ учебнаго заведенія, сдѣлаться тупою и безчувственною. Вотъ что мнѣ больно! Что же выйдетъ изъ нея послѣ, въ жизни? — «Охота тебѣ волноваться», сказалъ я: «а говоришь, что грудь у тебя болитъ». — Какъ, Вася, не волноваться? Я опять попалъ было недавно въ бѣду: на дняхъ, въ присутствіи нѣсколькихъ человѣкъ, я имѣлъ неосторожность высказать свое мнѣніе на счетъ одной, извѣстной тебѣ іезуитской личности, поставившей себѣ главною задачею въ жизни пресмыкаться предъ всѣмъ, что имѣетъ нѣкоторую силу и нѣкоторый голосъ, и давить все безсильное и безотвѣтное... — «Инспектора?» прервалъ я его въ испугѣ. — Ну, да! Черезъ два часа слова мои были ему переданы, и онъ позвалъ меня къ себѣ. — «Ты говорилъ вотъ то и то?» спросилъ онъ меня. Представь себѣ мое положеніе: отвѣтить *да*, — значило обречь себя на погибель, — я подумалъ, подумалъ и сказалъ рѣшительно: *нѣтъ!* «А если, продолжалъ онъ, я призову двухъ сторожей и заставлю тебя сказать правду подъ розгами?» Я молчалъ. Сторожа явились. «Признавайся», говорилъ онъ, «прощу...» Замѣть; какая невинная хитрость: проститъ!... «Не въ чемъ!» отвѣчалъ я, смотря ему прямо въ глаза и давъ себѣ слово скорѣе умереть на мѣстѣ, чѣмъ лечь подъ розги. «Позовите тѣхъ, при комъ я говорилъ. Я чувствовалъ въ себѣ какую-то неестественную силу. Глаза мои, навѣрное, метали искры. Инспекторъ отвернулся и крикнулъ: «вытолкните его, мерзавца, вонъ и отведите въ карцеръ...» И я просидѣлъ до вечера въ карцерѣ безъ хлѣба, безъ воды, едва дыша отъ нестерпимой вони... ну, ты знаешь нашъ карцеръ.» Яблочкинъ снова прилегъ на свою кровать. Грудь его высоко поднималась. Лицо горѣло. Я понялъ, что мнѣ неловко было упрекать его за неосторожныя слова. Мало ли мы что болтаемъ! и кто, спрашивается, отъ этого терпитъ?

Ровно никто. Жаль, что онъ такъ впечатлителенъ; еще больше жаль, что у него такое слабое здоровье.

14.

Вотъ и рѣшай, кто тутъ правъ и кто виноватъ, и суди, какъ знаешь. Яблочкинъ сказалъ необдуманное слово и чуть не погибъ, а другіе доходятъ до безобразія, и все остается шито и крыто. Пошелъ я сегодня, послѣ вечерни, пошататься по городу; иду по одной улицѣ, вдругъ слышу — стучатъ въ окно: «зайди на минуту; дѣло есть», раздался голосъ знакомаго мнѣ философа Мельхиседекова, который учится вмѣстѣ со мною и принадлежитъ къ самымъ лучшимъ ученикамъ по своему поведенію и прилежанію. Я зашелъ. Гляжу — кутежъ! Мельхиседековъ стоитъ среди комнаты, молодцовато подпершись руками въ бока. Трое его товарищей, безъ галстуховъ, въ толстыхъ холстинныхъ рубашкахъ и въ нанковыхъ панталонахъ, сидятъ за столомъ. На столѣ — полштофъ водки, рюмка, груши въ тарелкѣ и какая-то старая, въ кожаномъ переплетѣ, книжка. Четвертый, уже упитанный, спитъ на лежанкѣ, лицомъ къ печкѣ. Подъ головою его, вмѣсто подушки, лежатъ творенія Лактанція и латинскій лексиконъ Кронеберга. «Пей!» сказалъ мнѣ Мельхиседековъ, прежде нежели я успѣлъ осмотрѣться, куда попалъ. «Что у тебя за радость?» спросилъ я. — Деньги отъ отца получилъ и кстати имянинникъ. Посмотри въ святцы и увидишь: мученика Протасія. — «Я не пью». — Стало быть, ты ханжа, а не товарищъ. Ну, ступай — донеси, кому слѣдуетъ о всемъ, что здѣсь видѣлъ... Такъ поступаютъ подлецы, а не добрые товарищи. Знаемъ мы, у кого ты живешь!.. Извини, братъ, что я тебя позвалъ. Я думалъ о тебѣ лучше...» У меня мелькнула мысль, что отказъ мой непремѣнно дастъ поводъ заподозрить меня въ наушничествѣ и поведетъ къ глупымъ росказнямъ; я послушался и выпилъ. Мельхиседековъ меня поцѣловалъ. «Вотъ спасибо! Теперь садись въ рядъ и будемъ говорить въ ладъ». — «Такъ-то такъ, сказалъ я: а если, сохрани Боже, заѣдетъ сюда субъ-инспекторъ...» Мельхиседековъ засмѣялся и свистнулъ. «Видали мы эти виды!» — «Видали, братъ, видали!» подхватили со смѣхомъ ученики, сидѣвшіе за столомъ: «пусть явится. Въ секунду

все будетъ въ порядкѣ: возьмемся за тетрадки, за книги и встрѣтимъ его особу глубокими поклонами. Къ этой комедіи намъ не привыкать».

«Слышишь, Мельхиседековъ!» сказалъ рябой ученикъ, взъерошивая на головѣ рыжіе волосы: «я, братъ, еще выпью. Нельзя не выпить. Послушай, что вотъ напечатано въ поэмѣ: *Елисей*».

— Ступай ты съ нею къ черту! Ты 20 разъ принимался ее читать, отвѣчалъ Мельхиседековъ: и надоѣлъ, какъ горькая рѣдька.

«Нѣтъ, не могу. Сердись, какъ угодно, а я прочту: мы обязаны читать все поучительное...» И онъ уткнулъ носъ въ книгу.

Когда печальный мужъ чарченку выпиваетъ,
Съ чарченкой всю свою печаль позабываетъ.
И воинъ, водочку имѣючи съ собой,
Хлебнувши чарочку, смѣлѣе идетъ въ бой.
Но что я говорю о малостяхъ такихъ?
Спросите вы о томъ духовныхъ и мірскихъ,
Спросите у дьяковъ, спросите у подъячихъ,
Спросите у слѣпыхъ, спросите вы у зрячихъ,
Я думаю, что вамъ отвѣтствуютъ одно:
Что лучшій въ свѣтѣ даръ для смертныхъ есть вино.

«Вотъ что, братъ! Слышишь?»

— Такъ, сказалъ Мельхиседековъ: а если дадутъ тебѣ тему: пьянство пагубно, я думаю, ты не станешь тогда приводить цитатъ изъ поэмы: *Елисей*.

«Кто, я-то? homo sum, ergo... напишу такъ, что иная благочестивая душа прольетъ слезы умиленія. Приступъ: взглядъ на пороки вообще, на пьянство въ частности. Дѣленіе: 1-е) пьянство низводитъ человѣка на степень безсловесныхъ животныхъ. 2-е) пьяница есть мучитель и стыдъ своей семьи. 3-е) вредный членъ общества, и наконецъ 4-е) пьяница есть самоубійца... Что, братъ, ты думаешь, мы сробѣемъ?»

— Молодецъ! а что ты напишешь на тему, которая дана намъ теперь: *можно ли что-нибудь представить внѣ формъ простран-*

ства и времени, какъ напримѣръ — ничто или вездѣсущество? Ну-ка, скажи!

«Вдругъ не напишу, а подумавши, можно. Я, братъ, что хочешь напишу, ей-Богу, напишу! вотъ ты и знай!» И рыжій махнулъ рукою и плюнулъ.

Остальные два ученика не обращали ни малѣйшаго вниманія на этотъ разговоръ и продолжали горячій споръ:

«Ты погоди! Ты не тутъ придаешь силу своему голосу... да! Слушай!

Грянулъ внезапно
Громъ надъ Москвою...

Вотъ ты и сосредочивай всю силу голоса на словѣ: *грянулъ*, а у тебя выходитъ громче слово: *внезапно*, — значитъ, ты не понимаешь дѣла. Далѣе:

Выступилъ съ шумомъ
Донъ изъ береговъ
Ай Донцы!
Молодцы!

Послѣднія два слова такъ пой, чтобы окна дрожали. У тебя все это не такъ.»

— И не нужно. Я больше не буду пѣть. Все это глупости. Ты, братъ, смотри на пѣсню съ нравственной точки зрѣнія. Но такъ какъ тебѣ эта точка недоступна, слѣдовательно, ты поешь чепуху и празднословишь.

«Я тебѣ говорю: «пой!»

— Не буду я пѣть!

«Ну, твоя воля! Стало быть, ты глупъ...»

«Эй, чижикъ!» крикнулъ Мельхиседековъ. Изъ темнаго угла вышелъ блѣдный, остриженный подъ гребенку мальчуганъ и несмѣло остановился среди комнаты. На плечахъ его былъ полосатый, засаленный халатишко. Руки носили на себѣ признаки, извѣстной между нами, болѣзни, появляющейся вслѣдствіе неопрятности и нечистоплотности. Это былъ ученикъ духовнаго училища. «Вотъ тебѣ посуда; вотъ тебѣ четвертакъ; ступай туда... знаешь... и возьми ко-

сушку». Мальчуганъ повернулся и пошелъ. «Стой, стой!» сказалъ Мельхиседековъ: «знаешь свой урокъ?» — Знаю. — «Посмотримъ. Какъ сыскать общій дѣлитель?» Мальчуганъ поднялъ къ потолку свои глазенки и началъ однозвучно читать: «Должно раздѣлить знаменателя данной дроби на числителя, когда не будетъ остатка, то сей дѣлитель будетъ общій дѣлитель,..» — «Довольно.... Ты скажи, чтобы не обмѣривали; меня, молъ, приказный послалъ... Этотъ чижикъ отданъ мнѣ подъ надзоръ, вотъ я его и пробираю», сказалъ мнѣ Мельхиседековъ. Едва за мальчуганомъ затворилась дверь, въ комнату вошла хозяйка дома, дородная, красношекая женщина и закричала, размахивая руками: «перестаньте, безстыдники, горло драть! Что вы покою не даете добрымъ людямъ!» — «Не сердитесь, почтеннѣйшая женщина!» отвѣчалъ Мельхиседековъ: «вамъ это вредно при вашемъ полнокровіи...»—Гуляемъ. Акулина Ивановна! Гуляемъ! сказалъ рыжій, и положилъ на столъ свои ноги. «Вотъ изволите ли видѣть? Свобода царствуетъ!..» — «Ну. ты-то что еще безобразничаешь? Ахъ, ты, молокососъ, молокососъ! Погоди, — дай только твоему отцу сюда пріѣхать, ужъ я тебя распишу!..» Я воспользовался тѣмъ, что вниманіе всѣхъ обратилось на хозяйку, и незамѣтно ускользнулъ за дверь. Экіе кутилы!

Декабря 10.

Давно я не брался за перо. И слава Богу! Небольшая потеря... Итакъ, слова Яблочкина, что у насъ найдутся средства познакомиться со всѣми произведеніями нашихъ лучшихъ писателей, сбылись вполнѣ. Въ продолженіе двухъ съ половиной мѣсяцевъ я перечиталъ столько книгъ, что мнѣ самому кажется теперь непонятнымъ, какимъ образомъ достало у меня на этотъ трудъ и силы, и времени. Я читалъ въ классѣ украдкою отъ наставниковъ. Читалъ въ моей комнаткѣ украдкою отъ Ѳедора Ѳедоровича, который удивлялся, зачѣмъ я пожигаю такую пропасть свѣчъ, но свѣчи, тоже украдкою, я сталъ покупать на свои деньги, и покамѣстъ все обстоитъ благополучно... Ну, мой милый, безцѣнный Яблочкинъ! Какъ бы ни легли далеко другъ отъ друга наши дороги, куда бы ни забросила насъ судьба, я никогда не забуду, что ты первый пробу-

дилъ мой спавшій умъ, вывелъ меня на Божій свѣтъ, на чистый воздухъ, познакомилъ меня съ новымъ прекраснымъ, доселѣ мнѣ чуждымъ, міромъ... Какая теплая, какая чудная душа у этого человѣка! Мало того, что онъ давалъ мнѣ всѣ лучшія книги, онъ дѣлился со мною многими рукописями, которыя доставалъ съ величайшимъ трудомъ у своихъ знакомыхъ. И освѣтились передо мною разные темные закоулки нашего грѣшнаго міра, и развѣнчались и пали нѣкоторыя личности, и загорѣлись передо мною самоцвѣтными камнями доселѣ мнѣ невѣдомыя сокровища нашей народной поэзіи. Вотъ, напримѣръ, начало одной пѣсни. Не знаю, была ли она напечатана.

Ахъ, ты степь моя, степь широкая,
Поросла ты, степь, ковылемъ-травой,
По тебѣ ли, степь, вихри мечутся,
У тебя-ль орлы на пескахъ живутъ;
А вокругъ тебя, степь родимая,
Синей ставкою небеса стоятъ!
Ахъ, ты, степь, моя, степь широкая,
На тебѣ ли, степь, два бугра стоятъ,
Безъ крестовъ стоятъ, безъ примѣтушки,
Лишь небесный громъ въ бугры стукаетъ!..

Да, вотъ это пѣсня! Она не походитъ на ту, которую распѣваетъ такъ часто Өедоръ Өедоровичъ:

Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ,
Ты мнѣ милъ навсегда....

Въ моихъ понятіяхъ, въ моихъ взглядахъ на вещи, совершается теперь переворотъ. Давно ли я смотрѣлъ на грязную сцену кутежа моихъ товарищей спокойными глазами? Въ эту минуту она кажется мнѣ отвратительною. Воспоминаніе о робкомъ мальчикѣ, котораго посылали за водкою, возмущаетъ мою душу и поселяетъ во мнѣ отвращеніе къ жизни, среди которой могутъ возникать подобныя явленія. И все съ большею и большею недовѣрчивостью осматриваюсь

я кругомъ, все глубже и глубже замыкаюсь въ самомъ себѣ. Съ этого времени я понимаю постоянное раздраженіе Яблочкина противъ дикаго мелочнаго педантизма, противъ всякой сухой схоластики и безжизненной морали, противъ всего коснѣющаго и мертваго. Не скажу, чтобы я сдѣлался лѣнивымъ оттого, что пристрастился къ чтенію. Уроки выучиваются мною попрежнему. Но все это дѣлается ex officio, а ужъ никакъ не con amore. Ни одно слово изъ безчисленнаго множества остающихся въ моей памяти словъ не проникаетъ въ мою душу, ни одно слово не вѣетъ на меня освѣжительнымъ дыханіемъ жизни, близкой моему уму, или моему сердцу...

Однако, волею-неволею, мнѣ опять нужно положить перо и взяться за урокъ. А Ѳедоръ Ѳедоровичъ спитъ безпробудно... Тяжело мнѣ мое одиночество въ чужомъ домѣ. Не съ кѣмъ мнѣ обмѣняться ни словомъ, ни взглядомъ. Молчаливо смотрятъ на меня невзрачныя стѣны. Тускло горитъ сальная свѣча. На дворѣ завываетъ вьюга. Бѣлые хлопья снѣгу, пролетая мимо окна, загораются огненными искрами и пропадаютъ въ непроницаемомъ мракѣ. Тяжело мнѣ подъ этою чужою кровлею...

14.

Вотъ и экзамены наступили. Нашъ классъ принялъ на нѣкоторое время какъ-бы праздничный видъ. По полу прошла метла, по столамъ тряпка. Печь истопили съ вечера и дровъ, разумѣется, не пожалѣли. Впрочемъ, истопить ее въ годъ два-три раза — расходъ не великъ. Для отца ректора стояло заранѣе приготовленное покойное кресло. Для профессоровъ были принесены стулья. Казалось, все придумали хорошо, а вышло дурно: промерзшія стѣны отошли, и воздухъ сдѣлался нестерпимо тяжелъ и непріятенъ. На это обратили вниманіе и позвали сторожа съ курилкою. Сторожъ покурилъ,— и воздухъ пропитался запахомъ сосновой смолы. Ѳедоръ Ѳедоровичъ, вѣроятно, чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко въ ожиданіи прихода своего начальника. Онъ торопливо ходилъ по классу, потирая руки и, время отъ времени, поправляя на себѣ черный фракъ, хотя, правду сказать, поправлять его было нечего: онъ былъ застегнутъ по формѣ, отъ первой до послѣдней пуговицы. Сидѣвшій у порога на

заднемъ столѣ ученикъ, съ лицомъ, въ половину обращеннымъ къ двери, съ безпокойнымъ выраженіемъ въ глазахъ, напрягалъ чуткій слухъ, стараясь уловить звуки знакомой ему поступи, чтобы отворить во время дверь, что удалось ему сдѣлать какъ нельзя лучше. «Гм... гм... У васъ тутъ что-то скверно пахнетъ...» сказалъ отецъ-ректоръ, опираясь на свою камышевую трость и оборачивая голову налѣво и направо. — Да-съ, есть немножко, почтительно отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ и тоже, вѣрно по сочувствію, оборотилъ голову налѣво и направо и пододвинулъ къ столу спокойное кресло. Одежда отца-ректора была на лисьемъ мѣху, и на мѣху просторная обувь. Онъ отдалъ одному ученику свою трость, который поставилъ ее въ передній уголъ, и осторожно опустился въ кресло, придерживаясь обѣими руками за его выгнутые бока. «Удобно ли вамъ сидѣть? не прикажите ли поправить столъ?» сказалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ. — Нѣтъ, ничего. Ну, что-жъ, начнемъ теперь, начнемъ. — Въ эту минуту пришли еще два профессора и, послѣ обычныхъ поклоновъ, скромно заняли свои мѣста. Отецъ-ректоръ развернулъ списокъ учениковъ и положилъ на столъ билеты. Начались вызовы. Мнѣ пришлось отвѣчать третьимъ, именно: *о памяти*. Отличусь, думалъ, взглянувъ на билетъ, и дѣйствительно отличился: прочиталъ нѣсколько строкъ такъ бѣгло, что отецъ-ректоръ пришелъ въ изумленіе. «Погоди, погоди! Я ничего не разберу. Говори раздѣльнѣе». Я повиновался. «Ну, что-жъ, хорошо, весьма хорошо!... Повтори о достоинствахъ памяти».

— Достоинства памяти рѣдко соединяются между собою въ одинаковой мѣрѣ, особенно легкость съ крѣпостію и вѣрностію, но постояннымъ упражненіемъ памяти они могутъ быть пріобрѣтаемы до извѣстной степени и часто доводимы до необыкновеннаго совершенства. Въ древнія и новыя времена встрѣчались примѣры...

«Чей ты сынъ?

— Священника.

«Ну, что-жъ, учись, учись. Хорошо! Вотъ и выйдешь въ люди. Ступай!»

Я повернулся.

«Погоди! Зачѣмъ у тебя волоса такъ длинны? Щегольство на умѣ, а? Такъ, такъ! Остригись, непремѣнно остригись. Сколько тебѣ лѣтъ?»

— 19 лѣтъ.

«Такъ, щегольство. Ну, смотри, учись».

Онъ обратился къ Ѳедору Ѳедоровичу и спросилъ его въ полголоса: «Каковъ онъ у васъ?»

— Поведенія и прилежанія примѣрнаго. Способностей превосходныхъ, — послѣдовалъ отвѣтъ въ полголоса. Я боялся, что улыбнусь, и прикусилъ губы. Хвали, подумалъ я: понимаю, въ чемъ тутъ дѣло. Какъ-бы то ни было, сѣвъ на свое мѣсто, я порадовался, что отдѣлался благополучно.

Въ числѣ другихъ вышелъ ученикъ втораго разряда очень молодой, красивый и застѣнчивый, за что товарищи прозвали его «прелестною Машенькой». Онъ робко читалъ по билету, который ему выпалъ, и во время чтенія не поднималъ рѣсницъ. «Такъ, такъ», говорилъ отецъ ректоръ: «продолжай!» И затѣмъ онъ обратился съ улыбкою къ профессорамъ: «Какой онъ хорошенькій, а? не правда ли? Какъ тебя зовутъ?»

— Александромъ.

«Ну, вотъ, вотъ!.. И имя у тебя хорошее...»

Ученикъ краснѣлъ. Сидѣвшій подлѣ него профессоръ предложилъ ему вопросъ. — «Нѣтъ, нѣтъ!» замѣтилъ отецъ-ректоръ: «вы его не сбивайте. Пусть читаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какой онъ хорошенькій!» И экзаменаторъ взглянулъ на списокъ. — «Ты здѣсь невысоко стоишь, невысоко. Вотъ я тебя поставлю повыше... Ты будешь заниматься, а?»

— Буду.

«Ну и хорошо. Ступай!»

Ученики выходили по вызову другъ за другомъ. И вотъ одинъ, малый, впрочемъ неглупый (относительно), замялся и сталъ въ тупикъ.

«Ну, что-жъ. Вотъ и дуракъ! Повтори, что прочиталъ».

— Хотя творчество фантазіи, какъ свободное преобразованіе представленій, не стѣсняется необходимостію строго слѣдовать закону

истины, однакожъ, показуясь представленіями, взятыми изъ дѣйствительности, оно тѣмъ самымъ примыкаетъ уже къ міру дѣйствительному. Оно только расширяетъ дѣйствительность до правдоподобія и возможности...

«Что ты разумѣешь подъ словомъ: показуясь?»

— Слово: проявляясь.

«Ну, хорошо. Объясни, какъ это расширяется дѣйствительность до правдоподобія?»

Ученикъ молчалъ. «Ну, что-жъ молчишь!»

— Забылъ.

Өедоръ Өедоровичъ двигалъ бровями, дѣлалъ ему какіе-то непонятные знаки рукой. Ничто не помогало. Не утерпѣлъ онъ — и слова два шепнулъ.

«Нѣтъ, что-жъ, подсказывать не надо».

— Вы напрасно затрудняетесь, сказалъ ученику одинъ изъ профессоровъ: «Юрія Милославскаго» читали?

— Читалъ.

— Что-жъ тамъ — дѣйствительность или правдоподобіе?

— Дѣйствительность.

— Почему вы такъ думаете?

— Это историческій романъ.

«Нѣтъ, что-жъ, дуракъ! Положительный дуракъ», сказалъ отецъ-ректоръ и махнулъ рукою.

Исторія въ этомъ родѣ повторялась со многими. Едва доходило дѣло до объясненій и примѣровъ, ученики становились въ тупикъ.

Къ концу экзамена отецъ-ректоръ, какъ видно, утомился. Сталъ смыкать свои глаза и пропускать нелѣпые отвѣты мимо ушей. Ученики не преминули этимъ воспользоваться, однако одинъ попалъ въ просакъ: заговоривъ объ органахъ чувствъ, онъ приплелъ сюда и память, и творчество, и прочее, и прочее, лишь бы не молчать. Вотъ, сколько мнѣ помнится, образчикъ на выдержку: «Органы чувствъ суть: глаза, уши, носъ, языкъ и вся поверхность тѣла. Заучиваніе бываетъ механическое и разумное.... однакожъ бываютъ случаи, фантазія можетъ создать крылатую лошадь, но только тогда, когда

мы уже имѣемъ представленіе о лошади и крыльяхъ и сверхъ того.... и.... напрасно строгіе эмпирики отвергаютъ въ насъ дѣйствительность ума, какъ высшей познавательной способности...»

— Такъ, такъ, говорилъ отецъ-ректоръ, безсознательно кивая головою. Ѳедоръ Ѳедоровичъ не перебивалъ этой галиматьи, что было очень понятно.

«Вы просто говорите безобразную чепуху», замѣтилъ сидѣвшій налѣво профессоръ.

— А? что, что? Повтори! и отецъ - ректоръ широко раскрылъ глаза. Ученикъ сталъ въ тупикъ.

— Ну, что-жь, дуракъ! Вотъ я тебѣ и поставлю нуль. Пошелъ!...

Не смотря на эти маленькія непріятности, Ѳедоръ Ѳедоровичъ остался вообще нами доволенъ и, садясь со мною обѣдать, весело потеръ руки и сказалъ: «Ну, слава Богу! экзаменъ нашъ сошелъ превосходно... какъ ты думаешь?»

— Хорошо, — отвѣчалъ я съ улыбкою.

«Промахи, конечно, были, но... пододвинь ко мнѣ горчицу». Я пододвинулъ... «Гдѣ-жъ этого не бываетъ?

«И въ самомъ солнцѣ пятна есть...»

17.

Экзамены продолжаются. Въ общихъ чертахъ они похожи одинъ на другой и только отличаются нѣкоторыми оттѣнками, смотря по тому, кто экзаменуетъ — отецъ-ректоръ или инспекторъ. Послѣдній не дремлетъ за своимъ столомъ, нѣтъ!... Лицо его выражаетъ какое-то злое удовольствіе, когда ему удастся сбить кого-нибудь съ толку. И, Боже сохрани, если онъ не благоволитъ къ наставнику экзаменующихся! Тогда вся его злоба обращается на учениковъ, которыхъ онъ мѣшаетъ съ грязью, и въ то-же время язвитъ ихъ наставника разными ядовитыми намеками и двусмысленною учтивостію. Къ счастію, онъ не экзаменуетъ по главнымъ предметамъ, но по исторіи, языкамъ и т. д.

«Переводи!» говоритъ онъ ученику, который стоитъ передъ нимъ съ потупленною головою и съ Лактанціемъ въ рукахъ. «Переводи!

что-жъ ты молчишь, какъ стѣна?...» И впивается въ него своими сѣрыми, сверкающими глазами.

— Душа, буду... будучи обуреваема страстями и... и...

«Далѣе!»

— Страстями... и...

«Что-жъ далѣе?»

— И не находя опо... опоры.— Ученикъ чуть не плачетъ.

«Оселъ! У тебя и голосъ-то ослиный!» И онъ передразниваетъ ученика: «Обуреваема... гдѣ ты нашелъ тамъ обуреваема? Лѣнь, тебя, осла, обуреваетъ, вотъ что! Почему ты цѣлую недѣлю не ходилъ въ классъ?»

— Боленъ былъ.

«Видишь, какой у него басище... боленъ былъ...» Опять передразниванье. «Отчего-жъ ты не явился въ больницу?»

— Я полагалъ.... я думалъ, что на квартирѣ мнѣ будетъ покойнѣе...

У малаго навертываются слезы.

— Ей Богу, я былъ боленъ лихорадкою. Спросите у моихъ товарищей и, если я солгалъ, накажите меня, какъ угодно.

«А! ты покой любишь... хорошо! Вотъ тебя исключатъ къ вакаціи, тогда насладишься покоемъ: цѣлый вѣкъ будешь перезванивать въ колокола».

И вслѣдъ за этимъ предлагается вопросъ наставнику:

«Онъ у васъ всегда таковъ, или, можетъ быть, на него періодически находитъ одурѣніе?»

— Что̀ дѣлать! Особенныхъ способностей онъ не имѣетъ, но трудится усердно и успѣваетъ, сколько можетъ. Кажется, онъ сробѣлъ немного...

«Все это прекрасно, т. е. вы очень великодушны, но все это ни къ чему не ведетъ. Мнѣ кажется (по крайней мѣрѣ, я такъ думаю, вы меня пожалуйста извините: можетъ быть, я ошибаюсь), мнѣ кажется, было бы сообразнѣе съ дѣломъ видѣть его въ началѣ не 2-го разряда, какъ онъ у васъ стоитъ, а въ концѣ 3-го. Впрочемъ, вѣроятно вы имѣете на это свое основаніе».

Наставникъ проглотилъ позолоченную пилюлю и сталъ извиняться, что онъ ошибся, и увѣрялъ, что на будущее время онъ постарается быть болѣе осмотрительнымъ.

Послѣ класса я заходилъ за книгою къ своему товарищу, который живетъ въ семинаріи на казенномъ содержаніи. Мнѣ случилось быть въ первый разъ въ нумерѣ бурсаковъ. Это огромная высокая комната, по наружности похожая на наши классы, съ тою разницею, что она, хоть и экономно, но все же ежедневно отапливается. Вокругъ обтертыхъ спинами стѣнъ стоятъ деревянныя, топорной работы кровати. Простынь на нихъ нѣтъ; подушки засалены; старые, сплюснутые матрацы прикрыты изношенными, разодранными одѣялами. На полу пыль и соръ. И какой полъ! Доски стерты каблуками, и только крѣпкіе суки упорно противятся сапогамъ и времени и подымаются со всѣхъ сторонъ бугорками. Между досокъ щели. Въ углу — отверстіе: смѣлыя голодныя крысы не побоялись прогрызть казенное добро!... Окна запушены снѣгомъ и такъ плотно, что самому зоркому глазу невозможно видѣть, что дѣлается на улицѣ и даже есть-ли здѣсь улица. Сквозь разбитыя и кое-какъ смазанныя стекла порядочно подуваетъ холодомъ, но я не слышалъ, чтобы кто нибудь жаловался: кажется, здѣсь ко всему привыкли. Покамѣстъ мой товарищъ доканчивалъ выписку изъ моей книги, я присѣлъ на его кровать. Ничего! матрацъ не жестче доски, стало быть, на немъ еще можно спать. Ученики сновали взадъ и впередъ по комнатѣ. Одинъ полураздѣтый, въ толстомъ и грязномъ бѣльѣ, лежалъ на своей кровати съ глазами, устремленными на тетрадку, и съ видимымъ удовольствіемъ доѣдалъ кусокъ чернаго хлѣба. Другому захотѣлось покурить. Курить не велятъ, поневолѣ поднимешься на хитрости. Онъ подставилъ къ печкѣ скамью, открылъ вверху заслонку и, стоя на скамьѣ, пускалъ дымъ въ трубу. Вотъ я почувствовалъ что-то непріятное у себя на шеѣ, хвать — клопъ! Этакая мерзость! Воображаю, какъ было бы покойно провести здѣсь ночь...

«Ты докончилъ выписку?» спросилъ я своего товарища.

— Докончилъ.

«Каково вы тутъ поживаете?»

— Ничего. Семья, братъ, большая: 20 человѣкъ въ одной комнатѣ.

«А какъ у васъ распредѣлено время?»

— Утромъ бываетъ общая молитва и всѣ мы поемъ. Потомъ одинъ становится къ налою и прочитываетъ нѣсколько молитвъ. Послѣ класса позволяется немного отдохнуть. Уроки учимъ въ залѣ. Вечеромъ опять общая молитва. Кто хочетъ, и послѣ ужина можетъ заниматься, прочіе ложатся спать. Ты никогда не былъ у насъ въ столовой?

«Никогда. Я думаю тамъ почище, чѣмъ здѣсь?»

— Чистота одинакова. А воздухъ тамъ хуже: изъ кухни, вѣрно, чѣмъ пахнетъ. Просто — вонь!

«Какъ же вы тамъ садитесь за столы?»

— Извѣстно какъ, по классамъ; словесники особо, мы особо, богословы тоже особо. Богословы ѣдятъ изъ каменныхъ тарелокъ, мы и словесники изъ оловянныхъ; ложки деревянныя, да такія, братъ, прочныя, что въ каждой будетъ полфунта вѣсу. Сторожа разносятъ щи и кашу. Вотъ тебѣ и все.

«Кушанье, стало быть, всѣмъ достается по ровну?»

— Ну, нѣтъ. У богослововъ бываетъ побольше говядины, у насъ поменьше, у словесниковъ чуть-чуть. Первые ѣдятъ кашу съ коровьимъ масломъ; у насъ она только пахнетъ коровьимъ масломъ; у словесниковъ ничѣмъ не пахнетъ. Каша, да и только.

«А въ постные дни что-же подаютъ?»

— Кислую капусту съ квасомъ. Щи изъ кислой капусты. Къ кашѣ выдается конопляное масло въ томъ же родѣ, какъ и коровье.

«А блины на сырной бываютъ?»

— Иногда бываютъ. Крупны ужъ очень пекутъ: однимъ блиномъ сытъ будешь.

«И съ коровьимъ масломъ?»

— Съ конопляннымъ. Иногда съ коровьимъ — для запаху.

«Это вѣрно не то, что дома....»

— Ничего. Былъ бы хлѣбъ, живъ будешь. У меня и дома-то

ѣдятъ не больно сладко. Отецъ у меня пономарь; доходы извѣстные: копѣйка да грошъ, да и тотъ не сплошь.

Послѣ этого разговора я шелъ въ раздумьи вплоть до моей квартиры, и комната моя, послѣ нумера, въ которомъ я былъ, показалась мнѣ уютною, и чистою.

21.

У насъ производится теперь раздача билетовъ, безъ которыхъ ученики не имѣютъ права разъѣзжаться по домамъ. Мнѣ всегда бываетъ пріятно толкаться въ это время въ корридорѣ, въ толпѣ товарищей, всматриваться въ выраженіе ихъ лицъ, и угадывать по немъ невидимую работу мысли. Получившіе билеты весело сбѣгаютъ по широкой, грязной лѣстницѣ отъ инспектора, который ихъ выдаетъ. Вотъ одинъ останавливается на бѣгу и съ безпокойствомъ ощупываетъ свой боковой карманъ: тутъ ли его дорогая бумага? не обложился ли онъ какъ-нибудь въ торопяхъ? И вдругъ оборачивается назадъ и вновь бѣжитъ на верхъ; вѣрно, еще что-нибудь забыто. Другой спускается съ лѣстницы съ потупленною головою и нахмуренными бровями. «Ну, что?» спрашиваетъ его товарищъ. «Послѣ велѣлъ придти. Говоритъ, некогда...» «А за тобою прислали изъ дома?» — То-то и есть, что прислали. Работнику дано на дорогу всего 30 коп., вотъ лошадь и будетъ стоять безъ сѣна, если тутъ задержатъ. — Подлѣ меня разговариваютъ два ученика: «Что жъ ты, пріятель, не ѣдешь домой?» — Зачѣмъ? Пьянства я тамъ не видалъ? Мнѣ и здѣсь хорошо. — «Нашелъ хорошее! Что-жъ ты будешь дѣлать?» — Спать — кромѣ нечего. У меня, братъ, на квартирѣ... — Онъ пошепталъ своему пріятелю что-то на-ухо. «Въ самомъ дѣлѣ?» — Честное слово.—«И хорошенькая?»—Ничего, не дурна.—«Вотъ онъ!» сказалъ Мельхиседековъ, показывая свой билетъ. — Часъ добрый, отвѣчалъ я: а что инспекторъ не сердитъ? — «Ни то, ни се: говоритъ, какъ водится, напутственныя слова. Ты, дескать, лѣнтяй и часто не ходилъ въ классъ; тебя нужно бы не домой отпустить, а посадить для праздника на хлѣбъ и на воду. Ты на прошлой недѣлѣ смѣялся въ классѣ. Помни это! я до тебя доберусь». А меня назвалъ умнымъ малымъ. «Ты, говоритъ, ведешь себя скромно. Это

я люблю. Смотри, не заразись дурными примѣрами». Я выслушалъ его съ видомъ глубочайшаго почтенія, отдалъ низкій поклонъ, да и вонъ.

И поѣдутъ они теперь въ разныя стороны, въ разныя деревушки и села. Какъ-то невольно представляются мнѣ знакомыя картины. Широко, широко раскинулось снѣжное, безлюдное поле. По краямъ сѣрое, туманное небо. Въ сторонѣ чернѣется обнаженный лѣсъ. На косогорахъ качаются отъ вѣтра сухія былинки. Надъ оврагами уродливыми откосами нависъ сугробъ. По лугамъ неправильными рядами поднимаются снѣжныя волны. Вокругъ печальная, безжизненная тишина. Слышенъ только скрипъ полозьевъ и тугонатянутой дуги. Среди этой пустыни ѣдетъ иной горемыка въ легкомъ и тонкомъ тулупишкѣ. Морозъ пробираетъ его до костей. На бровяхъ и рѣсницахъ наростаетъ иней. Жгучій вѣтеръ колетъ иглами открытое лицо. Сани медленно ныряютъ изъ ухаба въ ухабъ. Тощая кляча съ трудомъ вытаскиваетъ изъ глубокаго снѣга свои косматыя ноги. И вотъ наступаетъ холодная, холодная ночь. Синее небо усѣяно звѣздами. По снѣгу, при яркомъ свѣтѣ мѣсяца, перебѣгаютъ голубые и зеленые огоньки и видны свѣжіе слѣды недавно пробѣжавшаго зайца. Безконечная даль пропадаетъ въ туманѣ, и сквозь этотъ туманъ тускло мерцаетъ одинокая красная точка: вѣрно, еще не спятъ въ какой-нибудь дымной и сырой избенкѣ. Тпрр! говоритъ кучеръ и съ бранью оставляетъ свое мѣсто. «Что тамъ такое?» спрашиваетъ сѣдокъ. «Супонь лопнула...» — Ахъ, Господи! что это за наказаніе!..—Бѣдняга выскакиваетъ изъ саней и бѣгаетъ около нихъ, похлопывая окостенѣвшими руками, покамѣстъ исправляется старая, истасканная упряжь.

Я остаюсь здѣсь потому, что ѣхать слишкомъ далеко. Книгъ у меня будетъ довольно, а съ ними я не соскучусь. И какъ бы сталъ я коротать въ деревнѣ праздничные дни? Батюшка, по обыкновенію, съ утра до ночи ходитъ со двора на дворъ съ крестомъ и святою водою и возвращается усталый съ собранными курами и чернымъ, печенымъ хлѣбомъ. Со стороны матушки немедленно слѣдуютъ вопросы: кто какъ его принялъ и что ему далъ. Куры взвѣшиваются

на рукахъ и при этомъ, разумѣется, не обходится безъ нѣкоторыхъ замѣчаній. «Вотъ, молъ, смотри: что̀ это за курица? Воробей воробьемъ!... Матрена, говоришь, дала?»—Она, она, отвѣчаетъ батюшка, насупивая брови. «Экая выжига! экая выжига!» Христославнаго хлѣба у насъ собирается довольно. Часть его обращается на сухари для собственнаго употребленія, часть идетъ на кормъ домашней скотинѣ.

Когда-то и я вмѣстѣ съ батюшкою ходилъ по избамъ мужичковъ въ качествѣ христославца и бойко читалъ наизусть какія-то допотопные вирши, Богъ вѣсть, когда и кѣмъ написанныя, со всевозможными грамматическими ошибками и переходящія изъ рода въ родъ безъ малѣйшаго измѣненія. «Вишь, какъ тачаетъ!» бывало скажетъ иной мужичекъ: «сейчасъ видно, что поповичъ. Нечего дѣлать, надо и ему дать копѣечку...»

Впрочемъ, къ чему я объ этомъ говорю? Воспоминанія, изволите ли видѣть, воспоминанія... Это, что называется, чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.

29.

Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ: я надѣялся провести свое праздничное время за книгами, а вышло не такъ. Григорій заболѣлъ наканунѣ Рождества простудою и слегъ въ постель, которую пришлось ему занять въ сырой, угарной кухнѣ, на жесткой сосновой лавкѣ. На больнаго никто не обращалъ особаго вниманія. Кухарка тотчасъ послѣ обѣда наряжалась въ пестрое, ситцевое платье, завивала на вискахъ косички, уходила въ гости къ какому-нибудь свату или куму, возвращалась уже вечеромъ румяною, веселою и разговорчивою. «Вставай!» говорила она мальчугану, который съ трудомъ переводилъ свое горячее дыханіе: «что ты все лежишь, какъ колода? Не хочешь ли щей?» Больной отрицательно качалъ головою и оборачивался къ стѣнѣ. «Ну, наплевать! была бы честь приложена, отъ убытку Богъ избавилъ...» И баба запѣвала вполголоса не совсѣмъ пристойную пѣсню. Өедоръ Өедоровичъ раза два посылалъ меня къ нему съ чашкою спитаго, жиденькаго чая. Пусть, говоритъ, выпьетъ. Это здорово. Скажи, что я приказываю. Но ма-

лый не слушался и со слезами на глазахъ просилъ у меня холоднаго квасу. Ключъ отъ погреба постоянно хранился въ кабинетѣ Θедора Θедоровича; я спѣшилъ къ нему съ докладомъ, вотъ, молъ, такъ и такъ. «Нѣтъ, отвѣчалъ мнѣ мой наставникъ, скажи ему, что онъ глупъ. Больному пить квасъ нездорово». И этимъ оканчивалось все попеченіе о бѣдномъ мальчуганѣ. Такимъ образомъ, волею-неволею, мнѣ пришлось замѣнить его должность, т. е. состоять на посылкахъ и исполнять разныя приказанія и прихоти моего наставника. Только-что я возьмусь за книгу, «Василій!» раздается знакомый мнѣ голосъ: «сходи-ка на рынокъ и купи мнѣ орѣховъ, да смотри, выбирай, какіе посвѣжѣе». Орѣхи принесены, молотокъ, чтобы разбивать ихъ, поданъ, я опять берусь за книгу и читаю при громкомъ стукѣ молотка. «Василій! поди-ка собери скорлупу и вынеси ее на дворъ». Скорлупа вынесена, — я снова принимаюсь за книгу. «Василій! поди-ка вычисти мнѣ сапоги». И вотъ я развожу на старомъ чайномъ блюдечкѣ ваксу и чищу сапоги, а наставникъ мой покоится на диванѣ, заложивъ подъ голову свои руки, куритъ папироску и смотритъ на потолокъ.

Теперь я окончательно убѣжденъ, что онъ строго слѣдитъ за ходомъ моего развитія. Сегодня за обѣдомъ у меня съ нимъ былъ слѣдующій разговоръ:

«Чѣмъ ты занимаешься?» спросилъ онъ меня, накладывая себѣ на тарелку новую порцію жаренаго поросенка.

— Читаю Фонъ-Визина.

«Читалъ бы ты что-нибудь серьезное, если ужъ есть охота къ чтенію, вотъ и была бы польза. Эти Фонъ-Визины съ братіею отнимаютъ у тебя время. Что̀ это за сочиненіе? Вымыселъ и больше ничего. Кажется, я говорилъ тебѣ, какія книги ты долженъ взять изъ нашей библіотеки».

Да, подумалъ я: просьбою о выдачѣ мнѣ этихъ книгъ я надоѣлъ библіотекарю такъ же, какъ надоѣдаетъ иной заимодавецъ своему должнику объ уплатѣ ему денегъ. Кончилось тѣмъ, что побѣда осталась на моей сторонѣ. Библіотекарь, выведенный изъ терпѣнія, плюнулъ и крикнулъ съ досадою: возьми ихъ, возьми! Отвяжись, пожалуйста!..

— Я читалъ опытъ философіи Надеждина. Сухо немножко. — сказалъ я, стараясь по возможности смягчить вертѣвшійся у меня въ головѣ отвѣтъ: темна вода во облацѣхъ.

«Смыслишь мало, оттого и выходитъ для тебя сухо. А ты дѣлай такъ: если прочиталъ страницу и ничего не понялъ, опять ее прочитай, опять и опять... вотъ и останется что нибудь въ памяти и не будетъ *сухо*. На послѣднемъ словѣ онъ сдѣлалъ удареніе. Очевидно, отвѣтъ мой ему не понравился.

«Чтеніе журналовъ», продолжалъ онъ: «тоже напрасная трата времени. Ты видишь, я самъ ихъ не читаю, а развѣ проигрываю отъ этого! Тебѣ, напримѣръ, дается тема: *знаніе и вѣдѣніе суть ли тождественны*, или: *въ чемъ состоитъ простота души*, ну, что-же ты почерпнешь изъ журналовъ для своихъ разсужденій на обѣ эти темы? Ровно ничего. Нѣтъ, ты читай что-нибудь дѣльное, а не занимайся пустяками».

Послѣ этого разговора передо мною яснѣе обрисовалась личность моего почтеннаго наставника. Я мысленно поблагодарилъ себя за то, что пряталъ отъ него почти всякую книгу, и рѣшился, для устраненія между нами какихъ бы то ни было недоразумѣній, никогда не заводить съ нимъ разговора о томъ, на что онъ имѣетъ свой особенный взглядъ. Этотъ взглядъ и эта должность прислуги, которую здѣсь несу, до того мнѣ надоѣли, что я писалъ къ своему батюшкѣ, чтобы онъ, подъ какимъ нибудь благовиднымъ предлогомъ, перемѣнилъ мою квартиру, говоря, что я настолько выросъ и настолько понимаю все бѣлое и черное, что могу обойтись безъ посторонней нравственной опеки.

Января 6.

Здоровье Григорья поправилось. Онъ вынесъ тяжелую горячку и всталъ, не смотря на всѣ, такъ сказать, благопріятныя условія къ переселенію въ лучшій міръ, какъ-то: скверное помѣщеніе, дурную пищу и отсутствіе необходимыхъ лѣкарствъ... «Отвалялся!» говоритъ о немъ наша кухарка, и это слово я нахожу очень умѣстнымъ и вѣрнымъ. Однакожъ онъ еще такъ слабъ, что не можетъ исполнять своей обязанности, и я до сихъ поръ занимаю его мѣсто.

Богъ съ нимъ, пусть поправляется! Мнѣ пріятно думать, что мои хлопоты доставляютъ ему покой.

Передняя и гостиная моего наставника снова оживлены присутствіемъ извѣстныхъ личностей... Не знаю, какъ ихъ точнѣе назвать... просителями, посѣтителями или гостями, — право не знаю. Иной вовсе ни о чемъ не проситъ: скажетъ только, что сынъ его прозывается Максимъ Часовниковъ, а онъ, отецъ его, принесъ вотъ пару гусей, и это короткое объясненіе закончитъ глубочайшимъ поклономъ: «извините, что, по своей скудости, не могу васъ ничѣмъ болѣе возблагодарить». Ему отвѣтятъ: «спасибо». Мѣсто удалившейся личности заступаетъ другая, которая подобострастно склоняетъ свою лысую голову и робко и почтительно протягиваетъ мозолистую руку, изъ которой выглядываетъ на Божій свѣтъ тщательно сложенная бумажка. «Осмѣливаюсь васъ безпокоить, благоволите принять....» — Напрасно трудились. Впрочемъ, я не забуду вашего вниманія, — равнодушно говоритъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ, и въ свою очередь протягиваетъ руку. Онъ дѣлаетъ это такъ естественно, какъ будто о бумажкѣ тутъ нѣтъ и помину, а просто пожимается рука доброму знакомому, при словахъ: мое почтеніе! какъ ваше здоровье? Мое присутствіе нисколько не стѣсняетъ моего наставника; и какъ же иначе? Все это дѣло обыкновенное, не притязательное: хочешь — давай, не хочешь — не давай, по шеѣ тебя никто не бьетъ. Притомъ мнѣніе ученика (если бы, сверхъ всякаго чаянія, онъ осмѣлился имѣть какое-либо мнѣніе) слишкомъ ничтожно. Иногда меня забавляетъ нелѣпая мысль: что, думаю я, если бы въ одну прекрасную минуту я предложилъ моему наставнику такой вопросъ: въ какую силу принимаются имъ всѣ эти приношенія, и указалъ бы ему на разное *яствіе* и *питіе*? Мнѣ кажется, весь съ ногъ до головы онъ превратился бы въ живой истуканъ, изображающій изумленіе и, увы! потомъ разразились бы надо мною молнія и громы...

Съ наступленіемъ сумерекъ передняя опустѣла. Я вошелъ въ свою комнату и взялся за книгу.

«Василій!» крикнулъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

— Что вамъ угодно?

«Прибери эти бутылки подъ столъ... знаешь, тамъ — въ моемъ кабинетѣ, а гусей отнеси въ чуланъ, запри его и ключъ подай мнѣ».

Я все исполнилъ въ точности и снова взялся за свое дѣло, а мой наставникъ, въ ожиданіи ужина, занялся игрою съ своимъ сѣрымъ котенкомъ. За ужиномъ, между прочимъ, онъ спросилъ меня:

«Что ты теперь читалъ?»

Этотъ, часто повторяемый, вопросъ, ей Богу, мнѣ надоѣлъ.

— Слова и рѣчи на разные торжественные случаи, — отвѣчалъ я, удерживая улыбку, потому что безсовѣстно лгалъ; я читалъ, по указанію Яблочкина, переводъ *Венеціянскаго Купца* Шекспира, напечатанный въ Отечественныхъ Запискахъ, а Слова и Рѣчи лежали и лежатъ у меня на столѣ, служа своего рода громоотводомъ.

«Это хорошо. Однако ты любишь чтеніе!»

— Да, люблю.

Онъ обратился къ кухаркѣ: «завтра къ обѣду приготовь къ жаркому гуся. Сало, которое изъ него вытопится, слей въ горшочекъ и принеси сюда. Мы будемъ ѣсть его съ кашею».

Авось хоть теперь Өедоръ Өедоровичъ успокоится, думалъ я, ложась на свою кровать и продолжая чтеніе *Венеціянскаго Купца*. Но за стѣною еще слышалась мнѣ протяжная зѣвота и полусонныя слова: Господи помилуй! что это на меня напало?... И вотъ я пробѣгаю эти потрясающія душу строки, когда жидъ Шейлокъ требуетъ во имя правосудія, чтобы вырѣзали изъ груди Антоніо фунтъ мяса. По тѣлу пробѣгаетъ у меня дрожь, на головѣ поднимаются волосы... «Василій! Василій! Или ты не слышишь?» раздается за стѣною громкій голосъ моего наставника.

— Слышу! — отвѣчалъ я съ тайною досадою: — что вамъ угодно?

«Ты куда положилъ гусей?»

— Въ чуланъ.

«Да въ чуланѣ-то куда?»

— На лавку.

«Ну, вотъ, я и угадалъ. Это выходитъ на съѣденіе крысамъ.

Возьми ключъ и все, что тамъ есть, гусей и поросятъ, развѣшай по стѣнамъ. Тамъ увидишь гвозди. Съ огнемъ, смотри, поосторожнѣе». И положилъ я Шекспира и пошелъ развѣшивать гусей и поросятъ. Не правда ли, хорошъ переходъ?...

9.

Наша семинарія опять закипѣла жизнью, или, по рѣзкому выраженію Яблочкина, шестисотоголовая, одаренная памятью, машина снова пущена въ ходъ. Все это прекрасно, не хорошо только то, что стѣны классовъ, стоявшихъ нѣсколько времени пустыми, промерзли и покрылись инеемъ, а теперь, согрѣтыя горячимъ дыханіемъ молодаго люда, заплакали холодными слезами. Пусть плачутъ! Отъ этого не будетъ легче ни имъ, ни тѣмъ учащимся толпамъ, которыя приходятъ сюда въ извѣстный срокъ и потомъ также въ извѣстный срокъ, въ послѣдній разъ, уходятъ и разсыпаются по разнымъ городамъ и селамъ...

И вотъ я сѣлъ и обращаю вокругъ задумчивые взгляды.

Опять всѣ скамьи заняты плотно-сдвинутыми массами народа. На столахъ разложены тетрадки и книги; едва отворится дверь,— изъ класса бѣлымъ столбомъ вылетаетъ влажный паръ и медленно рѣдѣетъ подъ сводами корридора. Холодно, чертъ побери! Бѣдныя ноги такъ зябнутъ, что сердце щемитъ отъ боли, и послѣ двухчасоваго, неподвижнаго сидѣнья, когда выходишь изъ-за стола, онѣ движутся подъ тобою, какъ будто какія-нибудь деревяшки.

Я помню, что въ училищѣ мы до нѣкоторой степени облегчали свое горькое положеніе въ этомъ случаѣ такимъ образомъ: когда продрогшіе ученики теряли уже послѣднее терпѣніе и замѣчали, что наконецъ и самъ учитель, одѣтый въ теплую енотовую шубу, потираетъ свои посинѣвшія руки и пожимаетъ плечами,—изъ отдаленнаго угла раздавался несмѣлый возгласъ: «позвольте погрѣться!...» Позвольте погрѣться! вторили ему въ другомъ углу, и вдругъ все сливалось въ одинъ громкій, умоляющій голосъ «позвольте погрѣться!...» И учитель удалялся иногда въ корридоръ, а чаще въ комнату своего товарища, который занималъ казенное помѣщеніе въ нижнемъ этажѣ. Вслѣдъ за нимъ сыпались дружные звуки оглушительной дроби. Это-

то и было согрѣваніе: ученики, сидя на скамьяхъ, стучали во всю мочь своими окостенѣлыми ногами объ деревянный, покоробившійся отъ старости полъ. Между тѣмъ какой-нибудь шалунъ, просунувъ въ полуотворенную дверь свою голову, зорко осматривалъ корридоръ. «Гдѣ учитель? Въ корридорѣ?» спрашивали его позади. «Нѣтъ. Ушелъ внизъ». «Валяй, братцы! Валяй!...» И ученики прыгали черезъ столы на середину класса.

«Ну, ты! мокроглазый! Становись на поединокъ....» восклицаетъ одна голо-остриженная, бойкая голова и размахиваетъ кулаками передъ носомъ своего товарища.

— Становись! — говоритъ мокроглазый, притопывая ногой, — становись!

Разъ-два! разъ-два! и пошла кулачная работа.

Къ нимъ присоединяется новая пара горячихъ бойцовъ, еще и еще, — и вотъ валитъ уже стѣна на стѣну. Неучаствующіе въ бою и тѣ, которые успѣли получить подъ свои бока достаточное число пироговъ, стоятъ на столахъ и тѣлодвиженіями, и крикомъ одушевляютъ подвизающихся среди класса рыцарей. Избранный часовой стоитъ у дверей и сторожитъ приходъ учителя. «Тсс... тсс...» говоритъ онъ, и ученики бѣгутъ на свои мѣста.

Учителя встрѣчаетъ въ дверяхъ облако густой пыли.

«А!» восклицаетъ онъ: «опять бились на кулачки!» и внимательно смотритъ по сторонамъ и замѣчаетъ у одного подбитый глазъ.

«А какъ ты смѣлъ биться на кулачки? А?»

— Я не бился, ей Богу, не бился! — отвѣчаетъ плаксивый голосъ.

«Врешь, бестія! Пошелъ въ порогу».

И виновный безъ дальнѣйшихъ объясненій отправляется, куда ему приказано, распоясывается, разстегиваетъ свой нанковый сюртучишко и такъ далѣе, и ложится на холодный полъ. Сидѣвшій у порога ученикъ, такъ называемый, *сѣкуторъ*, съ гибкою лозою въ рукѣ, усердно принимается за свою привычную работу.

«Простите! простите!» разносится на весь классъ жалобный крикъ.

— Прибавь ему, прибавь!

И *сѣкуторъ* прибавляетъ.

Операція кончилась, и наказанный, какъ ни въ чемъ не бывало, встаетъ, утираетъ слезы, подпоясывается, отдаетъ по заведенному порядку своему наставнику низкій поклонъ — благодарность за поученіе — и отправляется на мѣсто, замѣчая мимоходомъ одному изъ своихъ товарищей: я говорилъ тебѣ, такой-сякой, не бей по лицу: синякъ будетъ... вотъ и выдрали.

Та-же самая потѣха повторяется и на слѣдующіе дни съ предварительнымъ условіемъ: «смотрите, братцы: по лицу чуръ не бить!» У насъ этого, благодареніе Богу, нѣтъ.

Но возвращаюсь къ дѣлу.

Что это за милый человѣкъ нашъ Яковъ Ивановичъ, профессоръ, читающій намъ русскую исторію!

Онъ смотритъ на исполненіе своей обязанности, какъ на что-то священное, и въ этомъ отношеніи заслуживаетъ безукоризненную похвалу. Въ классъ онъ приходитъ своевременно, спустя двѣ-три минуты послѣ звонка, при чтеніи молитвы молится усердно и, плотно запахнувъ свою поношенную шубу, скромно садится за столъ. И вотъ развязываетъ свой клѣтчатый платокъ, и мы видимъ его неизмѣннаго спутника, можно сказать, его вѣрнаго друга, — старую, почтенной толщины книгу, въ прочномъ кожаномъ переплетѣ, съ краснымъ обрѣзомъ. Яковъ Ивановичъ вынимаетъ изъ кармана очки, дышетъ на нихъ, протираетъ платкомъ и осторожно надѣваетъ на свой носъ. Все это дѣлается не спѣша, не какъ-нибудь: сейчасъ видишь, что человѣкъ приступаетъ къ исполненію трудной обязанности, къ рѣшенію великой задачи. «Гм.... гм....» откашливается мужъ, посѣдѣвшій въ наукѣ, и развертываетъ книгу именно тамъ, гдѣ нужно. Ошибиться ему нельзя, потому что недочитанная страница каждый разъ закладывается продолговатою, нарочно для этого вырѣзанною, бумажкою; мѣсто же, гдѣ ударомъ звонка было закончено чтеніе, отмѣчается слегка карандашемъ, который вытирается потомъ резиною. Какъ видите, все разсчитано благоразумно и строго. И начинается тихое, мѣрное чтеніе. Читаетъ онъ полчаса, читаетъ часъ, порою снова протираетъ очки,

вѣроятно, глаза несчастнаго подергиваются туманомъ, и опять безъ умолку читаетъ. И нѣтъ ему никакого дѣла до окружающей его жизни, точно такъ-же, какъ никому изъ окружающихъ его нѣтъ до него ни малѣйшей нужды. Ученики занимаются тѣмъ, что имъ нравится, или что они считаютъ для себя болѣе полезнымъ. Нѣкоторые ведутъ разсказы о своихъ взаимныхъ похожденіяхъ и проказахъ, нѣкоторые переписываютъ лекціи по главному предмету, а нѣкоторые сидятъ за романами. Тутъ вы увидите разные романы, напр. «Шапка юродиваго», «Таинственный монахъ», «Фра-діаволо», «Япанча—Татарскій наѣздникъ» и т. под., но чаще всего увидите Поль-де-Кока и Дюма. Они пользуются у насъ особенною извѣстностію. Если чей-нибудь неосторожный возгласъ или смѣхъ прерветъ мѣрное чтеніе почтеннаго наставника, онъ поднимаетъ свои вооруженные глаза на окружающую его молодежь и громко скажетъ: «пожалуйста, не мѣшайте мнѣ читать!..» И продолжаетъ: «Ахъ! странно и дивно есть, ежели шли братъ на брата, сынове противо отцовъ, рабы на господъ, другъ друга ищутъ умертвить и погубить, забывъ законъ Божій и преступя заповѣди Его, единаго ради властолюбія, ища братъ брата достоянія лишить, не вѣдуще, яко премудрый глаголетъ: ищай чужаго о своемъ возрыдаетъ! Изшедши же Юрій съ Ярославомъ и меньшими братіями, сталъ на рѣкѣ Гзѣ» (Рос. Истор. Татищева, изд. 1774 г., кн. III, стр. 389).

Если шумъ не унимается, наставникъ покраснѣетъ и громче прежняго повторитъ. «Не шумите! пожалуйста, не шумите! Не то, честное слово, я пущу кому-нибудь въ голову своею книгою....» Эта угроза, конечно, никого не пугаетъ, тѣмъ болѣе, что она никогда не приводится въ исполненіе. Но Яковъ Ивановичъ все-таки достигаетъ своей цѣли, т. е. въ классѣ наступаетъ непродолжительная тишина. Его боятся потому, что своимъ смиреніемъ и безотвѣтностію онъ успѣлъ себѣ снискать расположеніе нашего инспектора.

20.

Бѣдный Иванъ Ермолаичъ! Онъ совсѣмъ спился съ кругу. Грустно было смотрѣть, въ какомъ видѣ пришелъ онъ сегодня вечеромъ къ

Өедору Өедоровичу. Шинель истаскана, просто — дрянь! Подкладка прорвалась, изъ-подъ изношеннаго коленкора выглядываютъ клочки грязной ваты. Сапоги на немъ — безъ калошъ. Этого мало: одинъ сапогъ лопнулъ, и оказывается, что онъ въ трескучіе морозы носитъ нитяные чулки. Какъ онъ терпитъ эту нужду, — ей Богу, не понимаю!

Өедоръ Өедоровичъ принялъ его чрезвычайно холодно или, лучше сказать, грубо; не только не подалъ ему руки, даже не пригласилъ его сѣсть и ходилъ изъ угла въ уголъ, поигрывая махрами своего пояса и напѣвая себѣ подъ носъ какую-то пѣсню, какъ будто въ комнатѣ, кромѣ его, не было ни одной живой души.

«Знаете ли что, Өедоръ Өедоровичъ», сказалъ незванный гость, потирая свои синія, озябшія руки: «дайте мнѣ, пожалуйста, рюмку водки. Я, мочи нѣтъ, озябъ!»

— У меня ни капли нѣтъ водки. Я почти никогда ея не имѣю.— Иванъ Ермолаичъ подошелъ къ печкѣ, прикладывалъ свои руки къ теплымъ кафлямъ и, обернувшись, прислонился къ ней спиною.

«Что же у васъ есть? Дайте хоть одну рюмку. Авось убытку будетъ немного».

— Рому, пожалуй, я дамъ: есть немножко. Вѣдь, вы ужъ гдѣ-то выпили.... довольно бы, кажется.

«Да ну, -- ради Бога, безъ наставленій! Давать, — такъ давай; нѣтъ,—Богъ съ тобой!»

Өедоръ Өедоровичъ пошелъ въ свой кабинетъ и вынесъ оттуда рюмку рому. Иванъ Ермолаичъ ее выпилъ и сѣлъ, облокотившись на столъ. Нѣсколько времени прошло въ молчаніи.

«Глупая исторія», сказалъ Иванъ Ермолаичъ: «глупѣйшая исторія!»

— Что такое? спросилъ Өедоръ Өедоровичъ.

«А вотъ что: на дняхъ я имѣлъ удовольствіе бесѣдовать съ отцомъ-ректоромъ и—остался въ дуракахъ».

— Я думалъ, случилось что-нибудь особенное, отвѣчалъ Өедоръ Өедоровичъ, закуривая папироску и растягиваясь во весь свой ростъ на мягкомъ диванѣ.

«Теперь я все спрашиваю себя: за какимъ чертомъ я къ нему ходилъ?»

— Совершенно справедливо. Онъ уже не разъ намыливалъ вамъ голову; пора бы оставить его въ покоѣ.

«Но помилуйте! что-жъ это такое? Чѣмъ я виноватъ?» вскричалъ Иванъ Ермолаичъ, поднимаясь со стула и вдругъ воодушевляясь. «Вотъ слушайте: ученики собрали 30 руб. сер. и просили меня, чтобы я составилъ имъ по своему выбору библіотеку, которою они могли бы постоянно пользоваться и, отъ времени до времени, ее увеличивать. Мысль прекрасная, не правда ли? Я пошелъ къ отцу-ректору и объяснилъ ему, въ чемъ дѣло.

«Вы, сказалъ онъ, спросились бы прежде у того, кто постарше васъ, тогда и собирали бы деньги».

— Деньги, отвѣчалъ я, мнѣ принесли собранными.

«Такъ, такъ. Ну, что жъ вы хотите купить?»

— Конечно, говорю я, что-нибудь для легкаго чтенія, напр. соч. Пушкина, романы Вальтеръ Скотта, Купера....

«Ну, вотъ-вотъ! Пушкина.... стишки, больше ничего, стишки. Опять вотъ Купера.... Кто это такой Куперъ? О чемъ онъ писалъ? Нѣтъ, нѣтъ! романы намъ не годятся».

— Да, вѣдь, у насъ читаютъ Поль-де Кока и т. под. Вѣдь, это помои! Не лучше ли дать ученикамъ что-нибудь порядочное.

«Нѣтъ, что-жъ.... Намъ это не годится. Вы ужъ, пожалуйста, не ходите ко мнѣ впередъ съ такими пустяками. А деньги отдайте назадъ, непремѣнно отдайте».

— Помилуйте! возразилъ я, устройство библіотеки...

«Занимайтесь своимъ дѣломъ, вотъ-что! Мнѣ нѣкогда пересыпать съ вами изъ пустаго въ порожнее. До свиданія!...»

«Скажите по совѣсти, что-жъ это такое?» заключилъ Иванъ Ермолаичъ.

— Не мое дѣло, отвѣчалъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ. Всякъ Еремѣй про себя разумѣй.

«И только?»

— Больше ничего.

Гость постоялъ въ раздумьи и сказалъ, какъ-то принужденно улыбаясь: «Честь имѣю кланяться, Ѳедоръ Ѳедоровичъ!...»

— Будьте здоровы...— Иванъ Ермолаичъ ушелъ.

«Гришка?» крикнулъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ.

— Ась, отвѣчалъ мальчуганъ изъ передней.

«Ты видѣлъ вотъ этого барина, что̀ сейчасъ отсюда вышелъ?»

— Видѣлъ.

«Если когда-нибудь онъ опять придетъ, скажи ему, что меня нѣтъ дома. Слышишь?»

— Слышу.

О, мой мудрый наставникъ! Еслибъ ты зналъ, какъ ты упалъ теперь въ моихъ глазахъ!...

25.

Я сейчасъ получилъ отъ батюшки письмо. Вотъ что, между прочимъ, онъ пишетъ: «Ты поменьше предавайся мечтательности. О перемѣнѣ своей квартиры до твоего перевода въ Богословіе, думать не смѣй; ибо наставникъ твой приметъ сію перемѣну за обиду, и тебѣ придется тогда плохо. Ты пишешь, что онъ скупится давать тебѣ свѣчи, посылаю тебѣ денегъ; купи на нихъ свѣчъ, но по пустому ихъ не трать, пустяковъ не читай и веди себя такъ, чтобы я былъ тобою доволенъ и чтобы худаго о тебѣ ни отъ кого не слышалъ. На счетъ того, что ты ему прислуживаешь, я тебѣ скажу, что это еще не бѣда; ибо старшимъ себя повиноваться ты обязанъ»....

И такъ терпѣніе и терпѣніе. Объ этомъ говорятъ мнѣ не только всѣ окружающіе меня люди, но книги и тетрадки, которыя я учу наизустъ, и, кажется, самыя стѣны, въ которыхъ я живу. Будемъ терпѣть, если нѣтъ другаго исхода.

Далѣе батюшка пишетъ, что дьячокъ нашъ, Кондратьичъ, выѣхавшій куда-то со двора, подъ хмѣлькомъ, во время мятели,— пропалъ и два дня не было о немъ ни слуху, ни духу. Лошадь его возвратилась домой съ пустыми санями. На третій день Кондратьича нашли въ полѣ, въ снѣгу. Онъ замерзъ и лежалъ на боку, подогнувъ подъ себя ноги. Спину его занесло снѣгомъ. Изъ-за пазухи его тулупа вынута стклянка съ виномъ и недоѣденный блинъ. Миръ его праху! говоритъ батюшка и прибавляетъ: впрочемъ, худая трава изъ поля вонъ....

Миръ его праху! и я скажу въ свою очередь. Какъ знать? Можетъ

быть, и онъ былъ бы порядочнымъ человѣкомъ, если бы его окружала другая обстановка, другія лица. Умѣлъ же онъ сработать отличную телѣгу, выстругать раму, связать красивую, узорчатую клѣтку, никогда не учившись этому ремеслу....

Февраля 1.

И когда этотъ Яблочкинъ отдохнетъ хоть на минуту отъ своего безпрестаннаго горячаго труда? Онъ изучаетъ теперь нѣмецкій языкъ и началъ уже переводить Шиллера.

«Что ты, братъ, дѣлаешь», говорю я ему: «пожалѣй хоть немного свое здоровье...»

— Ничего, отвѣчалъ онъ, медленно поднимаясь со стула. Лицо его было блѣдно и грустно.— А грудь, душа моя, у меня все болитъ да болитъ. Боль какая-то глухая. Не понимаю, что это значитъ.— И онъ прилегъ на свою кровать.

«Давно ли ты сталъ заниматься нѣмецкимъ языкомъ!» спросилъ я его, перелистывая отъ нечего дѣлать книгу Шиллера, въ которой не понималъ ни одного слова.

— Мѣсяца три. Выучилъ склоненія и глаголы и прямо взялся за переводъ. Трудно, Вася. По правдѣ сказать, мы неизбалованы судьбою. Потомъ и кровью приходится расплачиваться намъ не только за каждый шагъ, но и за каждый вершокъ впередъ.

«А какъ идутъ твои занятія по семинаріи?»

— Можно бы сказать — не дурно, если бы къ нимъ не примѣшивались исторіи о тросточкахъ и тому подобное. Какъ ты думаешь? Ужь не писать ли мнѣ по этому поводу, конечно, въ видѣ подражанія нашимъ темамъ, разсужденіе на тему своего собственнаго изобрѣтенія: «Зависитъ ли любовь къ занятіямъ отъ рода и обстановки самыхъ занятій, или можетъ быть возбуждаема исторіями разныхъ тросточекъ и тому подоб.?..»

«Какая тросточка?» спросилъ я съ удивленіемъ: «что это за исторія?»

— Исторія очень простая. Одинъ изъ моихъ добрыхъ знакомыхъ заходилъ ко мнѣ за своею книгою, заговорился и забылъ у меня свою тросточку. Что ему за охота ходить зимою съ тростью, это

ужъ его дѣло. На другой день я пошелъ къ нему за новою книгою и кстати захватилъ съ собою забытую имъ у меня вещь. Какъ видишь, все случилось весьма естественно. Только иду я по улицѣ, вдругъ на встрѣчу мнѣ попадается субъ-инспекторъ, въ своемъ неизмѣнномъ засаленномъ картузѣ и въ старенькихъ саняхъ. «Стой!» сказалъ онъ, толкнувъ въ спину своего кучера, и подошелъ ко мнѣ величественнымъ шагомъ. «Что это у васъ въ рукѣ?» спросилъ онъ меня, указывая перстомъ на несчастную тросточку. Я улыбнулся и пожалъ плечами. «Это камышевая трость», отвѣчалъ я. «Чему ты смѣешься?» сказалъ онъ, нахмуривая брови и перемѣняя множественное число личнаго мѣстоименія на единственное. «Чему? Развѣ ты не знаешь, что ты не смѣешь съ нею ходить? что это запрещено, а?» Дѣлать нечего: я разсказалъ ему, почему эта трость очутилась въ моей рукѣ. «Отчего-жь ты не завернулъ ее въ бумагу, чтобы отнести ее просто подъ мышкою? Ясно, что ты врешь». Я извинился, что не догадался это сдѣлать, онъ нѣсколько успокоился, и мы разстались. Что ты на это скажешь? спросилъ меня Яблочкинъ въ заключеніе своего разсказа.

«Что жъ тутъ такое?» отвѣчалъ я: «случай весьма обыкновенный...»

— Нѣтъ, ты представь себѣ подробности этой сцены! сказалъ Яблочкинъ, вскочивъ съ своей кровати, и на щекахъ его загорѣлись два красныя пятна.— Вѣдь, это происходило на тротуарѣ, по которому шелъ народъ. Во все продолженіе нашего разговора я долженъ былъ стоять съ открытою головой и говорить почти шепотомъ, чтобы не привлечь на себя вниманія зѣвакъ. Неужели все это ничего не значитъ?

«Довольно, довольно!» сказалъ я съ улыбкою: «перестань горячиться», и незамѣтно склонилъ разговоръ на его будущую, университетскую жизнь. Лицо Яблочкина просіяло. Онъ сталъ говорить мнѣ, съ какою любовію онъ возьмется тогда за новый трудъ; какъ весело и быстро будетъ пролетать его рабочее время; какъ усердно займется онъ уроками, которые обезпечатъ его существованіе и которыхъ навѣрное найдется у него много; съ какимъ удовольствіемъ, послѣ этихъ уроковъ, сядетъ онъ въ своей маленькой квартирѣ за кипящій самоваръ, съ стаканомъ чая въ одной рукѣ, съ книгою —

въ другой. «А когда, продолжалъ онъ: окончу курсъ и поступлю на службу (куда и чѣмъ, — я самъ еще не знаю, но все равно); когда у меня будутъ хоть какія-нибудь средства для жизни, первое, что я сдѣлаю,— составлю себѣ прекрасную, избранную библіотеку. У меня будутъ свои собственные Пушкинъ и Гоголь, у меня будетъ Гете и Шиллеръ въ подлинникѣ, лучшіе французскіе поэты и прозаики. Если останутся свободныя минуты отъ службы, выучусь по англійски, и у меня будутъ въ подлинникѣ Байронъ и Шекспиръ... А главное, душа моя, даю тебѣ мое честное слово, куда бы я ни попалъ, гдѣ бы я ни служилъ, никогда не буду мерзавцемъ. Останусь безъ хлѣба, умру нищимъ, но сдержу это честное слово. Вася! заключилъ онъ, крѣпко стиснувъ меня въ своихъ объятіяхъ: вѣдь, это будетъ рай, а не жизнь! понимаешь ли?...» Онъ говорилъ, глаза его сіяли, на рѣсницахъ навертывались слезы. Я подумалъ о своемъ будущемъ,—вспомнилъ слова Яблочкина: «нужно имѣть желѣзную волю, чтобы одиноко устоять на той высотѣ, и прочее...» и стало мнѣ грустно, грустно! И вотъ давно уже ночь, а я все еще не могу сомкнуть своихъ глазъ и не могу взяться за какое-нибудь дѣло.

2

Пословица говоритъ: утро вечера мудренѣе. Такъ или нѣтъ, но въ минувшую ночь я многое перечувствовалъ и многое передумалъ. Отчего-жъ и мнѣ не ѣхать въ университетъ? Неужели отецъ мой не уважитъ моей справедливой, моей горячей мольбы?... Ну, мой милый Яблочкинъ, примѣръ твой на меня подѣйствовалъ. Конечно! будь что будетъ! Благослови меня, Господи, на честный трудъ. За дѣло, Василій Бѣлозерскій, за дѣло! Наверстывай теперь потерянное за зубреньемъ время безсонными ночами! А ты, мой безсвязный и прерывчатый дневникъ, бѣдная отрада моей скуки, покойся, впредь до усмотрѣнія. «Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра...» Приведется ли мнѣ увидѣть въ тебѣ болѣе веселыя строки?..........

....

24 Апрѣля.

Весна, весна! Зимнія рамы вынуты. Въ моей комнаткѣ, проходя въ окно и упираясь въ подошву стѣны, горитъ золотая полоса яркаго солнца. По стеклу ползетъ и жужжитъ проспавшая всю зиму

муха. На дворѣ громко чирикаютъ воробьи... но, увы! изъ окна, съ этого проклятаго задняго двора, все-таки пахнетъ навозомъ. Вблизи нѣтъ ни кусточка зелени. Только у сосѣда, склонивъ надъ досчатымъ заборомъ свои гибкія вѣтви, распускается одинокая старая ива.

Занятія мои подвигаются впередъ. Книгъ я прочиталъ много. Перевожу съ французскаго довольно свободно. Разумѣется, всѣмъ этимъ я обязанъ моему безцѣнному Яблочкину, который безпрестанно помогалъ и помогаетъ мнѣ своими совѣтами. Но, какъ онъ, бѣдный, худъ! у него блѣдное, истомленное лицо!

Къ батюшкѣ я написалъ, что готовлюсь въ университетъ, что уже достаточно для этого сдѣлалъ. Просилъ у него благословенія на продолженіе начатаго мною дѣла, денегъ на покупку нѣкоторыхъ учебныхъ руководствъ, и на письмо это уронилъ двѣ крупныхъ слезы. Посмотримъ, что онъ скажетъ.

1 Мая.

Утромъ ученики ходили къ отцу-ректору просить рекреаціи. Эти рекреаціи существуютъ у насъ съ незапамятныхъ временъ. Въ коридорѣ обыкновенно собираются по одному или по два ученика изъ каждаго отдѣленія (классы раздѣляются на два отдѣленія, въ словесности иногда на три) и держатъ совѣтъ: какъ умнѣе приступить къ дѣлу? Черезъ кого бы узнать,—въ какомъ расположеніи духа находится теперь отецъ-ректоръ? И вотъ какой-нибудь богословъ отправляется развѣдывать, что́ и какъ, узнаетъ отъ келейника отца-ректора, или отъ другаго близкаго къ нему лица, что все обстоитъ благополучно, что онъ веселъ и кушаетъ теперь чай. Богословъ съ сіяющимъ лицомъ сообщаетъ объ этомъ во всеуслышаніе толпы, и она подвигается впередъ. Богословы, какъ люди, имѣющіе болѣе вѣса, идутъ во главѣ: смиренные словесники образуютъ хвостъ. Отцу-ректору доложили. Онъ вышелъ въ переднюю и съ улыбкою выслушалъ просьбу учениковъ. «Ну, что? май мѣсяцъ наступилъ, а? Погулять хочется, а? хорошо, хорошо! Не будетъ ли дождя? все разстроится....» Онъ обертывается къ своему келейнику. «Посмотри-ка въ окно». — Небо ясное, отвѣчаетъ келейникъ: дождя, кажется, не будетъ. — «Позвольте, отецъ-ректоръ, погулять въ рощѣ...» говоритъ съ поклономъ курчавый богословъ. «Позвольте...» съ поклономъ повто-

ряетъ за нимъ нѣсколько голосовъ. «Ну, что-жъ. Хорошо, хорошо! Только вы того.... въ рощѣ не шумѣть, пѣсенъ не распѣвать.... Вотъ и я пріѣду. А мячъ то есть у васъ, а? и лапта есть?» — Есть, есть, — съ улыбкою отвѣчаютъ ученики. «Ну, ступайте съ Богомъ, погуляйте. Май наступилъ, а? Такъ, такъ! Хорошо!»

Мѣстность, на которой у насъ бываетъ рекреація, довольно живописна. На горѣ зеленѣетъ старая дубовая роща. Внизу выгнутыми колѣнами течетъ свѣтлая рѣка. За рѣкою раскидываются луга, блестятъ окаймленныя камышемъ озера, въ которыхъ лозникъ купаетъ свои зеленыя вѣтви. Далѣе, поднимаясь надъ соломенными кровлями сѣрыхъ избушекъ, бѣлѣется каменная церковь. Ярко сверкаетъ на солнцѣ ея позолоченный крестъ, и весело блеститъ обитый бѣлою жестью шпиль. Это пригородное село. За селомъ широко развертываются ровныя, покрытыя молодою рожью, поля; волнистою, необъятною скатертью уходятъ онѣ въ даль и сливаются съ синевою безоблачнаго неба. Подлѣ рощи, со стороны города, мѣстность совершенно открыта. Подъ ногами песокъ, или мелкая трава. Въ сторонѣ тамъ-и-сямъ поднимаются кусты и мшистые пни срубленныхъ деревъ, но они такъ далеко, что мячъ, посланный самою сильною и ловкою рукою, никогда до нихъ не долетаетъ и падаетъ на виду. Здѣсь-то и бываетъ у насъ рекреація.

Словесники являются на мѣсто дѣйствія ранѣе всѣхъ, нѣкоторые тотчасъ послѣ обѣда. Къ 4-мъ часамъ по полудни вы видите уже цѣлую толпу, которая разсыпается по всѣмъ направленіямъ, и въ молчаливой доселѣ рощѣ перекликаются громкіе голоса. «Многая лѣта!» гремитъ протяжно въ одномъ концѣ, и эхо отвѣчаетъ въ далекой, темной чащѣ: «*лѣта*!» «Ахъ, что-жъ это за раздолье, семинарское житье!...» слышится съ противоположной стороны, и пробужденное эхо снова отвѣчаетъ: «*житье!*» А небо такое безоблачное, такое синее и глубокое. Солнце льется золотомъ на вершины деревъ, по которымъ перелетаютъ испуганныя людскими голосами птички. Старые дубы перешептываются другъ съ другомъ и бросаютъ отъ себя узорчатую тѣнь. Вотъ одинъ ученикъ становится на избранное мѣсто, лѣвою рукою подбрасываетъ слегка мячъ и ударяетъ по немъ со всего размаха увѣсистою лаптою. «Лови!» кричитъ онъ своимъ товарищамъ,

которые стоятъ отъ него саженъ на сто. Нѣсколько ловцовъ бросаются на полетъ мяча, который, описавъ въ синемъ небѣ громадную дугу, быстро опускается внизъ. «Поймаемъ!» отвѣчаетъ голо-остриженная голова, поднимая на бѣгу свои руки и.... мячъ падаетъ за его спиною. «Эхъ, ты, розиня!» упрекаютъ его сзади: «и тутъ-то не умѣлъ поймать».—«Чертъ его знаетъ! Мячъ вѣрно легокъ: его относитъ вѣтромъ». Направо, между кустами, краснѣется рубаха молодаго парня, который, въ ожиданіи поживы, явился сюда изъ города съ кадкою мороженаго. Его низенькая шляпенка надѣта на бекрень. За поясомъ виситъ мѣдный гребешокъ и бѣлое полотенце. Парня окружаютъ ученики. «А ну-ка, братъ, давай на копѣйку серебромъ. Да ты накладывай верхомъ.... скупъ ужъ очень...» — Кваску, кваску! и торопливо подошедшій квасникъ бойко снимаетъ съ своей головы наполненную бутылками кадку и утираетъ грязнымъ платкомъ свое разгорѣвшееся, облитое по́томъ лицо. Число играющихъ въ мячъ постепенно увеличивается и раздѣляется на нѣсколько кружковъ, каждый съ своею лаптою и своимъ мячемъ. Но вотъ на дорогѣ, сопровождаемый облакомъ сѣрой пыли, показался знакомый намъ экипажъ. Его неуклюжій кузовъ, что-то среднее между коляскою и бричкою, неровно качался на высокихъ, грубой работы рессорахъ. Это былъ экипажъ отца-ректора. Плечистый, бородатый кучеръ, крѣпко натянувъ ременныя возжи, едва удерживалъ широкогрудыхъ вороныхъ, которые, съ пѣною на удилахъ, быстро неслись по отлогой равнинѣ. На запяткахъ, при всякомъ толчкѣ колеса, подпрыгивалъ бѣлокурый богословъ, любимецъ отца-ректора, бездарнѣйшее существо. Онъ впрочемъ добрый малый и не ханжа, что въ его положеніи большая рѣдкость. Позади, на трехъ дрожкахъ, ѣхали профессора. Отецъ-ректоръ вышелъ изъ экипажа, опираясь на руку своего любимца, который откинулъ ему подножку, и направился къ ближайшей группѣ учениковъ. Профессора слѣдовали за нимъ въ почтительномъ разстояніи. «Ну, что? играете, а? Играете? Это хорошо. Вотъ и деревья тутъ есть, и травка есть.... такъ, такъ. Играйте себѣ,—это ничего». Онъ обернулся съ улыбкою къ профессорамъ: «Развѣ подать имъ примѣръ, а? Примѣръ подать?»—Удостойте ихъ.... это не мѣшаетъ....—отвѣчало нѣсколько голосовъ. «Хорошо, хорошо! Давайте лапту». Кто-то изъ учениковъ

бросился за лежавшею въ сторонѣ лаптой и такъ усердно торопился вручить ее своему начальнику, что, разбѣжавшись, чуть не сбилъ его съ ногъ. «Радъ, вѣрно, а? Ну, ничего, ничего....» сказалъ начальникъ и взялъ лапту. «Извольте бить. Я подброшу мячъ!» сказалъ одинъ изъ профессоровъ, и мячъ былъ подброшенъ. Послѣдовалъ неловкій ударъ—промахъ! другой—опять промахъ! Въ третій разъ лапта ударила по мячу, но такъ неискусно, что онъ принялъ косое направленіе, полетѣлъ внизъ, сдѣлалъ нѣсколько безтолковыхъ прыжковъ и успокоился на желтомъ пескѣ. «Нѣтъ, нѣтъ! вы мячъ не хорошо подбрасываете, не хорошо.... А бить я могу, право, могу».—Не угодно-ли еще попробовать? отвѣчалъ профессоръ.—«Нѣтъ, что жъ.... пусть молодежь играетъ. Мы лучше походимъ по рощѣ. Играйте, дѣти, играйте...» и вмѣстѣ съ профессорами онъ скоро скрылся за стволами старыхъ дубовъ. «Многая лѣта!» грянулъ въ рощѣ чей-то басъ, и опять отвѣчало эхо: «лѣта!» «Это непремѣнно Поповъ оретъ... экое горло! Достанется ему за это», замѣтилъ стоявшій подлѣ меня ученикъ: «побѣгу его предупредить...» И смѣтливый, добрый товарищъ полетѣлъ, какъ стрѣла, въ ту сторону, откуда пронесся звукъ, знакомый его слуху. Кучеръ одного изъ профессоровъ, переваливаясь съ боку на бокъ и загребая песокъ своими пудовыми сапогами, лѣниво шелъ къ опушкѣ рощи. Въ рукахъ онъ держалъ, завернутый въ бѣлую скатерть, самоваръ и большой кулекъ съ закусками. Ученики продолжали игру въ мячъ, бѣгали въ запуски, хохотали, спотыкались и падали, стараясь другъ-друга посалить *), и, за неимѣніемъ лучшаго, находили во всемъ этомъ большое удовольствіе. Съ наступленіемъ сумерокъ усталая толпа побрела въ разныя стороны домой. Яблочкина на рекреаціи не было. Въ эти дни онъ особенно жаловался на боль въ своей груди.

5.

Яблочкинъ лежитъ въ больницѣ. Докторъ сказалъ, что жить ему остается недолго. Кажется, немного сказано, но... нѣтъ, я не могу

---

*) *Посалить*—ударить. Ударившій лаптою мячъ бѣжитъ въ сторону, поймавмавшій его, или просто поднявшій съ земли, наноситъ бѣглецу ударъ во что придется,—это и называется *посалить*. Случается, что подъ этотъ ударъ подвертывается и какой-нибудь профессоръ.

продолжать! Наконецъ и моя крѣпкая натура не выдержала. Черною кровью облилось мое бѣдное сердце, и сижу я, поникнувъ головой, и плачу, какъ ребенокъ. Жить ему остается недолго... Зачѣмъ я не могу отогнать отъ себя этой мысли? Нѣтъ, я не долженъ ее отгонять! Я былъ бы не человѣкъ, если бы позабылъ скоро это нежданное, неисправимое горе. Дитя, начавшее лепетать, дитя, страстно привязанное къ своей матери и брошенное ею въ темномъ лѣсу, не можетъ такъ плакать, какъ я теперь плачу. Оно не можетъ такъ ясно понять свое безпомощное положеніе, сознать и представить себѣ весь ужасъ своего одиночества, какъ я теперь все это сознаю и понимаю. Вѣдь, Яблочкинъ — моя нравственная опора! Это — свѣтъ, который сіялъ передо мною во мракѣ, свѣтъ, за которымъ я подвигался впередъ по моей тяжелой и узкой тропѣ. Это—-любовь, которая вѣяла на мою душу всѣмъ, что есть на землѣ прекраснаго и благороднаго... Господи! какъ же мнѣ не плакать!

Вотъ что вчера случилось: Яблочкинъ уже давно подалъ прошеніе и на дняхъ долженъ былъ получить увольненіе изъ духовнаго званія. Эта мысль заставила его держать себя нѣсколько независимѣе ко всѣмъ его окружающимъ. Вчера, во время перемѣны классовъ, онъ закурилъ въ корридорѣ папиросу и стоялъ, облокотившись рукою на перила лѣстницы, которая ведетъ въ комнаты инспектора. Меня тамъ не было. Говорятъ, что инспекторъ его увидалъ и позвалъ къ себѣ. Черезъ четверть часа Яблочкинъ вышелъ отъ него блѣдный, какъ полотно. «Принеси мнѣ, ради Бога, немножко воды»... сказалъ онъ первому попавшемуся ему на глаза товарищу и прислонился головою къ стѣнѣ, и все кашлялъ, кашлялъ, наконецъ ноги его подкосились, изъ горла показалась кровь. Его взяли подъ руки и отвели въ больницу.

Я узналъ объ этомъ только сегодня, попросилъ у Ѳедора Ѳедоровича позволеніе оставить классъ и бросился къ моему другу. Онъ лежалъ на кровати въ бѣлой рубашкѣ. Ноги его были прикрыты сѣрымъ суконнымъ одѣяломъ. Глаза смотрѣли печально и тускло. Бѣлокурые волосы въ безпорядкѣ падали на блѣдный лобъ.

«Здравствуй, Вася! Вотъ я и боленъ...» сказалъ онъ, усиливаясь улыбнуться, и медленно протянулъ ко мнѣ свою ослабѣвшую руку. Голосъ его звучалъ какъ разбитый.

— Что-жъ такое! Богъ дастъ, выздоровѣешь, отвѣчалъ я, чувствуя, что слезы подступали къ моимъ глазамъ, и сознавая, что говорю глупость. Я давно подозрѣвалъ въ немъ чахотку и рѣшительно не зналъ, что сказать ему въ утѣшеніе. А развлечь его чѣмъ-нибудь я не умѣлъ, и къ чему? Яблочкинъ безконечно умнѣе меня и навѣрное лучше всѣхъ знаетъ свое положеніе. Мы молчали. Въ комнатѣ лежало нѣсколько больныхъ. Одинъ изъ нихъ, съ пластыремъ на ногѣ, читалъ вслухъ «Выходъ Сатаны» и громко смѣялся. На прочихъ и вообще на обстановку больницы я не обратилъ вниманія: не до того мнѣ было.

Яблочкинъ поднялъ на меня свои грустные глаза: «У меня уже три раза шла горломъ кровь», и снова опустилъ свою голову и о чемъ-то задумался. Я хотѣлъ было остановить этого дурака, хохотавшаго за книгою, но побоялся, что онъ заведетъ со мною какой-нибудь пошлый, грубый споръ и потревожитъ этимъ моего больнаго друга, и потому оставилъ свое намѣреніе.

Вошелъ докторъ, добрый и умный старикъ, котораго, за исключеніемъ наставниковъ, уважаетъ и любитъ вся семинарія. Онъ пощупалъ у Яблочкина пульсъ. Больной поднялъ на него вопросительный взглядъ. «Ничего, молодой человѣкъ. Все пройдетъ! бросьте на нѣкоторое время свои занятія, — и будете молодцомъ». Онъ что-то ему прописалъ и отдалъ рецептъ фельдшеру. «Что прописано!» спросилъ я у послѣдняго. «Лавро-вишневыя капли». Лѣкарство самое невинное, подумалъ я: видно, нѣтъ никакой надежды. Докторъ сталъ осматривать другихъ больныхъ и, проходя мимо меня, уронилъ свою перчатку. Давъ ему время удалиться въ сторону, я поднялъ ее и, приблизившись къ нему, едва слышно сказалъ, указывая глазами на Яблочкина: «позвольте узнать, каково положеніе вонъ этого больнаго?» — «Ему жить не долго, отвѣчалъ онъ, принимая отъ меня перчатку и слегка кивая мнѣ головой. Организмъ его слишкомъ истощенъ, да кромѣ того, вѣроятно, съ нимъ было какое-то потрясеніе»... — «Что тебѣ говорилъ докторъ?» спросилъ меня Яблочкинъ, внимательно всматриваясь въ выраженіе моего лица, которое измѣняло моему спокойному голосу. «Говоритъ, отвѣчалъ я, что болѣзнь твоя неопасна»... — «Солгалъ ты, Вася, да все равно... Зайди, душа моя, на мою квартиру и

попроси старушку, чтобы она прислала мнѣ немножко чаю и сахару. Ѣсть я ничего не хочу; все пить хочется. А ты будешь меня провѣдывать?»

«Буду, буду...» отвѣчалъ я и спѣшилъ отвернуться, чтобы скрыть отъ него текущія по щекамъ моимъ слезы.

16.

Болѣзнь Яблочкина развивается быстро. Онъ едва, едва поднимаетъ отъ подушки свою голову. Сегодня я поилъ его чаемъ изъ своихъ рукъ. Бѣдняга шутилъ, называя меня своею нянею. «Только, говорилъ онъ, ты не смотри такъ тоскливо; больные не любятъ печальныхъ лицъ. Видишь, здѣсь и безъ того не весело». Онъ указалъ мнѣ на грязный полъ, на мрачныя, Богъ вѣсть когда, покрытыя зеленою краскою стѣны и на тусклыя, засиженныя мухами, окна.

Я получилъ отъ батюшки письмо. «Ты, пишетъ онъ, со мною не шути! (Эти слова имъ подчеркнуты). Какъ я ни добръ, но исполнять твоихъ прихотей не стану. И никогда тебѣ не дамъ моего родительскаго благословенія ѣхать въ университетъ. Какой дуракъ внушилъ тебѣ эту мысль, и что ты нашелъ въ ней хорошаго? Я тебѣ сказалъ: ты долженъ пребывать въ томъ званіи»... и такъ далѣе, и такъ далѣе... Батюшка, батюшка! Ты говоришь: призванъ... А если, у меня не достаетъ силъ на исполненіе моего святаго долга? Если, по чему бы то ни было, я утрачу сознаніе своего высокаго назначенія, заглохну и окаменѣю въ окружающей меня горькой средѣ? Чей голосъ тогда меня ободритъ? Чья рука меня подниметъ? На чью голову ляжетъ отвѣтственность за мои проступки?... Я не могу ни за что взяться: голова моя идетъ кругомъ. Между-тѣмъ у насъ начались повторенія къ годовому экзамену. Что со мною будетъ,—не знаю.

23.

«Тебя зоветъ Яблочкинъ», сказалъ мнѣ фельдшеръ, вызвавъ меня изъ класса: «иди скорѣе..» Сердце мое дрогнуло, я побѣжалъ въ больницу и осторожно подошелъ къ постели больнаго.

«Ты здѣсь?» сказалъ онъ, открывая свои впалые глаза, подъ которыми образовались синіе круги. «Умираю, Вася... все кончено!» Онъ хотѣлъ протянуть мнѣ свою руку но безсильная рука, какъ плеть, упала на постель. Я сѣлъ подлѣ него на табуретку. Въ комнатѣ была тишина. Пасмурный день слабо освѣщалъ ея мрачныя стѣ-

ны. На дворѣ шелъ дождь, и его крупныя капли, заносимыя вѣтромъ, звонко ударялись объ стекла. Яблочкинъ дышалъ тяжело и неровно.

«Коротка была, сказалъ онъ, моя жизнь, и эта бѣдная жизнь обрывается въ самую лучшую пору, какъ недопѣтая пѣсня на самомъ задушевномъ стихѣ. Прощай, университетъ! Прощай, мои молчаливые друзья, мои дорогія, любимыя книги!.. Ахъ, какъ мнѣ тяжело!.. Дай мнѣ, Вася, свою руку...»

Я понялъ, что приближается страшная минута.

«Другъ мой», сказалъ я, не удерживая болѣе своихъ слезъ и тихо пожимая его холодные пальцы: «теперь тебѣ не время думать о земномъ. Видно такъ угодно Богу, что выпадаетъ намъ та, или другая доля. Его безконечная любовь имѣетъ свои цѣли...»

«Помоги мнѣ сѣсть.» Я поднялъ его и подложилъ ему сзади подушку.

«Хорошо», сказалъ онъ: «спасибо... Вася, Вася! У меня нѣтъ даже матери, которой я послалъ бы свой прощальный вздохъ. Я круглый сирота! На что мнѣ они — эти лица, которыя меня здѣсь окружаютъ? Какая у меня съ ними связь?»

— А развѣ я тебя не люблю? развѣ я не буду тебя помнить и за тебя молиться?

«Я знаю, знаю. У тебя добрая душа....» Голова его была свѣшена на грудь, неопредѣленный взглядъ устремленъ въ сторону. Онъ говорилъ:

Чиста моя вѣра,
Какъ пламя молитвы,
Но, Боже! и вѣрѣ
Могила темна...

— Алёша! другъ мой! сказалъ я: зачѣмъ это сомнѣніе?

Онъ посмотрѣлъ на меня задумчиво. «Что ты сказалъ?»

— Зачѣмъ это сомнѣніе? повторилъ я.

«Это такъ. Грустно мнѣ, мой милый! Слышишь, какъ шумитъ вѣтеръ? Это онъ поетъ мнѣ похоронную пѣсню.... Скажи моей доброй старушкѣ, что я ее любилъ и за все ей благодаренъ. То же скажи ея сыпу. Пусть онъ учится. Тебѣ я дарю всѣ мои книги и тетрадки. Ахъ, какъ мнѣ грустно!... Дай мнѣ карандашъ и клочекъ бумаги».

У меня было въ карманѣ то и другое, и я ему подалъ и положилъ на его колѣни какую-то попавшуюся мнѣ подъ руки книгу, чтобы ему удобнѣе было писать. Онъ сталъ неразборчиво и медленно водить карандашемъ. Послѣ пяти или шести написанныхъ имъ строкъ на бумагу упала съ его рѣсницы крупная слеза. Больной отдохнулъ немного и снова взялся за карандашъ.

«Усталъ я... сказалъ онъ, прикладывая ко лбу свою руку. Возьми себѣ это на память о моихъ послѣднихъ минутахъ. Прочтешь дома».

— Спасибо тебѣ, отвѣчалъ я и положилъ бумагу въ карманъ.

Вдругъ Яблочкинъ вздрогнулъ и остановилъ на мнѣ испуганный взглядъ.

«Кто это сюда вошелъ? Выгони его!»

— Здѣсь никого нѣтъ, мой милый.—Я сѣлъ къ нему на кровать и обнялъ его одною рукою.—Здѣсь никого нѣтъ....

«Какъ нѣтъ? Видишь, стоитъ весь въ черномъ.... выгони его!» Больной дрожалъ съ головы до ногъ. Я всталъ, прошелся до двери и снова сѣлъ на свое мѣсто. «Я его вывелъ», сказалъ я.

«Ну, хорошо». Яблочкинъ положилъ ко мнѣ на плечо свою голову. Бредъ его усиливался.

«Горитъ!...» вдругъ онъ крикнулъ во весь голосъ и протянулъ впередъ свои исхудалыя руки. «Спасите!...»

— Что ты, что ты? успокойся!... отвѣчалъ я, прижимая его къ своей груди.

«Стѣны горятъ.... Мнѣ душно въ этихъ стѣнахъ!... Спасите!»

— Опомнись, опомнись! говорилъ я, и грудь моя надрывалась отъ рыданій.—Здѣсь все мирно. И чужихъ здѣсь никого нѣтъ. Это я сижу съ тобою, я—Василій Бѣлозерскій, другъ твой, готовый за тебя лечь въ могилу.

Дыханіе Яблочкина становилось все тише и тише. Руки холодѣли, но глаза приняли болѣе опредѣленное выраженіе.

«Это ты, Вася?»

— Я, мой милый.

«Ступай въ университетъ, а здѣсь....»

Голова его упала ко мнѣ на плечо. Я послушалъ,—не дышетъ!.. И тихо я опустилъ его на подушку, перекрестилъ, закрылъ ему гла-

за и склонился на колѣни у изголовья его кровати. И долго, долго текли изъ глазъ моихъ горькія слезы.

Вотъ что онъ написалъ мнѣ на память:

Вырыта заступомъ яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь безпріютная, жизнь терпѣливая,
Жизнь, какъ осенняя ночь, молчаливая—
Горько она, моя бѣдная, шла
И, какъ степной огонекъ, замерла.

Что-же? Усни, моя доля суровая!
Крѣпко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
Только однимъ человѣкомъ убавится...
Убыль его никому не больна,
Память о немъ никому не нужна!...

Вотъ она—слышится пѣснь беззаботная,—
Гостья погоста, пѣвунья залетная,
Въ воздухѣ синемъ на волѣ купается;
Звонкая пѣснь серебромъ разсыпается...
Тише!... О жизни покончепъ вопросъ,—
Больше не нужно ни пѣсенъ, ни слезъ!

24 Августа.

Сейчасъ между моими учебными книгами мнѣ попался случайно забытый мною дневникъ. Первою моею мыслію было сжечь эти страницы, напоминавшія мнѣ столько горькаго. Но когда я пробѣжалъ нѣсколько строкъ, когда подумалъ, что въ нихъ положена часть моей жизни,— рука моя не поднялась на истребленіе этой бѣдной измятой тетради. Много протекло времени съ той минуты, когда умеръ мой незабвенный Яблочкинъ. Этотъ человѣкъ имѣлъ на меня непостижимое вліяніе. Онъ заставлялъ меня жить напряженною, почти поэтическою жизнію. Умолкли его огненныя рѣчи, положили его въ могилу, и, кажется, навсегда улетѣла отъ меня поэзія моей внутренней, духовной жизни. Все пришло въ обыкновенный порядокъ: мечты мои остыли, желанія не переходятъ за извѣстную черту. Успокойся! сказалъ я своему серд-

цу,—и оно успокоилось. Только на лбу у меня осталась рѣзкая морщина, только голова моя клонится теперь ниже прежняго.

Въ домѣ у насъ не весело. Поля выжжены палящимъ зноемъ; всѣ хлѣба пропали. Неурожай въ полномъ смыслѣ этого слова. По улицѣ не скрипятъ, какъ бывало, съ снопами воза. При вечерней зарѣ никто не поетъ беззаботной пѣсни. Батюшка ходитъ печальный и угрюмый.

По пріѣздѣ моемъ сюда, я заговорилъ съ нимъ о моемъ намѣреніи поступить въ университетъ. «Видишь?» сказалъ онъ, указывая мнѣ на обнаженныя поля и на пустое наше гумно. «А до будущаго урожая еще далеко. Пожалуйста, не серди меня пустяками: безъ тебя тошно...»

Переводный экзаменъ въ Богословіе я выдержалъ не совсѣмъ хорошо. Вдругъ, послѣ смерти Яблочкина, мнѣ трудно было взяться за дѣло. Батюшка остался мною недоволенъ. «Жилъ ты, говоритъ, подъ надзоромъ профессора и едва удержался въ первомъ разрядѣ». Однакожъ я переведенъ. Прощаніе мое съ Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ, у котораго жить болѣе я уже не буду, было довольно холодно. Онъ конечно, ожидалъ отъ меня глубочайшей благодарности за всѣ его заботы о моихъ дальнѣйшихъ успѣхахъ, но благодарить его, право, не стоило.

Моя будущая судьба теперь окончательно опредѣлилась. Пройдутъ еще два года трудовой однообразной жизни, и я приму на себя званіе духовнаго врача. Видитъ Богъ, намѣренія мои всегда были чисты. Если я заблуждался, мечтая о другой дорогѣ, заблужденіе мое было безкорыстно, мысль не заходила далеко и...

Я слышу голосъ батюшки, который зоветъ меня заплетать плетень, говоря: «все равно—ты сидишь безъ дѣла».

Довольно! Дневникъ мой оконченъ.



ПРИМѢЧАНІЯ КЪ СТИХОТВОРЕНІЯМЪ.

1 — Стихотвореніе это напечатано было въ «Отеч. Запискахъ» 1857 г. № 2, подъ названіемъ: «Прогулка» (отрывокъ), — и, вмѣсто послѣднихъ пяти стиховъ, оканчивалось такъ:

Путь къ дому мѣсяцъ мнѣ укажетъ...
Я знаю, что меня тамъ ждетъ,
Что камнемъ на сердце мнѣ ляжетъ...
Какъ мраченъ дикій боръ стоитъ,
Какъ листъ болѣзненно дрожитъ!
Мой врагъ и тутъ не разстается —
Забота вѣчная со мной...
Пришла, пугаетъ и смѣется,
И гонитъ на горе домой.

2 — Вотъ первая редакція этого стихотворенія:

Новой жизни заря —
И тепло и свѣтло:
О добрѣ говоримъ,
Негодуемъ на зло.

Раздаются, растутъ
Золотыя слова,
Засыхай-пропадай
Ты, худая трава.

Дождался ты, порокъ,
Приговора-суда,
Не уйдешь ты теперь
Отъ клейма, отъ стыда...

Полно такъ ли, друзья?
Не притихъ ли онъ гдѣ?
Не взялся ли ловить
Рыбу въ мутной водѣ?

Гдѣ жъ вы, слуги добра?
Выходите впередъ,
Подавайте примѣръ!
Поучайте народъ!

Нашъ разумный порывъ,
Нашу честную рѣчь
Надо въ кровь претворить,
Надо плотью облечь.

Надо твердой ногой
Новый путь проложить,
Да всѣ силы на немъ,
Да весь умъ положить.

Какъ повѣрить словамъ, —
Чудеса настаютъ,
Прозираютъ слѣпцы
И больные встаютъ.

Какъ приходитъ пора
Трудъ тяжелый подъять, —
Начинаетъ нашъ жаръ
Остывать, потухать;

Тутъ и робость найдетъ,
Тутъ и лѣнь, и дрема, —
У разумныхъ головъ
Нѣтъ ни силъ, ни ума!

3 — Въ «Рус. Бесѣдѣ», 1858 г., № IV, это стихотвореніе, названное «Ночь», имѣетъ такой варіантъ:

Звѣзды сыплются. Ткань облаковъ
Серебрится при лунныхъ лучахъ;
Ночь глядитъ изъ-за старыхъ дубовъ,
Свѣтъ играетъ на сонныхъ листахъ.
Синій воздухъ волнами плыветъ,
Онъ прохладенъ, и свѣжъ, и душистъ;
Ухо слышетъ, едва упадетъ
Насѣкомымъ подточенный листъ.
Подъ кустомъ въ травѣ искра горитъ,
Чей-то свистъ замираетъ вдали,
Кто-то въ чащѣ весь въ бѣломъ стоитъ...
Сказки дѣтства на умъ мнѣ пришли.
Какъ при мѣсяцѣ кротокъ и тихъ
У тебя милый очеркъ лица!
Эту ночь, полный грезъ золотыхъ,
Я-бъ продлилъ безъ конца, безъ конца...

4 — Стихотвореніе это имѣетъ большой біографическій интересъ. Оно написано (въ 1858 г.) по поводу обвиненія Никитина въ сочиненіи пасквиля на одно значительное лицо. Случай этотъ подробно разсказанъ въ біографіи поэта, и хотя онъ въ основаніи своемъ имѣлъ комическую подкладку, но не надобно забывать, что тогда Никитинъ былъ еще *безправнымъ* мѣщаниномъ. Купеческія права онъ пріобрѣлъ только съ открытіемъ книжнаго магазина, въ 1859 году.

5 — Вотъ первоначальная, неизданная редакція этого стихотворенія:

РАДОСТЬ и КРУЧИНА.

Ахъ, у радости быстрыя крылья,
Золотыя да яркія перья!
Навѣститъ она, — ночь просіяетъ,
Полумертвый встаетъ-оживаетъ!

Мудрено съ нею, рѣзвою, ладить:
Косо взглянешь, она испугалась;
Полетитъ, — и стрѣлой не догонишь,
Призывай-умоляй, — не воротишь.

Тяжела, чернѣй тучи кручина:
Подойдетъ, — бѣлый свѣтъ помутится;
Прогонять, — непослушная злѣетъ,
Съ нею жить — богатырь захирѣетъ.

Нападетъ она,— сердце измучитъ,
Изожжетъ огонькомъ-невидимкой;
Не залить его крупной слезою:
Онъ замретъ подъ доской гробовою...

6 — Это стихотвореніе, читанное 9 апрѣля 1860 г. на литературномъ вечерѣ, данномъ въ пользу литературнаго фонда, тогда только что открытаго въ Петербургѣ, направлено противъ поэта Некрасова.

7 — По поводу этого стихотворенія вотъ что говоритъ самъ Никитинъ въ письмѣ къ Второву (26 декаб. 1860 г.): *«Портной»* — это фактъ, случившійся на дняхъ. — Я зналъ его лично; но я, къ сожалѣнію, не зналъ о его страшномъ положеніи. Вотъ что бываетъ на свѣтѣ, а нашъ братъ еще смѣетъ жаловаться!» Портной этотъ — Тюринъ — находился въ сватовствѣ съ Никитинымъ и былъ послѣ смерти похороненъ имъ на свой счетъ. Дочь портнаго, Екатерина, по духовному завѣщанію Никитина, получила сороковую часть его имущества, т. е., 191 р. 62 к.

8 — Читано на литературномъ вечерѣ, въ залѣ Дворянскаго собранія, 9-го апрѣля, 1861 г. Это — послѣднее произведеніе Никитина, напечатанное уже послѣ его смерти.

9 — Надъ поэмою «Кулакъ» Никитинъ трудился почти два года (съ октября 1854 г. по сентябрь 1856 г.). Такая продолжительность работы объясняется, съ одной стороны, самимъ содержаніемъ поэмы — необходимостію изображенія бытовыхъ картинъ и обрисовки характеровъ дѣйствующихъ въ этой піесѣ лицъ; съ другой стороны, и тогдашнее положеніе Никитина, какъ поэта только начинающаго, еще не опредѣлившагося, вызывало его на эту продолжительность въ работѣ. Кромѣ того, не надобно забывать, что Никитинъ въ это время былъ еще подъ сильнымъ эстетическимъ вліяніемъ своихъ друзей (изъ кружка Второва), которые вызывали его на частыя передѣлки, наконецъ ему надоѣвшія, какъ это видно изъ письма поэта къ Второву отъ 2 августа 1857 года (См. I томъ, біограф., стр. 54). Что касается до друзей, то, независимо отъ ихъ расположенія къ Никитину и отъ ихъ ревности къ его доброму авторскому имени, суетливость ихъ критики и настойчивость ихъ совѣтовъ очень много зависѣли отъ того вліянія, которое производила тогда въ нашемъ образован-

номъ обществѣ комедія Островскаго «Свои люди, — сочтемся!» такъ какъ Никитинъ въ своемъ «Кулакѣ» изображалъ почти тотъ-же бытъ, что̀ и нашъ знаменитый драматургъ въ первой своей комедіи; поэтому друзьямъ Никитина, какъ-бы сами собою, являлись такія параллели, какъ между Таракановымъ и Подхалюзинымъ, между Сашей и Липочкой. «Кулакъ» имѣлъ три редакціи, кромѣ небольшихъ передѣлокъ. Въ нижеслѣдующихъ примѣчаніяхъ приводимъ варіанты изъ второй редакціи «Кулака», въ которыхъ находятся нѣкоторыя новыя черты для характеристики «Саши», героини поэмы.

10— «Охъ, Саша! То-то вотъ сокруха!
Сказала мать: пусть я, старуха,
Не вижу краснаго денька,
Ты горюешь...»

— Будетъ горько:
И всходитъ и заходитъ зорька, —
Кто веселъ, кто въ постели спитъ,
А у меня смола кипитъ
На сердцѣ...

«Вѣдомо, что жалко
И тяжело: столяръ-сосѣдъ
Женихъ хорошій, слова нѣтъ,
Къ тебѣ привыкъ... Да, вѣрно, палкой
Намъ старика не понуждать;
Вишь тянетъ дѣло!»

— Срамъ сказать:
Три раза сваха приходила,
Отвѣта батюшки просила;
Все отвѣчаетъ: погоди,
Подумаю, на дняхъ приди.
Ужь видно мнѣ такая доля! —
«Дружочекъ мой! моя ли воля?
Просила честью, умоляла,
Сосѣдъ, молъ, трезвый, молодецъ,
Ты знаешь самъ его съ-измала, —
Смѣшаетъ съ грязью, —и конецъ!...»

—

11— Огарокъ сальный потушенъ.
Лукичъ храпѣлъ. Но все сидѣли
И мать и дочь въ саду густомъ,
И звѣзды трепетнымъ огнемъ

Надъ головами ихъ горѣли.
Вокругъ, подъ зеленью кустовъ,
Вершины сонныя деревъ
Кудрями черными висѣли.
Среди глубокой тишины,
Лишь гостья робкая весны,
На вѣткѣ вздрагивала птичка,
Или порою по дворамъ,
Разсвѣта вѣсть, и тамъ-и-сямъ
У пѣтуховъ шла перекличка.
Но въ чащѣ хмурилася ночь,
Смотря, какъ плачетъ мать и дочь.

«Зарей я зябнуть начинаю,
Старушка молвила, кряхтя:
Старикъ храпитъ теперь, я чаю...
Вставай, пойдемъ, мое дитя!
Вотъ мы его поутру спросимъ,
За что мы горе переносимъ...»

Веселый день сіялъ давно.
Въ душистый садъ открывъ окно,
Старушка варежку вязала
И воздухъ утренній вдыхала
Въ больную грудь. А самоваръ,
Подъ потолокъ пуская паръ,
При свѣтѣ солнца красовался
И, грѣя чайникъ, потѣшался:
То, какъ рабочая пчела,
Жужжалъ, на мигъ не умолкая,
То, словно жукъ, гудѣлъ баскомъ.
Поспѣшно чашки вытирая,
Сидѣла Саша за столомъ.

—

12— «Я никогда изъ вашей воли
Не выхожу. Теперь не въ мочь!
За что свою родную дочь
Вы губите?»

— Да ты въ умѣ ли?
Ты съ кѣмъ изволишь разсуждать? —
«Простите!... Рада бъ я молчать, —
На сердцѣ слезы накипѣли!
Вы принимали столяра,
Какъ сына. Вы ли не видали,
Какъ мы другъ къ другу привыкали?»
— Теперь раздумалъ, — и поди!

Отнынѣ моего порога
Не смѣй онъ знать! Вишь рѣчь нашла!

—

13— Ихъ раздѣляла дверь одна.
«Смотрушки завтра... Ночь осталась...
Нарядятъ, выведутъ, а тамъ...»
И кровь ей въ голову бросалась;
Нѣтъ лучше умереть! къ моимъ слезамъ
Не будетъ жалости.

На цыпочкахъ переступая,
Она прокралась по сѣнямъ
Къ крылечку шаткому, а тамъ
Въ зеленый садъ.

Въ саду жужжанье,
Веселый свистъ и пискотня,
Чиликанье и щебетанье.
Бурьянъ разросся у плетня;
По яркой зелени сирени
Перебѣгаютъ свѣтъ и тѣни;
Приподнялся сквозной стѣной
Межъ яблонь вишенникъ густой.
Вонъ стволъ березы серебрится,
Она пряма и высока,
Отъ вѣтра шапка шевелится
И вдоль протянута рука.
И тутъ и тамъ поникли ивы;
Кругомъ трава, цвѣты,
Дорожекъ узкіе извивы,
На нихъ поблеклые листы.

—

14— Печально Саша покидала
Свой домъ. Одѣтая къ вѣнцу,
Въ цвѣтахъ, безъ слезъ она рыдала
И въ ноги бросилась къ отцу:
«Простите! Можетъ, я грубила!...»
— Прости меня! — отецъ сказалъ
И крѣпко дочь поцѣловалъ.
Старушка Сашу обнимала:
«Дитя мое! Господь съ тобой!
Будь счастлива въ семьѣ чужой!»
Роняя слезы, поправляла
Повязку и цвѣты на ней, —
И пара вороныхъ коней
Невѣсту со двора умчала.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

I.

КУЛАКЪ.

(ВЪ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМЪ ВИДѢ).

КУЛАКЪ.

(ВЪ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМЪ ВИДѢ).

I *).

Садится солнце. Тучъ громада
Покрыта краской золотой.
Рѣка зардѣлась. Жаръ дневной
Смѣняетъ вечера прохлада.
Вдоль гати тянется обозъ,
Пестрѣютъ сѣно и солома,
Рубахи, шапки... У парома
И шумъ, и крикъ за перевозъ.
Кругомъ безлюдье. Свѣтлой сталью
Блеститъ заснувшая въ тиши,

*) Картина города, которою начинается поэма (во всѣхъ трехъ редакціяхъ), принадлежитъ Воронежу, одному изъ живописнѣйшихъ губернскихъ городовъ Россіи. Видъ на городъ съ юго-восточной его части великолѣпный: городъ раскинулся по горамъ, у подошвы которыхъ широкою лентою извивается рѣка Воронежъ, образующая небольшіе острова на всемъ двухверстномъ протяженіи между городомъ и слободою *Придачей*. На одномъ изъ этихъ острововъ, подъ самымъ городомъ, по лѣвой сторонѣ отъ моста, возвышается двухъ-этажное зданіе, такъ-называемый *Цейхгаузъ*,—

Вода озеръ; сквозь камыши,
Идутъ луга зеленой гладью;
За ними поле разлеглось,
Краями въ небо уперлось.
Вотъ глушь-то наша, глушь родная!
Въ поляхъ просторъ, что́ дымъ туманъ...
Въ туманѣ лѣсъ, село, курганъ,
Березка, тучка дождевая,
Дорога, нива да трава,
Небесъ пожаръ и синева.

И ты, рѣка, давно знакома...
Бывало, вырвешься изъ дома —
Скорѣй сюда! Прилегъ въ траву,
И снятся дивы на яву...
Тамъ коршунъ плылъ подъ облаками —
И словно замеръ въ тишинѣ;
А тутъ въ прозрачной глубинѣ
Ракиты шевелятъ листами,
Макушками всѣ внизъ растутъ;
Мартышки, ласточки снуютъ...
И съ золоченными крестами
Повисли церкви... Рай земной!
Вдругъ слышишь шумъ: надъ головой
Мгновенно утка промелькнула
И камнемъ въ озеро нырнула...

единственно уцѣлѣвшая постройка временъ Петра Великаго. Нѣсколько поодаль отъ Цейхгауза, виднѣются, съ гати и моста, постройки моекъ купца Капканщикова, расположенныя на другомъ островѣ. При Петрѣ Великомъ, эти острова соединялись съ городомъ мостами. На нихъ и противоположномъ берегу, близь Успенской и Богословской церквей, сосредоточивалась вся кипучая дѣятельность великаго Преобразователя. Дворецъ его находился на мѣстѣ теперешнихъ моекъ; жилища же его сотрудниковъ были расположены по близости Успенской церкви.

А въ озерѣ — и рыбы плескъ,
И отъ воды и солнца блескъ...
О, дѣтство, дѣтство!... Прочь съ дороги,
Украдкой прожитая быль!
Не подымай въ душѣ тревоги,
Не отряхай забвенья пыль...
Вонъ, въ сторонѣ бѣлѣетъ зданье,
Оно глядѣло въ свой чередъ
На небывалое созданье, —
Въ степной глуши рожденный флотъ.
Въ тѣ дни здѣсь много было шуму,
Здѣсь думалъ царственную думу
Неутомимый человѣкъ.
Тотъ шумъ утихъ... Гдѣ жизнь кипѣла,
И былъ царя пріютъ простой,
Купецъ усердною рукой —
Одинъ почтилъ святое дѣло:
Часовню выстроилъ и въ ней
Затеплилъ набожно елей.
Всему пора. Идутъ постройки,
Какъ встарь, и въ наши времена...
По берегамъ бѣлѣютъ мойки,
Скирдами шерсть навалена.
Подросъ и городъ. Въ изголовье
Онъ положилъ полей приволье;
Плечами горы придавилъ,
Ногой на берегъ наступилъ,
И, ближнихъ селъ дешевой данью,
До пояса отъ головы,
Покрылся каменною тканью
На мѣсто грязи и травы *).

---

*) Рѣчь идетъ о превосходной гати, сооруженной между слободою „Придачей“ и Воронежемъ при помощи крестьянъ, употребленныхъ въ работу за казенныя недоимки.

Но грустно, что въ семьѣ громадной
Высоко-поднятыхъ домовъ,
Какъ нищіе, въ толпѣ нарядной,
Торчатъ избёнки бѣдняковъ.
Въ дырявыхъ шапкахъ, съ костылями,
Онѣ ползутъ по крутизнамъ
И смотрятъ тусклыми очами
На богачей по сторонамъ.
Того и жди: гроза подуетъ,—
И полетятъ онѣ въ оврагъ...
Таковъ и домикъ, гдѣ горюетъ
Знакомый давній мой — Кулакъ.
Туда пѣшкомъ идти далеко,
Развернемъ самолетъ-коверъ —
И, прямо отъ рѣки широкой,
Перелетимъ къ нему на дворъ.
Ну, съ Богомъ, въ путь! Въ глазахъ мелькая,
Назадъ несется пестрота:
Заборы, кровли, ворота,
Оврагъ, тропинка, мостовая,
Калачникъ, окны кабака,
Телѣга съ гробомъ, двѣ дѣвчонки,
Зеленый садъ, стѣна, избенки,
Стой! Вотъ и домикъ Кулака.

Онъ старъ и на бокъ покосился,
Карнизъ подгнилъ и опустился,
Потрескалась, куда ни глянь,
На крышѣ скорченная дрань;
Растрепанными волосами,
Повисла пакля вдоль стѣны;
Изъ-подъ дырявой пелены,
Натасканная воробьями,
Солома съ перьями торчитъ.

Одно окошко внизъ глядитъ,
Другое, — нѣтъ отъ крыши воли, —
Взвилось бы прямо къ облакамъ;
Въ немъ половинки красныхъ рамъ,
Чтó вѣки красныя отъ боли,
Мигаютъ въ вѣтеръ... Глазъ — да вотъ
Однѣхъ рѣсницъ не достаетъ...
Растетъ трава вокругъ крылечка.
Но садъ... Въ садъ послѣ завернемъ,
Теперь мы въ горенку пойдемъ.
Она чиста. Икона, печка,
Съ посудой шкафъ, сосновый полъ,
Кровать подъ пологомъ, да столъ,
Скамейка, лавка, стулъ безъ спинки,
Комодъ пузатый подъ замкомъ...
Все старина, за то соринки
Тутъ не примѣтишь ни на чемъ.

II.

Хозяйка добрая, здорово!
Ты вѣчно съ варежкой въ рукѣ
И въ этомъ бѣломъ колпакѣ!
И все молчишь. Промолвишь слово
Отъ скуки съ дочерью родной,
Да и поникнешь головой.
Печаль, домашнія невзгоды,
Нужда тяжелая, да годы
Повысушили до поры
Тебя, какъ травушку, жары.
Поникла голова, чтó колосъ,
И побѣлѣлъ твой русый волосъ...
Одна незлобная душа
Осталась въ горѣ хороша.

И ты, красавица, съ работой
Сидишь, какъ мать, передъ окномъ;
Одной привычною заботой
Вы вѣчно заняты вдвоемъ.
Глядишь на улицу тоскливо....
Румянецъ яркій на щекахъ,
Но спицы движутся сонливо
И дремлетъ варежка въ рукахъ.
О чемъ тоска? Откуда скука?
Глаза — огонь, коса — смола,
Какъ бѣлый воскъ рука бѣла...
Простора нѣтъ? неволя — мука?...
«Постой, старушка говоритъ:
Гдѣ поминанье-то лежитъ,
Не знаешь, Сашенька?»
— Не знаю. —
«Вотъ надо на погостъ сходить
И панихиду отслужить —
То некогда, то забываю...»
— Задаромъ служатъ-то? —
«Все Богъ!
Я варежки продамъ...»
— Богаты!...
А у меня вездѣ заплаты,
Да башмаки скочили съ ногъ;
Пошла бы въ церковь, ради скуки, —
Сиди! —
«Отъ этого не стать
Родителей не поминать;
Покуда есть глаза да руки,
Нужда — не смертная бѣда...»

И мать умолкла. Тучъ гряда
Въ огнѣ зари понакалилась,

Свернулась въ кучу, поплыла,
И, померкая, за поля
Горою темною скатилась.
Неслышно тѣни подошли,
Въ окошко медленно вползли,
Въ углы и за кроватью стали.
И мать и дочь давно молчали...
Блеснулъ и мѣсяцъ, вѣстникъ сна,
Но звуки спицъ не умолкали:
Имъ не знакома тишина.

Поди ты, думала старушка:
Скучаетъ дочь, невесела...
Вѣдь, вотъ ребенкомъ-то была
Такая бойкая рѣзвушка, —
И не уймешь ея никакъ!
Бывало, утро чуть настанетъ,
Плутовка куколки достанетъ,
Толкуетъ съ ними: «Ты вотъ-такъ
Сиди, ты глупая дѣвчонка;
Ты, барыня, сиди вотъ тутъ,
А ты прислуга, старый плутъ,
Давай имъ чаю...» И ручёнкой
Начнетъ ихъ эдакъ тормошить.
Возьметъ подастъ имъ на бумажкахъ
Водицы въ желудовыхъ чашкахъ,
И скажетъ: «ну, извольте пить,
Вотъ чай...» А вечеромъ, бывало,
Къ себѣ подружекъ соберетъ,
Болтаетъ съ ними, что́ попало,
Хохочетъ, бѣгаетъ, поетъ...
Вотъ словно колокольчикъ звонкій,
Веселый смѣхъ и голосъ тонкій
Въ обѣихъ горенкахъ звенитъ.

Отецъ, бывало, закричитъ:
«Уймися, говорю, вострушка,
Не то я больно посѣку!»
Она присядетъ въ уголку
И лобикъ сморщитъ, какъ старушка,
И все молчитъ... Отецъ съ двора, —
Опять потѣшная игра!
Со стороны глядѣть — отрада...
Да правда, какъ и не скучать:
Ей не съ кѣмъ слова-то сказать...
Куда мы ходимъ? Тутъ, досада,
Сосѣдъ къ намъ сваху засылалъ,
Старикъ зачѣмъ-то отказалъ;
А дѣвка-то была какъ рада!
Женихъ съизмала ей знакомъ...
О-охъ, бѣда мнѣ съ старикомъ!
Однако темно. Надо свѣчку.
И, вставъ, она открыла печку,
Лучину тонкую взяла,
И дуть на уголь начала.
Черезъ минуту заскрипѣло
За дверью шаткое крыльцо.
Вошелъ Кулакъ. Его лицо
Отъ зноя солнца загорѣло.
Угрюмъ и зорокъ смѣлый взглядъ,
Щетиной жесткою торчатъ
Густыя брови. Лобъ широкой
Изрытъ морщинами глубоко,
И теменъ волосъ, но сѣда
Подстриженная борода.
Ростъ не великъ и не умаленъ,
Упруги жилы крѣпкихъ рукъ,
Картузъ расплющенъ и засаленъ,
До пятокъ нанковый сюртукъ.

«Небось, усталъ? жена сказала:
Поди-ка руки-то умой...
Вотъ полотенце. Да водой
Не брызгай на полъ!»
Саша встала,
Въ ведеркѣ квасу принесла
И въ чашкѣ луку натолкла.
Кулакъ за столъ не торопился;
Сюртукъ на лавку положилъ,
Да сверху картузомъ накрылъ;
Снялъ галстухъ, сапоги, умылся
И сѣлъ съ семьею.
«Экой квасъ!...»
Старушка, сморщившись, сказала.
— Разборчива ты съ дочкой стала:
Не угодитъ самъ чертъ на васъ!
Отвѣтилъ мужъ.
«Перекрестися!
За хлѣбомъ такъ не говорятъ».
— Вѣстимо. Ну, сама трудися,
Я старъ, всѣ кости ужь болятъ...
Покуда я кормить васъ стану! —
«Ну — вотъ и хлѣба жаль теперь,
А сваху проводилъ за дверь...
Намъ меньше было-бы изъяну
Вдвоемъ-то жить».
— Хорошъ совѣтъ!
Богатъ, къ примѣру, твой сосѣдъ? —
«Намъ богача-то дожидаться, —
Вѣкъ Сашѣ дѣвкою остаться».
— Дождемся, можетъ быть, не плачь:
На наше поле сядетъ грачъ. —
«Все такъ, старикъ, да не грѣшно-ли...»
— Ну, дальше!...—

«Дочь-то принуждать!»
— Пересолила! Слышишь, мать?
Ну, да! Въ квасу-то много соли...—
«Пошло!... Вы дайте хоть поѣсть!
Сказала дочь: попрекъ да ссора,
Минуты не пройдетъ безъ спора...
Вы думаете, вамъ и честь!»
— Молчать! не во время запѣла,
Смотри, языкъ не прикуси...
Поди — вотъ кашу принеси...
Вишь, умница! понаторѣла! —

Оконченъ ужинъ: каши нѣтъ,
За то былъ съ кашею обѣдъ.
Лукичъ привсталъ, перекрестился,
На Сашу крупно побранился —
Зачѣмъ, дескать, досель окно
На улицу отворено,
И легъ. Но, занятый заботой,
Онъ думалъ думу съ полчаса,
Смыкая нехотя глаза,
Полуобъятые дремотой:
Ну, завтра ярмарка. Авось
На хлѣбъ добуду. Плохо стало:
Хлопотъ, что́ дровъ въ лѣсу,—не мало,
А прибыли отъ нихъ—хоть брось.
Другимъ, къ примѣру, удается:
Казна валится, точно кладъ,
А ты копѣйкѣ былъ бы радъ,
Такъ нѣтъ—гдѣ тонко, тутъ и рвется;
Порой,—что́ въ домъ и попадаетъ,
Нужда метлою подметаетъ.
Вотъ дочь невѣста... Все забота...
И сватаютъ, да нѣтъ разсчета:

Сосѣдъ нашъ честенъ, всѣмъ хорошъ,
Да голь большая, вотъ причина!
Что́ честь-то, коли нѣтъ алтына?
Далеко съ нею не уйдешь...
Одно — душѣ да сердцу мука:
Передъ зажиточнымъ плутомъ
И честный спину гнетъ кольцомъ;
Нужда — мудреная наука...
Мнѣ дочь и жаль! Я человѣкъ,
Отецъ, къ примѣру... да не вѣкъ
Мнѣ мыкать горе. Я не молодъ...
«Лукичъ—Кулакъ!» кричитъ весь городъ.
Кулакъ!... Душа-то не сосѣдъ:
Сплутуешь, коли хлѣба нѣтъ.
Будь зять богатый, будь помога,—
Не выйди я изъ-за порога,
На мѣстѣ дай Богъ мнѣ пропасть,
Коли подумаю украсть!
А есть женихъ... навѣрно, знаю
Богатъ, не долженъ никому,
И Саша нравится ему...
Давно я сваху поджидаю...
И тяжело Кулакъ вздохнулъ,
Перевернулся и заснулъ.

III.

Быть можетъ, на другой ступени,
Въ иномъ быту, съ инымъ отцомъ,
Кулакъ не зналъ бы праздной лѣни
И просто — не былъ кулакомъ.
Но много-ль тѣхъ, кто полный силы,
Какъ воинъ, правдѣ послужилъ,

Напрягъ всѣ мускулы и жилы
И зло, какъ змія, раздавилъ?
Кто среди грязи, подъ грозою,
Остался чистъ, какъ серебро,
И крѣпкой каменной горою
Стоялъ за правду и добро?
Великъ добра подвижникъ строгій.
Кто велъ всю жизнь борьбу со зломъ
И не свернулъ съ прямой дороги,
Пройдя безстрашно подъ огнемъ!
Но если бы и этотъ пламень
Ты вынесъ, воинъ правоты,
Остановись, поднявши камень
На жертву зла и нищеты!
Сдержи свое негодованье,
Не будь презрѣннымъ палачомъ:
Твой братъ передъ твоимъ судомъ,
Съ правами на твое вниманье.
Быть можетъ, въ грязной нищетѣ,
Корою грубости закрытый,
Добра зародышъ неразвитый
Горитъ, какъ свѣчка, въ темнотѣ.
Быть можетъ, жертвѣ заблужденья
Доступны рѣдкія мгновенья,
Когда казнитъ она свой вѣкъ
И зло проклятьемъ поражаетъ,
Какъ человѣкъ, въ душѣ страдаетъ
И думаетъ, какъ человѣкъ.

Еще ребенкомъ, нестѣсненный
Въ привычкахъ жизни обыденной,
Кулакъ бездѣлье полюбилъ.
Отецъ имъ мало занятъ былъ.
На воспитаніе мальчишки

Торгашъ имѣлъ особый взглядъ:
«Рости, дескать, рости, сынишка,
Пойдешь по мнѣ,— я буду радъ;
Я и читать вотъ не учился,
Да сытъ живу, одѣтъ, обутъ...»
Но подъ хмѣлькомъ всегда сердился:
Ты, дескать, баловень, ты плутъ...
И сына за вихоръ поймаетъ,
Такъ, ни за-что! Ну, вотъ, молъ, знай!
Деретъ, деретъ, до слезъ таскаетъ.
И молвитъ: ну, ступай — играй!
А мать свое хозяйство знала:
Въ печи дрова съ разсчетомъ жгла,
Горшки да чашки берегла
И словъ напрасно не теряла,—
Когда зимой, по цѣлымъ днямъ,
Забросивъ азбуку съ указкой,
Карпушка лазитъ по горамъ,
Таская за собой салазки;
Иль въ бабки, лѣтнею порой,
Былъ занятъ вѣчною игрой.
Въ мальчишкѣ рано проявилась
Наклонность къ сдѣлкамъ, плутовству
И мелочному воровству,
И постепенно обратилась
Въ привычку. По чужимъ садамъ
Онъ лазилъ смѣло. По полямъ
Шатался. Въ рожь зайдетъ, бывало:
Отъ жару потъ съ него течетъ...
И солнце въ голову печетъ...
Лежитъ себѣ — и нужды мало,
И смотритъ весело кругомъ.
Чуть бабочка на колосъ сядетъ,
Онъ къ ней подкрадется ползкомъ,

Ручонку смуглую протянетъ —
И разомъ схватитъ. Разглядитъ
Всю спинку, усики и глазки,
На крылышкахъ узоръ и краски,
И, улыбаясь, говоритъ:
«Ага! Вотъ я тебя плутовку!...»
И оторветъ у ней головку.
Или грачей въ гнѣздѣ найдетъ,
На половину острижетъ:
Къ ногамъ веревочки привяжетъ,
И мальчику сосѣду скажетъ;
«Слышь, Ваня, у меня грачи,
Давай мѣнять на калачи!»
И если тотъ пойметъ уловку
И калачи побережетъ,
Карпушка птицъ въ оврагъ швырнетъ
И дастъ сосѣду потасовку,
А послѣ прибѣжитъ домой
И плачетъ. Мать его ласкаетъ:
«О чемъ же ты, голубчикъ мой!»
— Ванюшка, сынъ ей отвѣчаетъ,
Моихъ грачей закинулъ въ ровъ
И надавалъ мнѣ тумаковъ.—

И долго росъ онъ безъ заботы,
Покуда вздумалось отцу
Отдать наслѣдника къ купцу...
Тутъ мелкихъ плутней обороты
Карпушка тонко изучилъ;
Купецъ помощника хвалилъ:
— Торговецъ ловокъ, не зѣваетъ,
Продастъ — руки не замараетъ.—
И малый точно не зѣвалъ:
Карманъ свой плотно набивалъ.

Межъ-тѣмъ отецъ его скончался;
Пошла и мать за старикомъ
Въ сырую землю. Сынъ остался
Одинъ. Поссорился съ купцомъ
И наконецъ его оставилъ.
Снялъ лавку, дегтю накупилъ,
Лопатъ и лыкъ понавалилъ,
Женился, дворъ кругомъ оправилъ,
И домикъ за̀ново покрылъ.
Но счастье не далося въ руки:
Легко нажитый капиталъ
Въ три года онъ проторговалъ,
И запилъ съ горя и отъ скуки...
Искать мѣстечка — стыдъ большой!
Искать рѣшился, — отказали...
А ремеслу не обучали.
Подумалъ и махнулъ рукой:
Тьфу, чертъ возьми! Да что́ за горе!
Авось безъ хлѣба не умру!
Пойду на рынокъ поутру,
Такъ вотъ и деньги. Рынокъ — море,
Тамъ рыба есть, умѣй ловить,
Небось, достанетъ, чѣмъ прожить...
И съ той поры, лѣтъ тридцать сряду,
Онъ всякой дрянью промышлялъ.
И Кулака весь городъ зналъ
По разнымъ плутнямъ, по наряду,
И загорѣлому лицу.
Онъ покупалъ ягнятъ, щетину,
Пеньку и нитки, и холстину,
Коня знакомому купцу,
Овесъ, и все, что́ попадалось,
И что́ надѣялся онъ сбыть
Другому съ выгодой. Случалось

И попустому проходить
На рынкѣ съ ночи до разсвѣта
И, не поужинавъ, заснуть...
За то Кулакъ умѣлъ блеснуть
Подъ часъ серебряной монетой.
Когда, бывало, мужичекъ
Цѣны съ товара не сбавляетъ,
Онъ выхватитъ свой кошелекъ,
На воздухѣ имъ помотаетъ
И крикнетъ: «ты вотъ — посмотри!
Вѣдь, у тебя купецъ торгуетъ,
Иной алтынникъ, да надуетъ,
А тутъ, братъ, денежки бери!»

IV.

Флагъ поднятъ. Ярмарка открыта.
Безоблаченъ и жарокъ день.
Изъ ближнихъ селъ и деревень
Народомъ площадь вся покрыта;
Толпа безъ устали кишитъ.
Тутъ пестрота! Въ глазахъ рябитъ!
Понявы, кички, бисеръ, ленты,
Сережки съ пухомъ, позументы,
Раструбистые кафтаны,
Рубашки, шапки, зипуны,
Доска на шляпѣ съ калачами,
Сѣдой старикъ со связкой лыкъ,
Со шпагой красный воротникъ,—
Все копошится за дѣлами!...
Въ рукахъ-то! Боже мой, товаръ!
Щетина, гребни, веретены,
Индѣйки, перья, холстъ крученый,
Безъ носа желтый самоваръ,

На палкѣ сапоги съ гвоздями...
Тутъ смѣси! въ лавкахъ напоказъ,
Приманка хитрая для глазъ:
Развѣшенъ ситецъ полосами,
Мотаются — тесьма, платки,
Развернутые кушаки
И шали съ яркими цвѣтами;
И каждый цвѣтъ глядитъ живьемъ
Подъ жгучимъ солнечнымъ лучомъ.
За лавками лотки, лопаты,
Разсохи, улица горшковъ,
Колеса, лыки и ушаты,
И груды ведеръ и ковшовъ.
Вотъ парень къ чашкамъ понагнулся,
Одну беретъ и обернулся,
Глядитъ, — и чашка передъ нимъ
Сверкаетъ краемъ золотымъ.
Стой! Давка! Спорятъ съ мужиками,
За клячу пѣгую, купцы,
И Лазаря поютъ слѣпцы,
Сбирая мѣдными грошами
Дань съ сострадательныхъ зѣвакъ.
Ну, мимо! Чернью окруженный,
Подъемлетъ флагъ свой испещренный,
Холстомъ обтянутый, кабакъ.
За нимъ какой-то шарлатанъ,
Весь въ розовомъ, въ мишурныхъ блесткахъ,
Кривляясь бойко на подмосткахъ,
Зоветъ въ свой грязный балаганъ
Толпу веселаго народа,
Смотрѣть на рожи обезьянъ
И пляску кукольнаго сброда;
А влѣво, на конѣ верхомъ,
Труситъ цыганъ въ рубахѣ красной

И божится: «а лжешь напрасно,
Ему не двадцать лѣтъ, а пять!
Жены, дѣтей мнѣ не видать...»
Веселый говоръ, шумъ торговли,
Визгъ поросятъ и дудокъ пискъ,
И смѣхъ, и пѣсни, брань и крикъ —
Все въ гулъ слилось. Межъ-тѣмъ оглобли
Глядятъ на тысячи головъ,
Какъ лѣсъ безъ вѣтокъ и листовъ *).

Кулакъ на площади съ разсвѣта...
Успѣлъ ужъ выпить, закусить,
Купить два старыхъ пистолета
И съ выгодой кому-то сбыть.
Теперь близъ бабы загорѣлой,
Одѣтой въ бѣломъ зипунѣ,
Онъ мечется какъ угорѣлой,
Упрямо споря о цѣнѣ
За толстый холстъ:
«А ты, молодка,
По сторонамъ-то не смотри,
Твой холстъ, къ примѣру, не находка...
Почемъ аршинъ-то? — говори!»
— По гривнѣ, я тебѣ сказала,
Вонъ и другіе такъ берутъ. —
«Ну, вотъ! куда ты указала!
Тамъ по три гроша отдаютъ».
— И, що ты! Аль я одурѣла!
Да мнѣ четыре за аршинъ
Сулилъ какой-то мѣщанинъ,
И то отдать я не хотѣла. —
«Онъ какъ собой-то?»
— Рыжеватъ. —

*) Воронежскія ярмарки, происходящія на площадяхъ—Базарной, Щепной и Конной, имѣютъ совершенно сельскій характеръ.

«Ну такъ! Съ карманникомъ связалась!
Эхъ, дура! Ты не догадалась!
Его ужъ потащилъ солдатъ,
Поймалъ...»
И съ бабою онъ спорилъ,
Голубушкою называлъ,
Разъ десять къ черту посылалъ
И напослѣдокъ урезонилъ,
Изъ-подъ полы аршинъ досталъ,
Разъ!... разъ!... и смѣрена холстина.
«Гляди вотъ—двадцать три аршина.»
—Охъ-ма! Тутъ двадцать семь какъ разъ. —
«Что у тебя — иль нѣту глазъ?
Аршинъ казенный! Понимаешь!
Вотъ, на̀! — Не видишь? — два клейма...»
— Да какъ же такъ? —
«Не довѣряешь!» —
— Я мѣрила, родной, сама. —
«Тьфу, грѣхъ какой! Вѣдь, я съумѣю
Безъ краденой холстины жить,
Глаза что-ль ею мнѣ накрыть,
Такъ я, къ примѣру, крестъ имѣю...»

И онъ подъ мышку положилъ
Покупку. Въ кошелькѣ порылся,
Пяти грошей не доплатилъ,
И съ бабой весело простился.
«Эй, голова! почемъ мука?»
Спросилъ онъ громко мужика.
— Чего кричать-то попустому!
Мужикъ съ досадой отвѣчалъ:
Ты, братъ, намедни покупалъ,
Сказалъ — себѣ, привелъ къ другому,
А тотъ съ двора меня согналъ.—

Кулакъ смолчалъ и отвернулся,
Прищурясь, поглядѣлъ вокругъ,
Пошелъ-было въ толпу — и вдругъ
Съ помѣщикомъ въ очкахъ столкнулся.
«Мое почтенье-съ, Климъ Кузьмичъ!
Не купите-ли, сударь, бричку?
Отличный сортъ!»
— Ба, ба! Лукичъ!
Ты не забылъ свою привычку,
По-прежнему торгуешь всѣмъ? —
«Что́ дѣлать! Сами посудите,
Я тоже хлѣбъ, къ примѣру, ѣмъ...
А бричка дешева-съ. Купите.»
— Нѣтъ, я на бричку не купецъ...
Не попадется-ль жеребецъ?
Вотъ не найду нигдѣ, — мученье!
А нуженъ къ пристяжнымъ подъ шерсть...
Караковый...—
«Есть, сударь, шерсть...
Порода — просто удивленье!»
— Онъ не съ порокомъ-ли, Лукичъ?
Ты плутъ естественный, я знаю. —
«Нѣтъ-съ, извините, Климъ Кузьмичъ,
Я васъ съ другими не сравняю.
Тутъ случай, сударь. Дворянинъ,
Къ примѣру, въ карты проигрался,
Весь, какъ въ пуху, въ долгахъ. Остался
У бѣдняка рысакъ одинъ.
Ну, конь! Ей-Богу, заглядѣнье!
Вотъ недалеко, сударь, домъ,
Коли угодно, завернемъ,
Посмотримъ.»
— Сдѣлай одолженье...
А помнишь ли, купилъ ты мнѣ

Собаку какъ-то по веснѣ? —
«Плохенька развѣ?»
— Околѣла.
Не взялъ бы чертъ знаетъ чего! —
«Охотиться не захотѣла, —
Поможемъ, сударь... Ничего!
Охъ, тутъ-вотъ есть у офицера
Собака... кличку-то забылъ,
Вчера деньщикъ и говорилъ...
Ну и животное, къ примѣру!
Брось въ воду гривенникъ, — найдетъ!
Вотъ вамъ купить-то...»
— Радъ душою.
А для чего-жъ онъ продаетъ? —
«Что̀ дѣлать станете съ нуждою!
Наслѣдство дядя обѣщалъ,
А при смерти не завѣщалъ.
Ѣсть нечего... Семья большая...»
— А, вотъ что̀! баринъ отвѣчалъ
И, гибкой тросточкой играя,
Поглядывалъ по сторонамъ
И напѣвалъ: «тири-тарамъ!...

V.

«Я говорилъ вамъ, недалеко,»
Кулакъ помѣщику сказалъ
И съ мезониномъ домъ высокой
Аршиномъ бойко указалъ.
«Вонъ кучеръ... Рыжая бородка!
Конюшни что-ли не видалъ?
Поди сюда!... Заковылялъ...
Эхъ, ты, утиная походка!
Что̀ баринъ дѣлаетъ?»
— Пьетъ чай. —

«Потише ротъ-то разѣвай...
Пьетъ чай! Не кучеръ ты, — дубина!
Вишь лѣнь и шляпу приподнять,
Гвоздемъ прибита?
— Можемъ снять...—
«Ну, то-то можемъ... Эхъ, дѣтина!
Поди, намъ покажи пока
Продажнаго-то рысака.
Вишь ковыляетъ... вотъ потѣха!
А знаете-ли, Климъ Кузьмичъ,
(Лукаво продолжалъ Лукичъ),
Сноровка дѣлу не помѣха,
Ему на водку надо дать;
Вѣдь, и дуракъ подъ часъ годится,
Я знаю, онъ не постыдится.
При сдѣлкѣ барину сказать,
Что нашъ-де конь намъ не подходитъ,
И кормъ-де въ прокъ ему нейдетъ...
Ей-богу-съ! Этотъ хамскій родъ
Господъ частенько за носъ водитъ».
— Все смыслишь, баринъ отвѣчалъ.
И кулаку полтинникъ далъ.
Старикъ смолчалъ и торопливо
Пошелъ въ конюшню, кнутъ схватилъ,
Въ карманъ полтинникъ опустилъ,
И молвилъ кучеру: «ну, живо!»
— Да что, статья не подойдетъ:
Съ запаломъ конь-то, зареветъ. —
«Ты не крути, держи умнѣе..
А ну-ка, дорогой рысакъ,
Держись, дружокъ! Вотъ такъ! Вотъ такъ!
Тсс!... прр! на дворъ его скорѣе!»
И бѣдный конь черезъ порогъ
Вдругъ сдѣлалъ бѣшеный скачокъ,

Глазами дико покосился
И началъ землю рыть ногой...
Кулакъ назадъ посторонился:
Вишь, дескать, бойкой сталъ какой.
Помѣщикъ подошелъ. Рукою
Коня по шеѣ потрепалъ,
И съ лоскомъ—гривою густою
Полюбовался, холку взялъ,
Поправилъ на бокъ. Осторожно
Ощупалъ ноги, мышки, грудь,
И молвилъ: надобно взглянуть
На зубы. «Очевно возможно»,
Плечистый кучеръ отвѣчалъ
И зубы рысаку разжалъ.
«Э, конь-то молодой... три года,
Лишь сталъ окраины ронять.
А ну, нельзя-ли пробѣжать?...
Стой! стой! Да, недурна порода!»
— Вы не забудьте, что рысакъ,
Сказалъ въ полголоса Кулакъ.
Да вотъ идетъ и самъ хозяинъ.
Мое почтенье-съ...

— Погоди!
Твое почтенье впереди...—
Замѣтилъ коренастый баринъ,
Въ халатѣ, съ трубкою въ зубахъ,
Въ сафьянныхъ желтыхъ сапогахъ.
И, шаркнувъ лѣвою ногою,
Два пальца Клима Кузьмича
Пожалъ онъ жилистой рукою,
И забасилъ: «рублю съ плеча,
Безъ церемоній докладаю:
Скобѣевъ, здѣшній старожилъ,
Въ коммиссіи подъ лямкой былъ,

Теперь въ оставкѣ прозябаю...
А вы, почтеннѣйшій?»
— Лукинъ,
Помѣщикъ.—
«Стало—дворянинъ;
Имѣете и родовое?»
—Да, было... есть, да небольшое.—
«Служили гдѣ-нибудь?»
— Въ полку. —
«Не захотѣли?»
— Надоѣло. —
«Ну, въ штатскую! съ перомъ за дѣло.
Въ тепло! А въ тепломъ уголку
И благодать васъ не забудетъ...»
— Да лѣнь беретъ и нѣтъ нужды. —
«Ха, ха, люблю! А если будетъ?»
— Ну, поневолѣ за труды. —
«Какъ водится. Пока свобода...
Неправда-ли?»
— Покуда такъ.
А дорогъ-ли у васъ рысакъ? —
«Четыреста... Одна порода
Дороже стоитъ.»
— Можетъ быть.
Нельзя-ли сотню уступить?—
«Я не торгашь, предупреждаю...
Четыреста давно даютъ,
Придти хотѣли — и придутъ...»
Все вретъ, Кулакъ подумалъ, знаю...
И молвилъ: «я и приводилъ.»
— Молчать! — Скобѣевъ перебилъ.
«Я не обидѣлъ васъ словами,
Какъ знаете: я сторона...
Не дорогая, молъ, цѣна,

Я вотъ-что...»
И Кулакъ руками
Развелъ съ досады: вишь хитритъ!...
Меня-то чѣмъ онъ наградитъ?...
Я разомъ кончу... И украдкой
Сзади помѣщику сказалъ:
«Скобѣевъ пятится, сплошалъ!»
Лукинъ стоялъ въ недоумѣньи, —
Поглядывалъ на рысака:
Картина конь! — на Кулака.
Кулакъ былъ въ страшномъ нетерпѣньи:
Усами шевелилъ, мигалъ,
Къ карману руки прикладалъ...
Не прозѣвай, молъ, что́ ты смотришь!
Покаешься, да не воротишь!
Мнѣ что́! я не желаю зла...
И сдѣлка кончена была...
«Покупку спрыснемъ? Надо, надо!
Скобѣевъ весело басилъ:
Да, да! Ахъ, чертъ возьми! досада!...
Жена на ярмаркѣ... забылъ!
Ключи-то увезла съ собою...»
Вонъ подъ окномъ она сидитъ,
Кулакъ подумалъ: экой жидъ!
— Извольте деньги. Пусть за мною
Ведутъ коня...—
«Да какъ же быть,
И не хотите покурить?»
— Благодарю васъ. Нѣтъ желанья. —
«Ну, извините. До свиданья».
Лукинъ къ воротамъ повернулъ
И Кулаку рукой махнулъ.
«Цѣлковый за труды... довольно?»
— Довольно-съ...—

«А Скобѣевъ скотъ!
Онъ, кажется, свиньей живетъ!»
— Свиньею-съ... То-то вотъ и больно:
На карты прочитъ.—
«Гмм... Когда-жъ
Ты о собакѣ знать мнѣ дашь?»
— Порою часъ въ торговлѣ дорогъ...
Пойдемте, сударь... Я готовъ».
— Теперь я занятъ...—
«Мы съ двухъ словъ!...»
— Нельзя. До завтра. Срокъ не дологъ...
Прощай покуда до утра.

VI.

— Ну, слава Богу! съ плечъ гора!
Кулакъ подумалъ: развязался!
Вотъ покупатель-то попался!
Вѣдь, съ виду смотритъ молодцомъ,
Очками, тростью щеголяетъ
И на спинѣ колпакъ съ махромъ,
Чертъ знаетъ для чего, таскаетъ;
А хорошенько разберешь,
Выходитъ такъ-себѣ... какъ глина,
Чтó хочешь изъ нея сомнешь.
Эхъ, плачетъ по тебѣ дубина!
Добру съумѣла-бъ научить,
Да некому дубиной бить...
Не то дуракъ... развѣситъ уши
И слушаетъ, да вѣритъ чуши:
Вотъ тутъ, молъ, баринъ оплошалъ,
Продулся въ карты, задолжалъ...
Какъ разъ! ему и проиграться!
Да онъ удавится за грошъ...

«Эй, старый хрѣнъ! Кого ты ждешь?
Пора въ свояси убираться»,
Съ крыльца Скобѣевъ забасилъ.
Кулакъ за козырекъ хватился,
Картузъ подъ мышку положилъ,
И молвилъ: «ну, сударь, трудился!...
Весь лобъ въ поту».
— Утрись возьми. —
«Утремся, баринъ... Я дѣтьми
За вашу клячу-то божился,
Не грѣхъ за хлопоты мнѣ дать».
— Я-бъ безъ тебя съумѣлъ продать;
Взялъ съ одного, ну, знай и мѣру...
А много заплатилъ Лукинъ? —
«Съ него возьмешь!... Хоть бы алтынъ!...
Такая выжига, къ примѣру». —
— А врешь! —
«Не время безъ барыша:
И въ насъ, сударь, не паръ,— душа».
— Ха, ха, душа! Оно и видно...
Я-бъ далъ,— нѣтъ мелочи въ дому.—
«Да не шутите, сударь, стыдно!...»
— Молчать! не то я ротъ зажму! —
«Благодаримъ! не вы-ли сами
Просили вашу клячу сбыть?
— Вѣдь, далъ Лукинъ? ты съ барышами:
Ну, и довольнымъ надо быть. —
«Хоть рубль-то дайте...»
— Чести много!...
Пожалуй, на — вотъ четвертакъ. —
«Себѣ возьмите, коли такъ.
Эхъ, баринъ, не боишься Бога!»
— Я говорилъ тебѣ молчать! —
«Потише, можно испугать...

Онъ четвертакъ, къ примѣру, вынулъ...
Вишь умникъ, — дурака нашелъ!...»
И свой картузъ Кулакъ надвинулъ.
Съ досады плюнулъ — и ушелъ.

Прохлада. Часъ зори вечерней.
Въ туманѣ прячутся деревни,
И все темнѣй, темнѣй въ дали.
За пашнями, изъ-подъ земли,
Выходитъ пламя полосами
И начинаетъ, тутъ и тамъ,
Краснѣть по темнымъ облакамъ,
По синевѣ надъ облаками;
И смотришь, — неба сторона
Виситъ, — въ огнѣ потоплена.
Здѣсь просо, дремля, зеленѣетъ,
А тамъ вонъ, на краю небесъ,
Насупился сердитый лѣсъ;
Едва примѣтный, онъ синѣетъ...
Вотъ — словно туча приплыла
И въ полѣ ночевать легла.
Соха на пашнѣ опочила;
Дорога ровная мертва...
Вдругъ — началъ перепелъ: вва, вва!
И замолчалъ.
Но пыль покрыла
Весь городъ. Съ ярмарки народъ
Вдоль улицъ весело снуетъ.
Стучатъ пролетки. За шарманкой
Мальчишки съ хохотомъ бѣгутъ,
Дразня жида. Слѣпцы идутъ;
У нихъ споръ и перебранка.
Шумитъ толпа у кабака,
Подъ бойкій топотъ трепака.

Вотъ звуки пѣсни понеслися
Все громче, громче... У воротъ
Кухарки, кучера сошлися
И сплетничаютъ про господъ.
Отсталый жеребенокъ ржетъ;
За нимъ мужикъ бѣжитъ съ арканомъ...
Въ домахъ блеснули огоньки...
Вотъ стукъ сторожевой доски
Послышался, и ночь туманомъ
Притихшій городъ залила,
И свѣчи на небѣ зажгла...

Кулакъ въ свой домикъ возвращался...
Онъ шелъ одинъ, безъ картуза,
Вращая мутные глаза,
И сильно въ стороны шатался,
И вслухъ несвязно бормоталъ:
«А вамъ-то что́?... Вы что́ такое?
Вишь умники!... Ну, погулялъ!
Вѣдь, на свое!... не на чужое!
Что, Климъ Кузьмичъ, каковъ рысакъ?
Съ запаломъ?... Ну, впередъ — наука!
На то, къ примѣру, въ морѣ щука,
Чтобъ не дремалъ карась... Да, такъ!
Ты вѣрилъ на слово... И ладно!
Выходитъ дѣло, ты и глупъ!
А мнѣ-то что?... Мнѣ не накладно,
Мнѣ благо, что купецъ не скупъ. —
Э!... А собаку-то, пріятель?...
Молчишь... Сердитъ за рысака...
Да! ты теперь не покупатель...
И не нуждаюся пока!
Да гдѣ я?... Что́ за чертовщина!
Постой-ка осмотрюсь кругомъ...

Я помню, отъ угла мой домъ
Четвертый... Экая причина!
Дай сосчитаю... вотъ одинъ,
Другой, и третій... больше нѣту...
Тутъ пустошь и какой-то тынъ...
Да какъ-же прежде пустошь эту
Я здѣсь ни разу не видалъ?
А! Понимаю... догадался!
Я въ улицу не ту попалъ,
Выходитъ дѣло, заплутался...»
  Добравшись до дому съ трудомъ,
Лукичъ на лавку опустился,
И крупной бранью разразился,
Объ столъ ударя кулакомъ:
— Стой! Смирно! Эй, Арина!
Постель готовь мнѣ на полу...
Ты, дочка, что́ стоишь въ углу!
Картина, стало, а? Картина?...
Ты, значитъ, дочь! Должна разуть!
Вотъ-такъ... не рви! ослабь маленько...
А сапоги-то не забудь
Помазать саломъ хорошенько. —

VII.

Веселый день сіялъ давно,
Когда Кулакъ отъ мухъ проснулся:
Зѣвнулъ, лѣниво потянулся
И настежъ отворилъ окно.
Старушка, стоя передъ печкой,
Рубила свеклу острой сѣчкой
Въ корытцѣ. Желтый самоваръ,
Подъ потолокъ пуская паръ,
При свѣтѣ солнца красовался

Передъ окномъ среди стола
И, грѣя чайникъ, потѣшался:
То, какъ рабочая пчела,
Жужжалъ, минуты не смолкая,
То, будто жукъ, гудѣлъ баскомъ
Сердито. Чашки вытирая,
Сидѣла Саша за столомъ...
Старикъ припоминалъ неясно,
Что бунтовалъ вчера напрасно;
Водою освѣжилъ лицо
И плюнулъ: «экое винцо!
Тошнитъ! Вчера я поздно
Пришелъ?»
— Да! — молвила жена. —
«А смирно легъ?
— Такой-то грозный!
Шумѣлъ, шумѣлъ... «Подай вина!»
Тутъ Саша на глаза попалась...
Бѣда! наслушались всего...
Спасибо въ садъ она прокралась,
Не то... —
«Не помню ничего...
Молитесь съ Сашею-то Богу:
Къ намъ сваха, можетъ быть, придетъ».
— Опять на старую дорогу!
Ты видишь, дѣвка слезы льетъ,
И-ихъ, старикъ!
«И-ихъ, старуха!
Не забывается сосѣдъ...
Вѣдь, я сказалъ, къ примѣру, нѣтъ!
Ну, — плеть не перебьетъ обуха, —
И кончено!»
— Они давно
Другъ другу нравятся... —

«Вѣстимо!
Ты съ дочкой-то своей родимой
На всѣ проказы за одно».
«Неправда, Саша отвѣчала,
И нѣтъ, и не было проказъ:
Въ тюрьмѣ росла-то, да отъ васъ
То въ садъ съ постели убѣгала,
То забиралась на чердакъ,
Вотъ вся и радость!»
«Такъ-то такъ...
Выходитъ — узелъ не развязанъ:
Кто уступить кому обязанъ?
Ты умница, отецъ дуракъ,
За то, что кормитъ...»
Дочь молчала
И плакала.
— Твой чай простылъ,
Старушка дочери сказала.
— Пей, Сашенька! —
«Ей чай не милъ.
Сгубилъ сосѣдъ твою голубку,
Поплачь и ты: оно подъ стать».
И не спѣша набилъ онъ трубку,
Потомъ огонь сталъ высѣкать.
«Посмѣйтесь, весело покуда!»
Сквозь слезы говорила дочь:
«Когда я вырвуся отсюда?
Не жизнь тутъ, каторга точь-въ-точь!
Взяла бы вотъ глаза закрыла,
Да, смерть, знать, горькую, забыла».
«Гм... гдѣ это табакъ лежалъ?
Отецъ спокойно отвѣчалъ:
Сырой какой-то...» — Я не знаю. —
«Слышь, — дочкѣ-то не до того,

Подай хоть ты, старуха, чаю.
Жиденекъ, ну, да ничего».
— И-ихъ, старикъ! побойся Бога!
Сосѣдъ не пьяница, не мотъ,
Работникъ, и семьи немного,
А въ церковь-то когда придетъ...»
И вдругъ старушка потерялась,
Какъ будто грома испугалась.
«Что тамъ?» промолвилъ мужъ.
— Ну такъ!
Я нынѣ въ церковь-то сходила,
А просвиру и позабыла
Съѣсть передъ чаемъ, натощакъ...—
«Тьфу ты, къ примѣру! Ну, Арина,
Я думалъ... просто вонъ изъ рукъ...»
— Зачѣмъ плюешь-то, старичина? —
«Не видишь?—духъ нейдетъ въ чубукъ...
Стой! кто-то въ ворота стучится...
Ужь не жидовка-ли опять
Сюда съ бѣлилами тащится? —
Вотъ я ей!...»
— Перестань кричать!
Пусти,— я выгляну въ окошко,
Не сваха-ли твоя, Лукичъ...
Ой, сваха! Некому опричь!
Прибрать бы горенку немножко...
Бѣда... Все валится изъ рукъ.
Старикъ! надѣнь скорѣй сюртукъ...
И горя нѣтъ, стоитъ, ни съ мѣста!—
«Ну, струсила! Вотъ пусть невѣста
Уйдетъ на время... это такъ,
А я не попаду въ просакъ».

VIII.

Дверь заскрипѣла, отворилась,
И гостья, кашляя, вошла,
Святымъ иконамъ помолилась,
И чуть не въ поясъ отдала
Поклонъ хозяину съ хозяйкой.
На гостьѣ былъ нарядъ простой:
Покрытый синею китайкой
Шушунъ, кокошникъ золотой,
Подарокъ бабушки богатой,
Да сарафанъ, съ кого-то взятый
За сватанье. Широкой носъ
Украшенъ острою горбиной;
Взглядъ смѣтливый и ястребиный;
На красныхъ вѣкахъ капли слезъ;
(Старушка головой страдала,
И вѣчно, клѣтчатымъ платкомъ,
Глаза больные протирала).
«Челомъ вамъ, золотые, бьемъ!
Здоровы-ли, мои родные?
Ну, жаръ! На-си-илу доплелась!
Да пыль отъ вѣтра поднялась,
Изму-училася, золотые!»
— Садись-ка, матушка, садись!
Сказалъ Лукичъ: вотъ чашка чаю... —
«Давай, родной: уста спеклись;
Шестой десятокъ доживаю,
Насилу бродишь... ну и жа-аръ!»
— Долей, Арина, самоваръ,
Привѣтимъ гостью дорогую
Чѣмъ Богъ послалъ.—
«И-и, родной!

Привѣть хоть ласкою одной,
Да потрудись на рѣчь простую
Мнѣ, глупой бабѣ, отвѣчать».
— Изволь! послушаемъ, въ чемъ дѣло.—
«Кажись, вамъ времячко приспѣло
Живой товаръ свой съ рукъ сбывать...
Есть у меня купецъ,—не знаю,
Хорошъ-ли будетъ онъ для васъ?...»
—А, понимаю, понимаю,
Товаръ, къ примѣру, есть у насъ,
Да кто купецъ-то?
«Таракановъ...»
Такъ! отъ него-то я и ждалъ!
Лукичъ подумалъ и смолчалъ.
«Пенькой торгуетъ въ балаганахъ,
Мукою, батюшка, овсомъ.
Имѣетъ, знаешь ты, свой домъ...
А ужь, красавецъ!... И бровями,
И свѣтлорусыми кудрями,
Всѣмъ взялъ, хоть въ рамку, золотой!»
— Намъ красотой не любоваться,
А былъ бы съ умной головой,
Умѣлъ бы дѣломъ заниматься,—
Вотъ это лучше красоты!—
«Охъ, батюшка, ума палата!
А домъ-атъ, поглядѣлъ бы ты,
Ужь нечего, не наша хата...
Пять комнатъ, батюшка, просторъ!
На окнахъ, сударь мой, гардины,
Въ простѣнкахъ разныя картины,
А дворъ-то, что это за дворъ!
Кругомъ дубовые амбары,
И лѣсъ старинный, прочный лѣсъ!
Въ одномъ углу большой навѣсъ....

Въ амбарахъ всякіе товары:
Что, золотой, и говорить,
Добра возами не свозить!»
— Ну, тутъ прикрасы не у мѣста,
Ты о приданомъ рѣчь веди. —
«Рѣчь о приданомъ впереди:
Для жениха нужна невѣста.
Ее онъ видѣлъ гдѣ-то разъ,
Да на — вотъ! Кругомъ закружился!
И хлѣба, золотой, лишился,
И ночью не смыкаетъ глазъ, —
Все ею грезитъ. Да и мнѣ-то
Совсѣмъ покою не даетъ:
Тутъ мочи нѣтъ, а онъ придетъ,
Все умоляетъ: какъ-бы это
Сходила ты къ невѣстѣ въ домъ,
Поговорить съ ея отцомъ».
— Ну, да однако, что же надо? —
«Такъ, что-нибудь, хоть для обряда:
Четыре головныхъ платка,
Ну-съ — три, четыре перстенька,
На шею жемчугу три нитки,
(Да, золотой мой, безъ поднизки!)
Салопъ на бѣличьемъ мѣху,
Сукна на чуйку жениху,
Три шали, восемь платьевъ новыхъ,
Кровать, комодъ и самоваръ,
Ну-съ... чайныхъ чашекъ пять-шесть паръ
И денегъ, сударь, сто цѣлковыхъ.»
— Выходитъ дѣло, — не взыщи:
Съ приданымъ этакимъ, гдѣ знаешь,
Иную дѣвушку ищи. —
«И, золотой, ты обижаешь!
Дай намъ невѣсту поглядѣть,

А тамъ рѣшенье жениxово:
Онъ можетъ свой разсчетъ имѣть...
А то, вошла, сказалъ, — «здорово»,
Присѣла, — и отказъ готовъ».
— Ну, да! Вотъ эта рѣчь умнѣе...
Не постоимъ изъ пустяковъ.
Смотрушки завтра. Попозднѣе
Прошу покорно вечеркомъ
Пожаловать къ намъ съ женихомъ. —
«Всенепремѣнно. Ваши гости...
Повѣришь-ли, что я скажу:
Состарѣлись мои всѣ кости,
Лѣтъ тридцать свахою хожу,
И счетъ-то свадьбамъ потеряла,
А и доселѣ, мой родной,
Всѣ, для кого я хлопотала,
Осталися довольны мной...
Кому какой таланъ отъ Бога!
За то, куда, вѣдь, ни придешь,
И ласку, и хлѣбъ-соль найдешь...
Однимъ нехорошо немного:
Иные выжиги за трудъ
По уговору не даютъ...
Ну, имъ и достается горько!
Начнешь по городу звонить,
То тѣмъ, то сѣмъ ихъ обносить,
И свадьба врозь... Да мнѣ-то сколько
Отъ нихъ, проклятыхъ, барыша».
— Охъ, свашенька, моя душа,
Хозяйка, сморщившись, сказала:
Не грѣхъ отъ этакихъ затѣй? —
«И, нѣтъ, родная! Я слыхала:
(Старшой мой сынъ-атъ грамотѣй,
Надъ библіей и засыпаетъ!)

За око — око! Вотъ, вѣдь, что!
Коли тебя обидѣлъ кто,
Не кланяйся, — не подобаетъ!»

— Вишь, мать моя! Ну, мой старикъ
На рынкѣ, знаешь, все хлопочетъ,
Вонъ святцы есть, — читать не хочетъ:
Я къ дѣлу, говоритъ, привыкъ,
Отъ книгъ намъ прибыли немного.
Такое горе! Отъ того
И я не знаю ничего,
И согрѣшаю противъ Бога...
Порою случай припадетъ
Что́ сдѣлать доброе, — боюся:
А ну-ка, молъ, я ошибуся —
И это къ худу поведетъ...
Вотъ тутъ ума и не приставишь:
Подумаешь, да все оставишь. —
Лукичъ любилъ потолковать,
И у него, вплоть до обѣда,
Со свахой длилася бесѣда:
Дочь замужъ надо выдавать
Умно, дескать; смотри тутъ въ оба,
Тутъ думай думу не шутя:
Не шапка, — кровное дитя;
Дашь промахъ разъ, — бѣда до гроба.
Но сваха не была плоха:
Да, да! разсказывай, молъ сказки!
И не жалѣла яркой краски,
Рисуя бойко жениха.

IX.

Рѣчь свахи даромъ не пропала:
Ей дочь хозяйская внимала,

Въ сѣняхъ за дверью притаясь,
Едва дыша, не шевелясь.
Подслушивать — дурное дѣло!
Все это пошло, устарѣло,
Наружу вызвано давно,
Разъ тысячу повторено;
Но пошлость, видно, плодовита:
Не вырвешь съ корнемъ, все растетъ!
Приноситъ тайно и открыто,
Налитый ядомъ, горькій плодъ;
Бича насмѣшки не боится,
Ты шагъ впередъ, — она у ногъ,
И гадиною шевелится...
Зачѣмъ? Откуда? Видитъ Богъ!
Тутъ Саша не подозрѣвала
Дурнаго ровно ничего, —
Къ двери-ли ухо прикладала,
Иль сплетничала про кого.
Кому какое было дѣло
Ей съ малолѣтства докучать:
Вотъ это черно, это бѣло...
И для чего? ну, что́ за стать!
Сидѣть за варежкой, шить платье,
Да понимать въ стряпнѣ разсчетъ —
Вотъ были важныя занятья,
Предметъ родительскихъ заботъ.
— Рости, дитя, на волю Божью! —
Созрѣетъ дикій кустъ травы...
Посмотришь, — и холодной дрожью
Охватитъ съ ногъ до головы...

Ну, что ты, бѣдное созданье,
Въ сѣняхъ украдкою стоишь?
Твой домъ—тюрьма, житье—страданье,

Сама безъ умолку твердишь.
Женихъ хорошъ, живетъ исправно,
Ты будешь вдоволь ѣсть и спать,
Сидѣть въ теплѣ, ходить нарядно,—
За что же сь..ку проклинать?
Сосѣда любишь, горе мучитъ?
Отецъ упрямъ, отецъ разлучитъ...
Тоска въ груди гнѣздо совьетъ,
Съ ума безсонница сведетъ...

Не оскорбляй святыни сердца!
Любовь свята: не оскорбляй!
Въ лицѣ — весна, душа младенца,
Въ крови огонь, во взглядѣ рай.
Она идетъ, — и небомъ вѣетъ,
Нечистый помыслъ прочь бѣжитъ,
Сырой тюрьмы окно свѣтлѣетъ,
Среди зимы тепло стоитъ.
Въ груди, въ минуты сладкой муки,
Живой воды ключи кипятъ,
И свѣтъ и тѣнь, цвѣты и звуки
Понятно сердцу говорятъ.
Нѣтъ, смыслъ иной въ твоей печали,
Инымъ ты вѣчно занята.
И въ міръ любви тебѣ едва-ли
Отворитъ время ворота.

«Вотъ жениха-то отыскала:
За дверью Саша горевала:
Ну, сваха! Онъ, дескать, богачъ!...
Вотъ и молчи тутъ, и не плачь....
Уродъ какой-нибудь, да скряга,
Ѣстъ лукъ, да тюрю по постамъ...
А! Таракановъ!... Тьфу, ты, срамъ!

И видно дрянь! Сосѣдъ-бѣдняга
Хоть изъ себя-то молодецъ...
У батюшки своя вишь думка,
А дочь, молъ, чтó!... дороже рюмка...
Все называется отецъ».

И полъ скрипучій проклиная,
На цыпочкахъ переступая,
Она прокралась по сѣнямъ
Къ крыльцу, съ крыльца на дворъ, а тамъ
Въ зеленый садъ.
Въ саду прохлада
И шумъ. Кусты поразрослись,
Поспутались, переплелись;
Непроницаемой оградой
Нависла надо рвомъ сирень,
Кидая на дорожки тѣнь.
Какъ снѣгомъ, бѣлыми цвѣтами,
Усыпанъ вишенникъ густой.
Тутъ яблоня, тамъ, подъ плетнями,
Бурьянъ, покрытый воробьями,
Тропинка межъ травы густой.
Вонъ стволъ березы серебрится,
Она пряма и высока,
Отъ вѣтра шапка шевелится,
И въ даль протянута рука.
Въ травѣ кузнечикамъ забота —
Звенятъ, безъ устали куютъ,
Богъ-вѣсть, желѣзо гдѣ берутъ;
Тутъ по цвѣтамъ у пчелъ работа,
Тамъ, смотришь, дятелъ прилетитъ,
Объ иву носомъ застучитъ.

Но вотъ и Саша... Торопливо

Къ плетню сосѣдскому идетъ,
Сама рукой нетерпѣливой
То сломитъ вѣтвь, то отведетъ.
Упрямы вѣтви! не пускаютъ:
За платье, за плечи хватаютъ,
И бьютъ, чуть въ слухъ не говорятъ:
«Куда! куда! — ступай назадъ!
Изъ-за чего заторопилась?»
Плетень все ближе. Онъ увитъ
Весь хмѣлемъ. Саша наклонилась
И хмѣль раздвинула, — глядитъ:
Дворъ пустъ, и только по рединѣ
Блеститъ стекло на желтой глинѣ...
Одна насѣдка подъ крыльцомъ
Усердно дѣломъ занималась:
Въ сору съ цыплятами копалась,
Да хрюкалъ боровъ подъ плетнемъ...
— Знать, подождать сосѣда надо... —
Она подумала съ досадой
И опустилась на траву...
Глядѣла долго на листву,
Вокругъ ромашку обрывала
И на послѣдокъ задремала.

X.

Кулакъ на рынкѣ. Тихъ весь домъ.
Отъ мухъ покрытая платкомъ,
Старушка крѣпко почиваетъ,
И котъ съ ней рядомъ на полу;
Одна пчела не умолкаетъ,
Скользя по гладкому стеклу.
Тоскуетъ Саша, — ей не спится:
Сосѣда нѣтъ, пока не ждать,

Работать,—праздникъ, не годится;
Въ окно прохожихъ наблюдать?
Оно пріятно и не трудно,
Да не теперь: кругомъ безлюдно.
Одинъ исходъ помочь тоскѣ—
Пройтиться за водой къ рѣкѣ.

Прогулка скучная, конечно,
Когда въ водѣ и нужды нѣтъ,
Но надоѣстъ и дома вѣчно
Глядѣть въ окно на бѣлый свѣтъ.
У бѣдной дѣвушки-мѣщанки
Не веселъ праздничный денекъ.
Порою зимней, у лежанки,
Смотря на яркій огонекъ,
Она на картахъ погадаетъ,
Сѣменъ подсолнечныхъ возьметъ,
Пошелушитъ,—и день смеркаетъ,
Обычный ужинъ настаетъ.
Но время лѣтомъ страшно длится!
Подруги въ гости къ ней нейдутъ,
Заснуть приляжетъ,—ей не спится,
То жаръ, то мухи не даютъ.
Идетъ бѣдняжка за водою,
Подругу встрѣтитъ на пути,
Ну, какъ тутъ рѣчи не найти!
Знакомый лавочникъ порою
Отвѣситъ поясный поклонъ,
И день отрадно проведенъ.

Полдневный воздухъ жаромъ пышетъ,
На небѣ нѣтъ ни облачка;
Съ открытой грудью спитъ—не дышетъ
Въ постели свѣтлая рѣка;

На берегу бѣлѣетъ камень,
Онъ бѣлъ, какъ снѣгъ, горячъ, какъ пламень;
За бѣлымъ камнемъ грачъ сидитъ,
Крыло повисло, клювъ раскрытъ.
Подъ пылью пестрою толпою
Идутъ коровы къ водопою;
Усталый, щелкая кнутомъ,
Пастухъ тащится босикомъ.
Приладивъ пузыри подъ мышки,
Шумя, купаются мальчишки,
И брызги въ стороны летятъ,
Отъ солнца искрами горятъ;
А вѣрно мать ихъ, въ юбкѣ красной,
Оттерла самоваръ пескомъ
И смотритъ: вонъ, дескать, какъ ясно,
Блеститъ, какъ золотцо, кругомъ!...

Вотъ камень. Саша отдохнула.
Все нѣтъ подругъ! И тутъ тоска,
Песокъ, мальчишки, да рѣка...
Воды студеной почерпнула
И оглянулася: ну, вотъ!
Откуда онъ? Сосѣдъ идетъ.

Сосѣдъ-столяръ высокъ и строенъ,
Не очень смуглъ, не слишкомъ бѣлъ,
Веселый взглядъ его спокоенъ,
И простодушно-твердъ, и смѣлъ;
Опрятенъ казакинъ изъ нанки,
Рубашка красная чиста,
Не въ тяготу ему рубанки
И не въ кручину бѣднота.
«А! за водою приходила?
Ну, что́ отецъ?... Бѣда прошла?

Обрадуй!... Вѣрно упросила...»
— Я три часа тебя ждала...—
«Въ саду?... Да тутъ старикъ скончался,
За мной прислали чуть-лишь свѣтъ...
Жена голоситъ: гроба нѣтъ!
Я приготовить обѣщался,
И посидѣлъ тамъ. Жаль до слезъ!
Спасибо, есть готовый тесъ...
Такъ, стало, туча миновала?...»
— Ну да! — И Саша разсказала
О свахѣ.
«Вѣсть не хороша!
Неужто все, моя душа,
Пропало?»
— Батюшка-то воленъ —
Не переспоришь. Онъ сказалъ,
Чтобъ ты двора его не зналъ...—
«Вотъ человѣкъ! Упрямствомъ боленъ!
Вѣдь, за тобою у него
Не требую я ничего....
Я бѣденъ: этого боится?
Такъ мой верстакъ не залежится,
Пока не высохнетъ рука,
Я не останусь безъ куска...
Проси его!... Авось уступитъ...»
— Да какъ просить-то? Чѣмъ помочь?...—
«Какъ Бога умоляй! Ты дочь...
Другой на рынкѣ онъ не купитъ...
Ты знаешь, я не говорунъ,
Божиться — не божусь: не лгунъ,
А будешь ты моей женою,
Не то что за тебя въ нужду,
Или на трудъ ночной порою,
Я прямо въ полымя пойду».

У Саши щеки запылали,—
Богъ знаетъ, глубоко-ль запали
Ей въ душу рѣчи бѣдняка,
Или, какъ говоръ вѣтерка,
По соннымъ листьямъ пробѣжали,
И снова листья сонъ объялъ,
Какъ скоро вѣтеръ замолчалъ...
Она стыдливо отвернулась,
Слезу отерла, улыбнулась,
И отвѣчала: «что умретъ,
А за другаго не пойдетъ».

XI.

Смеркалось. Съ трубкой закуренной
И разгорѣвшимся лицомъ,
Упрямствомъ Саши разсерженный,
Кулакъ сидѣлъ передъ окномъ,
И думалъ думу. Дочь металась
Въ постели, вся въ жару, въ тоскѣ;
Старушка, съ рюмкою въ рукѣ,
Къ больной тревожно наклонялась
И говорила: «Перестань!
Ну, полно охать-то! привстань!
Вотъ уксусъ. Дай-ка, я немного
Тебѣ затылокъ помочу».
— Не приставайте, ради Бога! —
Дочь отвѣчала — не хочу! —
«Вотъ закоснѣлое упрямство!»
Сказалъ отецъ: «не въ мочь терпѣть!
Иль встать? и я найду лѣкарство —
Ременную, витую плеть».
— Богъ съ вами! Я вамъ надоѣла...
Вамъ Таракановъ дорогъ...—
Да! —

Вонъ мѣтитъ дѣвка-то куда,
Не такъ, къ примѣру, заболѣла!
Ты постыдилась бы людей!
Или отецъ-атъ твой злодѣй?
Иль я со зла тебя морочу?
Ну, для кого я хлопочу,
Кому свое добро-то прочу?...
Да что тутъ!... Лучше замолчу.
Нѣтъ, съ бабами не сладишь скоро,
Съ досадою онъ разсуждалъ:
Какъ на пожарѣ я кричалъ,
Поди, вѣдь, не окончилъ спора;
За косы взяться? визгъ пойдетъ,
И жаль! Постой — я знаю средство,
Оно вреда не принесетъ.—
Эхъ-ма! достался мнѣ въ наслѣдство
Отъ батюшки таланъ худой!
Промолвилъ онъ, махнувъ рукой...
И самъ-то радости не видѣлъ,
И дочери знать въ горѣ жить...
Ну, Саша! послѣ не тужить!
Не говорить — «старикъ обидѣлъ».
Ты — умница, ну, такъ-и-такъ,
Выходитъ дѣло, — я дуракъ.
Не буду спорить, Богъ съ тобою!
А вспомнишь всѣ мои слова,
Когда пойдешь ходить съ сумою,
Разумная ты голова».

— У васъ всегда однѣ догадки...
Мнѣ къ бѣдности не привыкать:
Я стану шить, вязать перчатки... —

А мужъ начнетъ пилить, стругать,

Тамъ явятся, глядишь, дѣтишки,
И дѣвочки, и ребятишки,
И повалится въ домъ казна!
Живи, какъ въ маслѣ сыръ катайся!
Капустой, мисой толокна
Въ семьѣ, какъ хочешь, подѣляйся,
Одёжа и въ разсчетъ нейдетъ:
Она къ вамъ съ неба упадетъ».

— Вамъ только!.. смѣйтесь надо мною...
Вотъ участь-то! Въ углу родномъ
Живу постылой сиротою:
Не скажутъ слова мнѣ добромъ!
Молитву-то читать учили,
Не такъ читала, — розгой били!...
Я отъ чужаго не таюсь,
Съ отцемъ поговорить боюсь,
Я приласкаться къ вамъ не смѣю...—
«Какъ быть-то! я не виноватъ,
Что нравомъ крутъ... я самъ не радъ.
Вѣдь, я люблю тебя, жалѣю...
Мнѣ развѣ хочется кричать!
Тутъ, кажется, ослу понятно,
Ну что-жъ, къ примѣру, мнѣ пріятно
За нищаго тебя отдать?
У столяра одна избенка,
Казны ни гроша; мать — бабенка
Сварливая, всегда ворчитъ,
Ей и святой не угодитъ.
А Таракановъ — смѣтливъ, ловокъ,
Богатъ, торговый человѣкъ;
Онъ надаритъ тебѣ обновокъ
До свадьбы-то на цѣлый вѣкъ!
Теперь коня, вишь, покупаетъ,

Для молодой, дескать, жены,
Не тронь,— катается, гуляетъ...
Не знаешь людямъ-то цѣны,
Да вздоришь... Вотъ она причина!»
«Ахъ, Саша!» молвила Арина:
«Не спорь, дружочекъ, съ старикомъ:
Я принуждать — не принуждаю,
Да по себѣ сужу, и знаю,
Какъ тошно жить за бѣднякомъ...
И ослушаться грѣхъ и стыдно;
Я дочерью сама была
И по приказу замужъ шла,
Такъ стало надо...»
«Нынѣ, видно,
Родителямъ-то старикамъ
Почетъ, какъ старымъ сапогамъ...»
Старушка снова продолжала:
«Послушайся, моя душа!
У насъ ты рукъ не покладала,—
Женихъ богатъ, ты хороша,
Ты будешь куколкой рядиться,
Въ саняхъ и дрожкахъ разъѣзжать,
Въ домахъ богатыхъ веселиться,
Гостей почетныхъ принимать...
Ты насъ порадуешь подъ старость,
Ты наша дочка, наша кровь!
Надежда ты моя и радость,
Послушайся, не прекословь!...»
И Сашу крѣпко обнимала
Старушка добрая. Она
Была теперь убѣждена,
Что дѣвушка не понимала,
Какъ мало ждетъ ее добра
Подъ бѣдной кровлей столяра.

«Идите сами на смотрушки,
Не покажусь я никому,»
Дочь отвѣчала: «я съ подушки
Вотъ головы не подыму».
И Саша, охала, крѣпилась,
Больной до полночи была,
Потомъ старушку обняла,
Заплакала — и согласилась.—
«Давно бы такъ!» сказалъ отецъ:
«Вотъ и не спорю, и конецъ!»

XII.

Мерцаютъ звѣзды. Городъ сонный
Какъ-будто вымеръ, такъ онъ тихъ.
Сквозь сумракъ камни мостовыхъ
Бѣлѣютъ смутно. Мѣсяцъ полный
Плыветъ. Онъ волю далъ лучамъ:
По крышамъ лазятъ, по стѣнамъ;
Одинъ въ окно слезу подмѣтитъ,
Другой, какъ хитрый чародѣй,
Въ тюрьму проникнетъ безъ ключей
И цѣпь колодника освѣтитъ;
Неслышно церковь навѣститъ,
Окладъ иконъ посеребритъ.
Не зная страха и запрета,
Войдетъ въ алтарь, осмотритъ полъ
И скорбный ликъ Владыки свѣта,
И дерзко ляжетъ на престолъ.
Иль въ чащу сада проберется,
По темной зелени блеснетъ,
Росинку на листѣ найдетъ,
Росинка искрою зажжется.
А городъ спитъ-себѣ, да спитъ...

Порой по улицѣ широкой
Пройдется сторожъ, постучитъ;
Идетъ онъ молча, одиноко,
А тѣнь, сзади, на мостовой
Махаетъ, какъ и онъ, рукой.
Иль царской службой занесенный
Въ урочный часъ подъ небеса,
Съ просонокъ, инвалидъ смиренный
Протретъ на каланчѣ глаза
И съ разстановкой, отъ бездѣлья,
Посвищетъ въ дудку... Вонъ окно
Вдали огнемъ освѣщено.
Кто тамъ не спитъ?.. Разгулъ веселья,
Любовь-ли, горе, иль порокъ, —
То знаетъ ночь одна, да Богъ.

И ты, столяръ, въ своей постели
Не успокоился доселѣ!
Лежитъ онъ подлѣ верстака,
Отдѣлкой гроба утомленный;
Подушка — локоть обнаженный,
Подъ локтемъ — жесткая доска.
Печально смотритъ мастерская;
Смолистый запахъ изливая,
Бѣлѣютъ стружки на полу,
Сосновый гробъ стоитъ въ углу,
Топоръ въ березовый отрубокъ
Воткнулся носомъ; на стѣнѣ
Чернѣетъ старый полушубокъ,
Пила блистаетъ при огнѣ.
Подъ образами, на скамейкѣ,
Въ потертой, желтой душегрѣйкѣ
Сидитъ дородная вдова,
Семьи сварливая глава,

И молча карты раскладаетъ...
Про сынинъ бракъ она гадаетъ;
Но сбивчивъ глупый ихъ отвѣтъ:
То выйдетъ — да, то выйдетъ — нѣтъ, —
Вотъ, напримѣръ: печаль, дорога,
Постель, больная, интересъ...
Да тутъ и навыкъ не помога,
Богъ знаетъ, просто — темный лѣсъ.
Межъ-тѣмъ, съ гремушкою въ ручонкѣ,
До вечера проспавшій днемъ,
Въ штанишкахъ, синей рубашонкѣ,
По стружкамъ скачетъ босикомъ
Ея сынишка краснощекій.
И православныхъ избъ жилецъ,
Извѣстный на Руси пѣвецъ,
Сверчекъ стрекочетъ одиноко
Подъ печью.
«Вотъ», сказала мать:
«Вотъ пиковый король... постылый!
Онъ твой злодѣй, мой Вася милый!
Посмотришь, свадьбѣ не бывать,
Ни, ни!... я прежде это знала:
Намедни, помнится, во снѣ
Жемчугъ да бисеръ я низала, —
И доведется плакать мнѣ».

Сынъ улыбнулся беззаботно,
Провелъ рукой по волосамъ
И промолчалъ. Не вѣря снамъ,
Онъ вѣрилъ Сашѣ безотчетно.
Конечно, вѣра — все для насъ:
Въ ней золъ святое примиренье,
Да разувѣриться подъ часъ!
Порой разумное творенье

Бываетъ такъ измельчено,
Запачкано, искажено,
Что, право, надобно полвѣка
Его съ любовью изучать
За тѣмъ, чтобъ душу человѣка
Подъ этой грязью отыскать.
Столяръ избѣгъ подобной встрѣчи:
Онъ росъ въ нуждѣ, пилилъ, стругалъ,
Не человѣка наблюдалъ;
Но помнилъ онъ отцовы рѣчи
И выросъ съ вѣрою въ добро:
«Вотъ видишь, это серебро»,
Ему отецъ, бывало, скажетъ,
И въ головѣ своей сѣдой
На кудри жесткія покажетъ:
«Отъ нуждъ и горя, мой родной,
Все это нажито до срока;
Да, коли честно ты живешь,
И нѣтъ на совѣсти упрека, —
Все хорошо! И свѣтъ хорошъ,
И будетъ ласковъ людъ съ тобою;
Коли обидятъ, — промолчи,
Не гнѣвайся! Не будь судьею!
Ты пуще вотъ себя учи...»

Не такъ-себѣ, для наставленья,
Твердилъ о совѣсти старикъ,
То не были и строки книгъ,
Плоды избитаго ученья:
Живою книгой самъ онъ былъ.
Изъ жизни слово выносилъ.
Зародышъ книга уронила,
Смерть навсегда ее закрыла,
И въ ящикѣ она лежитъ,

Надъ нею крестъ святой стоитъ.
Но сынъ окрѣпъ. Съ нуждою злою,
Какъ умный мужъ съ дурной женою,
Безъ шума ладить онъ умѣлъ,
Безъ щей оставитъ,—все терпѣлъ.
Не тутъ ты выросъ, дубъ тѣнистый!
Могучей силѣ, какъ твоя,
Просторъ бы нуженъ, воздухъ чистый,
Не эта крыша и семья;
И не съ твоей душой и мочью,
О Сашѣ думать темной ночью,
Да глушь кругомъ, да въ сердцѣ жаръ...
Эхъ, бѣдный, бѣдный мой столяръ!

«Мнѣ то досадно, мать сказала,
Что Кулаку я уважала!
Давно-ль жена его у насъ
Брала утюгъ, дескать, на часъ,
Три дня держала,—я ни слова!...
Я подѣлиться, молъ, готова
Съ сосѣдомъ. Сальную свѣчу,
Въ заемъ, на красной горкѣ взяли,
И до сихъ поръ не отдавали...
Ништо... покуда помолчу,
А если насъ онъ одурачитъ,
Я за себя не поручусь,
Ни, ни! я такъ съ ними расплачусь,
Что любо!»

— Это ссора, значитъ,
Отвѣтилъ сынъ: изъ-за чего?
Безъ шума дѣло обойдется. —
«Какъ свистнешь, такъ и отзовется...
Я не боюся никого!
Мнѣ эдакъ дорогъ твой Кулакъ,

Что́ вонъ немытая тряпица...
Ну, Саша, точно не въ него,
Скромна, работать мастерица,
Умомъ-то... правда, ничего.
Ахъ, Вася! я и не спросила,
За гробъ-атъ много-ли ты взялъ?»
— Да такъ-себѣ... Не въ этомъ сила,
Покойника-то я, вѣдь, зналъ.
Чудакъ! Онъ жилъ въ своемъ домишкѣ,
Такъ въ старой мазанкѣ. Ходилъ
Зимой и лѣтомъ въ халатишкѣ,
Щегловъ, чижей, синицъ ловилъ...
Бывало, раннею зарею
Въ лѣсъ проберется съ западнею
Да съ сѣтью,— холодъ ни-почемъ!
Разставитъ сѣть, а съ птицей клѣтку
Повѣситъ, знаешь ты, на вѣтку,
И на сторо́жѣ за кустомъ
Дрожитъ въ снѣгу... Одну заботу,
Покуда кончился, имѣлъ:
«Охъ-ма! не въ пору заболѣлъ!
Теперь—вотъ въ лѣсъ-бы... на охоту...»
Кончаться сталъ, какъ закричитъ:
«Жена! пусти на волю дѣтокъ!»
— Какихъ тамъ дѣтокъ? говоритъ. —
«Моихъ-то вотъ, моихъ... изъ клѣтокъ!»

«Какихъ на свѣтѣ нѣтъ людей!
И твой отецъ чудилъ не мало:
Да скоро бросилъ. Все, бывало,
Шестомъ гоняетъ голубей.
Тѣ, знаешь, съ крыши встрепенутся,
Куда! подъ облака взовьются...
Ему-то радость! Вверхъ глядитъ,

А самъ свиститъ, а самъ свиститъ!»
— Охота не укоръ. Намъ стыдно
Тревожить кости старика...
Слышь, Ваня, хочешь молока?—
«Нѣтъ, братецъ...»
— Покормили, видно.
Ну, хорошо. Сюда поди;
Игрушку брось. Пора молиться.
Смотри же, братъ, не торопиться,
Ты крестъ, какъ надобно, клади. —
И вотъ дитя перекрестилось,
Огонь головку освѣтилъ:
Мать позади остановилась,
Столяръ молитву говорилъ:
Прости, Господи!
Меня грѣшнаго
И весь міръ прости!
Вразуми меня
Своей мудростью,
Научи меня
Всему доброму.
Помяни мою
Мать-кормилицу,
Помоги въ нуждѣ
Брату бѣдному,
И родителю,
Рабу Пимену,
Мѣсто свѣтлое
И покойное
Уготовь. — Аминь.
— Ну вотъ спасибо! братъ сказалъ,
И на руки ребенка взялъ.
Со мною ляжешь спать?—
«Съ тобою».

— А съ матушкою?—
«Не хочу!»
И крѣпко розовой щекою
Припалъ онъ къ братнину плечу.

XIII.

Смотрушки искони — забота, —
Хозяйки съ трепетомъ ихъ ждутъ:
Чуть не весь день кипитъ работа,
Метутъ, и моютъ, и скребутъ.
Едва блеснувшій лучъ разсвѣта
Засталъ Арину на ногахъ;
Она была совсѣмъ одѣта
И грѣла воду въ чугунахъ.
Старушка ставней не открыла
И въ горенкѣ, какъ тѣнь, ходила,
Тревожить шумомъ не хотя
Всю ночь не спавшее дитя.
Вотъ утро. Саша не гуляетъ,
Нѣмой тоской подавлена,
И молчалива и блѣдна,
Она посуду вытираетъ.
Сборъ разныхъ чашекъ, пузырьковъ,
Графины, рюмки и бутыли
Изъ царства темноты и пыли
Пришли омыться отъ грѣховъ.
Звенятъ они, другъ-дружкѣ вторятъ:
Ну, что, молъ, если невзначай
Изъ рукъ, да на полъ насъ уронятъ?
И шкафъ, и мы на-вѣкъ прощай!
Теперь поламъ пора мученья:
Водой облитые кругомъ
Они выходятъ изъ терпѣнья,
Скрипятъ подъ краснымъ кирпичемъ.

А подъ окномъ, на вѣткахъ ивы
И крикъ, и споръ нетерпѣливый
У любопытныхъ воробьевъ.
«Смотрите, молъ, мытье половъ,
Возня, тревога... дѣло худо!
И котъ вонъ тутъ! Скорѣй отсюда!»
И птицы дружно поднялись,
И вдаль въ испугѣ понеслись.

Лукичъ былъ тоже озабоченъ:
Всталъ рано, чуть не на зарѣ,
Замѣтилъ, что заборъ не прочень,
Двѣ щепки поднялъ на дворѣ
И въ кухню отдалъ на топливо, —
Хозяйствомъ грѣхъ пренебрегать.
Онъ зналъ, что надо терпѣливо
И неусыпно собирать
Добро домашнее. Бывало,
Когда домой идетъ не пьянъ,
Что́ подъ ноги ему попало —
Подкова, гвоздикъ, — все въ карманъ.
Прошелся по саду отъ скуки,
На яблони червей сыскалъ
И, снявъ ихъ, про себя сказалъ:
«Ахъ вы, анаѳемскія штуки,
Не давитесь чужимъ добромъ!...»
И наконецъ покинулъ домъ.
На перекресткѣ помолился
На церковь. Нищей поклонился....
Откуда, чья она — спросилъ
И грошъ ей въ чашку положилъ,
Не по любви и состраданью
Къ подобному себѣ созданью,
Онъ просто вѣрилъ, что Господь

За подаяніе святое
Ему сторицею пошлетъ.
Желанье, кажется, благое
И не убыточный разсчетъ?
Купилъ на площади торговой
Осенней шерсти два мѣшка
У горемыки-мужика;
О всходѣ ржи и гречи новой
Потолковалъ съ нимъ напередъ
И крѣпко побранилъ господъ:
«Народъ, молъ, да! работай втрое,
Изъ жилъ тянись, имъ все не въ честь!...»
Мужикъ былъ тронутъ за живое,
Заговорилъ, забылъ про шерсть:
Вотъ то́, дескать, и то́... и въ праздникъ...
«Такъ! трудъ чужой кладутъ въ бумажникъ,»
Лукичъ нахмурясь отвѣчалъ
И, вѣся шерсть, на рубль укралъ.
Домой пришелъ съ двумя узлами:
Тамъ были булки съ кренделями,
Орѣхи, сладкіе стручки,
Изюмъ и Сашѣ башмачки.
«Вотъ, Саша, на... Ты поскромнѣе
При женихѣ себя веди,
Что́ спросятъ, отвѣчай умнѣе,
Болваномъ, значитъ, не сиди».

Всѣ стулья заняты гостями:
Смотрушки въ горенкѣ давно.
Румяный, съ русыми кудрями,
Женихъ сидитъ подъ образами,
И говоромъ оживлено
Собранье. Женщины толкуютъ,
Что оплошалъ гостинный рядъ,

Товары завалью глядятъ,
Купцы безсовѣстно плутуютъ,
На шаляхъ мало пестроты,
На ситцахъ блѣдные цвѣты.
Двѣ-три старушки вспоминаютъ
О сарафанахъ съ галуномъ,
О серьгахъ съ крупнымъ жемчугомъ,
И прихоть моды обвиняютъ.
Хозяинъ судитъ съ женихомъ
О разныхъ отрасляхъ торговли,
О недостаткѣ рыбной ловли
Въ ихъ городѣ, и сознаетъ,
Что Таракановъ рѣчь ведетъ
Разумно. Скромная невѣста
Два раза поднималась съ мѣста
Гостей сластями обносить
И свой нарядъ перемѣнить.
Женихъ и мать его съ роднею
Переглянулись межъ собою,
Привстали чинно, не спѣша,
И молча потянулись въ сѣни
Для приговора и сужденій, —
Была-ль невѣста хороша?
Кулакъ въ углу шепталъ съ женою,
Съ дороднымъ кумомъ и кумою,
Дочь выславъ въ кухню напередъ;
Теперь, молъ, торгъ у насъ пойдетъ.
Но вотъ съ гостями сваха входитъ,
Поклонъ, другой — и рѣчь заводитъ:
«Ну, батюшка, товаръ хорошъ!
Купца похвалишь-ли, не знаемъ».
— Ты честь товару отдаешь, —
И мы купца не обижаемъ.
Разсчетъ въ приданомъ?—

«И,— родной!
Не просимъ лишняго».
— Постой!
Твой разговоръ, къ примѣру, красенъ...
Ты слушай вотъ что: я согласенъ
Салопъ и все... а жемчугу
И денегъ дать я не могу...
Безъ жемчуга дойдетъ до дома...
Онъ думалъ: трудно безъ заема. —
«Нѣтъ, нѣтъ! копѣечки одной
Мы не уступимъ, золотой!»
— А я и нитки не прибавлю...—
И закипѣлъ упрямый споръ.
«Пустѣйшій, значитъ, разговоръ»,
Сказалъ женихъ: «я все поправлю!
Дочь ваша, смѣю доложить,
Не то что, да-съ!... Ей-ей, безъ лести!
Извольте насъ благословить,
Когда я нравлюсь ихней чести...
А деньги — пыль-съ...»
— Выходитъ рокъ...
Жена! утирку и платокъ! —

Старушка, плача, суетилась,
Невѣста снова появилась,
Подносъ у матери взяла
И жениху, съ боязнью тайной,
На немъ подарокъ обручальный,
Глаза потупивъ, подала.
Женихъ утерся имъ легонько,
Невѣстѣ молча возвратилъ.
Утерлась и она.
«Ну, только,
Теперь Господь васъ съединилъ»,

Съ поклономъ сваха имъ сказала
И поцѣлуемъ приказала
Обрядъ закончить, рядомъ сѣсть,
И полюбовно рѣчи весть.

Подруги Саши не лѣнились,
Пришли на зовъ, и въ тишинѣ
Гостямъ, краснѣя, поклонились;
Краснѣя, сѣли въ сторонѣ
И пѣли пѣсни, не смолкали,
Пока слезами не согнали
Румянца яркаго со щекъ...
И скажутъ — слезы не порокъ!

Бесѣда весело кипѣла.
Женихъ невѣсту цѣловалъ.
Вино лилось. Кулакъ плясалъ.
Его жена помолодѣла:
Покачивая головой,
Она въ ладони ударяла
И мѣрно топала ногой.
Невѣста молча разсуждала,
Что Таракановъ очень милъ:
Одѣтъ пестро, лицомъ пріятенъ
И въ обхожденьи деликатенъ...
Межъ тѣмъ женихъ ей говорилъ:
«Вы танцы любите?»
— Танцую,
А вы? —
«Да какъ-бы вамъ сказать,
Ногами вензеля писать
Мнѣ нѣкогда-съ. Вѣдь, я торгую».
— Вы курите?—
«Ни — Боже мой!

И не къ чему-съ. Расходъ пустой».
— Зимой катаетесь? —
«Бываетъ,
На сырной... это ничего-съ;
Вотъ жалко, вздорожалъ овесъ;
Конь, знаете, не понимаетъ,
Что́ жерновъ — мелетъ Божій даръ».
— Скажите! —
«Да-съ! Вотъ самоваръ
Въ семействѣ нуженъ. Не скрываю:
Съ ребячества привыкъ я къ чаю,
Сначала просто пью, потомъ
Употребляю съ молокомъ.
Есть, знаете, своя корова...
Вы вяжете чулки?»
— Вяжу,
И шью, и бисеромъ нижу. —
«Позвольте, это нездорово,
О бисерѣ я говорю.
Низать не хорошо для зрѣнья».
— Я кошелекъ вамъ подарю... —
«Своей работы?»
— Безъ сомнѣнья. —
«Чувствительно благодарю».

Усердной пляской утомленный,
Кулакъ забился въ уголъ темный
И, щурясь, бормоталъ сквозь сонъ:
«Не надо! Убирайтесь вонъ...»
— Прощайте, батенька, прощайте! —
Женихъ съ улыбкой отвѣчалъ
И руку Лукичу пожалъ.
«Ты что́ за птица?»
— Угадайте! —

«Подай свѣчу... Вотъ такъ... не знаю,
Столяръ что-ль? Нѣтъ, онъ не таковъ...»
— Я Таракановъ, Глѣбъ Петровъ. —
«А вспомнилъ, вспомнилъ, понимаю...
Ну, поцѣлуй меня... вотъ такъ!...
А я ей-Богу не дуракъ,
И Саша вотъ дитя родное...
Мнѣ, значитъ, жаль... Продумалъ ночь...
И столяры, и все такое...
А ты, вѣдь, можешь мнѣ помочь?...
На совѣсть, честно поторгую!
И ты, выходитъ, чуть сплутую...»
Женихъ за дверью былъ давно,
Не замолкалъ Кулакъ равно.

XIV.

Бѣлѣетъ утро. Надъ домами
Дымъ коромыслами встаетъ.
Со всклоченными волосами
Выходитъ дворникъ изъ воротъ,
Зѣвая, чешетъ грудь, затылокъ,
И лѣзетъ ставни открывать.
Бѣжитъ бѣгомъ съ ключемъ на рынокъ
Мальчишка-лавочникъ, а мать
Въ окно кричитъ ему спросонокъ:
«Не ѣшь ты дыни, пострѣленокъ,
Побереги ты свой животъ».
Плетется нищій стороною,
На костыляхъ, съ пустой сумою;
А вотъ семинаристъ идетъ:
Ротъ калачемъ набитъ, подъ мышкой
Тетрадь съ изорванною книжкой.
— Постой, кутейникъ, погоди! —
Голоситъ баба позади,

Таща баранину сырую:
Вотъ я-те, я-те поворую,
Я дамъ тебѣ, какъ лазить въ садъ! —
Торговка, трубочистъ, солдатъ,
Купецъ корысти недоступный,
Маляръ, чиновникъ неподкупный,
Снуютъ, встрѣчаются, спѣшатъ.
Пойдетъ обычная работа!
Иной и не успѣлъ уснуть:
Всю ночь промучила забота —
Получше ближняго надуть.

Столяръ сидитъ съ нѣмой тоскою,
Поникъ кудрявой головою,
И не поетъ его пила:
Кручина руки отняла.
Шубенкой матери покрытый,
Его братишка, какъ убитый,
Лицомъ къ стѣнѣ на лавкѣ спитъ,
И неразлучная игрушка,
Его любимая гремушка,
У ногъ забытая лежитъ.
Дверь настежь,— и вдова вбѣжала,
Съ усильемъ духъ перевела,
Руками бойко развела
И крикнула: «не угадала!
Нѣтъ, карты, батюшка, не лгутъ ..
Вотъ твой Лукичъ-то! Вотъ онъ, плутъ!
О-охъ, родимые, устала!
Дай сяду... Охъ, терпѣнья нѣтъ!
Отдѣлали! Хорошъ сосѣдъ!»
— Нельзя-ли, матушка, безъ шуму?
Не весело и безъ того. —
«Ну, славно, славно! ничего!

Сиди вотъ сиднемъ, думай думу,
А Сашка-то изподтишка
Вонъ подцѣпила женишка...
Сейчасъ съ нимъ у воротъ прощалась,
Ужь цѣловалась, цѣловалась!...
Ну, ну! Безстыжіе глаза!
Да что́, вѣдь: на меня взглянула
И головою не кивнула,
А! каково! не чудеса!...»
— Да ладно! Мнѣ-то что за дѣло? —
«Благодарю, благодарю!
Ну, извини, что надоѣла
И не у мѣста говорю.
Нѣтъ дѣла! Думаешь не штука...
Съ тобою матери-то мука:
Дѣвченкой, дурой проведенъ!
Понравилась! околдовала!
Вишь роза! гдѣ и разцвѣтала!»
И мать съ досады вышла вонъ...

Ей нужды было очень мало,
Что сынъ невѣсту потерялъ,
Да самолюбіе страдало:
Сосѣдъ, бѣднякъ — и отказалъ!
Обидно — главная причина.
И оскорбленная вдова
Сердилась на себя, на сына,
На цѣлый свѣтъ. Она едва
Кота полѣномъ не убила
За то, что въ кухнѣ захватила
Его надъ чашкою съ водой;
Котъ замяукалъ, какъ шальной,
Шарахнулся на дворъ, оттуда
Въ садъ Лукича, и тамъ пропалъ.

Вражды сосѣдственной покуда
Несчастный котъ не понималъ.

Услышавъ вечеромъ случайно
У Лукича напѣвъ печальный,
Столяръ провелъ безъ сна всю ночь.
Кого винить? Отца, иль дочь?
Въ догадкахъ темныхъ отъ терялся,
Сидѣлъ, ходилъ по мастерской,
Бродилъ и по двору; порой
Въ постелю жесткую кидался
И вскакивалъ, или на мигъ
Безъ нужды зажигалъ ночникъ.
Неужто Саша не любила?...
Женихъ богатъ... ее просила,
Быть можетъ, на колѣняхъ мать,—
И дочь не смѣла отказать;
Отцу, быть можетъ, покорилась:
Старикъ проклятьемъ угрожалъ,
Не разъ прибилъ, съ двора сгонялъ...
Но истина теперь открылась:
Онъ мелькомъ видѣлъ изъ окна, —
Его сосѣдка не грустна.
— Такъ вотъ какъ ты меня любила,
Шутила шутки надо мной,
Отца упрямаго винила!
А я и вѣрилъ всей душой!...
Эхъ, Саша, Саша!... —
И тоскливо
Глядѣлъ онъ на широкій дворъ,
Поросшій жгучею крапивой,
На кровли, на чужой заборъ,
И смутно передъ нимъ мелькали
Его прожитыя лѣта,

Перенесенныя печали,
Съизмала трудъ и нищета,
О домѣ, о семьѣ забота,
О Сашѣ думы по ночамъ,
Бесѣды съ ней по вечерамъ,
Отца тяжелая работа
За верстакомъ по смертный часъ,
И при смерти его наказъ —
Жить мирно, честно, помнить Бога...
Вся обыденная тревога,
Все, чтó давно ужь пронеслось,
Закопошилось, поднялось,
Клещами за сердце схватило
И свѣтъ туманомъ позакрыло...
Столяръ промолвилъ: «экой вздоръ!»
И кулакомъ глаза утеръ,
И со двора пошелъ безъ цѣли.
Погода ясная была.
Дулъ вѣтерокъ. Колокола
Неумолкаемо гудѣли:
То церковь-мать дѣтей звала...
Столяръ на церковь помолился,
Подумалъ, твердою ногой
Переступилъ порогъ святой
И у столба остановился.
Народу нѣтъ. Окладъ иконъ
Лучами солнца освѣщенъ.
Нѣмые лики смотрятъ строго,
Свѣчей затеплено немного;
Подъ сводомъ сумерки лежатъ,
Двѣ люстры на цѣпяхъ блестятъ;
Сѣдой священникъ у престола,
Молясь, чело склонилъ до пола;
Поютъ о Богѣ голоса...

Но видятъ столяра глаза
Одно: съ простертыми руками,
Прибитый острыми гвоздями,
Нагой, съ поникшею главой,
Колючимъ терномъ увитой,
Недвижный, кровью истекая,
Весь правда и любовь святая,
Посланникъ Божій, въ высотѣ,
Къ отцу отходитъ на крестѣ.
Бѣднякъ весь вздрогнулъ, страха полный;
Какъ затихающія волны,
Смолкала въ немъ души печаль,
Міръ уходилъ куда-то вдаль,
Огонь охватывалъ все тѣло,
И вдругъ на крестъ взглянулъ онъ смѣло,
Забылъ сосѣдку, мать и домъ, —
И слезы хлынули ручьемъ.

XV.

Со дня помолвки измѣнился
Невѣсты скромный уголокъ;
Въ немъ съ утра до ночи тѣснился
Веселыхъ дѣвушекъ кружокъ.
Ихъ занимало на досугѣ
Шитье приданаго подругѣ,
Мелькнувшій мимо пѣшеходъ,
Подъ вечеръ пѣсни у воротъ,
Порою сновъ истолкованье,
Чужая жизнь — бѣда и грѣхъ,
Въ саду горѣлки и гулянье,
Но больше смѣхъ, невинный смѣхъ!
Такъ онъ однажды разразился,
Когда, измоченный дождемъ,
Въ лохмотьяхъ грязныхъ подъ окномъ

Калѣка-нищій появился
И милостыни попросилъ
Разбитымъ голосомъ. Случалось,
И вечеринка собиралась, —
Вотъ тутъ-то тратилось бѣлилъ,
Румянъ, и мыла, и помады!
Тутъ было въ домѣ хлопотни,
Веселыхъ шутокъ, бѣготни,
Невольной зависти, досады!
Но трудъ не даромъ пропадалъ:
Съ иными гость потанцовалъ
И, продавая рукавицы,
Толкуя утромъ съ мужикомъ,
Воображалъ другія лица
И думалъ вовсе о другомъ.
«Зѣвай, зѣвай!... Смотри порядкомъ!
А нынче гдѣ ты ночевалъ?»
Кричалъ хозяинъ за прилавкомъ.
— Чего-съ? На сѣновалѣ спалъ. —
Двѣ скрыпки, въ домѣ освѣщенье,
Конфекты, стукъ отъ каблуковъ,
Учтивый говоръ молодцовъ:
«На счетъ того-съ... мое почтенье...
Вы роза, да-съ! Ей, ей, Богъ святъ!»
Вотъ вечеринка. — Виноватъ... —
Порой веселые зѣваки
Сквозь стекла съ улицы глядятъ,
Хохочутъ и гостей бранятъ;
Межъ тѣмъ сосѣднія собаки
Бѣгутъ въ тревогѣ къ воротамъ
И поднимаютъ страшный гамъ.

Быть можетъ, Саша и грустила
О столярѣ въ иные дни,

Но, къ счастью, минули они;
Она разумно разсудила,
Что глупо о пустомъ жалѣть,
Не мудрено и заболѣть,
И крѣпко на себя сердилась
За то, что встрѣтиться стыдилась
Съ сосѣдомъ. Что́, дескать, мнѣ онъ?
И стыдъ былъ скоро подавленъ.
Она обновки примѣряла,
Или по городу гуляла
Съ подругами и женихомъ.
Однажды сумасшедшихъ домъ —
Большое, каменное зданье —
Къ себѣ привлекъ ея вниманье.
«Огромный домъ-съ», сказалъ женихъ:
«Войдемте; взглянемъ на больныхъ,
Оно, пріятно, ради скуки».
И Саша съ робостью вошла,
Но долго быть тамъ не могла.
— Смѣшно, молъ, очень. Что за штуки! —
Твердила дѣвушка потомъ:
— Кто связанъ, эдакъ-вотъ, ремнемъ,
Кто на цѣпи, иные ходятъ,
Да чушь-то, чушь-то какъ городятъ! —
«Нѣтъ-съ», Таракановъ отвѣчалъ:
«Я сумасшедшаго знавалъ, —
Тотъ все угадывалъ отлично...
Бывало, дичь несетъ, несетъ,
Подъ-часъ и слушать неприлично,
Да вдругъ такой намекъ ввернетъ,
Что просто... да-съ! ей-ей, чудесно!
Даръ, значитъ, — все ему извѣстно».

Бѣда! раздумывалъ Кулакъ:
Вотъ остается четвертакъ,

Да грошъ... Заемъ не удается;
Ну, если свадьба разойдется?
Родится-жь этакой народъ,—
И подъ залогъ никто не вѣритъ!
Изъ-за чего онъ только лжетъ,
Идетъ на подлость, лицемѣритъ?...
Сказалъ бы прямо: деньги есть,
Но про твою, къ примѣру, честь, —
Такъ нѣтъ! И щедрымъ притворится,
И на слова не поскупится...

— Помочь я радъ, дескать, душой...
Поводитъ за носъ день-другой,
Помучитъ болтовней, распросомъ:
Ну, что, молъ?... и отправитъ съ носомъ:
Свои-де нужды, извини... —
«Вотъ богачи-то! Вотъ они!
Чертъ знаетъ... или попытаться
Пойти къ Скобѣеву?... Вѣдь, жидъ,
Просить не стоитъ... и сердитъ.
Мнѣ, правда, что! — равно шататься...
Уважитъ — ладно, поклонюсь,
Толкнетъ — по-свойски разочтусь».
И черезъ часъ проситель скромный,
Онъ у Скобѣева въ пріемной
Съ лакеемъ-мальчикомъ шепталъ:
«Что, дома баринъ?»
— Тсс... не всталъ.
«А скоро, думаешь, проснется?»
— Вотъ-вотъ... не кашляй! —
«Отчего?»
— У насъ за это достается.—
«Такъ! Этотъ завтракъ для него?»
— Да, колбасу ѣстъ передъ чаемъ. —
«Всегда?»

— Случается,— балыкъ
И ветчину. Вишь такъ привыкъ;
Здорово, стало. —
«Понимаемъ.
Ну, а жена его смирна?»
— Ништо. Да какъ-то все больна,
Тоскуетъ, книжки все читаетъ,
Поетъ, да грустно таково,
А баринъ этимъ попрекаетъ. —
«Дѣтишки есть?»
— Ни одного. —
«А вонъ въ гостиной чья дѣвица?»
— Да самъ-атъ говоритъ — сестрица,
А дворня говоритъ... ой, ой!...
Проснулся, братъ! потише стой!—
Пока Скобѣевъ всталъ, умылся,
За колбасою посидѣлъ,
Сигару выкурилъ, обрился
И кончилъ чай,— Кулакъ глядѣлъ
На кресла, зеркала, картины,
На свѣтлый, выкрашенный полъ,
На складки бѣлой парусины,
Одѣвшей люстру, и на столъ
Съ часами въ бронзовой отдѣлкѣ,
И думалъ: вишь понакупилъ!
Выходитъ, былъ въ своей тарелкѣ,
Когда въ коммиссіи служилъ.
«А, грубіянъ! зачѣмъ явился?»
Входя, Скобѣевъ забасилъ
И на диванѣ развалился...
«Эй, Васька! Трубку! Ну, зачѣмъ?»
— Что, сударь, обнищалъ совсѣмъ.
Просваталъ дочь, нужна помога,
Цѣлковыхъ этакъ сто въ заемъ,

Я заложилъ бы вамъ свой домъ,
Не откажите, ради Бога! —
«Просваталъ дочь... а что она
Молоденькая, недурна?»
И плотный баринъ улыбнулся.
— Вы все изволите шутить;
Тутъ горе, смѣю доложить. —
«Да врешь! когда вашъ братъ горюетъ?
Привыкъ къ бездѣлью, пьетъ вино,
Да ѣстъ и спитъ, или плутуетъ,
И только. Знаю васъ давно».
— Всѣ люди грѣшные, конечно...
Я заплачу вамъ черезъ годъ,
Проценты вычтите впередъ...
Ей-ей, васъ не забуду вѣчно! —
«Процентовъ на сто — двадцать пять!...»
— Да это, сударь, разоренье! —
«Ха, ха! я думалъ одолженье!
Шучу, дуракъ! Я рукъ марать
Не стану».
— То-есть просятъ мало? —
«Ну, да! и проситъ-то Кулакъ».
— Смѣкаемъ, сударь... низко стало...
Одѣтъ, къ примѣру, я не такъ;
Не то — вы крикнули-бъ, я знаю,
Эй, Васька, принеси имъ чаю! —
«А хочется!» — Три раза пилъ,
Въ четвертый васъ я-бъ угостилъ,
Да не пойдете: горды больно. —
«Дуракъ!... Пошелъ!...»
— Пойдемъ. —
«Довольно,
Ступай же!...»
— Выйду, говорю...

За рысака-то вамъ дарю,
Раздайте нищимъ...—
«Это видишь?»
— Чубукъ хорошъ.—
«Ну, скоро выйдешь?...»
— Съ двумя концами...—
«Такъ держись! —
— Семенъ Ивановичъ пришли-съ! —
Сказалъ лакей.
«Проси, чертенокъ!
Нашелъ докладывать о комъ,
Негодный!... Одурѣлъ спросонокъ?»
И баринъ стукнулъ каблукомъ,
Вскочилъ съ дивана, трубку кинулъ,
Дверь кабинета отворилъ,
Къ столу два кресла пододвинулъ,
Усѣлся съ гостемъ и спросилъ:
«Вы изъ Коммиссіи?»
— Оттуда. —
«Ну, что, идетъ-ли нашъ подрядъ?»
— Да, подвигается покуда,
Подмазать надо, говорятъ... —
«А, знаю... очень, молъ, пріятно...
На вещи цѣну-то того...
Вы понимаете?»
— Понятно.—
«Да не опасно-ль?»
— Ничего! —
«А по бумагамъ безусловно
Въ подрядѣ вы: я подъ судомъ».
— Какъ ваше дѣло въ уголовной?—
«Все, — слава Богу,— подъ сукномъ.
Жаль, нѣтъ войны: подряды мелки,
Отъ мира мало намъ добра...»

— Нельзя сказать...—
                «Все вздоръ, бездѣлки!
Нѣтъ, батюшка, не та пора».
        Кулакъ не очень торопился:
Тутъ разговоръ. Онъ соблазнился;
Его забыли. Кабинетъ
Едва припертъ, лакея нѣтъ...
Чего же лучше? Слушать можно,
И онъ подслушалъ осторожно:
«Держися, матушка-казна!
Подрядъ, вишь, плохъ, нужна война...
А гость-то! .. Царь ты мой небесный!
Недавно въ кабакахъ сидѣлъ,
Носилъ отрепье, плутъ извѣстный,—
Теперь подрядчикъ, фракъ надѣлъ...
Вотъ кулаки-то!...»

Вылъ буйный вѣтръ; дождь ливнемъ лился
И громъ гремѣлъ. Лукичъ промокъ
До нитки, посинѣлъ, продрогъ,
На грязь и непогодь сердился
И пробирался стороной,
Согнувшись, въ обуви худой.
На перекресткѣ онъ столкнулся
Съ торговкой, что-то проворчалъ,
Посторонился, поскользнулся
И чуть-чуть въ лужу не упалъ.
Старуха, шамшая, сказала:
«Хрѣнку, родимый, не возьмешь?»
— Ну, ну, проваливай, пристала...
Безъ хрѣну горько не въ терпежъ. —
        Межъ тѣмъ по улицѣ широкой
Куда-то гнали въ путь далекой,
Въ халатахъ сѣраго сукна,

Толпу преступниковъ. Она
Шла медленно, гремя цѣпями,
Конвой съ примкнутыми штыками
Его угрюмо окружалъ,
И барабанъ не умолкалъ.
Пошелъ народецъ на работку!
Лукичъ подумалъ: да, ступай!
Поройся, тамъ руды въ охотку
И не въ охотку покопай.
Добру-ль съизмала не учили,
Подрослъ-ли, люди соблазнили,
Далъ волѣ-матушкѣ разгулъ,
Въ разгулѣ голову свернулъ...
Есть грошъ, достать на подаянье...
Поди, Скобѣевы живутъ,
Ихъ въ кандалы не закуютъ,
Не отведутъ на покаянье...
Ну, вотъ тебѣ и взялъ въ заемъ!
Постой, постой!... Вѣдь, этотъ домъ
Купца Пучкова... Э, почтенный,
Я про тебя и позабылъ!
Пучковъ... да, я ему служилъ.
Святоша, человѣкъ смиренный,
Мукой, къ примѣру, торговалъ,
Парчей, свѣчами восковыми...
Ну, такъ! руками-то моими
Частенько жаръ онъ загребалъ...
Зайдти къ нему.

XVI.

Угрюмъ и проченъ
Пучкова домъ. На кровлѣ тёсъ
Зеленой плѣсенью поросъ;
Досками крѣпко заколоченъ

Сосновый ставень кладовой.
Косматый сторожъ, песъ цѣпной,
Въ конурѣ дремлетъ у забора;
Амбары въ сторонѣ стоятъ,
Ихъ двери отъ ночнаго вора
Замки тяжелые хранятъ.
Едва глядятъ лучи дневные
Сквозь окна въ комнаты пустыя,
Хозяинъ не имѣлъ дѣтей
И рѣдко принималъ гостей,
Но спальня съ желтыми стѣнами
Свѣтла, опрятно убрана;
Весь уголъ занятъ образами,
Лампада вѣчно зажжена,
Кровать накрыта простынею,
И полонъ шкафъ церковныхъ книгъ, —
Иныхъ терпѣть не могъ старикъ
И называлъ ихъ чепухою.
Въ простѣнкѣ, трудъ давнишнихъ лѣтъ,
Виситъ на гвоздикѣ портретъ
Монаха съ черной бородою,
Съ рукой, поднятой къ небесамъ,
И надписью надъ головою:
«Воспомяни, что́ узришь тамъ».
Проникнутъ думою святою,
Въ очкахъ, за Библіей большою
Пучковъ, нахмурившись, сидитъ.
Сюртукъ мерлушками подбитъ,
Подстрижены усы сѣдые,
Бородка жидкая длинна.
Скулы торчатъ, глаза косые,
Какъ мѣсяцъ лысина ясна.
Онъ жилъ съ ребячества трудами:
Водилъ по ярмаркамъ слѣпцовъ,

Ходилъ искусно вверхъ ногами
За крендели зѣвакъ-купцовъ;
Нѣмымъ, калѣкой притворялся;
Для нищей братьи по ночамъ
За «Еруслана» принимался.
(Читать онъ выучился самъ).
Одинъ добрякъ, старикъ бездѣтный,
Полубольной и безотвѣтный,
Его за бойкость полюбилъ,
Одѣлъ и въ лавку посадилъ.
Мальчишка взросъ, и за услугу
Оставилъ нищимъ старика;
Купецъ спился отъ горя съ кругу
И умеръ подлѣ кабака,
Полночной вьюгою отпѣтый, —
То былъ простой, но горькій плачъ;
А трупъ, въ больницѣ отогрѣтый,
Разсѣкъ ножемъ ученый врачъ.
Чужаго золота наслѣдникъ,
Пучковъ себя не уронилъ:
Глядѣлъ смиренникомъ и былъ
О чести строгій проповѣдникъ;
Не кушалъ рыбы по постамъ,
Молился долго по ночамъ,
Передъ нетлѣнными мощами
Въ слезахъ колѣни преклонялъ,
На церковь подавалъ грошами
И грабилъ бѣдныхъ наповалъ.
И странно! Плутъ не лицемѣрилъ:
Онъ искренно въ святыню вѣрилъ;
Вѣдь, совѣсть надо очищать, —
Чтó дѣлать? Страшно умирать!
Пучковъ объ адѣ начитался,
И какъ же онъ чертей боялся!

На полчаса вздремнуть не могъ,
Три раза «Да воскреснетъ Богъ»
Не прочитавъ. Теперь, подъ старость,
Оплакивалъ онъ грѣшный міръ,
И говорилъ: вотъ наша радость!
Указывая на Псалтирь
И Библію, хотя ни мало
То и другое не мѣшало
Ему язвить изподтишка
И умнаго, и дурака.
Кулакъ вошелъ. Сказалъ учтиво:
Погода, молъ, дурна-съ, промокъ!
Прибавилъ: грязно-съ! И умолкъ.
Хозяинъ поглядѣлъ пытливо,
Закладкой книгу заложилъ,
Зѣвнулъ, молитву сотворилъ
И отвѣчалъ: «да, дождь сегодня:
Все хорошо, все власть Господня....
Ты здѣшній?»
— Да-съ. Я мѣщанинъ,
Слуга вашъ бывшій, Карпъ Лукинъ. —
«Какъ будто-бы припоминаю.
А, впрочемъ, нѣтъ... едва ли такъ».
—Я вотъ на дняхъ просваталъ дочь...—
И разсказалъ Лукичъ, въ чемъ дѣло.
«Гмм... жаль, что не могу помочь!
Мое богатство улетѣло,
Какъ дымъ въ трубу: все разошлось
По добрымъ людямъ, да авось
Промаюсь. Старъ... гляжу въ могилу,
И время... Господи помилуй!»
—Нельзя-ли, сударь, пожалѣть?
Вѣдь, вы не вѣрите, извѣстно...
Вотъ образъ,—заплачу вамъ честно!

Безъ покаянья умереть,
Коли солгу! —
«Зачѣмъ божиться?»
— Да тошно! Кажется, готовъ
Сквозь землю лучше-бъ провалиться,
Чѣмъ эдакъ — вотъ изъ пустяковъ
Просить, да мучиться напрасно... —
«Охъ, милый! Вѣрить-то опасно!
Иного ссудишь, да не радъ:
Уплаты нѣтъ, — я виноватъ,
Терпи, да жди... Прійдетъ, голоситъ,
А не послушаешь, — поноситъ;
Да вытянешь процентъ едва,
Вотъ нынѣ правда какова!»
Кулакъ и тѣломъ, и душою
Божился честно заплатить, —
Не могъ Пучкова убѣдить:
Онъ морщился, махалъ рукою:
«Нѣтъ не могу! Закладъ не тотъ:
Твой домъ не каменный... нейдетъ».
— Несытая твоя утроба!
Ну, стало, голову мнѣ снять
И подъ закладъ тебѣ отдать?!
Вѣдь, ты вотъ-вотъ подъ крышку гроба...
Кому казну-то ты копишь?—
«Опомнись! съ кѣмъ ты говоришь?»
— Съ тобою, старый песъ! съ тобою!
Ты вмѣстѣ воровалъ со мною,
Клади мнѣ денежки на столъ,
Дѣлись! Я вотъ зачѣмъ пришелъ!—
Пучковъ вскочилъ.
«И ты мнѣ смѣешь?...»
— Кто, я-то?... Ты не подходи
И въ грѣхъ, къ примѣру, не вводи,

Убью! Вотъ тутъ и околѣеть! —
Купецъ позеленѣлъ. Нѣмой,
Грозя приподнятой рукой,
Онъ въ мрачное изваянье
Вдругъ превратился. Есть одно
Востока чудное сказанье,
Руси знакомое давно:
Въ глуши таинственная сила
Три дива на горѣ хранила.
Столбомъ надъ почвою сухой,
Вставалъ ключъ влаги золотой,
Разумно птица говорила,
И пѣло дерево. Межъ скалъ
Завѣтный путь туда лежалъ,
Въ глушь не одинъ пройти пытался,
Но по пятамъ текла гроза —
Гремѣли громомъ голоса,
Весь воздухъ кличемъ наполнялся,
Смѣльчакъ запретъ позабывалъ:
Лицо въ испугѣ обращалъ
Назадъ, — и камнемъ оставался.
На мигъ едва-ли не таковъ
Въ безсильномъ гнѣвѣ былъ Пучковъ.
Кулакъ захохоталъ. «Ну что-жъ?
Ударь, попробуй!»
— Вонъ, злодѣй! —
«Пойду, святоша... правый Боже!
И терпишь Ты такихъ людей!
Прощай! Садись опять за книги,
Копи казну, надѣнь вериги —
Все, значитъ, о душѣ печаль...
А жаль тебя, ей-Богу, жаль!»
Привелъ Господь считать пороги!
Кулакъ дорогой горевалъ
И потъ холодный отиралъ.

Пойду. Дождешься тутъ помоги!
Гмм... Кулаку, дескать, дадимъ!
И говорить-то стыдно съ нимъ!
Ну, а вотъ эти, стало святы?
Набьютъ сундукъ чужимъ добромъ
И вдругъ — банкруты, не при-чемъ!
И этотъ чистъ, крючекъ проклятый —
Ограбитъ матушку-казну,
Деревню купитъ на жену?
И тотъ, къ примѣру, помнитъ Бога
И судъ, по совѣсти творитъ;
Съ перомъ присядетъ, поскрипитъ, —
Богатый выйдетъ изъ острога,
Бѣднякъ — въ невидимой винѣ,
И плеть засвищетъ по спинѣ?
И тотъ вонъ не торгуетъ честью:
Межъ знатныхъ трется съ подлой лестью,
Мѣшаетъ съ грязью мужичковъ...
Да мало-ли насъ, кулаковъ!
Кулакъ въ енотѣ, въ полушубкѣ,
При саблѣ, въ золотѣ и юбкѣ,
Гдѣ и не думаешь, онъ — тутъ.
Не мелочь, не грошовый плутъ,
Не намъ чета — подниметъ плечи.
Прикрикнетъ, — не найдешь и рѣчи,
Рубашку сниметъ, — все молчи...
Господь суди васъ, палачи!
А ты, къ примѣру, въ горькой долѣ
На грошъ обманешь по неволѣ, —
Тебя согнутъ въ бараній рогъ,
Бранятъ, и бьютъ-то, и смѣются...
А разживись я, — видитъ Богъ,
Въ пріятели всѣ назовутся;
Сплутую, — скажутъ: не порокъ...
Тьфу! гадость!

XVII.

Туча миновала;
Прошла тревога Кулака:
Онъ отыскалъ ростовщика...
Все благо! Саша промѣняла
Родимый домъ на кровъ чужой.
Она прощальною слезой
Его, какъ водится, почтила,
Какъ водится и позабыла.
Веселой свадьбы пиръ умолкъ,
Утихъ о ней сосѣдей толкъ,
Угомонились пересуды,
Въ свояси гости разбрелись;
Переколоченной посуды
Въ домахъ осколки убрались.
Кулакъ покоенъ: дни позора
Онъ прожилъ. Полно плутовать!
Ему поможетъ добрый зять, —
Зятья надежная опора.
Одна Арина у окна
Сидитъ за варежкой грустна:
Безъ Саши горенка скучнѣе,
И время тянется длиннѣе,
И котъ тоскуетъ: спитъ въ углу,
Не поиграетъ на полу
Клубкомъ старушки. Чуть смеркаетъ,
Она калитку запираетъ
И съ робостью обходитъ дворъ, —
Не притаился-ли гдѣ воръ,
И мужа ждетъ. И спицы снова
Звенятъ, безъ умолку звенятъ.
Межъ-тѣмъ все къ ужину готово,
Ужъ ложки на столѣ лежатъ.

Въ грозу закроетъ боязливо
Трубу, всѣ окна и платкомъ
Завяжетъ уши торопливо, —
Все, дескать, меньше слышенъ громъ;
Затеплетъ свѣчу восковую
И Бога на помочь зоветъ,
Покуда тучу громовую
Далеко вѣтеръ унесетъ.
Порою, у воротъ отъ скуки
Съ глухой кумой поговоритъ
О томъ, что грудь ея болитъ
И ломятъ отчего-то руки,
Что не горитъ щепа въ печи,
Сырая, вѣрно, хоть кричи;
Сегодня каша не упрѣла;
Что посадить она хотѣла
Вчера насѣдку, но едва-ль
Не поздно, да и яица жаль;
Что у сосѣда, Шестакова,
Намедни гусь зажаренъ былъ,
Да мужъ женѣ платокъ купилъ,
И отелилася корова, —
Вотъ счастье-то! А дочь придетъ,
Старушкѣ бѣдной тьма заботъ!
«Ахъ, наша гостья дорогая!
Здорова-ли? Присядь, присядь!
Здорова-ль? повторяетъ мать,
Съ улыбкой слезы утирая:
Насилу Богъ тебя принесъ...»
И начинается допросъ:
Живетъ-ли съ нею мужъ согласно,
Привѣтливъ онъ, или сердитъ?
Не ссорится-ль когда напрасно,
Не часто-ли свекровь ворчитъ?

О всякой мелочи ничтожной
Поразузнаетъ осторожно,
И трудовой пятакъ возьметъ,
Спѣшитъ къ богатому сосѣду,
И въ кринкѣ молока къ обѣду
Любимой гостьѣ принесетъ.
Свой садъ Арина позабыла:
Мать столяра ей досадила
Упрекомъ, бранью каждый разъ,
Сквозь наклонившійся плетень:
«Здорова, мать! Въ саду гуляешь!
Хозяйка! яблоки считаешь!...
Ты не пускай къ намъ куръ на дворъ,
Поймаю, прямо подъ топоръ;
Да, зять богатъ! Передъ тобою!
Звоню я, матушка, про васъ...
Умна ты съ дочкою своею,
Хотѣла одурачить насъ...
Тьфу, вотъ вамъ! Вотъ народъ продажный!
Возьмите!...» И махоръ бумажный
Леталъ на колпакѣ вдовы
Отъ потрясенья головы.
Настала осень, скученъ городъ.
Дожди, туманы, рѣзкій холодъ,
На сумерки похожій день...
И по нуждѣ покинуть лѣнь
Свой теплый уголъ. Мостовыя
Покрыты грязью. Пѣшеходъ
Съ досадой нехотя бредетъ.
Слезами капли дождевыя
Текутъ по кровлямъ, по стѣнамъ,
По окнамъ и по воротамъ.
Другъ-другу грустные поклоны
Въ садахъ деревья отдаютъ,

Ихъ шапки на землѣ гніютъ.
По вечерамъ кричать вороны,
Въ лѣса сбираясь на ночлегъ.
Порой — нежданный, мокрый снѣгъ,
Какъ туча бѣлыхъ мухъ, кружится;
Минута — ливнемъ онъ смѣнится...
Вотъ время! Двери на крючекъ,
Зажги веселый огонекъ,
Бесѣдуй съ другомъ цѣлый вечеръ;
Пусть льется дождь, голоситъ вѣтеръ,—
Тепло въ затворенномъ углѣ,
За самоваромъ на столѣ.
Но каково сидѣть съ тоскою
И одному, и въ заперти?
Пошелъ бы, — не къ кому пойти,
Читалъ бы,— нечего порою;
Заснуть — счастливъ, кто можетъ спать,
Не то, хоть петлю надѣвать!
Кулакъ, съ досадой молчаливой,
Поглядывалъ нетерпѣливо
На небо, снѣга поджидалъ
И непогоду проклиналъ.
На рынкѣ нечѣмъ поживиться,
Дороги плохи... нѣтъ крестьянъ;
Ходи, глотай сырой туманъ,
Пришлось хоть воздухомъ кормиться,
А между-тѣмъ кругомъ нужда:
Лежанка въ горенкѣ худа,
Подъ матицей кряхтитъ подставка,
Въ окошкахъ стеколъ недочетъ;
Тамъ крыша кое-гдѣ течетъ;
Тутъ сапогамъ нужна отставка,
Сюртукъ заплатами покрытъ,
А галстухъ въ клочья истаскался,

И какъ старикъ ни ухитрялся
Его сложить, но все на видъ
Не кстати бахрома виситъ.
На рынкѣ, просто, нѣтъ прохода.
Прійдетъ на бѣдняка невзгода!
Какой-нибудь молокососъ
Людей и Бога не боится,
Какъ надъ шутомъ, надъ нимъ глумится:
«Ну, что, Лукичъ, повѣсилъ носъ?
Охота здѣсь тебѣ таскаться
И хлѣбъ обманомъ добывать,
Подъ старость скверно воровать,
Ей, ей, безгрѣшнѣй побираться;
Сидѣлъ бы съ чашкой гдѣ-нибудь,
Трудъ, значитъ, легкій, стариковской,
Да, благо, и сюртукъ таковской,
Вишь — любо-дорого смотрѣть!...»
Мнѣ, видно, зять не довѣряетъ,
Кулакъ подумалъ: не поймешь...
И чаемъ вдоволь угощаетъ,
И льститъ, а толку ни на грошъ.
Я говорю, къ примѣру, буду
Тебѣ въ торговлѣ помогать,
Чужихъ, равно, молъ нанимать!
— Извольте-съ! я васъ не забуду....
У насъ торговый оборотъ
Зимою-съ... Вотъ зима придетъ...—
Гмм... путь, того и жди, настанетъ...
Ну, если онъ меня обманетъ,
И я останусь въ дуракахъ,
Безъ дома, съ сумкой на плечахъ?
За что же такъ?... Дитя родное
Принудилъ... Самъ теперь въ долгу...
Покоя ждалъ,—и вдругъ... Пустое!

Нельзя! повѣрить не могу!
Дождь каплетъ. Синими клоками
Плывутъ на сѣверъ облака.
Не веселъ домикъ Кулака
Съ его измокшими стѣнами;
Въ болото обратился дворъ,
По серединѣ: кучи, соръ.
Но садъ грустнѣй: вокругъ молчанье,
Замолкло птичекъ щебетанье...
Огнемъ онъ точно обожженъ,
Весь почернѣлъ и обнаженъ.
Покинутыя колыбели,
На ивахъ гнѣзда опустѣли, —
Жильцы разсѣялись. Мертва
Къ землѣ припавшая трава,
И съ непокрытою макушкой,
Забытой горькою старушкой,
Въ измокшей бѣлой простынѣ
Стоитъ береза въ сторонѣ.
Кулакъ въ саду. Онъ на топливо
Деревья взглядомъ выбиралъ,
Топоръ подъ мышкою держалъ.
Но что́ рубить? Подъ этой ивой
Вздремнуть, бывало, онъ любилъ
На свѣжей травкѣ, въ полдень знойный;
Иныя самъ отецъ покойный
Ему на память посадилъ.
И жаль, и дровъ нѣтъ ни полѣна...
Вонъ, правда, есть пока замѣна...
И засучилъ онъ рукава:
Пошла береза на дрова...
Старушка печку затопила,
Кулакъ на коникѣ прилегъ.
«О чемъ грустишь?...» жена спросила.

— Такъ... что-то мочи нѣтъ, продрогъ.—
«Что зять-то, какъ?»
— Смотри за щами:
Мужское дѣло — не твое...—
«Я все про Сашино житье...
Богъ знаетъ, и за богачами
Живутъ, да мучатся...»
— Опять!
Нельзя, къ примѣру, помолчать?—
Дверь отворилась, и горбатый
Курчавый рыжій мужичекъ,
Въ халатѣ, съ палкой суковатой,
Сказалъ съ поклономъ: «Встань, дружокъ,
Хозяинъ умный, тороватый!
Явился гость,— и ты не радъ,
И я, соколъ, не виноватъ».
— Мы, погодя, побалагуримъ...
Ты кто? Зачѣмъ?—
«Да встань-ка, встань,
Не погоняй, кнута не любимъ...
Теперь подушное достань».
— Ты, знать, отъ старосты... разсыльный...—
«Узналъ, сударикъ мой, узналъ!»
— Присядь, ты, кажется, усталъ.
А что морозъ сегодня сильный?
Я, знаешь, все въ избѣ сижу,
На дворъ, къ примѣру, не хожу:
Нога болитъ. —
«Да, да! Проказникъ!
Испилъ воды на свѣтлый праздникъ,
Болитъ съ похмѣлья голова...
Хитеръ на красныя слова!»
— Чего! Ей-ей болитъ, безъ шутокъ!
Вотъ видишь... охъ, не наступлю!—

«Хе, хе, сударикъ мой, люблю;
Нужда горька безъ прибаутокъ...
Достань-ка деньги-то, родной,
Инъ — къ старостѣ пойдемъ со мной».
— Да какъ же быть?... недугъ проклятый!...
Что́ дѣлать? —
«Деньги заплатить!
Я вотъ, сударикъ, са́мъ девятый
Живу. Плачу... не стать тужить...
Шесть душъ дѣтей, жена седьмая,
Да я съ горбомъ... Пойдемъ, пойдемъ,
Какая тамъ нога больная!»
— Скажи, что дома не засталъ,
Ушелъ, молъ, ленъ скупать въ деревни...—
И гостю гривенникъ послѣдній
Изъ кошелька Кулакъ досталъ.
«Оно ништо... да маловато...»
— Ей-Богу гроша больше нѣтъ! —
«Ну за тобою... дѣло свято!
Прощай покудова, мой свѣтъ...»
Теперь на хлѣбъ добудь, — гдѣ знаешь!
Кулакъ подумалъ и вздохнулъ
И кошелекъ на столъ швырнулъ:
«Не радъ хромать, да захромаешь,
Попробуй-ка пожить вотъ-такъ!...
А вѣдь, кричатъ: кулакъ! кулакъ!...»

XVIII.

Зима стоитъ. Трещатъ морозы.
Пошли съ товарами обозы
По Руси-матушкѣ гулять,
Слѣды въ сугробахъ прокладать!
Ползетъ, скрипитъ дубовый полозъ,
Рѣка, болото, — всюду мостъ

За тысячу и за двѣ верстъ...
На мужичкѣ бѣлѣетъ волосъ,
Не веселъ онъ! идетъ — кряхтитъ,
Казну на подати копитъ.
Посвистывай теперь на волѣ,
Холодный вѣтеръ, въ чистомъ полѣ,
Кружись, сердитая мятель,
Стелись, пуховая постель!
Кому путёкъ, кому дорога,
Аринѣ дома дѣла много:
Вставая съ раннею зарей,
Она ходила за водой,
Порой бѣлье чужое мыла,
Дескать, работа не порокъ,
Все будетъ хлѣбушка кусокъ;
Порою и дрова рубила,
Когда Кулакъ на печкѣ спалъ,
Похмѣлье храпомъ выгонялъ;
Отъ стужи кашляла, терпѣла,
И напослѣдокъ заболѣла.
Лежитъ недѣлю, — легче нѣтъ.
Ознобъ и жаръ ее объемлетъ;
Едва забудется, задремлетъ, —
Живьемъ изъ мрака прежнихъ лѣтъ
Встаютъ нежданныя видѣнья...
Вотъ вспомнилась съ грозою ночь, —
Въ густомъ саду шумятъ деревья.
Изъ теплой колыбели дочь
Головку въ страхѣ поднимаетъ
И громко плачетъ, и дрожитъ,
А мужъ неистово кричитъ
И стулъ, шатаясь, разбиваетъ.
Вдругъ тихо. Вотъ ея сынокъ —
Малютка, убранный цвѣтами,

Покоится подъ образами;
Блеститъ въ лампадѣ огонекъ,
Въ углу кадильница дымится,
Столъ бѣлой скатертью накрытъ,
Подъ кисеей младенецъ спитъ,
Она отъ вѣтра шевелится,
И солнце въ горенку глядитъ,
На трупѣ весело играя...
И мечется въ жару больная.
Въ ушахъ звенитъ, въ глазахъ темно,
И слезы градомъ льются, льются...
Межъ-тѣмъ какъ съ улицы въ окно
Къ ней звуки музыки несутся:
Тамъ, свадьбу празднуя, идетъ
Съ разгульнымъ крикомъ пьяный сбродъ.
Въ борьбѣ съ мучительнымъ недугомъ,
Смотря безсмысленно кругомъ,
Старушка встанетъ и потомъ,
Вся потрясенная испугомъ,
Со стономъ снова упадетъ
И дочь въ безпамятствѣ зоветъ.

Снѣгъ падалъ хлопьями. Былъ вечеръ.
Порывистый сердитый вѣтеръ
Въ трубѣ печально завывалъ.
Лукичъ встревоженный стоялъ
У ногъ Арины. Дочь глядѣла
На умирающую мать,
И слезы удержать хотѣла.
Старушка стала умолкать
И постепенно холодѣла.
И судороги ногъ и рукъ,
Послѣдній признакъ тяжкихъ мукъ,
Слабѣли.

«Матушка, родная!
Благослови!...» сказала дочь,
Въ слезахъ, колѣни преклоняя.
— Отецъ... онъ нищій... ты помочь
Ему... нашъ домъ...— и рѣчь осталась
Не конченной. Невнятный крикъ,
Раздавшись, замеръ, и языкъ
Умолкъ. Развязка приближалась.
Въ тоскѣ подъятая рука,
Какъ плеть, упала. Грудь слегка
Приподнялась и опустилась,
Взоръ неподвижный угасалъ,
По тѣлу трепетъ пробѣжалъ —
И стихло все... Не умолкалъ
Лишь бури вой.
«Одинъ остался,
Одинъ, какъ перстъ!» Лукичъ сказалъ,
Закрылъ лицо и зарыдалъ.
Уснуло доброе созданье!
Жизнь кончена, итогъ сведенъ,
Посмотримъ, что́-то скажетъ онъ?
Немного. Скромное желанье
Безъ хлѣба завтра не пробыть;
Возня съ горшками, да съ насѣдкой,
Вязанье варегъ день и ночь,
Отъ скуки разговоръ съ сосѣдкой,
Тревога, что тоскуетъ дочь,
На пьянство мужа тайный ропотъ,
Порой побои отъ него,
Про бытъ чужой невинный шопотъ,
Да слезы,— больше ничего!
И эта мелочь мозгъ сушила,
Изъ жилъ по каплѣ кровь пила!
Страшна ты — роковая сила —

Нужды и мелочнаго зла!
Ты не убьешь, какъ громъ, мгновенно,
Войдешь ты, — полъ не заскрипитъ,
И душишь, душишь постепенно,
Покуда жертва захрипитъ.
Съ разсвѣтомъ буря замолчала.
Арина на столѣ лежала.
Въ лампадѣ огонекъ сіялъ;
Онъ какъ-то странно освѣщалъ
Лицо покойницы старушки
И неподвижной, и нѣмой,
И бѣлые углы подушки,
Измятой мертвой головой.
Убитый горемъ и тоскою,
Передъ иконою святою
Лукичъ всю ночь Псалтирь читалъ.
Унылъ и тихъ его былъ голосъ,
Отъ страха жесткій, черный волосъ
На головѣ не разъ вставалъ...
Казалось, строго и сурово
Глядѣла бѣдная жена;
Раба доселѣ, съ жизнью новой
Вдругъ измѣнилася она...
Свою печаль припоминала
И мужу казнью угрожала..
Старикъ внимательнѣй читалъ —
И ничего не понималъ...
Всѣ буквы, мнилось, оживали:
То замыкались въ кругъ порой,
То расходились, выростали,
Плясали черною толпой...
Межъ-тѣмъ, сосѣдки понемногу
Набились въ горенкѣ. Однѣ
Вздыхали и молились Богу,
Другія, въ грустной тишинѣ,

Съ тяжелой думою стояли.
Иль объ усопшей толковали,
Что вотъ-де каковы дѣла:
Жила, жила, да умерла.
Мать столяра въ недоумѣньи
Покачивала головой,
Въ углу бесѣдуя съ кумой:
«Вотъ срамъ-то! Просто, удивленье!
Вѣдь, на покойницѣ платокъ,
Чтó тряпка... ай-да, муженекъ!
Убралъ жену, Кулакъ проклятый!
О платьѣ я не говорю:
Я вчужѣ отъ стыда горю, —
Съ заплатой, милая, съ заплатой!
А дочкѣ горя нѣтъ... сидитъ,
Одной слезы не уронитъ.
Ахъ, я тебѣ и не сказала!
Она за сына моего
Хотѣла выйти... каково!
Да я-то шишъ ей показала!
И мать-то, помянуть не тѣмъ,
Глупа была, глупа совсѣмъ».
Сосѣдки вышли. Саша плачетъ,
Отецъ печально говоритъ:
«Не позабудь! я нищій, значитъ...
Ты дочь, вонъ мать твоя лежитъ,
Похорони!»
— Да не грустите!
Пойдемте къ намъ. Вы попросите
Здѣсь посидѣть кого-нибудь...
Вамъ не мѣшало-бъ и заснуть:
Вишь, вы стоите черезъ силу... —
«Идти просить, на гробъ просить,
На свѣчи, Саша, на могилу!»
—Да гдѣ же взять-то? Какъ же быть!

XIX.

Зять Кулака сидѣлъ въ рубашкѣ,
Расходъ въ тетрадку заносилъ,
О чемъ-то съ Сашей говорилъ
И морщился. Въ граненой чашкѣ
Чай на подносѣ остывалъ,
И сахару кусокъ лежалъ.
Покоенъ взглядъ его и ясенъ,
И густъ румянецъ полныхъ щекъ,
Подстриженный затылокъ красенъ,
Мясистыхъ плечъ размѣръ широкъ.
Софа, комодъ, горшокъ съ цвѣтами,
Часы съ кукушкой на стѣнѣ,
Пять стульевъ съ мѣдными гвоздями,
Пеньки образчикъ на окнѣ,
Двѣ кучки ржи, одна пшеницы,
Въ чулкѣ оставленныя спицы,
Вотъ комната, гдѣ онъ писалъ.
Лукичъ вошелъ, перекрестился,
Сказалъ, что умерла жена,
Что погребенья ждетъ она,
И зятю въ поясъ поклонился.
«Извольте-съ, отъ добра не прочь...
Зачѣмъ родному не помочь...
А жаль: я думаю, простуда?»
— Богъ знаетъ что́, да умерла.—
«Я полагаю-съ — смерть пришла...
Вотъ выпейте чайку покуда».
— Благодарю, не до того. —
«Напрасно-съ! Это не мѣшаетъ:
Онъ эдакъ грудь разогрѣваетъ».
— Да я не зябну, ничего....
Не позабудь, къ примѣру, въ горѣ...—
«Вотъ ключъ позвольте отыскать....

Я много не могу вамъ дать,
Не то что, да-съ.... нѣтъ денегъ въ сборѣ».
— Не добивай, я такъ убитъ! —
«О томъ никто не говоритъ.
На счетъ того-съ, оно, конечно,
Родню позабывать грѣшно,
Да, вѣдь, грѣшно и жить безпечно....
Да-съ! поскользнетесь неравно!
На васъ вотъ тулупишка рваный,
Да пальцы изъ сапогъ торчатъ,
А вы, намедни, были пьяны....
Выходитъ, кто же виноватъ?»
— Да знаю, другъ мой, все я знаю!
Неволя пьетъ-то иногда:
Ты думаешь, мнѣ нѣтъ стыда,
Что плутовствомъ я промышляю,
Ѣмъ хлѣбъ чужой, какъ подлый воръ?...—
«Да, да! Для васъ, то-есть, позоръ....
Все это пустяки — и только!
Торговля — круговой обманъ.
Вамъ горько лѣзть въ чужой карманъ,
Ну, а просить теперь не горько?...»
— Вѣстимо. Если бы ты зналъ!
Осмѣянъ всѣми, обнищалъ,
Тутъ совѣсть не даетъ покою...
Зять, не пусти меня съ сумою!
Дай мнѣ подъ старость отдохнуть,
Поставь меня на честный путь,
Дай дѣло мнѣ! Господь порука,
Не буду пить и плутовать! —
«Привыкли-съ! Трудно перестать!
Вотъ, значитъ, вамъ, впередъ наука....
На похороны помогу,
На счетъ другаго-съ — не могу!»
— И съ бородою посѣдѣлой

Опять мнѣ грабить мужичковъ?..:.
Пойми, мое ли это дѣло!
Неужто воръ я изъ воровъ!
Мнѣ стыдно! Богомъ умоляю,
Подумай, выручи!.... —
«Опять!
Охота вамъ слова терять....
Нельзя-съ! По чести завѣряю....
Рубль серебра извольте — дамъ....»
— Такъ я, выходитъ, по домамъ
На тѣло мертвое сбираю....
Къ чему ты говоришь про честь?
Вѣдь, я не нищій, я твой тесть,
Вѣдь, я прошу не подаянья,
Въ заемъ, ты слышишь, или нѣтъ?...—
«А я даю изъ состраданья,
Не то что, да-съ! И мой совѣтъ—
Не надо брезгать....»
Саша встала,
Въ другую комнату пошла,
Тихонько мужа позвала
И на ухо ему сказала:
«На похороны надо дать:
Насъ, душка, будутъ осуждать,
Что вотъ, дескать, зятёкъ богатый...»
— Не дамъ я. Пьяница проклятый!
Вотъ навязалася родня!—
«Да, ну! Уважь хоть для меня!
Старикъ тамъ разному народу
Пойдетъ — разскажетъ....»
— Съ камнемъ въ воду!
Пускай! Намъ всѣхъ похоронять,—
Суму придется надѣвать.—
«Ну, вотъ что: помнишь, въ воскресенье
Ты далъ мнѣ деньги на платокъ?»

— Нѣтъ въ пятницу....—
«Возьми, дружокъ,
Назадъ....»
— Назадъ! Вотъ это удивленье! —
«Отдай ихъ, душка, старику:
Ты видишь — онъ вдался въ тоску,
И мнѣ-то, знаешь, съ нимъ остуда...»
Мужъ головою покачалъ,
Затылокъ жирный почесалъ
И согласился.
«Вотъ-съ, покуда»,
Съ досадой тестю онъ сказалъ:
«Извольте! Это Богъ послалъ,
Вотъ Саша сжалилась надъ вами....»
Тесть поклонился, покраснѣлъ,
Благодарить онъ не съумѣлъ,
Пошевелилъ слегка губами,
На зятя кинулъ мутный взоръ
И крупный потъ на лбу утеръ.
«Вамъ, батенька, теперь не радость,
Сказала дочь: пора того....
Оно для васъ-то ничего,
А для родныхъ выходитъ гадость....
Пойдете тамъ по кабакамъ,
На улицѣ васъ встрѣтитъ срамъ...»
— Пора-съ, пора за умъ приняться,—
Прибавилъ зять:—вы не чужой,
Не то что, да-съ! Вы нашъ родной,
А съ пьянымъ не хочу я знаться!—
Старикъ молчалъ и вышелъ вонъ.
О чемъ, бѣдняга, думалъ онъ?
А вѣрно думою печальной
Былъ оглушенъ; на рынокъ шелъ,
И, Богъ вѣсть, почему забрелъ
Въ какой-то переулокъ дальній;

Опомнившись, взглянулъ кругомъ
И назвалъ зятя подлецомъ.

XX.

Добычи рыночный остатокъ,
Давно Кулакъ рублей десятокъ
Въ жилетѣ плисовомъ берегъ,
Теперь вотъ зять ему помогъ,
На все достало, слава Богу!
Купилъ онъ меду, калачей,
Вина, говядины, свѣчей,
Муки, конечно, понемногу,
Поденьщиковъ приговорилъ
Могилу рыть, и гробъ купилъ.
Принесъ его въ свою избушку,
Перекрестился, крышку снялъ,
Солому въ немъ и холстъ постлалъ,
Съ молитвой положилъ старушку,
Съ молитвою свѣчу зажегъ
И сѣлъ на лавку въ уголокъ,
Скрестивши руки... Бѣлый иней
Сверкалъ отъ солнца на стеклѣ;
Дымился ладонъ на столѣ
Въ курильницѣ, — то, струйкой синей
Колеблясь, къ верху поднимался, —
То въ кольца тихо завивался.
«Вотъ, думалъ онъ, вотъ жизнь-то наша!
И правда, говорятъ, что цвѣтъ:
Ногою смялъ — его и нѣтъ.
Умру и я, умретъ и Саша,
И ни одна душа потомъ
Меня не вспомнитъ... Боже, Боже!
А, вѣдь, и я трудился тоже,
Весь вѣкъ и худомъ, и добромъ
Сбивалъ копѣйку... Зной и холодъ,

Укоры, брань, побои, голодъ,
Насмѣшки — все переносилъ!
Изъ-за чего? Ну, что́ нажилъ?
Тулупъ остался, да рубаха,
А кралъ безъ совѣсти и страха:
Охъ, горе, горе! Вѣдь, метла
Годится въ дѣло! Что́ же я-то?
Что́ я-то сдѣлалъ, кромѣ зла?
Вотъ свѣчи, гробъ!... Гдѣ это взято?
Крестьянинъ, мужичекъ-бѣднякъ,
На пашнѣ по́томъ обливался
И продалъ рожь... А я, Кулакъ,
Я, пьяница, не побоялся,—
Не постыдился никого,
Ограбилъ, осмѣялъ его,
Не додалъ денегъ и обмѣрилъ,
Да смертной клятвою увѣрилъ,
Что я не плутъ!... Все терпитъ Богъ!
Вотъ зять, какъ нищему, помогъ!...
Въ глазахъ мутилось, сердце ныло,—
Я въ поясъ кланялся, просилъ!
А, вѣдь, и я добро любилъ,
Оно, вѣдь, дорого мнѣ было!
Со мной, къ примѣру, было разъ,
Давно ужъ... раннею весною
Я утопающаго спасъ.
Когда онъ съ мокрой головою
Нагой на берегу лежалъ,
Открылъ глаза, пошевелился
И крѣпко руку мнѣ пожалъ, »
Я, какъ ребенокъ, зарыдалъ
И радостно перекрестился....
И все пропало, все забылъ! »
И голову онъ опустилъ...
Что́ думалъ, Богъ про это вѣдалъ.

Насталъ обѣдъ, онъ не обѣдалъ,
И въ два часа, пока сидѣлъ,
Двумя годами постарѣлъ.
Бѣднякъ! бѣднякъ! печальной доли
Тебя урокъ не вразумилъ!
Своихъ цѣпей ты не разбилъ,
Послушный рабъ безсильной воли!
Ты понималъ, что честный трудъ
И путь тебѣ иной возможенъ,
Что ты, добра живой сосудъ,
Не совершенно уничтоженъ;
Ты плакалъ, ты на помощь звалъ;
Нужды подхваченный волнами,
Въ послѣдній разъ взмахнулъ руками, —
И въ грязномъ омутѣ пропалъ!
Въ семьѣ чужой нашла-ли Саша
Любовь и счастье? Какъ сказать?...
И что̀ намъ счастьемъ здѣсь назвать?
Вопросъ мудреный, воля ваша!
Есть люди (благодатный родъ):
Цѣль и граница ихъ желанья —
Спокойный ходъ существованья
Безъ слезъ, сомнѣній и заботъ.
Какъ свѣтъ и воздухъ, имъ лишь нужны —
Здоровье, сонъ, обѣдъ и ужинъ;
И вѣруютъ они всему,
И счастливы по-своему.
Есть родъ иной: его отрада —
Большая дворня, блескъ палатъ,
Причуды моднаго наряда, —
И это счастье — говорятъ!
И есть созданья: нѣтъ покою
Для ихъ души; имъ нуженъ шумъ,
Ихъ сила крѣпнетъ подъ грозою, —
И постоянною борьбою

Неутомимый занятъ умъ.
Движенья мысли, жажда знанья,
Науки торжество и плодъ,
Стремленье вѣчное впередъ, —
Вотъ все ихъ счастье и призванье!
На жизнь у всякаго свой взглядъ....
Кто правъ, Богъ вѣсть, когда рѣшатъ.
У Саши былъ свой міръ любимый:
Мечты завѣтныя, печаль,
Сережки, зонтикъ, или шаль,
Или салопъ необходимый
Съ пушистымъ мѣхомъ изъ лисицъ,
Да изъ купеческаго круга,
Для болтовни, въ часы досуга,
Пять или шесть знакомыхъ лицъ.
Надежды скромныя съ годами
Осуществятся, можетъ быть,
Не то легко ихъ замѣнить
Разнообразными трудами:
Она въ домашней тишинѣ
Привыкнетъ къ кухонной стряпнѣ,
Отъ скуки самоваръ согрѣетъ,
Отъ скуки сладостно заснетъ,
И постепенно растолстѣетъ,
И вѣкъ безъ горя проведетъ.
Мужъ, человѣкъ неприхотливый,
Ее и нѣжилъ, и любилъ:
Икрой и сельдями кормилъ
Тайкомъ отъ матери строптивой;
(Ея бояться сынъ не могъ,
А просто денежки берегъ).
Съ жены не взыскивалъ онъ много,
Одно наказывая строго:
По дому хлопотать съ утра,
Беречь посуду, ложки, чашки,

Доить корову, шить рубашки,
Безъ спросу не ходить съ двора.

XXI.

Бѣгутъ часы, идутъ недѣли,
Чредѣ обычной нѣтъ конца:
Кричитъ младенецъ въ колыбели,
Несутъ въ могилу мертвеца.
Живи, трудись, людское племя,
Вопросы мудрые рѣшай,
Сырую землю удобряй
Своею плотью!... Время, время!
Когда твоя устанетъ мочь!
Какъ страшный жерновъ, день и ночь,
Вращаясь силою незримой,
Работаешь неудержимо
Ты въ Божьемъ мірѣ. Дѣла нѣтъ
Тебѣ до нашихъ слезъ и бѣдъ;
Ты ихъ не видишь и не знаешь,
Даешь веселью краткій срокъ,
И тихо, медленно стираешь
Людскія кости въ порошокъ!
Прошло два года.
Народъ дождался торжества:
Заутра праздникъ Рождества,
Желудкамъ полная свобода...
Отмститъ за постъ голодный людъ!
На рынкѣ безъ метлы метутъ
Добро съѣстное. Поросята,
Индѣйки, мерзлые цыплята
И туши жирныя свиней...
Прохода нѣтъ между саней!
Вотъ боровъ съ опаленной мордой
Вверхъ брюхомъ на возу лежитъ;
Вотъ гусь живой, онъ смотритъ гордо,

На покупателя шипитъ;
Вотъ крякнулъ селезень. Чиновникъ
Его суетъ въ мѣшокъ пустой:
Поди-ка, молъ, сюда, разбойникъ!...
Эхъ, любятъ на Руси святой
Поѣсть и выпить! Намъ не вредны
Излишки. Все на столъ мечи!
Быть можетъ, въ чемъ другомъ мы бѣдны,
Желудкомъ—просто силачи!
Въ тулупѣ, нанкою покрытомъ,
Косматомъ и просторно сшитомъ,
Между возовъ столяръ идетъ.
Онъ веселъ. Поросятъ несетъ.
Съ нимъ женщина. Она смѣется,
У ней шубейка на плечахъ
Нѣтъ-нѣтъ отъ вѣтра распахнется...
И что́ за доброта въ глазахъ!
А въ сторонѣ былъ громкій хохотъ
И безтолковый споръ и ропотъ;
Толпу внимательныхъ зѣвакъ
Тамъ тѣшилъ, не-хотя, Кулакъ.
Мужикъ съ курчавой бородою,
Съ широкимъ лбомъ, аршинъ въ плечахъ,
Въ тулупѣ, шапкѣ и лаптяхъ,
Взбѣшенный, лѣвою рукою
Его за шиворотъ держалъ,
«Вотъ-эдакъ—вотъ! Вотъ-эдакъ съ вами!...»
Старикъ постукивалъ зубами,
Халатъ съ разорванной полой
Сзади на воздухѣ мотался,
И кровь на бородѣ сѣдой
Застыла каплями.
«Попался!»
Кричалъ народъ: «тряхни его!
Тряхни, получше... ничего!»

— Не бей по шапкѣ! одурѣетъ!—
«Не смѣетъ бить,—на это судъ,
Расправа, значитъ, бить не смѣетъ...»
— Валяй! тамъ послѣ разберутъ!—
Но вдругъ столяръ рукою смѣлой
Толпу раздвинулъ: «стой! за что́?»
— А не обвѣшивай... за то!—
Мужикъ отвѣтилъ:—наше дѣло!
Я продалъ шерсть, а онъ того...
Обвѣсилъ, вонъ—що!...—
«Брось его!
Не то, ей-ей, въ тюрьму запрячемъ!
Сейчасъ солдата позовемъ!...
Чего ты, Карпъ Лукичъ? пойдемъ!...»
— Проваливай, мы не заплачемъ...
Вотъ, не замай, онъ покряхтитъ:
Въ бокахъ-то у него лежитъ!—
«Эхъ, съ этимъ не дошло до драки!»
Жалѣли, расходясь зѣваки.
«А въ нанковомъ куда—горячъ!
И статенъ, то-то, чай, силачъ!»
«Сосѣдъ, ну, какъ тебѣ не стыдно!»
Столяръ дорогой говорилъ:
«Весь помертвѣлъ, лица не видно...
Что́ завтра? Вспомни!»
— Согрѣшилъ...
Обвѣсилъ... не во что одѣться...
Озябъ... и нечѣмъ разговѣться.—
«А зять?»
— Мошенникъ!... Охъ, продрогъ!—
«Ну, Саша?»
— Саша помогаетъ...
Попреки... водкой попрекаетъ...
Ой, больно! заломило бокъ!—
«Бѣдняга! Выгнали изъ дома...

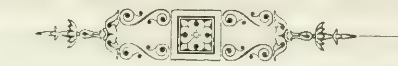
Да ты идешь едва-едва;
Квартира гдѣ?»
— У Покрова.
Привыкъ, къ примѣру... Грязь, солома...
Полтинникъ въ мѣсяцъ... Охъ, продрогъ!
Зимой безъ шубы, безъ перчатокъ! —
«Слышь, Карпъ Лукичъ! вотъ есть остатокъ,
Возьми на праздникъ... Видитъ Богъ,
Даю изъ дружества. Вѣдь, хуже
Обманывать... дрожать на стужѣ...
Возьми, пожалуйста, сосѣдъ,
Ну, хоть въ заемъ, какъ знаешь...»
— Нѣтъ!...
Я виноватъ предъ тобою...
Ты дочь мою... —
«Пустякъ, пустякъ!
Угодно было Богу такъ...
Возьми! Ты, слышь, не спорь со мною;
Въ карманъ насильно положу,
Вотъ-на!... И руки подержу...»
— Покинь! мнѣ стыдно! —
«Знаю, знаю!
А ты не вынимай назадъ...
Я что́ родному помогаю,
Не то что, значитъ... Чѣмъ богатъ!...
Утри-ка лучше кровь полою.
Не ловко?.. Вотъ сюда пойдемъ.
Да, кстати! Ты, вѣдь, незнакомъ
Съ моею Танею, съ женою?
Люби и жалуй—вотъ она».
— А ты женатъ уже? —
«Недавно;
Живемъ ништо... покуда ладно.
Взялъ сироту. Однимъ дурна:
Я ей обновку покупаю,

Она свое: купи лотокъ,
Чугунъ, жаровню, да горшокъ...»
— Права: затѣмъ не уступаю! —
Со смѣхомъ молвила жена:
— Обновка тоже ненужна.—
«Ну, вотъ изволь тутъ... Не досада?
И съ матушкою такова:
Найдетъ разумныя слова,
Безъ шума сдѣлаетъ, что́ надо...
Сосѣдъ, да полно горевать!»
—Я такъ, къ примѣру. Грустно стало...
Ты къ намъ, что́ сынъ родной, бывало,
Пріидешь, сидишь... Теперь мой зять...
Прости!... —
«Я даромъ не прощаю!
Ты посѣтишь нашъ уголокъ,
Поговоримъ, напьемся чаю,
Разрѣжемъ эдакой пирогъ!...»
И весело, въ толпу густую,
Столяръ отправился съ женой;
Вотъ снялъ онъ шапку мѣховую
И... Нѣтъ, не видно за толпой!
Кулакъ съ разорванной полою
Побрелъ одинъ. Взглянулъ кругомъ,—
Знакомыхъ нѣтъ... Махнулъ рукою
И завернулъ въ питейный домъ.

Прощай, Кулакъ! Не разъ съ тобою,
Когда мой домъ объятъ былъ сномъ,
Я при свѣчѣ, ночной порою,
Сидѣлъ въ раздумьи за столомъ.
Несчастный братъ! мнѣ было больно
За твой позоръ, за твой порокъ,
И не одну слезу невольно

На эти строки ты извлекъ.
Я понималъ твои страданья,
И язвы смѣло осязалъ,
Въ моихъ глазахъ ты угасалъ
Одинъ, въ грязи, безъ врачеванья.
А горько! Вѣрно и теперь,
Едва перешагну за дверь,
Инаго Кулака я встрѣчу
И, можетъ быть, на немъ опять
Порока страшную печать
И язвы новыя замѣчу...
Бѣднякъ! Взглянувши на тебя,
Не каждый сердцемъ содрогнется;
Пройдетъ, быть можетъ, посмѣется,
Потѣху пошлую любя.
Кому нужна твоя утрата!
Васъ много! Тысячи кругомъ,
Какъ ты, погибли подъ ярмомъ
Нужды, невѣжества, разврата!
Прійдетъ-ли, наконецъ, пора,
Когда блеснутъ лучи разсвѣта,
Когда зародыши добра
На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,
Взойдутъ, созрѣютъ въ свой чередъ
И принесутъ сторицей плодъ?
Когда минетъ проказа вѣка,
И воцарится честный трудъ,
Когда увидимъ человѣка—
Добра божественный сосудъ!

1854 октябрь.
1856 сентябрь.



II.

ВОСПОМИНАНІЕ О НИКИТИНѢ.

Воспоминаніе объ И. С. Никитинѣ.*)

(А. А. ШКЛЯРЕВСКАГО).

Мнѣ было тогда семнадцать лѣтъ и я пріѣхалъ въ Воронежъ держать экзаменъ на званіе учителя. Имя Ивана Савича Никитина гремѣло, стихотворенія его читались молодежью съ жаромъ, переписывались и твердились наизусть. Я былъ однимъ изъ величайшихъ поклонниковъ Никитина и, пріѣхавъ въ Воронежъ, старался во что бы то ни стало видѣть Ивана Савича, но это мнѣ не удавалось, къ тому же говорили, что онъ боленъ. Между тѣмъ, экзаменъ былъ выдержанъ и мнѣ нужно было уѣзжать изъ Воронежа въ г. Валуйки, гдѣ отецъ мой служилъ учителемъ русскаго языка. Наканунѣ отъѣзда я шелъ по главной улицѣ въ Воронежѣ, «Большой Дворянской», вмѣстѣ съ однимъ семинаристомъ, валуйчаниномъ, у котораго я квартировалъ. Вдругъ вниманіе мое было привлечено какимъ-то господиномъ, разсматривавшимъ вывѣску оптическаго магазина, съ нарисованными на ней инструментами, въ черной шинели съ нахлобученнымъ воротникомъ и въ картузѣ. Онъ показался мнѣ

*) Этотъ краткій, но живой разсказъ о единственномъ свиданіи автора съ Никитинымъ, происходившемъ въ 1854 году, заимствуемъ изъ брошюры, изданной въ 1882 году, въ Петербургѣ, подъ названіемъ: „Русская Библіотека Уголовной Хроники“ (выпускъ 1-й). Авторъ разсказа (уже умершій), не разъ упоминая о пишущемъ эти строки и весьма благосклонно относясь къ нему, заподозриваетъ насъ однакоже въ искаженіи стихотвореній Никитина, изданныхъ послѣ смерти поэта. Такое подозрѣніе было бы очень тяжелымъ, еслибы оно не было комичнымъ. Оказывается, что авторъ воспоминанія не видалъ ни одного изъ посмертныхъ изданій стихотвореній Никитина и считалъ такимъ изданіе Кокоревское (1859)! Не найдя въ послѣднемъ стихотворенія „Болѣсть,“

не заурядною личностью и я хотѣлъ было спросить своего спутника, не знаетъ ли онъ, кто это?

Но семинаристъ самъ остановилъ меня и спросилъ:

— Ты знаешь, кто это?

— Нѣтъ.

— Иванъ Савичъ Никитинъ, котораго ты хотѣлъ видѣть.

— Быть не можетъ!

— Ей Богу, правда.

Я бросилъ своего спутника и ринулся къ поэту. (То-то, молодость!.. говорю же, мнѣ было 17 лѣтъ, а Никитину лѣтъ 28).

— Вы Иванъ Савичъ Никитинъ? спросилъ я у него.

— Я, отвѣчалъ онъ, взглянувъ на меня не совсѣмъ ласково и сталъ продолжать свой путь далѣе по направленію къ Щепной площади. Но я былъ не изъ тѣхъ, отъ которыхъ легко можно бы было отдѣлаться.

— Это вы написали:

По утру вчера дождь
Въ стекла оконъ стучалъ;
Надъ землею туманъ
Облаками вставалъ... *)

И т. д., и т. д., я прочелъ все стихотвореніе до конца. Тогда я декламировалъ недурно.

— Да, сказалъ Никитинъ.

— А это?.. И я пошелъ отваливать его стихотворенія одно за другимъ.

— Вы кто такой! спросилъ, наконецъ, у меня Никитинъ:—семинаристъ?..

выброшеннаго изъ этого изданія самимъ Никитинымъ, авторъ разсказа вообразилъ себѣ, что эту операцію непремѣнно сдѣлали мы! По этой причинѣ, а также изъ *боязни* (sic) увидѣть въ искаженномъ видѣ любимаго имъ поэта, авторъ разсказа даже не заглянулъ въ Михайловское изданіе, гдѣ стихотвореніе „Болѣсть“ красуется на 343—347 стран. 1-го тома!!..

Прилагаемый разсказъ хотя подписанъ буквами А. Л., но намъ достовѣрно извѣстно, что онъ принадлежитъ перу автора беллетристическаго разсказа („Воинская повинность, или у гроба самоубійцы“), помѣщеннаго въ томъ же выпускѣ названной брошюры,—А. А. Шкляревскому. *Ред.*

*) См. стихотвореніе „Встрѣча зимы“ (1-й т., стр. 148).

— Нѣтъ, отвѣчалъ я ему:—я воспитывался въ Харьковской гимназіи, но я, такъ же какъ и вы, мѣщанинъ. Хотя мой отецъ теперь учитель и имѣетъ чины, но я родился въ то время, когда мой отецъ не поступалъ еще на службу, а онъ изъ мѣщанъ. Я даже занимался одной съ вами профессіей, былъ отъ 6 до 9 лѣтъ дворникомъ у своей бабушки, содержавшей постоялый дворъ въ городѣ Лубнахъ. Полтавской губерніи, и зазывалъ проѣзжихъ богомольцевъ въ Кіевъ и на поклоненіе святителю Аѳанасію Лубенскому. Да какъ лихо!.. Другіе дворники не могли противъ меня ничего подѣлать... Всѣхъ проѣзжихъ отобью... Мѣщанская косточка, à la Кольцовъ, шибай!...

Угрюмый, и какъ видно, не со всѣми сообщительный, Никитинъ улыбнулся и проронилъ:

— Что же вы тутъ дѣлаете, въ Воронежѣ?..

Я разсказалъ, для чего я пріѣхалъ въ Воронежъ, и когда коснулся формы экзамена на учителя, то замѣтилъ, что Иванъ Савичъ очень заинтересовался и сталъ входить во всякія мелочи... Я заподозрилъ даже тогда Ивана Савича, что онъ самъ хочетъ держать экзаменъ на учителя уѣзднаго училища *)...

Разговаривая объ экзаменахъ, мы дошли до Московской улицы и до лучшаго въ то время въ г. Воронежѣ трактира купца Колыбихина, подъ названіемъ: «Московскій трактиръ».

— Зайдемъ, выпьемъ чаю, предложилъ Никитинъ.

— Съ вами, съ удовольствіемъ.

Въ трактирѣ Иванъ Савичъ избралъ вторую, менѣе роскошно меблированную, комнату, въ которой не было ни души посѣтителей, и приказалъ половому, почтительно поклонившемуся ему, подать двѣ пары чая.—Разговоръ продолжался все объ учительствѣ.

— Не легкую обязанность вы на себя приняли, замѣтилъ Никитинъ.

— Да, отвѣчалъ я необдуманно:—трудись-трудись, а впереди ника-

*) Догадка автора не имѣетъ никакого достаточнаго основанія; любознательность Никитина объясняется простымъ вниманіемъ къ своему собесѣднику. О педагогической дѣятельности Никитинъ никогда и не думалъ, тѣмъ болѣе—въ пору своей извѣстности, да она была совсѣмъ и не по его характеру, не въ его натурѣ. *Ред.*

кой карьеры... Всякій писецъ надѣется быть столоначальникомъ, секретаремъ, совѣтникомъ, а учитель...

— Я не о карьерѣ говорю, прервалъ меня Никитинъ, потирая лобъ:—а о томъ: доступно-ли на этой должности сдѣлать столько хорошаго, сколько желаешь?...

Я стушевался и ничего не могъ отвѣчать на этотъ вопросъ.

Мы выпили по второму стакану чая. Случайно, или по привычкѣ (я не знаю), Никитинъ, выпивъ чай, повернулъ и поставилъ на блюдечко стаканъ вверхъ дномъ. Знакомый съ мѣщанскими этикетами, я понялъ, что Никитинъ болѣе чаю не хочетъ и собирается уходить.

— Иванъ Савичъ! обратился я къ нему:—дайте мнѣ, ради Бога, хоть строчку своей рукописи о себѣ на память... Я васъ не выпущу безъ этого. (Сборника стихотвореній И. С. Никитина тогда не было).

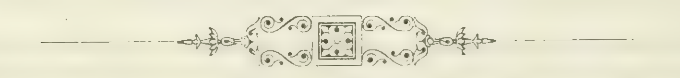
Я былъ изъ такихъ взбаломученныхъ, что готовъ былъ броситься передъ Никитинымъ на колѣна, цѣловать ему руки, или, выражаясь прямѣе, подъ видомъ оваціи, само-собою разумѣется, безъ злаго умысла, сдѣлать скандалъ и скомпрометировать его.

— Что-же я вамъ дамъ?.. Ахъ! у меня есть стихи черновые.... хотите?..

— И вы спрашиваете?.. съ укоризной произнесъ я.

Иванъ Савичъ порылся въ боковомъ карманѣ сюртука и между разными бумагами нашелъ листъ бумаги, исписанный стихами. Это была «*Болѣсть*».

Я чуть не вырвалъ ее у него изъ рукъ. Моимъ благодарностямъ конца-краю не было... Съ ними я вышелъ съ Никитинымъ изъ трактира и, къ душевному прискорбію своему, болѣе мнѣ не пришлось видѣть Ивана Савича, потому что когда я былъ переведенъ въ 1863 году въ Воронежъ учителемъ, его уже не существовало и мнѣ пришла грустная доля быть зрителемъ при открытіи ему памятника... *).



*) На могилѣ.

